

2



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Борис Лавренев

*

Собрание сочинений в шести томах

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Борис Лавренев

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
Л 13

Составление и подготовка текста
А. Ю. Лавренева

Примечания
Е. В. Стариковой

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Б $\frac{4702010200-325}{028(01)-82}$ подписное

Повести и рассказы

СЕДЬМОЙ СПУТНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Из окна было видно, как, потрясая разбитые торцы, мимо дома прогрохал зеленый грузовик, волоча за собой синюю пленку бензинной вони.

Грузовик был похож на ежа. Как еж, он бежал, щупая дорогу тупым рыльцем радиатора, красногвардейские штыки торчали из него во все стороны, как вставшие иглы.

В минуту, когда он сравнялся с окном, с него треснули два выстрела. Невзначай или для острастки — было не разобрать. Грузовик скрылся из поля зрения.

Евгений Павлович, качнув головой, сказал вслух:

— Поразительная страна. Три года воевали, а мужчин и патронов по-прежнему не жалеют. Только переменили объект приложения.

Сказал и зашагал по кабинету. Шагая, заметил, что на стене покосился портрет покойной жены в тяжелой дубовой раме. Подошел и машинально поправил, а сам подумал тотчас же: «Зачем? Все кривое стало».

Портьера на двери в столовую заколебалась, из-под нее высунулось востроносое старушечье обличье.

— Пелинька, ты что? — спросил генерал.

Пелинька, Пелагея,— последний верный человек. За ней тридцать лет жизни в одних стенах с Евгением Павловичем и безрассудная старческая привязанность няньки к одинокому, всеми покинутому барину.

Пелагея, прищурившись, прошепелявила:

— Ходишь вшё, батюшка?.. Какая жизнь наштала!.. Вшё ходят, ходят, покою не знают.

Евгений Павлович остановился, подразнил:

— А ты вшё шидишь, старая? Штулья просиживаешь?

Старушка махнула сухонькой ладошкой, нагнулась и смела фартуком пепел с паркета. Евгений Павлович скривил губы в смешок.

— Прибираешь? Привычка. Эх, старая, когда в рай входить будешь, небось по привычке сперва порог обметешь? — И добавил: — Я, Пелинька, сейчас на базар схожу. Подкуплю продуктов.

Пелагея, тряся подбородком, проводила в переднюю, помогла надеть шинель. Закрыв дверь, долго звякала цепочкой, не попадая в прорез, и звяканье провожало Евгения Павловича по лестнице.

На нижней площадке попался навстречу сосед, инженер Арандаренко. Встреча была неприятной. Евгению Павловичу такие разговорчивые люди, как Арандаренко, всегда казались ненастоящими, а вроде заводных игрушек или ученых дроздов; теперь же они особенно раздражали.

Поклонившись, хотел проскользнуть, но Арандаренко перегородил дорогу шестью пудами мяса, и пуговица генеральской шинели завертелась в арандаренковских огурчиках-пальцах.

— Ваше превосходительство... Здравствуйте, здравствуйте! Ну, що вы скажете? А? Голова на спину заворачивается. Вы чуяли: никакой интеллигенции им не нужно. А? Они говорят: «Каждая кухарка может управлять государством». Кухарка! А? Кухарка — министр! А мы с вами на кухню в поваренные мальчики. «Оце дило», як кажут наши хохлы. Инженер-электрик и профессор Военно-юридической академии в поваренных мальчиках. Скаженный будынок. А?

Пуговица закручивалась все туже, и казалось, что Арандаренко вырвет ее с мясом. От этого и еще от чего-то неосознанного генерал почувствовал едкую ненависть к инженеру и суховато сказал:

— Не судим, да не осудят и нас.

Арандаренко выпустил пуговицу, чмокнул языком.

— Уныние? Апатия? Нельзя, дорогой Евгений Павлович. Нужно бороться до последней капли. Мы, интеллигенция...

Стало ясно, что инженер завелся надолго. Чтобы спасти положение и выиграть бой, генерал сказал с подчеркнутой любезностью:

— Милости прошу вечерком, поговорить... На базар спешу, извините, а то опоздаю.

Поднеся руку к козырьку, скользнул обходным движением вдоль стены и, миновав инженера, вышел на улицу. Выйдя, огляделся. Смотреть на улицу было обидно и любопытно.

Она шелушилась. С ее каменного тела с шипом и шуршанием лупилась и неслась по мостовой и тротуарам, подхлестываемая мокрыми порывами рвавшегося с моря сырого ветра, заразная сухая шелуха. Она отслаивалась отовсюду. С вялых губ рассеянно бредущих прохожих спадала подсолнуховой лузгой, со стен — цветными комками извести и штукатурки, с мертвообвисших вывесок — ровными квадратиками лопнувшей краски и тончайшими слоинками золотой сусали.

Улица оголялась день ото дня с вялым и бездушным цинизмом.

И даже люди были похожи на блеклую шелуху, выброшенную в сырой ветер переболевшими квартирами.

И самому себе Евгений Павлович казался таким же высохшим струпом, отпавшим от разбитого, перенесшего уже роковые минуты кризиса тела, гонимым ветром по призрачному миру оголенной улицы.

Ветер то взбрасывал полы шинели, выворачивая красные внутренности подкладки, то подергивал за оторванный с одной стороны хлястик, то путался в сухих ногах, обтянутых диагоналевыми трубками с двойными лампасами.

Ветер побратался с временем. Ему было решительно плевать на возраст и звание профессора юридической академии. Он хлестал генерала по лицу, разбойно свистел в уши Евгению Павловичу, шатал его и гнал сухонькую фигуру по тротуару, пользуясь шинелью, как парусом.

Шинель остро горбилась на спине. У плеч уныло висели концы ниток от срезанных погон. Выщипывать их было лень и не поднималась рука.

Плывя по улице, приходилось рассматривать обе стороны ее с равнодушным любопытством капитана, в сотый раз проводящего корабль между давно знакомыми и надоевшими берегами. Самих берегов капитан уже не замечает: кидаются в глаза только изменения их очертаний, происшедшие в промежутке двух рейсов.

Так было и с улицей. Евгений Павлович отметил, что за ночь время и ветер обгрызли золотой крендель заколо-

ченной булочной. Позолота и гипс осыпались, и из пышной формы кренделя насмешливо топырилась ржавая проволока основы.

Евгений Павлович, противясь ветру, лег в дрейф и поднял к кренделю остренькую бородку. Подумал вдруг, как будто и ни к чему: «Котя любил с малиновым вареньем».

И, словно живой, припомнился убитый в начале войны под Гумбиненом сын-кирасир. Припомнился не звенящим и блестящим корнетом в сверкучей скорлупе кирасы и голубоватом снеге колета, а пятилетним карапузом. Ходил тогда в коротких бархатных штанишках, с румяной мордашкой, в руке крендель с малиновым вареньем, а вокруг рта и на кончике носа-пуговки липла сладкая красная масса.

Евгений Павлович вздохнул, сгорбил плечи и, предавшись ветру, поплыл дальше.

На углу Литейного он наскочил на риф.

Собственно, это был только обычный матрос. Широкоплечий, сероглазый, озорной, он стоял на тротуаре в бушлате, с коротким карабином за плечом и оглядывал прохожих зорким глазом. Прохожие обходили его. Он был среди людской пены как прочная, разрезающая волнение скала.

Ветер играл серебряной серьгой, качавшейся в мочке его левого уха.

Матрос смешливо скользнул по красной подкладке шинели, по ниткам на плечах. Подмигнул:

— Линяешь, птичка божия, в генеральском чине?

Ответ пришел как-то сам по себе, без долгого раздумья.

— Учусь у благодетельной природы. Для обновления требуется линяние. Так делают мудрые змии.

Матрос подвинул плечом сползающий карабин и обронил с явным доброжелательством:

— Линяй, линяй, мудрый змий, да только торопись, а то скоро, братишки генералы, будем мы вас стрелять гуртами. Поротно.

Захотелось съязвить, и Евгений Павлович, укалывая матроса бородкой, спросил:

— Это, значит, и есть социалистическое потребление продукта? Продукт-то плохой, друзья.

Сказал и понял, что не вышла язвительность. Матрос потускнел, сжал губы и молча указал на противную сторону проспекта, где на стене виднелся свежий печатный лист:

— Глазей, птичка божия, поймешь,— кинул уже вдогонку уходящему Евгению Павловичу.

Евгений Павлович подошел к листу. От него пахло дурной кислотой скверного клейстера, и был он серый и весь в заусеницах древесины. Расплывшимися дегтярного цвета буквами копошились на нем жирные строки.

По близорукости Евгений Павлович пригнулся к самому тексту, царапая лист серебряной щеточкой бородки. В глаза ввинтилось:

«...на убийство товарища Урицкого, на покушение на вождя мировой революции товарища Ленина пролетариат ответит смертельным ударом по прогнившей буржуазии. Не око за око, а тысячу глаз за один. Тысячу жизней буржуазии за жизнь вождя. Да здравствует красный террор!»

Бородка перестала царапать лист. Генерал отошел от стены, постоял, прищуривая веки. Пожевал губами и, встряхнувшись, пошел к базару. В кармане нащупал приготовленную для продажи на этот день бархатную коробочку с золотыми запонками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Собор белый, приземистый, круглоголовый, с главками, расписанными бирюзой и золотом, превратился как бы в шатер карусели, вокруг которого кружилось все, хотя сам он оставался неподвижным, нахохлившимся и мрачно взирающим на суматошную толчею.

Сходство с каруселью довершала писклиная музыка.

У самой ограды собора, под старой турецкой пушкой, врытой в землю как столб, человек в поддевке, с глазом, повязанным черным платком, вертел ручку комнатного органа. Расстроенные трубы пронзительно и тоскливо взывали в прозрачное небо последнего дня августа.

Человек смотрел в землю. От его щек торчали в обе стороны густейшие и пушистые белые усы с подусниками. Они были похожи на сяжки большого мохнатого жука и так же шевелились и вздрагивали. Между седыми сяжками прятался тонкий, с хорошей горбинкой, нос.

На крышке органа лежала фуражка с красным околышем и дырочкой на месте бывшей кокарды. До половины она пузырилась брошенными бумажками, военными марками, полтинниками, рублевками; сбоку к кожаной подкладке околыша сиротливо прижалась даже зеленая керенка.

Некоторые вскидывали на игравшего любопытные и быстрые взгляды. Совсем недавно он вертел государством, как ручкой органа, и лицо его было знакомо всей стране, сотни раз повторенное на страницах журналов и газет.

И теперь в складке его губ, в породистой горбинке носа таилось через века дошедшее достоинство римских сенаторов, завернувшихся в свои тоги и безоружно, в молчании ожидающих смертельных ударов от врывающихся уже в стены форума варварских орд.

А вокруг него и вдоль всей ограды, прижимаясь спинами к ее чугунным пикам и пушкам, стояли и сидели такие же сенаторы Древнего Рима.

Внутренности особняков, дворцов, министерских квартир, потрясенные клокочущими спазмами эпохи, изрыгнули под ограду собора сказочное разнообразие.

Фрейлины двора, юные и пережившие уже себя, худые и полные, прекрасные и уродливые, но преисполненные величия и отменных манер, помавали ручками, на которых раскачивалось все великолепие вынесенных напоказ победившим варварам товаров.

Бантики, рюшки, прошивочки, кружевца, душная торжественность лионского бархата, тяжелый глянец родовых шелков, сверкающие павлиньи пятна бабушкиных и прабабушкиных шалей, крепдешин изумительного белья, тончайший батист, годами заготовлявшийся впрок для свадеб и брачных ночей, брабант и алансон, ришелье и ручные паутины, над которыми слепли обессиленные глаза кружевниц рязанских, курских и подмосковных поместий, сумочки, зеркальца, золотые и серебряные пудреницы, кошельки, наперстки, игольники, несессеры поражали и будоражили простодушного покупателя.

Фрейлины помавали ручками; фрейлины — губами, привыкшими к музыкальным тональностям французского языка, к головокружительным титулам: Votre Majesté, Votre Altesse impériale, mon prince, monsieur le comte [1],— этими губами выкрикивали страшные слова:

— Налетай, налетай! Кружева, шелка, панталоны, зефир!

О, как сжимаются рты при слове «панталоны»! Как возмущается все существо!

Это слово год назад произносилось только шепотом в интимных беседах лучших подруг, в глубинах тихих бу-

[1] Ваше величество, ваше императорское высочество, князь, граф.

дуаров, и вызывало дрожь тайного испуга. А теперь нужно кричать его как можно звонче, как можно яснее, чтобы покупающий налетал безошибочно.

А за фрейлинами — ряды статских, действительных и тайных, флигель- и генерал-адъютантов; и тут тончайшие сукна английских редингтотов, ласточкины хвосты фраков, округлости жакетов, брюки в полоску, брюки в клеточку, брюки камергерские оттенков сладчайшего крема с золотыми тесьмами, цветные жилеты, галстуки, воротнички, портсигары, трости, фетры Борсалино, шелковистая соломка панам, плетенка канотье, тусклое сукно котелков и блистающий плюш шапокляков, эмалевые финифти орденских звезд, тугие галуны штал- гоф- егер- и церемониймейстерских мундиров.

Варвары, ослепшие от восторга, кидаются на дразнящую пышность.

Ах, звезду Анны или Станислава так хорошо прилепить на деревенский нарядный повойник; тростью со слоновым набалдашником работы Фальгьера так удобно лупить по рылам лезущих в сенцы телят и свиней; золотыми тесьмами с камергерских невыразимых и церемониймейстерских грудей прекрасно можно обшивать края праздничных девичьих шубеек; из серебряных пудрениц Лялика выходят чудесные экономные коптилки, заменяющие старушку-лучину.

И мало ли на что вообще может пригодиться в преображенной стране наследие отыгравшего свои роли класса?..

И если доволен купивший, щупая ослепительный шанжан оборчатой, складчатой, хрустящей нижней юбки, из которой выйдет, на завидки всем, сногсшибательный туалет для молодухи на сельской танцульке, то доволен и продающий.

Ибо базар универсален.

Что такое десятиэтажные Тицы и Вертхеймы, Au Bon Marché и другие вавилонные универсалы, в зеркальных витринах и мраморных лестницах, по сравнению с базаром республики в восемнадцатом году, если в них нельзя купить сорного пшена, из которого варится такая подкрепительная каша, свежего шпика, гречки, сметаны, булочек, наконец, самого демократического, но пленительного ржаного хлеба, обаятельно пахнущего отрубями, с хрусткой золотисто-коричневой корочкой.

К чему мраморные лестницы и зеркальные витрины, когда в них не найдешь и тени сказочной романтики, отголосков упрямой и прескверной борьбы за жизнь?..

Вертится суматошная горластая базарная карусель вокруг приземистого собора; шуршат шелка и батисты, постукивают под твердыми пальцами покупателей котелки и канотье, щекотно шелестят керенки и романовки, и тонкокостная рука человека, с усами, трепещущими, как сяжки большого мохнатого жука, вертит ручку комнатного органа.

Евгений Павлович, вдавленный в толпу, протискался к пикам соборной ограды и отдышался.

Теперь нужно принять достойный вид равнодушного человека, не замечать никого из знакомых,— таков кодекс чести базара, ибо тяжело смотреть в глаза друг другу, потому что в глазах знакомого, как отражение убийцы на сетчатке убитого, всегда можно увидеть ненужное воспоминание.

Нужно прижать руку локтем к боку, выставить на отлет повернутую вверх подушечкой ладонь, положив на нее бархатную коробочку с запонками, и, приняв вид незаинтересованного человека, ожидать последствий.

Ожидать пришлось недолго.

Рыжий в романовском полушубке на мерлушках (хотя, несмотря на ветер, день был теплый и погожий) выбросился из проползающего мимо теста толпы и стал перед Евгением Павловичем.

Со лба его из-под папахи темными ручейками сбегал пот на худой, искривленный к левой щеке нос. С минуту рыжий смотрел на запонки, потом прошелся прозрачно-желтыми зрачками по генеральской шинели, острой бородке и фуражке Евгения Павловича.

Обтерев тылом кисти пот со лба, сказал:

— Тьфу ты, мать родная! Прямо сдохнуть возможно от этой меховины. Просто, будто тебя в паровой котел заперли и до атмосфер доводят!..

— А зачем же вы в полушубке ходите? — осведомился Евгений Павлович.

Рыжий хлопнул себя по ляжкам.

— Чудак-человек, мать родная! А куда ж мне девать его, посуди, коли только купил? На руках таскать и того тяжче. Вот и мучаюсь,— и, переходя прямо к делу, ткнул пальцем в запонки.— Продаешь, что ли, товарищ превосходительство?

Бородка Евгения Павловича кивнула сверху вниз. Покупатель взял коробочку, повертел. Бледное солнце вспых-

нуло нежным отблеском на золотых ободках запонок. Рыжий склонил кривой нос к самой коробочке.

— Золотые?

— Проба есть на обратной стороне.

— Гм... А что тут баба налеплена с весами? Торговая видимость, что ли?

Пришлось на секунду замедлить ответ, пока удерживал ненужный смех. Спокойно объяснил:

— Это богиня правосудия — Фемида. А на весах — дела человеческие.

И вспомнил день, когда слушатели академии поднесли запонки в поздравление с производством в генерал-майоры. Но воспоминание было бледное, затянутое дымкой и мгновенно погасло.

— Хамида,— протянул рыжий с недоверием,— ерунда это, товарищ превосходительство. Неестественные сказки. Невозможно дела человеческие перевешать. Людей перевешать возможно — не осмелюсь спорить. Лишь бы веревки было вдосталь. А дела наши не перевешаешь, весы не выдержат пакости. Сколько просишь?

Евгений Павлович искоса взглянул на покупателя. Искривленный нос его все еще шарил по запонкам.

Выговорилось легко, с уверенностью:

— Пятьсот.

А сам подумал: «До двухсот спустить можно».

Но покупатель неожиданно положил коробочку в карман полушубка и, отвернув полу, отсчитал из раздутого, с прорванным краем, бумажника двенадцать зеленых и одну охряную керенку.

— Бери, растак твою фортуну. Деньги у меня бешеные, оставить некому. Детей пока родить не собрался.

Романовский полушубок завертела толпа. Евгений Павлович размял онемевшие ноги и пробрался в съедобный уезд базара.

Купил мешок пшена, сала, гречки, буханку ржаного и пяток белых пышек. Решив раскутиться, прихватил еще пакетик германского сахарина, осьмушку суррогатного кофе и направился домой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Матроса на углу Литейного уже не было. Словно и он не выдержал упругих рывков ветра, который, безумея, разрастался и гудел над городом.

Печатный лист на стене проспекта оторвался с края; ветер подлез под него и, вздувая бумагу, тужился совсем отодрать ее от стены и закружить над домами.

Евгений Павлович сначала равнодушно прошел мимо листа, но, не пройдя и десяти шагов, остановился. Странное чувство помешало ему идти дальше: показалось, что не сделано что-то очень нужное и спешное. И когда генерал прислушался к смутному бормотанию этого чувства, стало понятным, что оно толкает назад, к оборванному листу.

На лице Евгения Павловича появилось осторожное недоумение, а ноги уже поднесли тело к листу, рука взялась за оборванный край и придавила его к стене. Лист вырвался и заколотился еще яростней о штукатурку.

Евгений Павлович усмехнулся, поймал бумагу вторично и, не отдавая себе отчета зачем, поплевал на угол листа и прочно прижал еще сыроватый клейстер. Лист прилип.

Евгений Павлович с тихим удовлетворением оглядел его и отошел.

Над облинявшими шелушащимися домами, над гудением ветра, над горбинкой Литейного моста в конце проспекта стояло, зеленея ледяным ковшом, высокое хрупкое осеннее небо, тронутое уже понизу ядовитой желтизной заката. Его струящуюся зелень полосовала трескучим карканьем тревожная воронья стая. В нескольких саженях от Евгения Павловича, посреди мостовой, согнув передние ноги и вытянув задние, как палки, лежала выпряженная издыхающая ломовая лошадь.

Вокруг собралась кучка безразличных зевак; они стояли тесно, понурившись, словно им было страшно в этом умирающем ледяном городе, и последние вздохи лошади, натягивавшие над ее круглыми ребрами взлохмаченную, пропитанную холодным потом шерсть, как будто пророчествовали им о том часе, когда смерть придет и к ним, пока еще глядящим и слышащим.

Возчик-финн топтался у морды лошади, все еще держа в кулаке концы уже ненужных вожжей. Проходя мимо, Евгений Павлович заметил, что у возчика глаза такие же холодно-зеленые, как небо, и в них холодеют скупые мужицкие слезы.

Евгений Павлович прибавил шагу и, добравшись до своего подъезда, облегченно вздохнул. Позвонив, услышал за дверью осторожно шаркающие меховые туфли Пелагеи.

Не открывая двери, она несколько раз спросила Евгения Павловича, он ли звонит.

Задержка усилила накипавшее безотчетное раздражение.

— Что ты, старая, оглохла? — спросил, сбрасывая шинель и фуражку, и удивился, заметив куриный переполох в старческих глазках, за набрякшими красными веками.

Пелагея заморгала, зашамкала:

— Не гневайся, батюшка. Штрах меня вжял. Пока ты ходил, у наш барина Рогачевшкого убили мажурики.

— Как?! — вскрикнул Евгений Павлович.

Коленки даже дрогнули, словно в них развалились шарниры, и пришлось для равновесия опереться на вешалку.

— Как убили?

Старуха вдруг рассердилась.

— Как убили?.. Так убили, батюшка. Пришли в четвертый этаж, пожвонили, шпрошили Шергея Петровича; он только вышедши, а мажурики денег прошить. Он кричать, а они иж пиштолетов, а шами по лешнице вниж — и поминай как жвали. Прибежали жильцы, а он — вешь в крови; только головку поднял, шкажал «убили» и кончилшя.

Генерал справился с внезапной слабостью; только во рту остался тошнотворный металлический привкус, будто пожевал пулю.

Вынул покупки и, передавая Пелагее, вполголоса пробурчал:

— Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий.

— Што, батюшка?

— Это я, Пелинька, про себя. Ищу оправдания собственному существованию. А свари вот лучше кашку, есть все-таки еще нужно, хотя и бесполезно.

Придя в кабинет, отодвинул резное, в старославянском стиле, кресло перед письменным столом, сел и попытался представить себе живым убитого Рогачевского. Не выходило. Почему-то вспоминался только футляр виолончели покойника (Рогачевский играл в оркестре оперы) до мельчайших царапин, до завитушек серебряной монограммы «С. Р.», а сам Сергей Петрович как будто был покрыт мутным серым лаком, и из-под лака виднелось ясно только его левое ухо, изгрызенное в детстве собакой.

Зажмурясь, помотал головой, чтобы освободиться от залакированного облика убитого.

Из передней рассыпался стрекот звонка, прошаркала Пелагея. Генерал вскочил, иноходью прошелся в угол кабинета, выковырял паркетную плитку, стиснул добытый из-под паркета револьвер, подошел к двери, прислушался.

Из передней протрубил голос Арандаренко. Евгений Павлович поморщился, сунул револьвер на место, заложил плитку и притоптал ногой.

Инженер вломился слоновыми шагами, отдуваясь.

— Чуяли? Про Сергея Петровича? Это ж невозможно,— он облепил руку Евгения Павловича тестом своей неестественно огромной ладони и повалился в кресло.— До чего ж мы дойдемо? А? Середь города, середь бела дня чоловика вбылы.

Евгений Павлович молчал, рассматривая со вниманием носки своих ботинок.

— И розумиете,— повернулся Арандаренко, скрипнув креслом,— вызвали ихнюю милицию. Пришли три осла, очами хлопают. Я их спрашиваю: «Это что ж, называется рабоче-крестьянская власть, коли в два часа дня убивают?» А они в ответ: «Людей мало».— «Так не надо было за власть цапаться, коли у вас людей нема»,— говорю. Так один на меня очами як зиркне: «Не вашего ума дело, товарищ». А? Тю, сволочь!

— Трудно им,— нехотя ответил генерал, переводя взгляд с ботинок на лицо инженера.

— То есть, не розумию я вас, Евгений Павлович. Какой-то вы такой стали, добродию, простите, пуганый. Не то всепрощение, не то всеприятие.

Глаза инженера, выпученные начинающейся базедовой болезнью, были похожи на глаза пучеглазой зеленой кваквы, и он сам сидел в кресле, как кваква,— растерянной раскорякой. На секунду подскочила шалая дума: «А вдруг квакнет и прыгнет?»

От этого, прежде чем ответить, улыбнулся и, подавляя улыбку, заговорил:

— Всеприятие? Пожалуй, верно вы сказали. Не всеприятие, а вот приятие, если хотите, вот тут где-то,— генерал дотронулся до левого бока серой тужурки,— в самом деле сидит. Ум говорит: «Нельзя», а вот тут шепчется: «А ты вникни». В первые дни хотел за границу уехать. Остановило. И знаете, что остановило? Подумал: «Вот уеду и никогда больше не увижу этого покосившегося русского заборчика, хилой избенки, березок, разбитого проселка,

а будут кругом чистенькие холощеные оградки и на них таблички: «тут можно», «тут нельзя». И не мог уехать. Лучше грязное, кровяное, да свое, нелепое, косолапое, причиняющее муки другим и само страдающее...

— Что ж, вы, значит, их признаете? — перебил Арандаренко.

Евгений Павлович щипнул несколько раз бородку. Ответил на вопрос не прямо:

— Я вот этого сам себе не могу объяснить точно. Казалось, кому, как не мне, придумывать точные формулировки. Юридический профессор, приказная крыса, а вот, подите,— формулировки найти не могу. Сказать, что признаю вот так, как старое признавал,— не могу, но и против не пойду. И врагом не стану. Я мимоидущий... наблюдающий. А порой даже кажется... Да вот вам странный случай. На Литейном плакат. Красный террор. Смерть буржуазии. Значит, мне смерть, вам смерть. Кажется, должен бы возмутиться. А возмущения нет. И они ведь имеют право защищаться.

— Это про покушение на Ленина? Не удалось,— сказал инженер, обуянный своими мыслями.

— Рад, что не удалось,— гневно сказал Евгений Павлович,— мерзость этот терроризм, свинство человеческое. И террористы в девяноста случаях негодяи, а в десяти психопаты. Умом взять не могут, берутся за бомбу или пистолет, а того не понимают, что хода истории пулей не остановить. И получается голая подлость или дурачество. Я в молодости еще, когда в Севастополе помощником прокурора был, с двумя сопляками столкнулся. Бомбу в командира экипажа бросили. Обоим по шестнадцати лет — мозги еще жидкие. Я посмотрел на них и обвинять отказался. Что с недоросля спрашивать, да еще коли недорослю голову свернули взрослые проходимцы и за их спины спрятались. Стрелять в Ленина! Нет силенки у эсеров чужую мысль одолеть. Нашли истерическую сволочь, сунули в руки револьвер, а сами хвост набок и до лясу. Прохвосты!

Арандаренко опять заскрипел креслом.

— Да вы прямо больны, добродию. А? По-вашему, так нужно поклониться да расшаркаться. Приходите володети и княжити, а мы вам ковриком под сапожки. То, мабуть, з того, що вы кацап, Евгений Павлович. Ваши деды татаровьям ясак платили триста лет, а наши хохлы татаровьев на колья сажали.

Самоуверенный голос инженера разбудил где-то глубоко запрятанную гордость. Показалось нужным одернуть расплывшуюся на кресле тушу.

— Вы моих дедов не трогайте,— вздернулся бородкой генерал,— может, они и к татаровьям на поклон ходили, а под конец ваши деды к моим под полы полезли защиты искать. То-то. А про эту власть сказал и повторю — приемлю. А если трудно принять сразу, то для меня и это понятно-с. На то и юрист я. Всякая революция-с,— Евгений Павлович начал сердиться и пустил в ход язвительные «ерсы»,— всякая революция-с по отношению к предыдущим устоям есть юридическая новелла-с. Французская была юридической новеллой по отношению к феодализму-с, эта — по отношению к капитализму-с. А такие, как мы с вами-с, туполобые мастодонты, рабы традиций-с. И вот не приемлем. И в дураках сядем-с.

Сказал и отошел к окошку. За окном по-прежнему гудел ветер, и садилась на крыши блеклая чахоточная мгла. С непонятным самому себе злорадством слышал за спиной сопение инженера, выкарабкавшегося из кресла.

— Говорю вам — больны вы, добродию. Треба вам эскулапа. Бувайте здоровы. Вижу, что с вами не сговоришь.

Молча проводил инженера до парадной двери, запер цепочку и прошел в столовую. На столе в кастрюльке дымилась пшенная каша. Пелагея стояла у стены, скрестив руки на высохшей груди.

— Садись, старая,— сказал Евгений Павлович, придвигая стул,— поужинаем вместе. Так сказать, содружество пролетариата с буржуазией. Внеклассовое занятие — насыщение утробы.

Рассыпчатая каша горячо обжигала язык. Пелагея облизывала кашу с ложки, старчески жадно шлепая губами, и, поглядев на нее, Евгений Павлович горестно усмехнулся:

— Все хочет жить, даже самое старое, ненужное. И живет для любопытства...

Окончив ужинать, отодвинул тарелку на середину стола и возвратился в кабинет. Из среднего ящика достал квадратную тетрадку в зеленом сафьяне, густо исписанную, и неторопливо долистал до чистой страницы.

Взял перо, окунул в чернильницу, ногтями осторожно снял соринку и, задумавшись немного, вывел в углу число. Под числом бисерной вязью, наклонной и острой, настрочил:

«Сегодня ходил на базар продавать запонки с Фемидой. Продал удачно. Не могу сердиться на жизнь, ибо обида заглушается любознательностью: а что же будет дальше? С Арандаренко не могу говорить. Не принимать нужно умно,— он этого не умеет: у него гнев базарной торговки, которую обсчитали. Смотрел на город. Он страшен, но мне показалось, что он не умирает, а, наоборот, поправляется после смертельной болезни, потому что люди, которым он принадлежит теперь, здоровы. И Россия тоже вылечится, когда отомрет и отпадет шелуха».

Поднял кисть с зажатым между пальцами пером, сосредоточенно сдвинул брови и быстро, словно боясь, приписал: «Верую, господи, помоги моему неверию».

Закрыл тетрадку и, когда клал в стол, услышал за окнами стрекот автомобильного мотора, оборвавшийся у подъезда. Не умом — догадкой сказалось, что автомобиль неспроста, и, встав из-за стола, генерал застегнул на все пуговицы серую двубортную тужурку. В передней прозвонили коротко и звучно. Генерал остановил шаркающую к выходу Пелагею.

— Не ходи, Пелинька. Я сам открою.

Равнодушно с виду,— а сердце, усталое и расшатанное годами, заплясало гулко, стремительно,— взялся за дверную ручку и спросил:

— Вам кого?

Из-за двери торопливый голос спешащего человека:

— Генерала Адамова.

Цепочка, визгнув, повисла и закачалась. В переднюю вошли, один за другим, трое. Один в черном пальто, два в кожаных куртках. На поясах у них висели мятые засаленные кобуры.

В черном пальто сказал деловито и скучно:

— По мандату чека. Подлежите...

— Пожалуйста,— вежливо и даже с улыбкой перебил Евгений Павлович.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Люди на новом месте — что тараканы.

Если взять двух тараканов из разных мест и посадить в застекленную сигарную коробку, тараканы сперва придут в горячечное беспокойство.

Заелозят, замечутся, ровно их кипятком ошпарили, за-

кружат по всей коробке, без смысла и цели. А уставши от дурного бега, начнут, встречаясь параболами, принюхиваться друг к другу, усиками пощекотывать, будто сказать хотят:

— А дай-кась я тебя пощупаю, какой ты есть таракан и какой породы?

Принюхавшись, расползутся по углам коробки, выберут себе каждый уютное местечко, засядут там в тихой меланхолии и так беспечно и неторопливо ходят друг к другу в гости. Прижились.

Так и люди.

Сперва показалось Евгению Павловичу, что попал он в актовый зал кадетского корпуса в тот день, когда привезла его взволнованная мать определять в учение.

В двусветном корпусном зале толкалась сотня мальчишек, еще в коротких штанишках и цветных рубашечках.

Мальчишки озирались, косились; робкие жались под крылья матерей, а которые похрабрее подходили один к другому, обнюхивались, спрашивали:

— Как тебя зовут?

— Кто твой папа?

— А мой полковник.

— А у тебя перышки есть?

— А в пуговицы играть умеешь?

Опросив так новых знакомцев, брались за руки и уже весело и задорно бегали по залу, пока не вошел, пританцовывая, звеня малиной шпор, дежурный офицер, провел ладонью по усам и зыкнул:

— Кадеты, по классам!

Все казалось, как в корпусе. Белый двусветный зал опустелого особняка, куда, за неимением приспособленного помещения, сбили разномастную толпу заложников, был — две капли воды — похож на корпусный. Толкущиеся в нем люди — на мальчишек, пришедших держать страшный экзамен.

Разница была лишь в том, что мальчишки повыросли, облысели, поседели, а в глазах у них трепетал не мальчишеский текучий, а тяжелый, нетаимый и недвижный смертный страх.

Но так же, как в корпусе, подходили друг к другу и таинственно-пониженно спрашивали:

— Вас когда забрали?

— А меня прямо с постели.

— Сергей Сергеич было уперся. Княжеская гордость

взыграла. «Я, говорит, только приказы его величества исполняю». Так его, понимаете, прикладами погнали.

— Нет, что же это будет? Что с нами сделают?

— А я, знаете, все же успел драгоценности припрятать.

Старые мальчики сходились и расходились — сумрачные, встрепанные, выбитые из колеи. Ждали последнего экзамена.

В зеркальные окна двусветного зала, топорща ветки деревьев, как жесткую щетину солдатских усов, заглядывала с ледяной ухмылкой синяя морда осенней ночи.

И вместо дежурного офицера в распахнувшуюся дверь, за пролетом которой в тусклом дыму коридора блеснули штыки часовых, ворвался худой, остроскулый верзила в измызганной солдатской шинели. Лицо у него было бледное и светилось изнутри мертвой стеариновой прозрачностью, а немигающие зеленые глаза таяли в темно-коричневых нимбах набрякших бессонницей век.

Он развернул бумагу и вскочил сапогами на белый шелк золоченого кресла, стоявшего у двери.

— Ставай до стенки в два ряда! — закричал он.— Перекличку робим. Как кликну чию фамилию, обзывайсь: «Я». Ну, живо!

И от его хрипловатого фальцета сгрудившаяся на середине зала толпа особ, не ниже пятого класса табели о рангах, всполошенно затопотав, как деревенские новобранцы, впервые попавшие в казармы, откатилась плотным комом к стене, растянулась резиновой жамкой и прилипла вдоль окон.

На двух рядах помертвелых лиц тревожными плошками замерцали глаза, прикованные к стеариновым щекам человека на кресле.

Человек сплюнул на пол, сказал вразумительно:

— Смирно! Я ваш комендант. Как кому за нуждой, обертайтесь до меня. А теперь отвечай на вызов.

От людского частокола, вбитого вдоль окон, проползли подавленные вздохи, и голос, деланно-спокойный, тая невысказываемое подозрение, коротко, словно пугаясь сам себя, спросил:

— А зачем перекличка?

Стеариновое лицо вдруг широко улыбнулось.

— Для порядка. Ровно не знаете? Надо ж на вас жратво выписывать аль нет?

И, предупреждая дальнейший разговор, горласто крикнул:

— Адамов!

Было неожиданно странно услыхать свою раздетую, освобожденную от звания, имени и отчества фамилию. Даже не понял сразу Евгений Павлович, что это он, превосходительство, генерал-майор, профессор Военно-юридической академии, может быть голым Адамовым.

Оттого не ответил и с недоумением скользнул глазами по рядам, ища другого, спрятавшегося Адамова. Но из рядов смотрели такие же вопрошающие и недоумевающие взгляды.

— Что ж, нет Адамова, что ли? — спросил комендант и повторил:

— Адамо-о-ов!

Руки упали по швам, грудь выпрямилась и, как в мальчишестве, на корпусной перекличке, Евгений Павлович звонко бросил:

— Я-аа!

Комендант скосился.

— Что ж это вы, старичок? Ежели я каждому по два раза кричать буду, надолго моей горлянки хватит? Ежели б вы штатский генерал — так ничего, а раз военный, должны понятие иметь.

Устало-презрительный голос коменданта воскресил в Евгении Павловиче давно забытое смущение от начальнического нагоняя. Он опустил голову и покраснел. Оправился, только услышав следующую фамилию:

— Архангельский!

К концу переклички комендант осип и с явным удовольствием выкрикнул последнего.

— Якунчико-о-ов!

Мумифицированный профиль фараона сухо шамкнул:

— Я.

Комендант спрыгнул с кресла.

— Точка в точку. Все налицо. Сто восемьдесят два,— и обтер рукавом шинели вспотевшую верхнюю губу.— А теперь — гайда, братва, мешки соломой набивать на матрацы. Двадцать человек надо.

Частокол у окна сломался, задышал, рассыпался в зале.

Нервический, заплывший желчью голос ударился в стеариновое лицо коменданта.

— А кровати где?

Комендант отступил и удивленно охнул.

— Кровати? Не напасли на вашего брата кроватев. И на полу хороши будете. Сам пятые сутки в шкафу сплю.

И на что вам кровати, когда, може, вашего житья на кровати лечь не осталось. Лягайте на пол без бузы.

Толпа особ не ниже пятого класса зашевелилась.

На коменданта накатился огромный мяч для кавалерийского поло. Под мячом были ноги в серых штанинах Бульбовой ширины. Сверху мяч увенчивался апоплексически-бурой головой с выпяченными губами. Мяч был в чине тайного советника и звании сенатора.

Взмахивая короткими руками,— было похоже, что взлетают привязанные к мячу сардельки,— тайный закричал странным детским дискантом:

— На полу? На полу «лягать»? Кому? Мне? Тайному советнику?! Стреляй меня, сволочь, хам неумытый! Чтоб я, сенатор, кавалер Александра Невского, на полу валялся? Я в жизни на полу не спал, понимаешь ты, олух!

Глаза коменданта, утопающие в коричневых нимбах, зло округлились, и жилки на белках налились кровью.

— Не лягешь? — спросил он уверенно.— Лягешь, матери твоей черт! В дермо лягешь, навозом накроешься. Не спал? А я спал? Я, может, тоже в деревне на печи привык, а ноне, как цуцык, маюсь. И ты помаешься, матери твоей черт.

— Не смей тыкать, мерзавец! — визгнул тайный.

Комендант упер руки в бока и исподлобья, с усмешечкой, смотрел на тайного. Человечье стадо раскололось на две отары. Одна, побольше, отхлынула в угол; другая, поменьше, окружила коменданта и тайного, ворча и щетинясь.

— Чтоб была кровать!..

Тайный вздулся от багрового апоплексического прилива, схватил кресло, на котором стоял комендант во время переклички, и, повернув его размахом, бахнул об пол. Ножки взвились в воздух, одна ударила коменданта по колену. Комендант вскрикнул и запустил руку в карман.

Ворчащая отара рассыпалась горохом. Тайный и комендант стояли наедине один против другого. С одутловатых щек тайного медленно сплывал бурачный жом, и на губах проступила мутная лазурь. Комендант непослушными пальцами дергал карман, пока не замерцала тускло и холодно вороненая сталь нагана. Наган поднялся в уровень с лицом тайного.

Кто-то вскрикнул в углу, взглянув на закушенные губы коменданта и на его зрачки, опустевшие и глубокие, как дуло револьвера.

Серый рукав протянулся в воздухе, и на вздрагивающую кисть коменданта, сжимавшую наган, легла маленькая сухая рука. Тихий голос сказал:

— Не нужно...

Комендант повернул голову, встретил горячий взгляд человека в серой генеральской тужурке. Глаза коменданта погасли.

— Вы чего цапаетесь, старичок? — спросил комендант туго, но уже успокоеннее.

И Евгений Павлович повторил:

— Не нужно.

Комендант опустил револьвер и выругался. Но, не слушая его, Евгений Павлович повернулся к сбившимся у стены.

— Господа, не будем раздражать друг друга. Комендант кроватей из пальца не может высосать. Если мы хотим чего-нибудь требовать, нужно делать это организованно и корректно. А пока нужно набить матрацы. Кто пойдет?

— Во! — сказал комендант, засовывая наган в штаны.— Это правильный старичок. Добром все можно сделать, а кричать, господа хорошие, забудьте. Собирай партию мешки наваливать.

У двери собралась толпа. Комендант сам отсчитал партию.

— Хватит! А вы, старичок, мозговитый, так вот, будьте пока старостой по камере. Блюдите за порядком, чтоб бузы ни-ни,— сказал он, потрепав Евгения Павловича по плечу.

Отсчитанные выходили в двери. Тайный советник, отдышавшийся, препебрежительно свел одутловатые губы и вбок кинул Евгению Павловичу:

— Выслуживаетесь, милостивый государь! В красные командиры хотите? Дослужитесь до виселицы.

Евгений Павлович взглянул на не успокоенные еще щеки тайного. Стало жалко его. Подумалось беззлобно и мягко:

«Эхма! На груди у тебя Александр Невский, а в голове и Анны четвертой степени не хватает».

Но вслух ничего не сказал.

Комендант торопил выходить.

— Топай, братишка,—сказал он генералу, устало усмехаясь.

Через час на мягкой и хрусткой соломе устроились по углам, как тараканы. Тайные с тайными, действительные

с действительными, военные с военными и, как тараканы, ползали друг к другу в гости.

Встревоженному телу сладко протянуться на хрустящем мешке. Подбивая солому, чтобы было поудобней, Евгений Павлович обронил вбок соседу:

— Интересные события!..

Сосед, хмурый, малярийного цвета полковник, молча расстилал одеяло. Ответил нехотя:

— Может быть, и интересные, но думаю, что́ для нас ненадолго.

— Пустяки,— ответил Евгений Павлович,— смерти я нисколько не боюсь. Досадно только, что мы не увидим будущего. Очень досадно!

— Не стоит смотреть. Паршивое будущее, ваше превосходительство.

— Не скажите,— ответил Евгений Павлович, поправляя подушку,— будущее всегда прекрасно, к кому бы оно ни оборачивалось лицом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из ночей, проведенных в двусветном зале, запомнилась навсегда пятая. Запомнилась жестко, до мелочей, проморозив память о ней пронзительным и острым инеем.

В десять вечера, сдав коменданту списки на паек, Евгений Павлович лег на свой мешок. Одолевала вязкая усталь. В сумятице и тревоге этих дней генералу не удавалось выспаться, и веки подушечками нависали на глаза. Евгений Павлович докурил козью ножку, свернутую соседом-полковником, и, подложив под голову сухую ладошку, заснул, открыв рот и присвистывая носом, как грудной ребенок.

Бородка, тускло серебрясь, вздернулась к потолку.

В смутном и душном сне привиделось: будто лежит он, Евгений Павлович, в столовой своей квартиры, и лежит в хорошенькой колыбельке, обшитой голубыми шелковыми бантами. Лежит крошечным двухмесячным ребенком, но лицо старое, такое, как сейчас, и шевелится над конвертиком бородка. И вместо стеганого детского одеяльца накрыт Евгений Павлович кавалергардским вальтрапом с шитыми андреевскими звездами, а на самом не распашонка, а полная генеральская форма с орденами. У колыбельки сидит старая Пелинька в кожаной лоснящейся куртке, морщи-

нистой рукой покачивает колыбельку, а другой рукой осторожно снимает, один за другим, ордена и сбрасывает их, как сбрасывают насекомых, короткими и брезгливыми щелчками. И говорит Евгению Павловичу:

— Какой шелухой-то порос, болезный мой. И с чего к тебе это прикинулось?..

Хочется Евгению Павловичу ответить няне, что пройдет это, что очистится шелуха, но из открытого рта вылетают не слова, а звенящий крик:

— Уа-ааааа.

Вздернув головой, Евгений Павлович проснулся и приподнялся на локте.

Крик еще звенел в воздухе, и Евгений Павлович понял происходящее, лишь когда комендант вторично крикнул, стоя в дверях:

— Встава-ааай!

И опять, как в первый вечер, растянулась, прилипла к стенам резиновая жамка, и похоронными факелами запылали глаза на лицах, нарисованных над рядами мрачным фантастом-художником, страдающим смертными кошмарами.

В распахнутых в коридор дверях мутными оранжевыми огоньками мелькали кончики штыков и ерошились примятые папахи красногвардейцев.

Комендант оглядел ряды своими немигающими травяными зрачками, устало мотнул челюстью и сказал:

— Адамов!

Евгений Павлович подпял опущенную голову и посмотрел в лицо коменданта цепким, все замечающим взглядом, а пальцы рук мгновенно похолодели и одеревенели.

Но комендант не задержался на Евгении Павловиче и с хмурой гримасой ткнул ему в руку листок бумаги.

— Выкликай,— приказал он.— Кого выкликнешь — пущай отходят к дверям.

Евгений Павлович заглянул в лист. Буквы набухали и колебались. Слабым голосом, срываясь, он выкрикнул первую фамилию, и от стены, словно отклеившись, отпал и сразу утерял живую связь с оставшимися тайный советник, похожий на огромный мяч для кавалерийского поло. Словно разваливаясь на ходу по суставам, он тяжело проволочил ноги к двери, и эти пятнадцать шагов стоили ему бо́льшего труда, чем все пространство, пройденное за некороткую жизнь. Это было видно по тому, как ставились

ноги на грязный паркет, носками внутрь, грузно и неуклюже. Широкие серые брюки обволакивали ноги, словно пытаясь удержать их, и ноги под брюками уже не гнулись, как мертвые.

За тайным пошли другие, такие же потерянные, так же мгновенно и страшно отрывающиеся от жизни, увидевшие за мутным туманом коридора, за оранжевыми искорками красногвардейских штыков неотвратимую и последнюю пустоту.

В списке было двадцать семь фамилий, у двадцати семи фамилий было двадцать семь сердец, стрекочущих всполошенным боем, сжимающих сумчатые мускулы, словно их уже касалось остренькое и горячее рыльце пули.

Шатаясь и смотря в потолок, чтобы не видеть этих лиц и глаз, Евгений Павлович опустил дочитанный список; листок вырвался из его пальцев и, перевернувшись два раза на лету, лег на пол.

Комендант, оправляя ремень на шинели, глухо произнес, убегая глазами в угол:

— Выходи в коридор! Вещей не брать. Не нужно.

Молчали.

Стояли неподвижно, не отрывались взглядами от остающихся.

— Да выходи же! — вскрикнул комендант, и Евгению Павловичу показалось, что голос его сейчас вот порвется, лопнет от нестерпимой для самого коменданта боли.

И тогда, тяжко отлипая от пола, затопали свинцовые ноги, и кто-то из уходящих закричал тонко и высоко:

— Прощайте, господа! Не поминайте лихом!..

И, словно крик был лучом прожектора, впившимся в смятенную душу ярким сигналом, позвавшим в жизнь, пусть ненужную и странную здесь, в двусветном зале, на соломенных мешках, с протухлым пайком, но незабвенно прекрасную жизнь,— тайный советник высоко вскинул руки, перебежал зал к тем, к остающимся, и, выкатив белки, вцепился пальцами — как пожарник крюком в железную крышу — в борт чьего-то пиджака.

Евгений Павлович зажмурился. В уши ему хлестнуло воплем.

Кричал тайный советник. Кричал хрипло и надрывно, задыхаясь и выплевывая слюну:

— Не хочу!.. Не хочу!.. Я домой хочу!.. Домой!.. Не держите меня... Я не хочу умирать!.. Я двадцать семь лет государю служил... слу-у-ужил...

Евгений Павлович с усилием разлепил ресницы и встретился взглядом с комендантом. Зеленые зрачки коменданта плавали в мути, и его стеариновые щеки натянулись на скулах туго и плоско, как материя на мебели.

Евгений Павлович поднял руку, открыл рот, но комендант внезапно отвернулся к двери, где топтались сбившиеся люди.

— Марш в коридор, матери вашей черт! — заорал он дурным, истошным голосом и, когда шарахнувшаяся кучка выдавилась из дверей, позвал: — Тимошук! Середин! Ванька! Берите его, берите, черт вас дери!

Трое красногвардейцев ухватились за тайного.

Страшна человечья сила, когда тянется к жизни. Выкручивая руки, ломая вцепившиеся в лацкан пальцы, пыхтя и сопя, отдирали красногвардейцы тайного от его соседа. И сосед, побелевший, подергивая челюстью, сам помогал им вырвать лацкан у тайного, страшась, чтобы их вместе не выволокли за роковую дверь.

Тайный визжал, плевался, кусал красногвардейцев за пальцы, лицо его вздулось, стало похожим на багровый нарыв, готовый прорваться и залить все гнилой черной кровью.

Тайного свалили с ног и протащили к двери под мышки. Один из красногвардейцев придерживал его вскидывающиеся и бьющие в пол каблуками ноги.

Дверь захлопнулась.

И сразу, как по команде, все стихли и примерзли к местам, жадно прислушиваясь к удаляющейся по коридору возне и затихающим крикам.

Осела томительная, остро визжащая в ушах, после крика и топота, чугунная тишина. От нее стало еще страшней. Во рту у Евгения Павловича высохла слюна, и губы прилипли к зубам.

Он отошел к своему месту на нарах и тут только сообразил, что его сосед, малярийный полковник, тоже был в числе вызванных. На его сером одеяле осталась лежать обгорелая спичка и недоеденный сухарь. Возле сухаря по ворсу одеяла рассыпались мелкие желтоватые крошки.

Евгений Павлович машинально собрал крошки в ладонь, размял их пальцами и ссыпал на пол. Взял спичку, соскреб с нее сгоревшую головку, сломал и тоже бросил. И, бросив, понял с мгновенным режущим холодком, что больше полковник никогда уже не съест сухаря и не зажжет спички.

От этого во всем теле, словно тонкие червячки, зашевелились нервы.

Евгений Павлович закусил губы. Пронеслась быстрая, как вспышка спички, мысль: «Убийцы!..»

Но на лицо всползла тут же болезненная и неловкая улыбка, и генерал сказал сам себе, натягивая на голову одеяло, чтобы не видеть камеры и придавленных дыханием смерти людей: «Непоследовательно, Евгений Павлович! Вы сами говорили о юридической новелле, уважаемый профессор истории права. Так вот: это одна из новелл этой самой истории».

С улицы напористо рвался в зал особняка иззябший осенний ветер, равномерно постукивая в стекло оборванным наружным термометром. Этот стук звучал, как треск взводимых курков.

Евгений Павлович слушал его до утра, кусая губы, неловко усмехаясь и прислушиваясь к сполошному шепоту неспящих людей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как всегда, Евгений Павлович отмечал огрызком карандаша откликающихся на вызовы во время утренней переклички. Это утро было началом четвертой недели ареста. К концу переклички перед глазами Евгения Павловича замелькали дрожащие серые точки, медленно таявшие в зрачках, как клочки дымчатой вуали.

Задрожали колени, и ослабли связки, ноги у генерала подогнулись. Как во сне, с трудом различая лица стоящих в шеренгах, он довел перекличку до конца.

За три недели сумрачные осенние ночи вырвали из списка заложников шестьдесят девять человек, не вернувшихся обратно, и список значительно укоротился. Отметив последнюю фамилию, Евгений Павлович сложил список и присел на нары, сдавив ладонями виски.

Эта вялая слабость, валившая с ног, мутившая зрение и подтачивавшая генерала, как вода подтачивает грунт под запрудой, началась еще со второй недели, и причина ее была ясна Евгению Павловичу: он недоедал.

Стариковское здоровье не могло противостоять голодовке. Казенного пайка было мало, чтобы с достаточной силой разогреть разжиженную годами кровь и погнать ее тугим напором по кровеносным сосудам. Осенние ночные холода тоже давали себя знать в просторной кубатуре двусвет-

ного зала, и часто по ночам Евгений Павлович просыпался от едкого озноба и напрасно подворачивал со всех сторон одеяло.

Другие заключенные уже с первых дней стали получать передачу продуктами из дому. Ежедневно караульные передавали в камеру кульки, пакетики и корзинки со снедью. Некоторые счастливцы получали даже слишком много и от избытков угощали соседей.

Евгений Павлович ни разу не получал передачи. Да и неоткуда было ждать. Родных в городе не было, знакомым впору заботиться о себе, и они, вероятно, и не знали о судьбе генерала. Старая Пелинька была слаба, несообразительна и безграмотна и даже при желании не могла бы докопаться до исчезнувшего барина.

Изредка Евгений Павлович разделял трапезу соседей, но делал это неохотно. Казалось неудобным лишать людей их доли, и предлагаемые куски как-то застревали в горле, а кроме того, большинство заключенных тайно, а некоторые совершенно открыто относились к генералу с нескрываемой враждой и ненавистью.

Ненавидели за то, что Евгений Павлович — староста камеры, что он «прислуживается к палачам», что он — «изменник присяге и родине», и часто вслед проходящему по камере генералу ползло заглушенное, но явственное шипение врагов:

— Красная подлиза шествует.

— Большевистский лакей.

— Сволочь!..

Однажды ночью к Евгению Павловичу подсел белобородый член Государственного совета, чье имя часто встречалось в недавнем прошлом на столбцах газет с эпитетами «маститый», «наш уважаемый», «почтенный государственный деятель», «столп государственности».

Столп государственности склонил к Евгению Павловичу лысый череп, и желтый блик лампочки скользил по розовой пустоши, как по полированному бильярдному шару.

— Вы простите меня, ваше превосходительство,— произнес он, слегка пришепетывая,— но мне кажется, что вы не вполне уясняете себе, в какое неловкое положение вы сами себя изволите ставить вашим поведением.

Евгений Павлович смотрел на блестящее пятно, скользившее по лысине. Ему внезапно стало смешно, неудержимо смешно, и он с трудом сдерживал дергающую щеки судорогу.

Собеседник заметил это, и лицо его стало замкнутым и осуждающим.

— Вы, кажется, изволите находить мои слова смешными?..— спросил он язвительно.

Евгений Павлович, не отвечая, смотрел ему в переносицу. Член Государственного совета покраснел.

— Как угодно, ваше превосходительство. Мое дело предупредить вас. Вы сами понимаете, какую ответственность вы понесете в первую голову, когда восстановится законная власть.

Слова «законная власть» он произнес трагическим шепотом и поднял плоскую кисть руки вверх, как для присяги.

Евгений Павлович сузил глаза в две щелочки.

— А у вас есть уверенность, ваше превосходительство,— в тон разговора ответил он собеседнику,— что эта власть незаконная?

Собеседник несколько секунд смотрел в лицо генералу округлившимися желтыми старческими белками, затем резко встал, с отталкивающим жестом, и поспешно отошел к своему месту.

Генерал тихо усмехнулся ему вслед.

Этот разговор отчетливо вспомнился сейчас, после переклички, когда перед глазами плавали обрывки дымной вуали.

Евгений Павлович посидел еще некоторое время на нарах, тщетно стараясь задавить терпкое сосание в горле и подступающую тошноту. Но с каждой секундой становилось все тяжелее. Он встал. Камера показалась плавающей в молочной пелене.

«Вероятно, накурили очень»,— подумал Евгений Павлович и решил выйти в коридор.

Прогулки по глухому коридору заключенным разрешались.

В коридоре на табуретке у двери сидел красногвардеец, зажав винтовку между коленями, и, оттопырив вздутые мальчишеские губы, старательно читал газету.

Евгений Павлович мельком взглянул на него.

Подумалось: «В наше время показали бы часовому, как газету читать. А этот, как муха к меду, прилип. Хорошо или плохо? Политически просвещенный солдат. Нужно ли? Верно, нужно, раз читает...»

Мысли скользили, разметывались.

Генерал облокотился на выступ стены, поднял руку ко

лбу. Ладонь прилипла к холодной, взмокшей противной испариной коже. Он удивился и испугался. Но прежде чем успел подумать об этом, дымная вуаль снова упала откуда-то сверху. Он скользнул ладонью по обоям, пытаясь задержаться.

Красногвардеец отбросил газету и вскочил, увидя, как бесшумно и неторопливо ссунулось вдоль стены на пол сухонькое тело в двубортной тужурке с красными отворотами.

Евгений Павлович очнулся в сводчатой комнате, похожей на готическую капеллу. Стены ее были отделаны резным темным дубом. Здесь, в бывшем кабинете владельца особняка, комендант устроил свое обиталище.

Зеленые зрачки коменданта, не мигая, смотрели сверху на генерала, положенного красногвардейцами на широкий кожаный диван. В зрачках было простое человеческое беспокойство.

Евгений Павлович пошевелился и не то вздохнул, не то простонал. Комендант прикоснулся к плечу лежащего.

— Не дергайтесь, старичок, не дергайтесь. Лежите себе, пока доктора не приволокут. Что это с вами?

Евгений Павлович пошевелил бородкой.

— Не знаю, право,— как бы извиняясь, пролепетал он хрипло,— упал, сам не знаю как. Страшная слабость...

— Чего же это вы так ослабли? — спросил комендант, разминая пальцем щеку.— Со страху, что ли?

Евгений Павлович нашел силы отрицательно мотнуть головой.

— Нет... Я не боюсь. Думаю, что я просто ослабел от недоедания. Я уже стар, здоровье ушло,— прошептал он грустно, и ему стало жаль самого себя и того невозвратного времени, когда мускулы были молоды и крепки, а желудок презирал голод.

— Вот что-о!..— протянул комендант.— Да, на нонешней пище и который помоложе пояс стягивает.

Дверь в комендантскую заскрипела. Сопровождаемый красногвардейцем, вошел молодой врач. Он, видимо, был вытащен из дому и до полусмерти перепуган. У него тряслись не только руки, но даже вздрагивали тонкие, закрученные кверху, белокурые усики.

— Товарищ доктор,— сказал комендант, указывая на Евгения Павловича,— уж простите за беспокойство, но

только требуется посвидетельствовать старичка, как он у нас слимонился.

Доктор, беспокойно смотревший на коменданта, просветлел. Он понял, что ему ничто не угрожает, и уже привычным жестом распахнул пальто и достал из кармана пиджака блестящую костяную трубочку стетоскопа.

— Снимите куртку,— приказал он Евгению Павловичу.

Генерал послушно поднялся, разделся. В белесоватом свете осеннего утра, скупо капавшем в переплет окна, собственное тело показалось ему жалким и никому не нужным. Оно сквозило больной желтизной, и под собравшейся пупырышками кожей проступали, вздуваясь жесткими дугами, выпирающие ребра. Доктор наклонился и приставил к ключице Евгения Павловича стетоскоп.

Тихо разговаривавшие красногвардейцы-конвоиры смолкли, и несколько минут генерал слышал только свое слабое и хриплое дыхание.

— Сколько вам лет? — спросил врач, складывая стетоскоп.

— Шестьдесят три.

— Ну, ничего особенного,— сказал доктор, поворачиваясь к коменданту, чувствуя в нем официальное лицо,— малокровие, катаральное состояние верхушек, очень пониженное питание. Обморок произошел от слабости, вызванной недоеданием и отсутствием свежего воздуха. В возрасте больного...

— Понятно,— перебил комендант.— Валите домой. Мы уж тут сами что-нибудь придумаем. Лекарства никакого не пропишете?

— Нет. Лекарства больному не нужны. Воздух и усиленное питание. Больше ничего.

Доктор ушел. Евгений Павлович напяливал тужурку. От холода он дрожал все дробнее и не попадал в рукава. Комендант машинально помог ему, думая о чем-то другом, и, когда Евгений Павлович застегнулся, комендант, словно разбуженный, остановил на нем травяные искорки.

— Что ж это, старичок? Другим вот из дому носят же корм, а вам нет. Что ж, ваши сродственнички забыли или боятся до нас носа показать?

— У меня никого нет в городе,— вяло ответил генерал.

— А где ж ваши?

— Жена умерла, сын убит еще во время войны, две дочери замужем на юге. Здесь со мной жила только старушка няня. Но она стара, слаба, неграмотна — и ничего не может сделать. Она даже, наверно, не знает, где я, а известить ее я никак не могу. Я совершенно одинок,— сказал Евгений Павлович с острым отчаянием и взглянул на коменданта.

И опять увидел в его глазах обычную человеческую жалость. Комендант стоял и, хмуря брови, думал.

— А где ваше жительство, старичок? — спросил он наконец.

— Я жил на Захарьевской,— ответил Евгений Павлович,— дом двадцать семь.

Комендант положил руку на плечо генерала и проговорил намеренно бодро и весело:

— Вы идите теперь, старичок, до себя в камеру и ложитесь. Я завтра, как освобожусь на момент, дойду до вашей старушки, перемолвлюсь с ней, чтобы она вам прислала съестного.

— Спасибо,— сказал Евгений Павлович, краснея.— Мне, право, неловко вас затруднять. Я напишу Пелиньке, чтобы она продала вещи и купила продуктов.

— Нет, насчет писания — это запрещается. Вы мне сами скажите, а я ей передам.

Евгений Павлович подумал.

— Тогда скажите ей, чтобы она продала серебряные ложки из левого ящика буфета, потом золотой портсигар, она знает где, этого хватит мне, пока жив.

— А зачем вам помирать, старичок? — спросил комендант.

Евгений Павлович не ответил и с изумлением взглянул на коменданта. Комендант понял невысказанное, пробежавшее хмурой тенью по лицу генерала, и криво усмехнулся.

— Д-да, конечно,— сказал он с расстановкой,— а моя бы воля, пустил бы я вас на все четыре стороны. От вас, старичок, опасности для пролетариата, как от козла молока, простите.

Евгений Павлович молчал. Стало неловко обоим, и комендант начальнически закончил разговор:

— Ну, старичок, вертайтесь в камеру. Скоро обед раздавать.

Евгений Павлович вышел в коридор и тихо поплелся в камеру, придерживаясь стены.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кто не помнит этого мыла? Оно было изумительно. Его густой горячий коричневый цвет так приятно ласкал наши глаза в восемнадцатом году и в последующие, до тысяча девятьсот двадцать второго, когда республика сменила меч на орало и герои начали мыть руки нежно-ароматным и пенистым «ронд».

И никакие буржуазные исхищрения не заставят нас вытравить из сердца благостное воспоминание о мыле тысяча девятьсот восемнадцатого.

Оно давалось по продкарточкам коммуны, за ним нужно было выстаивать часами в сумрачных очередях, на пустынных улицах, засыпанных сугробами. Получая из рук отпускающего этот с виду невзрачный комок, каждый из нас испытывал такое ощущение, словно он добрался до Северного полюса или разрешил ответственную проблему удлинения человеческой жизни. Мы уходили в наши нетопленные дома, спотыкаясь о сугробы, падая и бережно прижимая к боку заветное мыло.

Часто оно отпускалось из распределителей вместо хлеба, в те дни, когда теплушки не привозили муки. И в этой получке была своя прелесть и своя мудрость.

А запах! О, вспомните его запах. Это небывалая и непревзойденная смесь. Оно пахло рыбой, смазными сапогами, отстоем сивухи, нафталином, карболкой, гнилью, и все эти запахи, совмещаясь и нагромождаясь один на другой, создавали единый, торжественный и всепобеждающий.

В тех местах, где скоплялось больше десяти кило этого мыла, умирали все другие запахи на радиусе до двадцати метров. И вы помните, когда, приходя домой и тщетно пытаясь разжечь чугунную печурку мокрыми волокнами сосновой древесины, вы вдруг ощущали из угла, где складывалось штабелями это мыло, как краеугольные камни некоего строительства, бодрящий, крепкий, призывающий к спокойствию и выдержке, пронизывающий запах...

Евгений Павлович, нагнувшись над раковиной уборной, терпеливо тер мылом левую штанину кальсон. Из крана тонкой струйкой, перевитой, как кофе, вытекающее из кофейника, бежала ледяная, серебрящаяся вода.

Руки генерала, оголенные до локтей, налились кровью, и от них подымался прозрачный пар.

Стирать было трудно. Мыло оставляло на кальсонах едва заметные коричневые штрихи. От ледяной воды эти

штрихи не только не размыливались, но, казалось, закреплялись на материи навеки.

Евгений Павлович выпрямился и растерянно потер лоб мокрым тылом ладони. Отложив мыло, он поднял тяжело намокшие кальсоны и, держа их под струей воды, стал мять и тискать. В движениях его рук замечалась неторопливая и спорая уверенность, как будто тайны стирки были не чужды генералу.

Так было и в самом деле. Когда Евгений Павлович обнаружил, что две смены белья, захваченные с собой при аресте, приняли сумеречный оттенок, он вспомнил о шалости детских лет, за которую часто получал гонку от матери. Когда в доме Адамовых шла стирка, мальчик тайком забирался в кухню и присоединялся к прачкам. Забавлял самый процесс стирки, облака пара, плещущаяся в лохани ласково-горячая вода, горы пузырчатой шипучей пены, нежно и бережно обволакивающие погруженные в нее руки.

Прачки сердились и гнали маленького кадета из кухни, но он совал в их красные ладони утащенные из столовой сладости и гривенники, и прачки, смеясь, позволяли мальчику болтаться в лохани, пока мать не находила его за этим занятием и не извлекала упирающегося и капризничающего сына. Так, шутя, Евгений Павлович постиг искусство стирки.

Он вздохнул и положил кальсоны в раковину. Нагнувшись, поднял с полу медный чайник, налитый при раздаче кипятка, и, заткнув скатанным из газеты шаром дыру раковины, вылил горячую воду.

Коричневые полосы, оставленные мылом на полотне, медленно растаяли и сплыли. Евгений Павлович погрузил руки в горячую воду, морщась и шевеля бородкой, и снова стал усиленно тереть.

Довольная ребячья улыбка раздвинула его старательно поджатые губы. Материя белела, принимала первоначальный цвет, а остывающая вода замутилась и посерела. Протерев кальсоны от одной штанины до другой, генерал спустил воду, прополоскал выстиранное в новой порции холодной воды и начал выкручивать. Но руки дрожали от усталости, и вода слабо капала со скрученного полотна.

За спиной хлопнула дверь.

— Адамов! Ты здесь, что ли?

Евгений Павлович обернулся и увидел на пороге конвойного красногвардейца Прошку. Прошка, широко рас-

пялясь в улыбку, смотрел на генерала и на скрученное белье в его руках.

— Чистая прачка Матрена! А тебя комендант ищет.— И, высунувшись в коридор, Прошка крикнул: — Товарищ комендант! Здеся Адамов!

Обещание, данное комендантом Евгению Павловичу сходить на квартиру генерала и поговорить с Пелинькой, ему не удалось выполнить в ближайшие дни. Налетело суматошное и горячечное время. В городе провели большую облаву на налетчиков, воров, спекулянтов. В течение последних трех суток приводили мелкими партиями уголовную шпану. Часть ее разместили в двух, соседних с залом, комнатах особняка; часть загнали в зал на освободившиеся места расстрелянных. Действительные и тайные, камергеры и фабриканты, генералы и помещики перемешались с домушниками и карманниками, бандитами и торговцами наркотиками. Уголовные принесли с собой в зал развязные манеры, густой каторжный мат и в то же время уверенность и беззаботное веселье отчаянных, поставивших себя на кон, людей.

В зале стало спокойнее и бодрее. Незначительная группка политических аристократов предложила остальным протестовать против смешения их с уголовниками, но ее никто не поддержал. Большинство было радо вторжению бесшабашных соседей. С ними словно ворвалась в камеру и вновь заплескалась — буйно и молодо — жизнь, с которой многие уже простились.

Комендант измотался, размещая новых жильцов, и не мог покинуть особняка в эти дни.

Евгений Павлович взглянул на хмурый облик вошедшего в уборную коменданта. Сразу явственно почуялось, что комендант собирается сказать что-то неприятное, и не ошибочно.

Комендант мельком скользнул глазами по кальсонам, висящим на левом локте генерала, и нахмурился еще сильнее.

— Я до вас, Адамов,— сказал он нехотя и вяло,— плохое ваше дело.

— Как? — спросил генерал, прижав кальсоны к груди.

— Да так, значит. Утром сегодня сходил я до вашей старушки, а ее там и след простыл.

— Умерла? — почти беззвучно произнес Евгений Павлович, и показалось ему, что где-то внутри, у самого серд-

ца, жестокая рука вырвала железными ногтями, с болью и кровью, кусок мяса.

— Не, не умерла. Уехала ваша старушка в деревню, бо податься ей было некуда и кормить ее никто не хотел. А на квартире вашей другие живут. Домкомбед народу поселил бедного, значит.

Евгений Павлович беспомощно взмахнул руками. Кальсоны взлетели вверх и упали бы на пол, если бы комендант не перехватил их. Поймав мокрое белье, он с любопытством распялил его на ладони.

— Чисто стирано. Ровно настоящая прачка стирала,— сказал он раздумчиво.

Евгений Павлович опомнился.

— Но позвольте... Как же это так?.. Ведь у меня там в квартире вещи мои... Документы... Письма... Мебель... Все, что мне дорого. Разве это можно?

Комендант машинально скрутил кальсоны сильно и напористо. На пол зашлепала вода.

— А выкручивать вот не дюже можете,— сказал он и, только выжав всю воду, ответил на взволнованный вопрос Евгения Павловича.

— Видать, недоразумение получилось. Дело такое. Они там, в доме, думали, значит, что вы в нетях уже. Полагали, что давно землю носом роете. А людей девать некуда с подвалов. Ну и переселили... Да вы не бойтесь,— добавил комендант успокаивающе.— Скажу вам по секрету: послезавтра комиссия приедет из чека. Кого выпустить, кого дальше держать. Так можно полагать, что вас отпустят насовсем... Ну, пойду дела делать. Счастливо!

Он сунул в руки генерала кальсоны и ушел.

Евгений Павлович стоял ошеломленный. Кальсоны безжизненно висели на его локте.

Ум никак не мог осмыслить происшедшего. Больше всего мучило, что в ящиках письменного стола, тщательно связанные, лежали письма покойной жены и детей. Теперь чьи-то чужие, равнодушные руки разрывают тесемочки, ворошат шуршащие листки; чужие глаза бегают по строчкам, которые дороги памяти, и, может быть, ненужные этим чужим людям письма сброшены в груду мусора, растоптаны, сожжены. Остального имущества было не жаль,— мучили только эти сувениры прожитого.

Евгений Павлович тихо пискнул, как ушибленная крыса, и, пошатываясь, побрел в камеру. Дойдя до своего места, бросил кальсоны на одеяло, сгорбившись, сел и закрыл

лицо руками. Сквозь пальцы просочились медленно набухающие ожоги слез.

Лежавший рядом и безмятежно куривший козью ножку человек приподнялся и с внимательным удивлением скосился на Евгения Павловича. Тихонько присвистнул и тронул ладонью вздрагивавшие лопатки генерала.

— Папаша, вы о чем? — спросил он тоненьким, птичьим голосом.

Евгений Павлович испуганно отнял руку и оглянулся на спрашивающего. На него глянуло опухшее усатое лицо. Из-под угреватого и вислого носа усы торчали в обе стороны ровными блестящими колбасками, словно к верхней губе были приклеены два вороненых револьверных дула.

Заметив всполошенный вопрос в глазах генерала, человек шевельнул усами.

— Не робейте, папаша! Налетчик я, Никита Шуров, а по кличке «Турка». По мокрому зашился. Налево поплыву — и то, извините, не плачу. Жизнь наша растакая, папаша. Живешь — в ящик сыграешь, и не живешь — в ящик сыграешь.

Прыгающие карие свечечки над усами теплились забубенно и отчаянно.

Евгений Павлович усмехнулся.

— Я не о смерти,— ответил он Турке,— я о другом.

Нежданно-негаданно высыпались, как зерно из закрома, слова о своей, о стариковской беде.

Турка подумал и хлопнул генерала ладошкой по колену.

— Оно самое,— пискнул он своим птичьим голоском, нелепым и странным для его широкоскулого гранитного лица и огромных усов,— всегда это, извините, у образованных бывает. Должно быть, от большого ума или от чего еще. Барахло самое существенное, извините, отдаст — не пикнет, а за душевную какую-нибудь чепуху страдает до надрыва кишок, извините. Что такое, позвольте узнать, письма разные, фотографии, скажем, ленточки? Ерунда в сравнении с видимым имуществом, извините. А вам вот барахла не жаль, а за письмами изволите сокрушаться. Я вот тоже такой случай имел на днях. Расхомутывали мы, извините, хазу у одной знаменитой артистки. На Вознесенском живет, по фамилии Тамарова,— может, изволили слыхать? Ну, набрали три мешка добра, отборного, извините. Посудите сами: одна хаза на двенадцать комнат. Собрались, извините, хрять, а тут конпаньон мой заметил на

столике кошечку. Серебряная кошечка в наперсток ростом, и цена ей, извините, полтинник без рубля. Конпаньон и сунь ее в карман. А артистка, извините, пока мы добро собирали, сидела на диванчике и только усмешку делала. А как увидела, что кошечку взяли, вскочила совершенно, извините, как бешеная сука, и конпаньону ногтями в рожу. Кричит: «Отдай, негодяй!» Словом, чистый хай. Я ей тут, извините, ботаю: «Даже странно, пардон, мадам, что вы нам всю хазу с надсмешкой отдали, а из-за полтинничной кошечки бузите». А она заплакала горестными ручьями и с душой отвечает: «Лучше убейте, а кошечки вам не отдам: с ней моя дочка мертвенькая игралась». Ну конечно, хоть мы и налетчики, а душа у нас тоже не из рядна. Отдали ей кошечку и ушли с добром. Так она нас проводила до двери и еще спасибо сказала. За что спасибо? Довольно чудно, извините.

Налетчик глубоко всосал махорочный дым и раз за разом выпустил к потолку десять плотных, проскочивших одно сквозь другое колец.

Евгений Павлович смахнул слезы с ресниц и, проследив волшебные кольца, улыбнулся растерянной детской улыбкой кольцам и налетчику.

Турка подмигнул:

— А вы, папаша, по какому делу? За контру?

Евгений Павлович пожал плечами. Вопрос Турки озадачил. Никогда, собственно, не приходил в голову вопрос, за что он сидит. Была какая-то тупая и легкая примиренность со случившимся. Но Турке нужно было ответить, и профессор истории права растерянно пожевал губами.

— Не знаю,— ответил он наконец,— определить мое поведение как контрреволюцию я, право, затруднился бы. Я ничего не делал. Если это контрреволюция... Впрочем, знаете, каменная глыба, которая лежит посреди улицы, вероятно, думает тоже о себе, что она безвредна, а люди видят в ней помеху движению... Если разобраться...

Турка иронически прищурил левое веко.

— Мудрено изволите выражаться, папаша. Будто, извините, не генерал, а научный профессор.

— Я и есть профессор, только военный,— усмехнулся Евгений Павлович.

Турка вскинулся и опять выпустил волшебные кольца.

— Вот как, извините,— сказал он.— Тогда имею до вас разговор, папаша, существенного значения. Очень, изви-

ните, интересуюсь. Вы не глядите, извините, что я налетчик. Жизнь моя по неправильным рельсам поехала и под габарит не подошла, а то, может быть, извините, в настоящее время был бы я вождем по железнодорожной части, как бывший стрелочник. Вся беда в старом режиме, водке и, извините, отсутствии характера. Так вот я про нашу жизнь желаю вам задать полезный вопрос. Вот думал этот лишенный удовольствия незначительный народ, который, извините, проживал в подвалах, что если дохряют до революции, то жизнь пойдет по обоюдному удовольствию и совершенно справедливо. И что которые, извините, вроде вас, профессора и умственные, которые в етажах жили, побратаются с подвальными и вместе, извините, построят настоящую хазу, чтоб всем тепло жилось. У подвалов, извините, кулаки, у етажей — мозги. Отменно построить можно. А вы, извините, сразу от подвалов морду отворотили. Хвостом в бок и не желаете об рвань пачкаться. И теперь ваша судьба — просто мокрая и сплошная контра. Почему, извините?

Генерал изумленно взглянул на Турку и тихо, будто в раздумье, сказал:

— Нас не позвали.

Турка всплеснул руками и захихикал:

— Извините, неученые ваши слова, папаша. Даже дикие слова. Как, значит, не позвали?.. А сами, извините, прийти не могли? Не желали, значит. Очень это липовая, извините, линия. Сами догадки не имели, что младшему брату помочь надобно?

— Я не знал, а за других отвечать не могу,— растерявшись, ответил генерал.

— Не знали? Извините,— вспыхнул вдруг Турка, зашевелив усами и направив их на генерала,— извините, даже глупо слышать такое возражение. Вы не знали, а я, может, от вашего незнания должен теперь к стенке идти, потому некому мне было настоящую путь показать. Эх вы, извините, моченые репы! Об небе умствуете, а на земле притыкнуться не можете.

Он свирепо швырнул об пол козью ножку, сверкнул глазами на Евгения Павловича и улегся к нему спиной.

Евгений Павлович, как нашаливший щенок, стараясь не заскрипеть досками, тоже залез на свое место и постарался заснуть. Но дремота не шла. Неожиданная корявая, как полено, мысль налетчика будоражила, и генерал ушибался о жесткие углы ее внезапной и ужасающей правды.

Евгений Павлович беспокойно вертелся на нарах, пока караульный, просунувшись в дверь, не крикнул:

— Тащи бак, обед получать.

Евгений Павлович вскочил. Приподнялся и налетчик, протирая глаза. Он опять скосился на генерала и ухмыльнулся:

— Ну, папаша, не поминайте лихом, коли хреном накормил. Валим за жратвой. Теперь мы, извините, одинакие. Вы профессор, я налетчик, а вместе, в одной клеточке, вшу кормим. Не извольте гневаться.

— Я не сержусь,— спокойно ответил Евгений Павлович и пожал протянутую жесткую лапу Турки.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ночью увели Турку и еще семерых уголовников. Выводили их тихо, без переклички, стараясь не будить остальных. Комендант с караульным подходил к намеченным и расталкивал. Растолкав, отводил к двери и будил следующих. Когда будили Турку, Евгений Павлович проснулся, взглянул на стеариновые щеки коменданта и понял.

Ощутил небывалую еще дрожь и болезненную жалость, словно пришли отнять у него только что найденного после долгой разлуки брата.

Турка спал крепко и от толчков только всхрапывал.

Евгений Павлович шепотом спросил коменданта:

— Неужели расстреливать?

Комендант нервно дернул щекой и метнул в сторону генерала обозленными глазами.

— Нет, кофий со сливками пить,— сердито отрезал он и буркнул: — Спите уж, старичок. Ваше дело здесь маленькое.

Очевидно, во всей фигуре Евгения Павловича проступило беспомощное томление, потому что комендант добавил:

— Есть чего жалеть! Душ двадцать зарезал, сукин сын. Таких и стрелять в первую голову, чтоб землю не заблевывали.

Турка проснулся. Один ус его по-прежнему торчал, как револьверное дуло; другой рассыпался по щеке веером. Он ничего не спрашивал, быстро навернул портянки и надел лаковые с гармошкой сапоги. Лицо его чуть-чуть посерело, а глаза забегали мышами.

— Налево, что ли? — спросил он коменданта.

Комендант неторопливо отозвался:

— Там у пули спросишь.

Турка закрутил ус, встал и засмеялся.

— Она, братишка, только свистит без толку: у ней ответа не добьешься.

Покрутил еще усы, затуманился.

— Эх, усов жалко. Десять лет растил-холил,— и повернулся к Евгению Павловичу.

По всему облику генерала почувствовал его мучительную тоску и ободрительно потрепал по плечу:

— Не горюйте, папаша: все там будем. А вот примите от меня, извините, на память, от чистого сердца. Так, в кармане завалялось... Нам ни к чему.

Он вынул и сунул в руку Евгению Павловичу маленький, тускло блеснувший желтым, тяжелый предмет и, наклонившись к генералу, внезапно поцеловал его в губы. От усов Турки почему-то пахло ванилью.

— Простите, папаша, ежели словом обидел.

Евгений Павлович не мог поглядеть в глаза налетчику и стоял понурившись, сжимая в левой ладони подарок.

Турку увели. Евгений Павлович разжал ладонь и увидел в ней маленькое резное изображение Будды, монгольский бурханчик. Будда сидел, поджав тоненькие ножки, держа в руке змею, и бессмысленно-мудро улыбался. По весу и мягкому блеску металла генерал понял, что бурхан золотой.

Евгений Павлович вздохнул, положил бурханчик в боковой карман тужурки и залез под одеяло. В тишине камеры ему по временам чудились отдаленные выстрелы, и он вздрагивал сквозь дрему.

Рано утром приехала комиссия из чека. В комендантскую принесли списки арестованных и поодиночке начали вызывать. В двенадцатом часу в комнату комиссии попал Евгений Павлович.

За комендантским столом сидели трое: один — седеющий грузин. В его орбитах шало метались, синея белками, горячие южные глаза. Он поднял голову от бумаг, уставился на Евгения Павловича.

— Фамылия? — спросил он коротко, словно рванул холст.

— Адамов.

— Чын в старой армии?

— Генерал-майор, профессор Военно-юридической академии.

— Прокурором в воённом суде были?

— Был два года.

Сидевший справа щупленький блондинчик, по лицу которого нельзя было никак определить его возраста (можно было с равным успехом дать ему и девятнадцать лет и сорок), сощурился и вмешался в допрос:

— Ваша фамилия Адамов?

— Так точно,— по-солдатски ответил Евгений Павлович.

— Скажите, если мне не изменяет память, в тысяча девятьсот пятом в Севастополе был военный прокурор Адамов. Какое отношение к нему вы имеете?

— Это я,— ответил генерал.

Блондинчик перегнулся к грузину и что-то зашептал. Грузин повел синевой белков, сердито махнул рукой и сказал:

— Пачыму сразу нэ заявылы?

— О чем? — удивился Евгений Павлович.

— Что значыт — о чем? О том, что Адамов.

Евгений Павлович улыбнулся.

— Зачем бы я стал заявлять, что я Адамов, если моя фамилия есть в списках.

Улыбнулся вдруг и грузин.

— Я нэ про то гавару, товарыш. Я про то гавару: зачым нэ сказал, что тот Адамов, который судыть нэ хотэл?

— Я не придавал этому никакого значения,— ответил генерал.

— Нэ прыдавал? — опять сердито вскинулся грузин.— Нэ прыдавал? А когда бы прыдал? Когда бы в ямэ лэжал? Да? Ыды, пожалуйста!..

Блондинчик весело расхохотался в спину уходящему Евгению Павловичу.

Около двух комендант вошел в камеру и позвал:

— Адамов! Собирай вещи! На выписку.

Сердце у Евгения Павловича заклокотало, как наседка над выводком. Он процвел сизой бледностью и шатнулся.

— Ну-ну,— сказал комендант,— не падай. Говорил я: тебе помирать рано. Гуляй! Оказывается, ты нашему брату вроде свояка приходишься. А молчал...

Евгений Павлович торопливо связывал вещи. Слова коменданта звучали пусто и зыбко, как дальний свист ноч-

ной птицы. Он вскинул увязанный тючок на плечо и оглядел камеру. Со всех сторон за него цеплялись мерцающие свечи внимательных глаз.

Неловко и нелепо генерал сделал общий поклон и сказал:

— До свиданья, господа!

Несколько голосов уголовников вразброд ответили:

— Счастливо!

— Бывайте здоровеньки!

Политические молчали, и только чей-то голос бросил шипящее:

— Выслужился... хамский маршал!..

У Евгения Павловича дернулся мускул на скуле. Он ничего не ответил и быстро пошел за комендантом. У выхода комендант сказал часовому:

— Пропусти.— И протянул руку генералу.— Ну, желаю всех этих... Славный ты старичок был, Адамов. Просто даже жаль отпускать. Кого я теперь старостой сделаю? Мелкота народ...

Евгений Павлович козырнул коменданту и вышел на улицу.

Свежий и мокрый октябрьский ветер бросился ему на грудь, обнял, защекотал, одурманил. Генерал снял фуражку и подставил лоб влажным шлепкам. Постоял, оглядывая пустую улицу, и мелкими, спешащими шагами заскользил по тротуару.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На первый короткий звонок из квартиры никто не отозвался. Евгений Павлович подождал и позвонил продолжительнее. Минуту спустя за дверьми застучали мелкие, но быстрые и крепкие шаги, совсем непохожие на унылое шарканье Пелиньки.

Дверь открылась. Загораживая ее, на пороге стала краснощекая, сбитая молодая женщина в вязаной верблюжьей кофточке.

— Вам кого нужно? — спросила она не враждебно, но настороженно.

Евгений Павлович нерешительно поднес пальцы к козырьку фуражки.

— Мне — никого... Я домой пришел, то есть к себе,— сказал он, путаясь в словах, не сводя глаз с овальной родинки у левой скулы женщины.

Глаза женщины раскрылись шире. Видимо, она растерялась. Стоящий перед ней малорослый человек в генеральской шинели, с нахлобученной на уши фуражкой и остренькой щеточкой-бородкой не походил на преступника или авантюриста, но то, что он говорил, казалось женщине странным и пугающим. Она тревожно оглянулась назад, в темноту квартирного коридора.

— Как к себе? Вы, верно, этажом ошиблись? Тут мы живем.

— Нет, я не ошибся,— возразил Евгений Павлович и показал на привинченную к двери медную дощечку. Ее еще не сняли, и на ее позеленелой поверхности чернела надпись: «Евгений Павлович Адамов».

— Я и есть Адамов,— сказал генерал,— так что ошибки не может быть.

— Ничего не понимаю,— сказала женщина и вдруг, догадавшись, всплеснула крепкими и пухлыми руками.— Ах, так это вы!..

Она вылилась в сконфуженную и потерянную улыбку.

— Вы, значит, и есть тот самый генерал, который...— Она не договорила и каким-то смятым голосом сказала:— Так вам нужно будет поговорить с председателем домкомбеда. Ведь вашу квартиру заняли.

— Да, я слышал об этом,— ответил Евгений Павлович, вертя пуговицу шинели.— Но как же это?.. Я не понимаю... Ведь я же должен где-нибудь жить?

— Так видите ли... в домкомбеде, собственно, думали, что вы...— Женщина запнулась и тревожно покраснела.— Впрочем, правда, я не сумею вам объяснить всего. Вы в самом деле лучше поговорите с председателем.

— Хорошо, я пойду к нему,— ответил генерал и повернулся, чтобы спуститься вниз: квартира председателя домкомбеда находилась в прежнее время на втором дворе.

— Так куда же вы идете? — спросила женщина.—Домкомбед живет теперь тут же, в этой квартире. Он переехал вместе с нами. Вы заходите, он как раз сейчас дома,— сказала она, отступая вглубь и пропуская Евгения Павловича в переднюю.

— Идите прямо. Расположение знаете? Домкомбед в бывшем кабинете и столовой поместился,— обронила женщина и покачала головой с соболезнующим лукавством.

«Вот так штука!» — говорила вся ее фигура.

Евгений Павлович неуверенно и на цыпочках прошел по тому самому коридору, по которому много лет ходил

полным хозяином, и постучал в филенку своего кабинета.

— Ну, входите,— донесся до него голос.

Евгений Павлович вошел.

Первое, что бросилось ему в глаза, были подошвы сапог, задранных на обочину дивана. На середине каждой подошвы была круглая дырка. Подошвы медленно шевелились, шлепая одна о другую краями. К сапогам были прикреплены ноги, к ногам туловище, к туловищу голова. Во рту головы дымилась папироса. Сквозь дым лежащий на диване не видел вошедшего, и, не меняя позы, лениво спросил:

— Ну, кто? Что надо?

— Это я,— робко сказал генерал,— я, Евгений Павлович.

Подошвы вскинулись в воздух. Лежавший вскочил и несколько секунд молча и в полном остолбенении смотрел на генерала.

— Вы?.. Вы?.. Вы? — наконец троекратно повторил он таким тоном, словно хотел сказать: «Сгинь, сгинь, рассыпься!»

— Да... Меня выпустили,— несмело промямлил Евгений Павлович так, будто он совершил какой-то непристойный поступок и извинялся за него.

Председатель домкомбеда искоса посмотрел на генерала и подметил его странную растерянность и удрученный вид. Это придало председателю домкомбеда смелости; он выпрямился и стал официально ледяным.

— Вижу,— сказал он сурово, как имеющий власть.— Имеете до меня какое-нибудь дело?

Евгений Павлович подался вперед. Бородка его вздрогнула.

— Какое же дело? Я просто домой пришел. Вы меня извините,— продолжал он нервно и взмахнул руками,— я не могу понять. Как же это так? Моя квартира и... наконец...

Генерал путался в словах, и по мере этой путаницы лицо председателя домкомбеда принимало все более ледяной оттенок.

— Простите, гражданин Адамов,— перебил он,— тут и понимать нечего. Вашей квартиры больше нет. Существует комнатная коммуна номер семь. Вас считали умершим, и квартира ваша занята под трудящееся население. Утверждено протоколом домкомбеда и перерешено быть не может. То, что вы живы,— это недоразумение.

— То есть как же? Это же юридический нонсенс,— ослабев, выдохнул с натугой Евгений Павлович.

Собеседник дрыгнул ногой и нахмурился.

— Прошу не употреблять старорежимных слов... Даже если вы живы, нам это ни к чему. Все равно квартиру вашу заняли бы, потому что вы — нетрудовой элемент и ваше имущество подлежит отобранию для справедливого разделения между беднейшим населением.

Председатель домкомбеда с каждым словом набирался апломба и с особым наслаждением произносил заученные слова. В прошлом он был конторщиком у нотариуса и славился в доме как существо сварливое и нечистое на руку. Он, мгновенно оправившись от первого смущения, учел подавленную психику генерала и решил действовать напролом отчаянной наглостью.

— Но, позвольте...— возразил Евгений Павлович, теряя последнюю почву под ногами,— допустим, квартира и имущество подлежат конфискации. Но ведь я освобожден,— следовательно, тем самым оправдан и имею право жить где-нибудь. И потом здесь находятся вещи, которые у меня никто не имеет права отобрать... Мои документы... Письма... Бумаги...

— Частная собственность отменена,— твердо возразил председатель домкомбеда.

— Извините, я сам юрист,— вспыхнув, сказал Евгений Павлович,— я тоже понимаю толк в законах. Можно конфисковать материальные ценности, но не предметы, имеющие ценность только для владельца и ценность не реальную, не денежную, а моральную. Никто не смеет отнять у меня воспоминания.

Собеседник отвернулся к окну. Он чувствовал, что положение начинает становиться опасным и неловким.

— Видите, гражданин генерал,— сказал он несколько мягче,— ничего этого не осталось. Вы тоже войдите в наше положение. Ведь вас же, говорю, в доме покойником считали. Ну, значит, когда заняли вашу квартиру, я приказал все бумаги пожечь, чтобы попусту не валялись...

Он оглянулся на странный звук и, оглянувшись, увидел, что генерал широко открытым ртом, захлебываясь, хватает воздух. Вслед за тем он, сломавшись, ссунулся в кресло и заплакал.

Домкомбедовец шагнул к генералу, остановился, беспомощно поглядел по сторонам и бросился в столовую.

Минуту спустя он выскочил со стаканом воды и, приподняв голову Евгения Павловича, стал поить его, как ребенка. Евгений Павлович захлебнулся, закашлялся и затих.

Домкомбедовец опять вышел в столовую. Дверь за ним осталась притворенной неплотно. Евгений Павлович услышал за ней тихий разговор. Говорили два голоса: мужской и женский. Очевидно, домкомбедовец разговаривал с женой.

— Жалко,— сказал голос женщины,— он ведь старый.

— Тебе всех жалко,— ответил мужской,— что ж, ворочаться в старую квартиру, а ему эту отдать? Надо его сплавить как-нибудь. Сама знаешь, вещи-то распродали. Тут в такую историю влетишь, если он жаловаться...

Голос понизился, и больше ничего Евгений Павлович не слыхал. Он вытер рукой веки и поднялся. Домкомбедовец вышел из столовой; глаза его прыгали, избегая генерала.

— А вы не убивайтесь. Можно еще поправить как-нибудь,— произнес он, принимая прежний официальный тон,— вы подайте сейчас заявление в домкомбед,— мы вам какую-нибудь комнатку приспособим...

— Не нужно,— перебил Евгений Павлович,— и не бойтесь: я жаловаться не буду. Все равно. Я уйду к кому-нибудь из знакомых. Арандаренко живет еще в доме?

Домкомбедовец сделал отрицательный жест.

— Он три недели как на Украину уехал.

— Все равно,— опять сказал Евгений Павлович,— это не важно.

Он обвел глазами кабинет, как бы прощаясь навсегда со знакомыми вещами, в которых незримо таилась частица его жизни, и вдруг увидел над диваном портрет жены. Он висел нетронутый, в той же тяжелой дубовой раме, слегка покосившись. Евгений Павлович подошел к дивану.

— Я возьму это.

— Конечно, конечно. Я понимаю... по человечеству,— заторопился обрадованный председатель домкомбеда и поспешно влез на диван, чтобы снять портрет.— Ежели хотите, возьмите еще что. Хоть теперь все домовое и в опись записано, но я ж вхожу в положение.

Но, встретив взгляд Евгения Павловича, он умолк и торопливо сунул ему снятый портрет; Евгений Павлович с трудом забрал его под мышку и надел фуражку:

— До свиданья. Живите счастливо... если сможете,— тихо сказал он.

— Не взыщите, гражданин Адамов. Разве я что,— я бы с удовольствием, да ведь время такое. Не я постановил... весь дом... собрание...

Генерал, не слушая, бежал по коридору к выходу, таща тяжелый портрет. Ему было душно. Казалось, что, если сейчас же не выбежит на воздух, задохнется и упадет на пороге мертвым.

Евгений Павлович спустился на одну площадку вниз, прислонил портрет жены к батарее парового отопления и сел на подоконник. Сердце у него почти не билось, и по всему телу проступил холодный и обессиливающий пот.

Он долго просидел на подоконнике, бессмысленно и устало смотря перед собой. Наконец шевельнул губами и сказал полушепотом, но слова гулко упали в пустые пролеты лестницы:

— Юридическая новелла, профессор! Спокойствие!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Встав с подоконника, Евгений Павлович опять взял под мышку портрет и спустился к выходу. На улице остановился в раздумье, размышляя, куда идти. Вспомнилось, что неподалеку, кварталах в трех, жил корпусный еще товарищ — Приклонский. Приклонский рано вышел в отставку и перешел на службу по министерству иностранных дел, но дружеские отношения остались. Встречались часто, до последнего времени, и встречались сердечно.

Евгений Павлович вздернул бородку и, склонясь на левую сторону под тяжестью портрета и мешка с вещами, зашагал по тротуару.

У Приклонских долго и подробно опрашивали через закрытую дверь: кто, зачем, по какому делу, к кому. Евгений Павлович еле мог отвечать. Прогулка по улицам окончательно обессилила его, и, когда наконец дверь открыли, он почти повалился в переднюю.

Приклонский встретил генерала в крошечной комнатушке. Она вся была занята неестественно огромной тахтой, крытой персидским ковром, и письменным столом.

— Здравствуй, здравствуй,— приветствовал он Евгения Павловича.— Давно тебя не было видно. Ты прости, что я тебя принимаю в таком закуте, но, видишь ли, нас совсем стеснили. У нас только две комнаты на пятерых остались да вот мой хлевушок.

Приклонский говорил каким-то спешащим, пляшущим голосом, все время беспокойно оглядывался по сторонам и вздрагивал.

— Трудно мне было бы побывать у тебя,— ответил, присаживаясь на кончик дивана, генерал,— ведь я только сегодня вышел на свободу. Я два месяца просидел заложником.

Глаза Приклонского смятенно округлились и впились в генерала.

— Как? Ты был арестован? Где?

— Я сидел в отдельном арестном доме чрезвычайной комиссии Литейного района,— точно рапортуя, ответил Евгений Павлович.

Приклонский заметался по комнатке, споткнулся о диван, схватил к чему-то со стола вытиралку для перьев, повертел ее, бросил и испытующе посмотрел на Евгения Павловича.

— Значит, ты бежал,— сказал он с уверенностью,— ты бежал... бежал...

— Что с тобой? — Генерал удивленно вскинул бородку.— Почему тебе взбрело в голову, что я бежал? Почему ты так нервничаешь?.. Меня просто выпустили.

Приклонский предостерегающе поднял указательный палец и, нагнувшись к самому лицу Евгения Павловича, покачал пальцем перед его носом.

— Ти-та-ти-та,— сказал он,— расскажи кому-нибудь другому. Я же не мальчик: я знаю, что оттуда не выпускают. Ты можешь меня не бояться: я тебя не выдам.

— Да ты с ума сошел! — вспылил генерал.— Я повторяю тебе: меня выпустили. Я пришел к тебе с просьбой временно приютить меня.

Приклонский отшатнулся: щеки его отвисли, как подол у пьяной бабы.

— А почему ты не пошел к себе на квартиру? — спросил он, хитро подмигнув.

— Но ведь мою квартиру отняли у меня. Меня считали уже умершим. Мне некуда деваться. Я хочу переночевать у тебя и посоветоваться, что делать дальше.

Приклонский рассматривал Евгения Павловича с недоверчивой усмешкой и, едва он договорил, забормотал:

— Ну, ну, конечно. Но почему ты не хочешь сказать, а придумываешь всякие небылицы о своей квартире?.. И потом... Потом,— Приклонский понизил голос до шепота,— я прошу тебя не оставаться у меня. Не пойми это

ложно... Я не забываю старой дружбы... но понимаешь... на меня донос за доносом, я сам каждую минуту жду ареста; наконец, у меня дети... Если тебя обнаружат — нам всем крышка. Пойми мое состояние...

— Но мне же некуда идти... У меня нет крова на эту ночь. Как хочешь, но я не могу уже уйти. Ведь поздно. Я пересплю на этом диване и утром уйду, если уж ты не веришь мне и так боишься,— горько сказал Евгений Павлович.

Приклонский заметался по комнате, сжимая голову.

— Женя, послушай... Ну, что хочешь. Ну, тебе денег надо — я дам... но только уходи... Ей-богу... Ну, я на колени пред тобой стану. Пожалей моих детей,— залепетал он, потеряв последние крохи мужества и по-собачьи заглядывая в лицо Евгению Павловичу.

Евгений Павлович охнул. Мутная струя холода медленно подползла к гортани, и было смертельно противно и страшно, что этот испугавшийся человек действительно станет на колени. Он поднялся с дивана, задергал бородкой, обронил с тихим и оттого ужасным презрением:

— Успокойся... уйду...

Приклонский мгновенно просиял.

— Ну, я же знал, что ты — старый хороший друг и не захочешь подвести меня. Может, тебе в самом деле денег надо? Или вот что, я напишу тебе записку к одному верному человеку. Он приютит тебя,— засуетился он, кидаясь к столу и схватывая блокнот, но сейчас же отбросил его и обнял Евгения Павловича.

Генерал сухо отстранился.

— Не тронь меня! — вскрикнул он и брезгливо повел побледневшими губами.

Подняв с полу портрет, он, не глядя на Приклонского, не прощаясь, молча прошел один к выходу, отпер дверь и спустился на улицу.

Дождь, уже начинавший накрапывать, когда Евгений Павлович подходил к квартире Приклонских, теперь хлестал со всей неистовой осенней разнузданностью. Казалось, что в темноте вечера, на черной, глянцевитой от воды улице торопливо и споро работает огромный ткацкий станок, выпрядывая серые, звонкие и мокрые нити.

У первого же крыльца Евгения Павловича обдало потоком воды с подъезда. Леденящие струи обожгли голову, поползли за воротник шинели, покрыли новеньким лаком стекло портрета. Генерал отскочил и с испугом прижался

к выступу дома. Что-то лежащее во внутреннем кармане больно вдавилось ему в ребро. Бессознательным движением Евгений Павлович вынул мешавший предмет и в секущейся темноте дождя различил тусклый блеск золотого бурханчика, подаренного расстрелянным Туркой. Он подержал фетиш в руке, осторожно положил его обратно и, словно решившись, поспешно, вприпрыжку зашлепал по дождевым лужам.

После часового ковыляния по мертвым улицам вдалеке замерцала тусклая электрическая лампочка над крыльцом. Дойдя до нее, Евгений Павлович перевел дух и, сняв с головы мокрую фуражку, стряхнул с нее воду. После этого он решительно толкнул дверь.

Поперек ступенек вытянулась винтовка, и часовой в тяжелых бутсах преградил дорогу.

— Кто такой? Нельзя! Пропуск! — сурово крикнул он.

Евгений Павлович умоляюще взглянул на часового.

— Комендант дома? — спросил он, цепляясь за последнюю надежду.

— Какой комендант?

— Да наш же, арестного дома, Кухтин...

Часовой недоуменно выпялил раскосые щелки на фантастическую фигурку в мокрой шинели, держащую под мышкой портрет женщины, и, пожав плечами, крикнул наверх гулко и отрывисто:

— Разводящий! Покличь коменданта. Пришли до его тут... Посядь, товарищ, здеся,— показал он Евгению Павловичу концом штыка на розово-мраморный выступ лестницы.

Евгений Павлович присел на выступ. Часовой продолжал разглядывать его и спросил наконец:

— Промок, дедушка?

Евгений Павлович бессловесно кивнул и знобко стукнул зубами.

Часовой жалобно скосился.

— Чайку бы тебе сейчас хлебнуть, дед, да на печку залезть,— сказал он ласково-насмешливо.— А за каким ты делом до коменданта? Сидит тут у тебя кто из сродственников?

Но Евгений Павлович не ответил. Загрохотали быстрые шаги, хлопнула дверь, и разгневанный голос коменданта, появившегося на верху лестницы, бросил вниз, в полумрак:

— Какого хрена там приперло? Спокою от чертей нет. Сказано вам — прием до шести.

Евгений Павлович встал и вытянулся из последних сил по-военному.

— Это я! Адамов...

Комендант через две ступеньки обрушился вниз и схватил генерала за плечи.

— Адамов? Зачем?

Евгений Павлович отчаянным движением взбросил руки и вцепился в гимнастерку коменданта.

— Возьмите меня обратно,— простонал он прерывающимся голосом,— возьмите меня. Расстреляйте меня лучше. Мне больше некуда. У меня нет дома, нет ничего, меня отовсюду выгнали. Я не хочу умирать на улице.

Часовой, оторопев, с вопросом смотрел на коменданта: комендант тоже растерялся. Выкрикнув, Евгений Павлович уронил лицо в измызганную гимнастерку коменданта и затих.

— Да ты пей, поболе пей, Адамов,— говорил комендант, наливая из зачерненного медного чайника четвертую кружку коричневого, пахнущего дегтем и валерьянкой суррогатного чая.— Пей, брат, до отвалу, а то совсем скапутишься. А как чаю нахлещешь полное пузо, я тебе еще рюмашку самогону дам — глотку продернуть. Авось не захвораешь.

Евгений Павлович сидел на комендантском диване голый, закутанный в комендантскую шинель. Ноги были завернуты в рваное одеяло. Он медленно, обжигаясь, отхлебывал чай, и усталая пустота его глазных впадин отражалась в зыбком зеркале кружки.

Комендант бросил в чай кусок рафинада.

— Вот мы тебе и подсластим. А этого твоего домкомбеда я в два счета устосаю завтра, и получай комнату обратно.

Евгений Павлович отрицательно повел головой. Мысль о возвращении в мир, где ему не нашлось места, показалась ужасной и пугающей. Он робко воззрился на коменданта. Сквозь стеариновые щеки коменданта проступило простое, жалостливое, человеческое.

— Нет. Я не хочу опять туда. Мне тяжело вернуться к прошлому,— с натугой сказал генерал.— Разрешите мне остаться здесь. Я недолго проживу.

Комендант всклокочил волосы на голове.

— Старик ты, конечно, хороший, что надо,— сказал он раздумчиво,— не схож с буржуазиатной сволотой, и душа в тебе человечья, хоть шинель и овечья. А только на каких

правах тебя можно оставить? Арестовать тебя заново я не справен. На каких таких основаниях, без мандата? А так оставить — тоже не погладят по головке.

Оба помолчали.

— Может быть, можно мне найти какое-нибудь дело маленькое? Переписку в канцелярии... или возьмите меня солдатом,— неожиданно сказал генерал.

Комендант откинулся на стуле, вытаращился и заливисто захохотал.

— Нет, это, брат, нельзя. У нас на переписке партийные сидят, переписка секретная. А в красногвардейцы куда ж тебе при твоем возрасте. Да и не дело,— вдруг нахмурясь, пониженно отрезал комендант,— у нас работа тяжелая. Стрелять приходится. Даже если особую злобу на буржуев иметь, и то подолгу не выносят — сворачиваются. А тебе и совсем негоже.

Евгений Павлович закрыл глаза и вздрогнул.

— А вот что,— продолжал комендант, веселея,— погодь! Ты ведь стирать маракуешь?

Евгений Павлович кивнул.

— Ну вот. Жалуются арестанты, что грязь, бельишка многие сменить не могут. Постирушку взять нельзя,— баба, а у меня тут такие кобели подобрались. Одно похабство пойдет, хоть молодая, хоть столетняя. Вот ежели желаешь, дадим тебе двойной паек, и работай. Бак тебе приспособим и все. Которым недостаточным арестантам даром стирай, а с буржуев драть можешь, почем захочешь. Ладится?

Генерал пожевал губами и отхлебнул чай. После первой секунды ошеломляющего изумления сделалось смешно и почему-то небывало радостно, как в детстве, когда задумывалась необыкновенная и задорная шалость. Так с этой просветленной и открытой улыбкой и сказал коменданту короткое:

— Спасибо, товарищ.

И с теплым удивлением почуял, как для самого себя странно легко и значительно прозвенело до сих пор вязкое, застревавшее в зубах слово «товарищ».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Время носилось над городом вперегонки с морским ветром и для забавы занималось разрушением. Огромной рукой-невидимкой оно выбивало стекла в окнах, ломало ра-

мы и двери, слизывало углы домов, задирало подолы штукатурки, обнажая распухшие язвы кирпичей.

Оно коробило и растрескивало асфальты провалившихся тротуаров, выламывало из мостовых диабаз и торцы, валялось в разрытых провалах ям.

Оно выгрызало зубами куски гранитного рафинада набережных, срывало флагштоки с дворцов, драло и заворачивало в трубочки ржавое железо прогнивших крыш; оно раздувало вместе с ветром золотоволосые пожары от накаленных буржуек.

Иногда, устав от неистовой работы, время распластывалось над городом на низких серых тучах, брюхом вверх, и, посапывая, само удивлялось стойкости жизни.

Жизнь нельзя было угасить. Она глядела тысячами упрямых, насмешливых глаз на изнемогающее время из всех щелей разрушенных домов. Она научилась прыгать на тяжелых ревущих грузовиках и бешеных мотоциклетах через провалы мостовых.

Жизнь смеялась над временем и, не обращая внимания на разрушение старого, строила новое, зажав в закаменелых руках ломаный молоток и выщербленные клещи.

И время приходило в отчаяние перед этой муравьиной работой, перед этими негнущимися людьми, видящими впереди то, что было скрыто даже от времени.

Оттаяли снега, прошумели весенние грозы, короткое лето обдало граниты фальшивым теплом и едучей пылью. Пыль смыли осенние дожди, и опять по утрам серебрился на ветках и на кромках зданий остроигольчатый иней.

Евгений Павлович не покидал арестного дома. Он сжился и растворился в нем, он привык считать себя неотделимой частью этих стен, и прошлое — прошлое генерал-майора, профессора Военно-юридической академии — умерло для него, кто-то отчеркнул его простым и решительным росчерком красного карандаша.

Кушетка в углу комендантской комнаты стала для него домом, изразцовые стены бывшей ванной особняка, где установили постирочный бак,— миром.

В ванной всегда было тепло. В то время, когда в громадных высоких комнатах особняка стоял мозглый протабаченный холод, здесь пошипывали и брызгали искрами в печи старые заборы, откуда-то сорванные ворота и двери, обрезки балок из распадающихся домов.

В теплых облаках пара суетилась худощавая фигурка, перебегающая от бака к корыту, и красногвардейцы любили зайти погреться у «генеральши», как называли они Евгения Павловича.

Они садились на подоконник, на края мраморной ванны и, раскуривая махорку, судачили о своих домашних делах, о родных и близких, о революции, а по ночам вполголоса рассказывали сказки.

Евгений Павлович, в казенных бутсах, в которых тонули сухие ножки, перевязанные обмотками, в рваных солдатских штанах и расстегнутой рубашке, мылил и стирал. Пена вскипала пузырями, нежно обволакивала красные, в мелких трещинках, кисти. Булькала и свистела вода, шлепалось белье.

Казалось, все как в детстве, на кухне, и монотонный голос сказочника, звучавший из опалового пара, похож был на голос кухарки Авдотьи.

Завалив в бак груду белья и оставив ее отстаиваться на ночь, генерал уходил в комендантскую и, напившись кирпичной жидкости с ломтем пайковой ржани, закатывался спать.

Когда очередная партия белья бывала выстирана, Евгений Павлович долго и старательно мылся сам, причесывал ежик, надевал парадные штаны с генеральским лампасом и серую тужурку с красными отворотами и, сгибаясь под тяжестью корзины, растаскивал белье по камерам.

Понемногу, сам не замечая, он приобрел все манеры заправской прачки.

Он критически рассматривал принимаемое белье на свет, щупал материю и уже заранее определял, какое трудное для стирки, какое легкое. С заказчиками он торговался настоящим визгливым голосом бабы-постирушки, и было странно видеть, как у этой бабы дергается и прыгает узкая серебристая бородка.

Когда его упрекали за желтизну или оставшиеся на белье пятна, генерал надувался, багровел и сердито швырял белье в заказчика, крича яростным тенорком:

— Пятна? Сами стирайте. За керенку вам, может, и крахмалом подавать. Больше вам стирать — слуга покорный. Тоже барин!

И решительно поворачивал спину ошарашенному заказчику.

Генерал даже стал замечать за собою какую-то бабью скупость и скопидомство, и оно не только не огорчало его,

но, наоборот, радовало. Пользуясь по приказанию коменданта за прачечную работу двойным пайком, генерал ничего не прикупал к нему на бродячих рынках, как это делали заключенные и красногвардейцы.

Он только приобрел расписной, обитый жестью сундучок с замысловато звенящим замком, куда складывал свое парадное генеральское одеяние, и туда же, в уголок, откладывал заработанные стиркой цветные бумажки. В сундучке же бережно хранился и подарок Турки — золотой бурханчик Будды.

По вечерам часто Евгений Павлович пил чай вместе с комендантом. За чаем разговаривали разговоры. Обо всем понемногу.

Чаще всего комендант говорил о любви.

Коменданту хотелось найти женщину себе по сердцу. Новгородский мужик, ушедший в столицу на заработки, призванный и прослуживший войну старшим унтер-офицером, комендант Кухтин имел тонкий вкус и чувствительное сердце. За чаем иногда генерал и комендант пропускали по чарочке автомобильного спирта, и размякший комендант с порозовевшими стеариновыми щеками мечтательно говорил через стол Евгению Павловичу:

— Ты, брат Адамов, войди в рассуждение. Конечно, некогда теперь с бабами канитель водить, а только томление у меня без серьезной бабы. Ты вот сам посуди,—скажешь, веселое мое занятие? Стереги недорезанных да справляй в могильную волость! Я перечить не перечу — где нам рассуждать об этом. Коли, значит, революции надобно, чтобы Кухтин руки марал об стервецов, Кухтин слова не скажет напротив. А только иной раз невтерпежку. Я ж в возрасте, тридцатый год лупит. У нас в деревне по восемнадцатому году женят для хозяйства, а я, кроме как со стервами путаясь, настоящей своей, теплой бабы не успел заиметь. А сердце у меня мужичье. Плод свой любит. И только желаю я жениться на образованной и высшего сословия. Теперь можно доискаться. А то наши бабы — серость кобылья. А мне какую дворяночку или графиню заиметь. Чтоб была чистеха, с обращением, ласочка, чтоб детенкам носы вытирала и обучала по музыке на пианине и по-французскому. Ищу вот такую, Адамов. На ручках ее буду носить, на других баб и косым боком не гляну. А? Выйдет у меня такое, Адамов? Ты — проникновенный старичок, раскумекай.

Генерал вскидывал на коменданта сузившиеся развеселенные щелочки.

— Не знаю,— говорил он.— А зачем вам непременно графиня?

Комендант взмахивал руками с протестом и обидой.

— Эх, как же ты в толк взять не можешь, а еще профессор! Кроме высшего звания, кто деток по-правильному обучить может? Не выходит вот у меня из головы. Тятька мой, покойник, за кучера служил у графа Куракина, в Новгородской. Навиделся я там графских детей. Ходят чистенькие; знают, как ножку поставить, как ручкой помахать; по-французски, как канарейки, чирикали. А тут рядом — погляжу я на себя. Вихры торчат, морда немытая, почеревок с пуза спадает, и портки валятся. А как начнешь говорить, так все больше по-матерному. И была там графинечка маленькая. Волосья точь-в-точь ржаное поле, глазки синенькие. Вот бы такую. Все ночи напролет бы баюкал.

— Фантазия у вас больная, Кухтин,— говорил генерал,— неорганизованный вы человек. Большевик, враг буржуев, а хотите на графине жениться. Вырастут ваши дети, станут ножкой шаркать, по-французски чирикать, а сами будут врагами революции и вашими врагами. Тут и получится классовое противоречие, и вам в нем ноги сломать. Вы будете буржуев стрелять, а графиня с детишками будет «боже, царя храни» разучивать.

Комендант секунду-другую озадаченно хлопал ресницами и ударял кулаком по столу.

— Ну, это маком! — выкрикивал он.— Маком! Глупости болтаешь, Адамов. Какие там «боже, царя», ежели я ей скажу, что мне из детенков нужно большевиков робить. Только чтобы не серые были, не в кулак сморкались, а все бы науки прошли, ума бы набрались по-настоящему.

— А вы думаете — она послушается? — еще лукавей спрашивал генерал.

Комендант побледнел.

— Не послухает, поучить можно. Ремешком или рукой.

Генерал смеялся.

— Графиню ремешком? Ничего из этого не выйдет. Бросьте чепушить, Кухтин. Надо вам найти тихую, хорошую сельскую бабу, а с графиней вы только грыжу наживете.

Комендант вставал и зло опрокидывал в горло последнюю чарку самогона.

— Найду,— говорил он,— сколько ты ни скули напротив.

Гасла лампочка. Двое ложились спать. Один с мечтой о беленькой, синеглазой партийной графине, другой — без всяких мечтаний.

Осень отошла. Гуще ложился иней, выпадал и таял пуховый беспомощный первый снег, бинтуя гнилые раны города.

Время кувыркалось на низких тучах и ржало ночными посвистами ветра. Оно смеялось, смотря на запад. На западе на стены городских и сельских построек торопливые люди развешивали цветные плакаты и бегучие строчки воззваний. На плакатах, во всю ширину листа, дыбилось бульдожье мясистое лицо со вспученными очами, с обвисшими рогульками расчесанных усов. Воротник мундира подпирал тугую складчатую шею. Очи грозили, густые эполеты курчавились на плечах.

Под бульдожьими щеками стояла подпись на трехцветной ленте:

«Генерал Юденич».

Воззвания кричали о позоре златоглавой столицы Москвы. Воззвания звали верных сынов родины уничтожить нечисть, стакнувшуюся со слугами антихриста и главным кагалом.

И по разбитым дорогам, скапливаясь и стекаясь к одному месту, как полая вода струится со скатов в глубокую ложбинку, войска, в шапках-кубанках, папахах, германских стальных шлемах и английских фуражках, текли к Петрограду.

И в один из зимних дней в арестный дом приехал человек в сибирской охотничьей шапке с заячьими ушами. У него была окладистая иконная борода и выпуклые толстостеклые очки. Одно ушко очков было сломано и держалось на желтой шелковой ниточке.

Человек приехал набирать добровольцев в полки против генерала с бульдожьими щеками. Правительство обещало добровольцам забвение всех вин и полное прощение. На вопрос человека, кто хочет идти в бой за республику, вышла вперед половина арестованных.

Другая половина криво и злорадно усмехалась, смотря в нервные взблески очковых стекол на носу у человека в сибирской шапке.

— Хорошо,— сказал человек, обдав коменданта брызгами белого огня стекол.— Переписать и к вечеру доставить под конвоем в казармы гвардейского экипажа.

Распорядившись, человек в очках прошел по всему помещению арестного дома, приглядываясь к мелочам с мимолетным, но острым вниманием.

Открыв дверь в ванную, он увидел облака опалового тумана, и стекла очков завуалились тончайшей росой.

— Прачечная?—вскинул человек потускнелый взблеск на коменданта.— Это прекрасно. Благодарю за инициативу, товарищ. У вас первого вижу.

Комендант приложил руку к козырьку и нетерпеливо, стараясь еще больше поразить начальника, скороговоркой доложил:

— Разрешите доложить, товарищ комиссар. Прачечная не чудно, а прачка у нас чудная. В штанах и бывший генерал. Бывший генерал. Бывший профессор даже. И такой старик старательный и хороший, ровно и не буржуй.

Комиссар, сощурив один глаз, со странным выражением оглядел коменданта и, ничего не ответив, резко рванул дверь в ванную. Евгений Павлович обернулся и смахнул с рук пену.

Человек в очках подошел вплотную.

— Простите, вы бывший генерал? — спросил он вежливо.

Евгений Павлович, словно сомневаясь в ответе, ответил не сразу. Он обтер ладони о штаны и вздернул бородкой.

— Да.

— Какой пост вы занимали в старой армии?

— Я нестроевой. Я профессор истории права в Военно-юридической академии,— стесняясь и потупясь, вымолвил Евгений Павлович.

Человек в очках повернулся к коменданту и молча опалил его очками. Несмотря на росу на стеклах, они блеснули страшно, и комендант попятился. Но человек не сказал коменданту ни слова. Он взял Евгения Павловича под локоть.

— Вас не затруднит, генерал, если я попрошу вас проехать со мной на машине в штаб обороны?

— Зачем? — спросил осторожно Евгений Павлович.

— Я объясню вам подробно на месте. А пока задам вам короткий вопрос. Наша республика,— он подчеркнул коротко и отрывисто слово «наша»,— отбивается от белых

орд. Сейчас не время для принципиальных споров, счетов и обид. Сейчас все, в ком живая душа, должны быть с нами. У вас есть знания. Хотите помочь нам?

Генерал молчал. Комендант незаметно подтолкнул его сзади и сделал сердитый знак глазами. Евгений Павлович тихо засмеялся и сказал:

— Если я могу быть полезен...

Спустя короткое время генерал погрузил свой сундучок в автомобиль комиссара. Он остался в прачечной гимнастерке, но сверху надел генеральскую шинель. Другой у него не было.

Человек в стеклах улыбнулся.

— Дорогой генерал,— обронил он,— закройте ваши «революционные» отвороты. Время тревожное, и мою машину могут обстрелять на улице с таким пассажиром. Мы постараемся одеть вас по-современному.

Человек в очках нахлобучил шапку и молчал, закрывая рот от ветра. На повороте какой-то улицы он приоткрыл рот и спросил:

— Вы сколько времени пробыли... прачкой?

— Около года.

— Почему же вы не пытались найти себе какое-нибудь более подходящее занятие, никому не жаловались, не заявляли?

Генерал смотрел на мелькание ощетиненной улицы. Мимо застопорившей машины, лихо распуская волны клешей и пену кудрей из-под бескозырок, шел отряд матросов. Они топали бутсами и пели:

Эх, яблочко, да от Юденича,
На матроса попадешь — куда денешься?

Мотив завивался вместе со снегом над улицей упрямым вихром. Генерал проводил матросов взглядом и уже тогда ответил комиссару:

— Вы, может быть, не поверите, но я первый раз в жизни чувствовал себя по-настоящему нужным.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Петроград бросал в бой отряды, полки и дивизии, как радиостанция бросает волны в эфир. Отряды, полки и дивизии обрушивались на противника частыми, но слабыми толчками. Радиостанция войны работала на короткой волне, наспех собирая атомы человеческой энергии.

Ударив противника, части откатывались назад, истекая кровью и глуша город слухами о поражениях и разгромах.

Притекали новые части и так же, нанеся короткий и слабый удар, отваливались, обессиленные голодом, отсутствием снаряжения и патронов, шипящей вражеской пропагандой, свивавшейся на всех углах, как клубки серых змей.

По растрепанным, промоченным лошадиной мочой и навозом, взбухшим большакам и заснеженным проселкам валялись дохлые лошади, брошенные, разломанные повозки, перевернутые вверх колесами пушки.

На взлете горы за Гатчиной уже три дня как уныло висел, завалясь набок, облупленный броневик. Возле него беспрестанно возились механики с изломанными молотками и выщербленными клещами, посылая проклятия насмехающемуся распухшему времени, катящемуся над полями и городами.

Жизнь нельзя было угасить ничем. Она клокотала и бурлила по дорогам, под разнузданные грохоты пушек. Она смеялась над лопающимися от свинцовых плевков пулеметами, хотевшими выбить эту жизнь кровью и хрустом костей.

И не на плакате, а на широких плечах, далеко за огненной страдой фронта, хмурилось бульдожье лицо генерала Юденича. Генерал хлестал нагайкой крутые бока белого коня и яростно колол его шпорами.

Генерал был похож на время. Он был так же тучен и злобен. Он хотел раздавить жизнь, воплотившуюся перед ним в армии противника. В этой странной армии все было непонятно генералу Юденичу.

Вместо шелковых и парчовых полотнищ, расписанных радужными крестами и сдобренных густой сусалью тяжелого блеска империи, знаменами этой армии служили красные ситцевые платочки выборгских и василеостровских работниц, которые стояли наравне с мужьями, братьями и любовниками в рядах накатывающихся на генерала Юденича отрядов.

Эта армия не устраивала парадов, торжественных шествий в завоеванных городах, не служила молебнов и благодарственных литий на еще окровавленных боем площадях,— но молчаливо, судорожно сжав челюсти и винтовки, лезла вперед, и в глазах падающих бойцов этой армии и после смерти можно было прочесть упрямое сожаление о том, что свинцовый кусок, пущенный белым солдатом,

не дал возможности бойцу свидеться с генералом Юденичем.

И, смотря в такие глаза, генерал вздрагивал всей спиной и бульдожьими щеками при мысли об этом свидании.

И часто, въезжая в город на белом откормленном коне, он думал, разочарованный и недовольный, о муравьином упорстве и стоицизме этой жизни, стремящейся победить самое время.

Он думал о неблагодарности этой страны, которой вместо голода и муки рождения неизвестных благ в будущем он везет в своих крепко кованных обозах настоящую пышную белую муку и жирные ломти канадского прессованного масла. Вздымающиеся навстречу генеральскому шествию сотни тысяч рук не брали его муки, а отталкивали со злобой и презрением.

Этого генерал не в силах был осмыслить.

И вечером, читая штабные сводки, бегущие лиловыми взводиками по бумаге английского производства, гладкой и хрусткой, генерал Юденич зверел и пучил щеки. Короткие узловатые пальцы бешено сминали британский пергамент. Генерал Юденич звал начальников штабов и хриплым фельдфебельским басом требовал усилить напор, чтобы сломить непонятное упорство защитников Петрограда.

Звенели в эфире радиограммы, и наутро полки с прославленными двухвековой историей российской победоносной армии именами кидались в отчаянные атаки, затягивая петлю вокруг леденеющего города, и уже шрапнели визжали над царскосельскими и гатчинскими парками, и прицелы пушек щупали кирпичные трубы окрестных заводов.

Штаб дивизии разбросался по избам одной из Екатериновок. Русские императоры и императрицы понатыкали по всей питерской округе эти бесчисленные тезоименитые царственным особам поселки, словно незаконнорожденных детей.

Шрапнели накатывались все ближе и ближе на Екатериновку, звенели низко и пронзительно, вспарывали снег свистящими пульками.

По шоссе, мимо сваленной, словно карточный домик, будки шоссейного сторожа, нахлестывая лошадей, улепетывали выбивающиеся из сил обозы продчасти дивизии. Продуктов в них не было и следа. Вожатые обоза навалили телеги доверху никому не нужным барахлом: горшочками

со сломанной и замерзшей геранью, раскоряченными деревенскими стульями и диванами, перинами, кроватями.

На одной из повозок тряслась увязанная стоймя мраморная нимфа, очевидно взятая из какого-нибудь дворцового сада.

Ее вытянутая тонкая рука, с пухленькими пальчиками куртуазной бездельницы восемнадцатого века, вскидывалась в небо при каждом ухабе дороги, и со стороны казалось, что нимфа летит над телегой, благословляя это рачительное и хозяйственное бегство.

Шрапнели ложились все ниже и гуще, и вот на шоссе между скачущими телегами взметнулся огневой фонтан гранаты. Скакавшая телега перевернулась. Колеса ее пусто и ухмылочно завертелись в воздухе. Она грохнулась на спины лошадей, давя и круша их. Задняя телега с нимфой налетела на опрокинутую.

Дым взрыва медленно растаял. Нимфа все качалась над телегами, но уже без руки. Грудь ее и лицо были густо залиты алой струей, и вокруг шеи, как боа, завернулась лошадиная нога.

Из далекого перелеска поползли задом по снегу серые раскоряки. Отходила под обстрелом белых последняя цепь прикрытия штаба дивизии.

На крыльцо штаба вышел начдив и поднял к глазам бинокль. Его обеспокоил обстрел, но он ничего не знал о действительном положении. Связь телефонила, что все благополучно и белые сдерживаются резервами.

Бинокль не успел подняться и упал, закачавшись на ремне.

Начдив сорвал с головы шапку, шарахнул ее о крыльцо и выругался короткой, стреляющей бранью. Он рванул дверь избы и крикнул:

— Все наружу! Живо! Кидай писарскую муру ко всем собакам. Тащи пулеметы на улицу. Прикрытие отрезали.

Из сутулой двери, гудя и топоча, роем выгнанных дымом пчел, выкарабкивались сотрудники штаба с винтовками. В дверях сбился человеческий клубок. Тогда те, которые внутри были заняты пулеметом, не захотели ждать, пока уместся людская давка в дверях. Они подкатили пулемет к окну, приподняли оскаленную машинку рылом вперед и, раскачав, саданули ею в переплет рамы. Рама с треском, звоном и ржавым скрипением петель вывалилась, и пулемет мягко съехал в сухие кусты черемухи под окном.

Начдив размахивал наганом у крыльца.

— В цепь! В цепь, боженята! Сыпь к лесу на подмогу прикрытию! Пулеметчики, пристраивай мопса на околицу! Вертись, расторопные. Живо!

Он побежал за развертывающейся ровной линеечкой поперек улицы цепью и на бегу заорал, сложив ладони рупором, обертываясь назад:

— Гре-е-бенков!.. Пошли на край сказать трибуналу, чтоб катились к божьим родичам. Некогда судить. Арестованных пусть кончают, а сами драпают во весь дух.

Начальник штаба ткнул в спину красноармейца в желтых, расписанных анилиновыми цветами валенках и показал на край деревни. Красноармеец побежал по мелкому снежку, переваливаясь и подкидывая на бегу винтовку.

Он подбежал к избушке с кирпичной стеной. На крыльце сидел карликовый, весь в узоре ласковых рябинок, красноармеец и, потыкивая штыком в стороны, сдерживал толпившуюся кучу финских мужиков.

— Не лезь!.. Засудят зараз вашего кулака и кашей накормят... Горошком свинцовым.

Мужики молчали и следили за красноармейцем притаенными, зверьими, тупыми и страшными глазами.

— Кимка! — крикнул, подбегая, красноармеец в желтых валенках.— Вы тут очумели? Кончай базар! Начдив приказал. Обходят кадеты.

Рябой Кимка равнодушно показал штыком на финнов.

— Погляди. Ежели лезть будут — пори брюхо,— сказал он флегматично и ушел в избу.

Финны прислушивались. В избе глухо, словно в подушку, лопнул выстрел. Финны залопотали, и красноармейцу стало жутко. Вслед за выстрелом вышел, застегивая кобуру, председатель трибунала, долговязый, сутулый человек. Губы у него дергались.

— Пошли вон! — закричал он на финнов.— Вон, а то всех перешибу, кровоглоты!

Мужики метнулись от избы: хвостики их шапок замелькали за заборами и деревьями. Красноармеец в крашеных валенках, выскочивший следом за председателем трибунала, заправил пояс с новенькими подсумками потуже на животе и побежал догонять цепь начдива.

— Передай начдиву, что пойдем на Антропшино,— крикнул вдогонку председатель трибунала.

Трибунальщики столпились у крыльца. Сухонький старичок в мятой, но аккуратно пригнанной шинели, в налезающем на уши шлеме вышел из избы последним и из-за

спин других глядел на перебегающую огородами цепь начдива, подергивая колючей серебряной щеточкой бородки.

— Ну, товарищи, айда,—сказал председатель трибунала и тронулся по улице.

За ним нестройной гурьбой поплелись трибунальщики.

Они приближались уже к последним избам села. От них широкая аллея входила прямо в лесок. И вдруг из леска, как выбегают на межу за колосьями зайцы, высыпалось полсотни всадников в стальных немецких шлемах.

Это были кавалеристы полковника Бермонта-Авалова, полковника, продававшего свою шпагу, честь и подданство и за немецкие марки, и за русские рубли, и за английские фунты.

Кавалеристы скакали вразброд. Обнаженные шашки бледно серебрились в заснеженном воздухе.

Председатель трибунала остановился и нервно вырвал револьвер из кобуры.

— Рассыпайся! Беги кто куда, задворками, по огородам. Кто уйдет, пробирайся поодиночке на Антропшино.

Кучка людей растаяла и рассыпалась.

Председатель стал за ствол столетней липы и, упирая револьвер в корявый нарост коры, неторопливо подцепил на мушку скакавшего впереди кавалериста. Он успел выстрелить пять раз, пока налетевшая лошадь не придавила его боком к дереву, и опустившаяся шашка, раздвоив шлем, оставила на лбу председателя трибунала глубокую щель.

По огородам, прыгая и перелезая через заборы, бежали трибунальцы, отстреливаясь. За ними гонялись всадники.

Красноармеец в ласковых осенних рябинках и сухонький старичок в налезающем на уши шлеме подбегали уже к опушке леса. Сзади, тяжело хрипя и отбивая чечетку подковами, настигала шестивершковая пегая лошадь. Красноармеец остановился и вскинул винтовку. Плеснул грохочущий желтый язычок, и всадник кулем ссунулся на землю. Лошадь набежала на красноармейца и остановилась. Он схватил ее за повод и обернулся к старику.

— Товарищ следователь, лезайте, а я позади вас. На коне способней.

Он посадил старика и вскарабкался сам. Лошадиный круп мелькнул между лесной порослью и скрылся.

Всадники, окончив гонку за трибунальцами, скакали уже в тыл цепям.

И когда они выскакали в поле, к трупу председателя, раскинутому под липой, медленно, поодиночке, как волки к падали, стали собираться разогнанные мужики-финны. Они постояли несколько секунд молча и вдруг, словно сговорясь, стали топтать труп добротными, подбитыми кожей валенками.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Не иначе как заплутались. Ишь какая мгла! Ни черта не видать. Придется до утра перемаяться под кустиками.

Евгений Павлович из-под руки вгляделся поверх лохматого кустарника, прикрывающего опушку. За кустарником, шагах в двадцати, блеклая полоса снега чернела и обрывалась в непроглядную пустоту, от которой веяло холодом и одиночеством. В этой вороненой пропасти по временам искрилась какая-то блесткая точка.

— Как будто огонек вон там, Рыбкин,— сказал Евгений Павлович голосом, потеплевшим от надежды.

Красноармеец вгрызся взглядом в тьму и покачал головой.

— Не. Мережится это. С устатку да с голоду. А коли б и на самом деле — все едино, товарищ Адамов, не след до утра соваться. Напоремся на белугу. Н-но!.. Балуй, черт офицерский! — крикнул он на пегую лошадь, дернувшую повод.

— Что же делать? — спросил уныло Евгений Павлович.

— Да одно осталось — податься в чащу. Коняку положим, сами к ней к пузу примостимся, чтоб не простыть,— так и заночуем.

Евгений Павлович пошел следом за Рыбкиным и лошадью, трудно поднимая с земли коченеющие ноги.

Рыбкин выбрал место, где кусты сошлись в кружок, протащил лошадь внутрь, ломая ветки, и, похлопав ее по коленям, заставил лечь. Уложив лошадь, окликнул:

— Идите, товарищ Адамов. Лягайте под самое брюхо, приваливайтесь, а ноги кладите ей на шулятики. Буде тепло, что на печке.

— А ты? — спросил генерал.

— А я тоже сбочку привалюсь. Нам привычно.

Евгений Павлович улегся. От лошадиного мерно вздымающегося живота сквозь шинель дошло мягкое, разнеживающее тепло.

Над головой сухо звенели промерзшие веточки. Облака в небе бежали, торопясь и разрываясь; промежду них выскакивали и гасли мерцающие лиловатые звезды.

Рыбкин зашевелился и приподнял голову.

— Ясняет,— сказал он тихо,— звездочки видать.— И, помолчав, добавил: — Вот берет меня интерес узнать, чи есть бог, чи на самом деле один воздух? Вы вот, товарищ Адамов, науки знаете — объясните.

— Ты же большевик? — ответил генерал с ласковым удивлением.

Рыбкин засмеялся.

— А как же. Билет имею по форме.

— Значит, ты не можешь верить в бога.

— Оно, конечно,— ответил красноармеец.— А только все одно: смутно нам как-то без бога. Хрестьяне мы. Неужто так нельзя, чтоб божецкую правду и большевицкую правду вместе собрать?..

Дремота ослепляла веки Евгения Павловича. С шепотом Рыбкина сливался промерзший звон веточек. Сквозь дремоту ответил:

— Правда всегда одна, Рыбкин. Всегда одна. Только нужно каждому уметь познать правду. Об этом трудно рассказать. И совместить можно. Нужно только верить, что правда, за которую стоишь,— настоящая и единственная.

Рыбкин зашевелился, прикрывая рваными полами шинели ноги, и похлопал с мужицкой лаской по брюху завозившуюся лошадь.

Она стихла. Рыбкин сказал:

— И, по-моему, очень даже можно. Мы, конечно, мало чему учены. За медную полушку писарь по складам читать обучил. А вот, коли почитать, скажем, Евангелие и, допустим, партейную программу, то видать — что по писанию, что по программе — одинаковая правда. И Христос для бедных трудящихся старался, и большевики об том же страдают. А что церква за богатых заступой стала, так в том попы повинны. Попы тоже человеки, греху подвержены.

— Да,— односложно ответил Евгений Павлович.

— Видать, сон вас долит, товарищ Адамов. Спите. Авось завтра выберемся. А не выберемся, так вам с полбеды, зато мне беда...

— А почему мне полбеды? — оживился Евгений Павлович, приоткрывая глаза.

— В рассуждении кадетов. Вас-то простят, как вы генеральского чина; а Рыбкина, мужика,— пожалуйте под машинку.

— Глупости говоришь, Рыбкин. Одинаково скверно будет и тебе и мне. Ну, давай спать!..

— Спокойной ночи, товарищ Адамов,—вздохнул красноармеец.

Евгений Павлович прижался плотнее к лошадиному брюху. Сквозь пленку дремы подумалось о словах Рыбкина, и генерал представил себе встречу с белыми. И неожиданно почувствовал испуг и томительное отвращение. Чтобы отделаться от этой мысли, надвинул шлем на глаза и уткнулся носом в лошадиную шерсть.

— Вставайте, товарищ Адамов. Идтить пора. Светает.

Сквозь сон генерал почувствовал осторожные подергивания за плечо и раскрыл глаза. Оспенные рябинки со щек Рыбкина ласково усмехались ему.

— Заспались. Мне и то жаль вас будить было, да надо.

Евгений Павлович наскоро вытер лицо снегом и вскарабкался на лошадь.

Рыбкин потянул за повод.

— А ты что не садишься?

— Лошадь ослабла. Двоих не свезет. Да идти-то уж недалеко.

И красноармеец зашагал по снегу, ведя лошадь.

За опушкой, где вчера видели только черный провал, лежала ровная белая полянка. Она опять замыкалась редким березняком. Пройдя березняк, Рыбкин остановился.

— Глядите, деревня,— сказал он смешливо, вытягивая туда палец.— Знать бы, так не пришлось бы в лесу мерзнуть. Только вот чия? Наша иль ихняя?

Он пролез в кусты, присел на корточки, долго вглядывался из-под руки и с радостным лицом повернулся к генералу.

— Наша. Красный флаг над избой. Повезло-таки. Ходим скорей!..

Он опять ухватился за повод лошади и вприпрыжку побежал по снегу, волоча винтовку. Уже у самых строений, навстречу из-за избы, высыпала куча солдат, несущих длинное бревно.

— Товарищи! — заголосил Рыбкин.— Ребяточки! Подмогите!

Солдаты услышали крик, бросили бревно, выпрямились и обернулись. Рыбкин громко охнул и осел. На плечах солдат он различил красные лоскутки погон. Рыбкин метнулся к Евгению Павловичу.

— Белуга!.. Гоните в лес, а мне все одно пропадать. Я их попридержу! — крикнул он, припадая на одно колено и вскидывая винтовку.

Генерал повернул лошадь и тронул ее шенкелями. Но усталое и голодное животное, почуявшее запах еды и стойла, заупрямилось. Генерал оглянулся. Солдаты бежали от изб. Рыбкин яростно дергал затвор и, завыв, отшвырнул винтовку в сторону.

— Примерз затвор! — крикнул он.—Один конец, монумент ихней матери в глотку!

Солдаты набежали. Генерал увидел, как трое навалились на Рыбкина. Двое подбежали, ухватили за повод и грубо сдернули Евгения Павловича на землю. Скрученного поясом Рыбкина подняли с земли. По губе у него стекала струйка крови. Он молчал. Его подвели к Евгению Павловичу и поставили рядом. Рослый солдат с нерусским лицом подошел к Евгению Павловичу и, заглянув в лицо, сильно рванул за бородку.

— Штарый шволичь,— сказал он, сплюнув,— пешок шыпет, а балшивик.

Другой солдат, засмеявшись, ударил Евгения Павловича в бок прикладом рыбкинской винтовки. Евгений Павлович шатнулся и жалко, по-детски, ойкнул.

И тогда от жалости или от растерянности, но вырвалось у Рыбкина от сердца негаданное слово:

— Не трожьте, гадюки, старичка. Ваший он. Из генералов.

Солдаты переглянулись. Рослый, с нерусским лицом, насупясь, покраснел и, скрывая смущение, прикрикнул:

— Форвертс! Марш на штаб!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Евгений Павлович стоял у стола в избе и смотрел, не поднимая глаз, на детские, в заусеницах у ногтей, розовые пальцы поручика.

— Вы можете подтвердить документально показание взятого с вами вместе в плен красноармейца, заявившего,

что вы бывший генерал русской армии? — услыхал он молодой, хрусткий, как наливное яблоко, голос офицера.

— Конечно. У меня есть личная книжка. В ней отмечен мой послужной список,— ответил генерал.— Только зачем это вам?

— Как зачем? — удивился поручик.— Это совершенно меняет дело. Где ваша книжка?

Евгений Павлович расстегнул шинель и, достав из внутреннего кармана книжку, подал офицеру. Поручик брезгливо взял ее и развернул, скользя глазами по тексту. Лицо его порозовело, прояснело, стало гладким.

— Ну,— сказал он, складывая книжку,— считаю долгом извиниться перед вашим превосходительством за несдержанность нижних чинов. Они будут подвергнуты дисциплинарному взысканию. Вы свободны, ваше превосходительство. Я сейчас доложу полковнику. У нас большая нужда в высшем командном составе, ваше превосходительство.

Генерал устало закрыл глаза. Перед ним встал на мгновение умерший уже в сознании мир генералов, погон, орденов, каменной субординации, тяжелая мертвенная машина развалившейся империи, олицетворенная в эту минуту сидевшим перед ним оловянным солдатиком, преисполненным аффектации, дисциплины и исполнительности. И сразу стало ясным, что эта машина навсегда уже чужда и враждебна ему, как он сам чужд и враждебен ей. Он сморщился, словно от зубной боли, покачал головой и сказал офицеру, медленно и раздельно роняя слова:

— Вы думаете, я смогу служить в вашей армии?

Поручик улыбнулся.

— Отчего же нет, ваше превосходительство? — ответил он, не поняв, не сомневаясь, что иначе понять слова генерала невозможно.— Ведь вы же не какой-нибудь прапорщик военного времени из студентов. Никто не заподозрит вас в добровольном большевизме, ваше превосходительство.

Генерал усмехнулся.

— Вы меня неправильно поняли, господин поручик,— возразил он,— я именно хотел сказать, что служба в вашей армии этически неприемлема для меня.

Поручик выронил на стол деревянную карельскую папиросницу и впился в изрезанное морщинками ссохшееся лицо.

— Вы с ума сошли? — вскрикнул он.

Генерал с внезапной и поднявшейся из самой глубины ненавистью почувствовал, что румяное, беспечное лицо офицера, с черными подстриженными усиками над пухлой губой, до омерзения противно ему.

— Потрудитесь держать себя прилично,— дрогнув челюстью, кинул он офицеру,— я старше вас вдвое. Я ведь не говорю вам, что вы с ума сошли, служа в вашей армии.

Офицер поднял со стола папиросницу, открыл ее, бросил в рот папироску и нервно закурил. Глаза его сощурились и стали хитро-хищными и пронзительными.

Он опустился на табуретку, закинул ногу за ногу, сложил руки на колени и, затянувшись, нарочито нагло пустил дым в лицо Евгению Павловичу.

— Вы что же, большевик? — спросил он с презрительной иронией твердолобого молокососа и захохотал.—Вот так анекдотик!

— Нет, не большевик! — ответил Евгений Павлович.

— Тогда почему же вы не хотите служить в нашей армии? Кто же вы?

Генерал пожал плечами.

— Вы этого не поймете,— сказал он с тем же тихим презрением, с каким говорил когда-то с Приклонским,— не сможете понять... Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втягиваются малые тела, даже против их воли. Так появляется какой-нибудь седьмой спутник... Но все равно — вы ничего не поймете, и разговаривать с вами я почитаю излишним,— закончил он, чувствуя, как вся кровь прихлынула к лицу от внезапной бешеной ненависти к этому оловянному солдатику, щурящему бессмысленные глазки заводной куклы.

Поручик встал со стула и присвистнул.

— Слыхали мы эти песни. Притворяетесь помешанным.

Он прошел к двери, открыл ее и крикнул в сени:

— Захарченко! Сбегай к господину полковнику; скажи, что я прошу его срочно прийти.

Закрыв дверь, он опять сел на стул и стал разглядывать генерала с задорным нахальством самоуверенной юности.

Евгений Павлович отвернулся.

Он не оглянулся на четкий стук шагов и звук открывающейся двери. Он с живым волнением разглядывал

задний двор избы. У хлевушка терлась боком о подставку пятнистая, черная с белым, свинка. Кудластый щенок задорно ловил ее молодыми зубами за вертящееся колечко хвоста. Старый важный петух, подняв одну ногу, меланхолически следил за спортивным увлечением щенка, склонив гребень и полузакрыв желтый стеклянный глаз, словно хотел сказать: «А ну, поглядим, как это вы, молодежь, сумеете?»

Евгений Павлович обернулся только на жесткий окрик поручика:

— Пленный!.. Стать смирно!

Евгений Павлович взглянул и увидел перед собой бритого, гладкого, затянутого в английскую офицерскую форму полковника с немецкими погонами на плечах. Он слушал торопливый доклад поручика, облизывая тугие, как накачанные велосипедные камеры, губы. Дослушав, шагнул к генералу.

— Вы отказываетесь переходить в ряды доблестной северной армии?

Генерал молчал. Губы сами собой кривились в усмешечку — тихую, ползучую, нестерпимую.

— Я вас спрашиваю! — повысил голос полковник.

И пришла негаданная мысль — съязвить напоследок, взорвать оскорблением это отполированное бритвой «жиллет» ремесленное лицо. И генерал сказал, прищурив глаз:

— В северную? А у вас армии как — по всем частям света имеются?

Полковник отшатнулся. Велосипедные камеры прыгнули, прошипели:

— Вы понимаете последствия?

Еще ползучее и нестерпимее сделалась усмешка. Вспомнился белобородый член Государственного совета, который предупреждал там, в двусветном зале, о последствиях.

И ненужно сказал вслух:

— Последствия понимаю, а вот вы причин не изволите понимать.

Полковник метнул зрачками. Крикнул:

— В последний раз спрашиваю: отказываетесь служить России?

Полковник Бермонт-Авалов волновался. Он, затянутый в английскую офицерскую форму с немецкими погонами и русскими орденами, не мог понять этого старика, как

генерал Юденич не мог понять Петрограда, отказывающегося от его канадского масла.

Но генерал спокойно откачнулся в знак отрицания.

— Обыскать мерзавца! — каменея всем лицом, приказал полковник.

Руки солдат распахнули полы шинели, полезли в карманы, жестоко и больно жали на ребра. Одна рука нащупала какой-то предмет в грудном кармашке гимнастерки и выволокла его. Предмет тускло блеснул.

— Тютелька какая-то, ваше высокоблагородие,— сказал солдат, протягивая предмет полковнику.

Тот подставил ладонь. Золотой бурханчик Будды, бережно хранимый подарок удалого налетчика и бандита Турки, уютно лег на широкую ладонь, как в колыбельку. Полковник нагнулся, разглядывая. В мудро-бессмысленной улыбке Будды ему почудилось странное сходство с улыбкой старика в красноармейском шлеме. Он нахмурился и взвесил на руке божка.

— Золото,— и ухмыльнулся.— Ай да генерал, добольшевичился. Воровать даже выучился.— И вдруг, зверея, крикнул: — Кого ограбил, сволочь старая? Кого?!

Бледно дернулись старческие губы. Но генерал не сказал ни слова. Показалось смешно и ненужно.

Полковник бросил Будду на стол.

— Что прикажете, господин полковник? — спросил, вытягиваясь, поручик, подметив в глазах полковника решение.

— Списать! — отрезал полковник и поправил лакированный пояс.

— Обоих?

— Обоих.

— Захарченко, выводи! — крикнул поручик во весь голос, хотя солдат стоял рядом.

У стены сарая стали вполоборота друг к другу. Руки были связаны ремнем: старческие худые руки генерала и мужицкие шерстистые руки трибунальского вестового Кимки Рыбкина.

С желто-серого неба сеялся снежок. Поодаль глухо и непрерывно перекатывался круглый орудийный гул. Казалось, что в небе вертятся тяжелые жернова и из-под постава сыплется пушистой крупчаткой снежок.

Кимка так и сказал, переступая с ноги на ногу:

— Снежок-то, как мучица, сеется.

Напротив выстроились солдаты в стальных шлемах. Полковник, опираясь на трость, стоял поодаль.

Евгений Павлович обвел глазами низкий болотистый горизонт. Он вдруг раздвинулся, расширился, в лицо пахнуло теплым бодрящим воздухом, и от этого веяния все окружающее стало сразу отплывать в пустоту, словно за плечами, шумя, распускались подымающие тело ввысь крылья. Генерал повернулся, сколько позволили связанные руки, к соседу и ласково сказал:

— Прощай, товарищ Рыбкин.

И так же ласково, мягко ответил Кимка:

— Спасибо на добром слове, товарищ Ада...

Недоговоренный слог слизнули желтые язычки залпа.

Ленинград — Детское Село,
9 декабря 1926 — 3 апреля 1927 г.

САПОГИ

Утро вылилось на выхолощенные пустыри болот, на рыжую запекшуюся траву мертвой зеленой водой. На пушистых горбиках болотных кочек оно пенилось тонкими пузырьками тумана, как ледяная содовая на дне стакана.

В зеленой мертвой воде всплывало малярийно-розовое негреющее солнце.

У размокшего суглинка шоссе покоем построилась в болоте дивизия.

Железная латынь этого названия прикрывала своим грузным историческим звоном отрепья трехсот страшных и великолепных оборванцев, попиравших ногами запекшиеся комья осенней травы.

В тот год у республики не было кинооператоров и пленки. История не запечатлевала героев. Герои запечатлевались только в списках личного состава дивизии. Зеленолицые небритые писаря, каменея от холода в нетопленных избах, кашляя надрывным собачьим хрипом, старательно растирали указательным пальцем на дне жестяной кружки, в тепловатой воде, кристаллы порошка, нерешительно окрашивавшие жидкость мертвой зеленью осенних рассветов.

Этой зеленью они вписывали фамилии в графы, наведенные на мохнатую, в заусеницах, бумагу.

Равнодушные пули и стремительный тиф вычеркивали только что вписанные фамилии, и не успевала слипшаяся земля осесть над телами вычеркнутых, как чудесно оборванная и беспечная новая смена героев, пускала память

о своих предшественниках на ветер колючими клочками махорочного дыма из козьих ножек, испещренных бледно-зелеными каракулями.

Остатки дивизии стояли в болоте.

Рыжая рвань шинелей висела изумительными лохмами на застывших телах. Винтовки, тупо упершиеся прикладами в кочки, качались в раздутых суставах багровых пальцев.

Шестьсот глаз сумрачно любопытных смотрели на середину болота, где высился в седле начдив, окруженный комсоставом.

Начдив был торжественно суров и прекрасен гордой красотой нищего.

Облезлая финка с висящими ушами тщетно старалась зацепиться за скомканные вихры громадной и упрямой головы с профилем кондотьера Коллеони.

Поповская шуба, перепоясанная ремнем, на котором висел бесстыдно голый маузер, свисала оборванными полами к ногам, упертым в стремена.

Ноги топырились берестой новых лаптей. Негреющее малярийное солнце блестело на бересте.

Шестьсот глаз, глубоко ушедших под брови, с мрачной ревностью смотрели на веселый блеск бересты.

Шестьсот ног, завернутых в портянки и обрывки шинелей, обутых в деревянные сандалии карфагенских воинов Ганнибала, сумрачно топтались на побурелой траве.

Грязные, разукрашенные багрянцем утренника пальцы ног, торчавшие наружу, казались в траве поздними осенними ягодами.

Начдив перегнулся с седла к двум закутанным в оренбургские платки бабам, поддерживавшим зеленобородого слепого мужика. Бабы стояли возле начдива, вытирая вспухшие носы рукавами ватных кофт. По рукавам тянулись жидкие полосы слизи.

Начдив сказал бабам несколько слов, выпрямился и тронул шпорой, привязанной к лаптю, живот своего коня.

Конь сделал резкий прыжок вперед. Конь начдива выпадал из общего стиля эпохи и армии. Трудными и несказуемыми путями раздобыл начдив Волобуев коня «Пигмалиона». Тонкая, белая кожа араба нервически дрожала на прекрасном корпусе Пигмалиона. Он плыл как гордый

белизной и старой кровью лебедь под начдивом в поповской шубе и новых лаптях.

Коня Пигмалиона знала вся армия. Начдив Волобуев знал цену своему коню и только пуля или стремительный тиф могли бы снять его с рваного японского седла.

Шестьсот глаз не отрывались от тонких бабок Пигмалиона, от его брызгавших комьями грязи копыт. Дивизия знала, что в каждом шаге коня начдива приближается смерть.

Начдив остановил коня перед серединой строя. Его пустые от устали и боевой, тяжелой славы зрачки обежали строй. Он откинул назад большую отяжелевшую голову.

— Бойцы,— сказал начдив Волобуев, хрипло и жадно.— Бойцы! Это что ж за хреновина выходит? Мы, которые бьющиеся за беднейшего крестьянина и нашу республику... и вдруг курица, раздави вашу мать! Позор тем пачканым рукам, которые свернули глотку несчастной куре и принесли горе этим неповинным женщинам, которые позади меня обливаются слезами. Я не могу этого потерпеть, бойцы. Питаю надежду на вашу геройскую сознательность, а говоря прямо, выходи, сукин сын! Неси седало на ножках суды! В два счета!

Шестьсот глаз уперлись в запекшуюся траву. Мы молчали. Мы все были героями, мы все знали, кто свернул голову несчастной куре. Мы молчали.

— Ну,— сказал начдив,— докладываю вам, бойцы, что мне долго стоять посереди болота маленький резон, но все же я на моем прекрасном коне и мне на холод с третьего этажа. А вас я продержу, дорогие товарищи, в болоте до той поры, пока холод не подберется до подлого живота, набитого курой, и все одно узнаю. Кажите лучше сразу.

Шестьсот глаз поднялись от травы и вперекрест пробежали по рядам. Пятьсот девяносто восемь уперлись требовательно и грозно в два помутнелых дрожащих зрачка.

По рядам порхнул бесшумным полетом совы шепот.

Дрожащие зрачки завертелись, и человек, вытолкнутый из строя, как пробка из бутылки с квасом, вылетел на кочку впереди строя. Винтовка выпала из его руки.

Начдив Волобуев прищурил бровь.

— Бойцы, подберите оружие,— сказал он спокойным хозяйским тоном и чьи-то руки подняли винтовку и отерли ствол рукавом шинели.

Начдив усмехнулся:

— Джафер! Свиное ухо! Кормленый волк до лесу тянется. Не боец ты, а дыра с граблями, и сейчас дам я

пример моей боевой дивизии, что доблестно заработала шелковое красное знамя, как не нужно курей воровать... Десять шагов вперед!.. Шагом марш!..

Человек шатнулся и, автоматически выбросив ногу в синих рваных галифе, пошел, осторожно ступая на кочки.

Мы знали этого человека, мы расстреляли рядом с ним немало патронов в сумасшедших и сказочных боях героической рвани. Он перебежал к нам от Шкуро под Воронежем. Татарин, родом из Гагр, он дрался с нерусской, дикой и безрассудной храбростью. Он был хорошим бойцом и добрым товарищем.

Он остановился в двух шагах от медленно раскачивавшейся тонкокостной головы Пигмалиона. Пар из ноздрей коня струйками бил в его посерелое лицо.

Желтый, короткий кожушок странно съежился и сгорбился на его спине, и кубанка слезла набок. Но не это притянуло к нему с неслыханной силой внимание строя. Словно впервые мы, замотавшие ноги в портянки и обрывки шинелей, шлепавшие деревянными сандалиями по ржавой воде петербургских болот, увидели на ногах Джафера совсем целые, еще не потерявшие лоска желтые хромовые сапоги.

Взгляды строя уперлись в кривые ноги Джафера, дыхание людей стало вдруг тяжелым, жадным и горячим. Я чуть повернул голову вправо и увидел лицо своего соседа Никитки. Его бабьи румяные щеки напружились, губы выпятились, точно искали теплые сосцы материнской груди, прозрачные, наполненные жадностью и грузом единственной мысли зрачки стыли на желтом хроме сапог, аккуратно вставших на верхушку кочки.

— Никитка,— шепнул я испуганно.

Он вздрогнул и повернулся ко мне. Лицо его исказилось ненавистью.

— Молчи,— прошептал он, трудно дыша,— молчи, сволочь!

И опять устремил глаза вперед.

Я посмотрел туда же, и вот мне стало казаться странное. Что человека нет, что в болоте стоят одни желтые сапоги и к ним неотвратимо с пугающей и жестокой силой потянуло мою волю и мое сознание.

Начдив снял с плеча свой прославленный мексиканский карабин, не ведавший пустых выстрелов. Брови его сошлись, как два черных червяка на садовой дорожке.

— Ну,— опять повторил он полувосклицание-полувопрос и резко щелкнул затвором.

В эту минуту я опять увидел над сапогами синие галифе, сморщенную спину желтого кожушка и кубанку. Спина затряслась, и руки вскинулись в воздух, ловя поводья Пигмалиона.

Я услыхал странно тонкий, незнаемый голос (Джафер, боец и товарищ, говорил глуховатым, низким баритоном):

— Просты, товарыщ начдыв... Не стрэляй, товарыш начдыв... Нэ надо стрэлять Джафер...

Начдив повел плохо выбритой верхней губой. Ответил спокойно, будто вел дружескую беседу:

— Нет, паскудный товарищ и пачканый боец моей честной дивизии. Не могу я простить тебя. И хоть бы просила меня о том не только моя дивизия, но и вся голота всемирная, все наши товарищи, которые еще придавленные чертовым капиталом, то и то не прощу для ихней же всемирной пользы...

И перебросил карабин из левой руки в правую.

Джафер дернулся и повис на поводьях отшатнувшегося Пигмалиона, завыв протяжным воем, в котором уже не было слов.

И вдруг над болотом грянул страшный голос, от которого колыхнулись ряды и прижал уши Пигмалион. Кричал начдив Волобуев.

— Стать как следует!.. Революционную дисциплину забыл, сука на сносях? Руки по швам!..

Джафер точно отклеился от поводьев и врос в болото. Ладони его крепко и точно, по уставу, легли вдоль ляжек, голова вскинулась. Только было видно сбоку, как прыгает его длинный ус.

Начдив взбросил карабин к плечу, не поддерживая его левой рукой.

Я не слыхал выстрела. Я только видел метнувшийся голубой тенью дымок, видел взлетевшую в воздух кубанку и посыпавшуюся с нее шерсть.

Качнувшееся тело Джафера, не сгибаясь, с руками по швам, упало под ноги Пигмалиона. Правая передняя бабка до колена облилась багрянцем. Пигмалион склонил голову и с любопытством вдохнул запах крови от головы Джафера.

— Бойцы,— закричал Волобуев, выбрасывая стреляную гильзу,— видели? Так и забейте себе в мозги, что не только за куру, за куриную лапу, краденную у злосчаст-

ных наших отцов и матерей крестьянского сословия, будет то же. Поняли?

Он оглянул ряды, ожидая ответа. Но дивизия не слышала.

Пятьсот девяносто восемь глаз, неподвижные, жадные, страшные, смотрели на крепкие новые подметки и торчащие кверху каблуки с железными подковками. У всех было одно выражение и все лица стали внезапно и страшно одинаковыми.

Начдив Волобуев понял. Внезапно побледнев и откинувшись на седле, он обронил назад, комиссару:

— Сапоги снять! Отдать тому бойцу, кто сегодня первым дорвется до белых.

Он повернул Пигмалиона. Я услыхал шумный и широкий вздох трехсот грудей.

Солнце стояло уже высоко и из розового стало желтым. Мы лежали вдоль железнодорожной насыпи, готовые в любую минуту вскочить и бежать вперед под пули.

Там, за голым, разбухшим, лилово-черным полем, голубело прозрачное марево леса и над ним наливным золотым яблоком круглел купол Федоровского собора.

Я знал, что голубое марево — это тихие, озаренные печалью умершего великолепия парки Детского Села. И у меня была одна мучившая меня мысль: удастся ли мне добежать до них сегодня по разбухшему полю, вдохнуть еще раз их исцеляющую тишину, или я лягу в шелковую торфяную грязь, как Джафер.

Я закрыл глаза, снова открыл их и увидел рядом с собой Никитку. Он лежал, опираясь на локти, и курил. Глаза его полнились теплым медом мечтания.

Почувствовав мой взгляд, он повернулся, расправил крепко сколоченное тело крестьянского парня и сказал, не торопясь:

— Эх, Валерьяша, милый! Повоюю я сегодня с Юденичем за энти сапоги. Лопну, а долезу первый.

Мне не хотелось ни думать, ни говорить о бое. Я жил воспоминанием о парках, о блестящем сахарном снеге, о лыжах, звенящем голосе и сухих вишневых губах, целующих на морозе.

И я сурово ответил моему товарищу и другу Никитке:

— Мы воюем не за сапоги, а за революцию.

Никитка взбросился. Глаза его округлились и стали властными и ненавидящими.

— Ученая слякоть,— зашипел он,— червяк давленый! Молчи, пока морда цела. Много твоего понятия в революции? Сапоги, они мне для революции надобны, я об себе не забочусь. В сапогах я боец или нет? Ну.

Я открыл рот. Но в эту минуту сзади рассыпался свисток взводного. Припав на одно колено, взводный взмахнул рукой и крикнул:

— На снопы у леса. Интервал пять шагов. Цепь вперед! Перебежками!

Тяжелая лень овладела мной. Не спеша я поднялся и полез через насыпь. С верхушки насыпи я увидел сбегающие по откосу фигуры бойцов и впереди всех Никитку. Я узнал его по шинели, в спину которой, вместо выдранного куска сукна, был вшит лоскут нежно-голубого в розовых разводах фланелевого капота.

Рядом со мной очутился взводный. Он глянул на меня и крикнул:

— Валерьян! Ты што, как давленая вошь, ползаешь? Бегом!

И сам ринулся с насыпи.

Бледно-желтая лента окопов у леса ударила нам в лица треском залпа, и пули визгнули, как веселые колибри. Цепь припала к земле. Лежа, я увидел, что шинель с голубой латкой продолжает бежать, не пригибаясь, тяжело вытаскивая ноги из торфа.

Лежащий взводный вдруг приподнялся и заорал, матерясь:

— Никитка! Гад, матери твоей... Куды побег? Куды, стерва? Цепь ломаешь!

Но Никитка не оглянулся. Взводный плюнул. Глаза его вспыхнули каким-то злобно-веселым блеском.

— Цепь, вперед! Догоняй его, сукиного сына. Не отставать. Даешь Детское!

Цепь вскочила. С меня свалилась лень, как скорлупа, и в забившемся сердце я почувствовал приступ того же веселого и нетрудного озлобления, которое зажгло взводного.

Я бежал по полю, задыхаясь, с глупо распяленным ртом. Затвор моей винтовки был почему-то открыт, но это казалось мне естественным. Воздух пел свистящим звоном пуль, они пахали торф, швыряя в лицо черные комки. Кто-то бежал рядом, кто-то падал, кто-то визжал поросячьим

заливистым визгом, подпрыгивая задом в грязи и выпучив глаза.

Это задевало мое сознание только на обрывки мгновений, как кадры пущенного с чрезмерной быстротой фильма.

Что-то хлестнуло меня по ноге выше колена. Я увидел, как по прорванной штанине расползается красная жидкость, но не чувствовал боли и продолжал бежать. Мои деревянные сандалии оторвались, и я бежал босой, хлюпая по грязи.

Она казалась мне нестерпимо горячей, как будто я бежал в кипятке.

* * *

Сознание вернулось в захваченном окопчике. Я стоял, прислонясь к его откосу, и рукой размазывал грязь по лицу. Рядом свисала в окоп голова упавшего навзничь, заколотого у окопа белого солдата.

Раскрытый рот щерился на меня гнилыми корешками зубов.

Тут же, на бруствере, взводный держал за шиворот Никитку и размахивал перед его лицом потертым наганом.

— Сволочь,— кричал он,— сволочь паршивая! Тебе было сказано перебежками? Тебе? А ты что бежал, как баба на пожар?

Никиткины глаза сияли, рот кривился в испуганную, но торжествующую улыбку.

Он бил себя кулаком в грудь и приговаривал:

— Бей меня, бей, товарищ взводный! В самое сусало бей. А только сапоги я, значит, заслужил, как первый в окоп вскочимши. Доложи по команде.

От парка хлопнули жидкие выстрелы.

— Я тебе доложу,— вскипел взводный, спрыгивая в окоп,— слезай, стерва тамбовская.

Никиткины веки налились слезами, лицо побагровело.

— Товарищи! Что ж ето,— закричал он,— вовсе несправедливость? Все видали, что я первый вскочимши? Подтвердите, товарищи. Я до начдива пойду.

Взводный не выдержал:

— Черт с тобой! Доложу, супоросый. Слезай, говорят.

Никитка процвел прозрачной улыбкой и вдруг сел на зад на бруствере.

— Что ж вы делаете, прокля...— глухо сказал он и не договорил. Кровь шлепнула струей из его рта на засаленную грудь шинели. Я подхватил его и стащил вниз на себя. Взводный, растерявшись, хлопал белыми ресницами. Никитка открыл глаза, увидел меня. Кивнул. Повернулся к взводному.

— Помираю, товарищ взводный,—прохлюпал он сквозь кровавую пену,— помираю.

Секунду откашливался и добавил раздельно и мучительно:

— Сапоги Валерьяну... он хлип-кай... без са-пог слабо...

Захлебнулся и затих. Я опустил свинцово отяжелевшую голову на откос окопа. Взводный потер подбородок и сказал: «Да-а» и отвернулся.

Сапог я не получил. Их дали Хохрякову, захватившему живьем ротного командира белых.

<1927>

ПОГУБИТЕЛЬ

1

Баронесса фон Дризен умерла прилично и аккуратно, как подобало даме высшего света и породистой остзейской немке.

В субботу вечером она долго плескалась в ванной, вызвав даже раздражение соседей, торопившихся в театр и начавших усиленно колотить в дверь.

Баронесса вышла наконец в коридор в своем синем халатике, сухонькая, маленькая, с белыми пушистыми волосами, выбивавшимися из-под чепчика, сухо заметила ожидавшим у двери:

— Господа, по правилам я могу занимать ванную пятнадцать минут, а я занимала двенадцать с половиной. Ваше нетерпение не имеет законных оснований. Кажется, за время революции можно приучиться к дисциплине и организованности.

И плывущей старушечьей походочкой проплыла в свою комнату, как всегда щелкнув изнутри хитрой задвижкой.

В воскресенье она не появлялась из комнаты, но никто этого не заметил, а если и заметил, то не придал значения. В понедельник финка Керволайнен, носившая в квартиру сине-опаловую воду, называвшуюся сливками, долго и безуспешно толкалась в баронессину дверь. Понемногу к финке присоединились все наличные жильцы, и наконец кто-то припомнил, что и вчера баронессы не было видно. Над столпившимися в коридоре людьми провеял ледяной ветерок подозрения. Послали за управдомом. Управдом с римским носом, прыщавым профилем грозно приказал

гражданке Дризен открыться и не задерживать трудящихся, но и этот повелительный зов жизни не вызвал отклика.

Дворник привел милиционера, управдом сбегал за стамеской и топором.

Замок страдательно затрещал, дверь распахнулась, люди сунулись в нее и отпрянули, устрашенные злобным и визгливым криком: «Дурр-раки, хамы...»

— Да вы, граждане, не пугайтесь, это ейный попугай орет,— сказал растерявшемуся на момент управдому жилец крайней комнаты, официант кооперативной столовой «Красное молоко» Тютюшкин,— он завсегда обкладывает.

— Попугай? — переспросил управдом.— А по какому праву попугай может обкладывать домовых представителей? Как это, товарищ милиционер?..

Но милиционер, не отвечая, решительно вошел в комнату. За ним, как вода в губку, втянулись остальные.

В комнате было полутемно от опущенных желтых шторок. Пахло табаком, лавандовой водой и чистотой, свежей и блестящей немецкой чистотой.

На постели, под зеленым шелковым одеялом, украшенным по опушке узором кружева, скрестив прозрачные желтые ручки под подбородком, лежала хозяйка, плотно сжав тонкие черточки губ и уставив нос в потолок.

Милиционер, осторожно подымая ступни, чтобы не стучать, подошел к покойнице и, дотронувшись до лба, отдернул руку. Управдом, следом за ним, зачем-то постучал указательным пальцем по косточке худой кисти руки и нагнулся над кроватью.

— Чистенькая дамочка,— сказал он,— даже ничуть не пахнет,— и обернулся к жильцам, сбившимся у двери.

— Граждане, нечего толпиться. Обыкновенный факт кончины. Выйдите. Могут остаться только присутственные личности по обязанностям.

2

Этим, собственно, и заканчивается рассказ о баронессе фон Дризен. К этому не пришлось бы прибавить ни одной строчки, если бы по капризной воле судьбы не оказалось, что у покойницы осталось имущество, заключавшееся в мебели красного дерева стиля «ампер», как называл его управдом, и сундук с платьем и другим хламом.

Кроме того, оказалось, что у баронессы нет наследников, а если и есть какие-нибудь отдаленные, то никому не было известно их местопребывание. Управдом, он же комендант (дом принадлежал тресту коммунальных домов), поспешно сообщил в правление треста исходящей бумажкой о таком необычном обстоятельстве, а правление треста, опросив юрисконсульта и осведомившись, что по закону имущество лиц, не имеющих наследников, должно быть описано финотделом и по истечении шести месяцев со дня смерти, если не явятся претенденты, поступает в казну,— срочно известило финотдел «на предмет принятия зависящих».

Агент финотдела, явившийся на следующее утро, переписал мебель стиля «ампер» и прочие баронессины богатства, в том числе и зеленого лысеющего попугая, который сразу возненавидел финагента, словно был лицом свободной профессии, и яростно орал сквозь прутья клетки:

— Дурррак... хам... взяточник.

Некогда покойный барон фон Дризен, разоренный сложным и сутяжным процессом, обучил попугая этим невежливым словам перед тем, как пригласил в гости весь состав суда, рассматривавший дело в последней инстанции и отказавший в иске. Попугай радостно приветствовал сенаторов заученными словами.

Теперь попугай орал то же, не понимая всей огромности социального сдвига и не подозревая, что агенты финотдела иначе воспитаны, чем упраздненные чины гражданского кассационного департамента.

Но агент великодушно пренебрег попугаевой контрреволюцией и, окончив опись, торжественно вынул из портфеля палочку сургуча, медную печать и елочную свечку.

— Нет ли у вас, товарищ, спичек? — спросил он коменданта, отрезая перочинным ножом кончик веревочки.— Дверь опечатаем, и шесть месяцев пускай стоит.

Управдом-комендант кашлянул и ответил солидно:

— Спички, конечно, есть, но дозвольте спросить, так сказать. Приходилось читать насчет верблюдов, что они точно могут прожить без ежедневного питания несколько месяцев, а про попугаев не осведомлен.

— Ах ты ж, господи,— спохватился агент,— и верно ведь. Забыли про попугая.

— Как же быть?

— Олухи... болваны... мерррзавцы,— завопил вдруг попугай так бешено, что управдом и агент вздрогнули и попятились.

— Неужто понимает, сукин сын? — растерялся управдом и добавил: — Так как же быть?

Агент почесал портфелем кончик носа.

— Уж и не знаю. Вот оказия... Позвоню сейчас инспектору, спрошу распоряжения.

Управдом рассеянно переминался с ноги на ногу у домового аппарата, пока агент разговаривал с начальством.

— Так я и думал,— произнес наконец агент, кладя трубку,— придется вам.

— Что вам? — спросил управдом, склонив голову,— то есть, как же мне это понимать?

— Вам придется взять попугая на свою ответственность на время розыска наследников.

— Как? — скривился управдом, подняв в защиту обе ладони к лицу.— Это, то есть, извините. Я член союза и права свои знаю. Он подохнет, а я в ответе. Спасибочки. От людей покоя нет, один водопроводчик Жомов по субботам, свинья, дебоши делает такие, что жизнь не мила, а тут еще за попугая отвечай. Не согласен. И в инструкции таких правил нет, чтоб управдомы за животную отвечали. Сами берите на здоровье.

— Ха-ха-ха,— раскатился из клетки попугай.

Финагент даже подпрыгнул от неожиданности и злобно плюнул в сторону попугая.

— У, паршивец. И всегда мне судьба такая. Другим хорошие дела достаются, а мне как назло. То коты, то моськи, а теперь попугая нанесло.

Он безнадежно махнул рукой и опять отправился говорить с инспектором.

— Вот что,— сказал он, обтирая пот со лба,— придется, значит, не опечатывать комнату, а ключ я передам вам, под вашу ответственность. Мы снесемся завтра с вашим трестом и решим, что делать, а пока комната с содержимым доверяется вам.

— Каррашо,— рявкнул попугай.

— Тебе, сатане зеленой, может, и хорошо,— мрачно ответил управдом, косясь на клетку,— а нам каково, будь ты неладен.

Он с сердцем захлопнул дверь комнаты и повернул ключ с такой злостью, словно поворачивал нож в сердце врага.

3

На следующий день управдом получил из правления треста бумажку.

В бумажке за всеми надлежащими подписями стояло коротко и официально:

«Управдому дома №... т. Плевкову. Правление треста ставит вас в известность, что после переговоров с фининспектором участка по поводу оставшегося после скончавшейся гражданки Дризен имущества, в том числе зеленого попугая, трест и финотдел пришли к соглашению, постановив приравнять означенного попугая к скоропортящимся импортным продуктам, которые закон разрешает продавать ранее шестимесячного срока. Трест предлагает вам взять попугая гражданки Дризен на свое иждивение впредь до торгов. За содержание и воспитание попугая расходы будут оплачены финотделом после торгов, согласно вашего счета. Завадмотделом (подпись). Секретарь (подпись). Завканцелярией (подпись)».

Управдом бросил бумажку на стол, взглянув на жену, и смачно выругался.

— Ты что, идол? С утра в пивную шлялся, прости господи мою муку. Что при детях ругаешься?

— Дура,— сказал управдом,— пивные еще заперты, десятый час. А вот лучше приготовься уплотниться.

— Отцы родные! — всплеснула руками управдомша,— это еще что за напасть? И так, кажется, живем — дохнуть некуда. Куда ж уплотняться? Да как ты это допустить можешь?

— Придется, мамаша,— подмигнул управдом,— вселяют нам очень ответственного гражданина.

Управдомша открыла рот и приготовилась завопить, что ей плевать на всех ответственных, что она тоже недаром кровь проливала, но управдом ткнул ей в лицо бумажку треста и торжественно вышел.

Спустя десять минут он шествовал по двору обратно в квартиру. За ним шагал лохматый и опухший, как от водянки, дворник Алексей и, вытянув вперед руки, как будто неся хрупкую драгоценность, тащил клетку с ругавшимся на весь двор попугаем.

Управдомовы дети встретили водворение ответственного гражданина в квартиру восторженным, уничтожающим барабанные перепонки воем, так что даже сам попугай притих и испуганно забился в угол клетки, посматривая

оттуда покрасневшим от безумной злобы круглым глазом, полуприкрытым серовато-прозрачной пленкой.

Когда же дети добрались до клетки, обуреваемые желанием поближе познакомиться с новым жильцом, и мальчишка, просунув палец между прутьями, тронул попугая за хвост, попугай, вздыбив перья, стремительно обернулся и разом сорвал с дерзкого пальца кожу с мясом, от ладони до ногтя.

4

В «Вестнике губернского Совета» и газете «Голос Коммуны» появились объявления, извещавшие граждан, что в четверг девятнадцатого апреля по такой-то улице, в помещении домовой конторы состоятся торги на наследство, оставшееся от гражданки фон Дризен и состоящее в говорящем попугае серо-зеленого цвета и неизвестного возраста, при начальной оценке в двадцать пять рублей.

Оценил попугая в такую сумму синеносый аукционист финотдела, знаток аристократической жизни, читавший романы Фонвизина и Веселковой-Кильштет.

Внизу была приписка, что в случае, если первые торги не состоятся — назначаются вторые на двадцать девятое апреля.

Неделю, до девятнадцатого апреля, попугай баронессы терроризировал управдома и его семейство криком и дерганьем прутьев клетки клювом, от чего по квартире разносился едкий и надрывающий нервы звук, словно десятки мальчишек скребли стекло о стекло.

Ругался он по-прежнему неожиданно и как-то замечательно впопад, заставляя выруганных съеживаться от неприятного ощущения, но, несмотря на все старания управдомова сынишки, не хотел обновить запас старорежимных ругательств другими, соответствующими запросам нового быта, и решительно отказывался повторить фразу «лорду в морду», которой мальчишка с упрямым старанием оглушал его с утра до вечера.

В попугае жил закоснелый баронский консерватизм, и принять революцию он явно не мог и не желал.

Девятнадцатого апреля попугай в клетке был отнесен с утра в домовую контору и там странно и неожиданно притих, очевидно страшась новой судьбы.

Дворник, внесший его, сказал управдому:

— Молчит, как рыба.

Управдом подозрительно покосился на попугая и пробормотал:

— Молчит-то он молчит. Да не к добру. Сволочь, а не животное.

Понемногу в контору собрались бездельные обитатели дома, за ними приволоклись две старушки в наколках с выражением светской строгости на засушенных губах и какой-то веселый человек в пальто с котиковым воротником и котиковой шапке. Человек был немного навеселе, войдя, шумно поздоровался со всеми, подошел к клетке, постучал по ней, заставив попугая насторожиться, и сказал радостно:

— Живой ведь, стерва. А? Что вы скажете, граждане?

За всех сурово ответил управдом:

— Мы дохлыми живностями не торгуем, гражданин.

Гражданин улыбнулся.

— Я ж и говорю... А можно ему под хвост заглянуть на устройство? — вдруг спросил он после короткой паузы.

Старушки шарахнулись, остальные заржали.

И опять мрачно ответил управдом:

— Чего ж там смотреть? У него сзади, как и спереди.

Гражданин широко и сожалительно развел руками.

— Ну и несознательность! Значит, по-вашему, гражданин, у человека тоже все равно, что лицо, что...— Тут он добавил такое слово, что у старушек дрогнули наколки, а управдом, покраснев, шагнул вперед, чтобы проявить власть, но в эту минуту появился аукционист. С американской быстротой он уселся за столик, поднял молоток и распевцем объявил о начале торгов...

— Итак, граждане, торги начинаются. Продается попугай. Оценка двадцать пять. Кто больше?..

В конторе водворилось молчание. Попугай при первых звуках голоса аукциониста оживился, нахохлился, внимательно посмотрел на него и в тишине обронил веско и значительно: «Идиот».

Молоток выпал из руки аукциониста, он поперхнулся, а веселый гражданин хлопнул себя по ляжкам и загоготал. Аукционист бросил на него презрительный взгляд и повторил:

— Кто больше?

Веселый перестал хохотать и, придвинувшись, сказал аукционисту:

— Милай, уступи за пятерку. На такую стерву не жаль синенькой.

— Не мешайте, гражданин,— отмахнулся аукционист.— Кто больше?

Выждав минуту, он встал и объявил:

— Торги считаются несостоявшимися. Окончательные, как указано в объявлении.

Злой и подавленный товарищ Плевков принес попугая обратно в квартиру, выдержав бурную атаку жены.

— Опять? Опять черта этого принес? Чтоб духу его не было. Забирай его с клеткой и сам с ним катись, пьяница несчастная.

Управдом швырнул клетку в угол и ушел в пивную утверждать правоту воззрений супруги на собственную личность.

5

Но и вторые торги не состоялись. Тогда разъяренный управдом сообщил тресту, что он больше не желает держать поганую птицу, потому что «означенная птица ругается скверными словами старого строя, вредно заражая моих детей, которые пионеры». К заявлению он приложил счет за кормление и воспитание попугая в сумме одиннадцати рублей шестидесяти девяти копеек. Такая точность цифры вытекала из его долголетнего опыта, в котором он осознал, что в высших инстанциях вызывают сомнение только счета, составленные в круглых цифрах, хотя бы эта цифра выражалась всего в одном рубле.

Через три дня он получил ответ.

«Сообщаем в ответ на ваш...— писал трест,— что после сношений с финотделом по содержанию вашей просьбы, финотдел нашел нужным отказаться от владения попугаем гражданки Дризен, как имуществом убыточным. Вместе с тем финотдел сообщает, что не имеет препятствий к переходу попугая в вашу собственность в возмещение понесенных расходов...»

Управдом долго хлопал глазами и вдруг, разорвав бумажку, стал неистово топтать ее ногами на глазах дворника, опешившего от такого попрания начальственных бумаг, и при этом выразился несколько раз по адресу треста и по адресу финотдела совершенно нецензурно.

6

Но судьба решила покарать не только неповинного управдома, но и еще одного несчастливца.

Зловредный рабкор «Меткий глаз» всадил в отдел го-

родской хроники малюсенькую заметочку, но эта заметочка в глазах завфинотделом разрослась до размеров осинового кола. Рабкор писал о волокитстве и бюрократизме в финотделе вообще и, в частности, приводил случай с попугаем. «Как же мы можем подымать нашу производительность,— писал рабкор,— когда операция по продаже попугая бывшей баронессы принесла пролетарскому государству сплошные и тяжелые убытки. Плата за объявления о торгах, оплата аукциониста и расходы по содержанию птицы значительно превысили оценку, причем попугай так и остался непроданным. Финотделу нужно подтянуть своих работников, чтобы они работали не попопугаеву».

Завфинотделом написал очередное длинное опровержение и вызвал к себе в кабинет инспектора злополучного участка. Полчаса он мылил ему голову и в заключение, когда инспектор сваливал всю вину на агента, сказал:

— Так научитесь подбирать себе людей, а не то мне придется подумать о том, кого подобрать на ваше место...

Фининспектор вышел от зава с дрожащими коленками, и пружина злобы, свернувшаяся в душе от нагоняя, распрямившись, хватила по подчиненному.

7

Управдом Плевков сидел вечером дома один. Жена ушла с ребятишками в кино. Управдом переписывал ведомость квартплаты, а за его спиной в клетке тихо спал попугай.

Заслышав стук в передней, управдом встал и пошел открывать.

На пороге он увидел финагента. Пальто его было расстегнуто, шапки на голове не было, волосы слиплись космами, глаза вращались в орбитах, как красные шарики. Из кармана торчало горлышко бутылки. Он повалился на грудь управдому.

— Товарищ Плевков! А, товарищ дорогой. Ты дома? Я к тебе. К тебе, милый. Из-за кого погибаю? К тебе пришел. Покажжжи мне его, черта зеленого, покажи погубителя моего. Милый...

Управдом отступил назад, втаскивая нежданного гостя в квартиру.

Финагент ввалился в комнату и, пошатнувшись, стал перед клеткой. Глаза финагента приобрели какое-то стран-

ное выражение. Он дрогнул всей спиной и, вытащив из кармана бутылку, залпом допил остаток водки.

И немедленно вынул из другого кармана другую бутылку.

— Товарищ Плевков, выпьем. Выпьем, голубок. Пусть ему ни дна ни покрышки. Попугай?.. Говорящий?.. Серо-зеленый?.. Возраст неизвестен?.. Ах ты дьявол! Выгнали ведь меня. Выгнали. Из-за кого? Ты думаешь — он птица?.. Черт он, самый настоящий черт на мою погибель...

Управдом мотнул головой, как будто от острой боли, и вышиб пробку.

— А мне, думаешь, жизнь сладка? Жена прямо на стену лезет. А куда его дену? Дарить пробовал. Никто не берет. Судьба индейка.

Спустя полчаса оба сидели у стола, обняв друг друга, пьяные в дым.

Управдом качался и тянул лениво и смутно:

— Нет... Ты мне вот скажи... Кто ж мы такие, ежели в Советской республике и нечистая сила зеленого цвету человека, гражданина профсоюзного, уничтожить может. Нет, ты мне скажи. Кто ж мы тогда такие, а?

В углу комнаты зашуршали перья и хриплый голос резко брякнул:

— Дуррраки, взяточники, олухи.

Управдом вскочил. Лицо его перекосилось мучительной судорогой, глаза застыли на клетке. Подняв одну руку, на цыпочках, он подошел к клетке, открыл задвижку и всунул руку внутрь. Финагент, также на цыпочках, качаясь, шел за ним. Попугай стремительно вцепился в руку, но управдом выдержал боль, не пискнув, и захватил попугая. Секунду он держал его, вытащенного из клетки, и человечий и птичий глаза застыли в смертельной ненависти.

Потом управдом тихо спросил:

— Так кто мы? Дураки? Дураки? Ах ты ж, рабкор в перьях!

Он размахнулся. Серо-зеленый комок мелькнул в воздухе и шмякнулся о стену. Управдом затрясся и схватился руками за голову, потом сел на пол.

Финагент дико прищурил глаз, присвистнул, стал на карачки, уткнувшись лицом в расплющенный комок перьев, и завыл, обливаясь пьяными слезами:

— Ве-е-чная память!

<1928>

ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ

1

Кудрин стоял у окна, нетерпеливо ожидая возвращения машины. Сквозь большое зеркальное стекло, недавно промытое уборщицами к первомайским торжествам, была видна мутная, вздувшаяся Фонтанка. Тяжелая коричневая вода медленно, как стынущее машинное масло, уходила под низкую арку моста. Сквозь зеленую краску на арке проступали рыжие плешины ржавчины.

В воде плавно кружились последние, идущие с Ладоги льдины, обмытые и чистые, с кружевными изъеденными краями.

День был весенний, но еще по-зимнему бледный и лишенный красок. С Невы тянуло колючим ледяным ветерком. Немногие пешеходы брели по набережной, сгибаясь вперед, придерживая шапки и проламывая телами упругую вязкость ветра.

Кудрин смотрел на Фонтанку, на силуэт Михайловского замка за щеточкой еще оголенных ветвей старых деревьев, на пешеходов рассеянным и невнимательным взглядом. Глаза его механически вбирали видимое, мысли же были далеко. Он с неприятным чувством вспоминал только что происшедший в кабинете разговор.

Полчаса назад у Кудрина сидел технический директор треста Половцев, еще не старый, но уже известный специалист по керамике, профессор Политехнического института, бывший крупный деятель кадетской партии, человек острого, иронического и порой злого ума.

Кудрин недолюбливал его. Не то чтобы в нем жило органическое недоверие большевика, старого подпольщика, ссыльного, эмигранта, вынужденно покинувшего родину, а после революции прошедшего боевой путь комиссара, к специалисту сомнительной политической репутации. Нет, у Кудрина не было повода сомневаться в добросовестности Половцева, в искренности его желания работать с Советской властью. Но Кудрин с трудом переносил ядовитые остроты и лукавые софизмы технического директора, когда между ними происходили разговоры, выходящие за деловые границы. И сейчас Кудрин был раздосадован таким разговором.

Половцев зашел в кабинет Кудрина в минуту, когда тот вызвал к себе главного бухгалтера, угрюмого пожилого человека, рьяного картежника и постоянного посетителя всех расцветших при нэпе злачных мест, но превосходного знатока бухгалтерских таинств. Кудрин хотел поговорить с бухгалтером по поводу случая, происшедшего утром в вестибюле треста.

Когда Кудрин, сдав в гардероб пальто, подошел к лифту, он заметил возле лестницы молодую женщину в сером потертом пальтишке и сбившейся набок измятой шляпке. Из-под шляпки на ее виски спадали мелкие кудряшки странного розоватого оттенка. Круглые, широко расставленные, наивно-птичьи глаза ее были заплаканны. Держа за рукав собеседника, видимо какого-то работника треста, незнакомого Кудрину, женщина тихо и печально-ласково говорила:

— Но зачем же он прячется от меня? Не удалась жизнь, ошиблись,— что же сделаешь? Но почему он боится говорить со мной? Я ведь не устраиваю скандалов, истерик. Зачем же трусливо бегать от меня?

Заинтересованный Кудрин остановился у открытой двери лифта.

— Я не думаю, что он боится... Поймите, что ему, может быть, просто тяжело вас видеть,— ответил собеседник.

Женщина покачала головой.

— Почему же тяжело? Ну, разошлись, но неужели нельзя сохранить человеческие отношения? Нехорошо, что он увиливает и лжет. Еще раз повторяю,— я не хочу скандалов. У меня на руках исполнительный лист, но мне не хочется предъявлять его. Ему же будет неприятна огласка перед всеми... Но ведь он должен подумать о ребенке. А я ему третий день молока не могу купить.

Беспомощные птичьи глаза недоуменно смотрели на собеседника, наливаясь слезами. Женщина подняла руку, смахнула слезу с ресниц и вдруг заметила Кудрина. Она залилась румянцем, заторопилась:

— Не буду вас задерживать, ухожу. Но все-таки передайте ему... скажите, что нехорошо... Мальчику нужно питание... молоко. Он такой слабенький.

Она повернулась и заспешила к выходу. Ее собеседник скользнул в кабинку лифта. Кудрин вошел за ним, нажал кнопку третьего этажа. Лифт загудел по-шмелиному. Кудрин повернулся и спросил резко и властно:

— Вы из какого отдела?

— Из бухгалтерии, товарищ директор,— торопливо и испуганно, с угодливой улыбочкой ответил тот,— работаю на учете фондов зарплаты. Никитин моя фамилия. Петр Васильевич Никитин.

— Объясните мне, с кем это вы сейчас разговаривали? Кто эта женщина? Почему она плачет?

Улыбка Никитина стала еще угодливей.

— Изволите видеть, товарищ директор, это бывшая жена нашего счетовода Туткова. Разошлись... третий месяц. Тутков бегает от нее и не платит алиментов, а она тихая, не может взять его за манишку. А я ихний старый знакомый. Вот она и ходит, просит усовестить супруга. Она хорошая, и ребеночек у нее славненький.

В приторном тоне Никитина Кудрин уловил затаенное желание подложить свинью сослуживцу. Он брезгливо поджал губы.

— Ступайте работать и скажите главному бухгалтеру, чтобы он в перерыве зашел ко мне.

Сотрудник мелкой рысцой побежал по коридору, а Кудрин, нахмурясь, прошел к себе. Этот незначительный случай странно взволновал его, и он неприветливо встретил пришедшего на вызов бухгалтера.

Бухгалтер тоже встревожился вызовом. Его картежные подвиги уже были причиной неприятного разговора с директором месяца два перед этим, и бухгалтер решил, что предстоит новое крупное объяснение. Но когда Кудрин заговорил о Туткове, главбух, обрадованный тем, что недовольство директора направлено на другого, и обозленный на подчиненного, за которого приходится выслушивать замечания, раздраженно ответил:

— Тутков?.. Есть такой! Сволочь, сопляк!

— Что у него за история с женой?

Главбух собрался рассказать семейную драму Тутковых со всеми подробностями, но в эту минуту в кабинет вошел Половцев, перебил главбуха вопросом, обращенным к Кудрину, и плотно уселся в кресло, явно не собираясь уходить. Главбуху пришлось свести приготовленное повествование к сухому изложению фактов.

— Значит, суд присудил ей алименты, а этот гусь не платит? Так? — спросил Кудрин.

Главбух склонил лысую бугристую голову и развел руками.

— Именно так, Федор Артемьевич.

Кудрин постучал пальцами по столу и мельком взглянул на технического директора. Половцев со скучающим видом выпускал табачный дым из сложенных колечком губ. Острое лисье лицо его, с капитанской бородкой под нижней челюстью, было внимательно-ироническим. Кудрин отвернулся и сердито сказал главбуху:

— Так вот!.. Предупредите этого вашего молодого из ранних, что если он желает продолжать у нас службу, то будет безоговорочно выполнять решение суда. А нет,— пусть летит к чертовой матери. Я стаканщиков поощрять не намерен...

И в ответ на удивленный взгляд главбуха Кудрин пояснил:

— Вы хотите сказать, что это его частное дело и к службе не относится?.. Нет, извините. Женщина ходит сюда, мучится сама, отрывает от дела сотрудников. Не сегодня-завтра нервный припадок, истерика... Словом, предупредите, как я сказал. Не пожелает — марш вниз по лестнице и через парадное на улицу. Счетоводов на бирже труда легионы... Идите!

Главбух снова склонил голову с той всепонимающей улыбкой, которая у него всегда была наготове для разговора с директором, и вышел. Кудрин остался наедине с Половцевым.

— Что у вас еще, Александр Александрович?

— По службе ничего,— ответил Половцев, гася папиросу в хрустальной пепельнице,— а частным образом хочу спросить: если вам в течение ближайшего часа не понадобится наш автотарантас, то позвольте воспользоваться. Мне нужно срочно заехать к Маргарите Алексеевне, до ее ухода на репетицию, а я боюсь, что на траме опоздаю.

— Пожалуйста,— сказал Кудрин,— только верните к половине второго.

— Даже раньше! — Половцев выдержал паузу и продолжал: — Признаюсь, я с любопытством наблюдал, как вы раскипятились. Собственно, из-за чего? Почему вас так расстроила банальная история конторского кавалера Фоблаза?.. И что это за словечко «стаканщик»?

Кудрин усмехнулся.

— Не поняли?.. А вспомните письмо Ленина Инессе Арманд насчет людишек, проповедующих теорию «стакана воды»... Которым взять женщину все равно что стакан воды выпить. Вот отсюда я произвел словечко «стаканщик». Не терплю эту дрянь! Главное, старо!.. В царское время «огарки» и «свободные сексуалисты». Теперь имечко новое, а суть та же. Мразь и гниль!

Половцев ухватил свою капитанскую бородку сжатыми, как ножницы, указательным и средним пальцами, отчего она веерком выпятилась вперед, и, прищурив умный, насмешливый глаз, язвительно сказал:

— Эк вас понесло, уважаемый начальник! А ведь вы сами в этом виноваты!

— Я??? — с изумлением спросил Кудрин.

— Ну, не вы персонально... Но... большевики!

— Что вы мелете, Александр Александрович? — резко перебил Кудрин.— Изволите завираться! Где же вы нашли у большевиков не только защиту, но хотя бы нейтральное отношение к свинской распущенности, к стремлению превратить отношения мужчины и женщины в дешевый публичный дом, где можно за грош получить физическое удовольствие, не отягощенное никакими моральными обязательствами?.. Где? Интересно!

Половцев откинул рукав пиджака и взглянул на циферблат часов.

— Досадно, что я тороплюсь и придется выложить вам наспех. Скажите, дорогой патрон, не вы ли,— я имею в виду большевиков,— не вы ли в октябре семнадцатого года возвестили стосемидесятимиллионному населению бывшей Российской империи, что вами будут немедленно разрешены все матерьяльные и духовные проблемы, все «проклятые» вопросы бытия? Земля крестьянам, фабрики рабочим, а всем вместе полная свобода духа и полное уничтожение пошлой буржуазной морали, ликвидация брачных цепей. Не вы ли обещали раскрепощение от семейных обязанностей? Ведь обещали?

Кудрин удивленно посмотрел на Половцева.

— Что за чушь?

— Постойте, постойте! — перебил Половцев.— Совсем не чушь. Не вы ли провозгласили свободу разводов и абортов, приучая и пап и мам к полной и цинической безответственности, к вульгарно-физиологическому отношению к проблемам пола?

— Но вы же знаете объективные причины,— вставил Кудрин..

— Э, батенька! — Половцев махнул рукой.— Про объективные причины я-то знаю потому, что я как будто не очень глуп и невежествен. При всех моих разногласиях с вами я прежде всего русский человек и уважаю вас уже за то, что вы первое русское правительство, которое отказалось торговать Россией оптом и в розницу на заграничных рынках. Вы вернули России ее государственное и национальное достоинство, и поэтому я стараюсь честно служить вам в меру моих сил и знаний и помогать вам справляться со всеми объективными причинами. Я способен к жертвам и самоограничению, вызываемым объективными причинами, если эти жертвы нужны для больших и высоких целей. И отмену буржуазной морали и мещанских предрассудков вы провозгласили не для меня. Я все это для себя давно сам отменил. И цепями семьи себя не связываю.

— Последнее безусловно,— огрызнулся Кудрин,— вместо семьи вы устроили себе уютное гнездышко, куда и поедете сейчас на государственной машине.

Половцев засмеялся.

— Этим вы меня не уязвите, дорогой вождь! Не по моему почину государственные машины начали ездить по гнездышкам. Я мелкая сошка! Берите повыше!.. А потом, я достаточно обеспечен, чтобы не слишком эксплуатировать доброту государства, и пользуюсь ею только в экстренных случаях. Мне хватает и на себя, и на Маргариту.

— Вы цинический интеллигент,— сказал Кудрин.

— Или интеллигентный циник... Возможно! Но дело не в этом. Повторяю, что я лично готов ждать обещанного вами земного рая хоть сто лет, удовлетворяясь сомнительными благами чистилища. Но десятки миллионов обывателей, у которых интеллект в эмбриональном состоянии, не хотят ждать. Обещали — подавайте немедленно и в горячем виде. Им нет дела до объективных причин, до капиталистического окружения, до всяких там четырнадцати держав, разевающих на нас пасти. Мещанин понял одно: ему обещаны дешевые и непритязательные удовольствия,

не отягченные никакими обязательствами, за которые он не несет никакой ответственности. Поведение мещанина руководствуется не интеллектом, а физиологией. Вот и получается...

— Вот и получается бредовая чепухистика,— озлился Кудрин.

— А что получается у вас, дорогой вождь?.. Совершенно немарксистское желание показывать теперь обнадеженному вами мещанину кузькину мать только за то, что он поверил возвышающему его обману... Однако хватит, пожалуй. Мне пора!

— Действительно хватит! — сухо сказал Кудрин.— Не забудьте вернуть машину к половине второго.

— Не извольте беспокоиться. Ровно в час тридцать вы сможете отправиться в лоно вашей легальной социалистической семьи.

Половцев попрощался и ушел деловитой размашистой походкой. После его ухода Кудрин попытался разобраться в подложенных секретарем бумагах. Среди них было скучное и длинное изложение склоки, возникшей на одном из предприятий треста. Кудрин старался добраться до смысла сквозь нагромождение неуклюжих фраз, но мешало сосредоточиться раздражение от разговора с Половцевым. Кудрин досадливо отложил бумаги, встал и подошел к окну, продолжая думать о Половцеве и мысленно продолжая начавшийся спор. Но когда только начали складываться те неопровержимые положения, которыми он должен был опрокинуть нелепые рацеи технического директора,— к подъезду подкатила машина.

Кудрин вернулся к столу, собрал бумаги в портфель и направился к двери. Но ему вдруг расхотелось ехать домой. Нежелание это возникло внезапно и невольно, и Кудрин сам испугался сознаться себе, что оно порождено иронической фразой Половцева о социалистической семье Кудрина.

Кудрин женился в двадцатом году на фронте. Женился неожиданно для себя на сотруднице агитпропа политотдела армии, в которой был комиссаром. Широкая в плечах, румяная и пышная, похожая на сказочную русскую красавицу, она ходила всегда в длинной кавалерийской шинели, сдвинув набекрень фуражку с черным бархатным околышем, которая чудом держалась на ее обвитых вокруг головы тугих косах. Звали ее Еленой. Она пользовалась репутацией опытного агитатора, но ее докладные записки

о выездах в части поражали Кудрина безграмотностью и то смешили, то раздражали его. Однажды в такой записке он обнаружил фразу: «Казармы пастроины из сирцвого кердпидша». Кудрин вызвал Елену к себе.

— Послушайте, Молчанова,— сказал он, показывая ей записку с жирно подчеркнутым синим карандашом «кердпидшом»,— это же из рук вон! Стыдно! Член партии, да еще агитатор, должен быть грамотным и писать по-человечески. Без обычной грамоты вы и политической грамотности не достигнете. Потрудитесь подучиться!.. Вы учились где-нибудь?

— В сельской школе,— ответила Елена, опустив ресницы над порозовелыми от обиды и волнения скулами, и Кудрин впервые заметил, что она по-женски хороша и привлекательна даже в своем солдатском наряде.

— Ступайте! — сурово сказал он.— Советую подзубрить орфографию и грамматику. Вы же ответственный работник агитпропа, а многие красноармейцы пишут грамотнее вас. Чему же вы можете их научить?

Елена ушла и после этого разговора долго не появлялась. Как-то, вспомнив о ней, Кудрин спросил у начальника агитпропа, куда девалась Молчанова. Тот ответил, что Молчанова болела сыпняком, но выздоровела и находится в отпуску. Кудрину стало жаль девушку. Он почувствовал неловкость, как будто резкий разговор с ней был причиной ее болезни. Он узнал ее адрес и вечером с заседания Реввоенсовета поехал к ней, захватив редкие по тому времени лакомства: баночку темной сахарной патоки, мешочек сушеной кураги и два фунта сала. Он застал Елену в ее комнате у железной времянки, на которой она пекла картофельные оладьи. От жара времянки у нее разгорелись щеки, за время болезни она похудела и показалась Кудрину еще привлекательнее. Он просидел у нее весь вечер, наносил ей в бадейку воды из колодца и наколол из старой двери груду щепок для времянки.

Потом он еще дважды заезжал к ней, а в третий раз, прощаясь, неожиданно обнял ее и привлек к себе. Она не отстранилась, и он остался у нее. Несколько дней спустя он перевез ее к себе в дом Советов и зарегистрировался в загсе. И они жили вместе уже восьмой год. За это время Кудрин старался помочь и общему и партийному развитию Елены, но особого успеха не добился. У нее был трезвый, но ограниченный ум, способный к твердому усвоению простейших истин, которые она заучивала накрепко и ру-

ководилась ими в жизни. Этих истин и упорной уверенности в правоте того дела, которому она служит, ей вполне хватало, и она не желала углублять и расширять своего кругозора. Все, что было за пределами заученных ею правил, было ей чуждо и непонятно, и она не хотела обременять себя лишними размышлениями. Ее прямолинейная самоуверенность порой выводила Кудрина из себя, но спорить с ней и убеждать ее было бесполезно. Она презирала всякий комфорт и уют, к жилью относилась, как к проходной казарме, и склонность Кудрина к хорошим красивым вещам называла с равнодушным презрением буржуазным обрастанием и барахольством.

Но характер у нее был ровный и спокойный, и за восемь лет Кудрин привык к ней, как к надежному спутнику в жизни. Детей у них не было. Елена не хотела рожать. Дети в ее представлении были досадной помехой для ее партийной работы в женотделе райкома.

Однако порой эта невозмутимость и ровность, переходящая в равнодушие ко всему выходящему за пределы узенького внутреннего мирка Елены, тяжело отражалась на Кудрине. Он начинал чувствовать, что, несмотря на долгую совместную жизнь, он и Елена оставались внутренне чужими друг другу людьми. Он не находил в Елене живого отклика на многое, что интересовало и волновало его. Ему не удавалось увлечь ее тем, чем увлекался он, и дом становился для него пустым и холодным.

И сейчас, после разговора с Половцевым, ему не хотелось ехать домой. Он решил заехать на недавно открытую выставку графики. Он обычно не пропускал ни одной сколько-нибудь интересной выставки. На выставках он отвлекался от обычных будничных дел, возвращаясь в свою молодость. Еще в первых классах реального училища он полюбил рисование, и преподаватель, рассматривая его работы, увидел в них ростки дарования и посоветовал всерьез заняться живописью. Но из пятого класса Кудрина уволили за организацию политического кружка, и для него началась трудная бродячая жизнь профессионального революционера.

После ссылки и побега из Сибири, попав в эмиграцию, Кудрин поселился в Париже. Найдя работу в механической мастерской на Авеню Лябурдонне, он в свободные часы бродил по городу с альбомом, делая зарисовки и акварельные этюды в различных уголках Парижа. И однажды решился понести свои работы к известному французскому

мастеру, у которого была своя школа. Мэтр, который сначала принял бедно одетого и плохо говорящего по-французски иностранца с выражением скуки на сухощавом смуглом лице, просмотрев принесенное, оживился и добродушно похлопал Кудрина по плечу:

— Enfantillage... singerie, mon cher! Galimatias... Mais il y a quelque chose... Il faut beaucoup travailler, pouvre diable. Vous avez du talent... sans doute... Mais aucune école... aucune... Vous êtes un vrais sauvage! [1]

Когда Кудрин объяснил художнику, что материальные условия не дают ему возможности серьезно учиться, мэтр задумался, пощипывая бороду и поглядывая на Кудрина хитроватым, проницательным, но добрым взглядом. Потом вдруг ободряюще усмехнулся:

— Vous êtes russe? Et certainement antitzariste? N'est-ce pas? [2]

Кудрин ответил утвердительно.

— Voyez vous! [3] Мой принцип не делать исключений. Я не могу благотворительствовать, иначе сам останусь без штанов. Способных, но бедных живописцев слишком много. Но для вас, мой друг, я нарушу свое правило. Вы мне понравились. У вас есть такой чертовский огонек, который может разгореться. С завтрашнего дня приходите в студию работать... Ну, ну, без благодарностей. Не люблю!

Три года работал в его студии Кудрин, быстро выдвинулся, дважды выставлялся в «Салоне независимых» и был отмечен прессой со снисходительным пренебрежением к иностранцу. Но пришла революция, возвращение на родину, горячка партийной и боевой работы в гражданскую войну, и живопись была надолго забыта. Однако после ранения, полученного при штурме мятежного Кронштадта, демобилизованный Кудрин, встав перед необходимостью определить свою дальнейшую дорогу, потянулся к оставленной профессии. В это время как раз началась реорганизация Академии художеств, и ее новый ректор, старый большевик и эмигрант, знавший Кудрина по Парижу, предложил ему преподавание на живописном факультете. Кудрин с радостью ухватился за возможность вернуться к любимому делу. Но когда он сказал о своем желании в отделе

---

[1] Ребячество... подражание, мой дорогой! Галиматья... Но что-то есть... Надо много работать, черт подери. У вас есть талант... без сомнения... Но никакой школы... никакой... Вы настоящий дикарь!

[2] Вы русский? И, конечно, антицарист? Не правда ли?

[3] Видите ли!

кадров губкома, завотделом, просмотрев анкеты, криво усмехнулся и предложил Кудрину подождать решения, так как вопрос не прост и о нем придется доложить председателю губкома.

Спустя несколько дней Кудрин был вызван к председателю. В огромном кабинете за столом сидел лохматый, одутловато-бледный, как бы налитой водянкой Григорий Зиновьев. Зиновьев посмотрел на Кудрина равнодушно-злыми свинцовыми глазами и, не предлагая сесть, ткнул указательным пальцем в лежащие перед ним на столе бумаги Кудрина.

— Ты что ж это в кусты лататы задаешь? — спросил он отрывисто-хрипло, медленно ползая взглядом по Кудрину.— Гайка заслабила?

— Я не понимаю вас,— ответил Кудрин, сдерживая негодование.

— Врешь, понимаешь,— сказал Зиновьев, постукивая короткими пухлыми пальцами, поросшими рыжей шерстью,— ишь, искусства ему захотелось. На уютненькую работку, почище да полегче.

— Я был пять лет на нелегкой работе,— Кудрин старался говорить спокойно,— и закончил ее тяжелым ранением в грудь. Об этом ясно сказано в моих документах. И я не понимаю, почему вы думаете, что работа по созданию кадров советского изобразительного искусства легкая и чистенькая. Художник во время работы зачастую выглядит не чище трубочиста, а труд художника изнурителен и тяжел. Брюллов в обморок падал у мольберта...

Зиновьев встал, с трудом подняв с кресла распухшее тело.

— Довольно турусы на колесах вкручивать!.. Завтра пойдешь в отдел кадров и получишь назначение. Нам в промышленность командиры нужны. И не брыкайся! Прошлое у тебя не плохое, смотри, как бы я тебе будущее не попортил. Останешься без партбилета. Я и не таких, как ты, веревочкой скручивал... Все! Не держу!

Хотя Кудрин и был наслышан о сатрапских замашках «невского Дантона», но вышел от Зиновьева ошеломленный таким приемом. Вечером он поехал к одному из членов губкома, товарищу еще по ссылке, и с возмущением рассказал о происшедшем.

— Посоветуй, что делать?.. Хамский тон и все это безобразие,— ладно, черт с ним, стерпеть можно, но главное не в этом. Я же никогда не имел дела с промышленностью.

Какой из меня к черту командир в промышленности?.. Как думаешь, может, съездить в Москву?

— Не рекомендую,— ответил член губкома,— хуже будет. Совсем голову потеряешь, если на него будешь жаловаться. Силен Гришка Отрепьев, до сих пор силен, хоть и помяли бока и за девятьсот девятнадцатый и за Кронштадт. Лучше сдавайся, подыми лапки и садись, куда прикажут. А там видно будет.

Спустя два дня Кудрин получил назначение красным директором треста «Росстеклофарфор». На первых порах он робел и семь раз отмеривал, прежде чем сделать какой-нибудь шаг, но за пять лет освоил работу треста и сейчас уже уверенно руководил комплексом крупных предприятий и, даже полюбил широту этого дела. И, встретив на одном из совещаний того члена губкома, к которому приезжал поплакаться, со смехом вспомнил свой тогдашний испуг и колебания.

— Вот видишь, я же тебе говорил,— сказал член губкома,— и самого Гришку пересидел, и сидишь прочно, и репутацию себе сделал передового командира промышленности. Пойдем в буфет, хлопнем за твое настоящее и будущее по стаканчику.

Огромный размах деятельности треста, который требовал напряженного внимания директора, занимал все время Кудрина, и все эти годы он не брался за карандаши и кисти. Он как будто вычеркнул из своей жизни прошлое. Но по-прежнему любил бывать на выставках и следить за ходом развития изобразительного искусства, хотя многого не принимал и многое раздражало его.

2

В высоком гулком зале, где разместился после революции постоянный аукцион госантиквариата, было сумрачно и тихо, как в заброшенном лютеранском храме. Сходство еще усиливалось готической деревянной резьбой решетки и витражными розетками в высоких стрельчатых окнах. Между затянутыми суровым холстом стендами выставки была в беспорядке расставлена дорогая старинная мебель всех стилей, огромные фарфоровые вазы, бронза и мрамор. Сюда свозились из реквизированных особняков, из бывших помещичьих имений предметы искусства и старины, отбираемые особой комиссией в государственный фонд. Лучшее

шло на пополнение музейных экспозиций, остальное распродавалось и распределялось по комиссионным магазинам.

Комиссия также приобретала предметы антиквариата от населения. Оценку предлагаемых вещей давали несколько экспертов, среди которых главным был ловкий проходимец, бывший присяжный поверенный Бураков. Пользуясь полной бесконтрольностью и неосведомленностью комиссии, которая в основном состояла из рабочих, Бураков рекомендовал к приобретению вещи второго и третьего сорта и отклонял лучшие, оценивая их как подделки или искусные копии, если владельцы в какой-либо степени разбирались в искусстве, либо просто объявлял не стоящей внимания пачкотней и ремесленничеством. Если владелец требовал более широкой экспертизы, требование безотказно удовлетворялось. Но эксперты составляли крепкий и тесно спаянный орден разбойников, и работы, подписанные именами крупнейших мастеров, квалифицировались как копии, сделанные учениками, а владельцу грозили неприятностями за попытку ввести в заблуждение государственный орган. Спустя некоторое время к отчаявшемуся владельцу являлось некое подставное лицо, просило дать возможность познакомиться с отвергнутыми комиссией вещами, обволакивало изысканнейшей любезностью и в конце концов убеждало уступить полотно или скульптуру за десятую долю подлинной цены. Затем приобретенная драгоценность перекочевывала в обширную квартиру Буракова на набережной Невы, и постепенно в комнатах этой квартиры возник новый музей, который если и уступал по количеству собраниям Эрмитажа и Русского музея, то включал в свою «экспозицию» произведения, которыми могло гордиться любое собрание. Сокровищам Буракова стало наконец тесно в шести огромных комнатах, и, использовав высокий вестибюль старого петербургского дома, он развесил в нем устрашающие полотна кубофутуристов, от которых в ужасе шарахались тярлевские молочницы, носившие молоко в бураковский подъезд.

Вещи же, приобретенные комиссией, сваливались как попало в зале, ожидая своей очереди на распределение по объектам. И тут же устраивались немногие в эти годы выставки.

На серых прямоугольниках стендов, как иконы фантастического иконостаса, были развешаны рисунки и гравюры. Взяв из рук кассирши у входа зеленый лоскуток

билета, Кудрин с особенным удовольствием и волнением вдохнул знакомый сладковато-щекотный запах даммарного лака, прочно устоявшийся в зале.

Он равнодушно и не задерживаясь прошел мимо первых стендов. Выставленные на них работы не привлекли его внимания. Частью они раздражали глаз зрителя загадочными формалистическими изысками, невнятной путаницей геометрических фигур, назойливой и претенциозной ирреальностью, частью угнетали скучной бескрылостью так называемых «производственных» сюжетов. Кудрину было ясно, что все эти одноцветные и многоцветные гравюры и офорты сделаны людьми, глубоко чуждыми и не понимающими тех огромных процессов перестройки архаической русской индустрии, которым отдавал все силы, энергию и энтузиазм рабочий класс, новый, разумный и смелый хозяин, направляемый волей и умом партии. Художники брались за эти темы «без вдохновенья, без любви», без знания предмета, а только побуждаемые модой и возможностью быстрой карьеры и хорошего заработка. Было в этих работах что-то морально нечистоплотное, поспешная лакейская угодливость требованиям нового хозяина.

Кудрин наспех проходил мимо бесчисленных «сталелитейных цехов», «доменных печей», «плавок стали», «текстильщиц за станками», где в нагромождении металлических и каменных громад кранов, бессемеров, прессов, банкаброшей, ткацких станков, тяжелых перекрытий цехов, в бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее творец, одушевляющий ее человек. Забвение личности человека, нового человека, рожденного Октябрьской революцией, не угнетенного и беспомощного раба, а повелителя мира машин, предназначенных служить освобождению и раскрепощению труда, было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых, приспособленческих работ. Досадливо морщась, Кудрин проходил стенд за стендом, не находя ничего, что могло бы привлечь его взгляд. Он уже хотел уходить, недовольный и раздосадованный, но, обогнув следующий стенд, внезапно остановился, всматриваясь в большую гравюру, висевшую в центре, среди мелких карандашных набросков.

Резанная по дереву гравюра была оттиснута на цветной бумаге серо-сиреневого цвета в две краски — темно-синюю и зеленовато-желтую. С этого листа цветной бумаги на Кудрина внезапно повеяло волнующим дыханием творчества. Он заглянул в каталог. Фамилия художника — Шаму-

рин — ничего не сказала ему. Гравюра называлась «Настенька у канала», из цикла иллюстраций к «Белым ночам» Ф. М. Достоевского.

Вся плоскость гравюры была подчинена умелому композиционному сочетанию серо-сиреневого и черно-синего цветов, и только блики на зеркальной поверхности воды канала и прозрачно-зеленоватое пятно лица девушки врывались дерзким сияющим пятном в холодные сумерки.

Девушка в старинной соломенной шляпке корзиночкой стояла у резной чугунной решетки канала. Лицо у нее было суховатое, породистое, с горьким изломом бровей и скорбной складочкой рта. Но не самые черты ее облика поражали смотрящего. С удивительной силой было выражено внутреннее душевное состояние этой девушки, безнадежная ее обреченность, безысходное отчаяние. Каждая черточка ее тонкого лица, каждая линия ее безвольно поникшей фигуры были полны мучительным, бесплодным ожиданием возвращения какого-то огромного счастливого чувства, которое наполняло прежде ее жизнь и теперь ушло безвозвратно. И было ясно, что невозвратность этого счастья полностью осознана, и человек должен рухнуть под гигантской смертельной тяжестью внезапной беды.

От зеленоватых бликов в воде канала на лицо девушки ложились чуть уловимые смертные тени. Они же таяли на гранитных камнях набережной, на четком и страшном, как узор гробового рюша, контуре решетки канала. За каналом над деревянным забором в мутно-сиреневом небе вставала огромная глухая плоскость брандмауэра. По ней трупными пятнами проступала шелушащаяся штукатурка печных труб.

В скупости пейзажа была сознательная графическая сухость, омертвелость, которая еще сильнее подчеркивала беспомощность и обреченность девушки. Кого бы она ни ждала: отца, мужа, любовника, брата,— ожидание не могло дать ей ничего.

Кудрин, отступив шаг назад, пристально смотрел на гравюру и думал:

«Чужое искусство!.. Больше того — враждебное. Судороги уходящего мира, тоска, безнадежность, предчувствие неизбежности конца, распад. Но какая сила в этой чуждой вещи! Какая сила! С каким трагическим пафосом художник умирающего общественного строя умеет выразить его обреченность, и как наши художники бессильны еще пока передать с такой же силой наш подъем на

вершины жизни... Почему? В чем причина?.. Что так поражает меня в этой девушке? Эта изумительная выразительность внутренней катастрофы человека, безысходности страдания? Да, наверное, так... Но кто этот художник?.. Шамурин... Шамурин. Нет, никогда не приходилось слышать эту фамилию».

Кудрин тщетно напрягал память. Он знал многих художников и лично и по именам, но имя Шамурина ничего не говорило ему. И это было странно потому, что перед глазами Кудрина была работа, отмеченная печатью большого, углубленного мастерства. Кудрин подошел к гравюре вплотную и нагнулся. Под стеклом в правом углу он прочел четкую надпись «А. Шамурин» и дату «1926».

«Работа прошлого года»,— подумал он и тут же почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он быстро обернулся.

В неслышно подошедшем к нему сзади человеке он узнал ректора Академии художеств, который несколько лет назад предлагал Кудрину работу в академии. Но как изменился за эти годы еще не старый человек. Он исхудал, кожа лица одрябла, под глазами набухли мешочки, голубые глаза, прежде излучавшие живой свет, поблекли, в рыжеватой бороде густо проступила седина, и весь он словно стал ниже ростом.

— Эрнест Эрнестович, что с вами? — обеспокоенно спросил Кудрин, сжимая вялую, влажную ладонь ректора.— Вы больны?

— Все-таки к искусству тянет? — сказал Эрнест Эрнестович, не отвечая на вопрос.— Иду и вижу, кто-то впился глазами в гравюру. Подхожу ближе,— ан это Федор Артемьев, Ку́дрин сын... Что, забрало за душу?.. Вещь сильная, ничего не скажешь. Неприятная, но крепко скроено... Пожалуй, качественно лучшая на всей выставке.

— Да, интересная,— подтвердил Кудрин,— но все же меня сейчас интересует ваше состояние, Эрнест Эрнестович. Ваш болезненный вид меня тоже забирает за душу. В чем дело?

— Болен... Смертельно болен! — вдруг резко и зло сказал Эрнест Эрнестович.— И необыкновенной болезнью. В медицинской науке еще не изучена. Называется «шарлатанофобия»!

— Ну, это еще не опасно,— засмеялся Кудрин.

— Тут не смеяться, а рыдать надо,— с той же злостью продолжал ректор.— Еще немного — и сердце у меня лоп-

нет. Поломался я на войне с нигилистическими новаторами — футуристами, кубистами, экстремистами и прочими флибустьерами и джентльменами удачи... Гибнет, друг мой, академия, разваливается все, чем держалось наше великолепное русское искусство. Куролесят и экспериментируют шарлатаны, портят все, губят молодежь, отрицают рисунок, сами ничего не умеют, но кривляются, экспериментируют над живыми душами. А я один как перст и реальной помощи не вижу... Анатолий Васильевич не подмога. И характером мягок, и сам любит иной раз форснуть левизной. А эти его, как тараканы коврижку, обсели... Профессорá живописи, черт их возьми! Лепят на полотно квадратики, кружки, треугольнички — дело простое, а всерьез ночного горшка сами написать не могут... Вот и стал я не жилец на этом свете... Понимаю, что сейчас есть более срочные и решающие задачи, чем изобразительное искусство, не до него наверху. В свое время все станет на место, а пока что доконают меня «исты».

Эрнест Эрнестович безнадежно махнул рукой, и сквозь его иронически-шутливый тон Кудрин почувствовал острую горечь, разъедающую сердце старого, мудрого человека, надломленного острой идейной борьбой за честь и славные традиции русского искусства с горластой, шумливой и беспринципной ордой проповедников «новых форм», рядящихся в революционный наряд.

— Не нравится мне, Эрнест Эрнестович, ваше «нутро». Не опускайте рук. Покрасуются мыльные пузыри и лопнут. Есть же и отрадные факты... Скажем, АХРР.

Эрнест Эрнестович отмахнулся еще безнадежней.

— Эх, этот самый АХРР не лучше Пролеткульта. А кроме того, голубчик, и в АХРРе убежденных и идейных людей от силы десяток наберется. А остальные пенкосниматели. Почуяли, что в нынешней ситуации АХРР вроде елки с подарками, вот и танцуют вокруг. Мне они еще противней, чем мои ниспровергатели классики и новаторы. У тех мозги набекрень и хулиганский задор, а у этих уж больно голая коммерция без фигового листика.

— Вон как вас пессимизм разъел,— усмехнулся Кудрин.— Это все от сидячей жизни, Эрнест Эрнестович. На воздух почаще надо... Вы отсюда в каком направлении путь держите?

— В домашнем.

— А хотите прокатимся на острова на часок. День свежий, воздух млечный. И рассеяться вам полезно.

— Ну, что ж... пожалуй, поедем,— согласился Эрнест Эрнестович.

Взяв Эрнеста Эрнестовича под руку и направляясь к выходу, Кудрин еще раз оглянулся на гравюру.

— Кстати, Эрнест Эрнестович, вы знакомы с этим... с Шамуриным?

— Нет,— Эрнест Эрнестович слегка пожал плечами,— слыхал только о нем. Старик. Одинок. Ни с кем не знается. Говорят, будто у него в голове нелады. До двадцатого года работал много, выставлялся. После затих и вот спустя семь лет появился... А видно, талантлив, и сильно. Не мудрено, что он вам показался...

Они вышли на Морскую и сели в машину. Машина рванула с места, пересекла Невский, проскользнула в пасть арки Главного штаба и вырвалась на захватывающий простор площади Урицкого. Косые иглы закатного солнца рассекали холодноватый чистый хрусталь весеннего неба. На вершине розовой полированной свечи Александровской колонны грузно летел под тяжестью креста курносый ангел, и красная говяжья туша Зимнего дворца, загроможденная ремонтными лесами, закрывала горизонт. Прикрываясь портфелем от бокового, тревожно золотого блеска, Кудрин окинул взглядом площадь во всей ее изумительной четкости и гениальной простоте единственного в мире и неповторимого архитектурного ансамбля.

Эта красота, очевидно, захватила и Эрнеста Эрнестовича. На лбу у него разгладились две вертикальные морщины, все лицо помягчело, и в глазах появился огонек.

— Какой город! Какой город! — протяжно сказал он и всей грудью вдохнул бодрящий предвечерний холодок.

Кудрин впервые попал в Ленинград после демобилизации. Детство и юность его прошли на Кавказе, затем он попал в Москву, из Москвы в Сибирь, оттуда в эмиграцию. Австрия, Швейцария, Франция. Бродячая жизнь изгоя, бесконечная скачка по странам и городам в поисках пристанища и заработка. Были города прекрасные и отвратительные, из которых хотелось бежать.

Дореволюционного императорского Петербурга с его размеренной скукой и сгущенной атмосферой, в которой люди жили, как на кратере вулкана, поминутно ожидая взрыва, города, в котором рядом с лихорадкой становящегося на ноги российского капитала уживался сухой бюрократический ритуал и показной военный блеск распадающейся империи,— Кудрин не знал.

Он увидел новый Петроград, получивший вскоре иное почетное имя, в то время, когда смолкли пушки и над развенчанной столицей воцарилась глухая, пугающая тишина. В просторах опустелых проспектов, между брусчаткой и торцами летом пробивалась непокорная, ярко-зеленая трава. Дома вставали над этой пустыней, как надгробные памятники, полуразрушенные, но еще величавые. Широкая стальная Нева вливалась под мосты, как под прокатные станы, и медленно и бесшумно стекала к западу. Кудрина неприятно поразило запустение центра города, и он больше полюбил окраины, районы старых застав, где над прошлым уже закипала новая жизнь. Она давала знать о себе теплым дыханием фабричных труб, тянущимся к взморью дымом, ревом гудков, гулкой беготней вагонеток, лязгом и визгом терзаемого металла, пыхтением пара, жужжанием электромоторов, железными руками кранов, красными отсветами расплавленного чугуна, льющегося в изложницы.

Но и в замершем центре была своя красота, замкнутая и оскорбленная. В белые ночи гиперборейский город, в колоннадах и портиках своих дворцов, был похож на безжизненную, но прекрасную гравюру, на которую хотелось смотреть без конца, с сердцем, стиснутым болью и жалостью.

Разумом и верой большевика Кудрин верил, что там, на окраинах, происходит подлинное возрождение города, что там начинает все сильнее биться индустриальное сердце страны, рождается ее могучее и прекрасное будущее. Сердцем художника он любил и замороженную Элладу ленинградских дворцов и площадей, геометрическую точность этого города стройных и строгих линий, где все подчинялось прямолинейному устремлению в мировые просторы, лежащие за желто-серыми волнами Балтики.

И на восхищенную фразу Эрнеста Эрнестовича Кудрин сочувственно улыбнулся. Машина зашуршала по мосту Равенства. Направо и налево лежала искрящаяся, муаровая, андреевская лента Невы, разрезающая город. Кудрин приподнялся на сиденье и сказал Эрнесту Эрнестовичу:

— Вот уже шесть лет, как я стал ленинградцем, но всякий раз, как вижу Неву,— волнуюсь. К этой реке нельзя привыкнуть, как привыкаешь к обычному пейзажу. В ней и в Волге есть что-то от русской души, широты, размаха, величавости и простоты. Она зовет и будоражит.

Эрнест Эрнестович молча кивнул.

Они проехали на Елагин остров, вышли из машины и пешком прошли к Стрелке. В парке было тихо и пусто. Прели не убранные с осени кучи опавшей листвы. За сухим тростником, разросшимся на мелководье Стрелки, лежала опаловая гладь лахтинского взморья, и на западе в сизом дыму не то виднелся, не то скорее угадывался Кронштадт.

Они постояли у воды, любуясь переливами закатных красок, и Эрнест Эрнестович уже спокойней, без раздражения рассказывал Кудрину о своей работе в академии, о трудностях, о ежедневных стычках с «леваками», захватившими командные позиции в академии.

С взморья нанесло колючий ветерок. Эрнест Эрнестович закашлялся, запахивая пальто, и опять потускнел.

Кудрин довез его до квартиры в академическом корпусе на 8-й линии, сердечно простился и подождал, пока Эрнест Эрнестович не скрылся в подъезде.

— Теперь куда, Федор Артемьевич? — спросил водитель, подождав несколько и видя, что начальник молчит, занятый какой-то думой.

— Что? — спросил Кудрин, стряхивая задумчивость,— куда?.. Ну куда же, как не домой. Домой! — повторил он еще раз.

На Каменноостровском Кудрин вышел и подписал водителю путевку.

— Вечером на заседание поедете? — спросил водитель.

— На какое еще заседание? — с удивлением взглянул на него Кудрин.

— Вот-те на! — сказал водитель укоризненным тоном любимчика начальства.— Забыли уж... На завод-то вас нынче звали, на первый спектакль драмкружка?

— Не поеду! Хватит у меня забот и без драмкружков.

— Ваша воля, Федор Артемьевич. Мое дело напомнить, а дальше я сторонкой. Мне ж вольготней... Так не заезжать?

— Нет! Спасибо! Езжай!

Кудрин вошел во двор. Здесь все было знакомо и привычно, все на своих местах, как в течение всех шести лет, прожитых в этом доме. Двор был квадратный, ленинградский, колодцем. Чирикали на потресканном асфальте воробьи, висел, как обычно, в окне квартиры № 17 полосатый матрац с синей латкой в углу, удивительно похожий от этого на американский флаг. Из мансарды стекали во двор синкопы, выжимаемые из расстроенного пианино поэтессы Залапанной. Белый кот с боком, залитым зеленой краской,

лежал кверху брюхом и равнодушно смотрел на резвящихся воробьев.

Все было такое, как всегда, и не такое. По крайней мере, так показалось Кудрину. На миг ему почудилось, что в привычном сонном укладе двора проступила какая-то зыбкость, неуверенность, даже тревожность. Но в следующую минуту он понял, что ничто не изменилось и впечатление зыбкости этого кондового уклада было создано багряным отблеском заката на слепой кирпичной стене соседнего дома.

Уже входя в парадное, Кудрин бросил косой взгляд на эту стену и вдруг понял, что она чрезвычайно похожа на брандмауэр, изображенный на гравюре Шамурина, за спиной девической фигуры у канала.

— А, черт!.. Привязалась же ко мне эта гравюра, как банный лист,— чертыхнулся он, подымаясь по лестнице.

В передней, когда он снимал пальто, его ноздри приятно пощекотал запах горячего борща. Очевидно, обед уже был подан. Он вошел в столовую. Елена стояла у стола, упершись правым коленом в сиденье стула, и, держа на весу тарелку, ела борщ, заглядывая поверх ложки в разостланную на столе газету.

Кудрин досадливо сморщился. Он очень не любил эту походную манеру есть стоя и не раз говорил об этом Елене. Она пожимала своими крутыми, полными плечами и пренебрежительно отвечала:

— С чего это я стану рассиживаться, как какая-нибудь барынька? Может, еще салфеточкой повязаться и рыбу с ножичка не есть? Обрастанием пропитываешься, Федор!.. Мне некогда время на обеды тратить.

Кудрин недоумевал.

— При чем тут обрастание?.. Каждому времени свое. В теплушках на фронте можно было так обедать, вернее, иначе нельзя было, не на чем было сидеть. А сейчас есть стулья. И обедать надо сидя хотя бы потому, что это здоровей. Нужно беречь себя для работы.

Но Елена не понимала и не хотела понимать, что можно заботиться о своем здоровье, что можно хотеть каких-нибудь элементарных удобств, требуемых гигиеной. Это казалось ей идущим вразрез партийным нормам поведения, почти неприличным для райкомовской работницы.

Она молча кивнула Кудрину и продолжала читать газету, прихлебывая борщ. Кудрин сел напротив и налил себе

борща. Елена в это время докончила свою тарелку и небрежно плюхнула ее на стол.

— Кончишь, скажи Фене,— бросила она мужу на ходу,— она подаст тебе картофельную запеканку. А я бегу! Некогда!

— Куда ты несешься?

— У меня в шесть совещание по поводу клуба домработниц в районе.

Кудрин пожал плечами.

— Не понимаю. Сейчас без пяти пять... До райкома ходьбы четверть часа. Неужели нельзя нормально пообедать и спокойно пойти. Даже если ты опоздаешь на пять минут, ни клуб, ни совещание от этого не погибнут. Я тоже бываю на всех совещаниях и заседаниях, где мне нужно бывать, но не устраиваю из своей жизни бега в колесе и не организую голодовку. А у тебя последнее время сплошная истерика. Ты кидаешься то туда, то сюда. Не думаю, чтоб от такой бестолковой сумятицы выигрывало дело.

Елена посмотрела на него холодным, отчужденным взглядом. Схватила с подоконника смятую шапочку и, небрежно нахлобучив ее на макушку, сухо кинула Кудрину:

— Я еще не собираюсь облениться, спать на заседаниях в кресле и нагуливать жир. Я горела на работе, горю и сгорю, и ты меня не переучишь.

Кудрин вспыхнул:

— Переучивать тебя я не собираюсь. Я не реформаториум для дефективных. Гореть на работе прекрасно, но гореть надо с толком, чтобы огня на дольше хватило.

— Ну и гори с расстановочкой... А мне предоставь поступать по-моему. Пожалуй, ты скоро в свободное время напишешь новый Домострой.

Она резко повернулась и вышла. Кудрин со злостью отодвинул тарелку. В последнее время он с трудом сдерживал раздражение в разговорах с Еленой. Упрямая и туповатая ограниченность мышления, которая отличала ее и раньше, стала теперь почти нестерпимой. Она выработала себе раз навсегда несложный кодекс поведения, в котором, как в школьном расписании, были твердо установлены стандартные правила на все случаи жизни. Этот кодекс предписывал в такой-то ситуации делать и говорить то-то, в другой иное, не допуская никаких отклонений. Он напоминал Кудрину те нелепые книжонки, которые в дореволюционное время высылались за пять семикопеечных марок и учили правилам хорошего тона в высшем обще-

стве. Правила, выработанные для себя Еленой, были таким учебником хорошего тона для партийной среды, и то, что эти правила были так уныло скучны, приводило Кудрина в раздраженное состояние.

Эти правила отнимали у Елены способность к самостоятельной, смелой, ищущей мысли, широту взглядов. Она ни к чему не стремилась и пассивно шла по течению, довольствуясь своим примитивным катехизисом. Жизнь, которую она сама для себя создала, вполне удовлетворяла ее небольшие потребности.

Кудрин встал из-за стола. Ему сразу расхотелось есть после этого разговора. Вошедшей с запеканкой домработнице он приказал подать чай в кабинет. В кабинете он опустил на окнах плотные шторы и зажег настольную лампу под зеленым стеклянным абажуром. Он любил свой кабинет, этот зеленоватый ласкающий полусвет, запах табачного дыма и горячие разговоры с товарищами о путях революции, о боевых делах и задачах партии, разговоры сердечные, открытые и прямые, без дипломатических извилин и недомолвок.

Каждый раз после таких споров Кудрин чувствовал себя освеженным и обновленным, словно выкупался в кипящем холодном нарзане.

Опустив шторы, он прилег на диван и взял со столика номера новых журналов. В немецком ежемесячнике «Die Glassindustrie» его внимание привлекла статья о новых достижениях в области механизации стеклодувного дела. Статья была иллюстрирована снимками огромных, похожих на живые существа, остроумных машин, которые выдували сразу по нескольку десятков бутылок, вдавливали донышки, обрезали горла и отправляли на конвейер. Машины давали громадную экономию рабочей силы, почти вдесятеро повышали производительность труда, а главное, освобождали армию стеклодувов от каторжной работы, которая влекла за собой в массовых масштабах смертельную эмфизему легких и туберкулез.

Кудрин протянул руку и снял с наддиванной полочки словарь. В эмиграции он хорошо овладел французским языком, немецкий же знал слабо и без словаря читать не мог, а статью ему прочесть было нужно, так как именно эти машины были заказаны для треста в Германии и туда уже выехала комиссия для приемки.

Домработница принесла чай, и Кудрин с удовольствием выпил крепкую духовитую жидкость. Дочитав статью, он

вспомнил, что завтра выходной день, можно не ехать на работу и провести время по своему желанию. Он встал с дивана, подошел к окну, отодвинул штору и заглянул вниз. Уже совсем стемнело, двор утонул в фиолетовой мгле, и от этого печального полумрака мысли Кудрина внезапно опять вернулись к шамуринской гравюре.

Ему стало не по себе. Он попробовал проанализировать: что, собственно, так неудержимо привлекло его в этой вещи, явно чуждой всему его миросозерцанию, враждебной по своему упадочно-мистическому направлению, и пришел к убеждению, что сила воздействия гравюры объяснялась высоким мастерством автора, глубокой правдивостью и искренностью, художественным совершенством ее техники, заслонявшими неприемлемое для Кудрина содержание.

И как только это стало ясно ему, у него возникло желание еще раз посмотреть на гравюру, чтобы проверить свое впечатление. И он решил поехать завтра снова на выставку и взять с собой Елену.

«Нужно хоть на несколько часов оторвать ее от повседневной будничной возни в замкнутом кругу. Это будет ей только полезно».

Он опять сел на диван и углубился в журналы.

3

Проснулся Кудрин рано. На часах было четыре тридцать утра, но солнце северной майской ночи, на короткие часы ушедшее под горизонт, уже высоко стояло над крышами города, умытое росой, румяное и веселое.

Зыбкий, струящийся свет лился сквозь тюль занавесок, сияющими квадратами распластывался на паркете, кружа в своих лучах хороводы серебристых пылинок.

Взглянув на часы, Кудрин тихо встал с постели, стараясь не разбудить еще сладко спавшую на другой постели Елену. Накануне он лег спать, не дождавшись ее, и не слыхал, когда она пришла. Ее серенькое будничное платье, небрежно скомканное, было брошено на спинку кровати. Щекой она плотно врылась в подушку, ровно дышала, и сон ее был спокоен, как сон человека, заслужившего отдых добросовестным трудом.

Ступая на цыпочках, Кудрин подошел к шкафу, надел пижаму и вышел в столовую. Между рамами окна стоял

глиняный кувшин с молоком. Кудрин налил стакан, отрезал ломоть черного хлеба и с удовольствием выпил молоко, сохранившее еще приятную ночную прохладу.

Закусив, он ушел в кабинет заняться, как всегда, утренней гимнастикой. Эту привычку он приобрел в эмиграции. Живя в России, он никогда не думал о гимнастике. В революционных кружках молодежи, в которых прошла его юность, на гимнастику взглянули бы с пренебрежительной усмешкой, как на прихоть, недостойную революционера.

После побега в первые месяцы жизни в Женеве, он поселился у старого мастера часовой фирмы «Лонжин». Мастеру было за шестьдесят, он был сед, но гибок и строен и, когда по утрам обливался во дворике по пояс ледяной водой, Кудрина удивляли его крепкие, налитые мускулы. На вопрос жильца, как ему удалось сохранить силу и здоровье до такого возраста, мсье Дениво помял пальцами вялый и жидкий бицепс на руке Кудрина, присвистнул и произнес с сожалением:

— Хе-хе!.. Нет гимнасти́к, мсье Кудринь... гимнасти́к! Характерное отличие вашего народа. Сердца из стали, тела из желе. Вы всю жизнь думаете, как осчастливить мир, но не принимаете душа по утрам и не разминаете мускулатуры. От этого вы начинаете искать своего бога там, где его нет — в книжках. От неумеренного пользования книжками у вас, кроме мускулатуры, размягчаются мозги, и в сорок лет вы заканчиваете жизнь, не успев спасти мир, но потеряв зубы и бодрость... Вы любопытный народ!

Кудрин вспыхнул, ответил мсье Дениво колкостью насчет благополучного буржуа, которому мускулы заменяют мозг, но над словами швейцарца задумался и, приобрев пару небольших гантелей, стал тайком от хозяина заниматься по утрам гимнастикой. После переезда во Францию он не забросил гимнастику. Она стала для него такой же необходимой привычкой, как для курильщика утренняя папироса.

Проделав все упражнения, он принял в ванной холодный душ и, освеженный, чувствуя, как в теле играет каждый мускул и гудит взбудораженная кровь, вернулся в кабинет и сел за стол разбирать бумаги. Отложив одну, которая требовала срочного ответа, он взял лист из блокнота и стал составлять черновик. Занятый этим, он не заметил, как вошла Елена. Только в ответ на ее «доброе утро» он отложил перо и оглянулся.

Елена вошла в ситцевом халатике, наброшенном на плечи. Стриженые волосы ее, смоченные водой, были гладко зализаны кверху. Солнечный свет розовел на полных оголенных руках и икрах ног. Она была красива красотой здоровой тридцатидвухлетней женщины, несколько пышной и громоздкой, но все же привлекательной. Но сама она презирала эту красоту, как что-то стеснительное, мешающее ей жить по установленным для себя законам. И она нарочно носила простецкую, зализанную прическу, мешковатые, бесформенные платья, подражала мужским манерам и всякий намек на то, что она интересна как женщина, принимала за оскорбление. И в брачных отношениях она была равнодушно-холодна, относясь к ним, как к неизбежной, но не увлекающей ее обязанности.

— Что ты поднялся в такую рань? — спросила она, протягивая руку Кудрину. Она никогда не позволяла себе поцеловаться с ним утром, считая это излишней телячьей нежностью.

— Что-то не спалось,— ответил Кудрин.

— Чай на столе! Иди, пей... Я сейчас оденусь.

Кудрин вышел в столовую. Самовар шипел на покрытом клеенкой столе. Клеенка была старая, в пятнах, на самоваре застыли мутные натеки. Кудрин сжался. Он давно настаивал на замене этой испятнанной клеенки, прожженной в одном месте утюгом,— скатертью, но Елену это не волновало, как не волновало и то, что самовар был грязен и запущен.

— Феня! — сказал Кудрин вошедшей домработнице, стараясь говорить спокойно,— вы не могли бы хоть раз в неделю почистить самовар?.. Стыдно ведь на стол поставить. В захолустном трактире и то чище. Возьмите на кухню и приведите его в порядок.

— Слушаю,— ответила Феня, недоуменно взглянув на хозяина и почуяв, что он с утра «не в себе». Она унесла самовар. Кудрин взял с тарелки кусок хлеба и стал делать себе бутерброд.

Появилась Елена, уже одетая в свое затрапезное платье.

— А где же самовар? — спросила она.

— Я просил Феню вычистить его, он же в невозможном виде. Не можешь ли ты требовать от Фени соблюдения элементарной чистоты в доме? Право же, неприятно, когда на столе вместо самовара какой-то мусорный ящик.

Елена округлила глаза.

— Что это с тобой? С левой ноги встал?.. Подумаешь, какая важность, что самовар не начищен, как сапог. У Фени и без того хватает работы, и я не стану эксплуатировать человека для ежедневной чистки самоваров в твое удовольствие. У нее должно быть свободное время для политического развития... И что за беда? Внутри самовар чистый. Что ж тебе еще нужно?

— Но противна же грязь... эта прогнившая клеенка времен очаковских и покоренья Крыма... плохо вымытые стаканы.

Елена пристально посмотрела на Кудрина, прищурив веки.

— Знаешь, что я тебе скажу, Федор!.. Не полезно ли было бы тебе на некоторое время бросить твое канцелярское болото и пойти куда-нибудь на производство, к станку... орабочиться? Ты забюрократился, обмещанился.

Кудрин отодвинул стакан и взглянул на Елену с сожалением.

— Ты понимаешь, какой вздор ты говоришь?.. Если я хочу, чтобы у меня в доме была чистота, то я забюрократился?

Елена с явным превосходством повела плечом:

— Всегда начинается с чистоты, уюта, идут крахмальные скатерти, фарфор, потом нужна мебель красного дерева, бархатные портьеры, люстры. Потом к этому еще размалеванная дамочка, как у твоего Половцева, и, наконец, растрата, суд и вылет из партии... Самая обычная история!

Кудрин расхохотался.

— А ты не можешь себе представить, что можно жить с чистыми скатертями, хорошими севрскими чашками, но без растрат и разврата?

— Нельзя! Одно тянет другое. Со скатерти начинается, а под скатертью оказывается топь, которая затягивает... Мне противно видеть, что у тебя растут накопительские замашки, стремление к «красивой жизни».

Кудрин промолчал, пока вошедшая Феня поставила на стол несколько отчищенный от потеков самовар. Когда она вышла, он сказал:

— У меня накопительские замашки, а у тебя запоздалая и вредная отрыжка нигилизма. Твои якобы пуританские каноны ничего общего с большевизмом не имеют. Мы работаем и боремся за то, чтобы создать для всего народа, для всех трудящихся чистую, хорошую, комфортабельную жизнь, в которой все будет красиво. А ты проповедуешь

отвратительное кривлянье. Ты не ведешь за собой, а приспособляешься к наиболее косному и отсталому, которое хочет продолжать сидеть в темноте и в грязи, в какой держал трудящихся капитализм... Однажды покойного Жореса на одном из съездов Интернационала упрекнули в том, что он приехал в вагоне первого класса и поселился в дорогом отеле. Он ответил, что посвятил свою жизнь борьбе за то, чтобы весь пролетариат ездил в первом классе и мог жить в хороших отелях. И был прав. Если я честно делаю мое дело революционера и коммуниста, то хоть бы я спал на королевской золотой постели — это революции не повредит.

Елена снова пожала плечами:

— Да, если весь пролетариат тоже будет спать на королевских постелях. А пока этого нет...

— Погоди,— перебил Кудрин,— я привел крайний пример. На сегодня, как сказал Маяковский, мне, кроме свежевымытой рубашки... чистого самовара и незадрипанной скатерти, ничего не надо. Это не роскошь, а гигиена. Мы внушаем рабочему классу, что лишь в нормальных и здоровых условиях жизни он сможет не только удержать власть, но и построить могущественное государство Советов.

— Начинается законом гигиены,— упрямо повторила Елена,— а кончается скатыванием в мещанское ожирение и застой... и оставим этот бесполезный спор.

Кудрин сердито замолчал, размешивая ложечкой сахар. Его неприятно укололо замечание Елены о «размалеванной дамочке» Половцева. Оно было злое и неверное. Артистка драматического театра Маргарита Алексеевна Бем, с которой профессор всюду открыто появлялся, как с женой, никак не подходила под грубую кличку, данную Еленой. Кудрин неоднократно встречал Половцева с Маргаритой Алексеевной, несколько раз заезжал вместе с ним к Маргарите Алексеевне домой и был приятно поражен каким-то особенным уютом и девической скромностью ее маленькой квартиры. В ней не было ничего от ненавидимых Кудриным мещанства и обывательщины. Две светлых, строгих комнаты, рояль, картины известных художников, в большинстве подарки авторов с надписями; почти хирургическая чистота и сама хозяйка, скромная, миловидная женщина с вдумчивыми серыми глазами, которая удивительно тактично и умно держалась с Кудриным, начальником Половцева по работе.

В обращении Маргариты Алексеевны с большевиком, бывшим комиссаром гражданской войны, награжденным орденом Красного Знамени за штурм Кронштадта, не было ничего напоминающего поведение жен других специалистов, в домах которых приходилось бывать Кудрину. Там он встречал чаще всего затаенную боязнь или принужденно ласковое заискивание, желание угодить человеку, от которого зависела теперь служебная карьера мужей. В других случаях с ним держались настороженно и неловко, как будто опасаясь, что он вдруг выхватит шашку и начнет рубать буржуев. Хуже всего было там, где он чувствовал за фальшивыми улыбками спрятанное презрение к хаму, которого непонятная судьба вознесла на высоту, такую высоту, что приходится поджимая от злости губы, но наружно вежливо принимать его у себя за столом.

У Половцева он чувствовал себя свободно и просто. Маргарита Алексеевна не делала никакого различия между Кудриным и другими своими гостями и друзьями — крупными художниками, писателями, артистами, учеными. Обо всем, чем жила страна, она имела свое самостоятельное мнение, иногда положительное, иногда резко критическое, но без злорадства и всегда умное. Вначале Кудрин думал, что Маргарита Алексеевна просто повторяет слышимое от Половцева, но однажды в его присутствии она вступила в жестокий спор с профессором по поводу путей развития театра и в этом споре разгромила противника наголову. Эта самостоятельность и оригинальность мысли заставила Кудрина относиться к Маргарите Алексеевне с дружелюбным уважением. Бывая у нее, Кудрин не раз ловил себя на мысли, что он был бы очень рад, если бы у него дома была бы такая же непринужденная, свободная, культурная атмосфера.

Он допил чай. Подошел к окну и выглянул. День был солнечный, прозрачный. «На выставку лучше всего будет поехать в полдень, когда будет побольше света»,— подумал он, взглянул на Елену и почувствовал по ее поджатым губам и напряженной позе, что она обижена происшедшим разговором. Он подошел к ней сзади и ласково положил руки на ее плечи.

— Ты никуда не уходишь утром?

— А что? — спросила Елена.

— Я хочу проехать на выставку в зале поощрения художеств. Я вчера побывал там мимоходом, и мне понрави-

лась одна работа. Хочу разглядеть ее повнимательней. Может, проедешь со мной?

Елена сделала гримаску.

— Картинки?.. Мне нужно к докладу подготовиться. Завтра на «Красной игле» ответственное выступление.

— Но успеешь же вечером... Тебе не вредно встряхнуться.

— Ну, если тебе это доставит удовольствие,— не возражаю. Только недолго. Вряд ли там есть что-нибудь стоящее внимания. Буржуазные игрушки! Пустая забава!

— Ладно! — сказал Кудрин.— Тогда я сейчас вызову машину на полдень.

Он пошел в кабинет, но в дверях неожиданно обернулся.

— Кстати,— внезапно спросил он, вспомнив шамуринскую гравюру,— ты читала «Белые ночи» Достоевского?

— Нет,— ответила Елена.— А почему ты спрашиваешь?

— Ничего, просто так,— сказал Кудрин, закрывая дверь кабинета.

Он позвонил в гараж, заказал машину, положил трубку и несколько секунд постоял, как будто силясь вспомнить что-то нужное. Ему захотелось, прежде чем ехать на выставку, перечитать то место повести, к которому относилась гравюра. В молодые годы он читал повесть, но она как-то слабо удержалась в памяти. Дома Достоевского не было, но Кудрин вспомнил, что площадкой ниже живет молодой литературовед и критик, доцент университета Дергачев. Кудрин вышел на лестницу, спустился на этаж и позвонил, как было указано на двери, тремя долгими звонками. Дверь открыл сам Дергачев, пухлый, холеный, немного косящий одним глазом. Узнав о цели прихода Кудрина, он любезно вынул из книжного шкафа томик Достоевского и вручил гостю. Поблагодарив, Кудрин вернулся к себе и, сев в кресло у окна, стал искать нужное место. Найдя его, он медленно, вполголоса прочел его себе вслух:

«...Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка»,— подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих,

даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я,— верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички».

Кудрин дочитал и положил книгу на подоконник. Это окно кабинета выходило на соседний пустырь. За пустырем ровной, скучной стеной тянулись дома; над домами в голубоватой дымке мерцала золотом игла Петропавловской крепости. За ней, невидимая из окна, широко разлеглась меж берегов Нева, а дальше в центральной части города, окаймленные чугунными кружевами решеток, протекали речки и каналы петровского парадиза.

Кудрин закрыл глаза, и в красноватой мгле с жестокой ясностью перед ним появилась черная решетка, серо-сиреневая, стылая вода, глухая стена с трупными пятнами отсырелой штукатурки. Беловато-зеленым пятном мелькнуло скорбное лицо девушки. Он почти физически ощутил этот траурный, странный пейзаж.

Внизу заревела автомобильная сирена. Водитель давал знать о себе. Кудрин позвал Елену, подал ей пальто, и они спустились на солнечную, весело шумящую улицу.

4

На выставке, как и предполагал Кудрин, народу, несмотря на праздничный день, было немного. Графика не пользовалась популярностью у зрительской массы. В большом зале едва насчитывалось три десятка посетителей. Присматриваясь к ним, Кудрин заметил среди нескольких обывателей неопределенного вида и профессии, то рас-

сеянно, то растерянно глядящих на экспонаты,— группку стриженных по-мальчишески девчушек, в коротеньких по моде юбочках, открывающих худосочные питерские ноги. Кудрин с первого взгляда узнал их. Это были представительницы той категории «восторженных», которая обожает всякое искусство. Обожает бестолково, но совершенно бескорыстно и пламенно.

Таких девушек всегда можно было встретить на премьерах театров, на концертах отечественных и иностранных музыкальных знаменитостей, в студиях художников, в обществе молодых длинноволосых лирических поэтов, всюду, где так или иначе склонялось слово «искусство». Не сеющие и не жнущие, питающиеся бог знает чем, а главным образом воздухом, эти девушки порхали везде, как беспечные птицы, гордясь своей соприкосновенностью с искусством и его представителями, с беспечной легкостью и бездумностью становясь мимолетными подружками поэтов и художников, не претендуя ни на что, кроме полусвета задрапированной лампочки в мастерской молодого художника или романтическом логове поэта. Несколько бутербродов, рюмка недорогого вина, порция пылких поцелуев давали им полную радость бытия.

Они кучкой блуждали по выставке, чирикая по-воробьиному, о художниках говорили с почтительной нежностью, называя своих друзей уменьшительными именами: «Это Васина работа прошлой осени» или: «Петруша при мне резал эту гравюрку».

Их блужданье и чириканье напомнило Кудрину Париж. Такие же шаловливые, беззаботные, ничего не требующие мидинетки прибегали в обеденный час в промозглые парижские мансарды, принося своим рыцарям, которые питались чаще всего запахом макового масла и надеждами на славу, более питательные субстанции, вроде жареных каштанов или нескольких сарделек, добытых на трудовые крохи.

Они также называли своих возлюбленных уменьшительными именами и гордились каждым их успехом, бегая по мастерским и выставкам, готовые вцепиться в глаза каждому, кто посмеет неодобрительно отозваться о кубистической мазне Ги или Октава.

И Кудрин с легкой грустью и нежностью вспомнил, что, когда он выходил после трудного рабочего дня из электромеханической мастерской, на авеню де ла Мотт Пике под газовым фонарем, кутаясь в пальтишко на рыбьем пуху от

вечернего тумана над Сеной, его самоотверженно ожидала каждый вечер такая же ласковая подружка, худенькая большеротая девчушка со странным для русского слуха именем Селимены. Она вела его в таверну «L'Amiral», где они наспех закусывали, потом провожала до мастерской мэтра. Оставив Кудрина там, Селимена уходила к нему в мансарду готовить ужин. И когда Кудрин возвращался, измазанный углем и красками, Селимена заботливо поила его жидким кофе, гасила лампочку и беззаботно ныряла под истертое одеяло.

Эта веселая, как птичка, ласковая девушка прошла рука об руку с Кудриным через годы его парижской жизни, и когда он уезжал в семнадцатом году, сорванный с места ветром революции, она провожала его на вокзале и плакала в рукав его пальто, как жена и товарищ. Тронутый этим воспоминанием, Кудрин искоса посмотрел на шедшую рядом с ним Елену. Она шла размашистой мужской походкой, смотря на экспонаты выставки неподвижным, сонно-равнодушным взглядом, в котором выражалось нескрываемое презрительное недоумение: к чему все это?

Она считала, что искусство — удел людей, неспособных к полезной созидательной работе. Такой работой она считала ту, которую делала сама. Все, лежащее за пределами этой работы, было достойно в лучшем случае иронической усмешки, в худшем — презрения. К живописи и скульптуре она относилась еще со снисхождением, поскольку эти жанры можно было утилизировать для повседневных задач агитации и пропаганды. Музыка, опера, балет были ей совершенно непонятны и чужды.

Среди выставленных работ ее внимание и одобрение вызывали те, которые раздражали и злили Кудрина, рождая в нем отвращение.

Ее пренебрежительный взгляд оживился и даже утратил сонное выражение, когда она увидела на одном из стендов большой рисунок углем, под которым стояла подпись, знакомая Кудрину по бесконечным репродукциям выполненных художником портретов вождей революции. По ремесленному бездушию и фотографической зализанности эти портреты очень напоминали лица на вывесках провинциальных парикмахеров, но инстанции, которые занимались снабжением различных учреждений и организаций такими портретами, печатали их в сотнях тысяч экземпляров, и уныло унифицированные на один лад лица смотрели со стен дворцов культуры, театральных фойе,

клубов, залов заседаний, не узнаваемые даже теми, кого они изображали.

Рисунок на стенде изображал первомайскую демонстрацию на Невском проспекте. За первым рядом демонстрантов по проспекту была густо размазана грязноватая масса, похожая на паюсную икру, в которую были густо вклеены квадратики и прямоугольники киновари, изображающие знамена и плакаты. Нарисовано все было небрежно, убого. То ощущение внутреннего подъема и мощного единого движения человеческой массы, одухотворенной общим порывом, которое должно было воздействовать силой искусства на зрителя,— отсутствовало в этой скучной мазне. Кудрину стало противно.

Елена повернулась к нему и с удовлетворенной улыбкой сказала:

— Вот единственная картина, которую можно считать нашей на этой выставке. Все остальное ерунда.

— Тебе нравится? — жестко и зло спросил Кудрин.

— Очень хорошо! — ответила Елена.— Посмотри только, какая масса народа, как ярко горят знамена. Чувствуешь мощь освобожденного от эксплуатации пролетариата. Хочется вмешаться в ряды и идти вместе с ними. А раз есть заражающее, агитирующее начало, значит, картина выполняет свое назначение.

Кудрин ощутил спазму в горле и внезапно хрипло сказал:

— Прежде всего это не картина, а рисунок углем... А потом, неужели ты не видишь, не чувствуешь жалкого бездушия, лживости и халтурного отношения к творчеству. Эта мазня ни пролетариату, да и никому вообще не нужна.

Елена удивленно посмотрела на него.

— Почему ты так злишься?.. У тебя даже губы трясутся. Что тебе сделал этот художник? Чем он плох?

Кудрин понимал, что нелепо срывать раздражение на Елене, когда оно было вызвано художником, но в то же время Елена представилась ему как бы союзником этого ремесленника и подобных ему, малюющих «революционные» сюжетики с той же циничной лихостью, с которой до революции малевали апельсинные закаты и натюрмортики с убитыми утками для обывательских столовых. И он, еще больше закипая, ответил:

— Если ты ничего не смыслишь в искусстве, то уж смотри молча и не высказывайся. Ты видишь тут мощь

пролетариата, и подъем, и вдохновение, и еще черт-и-что... А я вижу плохой, невежественный рисунок, халтуру, в которой ни признака мастерства, ни ответственного отношения к творчеству, ни уважения к народу, для которого якобы эта пакость пишется. Это растление творчества.

Елена вспыхнула.

— Что за тон у тебя? Почему я должна молчать? У меня есть право на мое суждение. Суждение рядового зрителя, не такого высокого знатока, как ты,— она насмешливо подчеркнула слово «знаток».— И я удивляюсь твоему наскоку...

Кудрин смутился. Елена, конечно, была права, отчитав его. Чтобы скрыть это смущение и разрядить атмосферу, он предложил:

— Хочешь, я покажу тебе единственную на этой выставке работу, которая достойна называться искусством? Пойдем!

И он быстро пошел к тому стенду, где висела шамуринская гравюра. Елена, не торопясь, последовала за ним и подошла, когда он уже снова был во власти странного обаяния этой вещи.

— Вот, смотри! — указал он на гравюру.— Это делал настоящий художник. Это подлинное.

Елена внимательно смотрела на гравюру. Губы ее чуть раскрылись, и в лице появилось выражение напряженного раздумья, от которого даже сошлись ее крутые брови. Казалось, она трудно решала сложное внутреннее недоумение. Но понемногу выражение недоумения сменилось насмешливой отчужденностью.

— Это? — переспросила она.

— Да, это!

Она криво и насильственно усмехнулась.

— Должно быть, ты прав и я решительно ничего не понимаю в искусстве... Особенно в таком искусстве... Что это значит? — спросила она, почти ткнув пальцем в стекло гравюры.

— Как что? — переспросил Кудрин.— Это иллюстрация к одному из проникновеннейших произведений нашей литературы, к «Белым ночам» Достоевского.

Елена вторично усмехнулась.

— Я уже сказала тебе, что я не читала Достоевского. Да и не стремлюсь, судя по тому, что слышала о нем на партийных курсах... А то, что я вижу здесь,— меня не трогает. Изображена кисейная барышненка, терзающаяся

страданиями любви. Нам чужды и эти страдания, и такая любовь. Мы не станем из-за любовных переживаний стоять у речки и думать: броситься ли в воду или купить на пятак в аптеке уксусной эссенции. Мне только смешна эта картина.

Она говорила громко. Пять-шесть художественных девчушек и два скучающих обывателя, услыхав ее голос, подошли и вслушивались,— девушки со скептическими улыбочками, посетители благоговейно разинув рты.

Кудрину стало смешно.

— Тебя принимают за пророчицу,— тихо сказал он и добавил громче: — Я ведь говорю тебе не о содержании гравюры. Когда я впервые увидел ее вчера, моей первой мыслью тоже было: «не наше искусство»... Больше того! Если хочешь,— прямо враждебное нам искусство. Снаряд, выпущенный по нашим позициям, и снаряд тяжелый потому, что вещь чрезвычайно талантлива и потому вдвойне опасна. Но она неотразимо притягивает своим большим мастерством.

Елена еще раз взглянула на гравюру и отвернулась.

— А меня нисколько не притягивает. Пусть то, что ты обругал мазней, менее талантливо, чем эта гниль, но оно возбуждает во мне сочувствие изображенному, помогает организовать сознание в духе наших идей, и мне пока этого достаточно...

Кудрин махнул рукой.

— Знаю!.. Слыхал! Хоть три сопливеньких, да своих. Но дело в том, что эту гнусную и реакционную теорийку придумал сам сопливенький для оправдания своего существования... Это паскудная ложь!.. Нам не сопливые нужны! В искусстве нам нужны мастера с более честными и более сильными талантами, чем мастера капиталистического мира, где искусство служит богу злата. Только силой нового, нашего искусства мы сможем победить старое.

— Но у нас таких мастеров еще нет,— сказала Елена.

— И поэтому ты считаешь возможным одобрять и плодить халтурщиков и приспособленцев, которые дискредитируют наше искусство?

Не ответив на его вопрос, Елена, в свою очередь, спросила:

— Объясни мне, пожалуйста, чем ты так восхищен в этом произведении?

Художественные девушки и обыватели придвинулись вплотную. Видимо, их заинтересовал спор.

— Хорошо! — сказал Кудрин.— Об этом я думал вчера и повторю тебе сейчас. Я сравниваю эту вещь неведомого художника с вещами художников весьма маститых и широко известных по околачиванию порогов в передних всяких руководящих органов и товарищей, которые выпрашивают заказы и подрабатывают. Все они до мозга костей «граждании», все, как мумия бальзамом, пропитаны революционным мировоззрением и «диалектическим матерьялиззмом», хотя понимают в нем меньше, чем свинья в апельсинах. Они тебе в течение месяца отшлепают на саженном полотне что твоей душе угодно. Расстрел так расстрел, заседание так заседание, борьбу за что угодно или против чего угодно, лишь бы исправно платили. И все это пишется без всякого соприкосновения с натурой, по плохим фотографиям, наспех, с великолепным презрением к серости заказчика, который в искусстве «ни бе ни ме» и слопает все, что ни подадут проворные попутчики... И вот — эта гравюра. Ее автор наверняка не обивал ничьих порогов и ни в чем не клялся. Сидел над досками, не разгибая спины, может быть — впроголодь, но работал честно и правдиво...

— А откуда это тебе известно? — сухо осведомилась Елена.

— Вижу по качеству работы... Все же я был художником,— с внезапной горечью ответил Кудрин,— и вот то, что я увидел здесь, поразило меня. Я знаю, что по духу автор этой гравюры чужд нам, даже, возможно, открыто враждебен. Но посмотри, с каким настоящим пафосом и силой он выразил безысходную обреченность свою и своего класса. Тупик, и за ним только пропасть, только эта зловонная глубина канала. Выхода нет!.. В этом творческом взлете, в яркости передачи внутреннего движения человеческой души, мысли, в концентрации чувства и есть подлинное искусство. Вот почему я ставлю эту глубоко чуждую мне всем своим направлением вещь выше всех вот этих грошовых «октябрин в клубе», «Калинычей на родине» и прочего ремесленничества. Здесь искусство — там малярство.

Одна из художественных девушек с рыжей челочкой на лбу захлопала в ладоши. Кудрин обернулся.

— Здесь, гражданка, не театр... Держите ваши эмоции при себе,— сказал он, покраснев.

Елена смотрела на него с обидным сожалением.

— Зашился, Федор! — протянула она не то с досадой, не то с удивлением.— Едем лучше домой. Больше здесь

смотреть нечего, а сговориться мы не сговоримся. Как бы твои теории не довели тебя до плохого.

— Ладно, поедем,— ответил Кудрин, остывая.

Они прошли мимо шептавшихся девушек и стали спускаться по лестнице. Вдруг Кудрин остановился.

— Подожди меня минутку в машине, Елена. Я сейчас...

— Что ты еще затеял? — спросила она уже тревожно.

— Пустяки! Один вопрос...

Он взбежал по ступеням обратно и подошел к кассирше.

— Простите за беспокойство... Какая цена номера триста шестьдесят девять? Автор Шамурин.

Мысль приобрести эту гравюру пришла ему в голову совсем неожиданно, пока он спускался к выходу. Зная, что цены на современные картины и гравюры невысоки, он подумал, что не сделает никакой бреши в бюджете, приобретя вещь, которая украсит его пустой кабинет.

Кассирша предупредительно открыла каталог с отметками цен, перелистала его и подняла на Кудрина блеклые глаза человека, обиженного жизнью и осужденного на тоскливое сидение за столиками выставок. Видимо, сама удивляясь непредвиденному обстоятельству, она робко сказала:

— Извините, гражданин!.. Не продается!

— Как не продается? Почему? — опешил Кудрин.

— Не знаю... Вот написано: «Не продается. Собственность художника».

Кудрин помолчал секунду, соображая:

— А адрес художника вам известен?

Кассирша открыла лежавшую слева от нее ученическую тетрадку, порылась в ней и наконец назвала Кудрину глухой переулок в конце Мойки, там, где над нефтяной радугой воды, в течение столетий, могучей дугой выгнулась великолепная арка де Лямотта.

Кудрин записал адрес и сбежал вниз.

— Что у тебя там? — встретила его Елена.

— Курьезная история,— ответил он,— я хотел приобрести эту гравюру, но, вопреки ожиданию, она не продается.

— Ку-пить??? Да ты совсем свихнулся, Федор. Право, тебя надо вздрючить. Картинками задумал украшаться? И какими!.. Зачем?

Кудрин не ответил. Машина быстро летела к Невскому, свистя покрышками по свежим торцам мостовой, и задер-

жалась на перекрестке. Кудрин услыхал, что его окликают с тротуара. Подняв голову, он увидел Половцева, машущего ему рукой с тротуара. Рядом с ним стояла Маргарита Алексеевна в легком весеннем пальто с кротовым воротником и в лиловой фетровой шляпке. Кудрин снял кепи и поклонился Маргарите Алексеевне. Половцев подошел к машине, поздоровался с Кудриным и Еленой, широко отмахнув вбок шляпу.

— Дорогой шеф, куда вы пропали? — заговорил Половцев.— Я звонил вам без результата и уже собирался ехать к вам. Утром мне позвонил дежурный по управлению. Есть телеграмма на ваше имя из Москвы. На завтра в малом Совнаркоме рассмотрение нашей дополнительной сметы. Значит, надо сегодня выезжать.

— Да?.. Вот это отлично! Прокатимся, встряхнемся,— сказал Кудрин, обрадованный перспективой побывать в Москве.

— Я уже заказал билеты,— продолжал Половцев.— Вечерком прямо приезжайте на вокзал.

— А сейчас вы куда?

— Да вот собирался на траме к вашей милости, а теперь остается направить стопы домой.

— Тогда садитесь. Я вас довезу, что ж вам пешком мотаться?

— Мерси!.. Рита! — позвал Половцев.

Маргарита Алексеевна сошла с тротуара и направилась к машине. Кудрин открыл дверцу.

— Познакомьтесь... Маргарита Алексеевна Бем... Моя жена — Елена Афанасьевна.

Знакомя женщин, Кудрин с любопытством посмотрел на Елену. Она небрежно пожала затянутую в серую замшу руку актрисы и окинула ее с ног до головы отчужденным взглядом, каким смотрела вообще на женщин, не имеющих партбилета, которые, по ее мнению, были только бесполезными самками, то есть той породой, которую Елена считала ненужной и тормозящей развитие революции.

«Вот ты какая! — казалось, говорил этот взгляд.— В шелку и мехах, и губы подкрашены, и красива, а все же это не меняет дела и для меня ты существо низшей породы».

Этот взгляд Елены подметил и Половцев и незаметно лукаво подмигнул Кудрину. Машина тронулась, и сейчас же Половцев заговорил о всяких будничных пустячках, чтобы рассеять ощущение возникшей неловкости и изба-

вить женщин от необходимости разговаривать. Он без умолку болтал до самого дома, перескакивая с предмета на предмет.

— Значит, вечером на вокзале,— повторил он, помогая Маргарите Алексеевне выйти из машины.

— Да, конечно!

Профессор помахал рукой вслед машине.

Кудрины ехали молча. День после вчерашнего холодного ветра потеплел, и голубой, упругий майский воздух обвевал лица теплым и нежащим дыханием.

На мосту Елена разжала строго стиснутые губы.

— Это и есть любовница твоего спеца? — спросила она.

Кудрин возмутился.

— Почему «любовница»? — сурово спросил он.— Неужели то, что она живет с человеком, не записав своих отношений на бумажке, делает ее недостойной уважения. Фактический брак признается нашим законом, как и зарегистрированный. Я думаю, что твоя фраза неуместна в устах члена партии.

Елена вдруг зло усмехнулась:

— Ого! Вижу, что ты, кажется, втрескался: хороша кошечка! Духи, наряды, чулочки, драгоценности... Шикарно отбить любовницу у спеца... Но когда сядешь на скамью подсудимых, на меня не рассчитывай.

Кудрин обернулся и поглядел на Елену так, словно впервые увидел женщину, с которой прожил много лет.

— Никогда не думал, что ты так ограниченно злобна,— сказал он, подчеркивая с каким-то удовольствием обидные слова.— Стоит слегка поскрести — и из-под партийного билета, из-под тоненькой пленки заученных истин вылезает самая обыкновенная баба.

Елена не ответила, и до самой квартиры они ехали молча. У ворот Елена сказала мужу:

— Если тебе не нужна машина, пусть товарищ Григорий отвезет меня. Мне нужно заехать к Семену.

— Пожалуйста,— ответил Кудрин, вылезая из машины, и, не оборачиваясь, вошел в подъезд.

5

На вокзал Кудрин приехал за три минуты до отхода скорого. Заграница приучила его к этой точности, и он не терпел российской привычки являться на вокзал со свер-

точками и кулечками за полчаса, томиться и ждать спасительного третьего звонка.

Половцев уже расположился в купе, обложенный купленными на дорогу в киоске газетами и журналами. На столике горела лампа в бронзовом колпачке, постели постланы, и кругом был привычный комфорт международного вагона. Кудрин бросил портфель на верхнюю койку и сел рядом с профессором.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил он Половцева, указывая на журналы.

— По нашей части ничего... Есть одна занятная статья в «Рабочем театре». Но для вас театр материя неинтересная. Впрочем, хотите, читайте.

— Нет! — отстранился Кудрин.— Это действительно не для меня. Я с театром прочных связей не имею.

— На том свете, если верить бабушкам, вам, дорогой шеф, будут колоть язык горячими булавками,— засмеялся Половцев, смутив Кудрина, который понял, что, сам того не желая, попал в чувствительное место профессора.

— Честное слово, Александр Александрович, я вовсе не хотел...— начал он, но Половцев остановил его.

— Верю, верю!.. Не оправдывайтесь, а то хуже будет.

Поезд, ускоряя ход, громыхал и звякал на выходных стрелках. В купе вошел проводник и, отобрав билеты, принес два стакана чаю с печеньем. Кудрин сел пить чай, а Половцев, усмотрев в коридоре какую-то привлекательную попутчицу, тотчас же отправился, как он выразился, на «буровую разведку». Отхлебывая тепловатый чай, Кудрин смотрел через зеркальный прудок оконного стекла на несущиеся мимо тусклые оранжевые огоньки предместий. За тощими осинами перелеска показались черными призраками фабричные трубы. Поезд, лязгая, пронесся мимо деревянной платформы, на которой одиноко стоял дежурный в красной фуражке, с фонариком, мигающим от вихря, поднятого вагонами. Промелькнула надпись «Фарфоровский пост». За этой надписью, за домиком полустанка, в ночи разлегся массивными корпусами, сверкая глазами окон, завод, заложенный еще Ломоносовым, основное и самое мощное предприятие треста.

Кудрин вгляделся в темноту. Над корпусами стояло розоватое зарево печей, отражаясь в низких лохматых тучах. Кудрин удовлетворенно вздохнул, как хозяин, который обнаружил, что в хозяйстве царит порядок и все идет по налаженным рельсам.

В купе вошел Половцев.

— Ну как ваша буровая разведка, Александр Александрович? — усмехнулся Кудрин.

— Неважно,— поежился профессор,— порода твердая, руда залегает на большой глубине, разработка невыгодна,— сказал он серьезным тоном инженера, докладывающего о произведенной разведке.— Давайте, Федор Артемьевич, проглядим еще разок матушку-смету и прикинем, что можно уступить совнаркомцам, а что будем отстаивать на живот и на смерть. Иначе нельзя... Не запросишь — не вырвешь!

Он вынул из портфеля разграфленные листы сметы и разложил их на диване между собой и Кудриным.

— Номер первый,— продолжал он,— капитальное переоборудование гончарного цеха... Отстаивать?

— Конечно! — ответил Кудрин.— На этом пункте я не сдамся. Мы от заграницы на триста лет отстали... Срамота!

— Добро!.. Смена электрооборудования?

— Поставьте птичку,— ответил Кудрин,— тут, видите, какое соображение... Хоть и моторы при последнем издыхании и проводка гнилье, но годика два еще будем на тришкин кафтан латки ставить домашними средствами... А к тому времени наша промышленность начнет давать отечественные электромоторы. Иначе придется валюту бросать.

— Ладно! — Автоматическое перо Половцева вывело против графы аккуратную птичку.

Они постепенно перебрали пункт за пунктом всю дополнительную смету, иногда молча соглашаясь, иногда вступая в спор. Наконец Половцев сказал:

— Слава Марксу и Энгельсу — последнее. Ну это, я думаю, можно отдать без обсуждения.

Он с видимым облегчением сложил листы и сунул их в портфель.

— Спать?! — произнес он полувопросительно-полуутвердительно и, не ожидая ответа Кудрина, снял пиджак и развязал галстук.

Поезд, замедлив ход, переползал через Волхов по дряхлому, вздрагивающему мосту. Кудрин забрался на верхнюю полку. Через несколько минут он услыхал снизу голос Половцева:

— Разделись?

— Да!

— Можно гасить свет?

— Пожалуйста!

Щелкнул выключатель, и купе озарилось слабым и нежным голубым огоньком ночника. Кудрин вытянулся во весь рост, радуясь свежести чистого, чуть припахивающего хлором белья. Внизу чиркнула спичка, и он уловил ароматный медовый запах иностранного табака. Технический директор имел привычку перед сном выкуривать «на закуску» английскую сигаретку после того, как весь день тянул, не выпуская мундштука изо рта, дым «Сафо».

И словно с этим чужим, приторным ароматом пришло воспоминание о незаконченном споре, Кудрин приподнялся на локте и спросил:

— Вам спать не очень хочется?

— Мгм,— промямлил Половцев, наслаждаясь курением.

— Тогда поболтаем... Не возражаете?

— Угу,— донеслось снизу.

— И вот о чем... Помните позавчерашний разговор. О Туткове... алиментах... мещанстве?

— Ага!

— Вернемся к нему... Знаете, что меня поражает в вас, Александр Александрович?.. В вас, да и вообще во многих специалистах, пришедших работать с нами. Ведь умные же вы люди! Ум у вас тренированный поколениями, гибкий, иногда до отвращения гибкий. Но как только доходит дело до политической темы, вы... как бы сказать повежливее... ну сразу... тупеете, что ли?

— Благодарю за любезность.— Половцев сразу обрел способность изъясняться членораздельно.— В каком же это смысле?

— Да в самом прямом. Вот вы способны развивать передовые идеи и в механике, и в физике, и в музыке разбираетесь, и в театре, и можете подать дельную мысль, а как коснется политики, общественных дисциплин... тпру. Черт знает, в чем тут причина? То ли в полном отсутствии политического воспитания в дореволюционных школах и высших учебных заведениях... то ли еще в чем? И самое забавное, что вы не только в революционных, но и в реакционных идеях ничего не смыслите. Стоит с вами заговорить на общественно-философском языке, вы сразу порете чушь!

— Это когда же вы заметили?

— А тогда же!.. Вы вот упрекнули меня, то есть нас, большевиков, партию, что мы обманули мещан невыпол-

нимыми посулами и теперь негодуем на них за то, что они сразу хотят жить по программе максимум обещанного.

— Угу,— односложно подтвердил профессор.

— Но ведь чепуха же это! Чепуха!.. И в самой постановке вопроса. Когда мы обещали что-нибудь мещанам? Где? Да разве самый наш выход на сцену мировой политики не был с первого часа войной и вызовом мещанству? Если мы что-нибудь обещали, то обещали своему классу, пролетариату. И этот наш класс отлично понимает наши затруднения и сознательно идет на лишения, ограничивает себя во всем ради будущего, пока не изменятся общие условия, пока не утвердится прочно советская система... А мещанам мы обещали только, что мы их истребим, и это обещание сдержим, как и остальные.

— Хм,— отозвался Половцев, пыхнув дымом,— отлично! Хорошо уж то, что вы признаете нас не дураками. И то, что я говорю, не так глупо, как может показаться поперво-началу. Я способен понять, что вы давали обещания пролетариату, а не кому другому. Но, во-первых, этого пролетариата, то есть рабочего класса, в нашей стране, с ее косолапой кустарной промышленностью, имеется по самой благожелательной переписи два с половиной — три миллиона на сто сорок миллионов населения вообще.

— Что же, по-вашему, все остальные сто тридцать семь — мещане?

— Избави бог,— ответил после паузы Половцев,— с этого счета приходится сбросить миллионов девяносто крестьянства. Крестьянство загадочно... Нет, погодите бросать мне упреки в отрыжке славянофильского мистицизма, утверждающего таинственную духовную миссию русского мужика, который должен очистить мир от скверны. Мое положение не истекает из формулы: «умом России не понять». Крестьянство двойственно. С одной стороны, собственнические инстинкты и страсть к накопительству, к кубышкам в подполе — от мещанства. С другой, у крестьянства есть своя суровая и способная на самоограничения этика. А люди, способные на самоограничение, не мещане. Отличительная черта мещанина понимать свободу как разнузданную анархию, как синоним «все позволено». Самые отъявленные и паршивые мещане — анархисты и их духовный папаша людоед Ницше. Крестьяне не терпят анархистов, исключая батьку Махно, на что были особые причины, пока украинские мужички не разобрались в том,

что батько вообще не политик, а сволочь. И крестьяне никогда не будут читать Ницше... Так вот сбросим со счетов мещанства крестьян... Остается...

— Остается,— перебил Кудрин с веселым и злорадным смехом,— третье сословие, умственная прослоечка, ваш брат, интеллигенция. С чем вас и поздравляю.

Половцев завозился внизу.

— Не торопитесь поздравлять, уважаемый шеф, не торопитесь. Вперед батька в пекло прыгать не стоит... Прежде всего — что такое интеллигенция?

Кудрин расхохотался.

— Профессорская метафизика?! Что есть веревка — вервие?

— Нет, не метафизика. Пустил проклятой памяти Пьер Боборыкин дурацкое словцо, а на радостях стали его лепить направо и налево, не задумываясь о логике. У нас царствует убеждение, что если человек обучился сморкаться в носовой платок и состоит в союзе совторгслужащих, то он чистый интеллигент. Абсолютнейший и вреднейший вздор!.. Полная путаница понятий... Да вот вам пример. На днях пришлось читать в «Известиях» статью Заславского об одном судебном процессе. Ведь, кажется, квалифицированный журналист. А пишет что: «Обвиняемый — интеллигент по происхождению, сын зубного врача». А? Каково! Если индивидуум имел счастье вырасти по соседству с ведром, куда его папаша бросал вырванные зубы,— он интеллигент... А начальник нашего конструкторского отдела Бурков, умница, талант, автор научных трудов, не интеллигент? Почему? Потому, что происходит от обыкновенного слесаря?

— Бросьте, Александр Александрович! Вы запарились,— сквозь смех сказал Кудрин.

— Нет, не запарился! И не брошу! Если бы на скамье подсудимых сидел Бурков, тот же Заславский написал бы: «подсудимый по происхождению рабочий». А Бурков в десять тысяч раз больше интеллигент, чем неведомый отпрыск зубного врача.

— Не пойму, что вы стремитесь доказать?

— Погодите,— Половцев замолчал и вдруг выругался: — Черт подери, раздразнили вы меня, придется опять закурить.

Он зажег спичку, затянулся и продолжал:

— Знаете, Федор Артемьевич, сколько у нас сейчас подлинной интеллигенции в высоком смысле этого слова.

Ничтожная горстка. Кто интеллигент? Тот, кто несет в жизнь или сам создает интеллектуальные ценности, движет вперед культуру. Человек науки, инженер, врач, художник, педагог. А мы стали называть интеллигентом любого Акакия Акакиевича, который сидит на входящих и исходящих и вечерами ходит в кино смотреть «Атлантиду» и «Тайны Нью-Йорка». Огромная группа, выполняющая подсобные функции, выполняющая волю высшего интеллекта, еще не имеет права на звание интеллигенции.

— Договорились! — сказал Кудрин.— Весьма допотопно получается... Спартиаты и илоты.

— А я слов не боюсь,— огрызнулся Половцев.— Если бы проводимое мной разделение лишало эту группу какой-либо части гражданских прав — это было бы допотопно. Но я лишаю ее только незаконно присвоенного звания. Вы же лишаете некоторые группы населения не только права именоваться гражданами, но и многих существенных материальных и прочих прав и не считаете это допотопным... Так вот, я хочу сказать, что вышеназванная категория промежуточных индивидуумов и является подлинным источником контингентов мещанства.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Кудрин.— Изрек — и доволен... Ну, а скажите, мудрец, вот я, Федор Кудрин, сорока двух лет от роду, сын железнодорожного машиниста, член партии,— кто я, по-вашему? Пролетарий? Интеллигент? Мещанин?

— Повторяю, происхождение не играет роли. Но прежде всего каждый член партии — интеллигент, поскольку вся его деятельность направлена на разрешение общественно-философских проблем и практическое применение их в государственной и общественной жизни... А помимо партийной принадлежности, у вас есть какая-нибудь специальность?

— Механик-монтер.

— А еще?

— Художник,— совершенно неожиданно для себя ответил Кудрин.

— Значит, прямой, явный и окончательный интеллигент.

— Это что же: плохо или хорошо? — спросил Кудрин с деланной усмешкой, досадуя на себя за внезапно вырвавшееся слово.

— По-моему, хорошо... Не знаю, как по-вашему. Вы же вбили себе в голову и продолжаете вбивать народу, что

все беды идут от интеллигенции, не уясняя себе, да что же представляет собой этот страшный жупел.

— Ну, это вы, Александр Александрович, попросту клеветнически врете. Нашей интеллигенцией, которая идет с нами, мы дорожим, и вы на себе это видите.

Половцев не ответил. Под полом вагона мерно постукивали колеса. В щели шторки замелькал свет, лязгнули стыки, и поезд остановился.

— Бологое,— сказал Кудрин.

Половцев встал и надел пиджак, наспех зашнуровал ботинки.

— Пойду рюмку водки хвачу... Растравил душу!

Он вышел. Кудрин заложил руки за голову и закрыл глаза. От спора с Половцевым ему стало нехорошо. Профессор выезжал на парадоксах, как жокей на цирковом коне. Было много словесного блеска, акробатики мысли, но в конце концов за этим была пустота и цинизм опустошенного человека. Поезд снова тронулся. Половцев вошел, разделся и спросил:

— Ну как, Федор Артемьевич, не надоело вам? У меня охота продолжать дискуссию.

— Валяйте,— лениво отозвался Кудрин.

— Вернемся к нашим барашкам. В начале нашего разговора вы изволили сказать, что ничего не обещали мещанам, кроме полного истребления этой человеческой разновидности. Но беда в том, что, отменив все сословия, вы отменили и мещанина. И он стал неуловим для бдительного государственного ока.

— Вы что же думаете, что мещанин определяется по паспорту?

— Не так наивен! Это фигурально. Дело вот в чем. Мещанин наиболее приспособляющееся животное из всех известных зоологии видов. А кроме того, он страдает ницшеанским самовозвеличением. Каждый мещанин думает, что он — единственный, а земля его достояние. Мещанин с невероятной ловкостью окрашивается под эпохиальное понятие о верхушке человечества. В наши дни он утверждает себя, как чистокровного пролетария. Если вы ему скажете, что он не пролетарий,— он, сукин сын, обидится. Как же так: и выкрашен с ног до головы кармином, и в глазах нечто этакое энтузиазное, и словарь у меня самый современный, а вы не признаете!.. Я жаловаться буду, я управу найду! За что боролись?.. Мещанство — изумительный случай не только оборонительной, но и наступатель-

ной мимикрии. Опубликованную вами хартию прав пролетариата мещанин немедленно полностью отнес к себе, вырвав из нее те параграфы, в которых есть неприятные слова об обязанностях. И он требует немедленного осуществления этих прав. Обиженная обывательщина прет на вас, как грязь из керченской сопки.

— Не запугаете,— ответил Кудрин,— заставим грязь влезть обратно.

— Как? — спросил Половцев с нескрываемой иронией.

— Вот! — Кудрин опустил вниз руку с сжатым кулаком.

Половцев протяжно засвистел:

— Фьюююю!.. Отжило век и не годится. Так можно было давить генералов, а мещанство между пальцами вылезет. Оно не физический враг.

— Может быть, вы нашли способ борьбы? — уже враждебно спросил Кудрин.

— Где нам, обломкам капитализма, чай пить,— с горечью ответил Половцев.— Но одно, пожалуй, скажу. Мещанина нужно грохать по лбу переворотом в культуре. Ему, сукиному сыну, нужно показать такую новую, совершенную культуру, созданную революцией, чтобы он ослеп от ее света и понял свою пошлость и ничтожество. Почувствовал бы себя не властелином вселенной, а первобытной обезьяной, существом низшей породы. А что сделано в этой области?.. Что?.. Возьмем любую отрасль культуры... ну, хоть бы литературу. Что изменилось в ней наряду с коренным изменением социальных отношений, с полным переворотом, совершенным в Октябре? Да ничего!.. Переменились названия героя, и остались те же схемы. Место добродетельного городового занял добродетельный милиционер. Место министра, отдающего силы на благо веры, царя и отечества,— добродетельный ответственный работник, жертвующий собой для блага пролетариата. От замены одних кукол другими ничто не меняется. И не так создается новое искусство класса-победителя. Сколько ни выворачивай перчатку, она остается перчаткой.

— Что же вы рекомендуете?

— Я? — ответил Половцев.— Я не учитель жизни и не политик, как вы правильно заметили. Но если вы не обратите максимум внимания на фронт культуры, если вы не вытряхнете из древнего Адама всю дрянь, которой он был набит в течение веков, не вдохнете ему в душу новый огонь исканий и дерзаний,— придет время, когда вас может

задушить плесень. Нужно создавать совершенно новую интеллигенцию, плоть от плоти самого здорового, что у вас есть,— рабочего класса. Нужно не считать интеллигенцию чудищем облым, а приучить народ уважать ее.

— Открыли Америку,— сказал Кудрин.— Мы ставим себе эту задачу, но нужны десятилетия...

— Не спорю... Но пусть на это дело будет брошена вся интеллектуальная верхушка партии, ее лучшие люди. А то у меня создалось впечатление, что, когда человек оказался негоден на работе в промышленности, в сельском хозяйстве, в армии и его некуда девать, его сплавляют за неспособность на культурный фронт. И он сидит сам по уши в болоте и других тянет. Почему делом культуры может руководить полуграмотный человек? Возьмите наш клуб. Через него проходят пять тысяч человек, в основном молодняк, будущие ваши кадры, которые должны сменить нас, капиталистических подонков. А наш завклубом бумажки грамотной составить не может, а когда выступает с трибуны — слушать невозможно эту галиматью. В клубе грязно, зимой холодище, летом мухи и пыль. Неуютно, казенно, заплевано. В этом есть недопустимое презрение к той самой массе, для роста которой и создан клуб. Не мудрено, что наиболее развитых рабочих в клубе днем с огнем не найдешь потому, что они его переросли. Менее развитые направляются в пивнуху — там теплее и веселее. А клуб заполняет ухарская шпана, будущие и настоящие хулиганы. И торжествует мещанин, ибо танцульки в «два прихлопа — три притопа» убеждают его в том, что торжествует его «культура», процветающая под аккомпанемент балалаек... Нет, дорогой шеф!.. До победы далеко. Нужен Октябрь культуры... Вот!

Половцев замолчал. Молчал и Кудрин. Наконец технический директор спросил:

— Что ж молчите? Презираете?

Кудрин наклонился с койки.

— Нет! Я слушал! Внимательно!.. В той профессорской абракадабре, которой вы разразились, возникла дельная мысль об Октябре культуры. Но ведь мысль эта не ваша, а Ленина. Мы ее знаем. Но заимствовать мысль у Ленина — это уже достижение для интеллигента вашей формации.

— Покорнейше вас благодарим, ваше превосходительство,— полуиронически-полугрустно сказал Половцев.

— А вы не относитесь с небрежением,— ответил Куд-

рин,— хорошая мысль хороша, когда ее подает голос даже с другого берега.

— Спокойной ночи! — сердито буркнул технический директор.

Поезд несся сквозь березовые перелески, оставляя на ветках рваную вуаль дыма, уплывающую в древнее и грустное русское небо.

6

Утром на вокзале Кудрин расстался с Половцевым, условясь о встрече на заседании в половине шестого. Он испытал чувство, похожее на облегчение, когда фетровая шляпа профессора исчезла в толпе, вытекшей из вокзала на площадь.

Последние разговоры с техническим директором оставили в голове Кудрина неприятный, мутный осадок. Самое неприятное было то, что мысли Половцева начинали как-то неожиданно и нежелательно совпадать с мыслями самого Кудрина. Это особенно выявилось в этом ночном разговоре в вагоне. Кудрин сознавал, что Половцев не без основания высказывает опасения за новую культуру советского общества. Утверждение Половцева, что на культурный фронт посылаются люди, обнаружившие непригодность к работе в других областях, было злым, но не лишенным правды. А рост мещанских настроений, расцвет обывательщины, вызванный новой экономической политикой, внушал опасения. И, казалось, надо было прислушаться к стихотворному предупреждению Маяковского, как бы коммунизм не был побит канарейками.

Вспоминая упреки Половцева по поводу работы клуба, Кудрин не мог не признать, что профессор прав. Клуб был непривлекателен, запущен, неуютен, от него несло убогостью и казенщиной. Что нужно было решительно взяться за полную реорганизацию дела. Но за более срочными и государственно необходимыми делами до клуба руки не доходили, а кроме того, неоткуда было взять качественные кадры работников. В городе было несколько образцовых домов культуры и клубов, работа в которых велась живо, с выдумкой и огоньком, но этого было мало для двухмиллионного города. А в малых клубах властвовала рутина, скука и уныние.

«Вот вернусь в Ленинград, вырву время и разворошу это воронье гнездо»,— подумал Кудрин, выходя из трам-

вая на площади Свердлова. Ему нужно было еще зайти в Наркомфин, выяснить некоторые дополнительные сведения по смете. Это могло занять полчаса времени, а с полудня и до половины шестого он был совершенно свободен. Знакомых и друзей в Москве было много, но ехать к ним в рабочие часы не хотелось. Мелькнула мысль побывать в Третьяковской галерее, но Кудрин вспомнил, что по понедельникам галерея не работает. Тогда он решил после Наркомфина поехать на Воробьевы горы и пообедать на поплавке у Нескучного.

В Наркомфине он быстро закончил дело. Разговаривая с товарищем, у которого проходила смета треста, Кудрин с удовлетворением отметил, что они с Половцевым правильно предусмотрели те пункты, по которым можно было ожидать веских и решительных возражений. Он объяснил товарищу свою позицию в этих вопросах, и тот одобрил соображения Кудрина, признал их правильными и обещал поддержку.

Выйдя в коридор, Кудрин направился к лестнице. Навстречу ему подымался человек в широком пальто из пушистого серого драпа. Кудрин бросил беглый взгляд на пальто, отметив хороший покрой, но на обладателя пальто не взглянул и пошел дальше. Но вдруг на плечо ему легла чья-то рука. Он поднял голову и увидал белозубую радостную улыбку на знакомом лице.

— Федор!.. Феденька! — вскрикнул человек в сером пальто.— Сон, чи не сон? Тебя бачу, чи ни?

Человек в сером пальто оказался старым приятелем, начальником политотдела дивизии, где Кудрин был комиссаром. С окончанием гражданской войны они разошлись и потеряли друг друга из виду.

— Оце добре,— сказал приятель,— як кажуть: на вовка и ягня бижить. Я учора приихав, та мозгую, як бы тебе розшукати, а вин ось сам. А у меня до тебе писулька е!

— Откуда? — полюбопытствовал Кудрин, сжимая руку приятеля.

— Из Парижа... От гарнесенькой дивчины!

Кровь хлынула в щеки Кудрину, и он растерянно посмотрел на приятеля. В памяти всплыла большеротая ласковая девушка, поджидающая его на бульваре, вертя в пальцах маленький букетик фиалок.

— Из Парижа? — спросил он осекшимся голосом.— Каким образом?

— Эге!.. Бачь, як спалахнувся... А я ж, хлопче, зараз

из Парижа... Працюю в торгпредстве... Ну и приихав в отпуск дыхнуть ридным воздухом... Европейский для мене неподобен... Ну и привез тоби писульку.

— Но где и как ты мог ее встретить? — перебил Кудрин.

Приятель гулко захохотал и ткнул Кудрина в бок.

— Попався, карась?! Значить, дивчина була-таки?.. Но тильки, друже, писулька не от дивчины... Дуже жаль, але...

Кудрин вспыхнул.

— Что ж ты дурака валяешь? От кого письмо?

— Что, разочаровался? — спросил приятель, переходя с украинского на русский.— Ну, не унывай. Видишь, мы устраивали наш павильон на выставке, а в соседнем павильоне работали французы. А расписывал павильон такой старичок с бородкой, мсье...— Он назвал фамилию учителя Кудрина.— Вот однажды этот старикан зашел посмотреть наш павильон. Мы его поводили всюду, разговорились. Среди разговора он вдруг и спроси меня, не знаю ли я такого русского большевика по имени Теодор Кудринь. А когда узнал, что мы вместе воевали, спросил твой адрес. Я, на беду, понятия не имею. Он очень огорчился, но дня через два занес письмо и просил, когда поеду домой, чтобы обязательно разыскал тебя и отдал.

— Письмо с тобой? — взволнованно спросил Кудрин.

— Сейчас погляжу. Вчера портфель разбирал, не помню: не то положил назад, не то на столе оставил.

Он открыл портфель, долго рылся в бумагах и наконец вытащил синий, узкий, хрустящий конверт.

— Во!.. Твое счастье, хлопче!

Кудрин почти вырвал у него из рук конверт. Ему захотелось скорее уйти и остаться одному. Он сказал приятелю:

— Спасибо!.. Ты надолго приехал?

— Недели на две.

— Если будешь в Питере — загляни! Трест «Стеклофарфор». Пока прощай, спешу.

— Чого ж це ты так гонишь?.. Писулька ж не от дивчины,— снова захохотал приятель, прощаясь.

Кудрин выскочил на улицу, поймал первое попавшееся такси и приказал везти себя к Нескучному саду. Сев в машину, вынул конверт, надорвал его, но сейчас же положил обратно в карман.

«Нет, прочту в саду, где-нибудь в укромном уголку, в тишине»,— подумалось ему.

Шофер остановил машину у входа в сад.

— Подождать? — спросил он.

— Нет, я пробуду долго,— ответил Кудрин, расплатился и пошел по аллее.

В саду было тепло и душно от преющей прошлогодней листвы. Пахло клейким ароматом молодой майской зелени, обрызганной солнечным светом. Кудрин свернул на боковую дорожку. По земле дрожа скакали солнечные зайчики, и обочиной хлопотливо бежала серенькая птаха, кося на Кудрина забиячливый глазок. Он дошел до укрытой в кустарнике скамьи, снял с головы кепи, сел и вскрыл конверт, чувствуя, как сердце забилось учащенными толчками.

Мелкий изящный почерк сразу напомнил ему мэтра, щеголеватого, изящного старика.

«Дорогой Теодор,— писал мэтр,— я так случайно и счастливо нашел вашего друга, что это показалось мне чудом. Мне очень хочется вновь встретиться с вами, хотя бы письменно пока. Ваш друг рассказал мне, что после отъезда из Парижа вы, вместе с ним, делали гражданскую войну у себя дома. Это великолепно. Я не понимаю, что такое коммунизм, я законсервированный буржуа, но я чувствую лучшие симпатии к вашей стране уже потому, что она первая прикончила гнусное человекоубийство во славу Пуанкаре-Война и его шайки. Сколько погибло прекрасных надежд и прекрасных сердец. Вы помните, без сомнения, ваших коллег по студии Адриена Море, Жака Прево, Роллана де Пуатье. Все они так много обещали нашему искусству и все сложили головы на фронте. Какие утраты! И для чего? Как художник, я при всей моей буржуазной природе всегда был свободомыслящим. О вашей стране я мало знаю. Только слухи! Мне кажется, что вы натворили много крайностей, но я не настолько политик, чтобы в этом разбираться, и вы извините мне мою неосведомленность. Во всяком случае, войны окончены, и вы живете мирной жизнью и снова творите. Я уверен, что ваша кисть может принести славу вашему молодому искусству. Не примите за лесть, но ведь я всегда считал вас настоящим большим живописцем. Вы стояли головой выше всего сброда, который в Париже портит полотна мазней. Как ваши успехи? Может быть, вы найдете минуту написать мне о них? Я думаю, ваши товарищи революционеры радуются полотнам, на которых вы запечатлеваете преображение вашей нации. Позвольте мне крепко обнять вас и примите лучшие и сердечные пожелания. Ваш стареющий учитель».

Держа письмо в пальцах, Кудрин задумался.

Значит, мэтр думает, что он вернулся к живописи, и не подозревает, что его ученик не брался за уголь и кисти в течение десяти лет. Чувство, похожее на тоску, овладело Кудриным. Он встал и поспешно спустился вниз к реке. На террасе поплавка он нашел столик у края. В нагретом струящемся воздухе жемчужно мерцала река, сворачивая плавной лукой к Новодевичьему монастырю. Деревья на противоположном берегу казались игрушечными. Кудрин с аппетитом пообедал и выпил бутылку сотерна. В приподнятом настроении он вернулся в город. Проходя по Петровке, он увидел в окне Пассажа заграничный джемпер яркой расцветки. Он решил сделать подарок Елене.

«Сама же она никогда не догадается купить и будет ходить в своей арестантской прозодежде».

Сделав покупку, приобретя в книжном магазине на Кузнецком еще несколько новинок, он поехал на заседание. Заседание уже началось, и Кудрин осторожно пробрался к стулу, который занял для него раньше приехавший Половцев.

Вопрос о смете треста стоял в повестке четвертым, и пришлось прождать около полутора часов. Прикрываясь портфелем, Половцев шепотом рассказывал Кудрину московские новости и анекдоты, но Кудрин слушал рассеянно. Обсуждение сметы прошло без всяких осложнений. Урезали еще несколько второстепенных пунктов, остальная часть прошла как по маслу, при энергичной поддержке представителя Наркомфина. После принятия резолюции Кудрин и Половцев покинули зал заседаний.

— Повезло,— сказал с облегчением Половцев,— знать бы, так и приезжать не стоило. Попусту таскались.

— Ну, нет,— отозвался Кудрин,— я встретил нужного человека, как нельзя кстати.

— А что такое?

— Так... личное дело.

Половцев посмотрел на часы на трамвайном столбе.

— Двадцать пять восьмого. До поезда четыре часа. Вы куда?

— Никуда,— ответил Кудрин,— у меня все дела кончены.

— Тогда не хотите ли совершить прыжок в бездны литературы? Сегодня в Политехническом музее доклад поэта Тита Шкурина.

— Наверное, скука? — вяло сказал Кудрин.

— Наоборот... Ручаюсь за веселье. А потом — ведь все равно. Сидеть где-нибудь в кафе или слоняться по улицам еще скучнее. Идем!

— Ну, пусть так,— согласился Кудрин.

У входа в Политехнический музей стояла толпа молодежи, сквозь которую Половцев и Кудрин с трудом пробились в здание. Оставив Кудрина в вестибюле, Половцев на несколько минут исчез в каморке администратора и вышел оттуда с видом победителя.

— Везде надо иметь лазейки, дорогой шеф. Все билеты распроданы за неделю, а для нас с вами нашлись.

Они сдали пальто в гардероб и вместе с шумной, оживленной молодежью поднялись в фойе. Огромные красные буквы афиши оповещали, что член ассоциации Левого фланга искусств, поэт Тит Шкурин прочтет доклад на тему: «Искусство конкретного факта».

Прочтя афишу, Кудрин спросил у Половцева:

— Что такое искусство конкретного факта?

— Не торопитесь! Сейчас выслушаем очередное откровение и все поймем.

Они взяли программу с тезисами доклада, с трудом протискались в зал, у проходов в который контролеры изнемогали в неравной борьбе с зайцами. В зале разыскали свои места в третьем ряду, согнав с них каких-то сконфуженных девчурок.

Раздался звонок, и на кафедре появился докладчик. Очень длинный и тощий, с удлиненной головой, похожей на дыню, и такой же голой, как дыня, Тит Шкурин разложил на кафедре листки конспекта, надел необыкновенной формы шестигранные очки, прокашлялся и заунывным голосом начетчика стал излагать теорию искусства конкретного факта. Эта теория сводилась к отрицанию всей литературы, которая существовала в мире до явления народам Тита Шкурина и его единомышленников. Все жанры художественной литературы объявлялись контрреволюционными и вредными для революции. Классическая литература была хитро задуманной акцией буржуазии, направленной на затемнение сознания трудящихся лживыми и усыпляющими вымыслами. Она была таким же опиумом для народа, как и религия. Она обманывала трудящихся, подсовывая вместо конкретного факта выдумку, отравляющую подслащенной фальшью трезвое сознание пролетариата. Всем писателям прошлого, агентам буржуазии, ее наемным пропагандистам Тит Шкурин противопоставлял

себя и свою ассоциацию Левого фланга искусств, которая издавала самый крайний журнал. В этом журнале ассоциация проводила мысль, что лучшими образцами новой литературы социализма являются только очерки, описывающие конкретную действительность и конкретных людей. Право на художественный вымысел в литературе объявлялось «проклятым наследием капитализма».

Зал слушал с настороженным вниманием, и в тишине равномерно скрипел нудный голос докладчика. Кудрин нагнулся к Половцеву и с недоумением тихо спросил:

— Что это за сволочь?

Половцев фыркнул так, что на него оглянулись.

— Что вы? Что вы?.. Вы просто реакционер в литературе,— сказал он сквозь смех.— Ведь этот субъект сейчас одна из самых модных фигур. Он делает погоду.

Кудрин нахмурился и промолчал.

Безостановочно, лишь изредка вытирая платком пот с лысины, Шкурин в течение часа громил мировую литературу от Гомера до Горького. Он призывал молодежь выйти на улицы и требовать от правительства уничтожения библиотек и закрытия всех журналов, кроме журнала ассоциации Левого фланга искусств. Кроме того, он снисходительно допускал существование газет, поскольку их материал держался на конкретных фактах.

Наконец он сложил свои листки и объявил десятиминутный перерыв перед прениями. Зал проводил его бурей аплодисментов, и публика, топоча, ринулась в фойе перекурить.

Кудрин резко встал.

— Я ухожу, Александр Александрович, а вы, как угодно... Я люблю рыжих в цирке, а не в аудитории. И потом, этот рыжий чем-то странен.

Половцев тоже поднялся с ядовитой улыбочкой.

— Ну, что же!.. Я с вами. Хотя и хватило бы времени послушать прения, но нечего делать.

Они вышли из музея и пошли к Лубянской площади. На углу Мясницкой у старинной церквушки, назначенной к сносу, в подслеповатом старинном оконце из шестигранных глазков, зажатых в свинцовую оправу, красной капелькой мигала лампадка. С площади подходил четвертый номер трамвая. Холодно, как сабли, блестели рельсы.

— Садимся? — спросил Половцев.

— Нет! В вагоне душно... и вообще душно,— с яростью ответил Кудрин.— Пройдемся пешком.

Пробиваясь через встречные человеческие потоки по узкому тротуару, они молча дошли до Мясницких ворот. И Кудрин свернул направо, на Чистые пруды. Половцев догнал его и в мимолетном отблеске фар пролетевшего автомобиля увидел на лице Кудрина напряженно-злое выражение. Войдя в ограду бульвара, Кудрин пошел медленнее.

— Посидим,— глухо сказал он,— я что-то устал.

Они нашли свободную скамью. После долгого молчания Половцев осторожно спросил:

— Мне кажется, вы сердитесь на меня, Федор Артемьевич, что я потащил вас на доклад.

— Почему вы думаете? — усмехнулся Кудрин.— Точно я маленький, чтобы меня можно было куда-нибудь потащить. Дело не в этом. Я испытал невероятное отвращение... до физической тошноты... Послушайте, кто этот развязный кривляка, этот субъект без роду и племени?.. Что это — тупица или открыто издевающийся враг? Весь смысл нашей литературной политики, вся наша надежда в том, что мы сможем вырастить своего Пушкина, своего Толстого, своего Гоголя... А что предлагает эта каналья?.. Успокоиться на дневнике происшествий, на хронике, на ползании по фактикам, без осмысления, без обобщения, без художественного претворения... Это же открытая атака врага!

Половцев ответил не сразу.

— Прежде всего, я попрошу у вас извинения, Федор Артемьевич... Но я не подумал, что вы будете так остро реагировать... А затянул я вас на этот фарс нарочно, сознательно. И вот этого вопроса: «дурак или враг?» — я ждал.

— Ждали?

— Да!.. Я был уверен, что вы его зададите. Дурак или враг? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я позволю сказать два слова. С вами работают две группы беспартийной интеллигенции. Первая, очень существенно расходясь с вами в понимании и оценке событий, может быть многого не осознавая во всей полноте, а может быть и по некоторой косности мышления, все же пошла работать с вами, сознав, что в потоке эпохи вы, и только вы, оказались властью, достойной этого названия, проявившей и государственную зрелость, и достоинство подлинной власти, единственно могущей вывести страну на путь широкого и коренного обновления и оздоровления.

Эта группа много пережила, испытала немало обид, не всегда заслуженных, и, придя к вам, подав вам руку, она сохранила за собой право иметь самостоятельные взгляды на некоторые явления, не забегать вперед с лакейскими поклонами, не прислуживаться через край и критически относиться к тем или иным мероприятиям, разделяя тем не менее с вами и судьбу и ответственность до конца. Для этой группы существует священное понятие родины. Можете называть ее как угодно: СССР, Мировая Коммуна, Соединенные штаты пролетариата и еще как вздумается, но для нас это — Россия. Я говорю для нас потому, что причисляю себя к этой группе. И мы работаем рядом с вами честно для России сегодняшней и будущей, ибо увидели, что вы ведете ее к лучшему будущему. Когда вы, с нашей точки зрения, порете чушь, мы имеем мужество открыто говорить вам это, но никогда не пойдем ни на какую политическую авантюру или предательство.

— Спасибо за откровенность,— иронически обронил Кудрин.

— Не шутите!.. Но есть и другая группа. Она ничему не научилась. Она ничего не вынесла из событий, кроме злобной обиды за крушение своего житейского благополучия, своих гладеньких и чистеньких карьер. И она примкнула к вам, только поняв, что нужно выбирать между бытием и небытием, а небытие вещь неприятная. Эта группа работает, стиснув зубы, из-под палки, а так как она, в силу врожденного карьеризма и беспринципности, не желает занимать второстепенные места, она из кожи вон лезет в угодничестве, подхалимстве и поддакивании вам даже в ошибках. Ваши ошибки радуют их и пробуждают в них надежды. Ведь каждая ошибка ослабляет вас и усиливает их. И они изобретают все эти якобы ультралевые теории в области искусства, литературы, науки, пользуясь тем, что вы, во-первых, еще плохо в этих материях разбираетесь, а во-вторых, потому, что вам еще некогда вплотную заняться этими проблемами... Вот эти две группы интеллигенции презирают одна другую и имеют на это основания.

Кудрин повернулся к Половцеву.

— Ну и какие же выводы из того, что вы мне сообщили?

Половцев вскинулся.

— Да что ж вы, сами не видите? В жизни все и вся

можно использовать правильно. Сегодняшнего докладчика можно с успехом послать обрабатывать коммунальные огороды,— небось видели, какие у него плечи. Но позволять ему обрабатывать головы молодежи — преступное попустительство. Поэтому я был удовлетворен вашим вопросом: «тупица или враг». Враг! Ибо это теория врага, нигилячество взбесившегося мещанина, оплевание всего, что сделало человечество на этой планете в пути своего развития. Это натиск мещанина, о котором я говорил вам в вагоне.

Кудрин встал.

— В ваших словах, Александр Александрович, есть доля истины, но зачем же впадать в паническую истерику. Подрастут наши кадры, и мы турнем Шкуриных в три шеи.

Половцев огрызнулся фальцетом:

— В чем дело, наконец? Откуда у вас эта казенная самоуспокоенность? В годы гражданской войны вы не страдали оптимистическим раздутием селезенки, и это принесло вам победу... Подрастут кадры?.. А что, если кадры успеют заболеть прежде, чем подрастут? Тогда что? А симптомы есть... Впрочем...— Половцев оборвал речь и взглянул на часы: — Пора на вокзал!

В вагоне Половцев не проронил больше ни слова и после отхода поезда быстро разделся и повернулся лицом к стене, подчеркивая нежелание продолжать разговор.

Кудрин был рад этому и, как только Половцев улегся, погасил свет.

7

Не заезжая домой, Кудрин с вокзала приехал в управление треста и сразу, как пловец с вышки в воду, погрузился в привычные будничные дела. Как всегда, в кабинет входили один за другим с бумагами и докладами начальники отделов, заместители, портфели раскрывали свои кожаные пасти, выворачивая содержимое, и, шелестя листами, в обычном ритме текла повседневная работа.

Уловив правильность этого ритма, бесперебойное его движение, Кудрин включился полностью в него и позабыл о растравляющих разговорах с Половцевым. Работа, как всегда, увлекала его целиком. Ему нравилось сознавать, как в большом и сложном организме треста все прочно связано и скреплено, винтик к винтику, колесико

к колесику. Все должно было действовать и действовало непрерывно, точно, бесшумно, без скрипа и задержек, и вся эта налаженная система являла собой то доверенное Кудрину большое и нужное промышленное целое, которое носило название треста «Стеклофарфор».

В размеренный ход этой работы нежданно ворвался резкий звонок одного из трех телефонов на столе Кудрина. Это был телефон прямой связи со Смольным.

Подняв руку, Кудрин остановил на полуслове докладывающего сотрудника и приложил трубку к уху.

— «Стеклофарфор». Кудрин слушает.

Приглушенный и несколько искаженный голос застучал ему в ухо:

— Федор!.. Вот здорово!.. А я думал, ты еще не вернулся... Что? Нынче утром? Все в порядке?.. Ну-ну!.. Как живешь? Я? Тоже помаленьку... Послушай-ка, ты не заедешь часам к трем ко мне? Ну, минут на десять. Есть разговор... Да нет, по личному. Приедешь — узнаешь... Когда хочешь, только не позднее половины четвертого... Будь здоров! Жду!

Кудрин положил трубку и уже рассеянно дослушал доклад.

Звонил председатель губернской контрольной комиссии Манухин. Звонок неприятно встревожил Кудрина. Кудрин не мог понять, какое личное дело могло быть к нему у Манухина, о котором нельзя было сказать по телефону. И то, что звонил сам Манухин, и что в тоне его разговора было что-то недосказанное и уклончивое, не понравилось Кудрину. Тем более это было неприятно, что Манухин, старый и близкий товарищ, говоря с Кудриным, старался придерживаться обычного для него шутливого тона, но в шутливости на этот раз чувствовалась заметная принужденность, желание прикрыть шуткой что-то, что было не похоже на шутку.

Кудрин недоумевал. Он не мог объяснить себе замеченную перемену в обращении с ним Манухина, не припоминая за собой ничего такого, что могло объяснить эту перемену. Наскоро и уже без увлечения закончив очередные дела, он вызвал машину и поехал в Смольный.

— В чем дело? — спросил он, входя в манухинский кабинет, еще с порога.

Манухин поднял стриженную ежиком, светловолосую голову от синей папки, в которой копался, и под коротко остриженными рыжеватыми усами его тонкие губы сло-

жились в насмешливую улыбку. Он почувствовал волнение Кудрина и несколько секунд смотрел на него, прищурив глаза и покачивая головой, и только после вторичного вопроса, протянув руку, сказал:

— Здравствуй и садись!.. Да ты что ерзаешь?.. Первый раз в контрольную потянули. Ничего, братец, привыкай да не штрафись.

Кудрин с размаху сел в кресло и рассеянно пожал руку Манухина.

— Ну тебя к чертям!.. Не изображай великого инквизитора! — раздраженно заговорил он.— Что стряслось? Какая-нибудь склока?

Манухин, продолжая щурить глаза, строго-испытующе смотрел в глаза Кудрину и вдруг, ударив ладошкой по столу, раскатился дробным звенящим смешком. Сквозь смех он пробормотал:

— Эх ты, дурень!.. Чует кошка... А вот погоди, мы тебя из партии железной метлой. Не шали, не пакости, не обрастай, не впадай в буржуазные заблуждения.

— Что такое? — вскочил Кудрин, потрясенный внезапной догадкой.— Брось паясничать, говори серьезно.

Манухин вытер платком влажные от смеха губы и сразу стал другим, простым, дружелюбным, с ласковой искоркой в светлых глазах.

— Да ты сиди, Федор!.. Сейчас все по порядку. Видишь ли, вчера заявилась ко мне твоя Елена. «Хочу, говорит, с тобой, товарищ Манухин, держать совет насчет Федора».— «Валяй, говорю, товарищ Елена». Тут она мне и начни выкладывать, что ее очень беспокоит твое поведение, а поскольку ты ей муж, то она должна сказать, что наблюдает последнее время нечто беспокойное в смысле партийных уклонов, как-то: желание жирно жить, застой, утрата пролетарской сущности, накопительские тенденции, обрастание буржуазными безделушками, а кроме того, очевидное намерение отбить у своего технического директора его даму коварной артистической внешности.

Манухин говорил полушутя-полусерьезно, в глазах у него бегали лукавые вспышечки, и нельзя было понять, чему он верит, чему не верит.

Кудрин нервно стиснул в пальцах карандаш, взятый со стола, и сломал его пополам. Осколок карандаша ударил Манухина в лоб, и тот потер ушибленное место.

— Ты, браток, спокойней. Свой лоб прошибай, а я все-таки должностное лицо и неприкосновенен.

— Послушай, Андрей,— спросил Кудрин,— ты не привираешь малость?

Манухин снова вскинул взгляд на Кудрина и как-то задумчиво-серьезно ответил:

— Нет! Даю слово, что разговор был именно в этом смысле.

Кудрин помолчал.

— Какая гадость! — наконец выжал он.— Ведь ничего похожего на правду. Не пойму — идиотизм или паскудная бабья сплетня.

Манухин положил ладонь на руку Кудрина.

— Погоди! Я думаю, ни то, ни другое,— мягко, как бы стараясь оправдать поступок Елены, сказал он.— Просто она, как близкий человек, разволновалась... может быть, даже без основательных поводов, и пришла ко мне поделиться своими заботами. Из хороших побуждений.

— С дурацким и лживым доносом? Благодарю за такие хорошие побуждения. Сегодня она выложила «заботы» тебе, завтра пойдет к Петрову, послезавтра к Иванову, и пошла гулять клевета. В чем именно она меня обвиняла? Факты?

Манухин слегка похлопал по руке Кудрина.

— Сдержи нервы! Ни в чем конкретно она тебя не обвиняла. Да и вообще не обвиняла, а беспокоилась, что ты, на ее взгляд, очень переменился за последнее время, размяк, возишься с разными хлюпиками, оторвался от масс... Видно, ее это волнует. Не дерево же — жена!

Кудрин встал и сухо сказал:

— Боюсь, что дерева больше, чем жены... Во всяком случае, спасибо за предупреждение. Но я взрослый, мой партийный стаж побольше, чем у моей жены, и не ей меня учить. Ты меня знаешь. Я не делал и не делаю ничего, что могло бы меня скомпрометировать как члена партии. Нянек мне не надо. Если в твое распоряжение поступят действительно порочащие меня данные, дай им должное направление, а отрывать меня от дела ради чепухи непростительно... Если мы будем подозревать друг друга по бабьему трепу, нам на дело времени не останется. Прости и до свиданья.

Он пожал руку Манухину. Тот улыбнулся.

— Чего же ты так нервничаешь, Федя? Раз прав, значит — прав. А кто прав, тот спокоен.

Кудрин твердо встретил испытующий взгляд Манухина.

— Я спокоен,— ответил он,— но меня сейчас занимают некоторые весьма решающие для меня вопросы. Я над ними много и напряженно думаю, чтоб найти правильное решение. А для этого нужно внутреннее равновесие. И досадно, когда не умеющая думать и ничего не понимающая женщина срывает это равновесие. И из друга становится врагом. Будь здоров, Андрей!

Он решительно вышел из кабинета. В нем закипало неудержимое раздражение против Елены... Глупая, оскорбительная выходка. Объявление войны без резонного повода.

То, что Манухин пытался оправдать ее приход в контрольную комиссию беспокойством о Кудрине, было неубедительно для Кудрина, тем более что оснований для беспокойства не было. Неужели она не могла просто, по-товарищески, спокойно, даже после нелепой вспышки перед отъездом в Москву, поговорить с ним, высказать свои сомнения и тревоги? Неужели он отказался бы так же дружески объяснить ей все, что занимало его последнее время. Если бы даже его объяснения не рассеяли ее сомнений, она могла же поговорить с тем же Манухиным, который не раз бывал у Кудрина, в домашней обстановке, не придавая разговору официального характера. Но появление в контрольной комиссии совершенно меняло положение. Кудрин прекрасно понимал, что, приди не Елена, а любая другая женщина с такими обвинениями против него, могло бы возникнуть уже формальное дело, которое, конечно, кончилось бы ничем, но, во всяком случае, сулило бы много неприятных минут.

Выйдя из Смольного, Кудрин сумрачно стоял у машины, думая, ехать или не ехать сейчас домой? Он боялся встретиться сейчас с Еленой, чтобы в озлоблении не наговорить ей лишнего, оскорбительного. И он придумывал, как бы оттянуть возвращение в дом.

И совершенно нежданно он вспомнил записанный у кассирши на выставке адрес Шамурина. Если поехать сейчас к художнику, то мирный разговор о творчестве, о работах этого интересного и неведомого мастера, знакомство с его трудом может сыграть роль громоотвода, поможет успокоиться и погасит негодование. И, решив ехать, он сказал водителю адрес.

Машина промчалась по Невскому, свернула на улицу Герцена, миновала сквер у Исаакиевского собора. Там на свежепосыпанных песком дорожках копошились ребятиш-

ки. Кудрин посмотрел на их веселую воробьиную возню, и у него болезненно сжалось сердце. Он подумал, что, возможно, все тревоги, вся неудовлетворенность последних лет и ощущение холодной пустоты в доме происходят оттого, что по комнатам не бегает вот такой неуклюжий шарик, которому можно было отдать неизрасходованный запас мужской отцовской нежности и тепла, который был не нужен в работе и который не ценила Елена. Кудрин вспомнил, что ему уже сорок два года и жизнь идет под уклон. Он мотнул головой и сказал сам себе:

— Так-то, Федя!.. Так-то! Идешь к концу, а сменой не обзавелся. Плохо без смены.

И не докончил мысли, с горечью подумав, что, пожалуй, смены уже и не будет и поздно об этом сожалеть.

Водитель, замедлив ход машины, переспросил:

— Какой переулок-то, Федор Артемьич? Я что-то такого не помню.

Кудрин назвал переулок, водитель свернул налево, и машина запрыгала по выбоинам торцов, разбрызгивая покрышками мутные лужи. Кудрин рассеянно откинулся на спинку сиденья, взглянул на канал и замер, ошеломленный.

Перед ним, за простым и страшным, как узор гробового рюша, контуром решетки канала, медленно текла масленая, синевато-радужная вода с тяжелым запахом гнили. По ней бежали смертные лиловые тени. На противоположной стороне вставала громада брандмауэра, и по ней трупными пятнами проступала отсыревая штукатурка печных труб.

Не было сомнения,— перед ним был тот же пейзаж, что на гравюре Шамурина, только менее мрачный и безнадежный, смягченный блеском весеннего дня. Не было только девушки у решетки, но, казалось, она сейчас обязательно должна встать на свое место в этом призрачном мире. Кудрин сидел молча, не отрывая глаз от этой картины, повторяющей гравюру Шамурина. Он даже не заметил, что машина уже остановилась у приземистых ворот. Только когда водитель вторично окликнул его, он с трудом очнулся.

— Приехали, Федор Артемьич! Этот самый! Номер четырнадцать!

Внезапно и странно отяжелев, Кудрин медленно вылез из машины и, обходя лужи, двинулся во двор. Жен-

щина с изможденным, серым лицом переходила двор с корзинкой мокрого белья на плече.

— Шамурин? — переспросила она.— Это который художник?.. Так вы, товарищ, прошли уже. Вернитесь под ворота, вон там налево парадная, подымитесь на четвертый этаж. Там, где на дверях карточка портнихи Воронковой, там он и живет,— словоохотливо, видимо радуясь появлению нового лица, объяснила женщина.

Кудрин вернулся и поднялся по залитой и затоптанной грязной лестнице, на которой стоял густой запах прокисших огурцов и кошачьих отходов. На двери, с которой висели лоскуты клеенки, белела маленькая картонка: «Портниха Воронкова. Шитье по парижским моделям». Кудрин усмехнулся. Не обнаружив электрического звонка, он дернул за старинную ручку, пропущенную сквозь медные кольца. Внутри просыпался дребезжащий звон, зашаркали мягкие шажки, звякнула цепочка, дверь открылась, и Кудрин оказался лицом к лицу с малорослой, согбенной старушонкой. Она, не мигая, смотрела на него подслеповатыми глазками в красных слезящихся веках.

— Вы к Лизавете Семеновне? А их дома нет... Понесли заказ... Может, подождете,— прошипела она беззубым ртом.

— Я не к ней... Мне нужен художник Шамурин,— сказал Кудрин.

При этом старуха быстро оглянулась назад, в темень коридора, и Кудрину показалось, что в ее глазках пробежала тень испуга.

— К Шамурину?.. Простите старую грешницу, мне ваше обличье сперва будто знакомое показалось. Думала, к нам... А к Шамурину прямо по колидору и дверь налево.

Она отстранилась, пропуская Кудрина. Больно ударясь коленом о какой-то острый угол, он добрел до двери.

— Во... во! Она самая! — придушенным шепотом сказала старушка.

Кудрин негромко постучал и сейчас же услышал за дверью быстрые и легкие, совсем не старческие шаги. Невидимая рука отодвинула засов. Дверь распахнулась, облив стену коридора холодным серым светом. На пороге стоял небольшого роста, высохший человек с острой седой бородкой и блестящими из-под кустистых бровей тревожными глазами. Глаза эти сразу запомнились Кудрину. Серо-синие, пристальные, они таили в себе спрятанную сумасшединку и глубокую боль.

— Что вам угодно? — спросил хозяин.

Кудрин на мгновение растерялся от его неподвижного и подозрительного взгляда.

— Вы Шамурин? — тихо спросил он.— Простите, но я просил бы уделить мне несколько минут.

— Входите! — ответил Шамурин и пропустил Кудрина в комнату, захлопнув дверь перед носом крайне заинтересованной старушки.

— Да, я Шамурин,— обернулся он к Кудрину.— А чему я обязан вашим посещением и с кем имею честь разговаривать? — продолжал он, сложив на груди худые кисти рук с вздутыми синими венами.

В его голосе, тихом и чуть скрипучем, в немножко приподнятых оборотах речи, в том, как он сложил руки, в непринужденной легкости и изяществе этого жеста Кудрин инстинктом почувствовал человека из прошлого, выдержанного, воспитанного и умеющего вести разговор с любым посетителем, выжидательно рассматривая и оценивая его. Но в то же время он уловил в этом старике странное, непрекращающееся внутреннее беспокойство, лихорадку, словно его пожирал таимый от всех, но мучительный горячечный жар. Этот жар и чувствовался в сумасшедшинке таких спокойных и замкнуто-вежливых на первый взгляд темных глаз.

И, словно повинуясь приказу собеседника, Кудрин поклонился и сказал:

— Разрешите назвать себя... Я директор треста «Стеклофарфор», Кудрин.

Старик не выразил ни удивления, ни интереса.

— Возможно, вас удивляет мое посещение,— продолжал Кудрин, но старик остановил его.

— Прошу прощения. Будьте любезны присесть и великодушно извините, я только набью трубку. У меня привычка курить. Разрешите?

— О, пожалуйста, не стесняйтесь,— ответил в тон Кудрин, ведя игру на состязание в вежливости и предупредительности. И он сел на тяжелый дубовый стул, неподалеку от двери. Теми же бесшумными и по-молодому быстрыми шагами Шамурин вышел в соседнюю комнату. Кудрин имел время оглядеться.

Стены большой, запущенной комнаты с выцветшими обоями, не сменявшимися, видимо, много лет, были сплошь увешаны работами хозяина. Большинство из них были акварели, написанные широко, легкими и прозрач-

ными тонами. Над пианино, против Кудрина, висел прекрасный, в полный рост, портрет женщины в бальном платье, своей мягкостью и расплывом напоминавший ему портреты Карьера. Эта расплывчатость контуров еще усиливалась слабым освещением простенка, и на холсте отчетливо выделялись только белые, точеные руки.

Стена направо была заполнена рядом рисунков, угольных и акварельных набросков к уже знакомой гравюре. Их было около тридцати. Два или три изображали в разных вариантах пейзаж, остальные бесконечно повторяли фигуру и особенно лицо девушки. Один больше других привлек внимание Кудрина. На большом листе ватмана угольным карандашом быстро, нервно, с вдохновением было нарисовано лицо девушки, несколько крупнее натуральной величины. Видимо, художник стремился не столько к достижению сходства с оригиналом, сколько к передаче того выражения бесплодного ожидания и отчаяния, которое поразило Кудрина на выставке. Поразительной была сила лепки. Лицо буквально выходило из плоскости бумаги, казалось объемным. Вписанное в ватман крупными штрихами, лицо жило своей, самостоятельной жизнью, и от мучительного страдания, которое запечатлелось в каждой его черте, Кудрину стало не по себе. Он с усилием отвел взгляд от глаз девушки и тут же отметил, что рама обвита венком из хвои и креповой лентой. Внизу на раме была медная карточка с какой-то надписью. Кудрин привстал со стула, желая прочесть ее, но в эту минуту вернулся Шамурин, раскуривая на ходу старинную немецкую фаянсовую трубку.

— Чем могу служить? — повторил он, останавливаясь против Кудрина в той же позе со скрещенными руками.

— Видите ли... возможно, вы удивитесь, но я видел на выставке вашу гравюру. Она поразила и глубоко тронула меня. Я не говорю пустых комплиментов, это правда,— поспешил сказать Кудрин, увидев, что лоб художника пересекся хмурой вертикальной складкой.— Она поразила меня правдой и силой, давно мной не виденными. Я хотел приобрести ее, но кассирша сообщила, что гравюра не продается. Но я так заинтересован ею, что вот решил разыскать вас и просить: если вы не желаете расстаться с оригиналом,— оттиснуть для меня дубликат.

Говоря это, Кудрин невольно заторопился, видя с недоумением, что Шамурин хмурится все сильнее и сума-

сшедшинка выступает в его зрачках яснее, как проступает рисунок под стеклом, с которого стирают пыль. И едва Кудрин окончил фразу, как Шамурин поднял руку.

— Следовательно, ммилостивый государь,— заговорил он, напирая на букву «м»,— если я изволил вас правильно понять, вы желаете купить мою гравюру из цикла «Белые ночи?»

Спрашивал он с той же подчеркнутой любезностью, не повышая голоса, но в этой любезности и особенно в ненатурально тихом тоне Кудрин почувствовал назревающую непонятную опасность. Но еще не осознав ее, он ответил:

— Вы поняли правильно... Я, как ваш коллега...

Он не договорил. Шамурин резко бросил трубку на стол, шагнув к двери, рывком распахнул ее и, указав на ее пролет Кудрину, так же тихо, но с угрозой произнес:

— Убирайтесь вон!

Кудрин растерянно встал, думая, что старик чего-то не понял.

— Простите!.. Но вы меня неверно...

— Вон! — повторил Шамурин с тем же жестом.

— Но что же я вам сделал?

И вдруг старик затопал по полу своими худыми ногами и пронзительно-тонко закричал:

— Вон! Сейчас же убирайся, каналья! Кровь мою покупать пришел?.. Кровь? Сгинь, рассыпься, лукавый!

Он шагнул к Кудрину и пахнул на него сивушным перегаром, перекрестил грудь мелким крестиком и тем же пронзительным фальцетом запел: «Да воскреснет бог и расточатся врази его»,— наступая на посетителя и тесня его к порогу.

Озадаченный Кудрин, защищаясь от Шамурина поднятой к лицу левой рукой, выскочил в коридор. За ним мгновенно щелкнул засов, и голос, заглушенный филенкой, продолжал распевать псалом.

Кудрин чертыхнулся и бросился к выходу. На первом шаге он наткнулся на что-то мягкое. Оно жалобно пискнуло. Кудрин остановился в темноте.

— Кто тут?

Шамкающий шепот давешней старухи прошипел ему на ухо:

— Это я, батюшка... Да, никак, вы с художником поцапались?

Кудрин пожал плечами.

— Черт его знает. Сумасшедший он у вас, что ли?.. Выгнал меня без всякой причины. Что с ним?

— Господь ведает, батюшка. Только с тех пор, как у него дочка Татьяна Алексеевна померла, царствие ей небесное, он как бы с точки стронулся.

— У него дочь умерла?

— А как же... В запрошлом годе в воду бросимшись. Враз супротив дома. Милиция набежала, «скорая помощь», народ, ан не тут-то было. Летом канал курица переходит, а утопленницы найти не могли. Только через три месяца у Екатерингофа вытащили... По одному мадальону на шейке опознали, а то всю миноги объели,— тараторила болтливая старуха.— Вот он с того времени и не в своей жисти. Человек тихий, а как найдет это на него,— не дай бог. На племянницу мою, на хозяйку Лизавету Семеновну с ножиком кидался... Пьет, почитай, без просыпу,— шептала старуха.

Кудрину стало противно оставаться в темной дыре коридора и слушать этот шепот. Захотелось на воздух, на свет. Отстранив старуху, он выскочил из квартиры, сбежал вниз и всей грудью вдохнул вечерний ветерок с Невы.

Ехать домой после происшедшего было невозможно. Вместо рассеяния и успокоения поездка окончательно выбила Кудрина из колеи, и он не знал, что делать. Нужно было придумать какое-нибудь нейтральное место, где провести сегодняшний вечер. Сев в машину, он сообразил, что еще не обедал, и ему сразу захотелось есть. Он решил заехать в Деловой клуб, а оттуда в заводской клуб, проверить то, о чем ему говорил в вагоне Половцев, тем более что жалобы на неудовлетворительную работу клуба ему приходилось слышать уже не раз от многих людей.

8

Подъехав к Деловому клубу, Кудрин отпустил шофера.

Шофер, по свойственной всем шоферам заботливости к «своему» седоку, изумился и даже обиделся.

— А как же вы домой поедете, товарищ Кудрин? Неужто на трамвае?

Шофер презирал трамваи всем существом. Он смотрел на них, как мы смотрим на прабабушкины дормезы, и его

сердце заливалось горькой желчью обиды от сознания, что директор может поехать на этой несовершенной и гнусной грохочущей колымаге, когда в наличности есть автомобиль.

Но Кудрин успокоил его.

— Нет, товарищ Григорий. Я не знаю, сколько времени пробуду здесь, и не знаю, поеду ли отсюда домой. А кроме того, мне хочется пройтись пешком. Езжай.

Шофер недоуменно попрощался и уехал.

В столовой клуба Кудрин наткнулся на крупного инженера-электрика, только вернувшегося из заграничной командировки, и, пользуясь случаем поговорить с человеком, у которого много новых впечатлений, подсел к его столику.

Кудрин знал инженера как человека консервативного, плохо воспринимающего новые формы, и заинтересовался, как отразились в нем ощущения Запада.

Инженер подробно и обстоятельно говорил о необычайном росте техники в Германии. Его умиление перед изумительным расцветом металлургии и химии в стране, только что перенесшей тяжесть проигранной войны, граничило с фетишизмом, он становился поэтом, описывал оборудование заводов и фабрик, которые ему пришлось повидать. Рассказывая, он забывал о еде, цветная капуста стыла перед ним на тарелке, а он продолжал восхищаться и, вспомнив об отечественной промышленности, безнадежно махнул рукой.

— То есть, простите, даже вспоминать не хочется. Если сравнивать, то как же можно сравнивать электрический плуг и соху каменного века? Мы — соха, Запад — электрический плуг.

Кудрин слушал его с затаенной улыбкой. Он ждал именно такого восторженного преклонения перед Западом от этого дельного, знающего, но до мозга костей консервативного работника. И, как бы желая окончательно выяснить внутреннее лицо собеседника, обронил вскользь:

— Да, конечно, мы — отсталая страна. И отсталая во всех областях. Не только в машиностроении и металлургии, но и в других. Хотя бы культура?..

Инженер положил вилку и посмотрел на Кудрина пристальным, цепким взглядом, в котором промелькнуло лукавство.

— Эге?.. Хотите поймать неприемлющего спеца? Хм... А знаете, что я скажу, что, при всей моей восторженно-

сти и умилении перед западной техникой, я не остался бы там, хотя, казалось бы, для меня, инженера, есть огромный простор для настоящего творчества, вместо нудного затыкания дыр в издыхающем допотопном производстве. Не остался бы ни за какие коврижки. Здесь я, может быть, и ненужный человек, но человек. А на Западе больше нет людей. Есть номера. Инвентарные номера. Вот.

Рассказав Кудрину много любопытного, он простился и ушел. Кудрин дообедал один. Вспомнив по уходе инженера свою необычайную встречу с Шамуриным, он расхохотался и повеселел.

«Черт... Наскочил сумасшедший на сумасшедшего»,— подумалось ему, и, почувствовав облегчение от этого искреннего смеха, он решил выбросить из головы злосчастную мысль о приобретении шамуринской гравюры.

Повеселев и успокоившись, он направился в заводской клуб.

В клубе быстро заметили приход директора, и не успел Кудрин отдать макинтош и кепку швейцару, как к нему подлетел завклубом с радостной, явно придуманной для высокого посетителя, сладко-внимательной улыбкой.

— Товарищ Кудрин? Самолично пожаловали? Очень, очень рады,— проговорил он скороговоркой, потирая ладонь о ладонь.— Милости просим. Я вам сейчас покажу все хозяйство.

Он осторожно, почтительно, как официант в ресторане важного клиента, поддерживал поднимающегося по лестнице Кудрина под локоть.

Кудрин с неудовольствием освободил локоть и раздраженно сказал:

— Я не маленький, товарищ. Могу сам ходить.

Улыбка завклубом стала еще слаще и предупредительней, он всем существом выражал беспредельное одобрение директорской шутке. По коридору он пошел впереди Кудрина, выпятив грудь и раздвигая толпившуюся публику, не обращая никакого внимания на встречных, как ледокол, ломающий льдины.

Он повел директора в комнату правления клуба, где по стенам висели аккуратненькие, казенно-одинаковые диаграммы, оттуда в шахматно-шашечную комнату, в комнаты изо-музо- и фотокружков.

Везде было чисто и уныло-безлюдно. В комнате музокружка человек десять мандолинистов и балалаечников

скучно разучивали «Кирпичики» с вариациями на темп марша, и Кудрин вспомнил насмешку Половцева над танцульками в «два прихлопа — три притопа».

Выйдя из комнаты музокружка, завклубом подошел с таинственным лицом к запертой двери и, священнодействуя, выпул из кармана ключ. Щелкнув замком, он распахнул дверь и включил свет. В середине комнаты, на закрашенном под бронзу пьедестале, стоял бюст Ленина, окруженный столами. На столах в новеньких переплетах, с бумажными рубашками на них, были разложены в особом, очевидно самим завклубом придуманном порядке, сочинения Ленина. На стенах, затянутых красной саржей, висели в окантовке плакаты с изречениями Ленина. Все было скучно и бездушно, неоживленно и резало глаза.

Но завклубом расцвел самовосхищением и, показывая Кудрину рукой на представшее великолепие, сказал экстазным тремоло:

— Уголок Ильича, товарищ Кудрин.

Кудрин посмотрел на зава и пожал плечами:

— Уголок Ильича? Почему же он заперт? Для кого он существует?

Зав не услышал в тоне вопроса директора непосредственной опасности и так же самодовольно ответил:

— Он у нас образцовый, товарищ Кудрин. Мы его открываем только в торжественные дни, а то натопчут, нагрязнят. Нельзя.

Кудрин шагнул к столу и наугад раскрыл том Ленина. Книга сверкала чистотой девственной и неоскверненной, было видно, что к ней не прикасались святотатственные руки читателя.

Кудрин бросил книгу на стол и, повернувшись к заву, в упор спросил:

— Много читают?

Зав выразил на лице испуг.

— Что вы, товарищ Кудрин. Мы этих книжек не даем в руки. В читальне есть дешевое издание. А это только для уголка.

— Ну, а что же у вас делают посетители в праздники, когда их допускают в это святилище? — уже зверея и с трудом сдерживаясь, спросил Кудрин.

Зав продолжал беспечно улыбаться.

— Придут, посидят, посмотрят на Ильича,— так сказать, память о вожде,— почитают лозунги.

Кудрин сжал кулаки:

— Придут и посмотрят? Память о вожде? А книги вождя лежат неприкосновенными?! Слишком дороги для черни? Вас, уважаемый, из клуба помелом к чертовой матери за такую работу. Поняли?

Зав отшатнулся. На вспотевшем лице улыбка сменилась искренним и отчаянным недоумением.

— Помилуйте, товарищ Кудрин, за что же? Я — не покладая рук... Комиссия из треста, культкомиссия были, благодарили за работу, признали клуб образцовым. Разве ж можно каждый день допускать? Изгадят, книги истреплют в неделю.

Кудрин окончательно вспылил:

— Скажите комиссиям, что они бюрократы. Я их поблагодарю! Завели церковь вместо клуба. Мухи у вас дохнут, калачом сюда живого человека не заманить.

Зав беспомощно взмахивал руками.

— Оставьте,— сказал Кудрин, утихая,— вы не мельница. Ну вас с вашим клубом. Идите по своим делам, я сам досмотрю все, что мне захочется.

Он вышел из ленинского уголка с отвращением и яростью. Пройдя еще несколько безотрадных помещений, он наугад рванул какую-то дверь. За столиком, на котором стоял радиоприемник, сидело несколько ребят с наушниками на головах. Другие возились над батареями в углу. У всех были серьезные, сосредоточенные лица, они были целиком погружены в свое дело. На звук открывшейся двери все обернулись, как по команде. Кудрина обдал огонь сердитых взглядов. Кто-то из ребят махнул на него рукой, другой сказал негромко, но явственно:

— Что шляешься, папаша, без дела? Закрывай дверь и уходи!

Кудрин засмеялся и захлопнул дверь. Во всем клубе радиоуголок оказался единственной по-настоящему живой комнатой. И то, что ребята, увлеченные делом, встретили его откровенно враждебно, как ненужную помеху, праздношатающегося бездельника, просто обрадовало его.

Усмехаясь, он прошел в зрительный зал. На пороге его опять встретил виляющий и лебезящий зав.

— Пожалуйста, товарищ Кудрин. Я вас провожу в первый ряд, я вам распорядился кресло кожаное поставить из правленской комнаты.

— Оставьте меня в покое! — зыкнул Кудрин.— Садитесь сами в свое кресло, хотя вам лучше в галоше сидеть. Я сяду, где мне понравится.

Зав, заморгав, отлетел от свирепого директора. Кудрин протискался в один из средних рядов на свободное место, и как только сел, в зале погас свет.

Вечер начался постановкой одноактной пьесы «Парижская коммуна». Какой-то досужий драмодел перекроил для сцены новеллу Эренбурга из «Тринадцати трубок», напичкав ее без меры героическими тирадами, исполненными стопроцентной коммунистической доблести.

От деревянных лакейских слов терялись молодые актеры-кружковцы, не находя в своих ролях ни одного живого места, от которого можно было бы оттолкнуться, чтобы заученные фразы могли наполниться мясом и кровью, выступить рельефом и затрепетать подлинным чувством.

И оттого, что терялись и скучали актеры, скучал и вполголоса разговаривал о своих интимных делах зрительный зал, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям и героизму коммунаров.

После пьесы и небольшого антракта начались выступления солистов. Трестовская машинистка спела несколько романсов жидковатым, но верным голоском, потом была коллективная декламация, затем счетовод сыграл на гитаре с двумя грифами цыганские мелодии, и наконец конферансье объявил, что сейчас выступит «гордость советской эстрады», куплетист Язвинский.

На сцену вышел встреченный радостными рукоплесканиями зала вихляющийся и напудренный юноша в кепке, насунутой на лоб, одетый под лиговского кавалера. Он прошелся, кокетничая, по сцене, подмигнул первому ряду и хрипловатым голосом объявил, что споет модные куплеты о половом вопросе.

Лязгнул рояль, и молодой человек, закатив глаза и подергивая задом, затянул речитативом частушки. Две первые были только глупы, но на третьей Кудрин с недоумением оглянулся на притихший зал.

Молодой человек пел:

Изнасиловать девчонку — 9
Это может каждый шкет...
Ты попробуй старушонку
В шестьдесят примерно лет...

Зал грохнул рычащим желудочным хохотом и аплодисментами. Кудрин привстал. Ему казалось, что вся аудитория должна крикнуть куплетисту что-нибудь резкое, грубое, потребовать прекращения номера, но зал визжал и выл от удовольствия.

Кудрин, закусив губу, наступая на ноги сидящих, выбрался на середину зала и размашисто пошел к выходу. На него оглянулись и зашикали.

У выхода Кудрин опять натолкнулся на завклубом.

— Послушайте, вы что же, с ума сошли? Что вы делаете? — крикнул он, уже давая волю бешенству.— Как вы выпустили этого мерзавца? Кто мог разрешить петь заборную похабщину?

Завклубом, побледнев от директорского налета и пятясь, ответил:

— Так это ж, товарищ Кудрин, самодеятельная работа. Частушки писал наш предкульткома товарищ Завьялов, и литколлегия их утвердила.

— Ладно,— сказал Кудрин, направляясь в раздевалку,— завтра же поставлю вопрос о снятии с работы всего руководящего персонала клуба и закрою его до тех пор, пока с новым составом не будет создан советский клуб вместо публичного дома. Культурники, черт вас задери! — грубо бросил он в лицо завклубом, надевая макинтош, и, плюнув, вылетел на улицу.

На улице было пасмурно. К ночи собрались тучи. Моросил серебристый бусенец. Мокрые торцы блестели неровным дешевым зеркалом. Кудрин пошел по тротуару, не надевая кепки. Мелкие прохладные капли приятно свежили воспаленную голову и приносили успокоение.

Идя, Кудрин заметил, что поравнялся с домом, в котором жил приятель, работавший на заводе точной механики, тоже старый партиец и душевный, внимательный к человеческому человек.

Совсем неожиданно ему пришло в голову завернуть к этому приятелю, посидеть и поговорить с ним о том, что волновало и будоражило его последние дни. И едва успела промелькнуть эта мысль, его ноги сами завернули в подъезд. Поднявшись во второй этаж, он позвонил. Дверь открыл сам приятель.

Узнав посетителя, он радостно закивал седой, аккуратно подстриженной бородкой.

— А, Феденька!.. Здорово, милый,— приветствовал он Кудрина,— вот нежданный гость в радость. Я одинешенек вечерую, баба с ребятами в цирк махнула... Да что с тобой? Какой-то ты сумный, или стряслось что? — спросил он, участливо вглядываясь в Кудрина и таща его за собой в квартиру.

— Да ничего особенного, Никитич. Поговорить вот с тобой хочу.

— Ну, идем, идем. Я как раз чаишко на примусе нашпарил. Сам домовничаю. Как это у немцев раньше-то было... А? Кирхе, кюхе, кинде,— так, что ли? Три ка, кака.

Он сузил добрые стареющие глаза в узенькие щелочки, лукаво-насмешливые, и втянул Кудрина за собой в комнату.

На покрытом клеенкой столе парил чайник. Никитич усадил Кудрина.

— Ой-ой, милый, что-то мне твое обличье не нравится. Ты погляди на себя... Эх, мать честная, зеркала нет... ну хоть в чайник поглядись, жаль, баба закоптила. Ишь губы как подобрал. Внутреннее трясение, что ли?

— Пожалуй, что и так, Никитич,— нервно ответил Кудрин.— Вот хочу с тобой потолковать.

Никитич сразу посерьезнел и пытливо посмотрел на гостя.

— Ну вот, выпей чаю и выкладывай,— без усмешки, с ласковым вниманием сказал он, подвигая Кудрину стакан, и сам сел напротив, положив локти на клеенку и подпирая ладонями подбородок.

Кудрин залпом выпил обжигающий горло крепкий чай и сразу почувствовал облегчение от ласкового голоса приятеля, от его настоящей, неделанной внимательности, от чувствуемого желания товарища быть по-настоящему полезным пришедшему.

И, волнуясь немного, он заговорил. Он рассказывал по порядку обо всем, что случилось с ним за последние дни, событие за событием, мысль за мыслью, как допрашиваемый рассказывает опытному и благожелательно настроенному следователю.

Никитич слушал не меняя позы, только чуть-чуть склонив голову к левому плечу.

— Вот, Никитич, дорогой. Может быть, я путаюсь, может быть, я куда-то уклонился, я не могу сам себе дать точного отчета. Ведь как-то странно, понимаешь. Казалось бы, разная совершенно у нас психология и установка. Партиец и спец. Марксист и черт его знает кто... идеалист... мелкобуржуазный осколок, сменовеховец, а я вот спорить с ним не могу. Так, наступаю ему на философский хвост по обязанности, а вот рассуждения его по части культуры нашей, некуда правду деть, в морду бьют без промаху. Неужто мы этого участка и в самом деле за

другими делами не заметили? Тогда новый фронт. И какой фронт! Почище всех остальных, фронт моральной перестройки. Постройка нового человека на новых дрожжах. А пока кругом действительно же мещанский чертополох. Взять хоть этот номер в клубе. А кто виноват? Не они же. Мы, ответственные! Вожди! Зарылись с башкой в бухгалтерию, калькуляцию и канцелярщину, а под носом у нас такие «дома культуры»... Так что ты скажешь?

Никитич поднял голову и опять лукаво сощурил глазки. В этом сощуривании Кудрину показалось что-то общее с взглядом Ленина, и от этого сходства стало тепло. Никитич, помолчав, сказал:

— Хорошо, что пришел. И что за сердце тебя все это взяло, тоже хорошо. А расстраиваться, милый, не след. Совсем не след. Поймал явление, уясни. А уяснивши, вырабатывай тактику, но без горячки и без треволнения. Спец у тебя, видать, с башкой, но на то она и спецовская, чтобы видеть плохое, да не знать, как с ним справиться. Вот он панику и разводит, как сметану в щах. Мещанство? Накипь? Хлам? Похабщина? Разложение? Кто же этого не видит? А видеть — это значит для нас познавать и бороться. Тебя пугает? Вот я тебе притчу расскажу, по писанию. Этот самый манер притч не только для поповских проповедей пригоден. Он и нам мастит. Ты у моря живал?

— Бывало,— сказал Кудрин, с каким-то особенно радостным вниманием слушая Никитича.

— Ну? Вот и ладно. Я подле него, косматого, неуемного, всю молодость протер. Тихое море видал? Хорошо? Вода как стеклышко, дно видать, а поверху шелком стелется. Ни соринки. А налетит штормяга, раскачает зеленую муру, вздыбит, взбаламутит, перетрет ветряными лапами, и всплывет наверх черт-и-что. Сор, щепа, дрянь, дермо всякое по мути плавает. И чем пуще штормяга — тем более сметья поверху. Вот и смекай. Мы не то что штормягу, ураган подняли, с самого дна все вывернули. Утрясется погода — дрянь сама потонет.

— Да ведь не тонет, Никитич, а все шире расплывается.

— Брось, брось трусить. Так и в море. Сверху уже стихнет как будто, а внизу все еще раскачано и всплывает наверх. Только разница, что морю никто не поможет ускорить процесс потопления дряни, а мы это можем сделать. А раз тебя это волнует, милый, тогда и книги в

руки. На одном деле был полезен, на другом, может, вдвое пригодишься. Мы теперь как офени-коробейники должны в себе всякий товар иметь, или вроде пожарных,— где пожар, туда и скачи. Так-то, Федюша, милый,— сказал Никитич,— хватит еще дела на три смены. А теперь, знаешь-ка что, ложись ты у меня переночевать. Нечего на ночь глядя трепаться. Небось устал, да и сам говоришь, дома несладко. Я тебя сейчас на диване устрою, а утром еще покалякаем.

Кудрин поблагодарил. Он ощущал в самом деле мучительную слабость. Напряжение, не отпускавшее его весь день и поддерживавшее в состоянии боевой готовности, разрядилось беседой с хозяином и перешло в реакцию приятного изнеможения. Он послушно, как ребенок за отцом, вышел вслед за Никитичем в его маленькую рабочую комнатушку и, с трудом дождавшись, пока Никитич устроил постель, свалился на диван и, едва успев сказать Никитичу «спокойной ночи», заснул.

9

Кудрин бережно повернул ключ и отворил дверь квартиры, стараясь не делать шума. В семь утра его разбудил Никитич, пришедший продолжить вечернюю беседу. Они проговорили еще с час, и Кудрин отправился домой переодеться после дороги.

Когда он подъехал к дому, была половина девятого, и, подымаясь к себе, он подумал, что Елена, наверное, еще спит. Он рассчитывал тихо сделать все, что нужно, и уехать в трест. Ему хотелось еще оттянуть неизбежное и неприятное объяснение по поводу разговора с Манухиным.

Но едва он открыл дверь в столовую, как увидел Елену, совсем одетую, за столом. Она пила чай, веки у нее были немного припухшие.

Кудрин, несколько озадаченный встречей, которой не ожидал, остановился в дверях и нарочито небрежно, будто он всего полчаса назад видел Елену, сказал:

— Здравствуй. Что так рано?

Елена, не оборачиваясь к нему, продолжала пить чай с блюдечка.

Кудрин видел по наклону ее головы, по запылавшим кровью ушам, что она злится, и, чтобы положить предел

глупому состоянию, стыдясь ненужной попытки лжи во спасение, сухо и сурово сказал:

— Я думаю, что если ты не хочешь разговаривать со мной, то можно сказать об этом прямо, а не молчать, как поповна, обиженная на жениха. Мне нужно с тобой поговорить.

Елена поставила блюдце на стол и подняла голову. Рот ее искривился брезгливой гримасой, и во взгляде Кудрин увидел мутную ненависть.

— Думаешь, я не знала этого? — ответила она странно придушенным и в то же время визгливым голосом, какого Кудрин никогда не слыхал у нее.— Ну что же, давай разговаривать. Это вовремя и кстати. Поспал у актрисы и приехал объявить жене, что она «не удовлетворяет тебя развитием, отстала» и так далее, как полагается.

Кудрин невольно попятился. Проглотив набежавшую слюну, он недоуменно произнес:

— Ты что, рехнулась? У какой актрисы?

Елена вскочила. Отброшенный стул закачался и странно перевернулся вокруг оси на одной ножке, как будто танцуя, и это почему-то ясно и точно запомнилось Кудрину.

— Не ври!.. Не ври, не вывертывайся. Даже на правду мужества не хватает! — закричала Елена.— Вы все одинаковые подлецы. В кармане партбилет, а в душонке собачий блуд... Разговаривать хочешь? О чем? Все ясно.

Кудрин прижал к груди сложенные руки, как делают обиженные несправедливым обвинением дети.

— Елена,— сказал он насколько мог спокойно,— что с тобой? Я ночевал у Никитича. Я скажу тебе по правде: вчера, когда я приехал из Москвы и узнал от Манухина о твоем дурацком доносе, я не хотел ехать домой, чтобы не наговорить со зла лишнего и ненужного. Вечером из клуба зашел к Никитичу поговорить о кой-каких серьезных вопросах, которые меня волнуют, устал, разволновался, и Никитич уложил меня у себя. Какая актриса? И как тебе не стыдно клепать, как базарная баба, на хорошую, умную женщину. Я не узнаю тебя.

Елена повернулась к нему спиной. Он видел, как по этой широкой, пышной, знакомой спине ходят волны нервной дрожи. Не оборачиваясь к нему, она сдавленно ответила:

— Можешь врать что хочешь. Ты думаешь — я ревную. Да плевать мне на тебя и на нее. Вот добро, поду-

маешь, чтобы из-за тебя плакать. Я уже давно тебя раскусила. Да, раскусила, голубчик. Знаю твою породу. Коммунист эпохи военного коммунизма. А как дошло до мирной работы, до настоящей работы, где вот нужно в будничной грязи покопаться, в «скучном» деле покорпеть, проявить способность к организованной работе, тут вам сразу не по себе. «Поэзии нет»,— протянула она с подчеркнутой иронией презрения,— вот и ищете «поэзию». Дома ее не найдешь, жена — партийка, работает, не мажется, не душится, кругом «пошлость», серость, необразованность... Да что говорить. Предупреждала я тебя, пыталась остеречь, ведь как-никак много под одной крышей прожили, а вижу, что напрасно остерегала. Хватит!

Кудрин засмеялся. Все происшедшее показалось ему диким бредом, нелепостью, сумбурной чепухой, на которую стоит махнуть рукой, и она рассыплется, развеется, как мираж. Он шагнул вперед и просто, дружески сказал:

— Ну, Ленушка, ну, брось дурить. Может, я действительно свинья, что не позвонил тебе от Никитича, не предупредил, что не приеду домой, заставил волноваться. Да ведь и ты хороша. Чего натворила? Ну какой черт тебя понес к Манухину в контрольную? Дуровато ведь. И сама в дуры попала, потому что толком же ничего не сказала, одни голые слова о разложении, а где разложение, в чем,— сама не знаешь. Ну, что ты скажешь?

Он сознательно шел на примирение. Он видел, что Елена по-настоящему, глубоко и болезненно обижена, и обида женщины, с которой было пройдено рука об руку много путей, уколола его жалостью. И он положил руку на плечо Елены.

Она шатнулась в сторону и сбросила его руку. Опять повернулась к нему, и он не узнал ее искаженного тупой злобой лица.

— Не тронь! — крикнула она.— Чего лезешь. Напакостить, а потом хвостом вилять? Думаешь, мне одной взбрендилось, что ты разлагаешься, что ты от партии оторвался, зачванился, со спецами хороводишься? Об этом все говорят уже и пальцами в тебя тычут. Я к Манухину не доносить на тебя пошла, пока еще не на что доносить было, а было бы — так и донесла бы, потому что ты мне не только муж, но и партиец. Я хотела, чтоб тебе хоть в контрольной указали на твои уклончики. Меня не слушаешь,— надоела, глупа, неразвита,

так, может, контрольную послушаешь. Я, прежде чем к Манухину пойти, битых пять часов с Семеном советовалась.

— Обо мне? С Семеном? — спросил Кудрин, побледнев. Все стало ясно для него.

Он вспомнил, что после выставки Елена в его машине поехала к Семену. Семена, работавшего раньше в агитпропе дивизии вместе с Еленой, а теперь ведавшего орготделом одного из союзов, Кудрин органически не переносил еще со времени фронта. Крепкий, в сущности, человек, неплохой кабинетный организатор, но никудышный оратор, которого никогда не выпускали говорить с красноармейцами в сомнительных случаях, так как у него отсутствовали необходимые агитатору такт и чутье минуты, он в области общего мышления поражал какой-то исключительной ограниченностью. Для него еще в большей степени, чем для Елены, все проблемы, возникавшие вокруг, были опытным полем для применения заученных рецептов и теоретических аксиом.

Эта прямолинейная ограниченность и отсутствие гибкости мысли, позволяющей в различных случаях применять комбинированные методы тактики, приводили к дурным результатам. Назначенный однажды комиссаром сводного полка, составленного из бывших партизан-махновцев, он своими приемами довел полк до восстания, подавленного с большой кровью, причем сам спасся только благодаря счастливой случайности. После этого его держали при агитпропе только на организационной работе, и Кудрин как-то в разговоре с начальником агитпропа сказал о Семене, что это коммунист, при котором более необходим комиссар, чем при любом военспеце.

— У него партийные руки,— сказал Кудрин,— но к этим рукам всегда нужно прикреплять стороннюю партийную голову, обладающую способностью критически мыслить и направлять руки.

Елена же с того времени была в тесной дружбе с Семеном, и эта дружба продолжалась до сих пор, несмотря на то что Кудрин не раз доказывал Елене всю ограниченность и узость Семена.

Обозленный тем, что Елена советовалась с Семеном о нем, Кудрин грубо бросил ей:

— Кроме этого болвана, другого советника не могла найти?

Елена вспыхнула.

— Не все такие умные, как ты,— ответила она злобно,— мы люди простые, глупые, делаем маленькую черную работу, в вожди не лезем, но и не гнием.

Кудрин с растущим негодованием смотрел на жену. Лицо ее, с подтянутыми губами, показалось ему противно ханжеским и глупым.

— Не знаю — загнию ли я, но вот что вы загнили на мелком уровне азбучных знаний партшколы низшего типа, это верно. Учиться вам еще надо, дорогие товарищи. Учиться. А то вы не партийцы, а безмозглые начетчики.

— Лучше быть начетчиком, чем ждать, когда выгонят из партии за гниение.

Кудрин потерял хладнокровие.

— А, черт! — вскрикнул он.— Хоть кол на голове теши. Ты знаешь, кто ты? Ты не женщина, не человек, не партийка, ты...— Он запнулся, ища слова пооскорбительней для удара, и, вспомнив одну из первых встреч с Еленой и ее безграмотные доклады, закончил с злобным удовольствием: — Ты «кердпидш». Как была тупым кирпичом, так кирпичом и осталась.

Елена вздрогнула и, вскинув голову, глухо ответила:

— Да, училась на медные копейки. Неученая. Но попрекать неграмотностью может не партиец, а старорежимный негодяй.

И бросилась из комнаты, рывком хлопнув дверью.

Кудрин рванулся за ней, остановился, чувствуя, что мутное и требующее немедленного выхода бешенство от неожиданного оскорбления подступает к горлу. Он хрипло дышал и водил глазами по комнате, ища невидимого врага. И глаза нашли его. На книжных полках стояла купленная однажды Еленой ему в подарок гипсовая статуэтка работницы со знаменем в руках. Скульптура была бездарная и насквозь фальшивая. Кудрин ничего не сказал Елене, чтобы не обидеть ее, и работница водворилась на полку.

Теперь Кудрин увидел ее словно впервые. Озверев, он схватил статуэтку и, размахнувшись, с силой пустил ее в дверь, через которую выбежала Елена.

Дерево гулко грохнуло под ударом, гипс брызнул во все стороны, поплыл по комнате медленно оседающей пылью. Мутный прилив злобы упал, подсеченный уничтожением статуэтки.

Кудрин провел рукой по глазам, схватил портфель и поспешно вышел из квартиры.

Уже на улице он опомнился и устыдился своей несдержанности.

«Должно быть, действительно нервы шалят,— подумалось ему,— нужно к врачу».

Со встретившим его в тресте Половцевым Кудрин поздоровался сухо. Ему не хотелось разговаривать с профессором, почему-то казалось, что Половцев знает уже о происшедшем дома. В насмешливом взгляде профессора Кудрин подметил какой-то огонек, показавшийся ему злорадствующим лукавством, хотя он понимал, что Половцеву совершенно неоткуда было узнать о столкновении Кудрина с женой.

И, сунув на ходу руку Половцеву, Кудрин поспешно, как бы стыдясь, проскочил к себе в кабинет.

Среди обычных докладчиков и посетителей в середине дня к директору пришел старик гончар, тянувший лямку на производстве двадцать семь лет и сейчас увлеченный изобретательской горячкой. Он сделал за последнее время несколько мелких приспособлений к машинам, которые если и не совершали никакого переворота в производстве, то, во всяком случае, улучшали отдельные процессы. Теперь, поощренный пятисотрублевой премией, он с головой ушел в разработку проекта электрической глиномешалки, которая должна была, если мысль изобретателя окажется правильной, в корне перевернуть процесс заготовки сырья для гончарных мастерских.

Изобретатель, фамилия его была Королев, пришел к Кудрину с жалобой на завком, который, по его мнению, не проявлял никакого желания добыть средства на первые опыты и постройку модели глиномешалки.

Он вошел в директорский кабинет немножко бочком, подвигаясь мелкими, но порывистыми шажками, как воробей, подбирающийся к зерну, и, подойдя к столу, закивал сухой седенькой головой, покрытой непокорными белыми вихрами.

Глаза у него были крошечные, узенькие, лежали в сети веселых промытых морщинок и поблескивали упрямыми блестками, в которых Кудрин заметил не только живую мысль человека, но и нечто большее, некий фанатизм, почти маньячество. Старик словно находился в состоянии постоянного умственного опьянения. Узенькие щелки глаз видели мир только через призму своей навязчивой идеи, и возможно, что сам директор в эту минуту казался ему не руководителем большого хозяйственного

организма, а какой-то наиболее существенной и ответственной частью механизма глиномешалки, владеющей воображением старика.

Кудрин приветственно улыбнулся старику:

— А, дед Черномор! Садись, садись. Ну, как ноги носят? Поди опять жаловаться пришел? Рассказывай, чего там тебе надобно.

Старик сложился, как перочинный ножик, и присел на краешек стула, пригладив лохматые и редкие усы.

— Да как же,— заговорил он, точно продолжая давно начатый и известный собеседнику разговор,— я ж им говорю: «Сукины вы дети, неужто ж я для себя придумываю? Я ж для завода, для общего котла. Вам же, дуракам, легче станет. Чего кащейничаете? Дадите копеечку — тыщи можно сберечь, а вы как жилы какие».

Он положил локти на стол, подался весь к Кудрину и умильно-убеждающе продолжал:

— Послушь, Артемьич, возьми ты их, чертей, под коготь. Ведь всего расходу на модель целковиков триста, дак ведь она сколько даст, сам понимаешь. Мне ж от нее купонов не стричь. Ну, коли нет денег, ну, пускай в счет премии мне дадут, потом вычесть можно. Ляд с ней, с премией. Пока еще зарабатываю, да и сыны хлеб имеют, не помрем с голоду. А мне ее, Артемьич, в ходу видеть, в ходу только опробовать. Может, мне жизни-то осталось, сколько у воробья на хвосте. Помру и не увижу. Ну, как же это?

Он в волнении и совершенном недоумении привстал и смотрел на Кудрина узенькими щелками, в которых пылало неутоленное ожидание.

Кудрин, в свою очередь, смотрел на изобретателя, сдвинув брови, со странным выражением. Казалось, что он видит сквозь старика что-то другое, чего никак не может вспомнить и осмыслить.

Ускользающая мысль настойчиво пыла у него в голове, словно подталкивая и нашептывая: «Да вспомни, вспомни же, ведь ты это видел уже, такое же лицо». И, сделав последнее усилие, Кудрин вспомнил. От неожиданности он даже откинулся на спинку кресла.

Конечно. Это выражение неутоленного желания, растворенности человека в одной всецело им владеющей мысли, порыве, напряженном и энергическом,— как можно было сразу не узнать его?

В маленьком, высохшем в чадном воздухе цехов, сморщенном личике, с взъерошенными белыми вихрами, в фигуре, налегшей на стол всей грудью, как будто желая уничтожить преграду из дерева и сукна между ним и директором, он узнал то же выражение, которое видел у девушки на гравюре Шамурина. Но там было отчаяние, там самая надежда была безнадежна и не сулила ничего, кроме гибели,— здесь ожидание было пропизано трепетной и неистребимой верой в исполнение. Но сила завладевшей человеком эмоции была так же выразительна и полна такой же мощи. И, словно поддаваясь категорическому императиву лежащей вне его воли, Кудрин через стол крепко пожал сухую, твердую, как деревяшка, лапку старика.

— Хорошо, Черномор. Не беспокойся. Сделаем. Пиши сейчас заявление.

Старик заморгал. Веки заплыли блестящей пленкой слезы.

— Эх, уважил, Артемьич, старика. Спасибо тебе, директор. Ты уж сам напиши, как полагается, а то я очки забыл, волновавшись, а без них, треклятых, не вижу.

Кудрин вырвал лист из блокнота, быстро написал заявление от имени старика и сунул ему.

— Накарябай подпись, Черномор. Как-нибудь, лишь бы прочесть можно было.

Старик, окунув лицо в бумагу, вздыхая, медленно вывел подпись. Кудрин снова взял у него бумагу и написал красным карандашом резолюцию: «Выдать за счет кредитов на рационализацию производства».

— Ну, вали в бухгалтерию,— сказал он, вставая из-за стола и подходя вплотную к старику,— получай на руки и работай.

Старик взял бумажку трясущейся рукой и потянулся к Кудрину. Кудрин, засмеявшись, обнял старика.

— Чего расчувствовался? Вали, вали, скорей получай, а то я раздумаю.

Морщинки у глаз старика сошлись хитрой сеткой.

— Не раздумаешь, директор,— ответил он,— не таковский. Ну, прощай, всякого тебе счастья.

Старик, заплетаясь ревматическими ногами, заковылял к двери. Кудрин с теплой улыбкой проводил его и, вернувшись к столу, позвонил и приказал вошедшему курьеру распорядиться подать машину.

В ожидании он задумался над столкновением, происшедшим утром дома. Сейчас ему казалось, что он был не

совсем прав, взяв по отношению к Елене сразу непримиримый, осуждающий тон. Он подумал о ее характере, резком и угловатом, о том, что с ней надо говорить совершенно спокойно, тоном дружеского убеждения, а не обвинения. И он решил поговорить с ней так, попытаться выяснить спокойно, что, собственно говоря, заставило ее занять по отношению к мужу такую враждебную позицию.

И, подъезжая к дому, обдумывал, как лучше подойти к ней, чтобы не вызвать новой вспышки.

Войдя в квартиру, он спросил у встреченной в прихожей, вытиравшей пол домработницы:

— Елена Афанасьевна дома?

Домработница посмотрела на него шалыми деревенскими глазами, и в этих глазах Кудрин увидел то же явное неодобрение и отчуждение, которое было во взгляде Елены. Это заставило его улыбнуться и подумать: «Баба за бабу горой».

Домработница отерла руки о тряпку и равнодушно ответила:

— Елена Афанасьевна уехали, а вам письмо оставили.

Кудрин не понял.

— Давно уехала? Что же, она вернулась из райкома и, не пообедав, уехала?

Домработница ухмыльнулась непонятливости хозяина.

— Да она сегодня в райком и не ходила. Как вы утре уехали, она вещи склала в чемодан, после села писать и...

Кудрин, не дослушав, распахнул дверь и ворвался в столовую. На столе лежал оставленный нарочито на виду конверт. На нем не было никакого адреса и имени. Кудрин рванул его и вытащил письмо.

Елена широким и неловким почерком писала:

«Федор, я уезжаю. Продолжать дальше жизнь с тобой при отсутствии взаимного уважения и товарищества не нужно. Спасать тебя я не намерена, если ты сам не хочешь одуматься. Попадать вместе с тобой в историю было бы глупо, поскольку я предупреждала тебя от ложных шагов. В чужой беде похмелье мне не улыбается. Если хочешь разлагаться, разлагайся один. Я ушла к Семену. У него мне проще и яснее...»

Подписи не было. Почерк был такой же, как всегда, ничто не выдавало волнения писавшей.

Кудрин ощутил вдруг неприличное и неуместное спокойствие. Существовали раз навсегда установленные рецепты для такой сцены. Можно было схватиться за голо-

ву, сделать трагическое лицо или скомкать письмо и швырнуть его в угол, или упасть головой на стол и поливать письмо слезами, или, наконец, выругаться.

Кудрин с удивлением понял, что ничего этого ему не хочется делать. Ему только очень захотелось есть. Это желание было сильнее всего. Он обернулся к прислуге, искоса жадно наблюдавшей за впечатлениями хозяина. Ее неискушенной деревенской душе казалось, что сейчас должна грянуть гроза, в которой рикошетом и ей может попасть от удара молнии. Но вместо этого она услыхала равнодушное приказание подавать обед. Она не поверила своим ушам, все еще ожидая грозы, и, как бы вызывая ее страшных духов, сказала осторожно:

— Так ведь Елена Афанасьевна уехамши.

Кудрин аккуратно положил письмо Елены на стол и с улыбкой, которая ему самому показалась неимоверно глупой, ответил:

— Что на первое?

— Уха,— упавшим голосом отозвалась домработница, сраженная прозой.

— Ну и давайте уху. А Елена Афанасьевна обедать не будет.

Домработница презрительно повела плечом и оскорбленно удалилась. Во время обеда, подавая ему и убирая посуду, она смотрела на Кудрина с осуждающим сожалением, словно оскорбленная до глубины души тем, что этот здоровый мужик, вместо того чтобы броситься за беглянкой и приволочь ее за косу домой, уплетает с аппетитом обед.

Пообедав, Кудрин ушел в кабинет.

Голова домработницы просунулась в дверь.

— Ничего не нужно, Федор Артемьевич? —спросила домработница, и в голосе ее трепетала последняя надежда на чудо.

Но так же спокойно Кудрин ответил:

— Ничего. Идите гулять.

Домработница вздохнула и ушла рассказать кухарке соседей о невероятном происшествии.

Кудрин сидел и пристально смотрел на узор обоев.

«Ушла... И к кому? К Семену. Впрочем, что же. Пара хоть куда. Благополучные тупицы. Настоящий кирпич. Ну и пусть. Кирпич к кирпичу — дом будет».

Он усмехнулся и, машинально придвинув лист бумаги, взял карандаш.

Впервые за долгие годы карандаш зачертил на бумаге не строки резолюций и тезисов, а неожиданные резкие линии. Сначала это были автоматические движения руки, и линии разбегались по листу неопределенными зигзагами, дугами и углами, но понемногу разорванные очертания стали стекаться к одному центру, яснеть, становиться выпуклыми, приобретать отчетливую и крепкую форму, и вдруг Кудрин, томительно удивившись, увидел, что из-под карандаша выходят черты лица девушки с шамуринской гравюры.

Это заинтересовало его. Он отодвинул рисунок, вгляделся в него, потом опять придвинул ближе и налег на карандаш. Черты девушки проступили еще яснее. Но, как ни старался Кудрин восстановить по памяти выражение ее лица, оно не давалось. Было сходство, но сходство только внешнее, сходство искусной подделки. Внутренняя экспрессия, психологическая подкладка не проступала из-под сухого очерка.

Кудрин с сердцем разорвал лист и схватил другой. Но и на другом после упорной работы получилось то же обманчивое, не проникавшее в глубину сходство. Он закрыл глаза, с мучительным напряжением пытаясь вспомнить ту одну мельчайшую, незначительную, неуловимую черточку, которая должна была сразу наполнить кровью мертвый скелет рисунка. Но вспомнить не удавалось.

Он думал об этой ускользающей черточке, а рука машинально, независимо от мысли, продолжала чертить, и когда с нежданным озлоблением, отбросив надежду на удачу, он взглянул на рисунок, он привстал от изумления.

Карандаш самовольно зачертил лицо девушки резкими штрихами, сузил глаза, рассыпал вокруг них сеть мелких морщинок, вылепил растрепанные вихры, и с бумаги, улыбаясь, с сочувственной хитрецой смотрела на Кудрина уже не неизвестная девушка, а старый Королев, самоотверженный и смешной для других изобретатель. Сходство поразило Кудрина. Если ему никак не давалось внутреннее душевное выражение девушки, то такое же выражение старика, упрямая и фанатическая вера маньяка своей идеи, с резкой силой проступала из-под перекрестья карандашных линий, и Кудрин почти испугался необычайного эффекта. Он отбросил карандаш, вскочил и сжал руками виски.

— Что за черт? С ума я схожу, что ли? — вслух сказал он и тут же ощутил, как вошла в него и разлилась по

телу баюкающая усталось. И, улыбнувшись ей, обещавшей избавление от ненужных и терзающих мыслей, он лег на оттоманку и закурил. И, едва успел сделать две затяжки, папироса выпала из ослабевшей руки и веки сомкнулись сном.

Вернувшаяся домработница любопытно заглянула в щель двери, опять в полном недоумении покачала головой и осторожно прикрыла дверь.

10

Опустевшая с уходом Елены квартира опротивела Кудрину. Приехав на следующий день после разрыва к обеду домой, Кудрин ощутил особенно колюче и томительно пустоту комнат. Как всегда бывает, когда в доме умирает или уходит из него давний и привычный человек, комнаты стали неожиданно большими, неуютными, раздражающе гулкими.

Обедая в маленькой столовой, Кудрин чувствовал, будто его посадили за стол в огромном пустом зале, где холодно, смутно, и если обронишь шепотом слово, оно грянет из всех углов, отраженное и размноженное, тяжелым эхом.

Это ощущение лишило его аппетита, он с трудом проглотил суп и отказался от второго. Ушел в кабинет, лег на тахту, развернул газету, но читать не смог. Ухо напряженно ловило квартирные шорохи. Они казались таинственными и пугающими. И все чудилось, что вот сейчас откроется дверь и войдет незнакомый и ненужный, но несущий неизбежное несчастье человек.

И когда действительно зашевелилась, поворачиваясь, дверная ручка, Кудрин нервно привскочил с дивана, с неприятной щекоткой в корнях волос на затылке, но, увидя входящую домработницу, вспылил и на нее и на себя.

— Что вы шляетесь, не постучав? — злобно спросил он.

Домработница стоически скрестила руки на животе и смотрела на хозяина с жалостной иронией.

— Дак я думала — вы не спите, а мне спросить, что на завтра готовить. Мне откуда же знать без хозяйки,— заговорила она мямлящим ватным голосом, в котором было бабье жестокое презрение к существу враждебного пола, попавшему в трудное положение.

— Что готовить?

Кудрин опешил. Он мог справиться с любым затруднением, но перед кулинарией растерялся, как дикарь перед граммофоном. И, глупо улыбнувшись, ответил:

— Что-нибудь. Ну, я не знаю... Ну, то же, что сегодня, черт побери, и оставьте меня в покое.

Домработница ехидно улыбнулась и пошевелила животом.

— Где ж это видано? Сегодня суп и голубцы и завтра суп и голубцы. Что ж, цельный год одно и то же готовить? Хорошее дело.

Кудрин рассвирепел:

— Ничего не надо готовить! Ни черта,— понимаете? Вот...— Он раскрыл бумажник и бросил домработнице два червонца.— Берите и кормитесь сами. Я дома обедать не буду. Себе делайте, что хотите. Поняли? И оставьте меня. Ну!..

Домработница повернулась и шваркнула дверью. Из столовой донеслось ее удаляющееся ворчание. Кудрин скомкал недочитанную газету, сунул ее в карман, оделся и вышел из дому.

В последующие дни он совсем забросил дом. Он приезжал только ночевать и все время с утра до ночи проводил в тресте и на бесчисленных заседаниях.

Его охватила яростная, нервная жажда работы. Он набросился на трестовские дела с такой энергией и таким темпом, что сотрудники управления делами и заведующие отделами только тяжко вздыхали от гонки и шепотом перебрасывались между собой догадками о причинах его делового исступления.

Каждое замедление, каждая неувязка вызывали у Кудрина неистовую злость, и приступы этой злости испытали на себе все работники треста от помдиректора до швейцара.

Как всегда, каждый день Кудрин встречался у себя в кабинете с Половцевым. Но беседы между ними прекратились.

Кудрин не мог отдать себе ясного отчета, за что он внезапно почти возненавидел Половцева. Неосознанное чувство нашептывало ему, что происшедшая в доме ломка имеет косвенное отношение к разговорам с Половцевым, но в то же время он понимал ясно, что профессор ни на йоту не повинен в ходе событий.

А Половцев, также чувствуя явную враждебность директора, не делал никаких попыток к объяснению

и только крепче замыкался в панцирь сухой, но безупречной деловитости.

И Кудрин, невольно подчиняясь веянию пронзительного холодка этой деловитости, принял по отношению к Половцеву такой же деловой и суховатый тон, воздвигавший между ними незримую, но непроницаемую стену.

И чем больше нажимал и усиливал темп работы Кудрин, тем точнее и суше становился Половцев.

Свою прорвавшуюся энергию Кудрин не ограничил пределами узкослужебной работы. Вспомнив свой визит в клуб, он обрушился на его правление, разогнал и разворошил его и, сконструировав новое, проводил свободные часы в клубе, инструктируя и направляя работу...

Он задумал провести цикл научных и литературных докладов, сам ездил к профессорам и писателям, упрашивал выступать, указывая на важность этого большого начинания.

В то же время он сам захотел прочесть в коллективе доклад на тему, связанную с ролью искусства в советской общественности. После нескольких дней раздумья он остановился на теме «Изобразительное искусство как отражение классовой культуры».

Проработав два вечера над разработкой темы, он заявил отсекру о своем намерении. Отсекр поглядел на него с некоторым недоумением.

— Что-то тема какая-то такая... непартийная,— сказал он меланхолично.

Кудрин удивился.

— То есть как непартийная? Почему? В общественной жизни нет ни одной темы, которая могла бы быть непартийной. А особенно тема, связанная с вопросами культуры.

Отсекр почесал нос и так же меланхолично промолвил:

— Оно так, да боюсь, что ребята скучать будут. Больно что-то отвлеченно.

Но Кудрин стоял на своем. И был неприятно поражен, когда во время доклада, внимательно наблюдая за залом, убедился в правоте отсекра.

Первые десять минут его слушали несколько недоуменно, но внимательно. Затем внимание стало медленно, но неуклонно рассеиваться. Послышался сначала легкий шепот, потом разговор вполголоса, кое-где рты стало сводить зевками, и на второй половине доклада из середины

и задних рядов стали вставать и выходить, сначала пробираясь на цыпочках, а после не сгибаясь и откровенно стуча каблуками.

Но самым показательным симптомом было почти полное отсутствие записок, ясно определившее незаинтересованность и равнодушие аудитории.

За весь доклад Кудрин получил три записки от полутораста в среднем слушателей. Две, пустячные и несерьезные, доказывали, что зал не был глубоко затронут докладом. В одной спрашивалось: «Кто нарисовал картину, где Иван Грозный убивает сына, и почему эту картину изрезали?» В другой: «Почему в картинных музеях много картин, где изображаются боги, и почему этих картин не снимут, а оставляют их в то время, как они есть религиозная пропаганда?»

Третья была серьезной. Ее подал угрюмый худенький комсомолец с заячьей губой, сидевший с края второго ряда стульев. Он спрашивал: «По мнению докладчика, мы не должны огулом отбросить все искусство буржуазии, но должны принять из него все ценное, переварить и на основе накопленных буржуазией культурных сокровищ создать свою культуру и искусство. Так вот пусть докладчик ответит — есть ли какие-нибудь отличительные признаки, по которым можно точно определить, что из этого наследства буржуазного искусства приемлемо для нас и что неприемлемо. Есть ли какой-нибудь полный и ясный критерий для такого разграничения?»

Кудрин с возрастающей неловкостью перечел записку. Она ставила его в тупик. Он тщетно пытался вспомнить какую-нибудь формулу, которая исчерпывающе разъясняла бы вопрос, и не мог. И в этот момент вся затея с докладом показалась ему преждевременной, наивной, донкихотской, и он с растравляющей горечью понял, что, собираясь поучать других проблемам развития пролетарского искусства, сам он настолько оторвался от этих проблем, стал чужд им, что ему необходимо много и долго учиться, вместо того чтобы выступать с легкомысленной болтовней.

И на записку комсомольца он ответил запутанно и неясно, что точного критерия нет, что его, пожалуй, невозможно установить, ибо трудно найти безошибочные классифицирующие признаки, а потому главную роль в оценке пригодности буржуазного наследства должно играть здоровое классовое пролетарское чутье и интуиция, и для

всякого марксистски мыслящего человека понятно, что враждебно пролетарской революции и что может быть использовано ею.

По косой усмешке, вздернувшей заячью губу комсомольца, Кудрин понял, что ответ не удовлетворил. От недоверчивой, хмурой усмешки юноши ему стало стыдно и нехорошо.

Прений по докладу не было, желающих высказаться не нашлось, и Кудрин, обрадовавшись этому, быстро уехал.

Когда он вошел в квартиру, диковато хмурый, досадующий на себя и свое незнание, домработница, вешая его пальто, пробормотала:

— Нет вас и нет, а тут телефон бесперечь трескотит, все ноги оттопала, бегаючи к нему. Все вас спрашивают.

— Кто?

— А откуда ж мне знать? Какой-то голос такой малахольный, чуть слыхать.

Кудрин расхохотался и прошел в кабинет. Не успел положить портфель, как телефон снова задребезжал тонко и просительно. Кудрин снял трубку с рычажка.

В ответ на его «алло» в трубке заверещало, запищало, захрюкало неразборчиво и жалобно. Булькали отдельные слабые звуки, и сложить из них слова было невозможно.

— Не слышу. Кто говорит? Говорите громче! — крикнул Кудрин, вслушиваясь.

Звуки стали ясней, и Кудрин начал разбирать:

— Тов... хр... рищ Кудрин... кек... хрр... я до тебя... кек... насилу... хр... дозвонил... кек... Ето я... хр... Королев... с заводу...

Кудрин не узнал искалеченного голоса и лишь по фамилии вспомнил старого чудака-изобретателя.

— А, Черномор,— отозвался он,— здравствуй. Что, вспомнил?

— Здравствуй, директор,— ответила трубка ровнее,— я тебе с обеда названиваю. Завтра на заводе мешалку мою пробуют, так приезжай обязательно. Ты ей вроде крестного приходишься, на зубок дал младенчику. Так без тебя пускать не хочу, надо, чтоб ты поглядел.

— Ага,— отозвался Кудрин,— уже сварганил, старина? Приеду, приеду, обязательно. В котором часу?

— После... хрр... обе... кек... да. Часу в шестом, седьмом... хр... когда... кек... хррр... повольгот... хрр... ней...— снова стала давиться трубка,— обязатель... хр... но.

— Ладно! Приеду,— сказал Кудрин, усмехаясь и представляя себе взволнованные морщинки на высохшем личике Королева.

Положив трубку, он, продолжая улыбаться, открыл ящик стола и, порывшись в бумагах, вытащил лист, на котором в вечер ухода Елены нечаянно для себя набросал голову старика. Свет настольной лампы пролился на перекрестье свободных и крепких карандашных штрихов. Кудрин откинулся назад и машинально, восстановляя полузабытую привычку художника, поднес к глазу сжатый кулак. В крошечную щель, образованную согнутым указательным пальцем и ладонью, он взглянул на рисунок и сам удивился его крепкой лепке и силе.

Он спрятал рисунок в стол, прошелся по комнате, наполненный радостным волнением, засвистал и, круто остановившись, сказал громко и весело:

— Федор! Есть еще порох в пороховнице.

И, засмеявшись, снова заходил из угла в угол. Потом подошел к столу, взял листок почтовой бумаги, сел в кресло, протянул руку к лежавшему на столе вечному перу и после короткого раздумья застрочил.

Исписав обе стороны листка, он отложил перо и неторопливо, словно еще раз обдумывая каждое написанное уже слово, перечитал письмо:

«Дорогой мэтр. Ваше неожиданное послание было для меня странной и нечаянной радостью. Словно на мгновение распахнулась маленькая дверь в полузабытый, но милый мир. Так бывает, когда вспоминаешь самые счастливые часы детства. Но я хочу огорчить вас. Вы писали мне в полной уверенности, что я отражаю в своих полотнах жизнь нашей, как вы говорите, преображенной страны. Страна действительно преобразилась. Вы почувствовали это с симпатией, рожденной в сердце старого вольнодумца, и почувствовали правильно. Страна стала другой, она выросла, она стала на свои ноги, она живет. Но вместе с страной преобразился и я. С момента отъезда на родину я не брал в руки кисти и карандаша, но часто брал винтовку, а теперь счеты и гроссбухи. Вы изумитесь. Вы скажете: как можно было уйти от искусства? Но, дорогой мэтр, есть эпохи, когда ружейные приемы и бухгалтерские вычисления являются самым высоким и благородным искусством, потому что они служат освобожденному труду. И я, выполняя свой долг, служил революции тем искусством, которого она требовала и требует. Но ваше

письмо пришло ко мне в странную минуту, в минуту, когда незначительный случай пробудил во мне прошлое, и я почувствовал томление и тоску по покинутым кистям. И сейчас может настать момент, когда революция потребует от меня искусства кисти. Но я не уверен в себе, я сегодня обнаружил, что я не задумывался ни разу серьезно над вопросом, как должно служить революции кистью. И я боюсь, что годы ушли, что долгий отрыв от живописи не прошел даром, что я буду неспособен выполнить то, к чему меня начинает властно тянуть вновь. Я был бы очень благодарен вам, дорогой мэтр, за дружеский совет учителя».

Кудрин подписался и быстро, боясь раздумать, запечатал письмо в конверт и надписал адрес. Встал и прошелся по комнате. Запечатанное письмо распласталось на красном сукне стола волнующим и тревожным пятном. Кудрин снова подошел к столу, взял письмо и, слегка смяв конверт пальцами, сделал зыбкий и нерешительный жест, словно пытаясь разорвать.

Но опустил руку и, открыв дверь в столовую, позвал домработницу.

— Феня! Возьмите письмо и сейчас же опустите в ящик. Не забудьте. Очень спешно.

Домработница вышла. Кудрин постоял минуту. Хлопнула дверь. Он рванулся в переднюю, остановился, сел на диван и, слабея, почувствовал на лбу крупный пот. Машинально вынул платок и старательно вытер мокрую похолодевшую кожу.

11

На испытание глиномешалки Кудрин приехал необычным путем. Выйдя в шестом часу из здания треста, он увидел над Фонтанкой, над городом, дочиста вымытое, звенящее майское небо с пушистыми кругляшками облачков. Вечер был нежно-прозрачный, тихий, задумчивый.

От воздуха, нежно пахнущего молодой листвой, Кудрину захотелось подышать весной.

Вместо того чтобы прямо ехать в машине на завод, он приказал шоферу отвезти себя на Октябрьский вокзал, взял билет на дачный поезд до Фарфоровского поста, слез на посту и узенькой, протоптанной в ядовито зеленеющей росистой траве тропинкой, не торопясь, пошел к заводу.

Земля, еще хранящая в глубине влажность и свежесть снежных вод, курилась прозрачной дымкой, и в этой дымке дышалось глубоко и легко.

За вырастающими корпусами завода лиловели обрызганные солнцем низкие успокоенные линии горизонта. Справа, вдалеке, как остатки обгоревшего строевого сосняка, вздымались в небо трубы Колпина, застилая даль розовато-серой пеленой тяжело оседающего вниз отсырелого дыма.

Войдя в заводские ворота, Кудрин направился в контору. Контора уже опустела, только в бухгалтерии несколько человек сидели на сверхурочной. Помощник бухгалтера, завидя Кудрина, предупредительно сказал:

— Вас уже дожидаются, товарищ Кудрин, в сарае, у гончарного. Сейчас позову сторожа, он вас проведет.

Но Кудрин отказался от услуг сторожа и, расспросив подробно, как найти сарай, побрел между молчаливыми и тихими после отработанного дня зданиями.

Когда он подходил к низкому бетонному сараю с толевой крышей, он услышал шмелиное пение электромотора, и этот напряженный звук указал ему дорогу. Двери сарая были широко распахнуты, в них плавала солнечная искрящаяся пыль, сквозь которую смутно виднелись копошащиеся внутри человеческие фигуры.

Кудрин вошел внутрь. Вглядываясь, он увидел у большого круглого котла, установленного на временной подставке из шпал, технического директора завода, завкомовцев и членов комиссии — инженеров из разных цехов.

Его заметили и встретили дружным приветствием. Здороваясь, он заметил у котла взъерошенную, полную тревоги фигуру Королева. Старик спешно вытирал руки промасленной тряпкой и, отбросив ее, кинулся к директору:

— Пришел, Артемыч? Пришел? Ну, спасибо. Я заждался. Уж прости: думал, что побрезгуешь. Здравствуй, здравствуй. Ну, теперь сейчас вот... немножечко еще.

Он пожимал руку Кудрина, суетясь, пританцовывая, глотая концы слов. Не только глаза его, но вся кожа лица, весь узор морщинок трепетали, дрожали, то освещаясь, то погасая в стремительном и непрерывном движении.

Едва успев договорить, он выпустил руку Кудрина и метнулся к котлу. Солнечный луч, косо бивший из окна, на мгновение зажег его седые вихры серебристым сиянием. Он вскочил на шпальную установку, перегнулся и

до половины туловища исчез во внутренности котла, заскрежетал чем-то по его стенкам, снова вылез, провел черной от масла ладонью по лбу, вздохнул и осекшимся, подрезанным голосом сказал, обращаясь к комиссии:

— Начинать, что ли?

Стоявший ближе всех к нему инженер, с бородкой Генриха IV, ответил, усмехнувшись с сочувственной жалостью:

— Начинайте, Королев. Да не расстраивайтесь.

Королев отчаянно взмахнул рукой и сказал двум парням, стоявшим поблизости:

— Заваливай, ребята.

Парни отошли в глубь сарая и через минуту подвезли две тачки. Остановив их у котла, они ловко и споро стали перебрасывать содержимое тачек широкими и плоскими лопатами в котел. От каолиновых кусков с сухим шорохом поднялась остро пахнущая беловатая пыль.

Когда тачки были опустошены, один из парней открыл кран спущенной в котел трубы, и из нее со свистом ударила струя воды. Королев, вплотную прилипший телом к стенке котла, не отрываясь, следил за струей и вдруг завопил на парня:

— Запирай!.. Да запирай же, кобель! Кисель, что ли, разводишь?

Парень закрыл кран и, осклабившись, подмигнул в сторону комиссии с ленивой хитрецой:

— А ты похлебай киселя, дед, а то у тебя печенка кипит.

Но Королев, не слушая его, от котла кинулся к мотору. Включил шкив. Звенящее холостое пение мотора сразу упало и перешло в деловой, замедленный и низкий гуд. И одновременно с этим гудом тяжело захлюпала вода, брызнув через край, и над котлом медленно завертелся чугунный диск, на котором, на кулачковых рычагах, заходили тяжелые песты, облипшие беловато-серой пленкой каолина.

Королев выпрямился и застыл, освещенный тем же солнечным лучом. Губы его дрожали, глаза впились в котел, и Кудрин с радостью и волнением увидел то же выражение, которое было у старика, когда он приходил в трест просить денег на постройку мешалки.

В нем была непреоборимая, бьющая через край вера в дело своих рук, полная радости сбывшегося чаяния. И Кудрин, как тогда в кабинете, вглядывался в преобра-

женные, необыкновенные черты тихого, незаметного старика, которого на заводе все считали немного тронутым манией изобретательства и который творил свою часть общего дела не ради наград и благ, но ради самого дела, у которого он провел горькую, малорадостную жизнь.

Вдруг Королев, рванувшись вперед, перевел мотор опять на холостой ход и, обернувшись к комиссии, пригласил ее жестом к котлу. Небольшой лопаткой он вынул из котла густую, поблескивающую влагой массу, похожую на оконную замазку, и подал лопатку подошедшему первым инженеру с бородкой Генриха IV.

Немедленно подошел и другой инженер, тяжелый, с синим от бритья лицом, за ним один из завкомовцев. Оба инженера зачерпнули пальцами по щепоти липкой густой массы и стали разминать ее: тот, который с бородкой, лениво и вяло, тяжелый — внимательно и напористо. И, кинув беглый взгляд на Королева, все еще полного порывом бурлящего ожидания, вытянувшегося по направлению к инженеру с синими щеками, Кудрин понял, что этот инженер педант и придира и Королев от него ожидает какого-нибудь подвоха.

Наконец инженер обтер пальцы о лопатку, затем не спеша вынул платок, вытер насухо пальцы и, взглянув на коллегу, сказал скрипуче, как будто недовольный неожиданным результатом:

— Консистенция массы выше среднего качества. Комков незначительный процент. Полагаю, что при дальнейшей разработке формы пестов и ускорении качаний будет давать безупречный продукт. Как ваше мнение, Владимир Львович?

Инженер с бородкой кивнул головой и застенчиво улыбнулся.

— Я совершенно разделяю ваше мнение, Шалва Саулович,— ответил он с готовностью.

— Значит, идемте акт писать,— вскрикнул весело завкомовец.

Тяжелый инженер повернулся к изобретателю и протянул ему руку.

— Поздравляю,— заговорил он с чуть уловимым гортанным акцентом,— конечно, я не могу считать вашу мешалку совсем идеальной. В ней ряд недостатков — тяжесть и громоздкость установки, несовершенная конструкция размешивательных пестов и прочее. Но в условиях нашего кустарничества и это — колумбово яйцо.

Королев слушал, полуоткрыв рот и чуть повернувшись к инженеру левой стороной, вероятно лучше слыша левым ухом. Выражение ожидания сменилось теперь суровой торжественностью, и Кудрин внимательно запомнил его преображенные творческим удовлетворением черты.

Когда все, поздравив старика, пошли к выходу из сарая, Кудрин подошел к Королеву.

— Ну, Черномор. С тебя угощение. Крестник мой не подкачал.

Королев растерянно схватил руку директора и затряс ее.

— Спасибо тебе, директор. Другом себя оказал, спасибо,— пролепетал он.

Кудрин положил руку ему на плечо.

— Ты меня не благодари. Я не знаю — кому кого благодарить придется. Пожалуй, мне тебя.

— За что? — спросил, округляя глаза, Королев.

— Если придется — тогда скажу, а пока до свиданья. Желаю успеха.

Кудрин попрощался со стариком и прошел в контору. Он подождал там, пока был написан акт, первым подписался и, узнав от курьера, что вызванная машина уже пришла, уехал в город.

Подъезжая к Марсову полю, он увидел Летний сад в обманчивом свете начинающейся белой ночи. Ему захотелось пройтись по аллее, и, сказав шоферу, чтобы он подождал его у выхода на набережную Невы, Кудрин вошел в сад мимо глянцево блестевшей холодноватым отражением зелени и неба порфирной вазы.

Гуляющих в саду было много; главная аллея была заполнена текучей толпой, и над ней стоял щебечущий стрекот говора и смеха. Кудрину не хотелось вмешиваться в толчею, и он свернул на боковую аллею, идущую вдоль Лебяжьей канавки. На этой аллее было пусто. Только у одной из старых лип кучка восхищенных мальчишек смотрела, как губастый и курчавый человек в сером коверкоте заставлял доберман-пинчера бросаться в воду канавки за палкой.

Кудрин медленно дошел до поворота к выходу на Неву и, мельком взглянув на крайнюю скамейку, остановился, взволнованный и уколотый. В женщине, сидевшей на скамье и рассматривавшей вынутые из портфеля бумаги, он узнал Елену. Спустя секунду она, также заметив стоящего у скамьи человека, подняла голову.

Глаза ее чуть-чуть потемнели, но лицо осталось спокойным, и она приветливо, но равнодушно кивнула головой Кудрину. Он услышал ее ровный, ничуть не дрогнувший голос:

— А, Федор! Вот неожиданно! Ты откуда?

В этом вялом, без тени волнения говоре Кудрин не услышал ничего, кроме обычной формулы приветствия. Как будто Елена виделась с ним всего полчаса назад, и ничего не произошло, и самая эта встреча для нее так же незначительна, как десятки ежедневных встреч с чужими людьми.

Кудрин смотрел на нее, не отвечая, стараясь понять, что это: удивительная выдержка или действительно полная невосприимчивость к старой романтике человеческих отношений. Елена слегка усмехнулась:

— Ты что, дуешься на меня? Право, Федор, не стоит. Я ничуть не обижена на тебя, и тебе не стоит обижаться.— И, точно пресекая всякую возможность какого-нибудь иного разговора, кроме пустой болтовни случайно встретившихся знакомых, спросила: — Гуляешь или по делу? Может быть, на свиданье?

Волнение, вспыхнувшее в Кудрине в первый миг встречи, мгновенно поникло, замороженное этим бездушным голосом. Он торопливо пожал руку Елены и ответил так же равнодушно:

— Гуляю, но о свидании не думаю.

— Садись, посиди,— указала она на скамью.

— Нет, спасибо,— ответил он,— меня ждет машина у выхода. Шофер устал, не стоит задерживать его.

Она усмехнулась и спросила:

— Ну, как живешь?

И опять в вопросе чуялась полная незаинтересованность, и было видно, что он задан из вежливости. И, собрав все хладнокровие, Кудрин также усмехнулся.

— Да ничего — хорошо.

Оба замолчали, потом Кудрин закончил:

— Ну, до свиданья,— и добавил с чуть заметной иронией: — Кланяйся Семену.

Но Елена не поняла или не захотела понять иронии и серьезно отозвалась:

— Ладно. Спасибо. До свиданья.

Кудрин медленно отошел от скамьи. Чувства, взволновавшие его, когда он заметил и узнал Елену, исчезли и сменились холодным озлоблением.

«Дурак,— подумал он,— нашел перед кем раскукситься».

И, яростно сплюнув на плиты тротуара набережной, сказал вслух, подходя к ожидавшему автомобилю:

— Кирпич проклятый!

— Какой кирпич, товарищ Кудрин? — спросил удивленный шофер.

— Такой... четырехугольный,— хохотнув, ответил директор, усаживаясь.

На площадке лестницы Кудрин обнаружил, что забыл ключ от парадного, и позвонил. Открывшая домработница сказала испуганно:

— Федор Артемьевич, вас в кабинете какой-то старичок дожидается. Пришел с та-а-аким свертком,— она показала руками величину.— Все требовал вас самолично. Я говорю: «Нет, дескать, дома». А он: «Подожду». И прямо в квартиру лезет. Я его в кабинет провела, сижу и трясусь. Кто его знает?.. Да еще и выпимши...

Кудрин с недоумением шагнул в кабинет.

От опущенных штор было почти темно. С кресла за столом поднялась небольшая смутная фигура. Кудрин привычным движением нащупал выключатель, вспыхнул свет, и в стоявшем перед ним в рваном пальто седом человеке с воспаленными и часто мигающими веками Кудрин, отступив от неожиданности, узнал Шамурина.

12

Шамурин молча, низко нагнув голову, поклонился.

Кудрин, не ответив на поклон, смотрел на него недоумело, не понимая.

По щеке художника скользнула легкая судорога, он улыбнулся как-то испуганно-жалко и еще раз поклонился, прижав руки к груди.

— Я понимаю вас,— сказал он тихо,— после нашей предыдущей встречи вам должно быть непонятно, зачем, с какими целями я могу осмеливаться явиться к вам?

Голос у него был глуховато-печальный, речь та же, старинно-книжная, с особенными оборотами, подчеркивающими изыскапную вежливость.

— Нет... что же,— ответил оправившийся от неожиданности Кудрин.— Правда, я удивлен, но кто старое помянет — тому глаз вон.

— Благодарю вас,— снова поклонился Шамурин.— Примите же мое сердечное сожаление по поводу финала нашей тогдашней встречи. Я очень прошу вас извинить меня, но...— Голос его дрогнул томительным волнением и скорбью.— Но почему вы не сказали тогда, что вы — художник?

— А разве это нужно было? — оторопел Кудрин.

Шамурин быстро вскинул на собеседника глаза и помолчал. Он слегка вздрагивал, как от холода, и покачивался. Кудрин заметил это и подвинул ему стул.

— Вы как будто нездоровы. Присядьте.

Шамурин опустился на стул и провел рукой по лбу.

— Спасибо. Я, собственно, здоров. Но я... впрочем, вы сами должны понять. Я пью... много пью,— с безнадежностью выкрикнул он.— Я не могу не пить. Не могу.

— Успокойтесь,— сказал Кудрин, подходя к нему.— Откуда вы узнали, что я художник? Я сам почти забыл об этом.

— Вы изволили тогда назвать вашу фамилию, но она проскользнула мимо моего сознания. Потом, когда вы ушли, мне стало неловко за мой невежливый и странный прием. Я, вероятно, показался вам сумасшедшим... Нет, нет, не уверяйте меня в обратном. Я сам это знаю. Я навел кое-какие справки о вас. Вы были в Париже... вы — ученик Гренье... Венский королевский музей приобрел в салоне «Независимых» ваше полотно «Грузчики Антверпенского порта»? Ведь так?

Кудрин молча наклонил голову.

— Ну, видите. Я знаю это полотно. Я считаю его настоящей живописью. И оттого, что я узнал, что вы и тот Кудрин одно лицо,— мне стало еще стыднее. Вы назвались председателем треста. Это была ваша ошибка. Я знать не желаю никаких трестов. Я не признаю ничего, что существует сейчас. Я выгнал вас, как человека из несуществующего для меня мира. Какое дело людям, не признающим радости свободного искусства, до меня и моих трудов. И мне нет дела до них. Понимаете? Никакого дела! — Художник сорвался на визгливый шепот.— Я не приемлю, я не замечаю вашего государства. Но вы — художник. И ваш интерес был настоящим, я хочу в это верить.

— Даю вам слово,— перебил Кудрин.

— Можете не давать,— взмахнул руками Шамурин,— я верю. Верю, иначе не пришел бы к вам сегодня. Мне осталось очень немного жизни. У меня аневризм аорты

в степени, угрожающей ежеминутной смертью. Я скоро уйду в другую жизнь, в которую я верю, и здесь, на земле, останется только легкий след моего мимолетного захода на нее в начертанном для моего существа пути вечного скитания по вселенной.

Набрякшие от пьянства красные веки Шамурина затрепетали, он весь осунулся.

«Душевнобольной. Явный душевнобольной на мистической подкладке»,— подумал Кудрин, и, как бы угадав его мысль, Шамурин усмехнулся.

— Для вас все это бредни старого дурака, галлюцинации психастеника, мистическая ерунда. Не будем спорить об этом. Я скажу опять: на земле останется жалкий след моего существования, обрывки холста и бумаги, не высказанные до конца замыслы, бессильные попытки воплотить виденное духовными очами. По-настоящему мне должна быть безразлична судьба этого смешного наследства, но в нем есть одна вещь, связанная с самым пронзительным воспоминанием этой жизни. Та гравюра, которую вы видели на выставке и которую вы неосторожно хотели купить, ибо ваш нищенский разум склонен думать, что все в мире может быть предметом купли-продажи...

— Простите, я никак не хотел вас оскорбить,— серьезно сказал Кудрин.

— Да... Конечно. Вы просто не могли поступить иначе, вы не могли понять, и я напрасно рассердился тогда... Так вот, о чем я? Ах да. О гравюре. Я не хочу, чтобы после моего исчезновения к ней прикасались недостойные и нечистые руки. Я принес ее вам. Окажите мне честь принять ее в дар от сумасшедшего старика.

Он с неожиданной живостью встал со стула, схватил стоявший у стола сверток и нервно сорвал с него оберточную бумагу. На столе перед Кудриным, наклеенная на картоне, легла, подчиняя своему необычайному очарованию, знакомая по выставке гравюра.

— Только не отказывайтесь... Только не отказывайтесь, прошу вас, господин Кудрин,— умоляюще забормотал Шамурин, увидя в лице Кудрина нерешительность, удивление, колебание.— Эта вещь — единственное, что я не хотел бы предать забвению или уничтожению. Вы меня чрезвычайно обяжете, если сохраните ее. Ведь это моя выгода, а не ваша.

— Но, гражданин Шамурин, я не могу принять такой ценный подарок. Вы и я — мы оба знаем цену этой вещи.

Я не могу купить ее у вас по той цене, которой она заслуживает. Но ведь вам нужно же жить на что-нибудь. С какой стати я буду обирать вашу старость?

Шамурин отступил назад и посмотрел на Кудрина мрачно и сожалеюще.

— Ах, какие вы чудаки. Какие чудаки вы, большевики,— прошептал он, не сводя глаз с Кудрина.— Вы хотите все измерить на грязные бумажки, липнущие к рукам. Деньги?.. Цена?.. Ха-ха. Вы говорите: вы знаете цену этой вещи? Да? Ее цены не знает никто. Никто не может знать. Ее нельзя купить за все сокровища Голконды, и в то же время она ничего не стоит. Я вижу — вы в недоумении. Но прежде скажите мне, будьте любезны сказать, что именно так привлекло вас в этой гравюре? Почему вы, предавший свое искусство, отказавшийся от него ради суеты мира, захотели ее? Почему?

Кудрин развел руками.

— Хотя наш разговор принимает очень странный характер и мы говорим на разных языках, я все же попытаюсь рассказать вам о своем восприятии. Я никогда не слыхал вашей фамилии, гражданин Шамурин. Вы, например, больше знаете меня как художника, чем я вас. Вы немолоды, и все же до сих пор вы не создали себе известного имени. Простите за прямоту, но вследствие этого я имею право считать вас безвестным неудачником.

Шамурин наклонил голову, но без насмешки или иронии, как будто соглашаясь со словами Кудрина.

— Вы сами этого не понимаете. И вот на выставке я нахожу работу безвестного художника, на которой лежит явная тень художественного гения. Мы в корне враждебны по нашей основной установке, между нашими мироощущениями пропасть, но гений остается гением, как бы он ни мыслил. И, в частности, в этой гравюре меня поразила неистовая,— да, да, именно так можно определить,— неистовая сила передачи душевного движения. Не одного человека, не одной девушки, изображенной здесь. Нет, всего вашего мира, вашего класса, обреченного, умирающего, не имеющего надежды впереди и с безысходным отчаянием понимания ждущего последнего мгновения, конечной гибели. В этот лист бумаги вложена судьба целой эпохи, вдохновенное пророчество смерти. И меня заинтересовало: почему вы можете передать с такой гениальной экспрессией сумерки, умирание, распад,— и почему наше молодое искусство пока бессильно с такой же глубокой

проникновенностью отразить здоровье, целостность и крепкую будущность нашего класса?

Шамурин еще раз кивнул и странно засмеялся.

— Да. Теперь мне понятно. Вам хочется знать сокровенный смысл искусства, вам, одному из тех, которые полагают, что все в мире можно познать навыком, как любое ремесло, вроде обивки диванов или вставки оконных стекол. Извольте. Кто-то из великих людей изволил выразиться, что удивление — это начало ума. Вы удивляетесь,— значит, небезнадежны. Тогда я скажу вам. Первому и последнему человеку я расскажу, как создавалась эта гравюра, как она впитывала живую кровь, каплю по капле, и как кровь, пропитавшая бумагу, дала ей жизнь.

Он задохнулся, внезапно побледнел и почти грубо крикнул Кудрину:

— У вас есть водка? Я не могу этого рассказывать без водки.

— Должна быть. Я не пью, но держу в запасе для приятелей. Вероятно, найдется.

Кудрин вышел в столовую, открыл буфет, разыскал в углу чуть початую бутылку, стопку, прошел в кухню, положил на тарелку два соленых огурца и хлеб и вернулся в кабинет. Шамурин сидел размякший, с закрытыми глазами, веки его нервически дрожали. Когда Кудрин поставил перед ним водку, он залпом выпил стопку, не закусывая.

Кудрин молча ждал. Шамурин провел рукой по усам.

— В тот день, когда вы были у меня, вы не изволили заметить на стенке большой женский портрет маслом?

— Да, видел,— ответил Кудрин,— но не разглядел. Стена темная. Видел только, что женщина молода и, кажется, красива.

— Совершенно правильно. Мало сказать, что она была красива. Она была обаятельна. А я, я тоже был другой,чем теперь. У меня не было ни красных век пьяницы, ни этой серой свиной щетины, ни дрожания рук. Вы понимаете, что значит молодость! Я кончал академию, и я получил заказ написать портрет. Петербургская чиновная семья. Отец в лентах и звездах, заседающий в сенате; мать — расслабленная балами дама, и дочь,— ее портрет вы видели. Словом, это кончилось, как должно было кончиться. Вместо академического диплома я получил административную высылку в Туркестан. Она разорвала с семьей, ей удалось

узнать, где я, и она кинулась ко мне. Приехала в Коканд больная лихорадкой, и через две недели ее организм не выдержал родов, и я остался с дочуркой. Я назвал ее, как и мать, Татьяной. Вся жизнь сосредоточилась для меня в этом ребенке. Через пять лет умер ее дед, мне удалось возвратиться в Петербург. Но уже и академический диплом, и заграничная поездка были для меня безвозвратно потеряны. Пришлось удовлетвориться педагогической работой, преподавать рисование в реальном училище и воспитывать Таню.

Шамурин налил стопку и опять залпом без закуски выпил ее. Он весь дергался.

— Успокойтесь,— сказал Кудрин,— подождите немного.

Шамурин резко повернулся к нему:

— Молчите, милостивый государь. Молчите! Не смейте мешать мне, когда я начал рассказывать то, что я таил ото всех, что я сам боялся вспоминать. Не перебивайте меня... Да... Таня росла... В каждой ее черте я видел повторение черт матери, еще более утонченных и прекрасных. Я обожал эту девочку. Я во всем отказывал себе для того, чтобы она не знала никакого недостатка. Я брал глупые, пошлые ремесленные заказы, чтобы скопить денег на поездку за границу, чтобы показать моему ребенку мир. Перед самой войной, когда ей было четырнадцать лет, мы поехали весной в Германию, Францию, Италию. Я водил ее по всем музеям, сокровищницам культуры, я без меры поил ее вином человеческого гения. Вот тогда в Вене я видел ваших «Грузчиков», только что приобретенных музеем. Из Италии мы поехали морским путем в Норвегию, на фиорды, чтобы провести там конец лета, но в эту минуту грянула война. Теперь я мучительно сожалею, что объявление войны не застало нас в Германии. Мы бы не вернулись в Россию, и, возможно, не произошло бы ничего. Но из Норвегии мы выбрались. Дальше все обыкновенно. Война, революция. Мы голодали, мы бедствовали, но никуда не уехали из Петербурга. С успокоением страны нужно было заняться чем-нибудь. Прожить ремеслом художника было трудно. Для этого требовались молодые руки, быстро приспособляющиеся к новым утилитарным требованиям. А я — станковист. Академик Роговцев в эти годы служил дворником. Я избрал другой путь. Я хорошо знал фарфор, стекло, живопись. Стал комиссионерствовать, продавать и покупать старину. О, сколько былых состояний и коллек-

ций переходили через мои руки. Заработок был сносный, мы ожили. И тогда я стал подумывать о том, о чем должен думать всякий художник,— о том, чтобы создать один раз в жизни вещь, которая даст право на память. Я люблю Достоевского, я чувствую его. Больше всего я чувствую «Белые ночи», потому что я сам родился и вырос в этом городе, потому что в белые ночи я и Татьяна, старшая Татьяна, полюбили...

Третья стопка водки, булькнув, ушла в горло Шамурина. Его глаза закровавились и начали стекленеть. Голос рвался.

— Ну вот. Я задумал эту гравюру. Вы понимаете, как трудно найти натуру для Настеньки. Это лицо нельзя выдумать, его надо выловить в гуще жизни, но где в жизни, особенно теперешней, найдешь такое лицо! Ведь это должно быть лицо не человека только, не одного индивидуума, это должно быть лицо страдающего в любви, обреченного и оскорбленного человечества!

— Не человечества, а класса,— сказал внезапно Кудрин.

Шамурин опять вздернулся:

— Не перебивать, говорю вам! Мальчишка!..— и, тяжело задышав, продолжал: — Трудно было даже мечтать найти такое лицо. Десятки эскизов и рисунков летели в клочья. В эти дни я познал муку ненасытности, я изнемогал от нее в призрачном мире своих видений. И однажды, придя домой, я увидел, что Таня, моя дочь, мой ребенок, которую я считал, несмотря на ее двадцать четыре года, малюткой, стоит у окна и смотрит на жалкий пейзаж канала с каким-то особенным выражением тоски и муки. Я не спросил ее ни о чем, я не знал, о чем она тоскует. Я как будто был ослеплен ударом молнии. Ведь это было то, чего я так напряженно, так страстно и так напрасно искал в своей памяти, воображении и во встречных лицах. Это была Настенька, тоскующая, оскорбленная и безнадежно любящая. У меня помутнело в глазах. Я схватил бумагу и карандаш и заработал, одержимый. Я стремился хоть мимолетно запечатлеть это виденье. И мне это удалось. Я рассказал Тане о моем замысле и посвятил ее в то, что эта работа должна быть заключительным звеном моего творческого существования и что этой работой я уберегу свою память от забвения в этом на мгновение посещенном мире. Она радостно согласилась помочь мне. Я стал работать целыми днями, запоем, страшно, неотрывно. Я держал ее в

этой, тогда подмеченной позе у окна, заставляя смотреть на страшный в своей убогости пейзаж петербургских задворков. Она становилась к окну, молодая, прекрасная, полная сил и бодрости, счастливая тем, что она помогает мне, с сияющей улыбкой. Но постепенно могильный чад этого жуткого угла, душные испарения гниющей воды, трупные пятна штукатурки сгоняли краску с ее щек, стирали улыбку, лишали блеска глаза, и она становилась похожа на пленницу, навеки заключенную в каменную, безвыходную коробку. Ее губы сжимались в гримасу смертельной тоски, она вся опускалась, как будто раздавленная тяжестью кубов гранита, оковавших канал. И тогда я хватал карандаш, или сангину, или перо и начинал работать. И с каждым новым рисунком все ярче и все явственней выступал облик Настеньки.

Шамурин замолчал и прижал ладонью лоб, как бы пытаясь вспомнить образ, о котором он говорил. Помолчав, продолжал:

— Я уже говорил вам, что в то время я жил покупкой и продажей антиквариата. Сам я не мог справляться с беготней по аукционам и квартирам, где продавались эти осколки. Я состарился, меня мучил ревматизм. И у меня появился компаньон. Его звали Крымовым. Николай Данилович Крымов. Молодой, лет двадцать восемь. Бывший гвардейский корнет, из хорошего старого дворянства. Смуглый, красивый, веселый, широкоплечий. Он тоже прекрасно знал старину, умел разбираться в грудах выносимого на аукционы хлама, умел находить в каких-то трущобах подлинные уники и приобретать их за гроши. По нашим делам он часто бывал у меня. Но мне никогда не приходило в голову, что он красив, что он мужчина, что у меня взрослая и прекрасная дочь. Это было возмездие судьбы. Звездоносный родитель моей Татьяны тоже никогда не помышлял о том, что его дочь может полюбить наемного маляра, которому заказан портрет ее ослепительной молодости. Я проглядел возраст моего ребенка, я не мог угадать, почему она тосковала в тот день у окна, смотря на канал. Ей хотелось любить, милостивый государь, а я, старый дурак, ничего не понимал. Как они полюбили — я не знаю. Но однажды, когда я сидел за работой, я увидел, что скорбное выражение на лице Татьяны сменилось какой-то ребяческой радостью, и ее щеки вспыхнули пожаром. Она быстро повернулась ко мне и сказала: «Папа, я устала немного. Я пройдусь». И, не выслушав моего ответа,

она бросилась из комнаты, стремглав, с той же сверкающей и наполненной улыбкой. Несколько удивленный, я собрал в коробку угли, которыми работал, и подошел к окну без всякой другой цели, как опустить приподнятую занавеску. И вдруг я заметил на другой стороне канала у мостика знакомую фигуру в сером пальто. Я не мог ошибиться — это стоял Крымов. И в то же мгновение увидел, как через мостик легкой походкой, стремительная, как чайка над водой, бежала на ту сторону канала Таня. Я застыл у окна, потрясенный неожиданной и мучительной догадкой. Я весь трепетал. Я в этот час терял моего ребенка, которому я отдал всю свою жизнь. Таня добежала до Крымова. Он протянул навстречу ей руки, и она схватила их. Слегка откинувшись назад, как будто желая лучше видеть, она смотрела ему в глаза, и я видел из окна, как изумительно прекрасно и светло она засмеялась навстречу своей любви. Крымов взял ее под руку, и они, тесно прижавшись друг к другу, пошли вдоль канала и скрылись из глаз. Я почувствовал, как по всему моему телу выступил липкий, обессиливающий пот, и на несколько минут потерял сознание. Придя в себя, я сел за книгу и стал ждать возвращения Тани. Она вернулась часа через полтора. Я исподлобья смотрел и ждал, когда она войдет из передней, раздевшись. Я увидел ее спокойной, принявшей свой обычный вид. Ничего нельзя было прочесть на ее безоблачном лбу. Я спросил ее, где она была, спросил тоже спокойно, невзначай, как спрашивал каждый день до этого, но сам чувствовал, что голос у меня дрожит от обиды и ревности. Но она не заметила перемены в моем голосе, она была полна собой, своим счастьем и просто, без тени смущения ответила, что гуляла. «Одна?» Она засмеялась. «Ну, с кем же мне гулять, папа? У меня и знакомых нет. Я такая стала домоседка». Я задрожал, я задохнулся: Таня, моя дочь, солгала мне. Я не мог больше оставаться дома. Я тоже под каким-то предлогом ушел из дому и до ночи скитался по улицам, думая о законе возмездия. Я решил ничего не говорить ей. Если она не хотела сказать мне правду, я не чувствовал за собой права исторгать у нее правду насилием. Я с мукой примирился с судьбой отца и только дал себе слово беречь ее от беды. Я ничего не мог иметь против ее любви к Крымову. Он был честный, воспитанный, энергичный, не ломавшийся под ударами судьбы. Он мог быть хорошим мужем, и в конце концов я уверил себя в том, что все идет нормально, что девушке в двадцать

четыре года пора полюбить, что она имеет право на свое счастье, и как мне ни страшно было потерять ее, но я же должен был помнить, что законы природы имеют свою логику. Все могло бы кончиться хорошо, если бы не несчастная мечта тщеславия, не суетная мысль, что моя жизнь художника должна быть закончена созданием какой-то вечной ценности. Я не знаю, что произошло между ними в тот вечер. Вероятно, впервые они объяснились до конца, впервые сказали ужасное слово «люблю». Но с этого дня Таня стала неузнаваема. Она наполнилась непреходящей, неугасимой радостью. Когда в течение нескольких дней после этого вечера я ставил ее в избранной позе к окну и начинал работать, меня брало дикое и злобное отчаяние. Ничего похожего на созданный мною и виденный образ в ней не было. Вы понимаете?

— Да,— тихо ответил Кудрин, завороженный этим рассказом,— понимаю. Исчезло выражение тоски и обреченности, которого вы так искали.

— Да... да... да,— перебил Шамурин, наполняя стопку,— да. Исчезло. Исчезло навсегда, и его нельзя было воскресить никакими силами. Я мучился, я ломал угли, я просил ее принять грустное выражение, но все было бесполезно. Она светилась насквозь тихой удовлетворенностью, и нарочное выражение печали, которым она хотела угодить мне,— ведь она же по-настоящему меня любила, своего старого отца,— мгновенно сбегало, как сбегают шарики воды с раскаленной железной плиты. Меня охватило безумие неудачи. Забывший обо всем, кроме своей суетной цели, я терзался мыслью, как поправить дело, как заставить мою натуру, моего ребенка, страдать и тосковать, как она тосковала раньше. И дьявол вдохнул в меня проклятую мысль. Не смейтесь, милостивый государь: вы можете не верить, но не имеете права улыбаться! — закричал он на улыбнувшегося невольно Кудрина.— Что вы понимаете в этом?.. Да, дьявол внушил мне эту мысль. Я с упорством маньяка стал думать, что, если бы с Крымовым случилось какое-нибудь несчастье, если бы он попал в какое-нибудь безвыходное положение, хотя бы временно, или уехал бы куда-нибудь, я спас бы свою работу, я смог бы достойно закончить рисунки, чтобы начать резать на дереве. Я придумывал тысячи планов, один фантастичнее другого, как заставить мое дитя, мою плоть страдать и тосковать, как нанести удар ее любви и счастью. И, отбросив тысячи планов, я, безумец, остановился на подлом, неслыханном,

которому нет названия. Но я был безумен тогда, и мне казалось, что все позволено для искусства. Вы понимаете, милостивый государь, что в таком деле, как антиквариат, в наши дни, для того чтобы добыть любителю нужную ему вещь, есть ходы, которые идут вразрез с требованиями закона. Особенно когда дело касается дворцовых и музейных фондов. И вот я поручил Крымову одно такое дело, заранее создав обстановку, при которой его попытка сталкивалась с надзором властей. Дело было пустячное. Я несколько знаю законы, и все должно было окончиться двумя-тремя неделями подследственного ареста. Я, с воспаленным мозгом, толкнул человека, которого любила моя дочь, на это дело. Он пошел и был арестован. В этот день Таня, как всегда, вышла погулять, но вернулась скорее обыкновенного, и я, наблюдавший за ней, как зверь из засады наблюдает за своей жертвой, с неимоверным, почти сладострастным удовлетворением заметил в ее лице растерянность, недоумение и тревогу. Но она ни одним словом не выдала себя. Утром она ушла из дому. Я знал, что она идет на квартиру Крымова, но не подал вида. Она вернулась в полдень, потрясенная, уже не в силах скрывать своих переживаний, и первое слово ее было: «Папа! Коля арестован». Она забыла даже о том, что до этого дня всегда называла при мне Крымова — Николай Данилович. Она говорила, как взрослая женщина, любящая и знающая свое право на любовь. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. На этот вопрос она не ответила правдой. «Я встретила нашу общую знакомую, и она сказала мне». Она замолчала и спустя несколько минут добавила: «Папа, ты должен узнать и похлопотать за него. Ведь он твой компаньон». Она не говорила, что Крымов дорог ей и я должен хлопотать за него, как за ее любимого, она пыталась заставить меня действовать на основе моих деловых интересов. Прозрачное детское сердце женщины, милостивый государь. Я пообещал ей разузнать о причине ареста, хотя и прекрасно знал ее. Я ушел и, вернувшись, рассказал ей со всеми подробностями причину ареста Крымова и сообщил, что в угрозыске мне сказали, что, вероятно, это недоразумение и что недели через две, когда разберутся, его освободят без всяких последствий. Она вынесла мой рассказ, не изменившись в лице, не дрогнув ни одним мускулом. Но ночью, проснувшись, я услыхал из ее комнаты глухой плач и — нет меры моему преступлению — обрадовался. На следующий день все валилось из рук у Тани и она с трудом

сдерживалась. Когда я предложил ей поработать, она с радостью согласилась. Это давало ей возможность отвлечься от своих мыслей. И когда она стала у окна, я вздрогнул от безумной и дьявольской радости. Она смотрела — я знал куда: на канал, на мостик, за которым всегда стоял Крымов,— смотрела с мучительным волнением, тоской и безнадежностью. Я работал как бешеный, все во мне кипело и радовалось, я даже не заметил сразу, как она застонала, пошатнулась и опустилась на пол в обмороке. Я поднял ее, задыхаясь от боли и сожаления и от радости одновременно. Я привел ее в чувство, я сидел у ее постели, баюкал ее, как в детстве, пел ей колыбельную песенку, и что-то во мне неистово кричало: «Она твоя, твоя! Ты победил». И каждый день я работал, работал с упоением и жадностью, и с каждым днем все бледнее делалась она и все тоскливее и обреченнее, служа моему замыслу, становилось ее лицо. Прошли три недели. По моему расчету, Крымов должен был уже выйти на свободу, но его не было. Моя работа подходила к концу. Таня таяла на моих глазах. Наконец я, сам встревоженный, пошел в угрозыск. Знакомый агент ошеломил меня известием, что арестованный Крымов передан в распоряжение ГПУ. Земля завертелась подо мной, я ничего не понимал. Я вышел из угрозыска раздавленный. Я не мог понять, почему Крымова могли передать в ГПУ. Дело было настолько незначительное и настолько не касавшееся политики, что это было загадочно. Я вернулся домой разбитый и в этот день не работал. Не работал и в следующий. Таня пришла ко мне и спросила, буду ли я продолжать работу. Я отговорился нездоровьем. Она побледнела и, вся осунувшись, сказала: «Жаль. Мне спокойней, когда ты работаешь. Я отвлекаюсь от ненужных мыслей». Я чуть не разрыдался. Наутро я отправился к одному знакомому еще по старым временам большевику, имевшему отношение к судебным учреждениям, и просил разузнать о Крымове. Он назначил мне встречу через два дня, и, когда я пришел к нему, он без предупреждения, коротко и сухо сказал мне: «Ваше счастье, что ваш компаньон не запутал вас. Он расстрелян». Я взял себя в руки, насколько мог, хотя весь мир потускнел для меня в эту страшную секунду, и просил его рассказать, в чем дело. Ошеломленный, я узнал, что Крымов был не Крымов, а князь Щенятев, что он скрывался под чужой фамилией после того, как играл руководящую роль в большом восстании в Центральной России, и был

случайно опознан в угрозыске агентом, бывшим во время этого восстания красногвардейцем в городском гарнизоне. Я ни о чем больше не расспрашивал моего знакомого. Я пришел домой, и моей первой мыслью было — сделать петлю и повеситься на крюке от люстры, благо Тани не было дома. Но едва я снял веревку со старой корзины и связал петлю, Таня вернулась. Она поняла по моему виду, что случилось что-то непоправимое, схватила меня за руки и, смотря в глаза, властно приказала: «Говори правду». Я не мог солгать. Я сказал. Я ждал, что она закричит, упадет в припадке. Но она только пошатнулась, закусила губы и тихо сказала: «Я это знала». После этого она ушла в свою комнату и заперлась. Я стучал, умолял, просил, требовал открыть дверь. Она ответила тихо, но так, что я похолодел от пустоты и мучительности этого голоса: «Папа, оставь меня. Я даю тебе слово, что ничего с собой не сделаю, но мне нужен покой». Я отошел от двери, как побитая собака, и несколько часов просидел в углу без мыслей, недвижимо, с ужасом и надеждой прислушиваясь к каждому шороху из ее комнаты. Перед вечером она вышла, спокойная, ясная, с чуть припухшими глазами, прошлась по мастерской и спросила меня совсем спокойно, но чрезмерно звонким и холодным голосом: «Папа, ты будешь сегодня работать?» Я не мог, я не хотел, я не имел больше права работать. В каждом штрихе угля была моя собственная казнь. Но я согласился потому, что видел, что для нее это необходимо. Уголь скрипел по бумаге, как нож гильотины по позвонкам казнимого, упавший карандаш потряс меня своим стуком, как ружейный залп. Руки у меня тряслись, но я делал вид, что работаю. Вечером я говорил с Таней. Я пытался обелить себя и успокоить ее. Я сказал, что давно подозревал о ее любви к Крымову, что остерегался вмешиваться, что случившееся ужасно, но вместе с тем лучше, что Таня не связала еще окончательно свою судьбу с человеком, который скрывал свое прошлое,— и мои слова хлестали меня же, как раскаленные шомпола. Она слушала молча, неподвижная, тихая, закаменевшая. Так прошло два дня. На третий она встала на обычное место к окну, и, увидев в ее фигуре, во всем облике знакомое, дошедшее до предела пленительное выражение обреченной тоски, я забылся в припадке работы. Никогда в ней не было такой зрелой ясности и красоты, как в этот вечер. Когда я положил угли, она подошла и поцеловала меня в лоб. Я готов был упасть на колени и сознаться ей

во всем, но она быстро ушла к себе в комнату, а оттуда вышла на улицу. Я слыхал, как хлопнула входная дверь и инстинктивно подошел к окну, как тогда. И тотчас же я увидел ее легкую фигурку в синем жакетике и фетровой шляпке. Но она не летела с легкостью птицы, а медленно шла, покачиваясь, словно несла на плечах непосильную ношу. Я смотрел на нее, и слезы текли по моим щекам. Она дошла до решетки канала, остановилась и стояла так, склонив голову, минут десять. Потом повернулась к окнам нашей квартиры, прижала руки к груди, быстро перекрестилась и, одним прыжком вскочив на решетку, рухнула в воду. Когда я, сломя голову, летя через ступеньки, добежал до канала, по маслу гнилой воды еще дрожали круги и сбегались кричащие люди. Ее не нашли, видно, тело сразу ушло под затонувшую баржу. Вытащили ее через несколько месяцев, когда от нее ничего не осталось, кроме груды разложившегося мяса...

Шамурин затряс головой и замолчал. Потом вскочил и, протянув руки, зашептал пронзительно и страшно:

— Убийца: Я двойной убийца... нет пощады... нет прощения. Мне страшно жить, мне страшно умирать, потому что я верю в другой мир. Что я отвечу там, когда меня спросят: «Алексей. Что сделал ты со своей плотью и кровью? Что совершил ты со своим ребенком? За что?» Что я отвечу? Что пожертвовал жизнью чада моего для искусства? Да? Что значит все искусство вселенной перед убийством безвинного ребенка? Что есть истина? Отвечайте мне, Пилат!

Он был страшен, всклокоченный, безумный, с мучительной гримасой, с одичалыми глазами. Кудрин подошел к нему и положил руку ему на плечо.

— Спокойно,— сказал он приказывающе.— Я не Пилат. Я не судья! Я сейчас только человек и художник. Перестаньте! Вам нужно выпить не водки, а воды,— добавил он, увидев, что Шамурин прыгающей рукой тянется к бутылке.— Водки я вам больше не дам. И больше ничего не говорите. Сейчас вы ляжете у меня спать и никуда не пойдете. Вы больны!

Шамурин вырвался.

— Не троньте меня. Не прикасайтесь... Лечь спать? У вас? Нет дома, который я не осквернил бы своим присутствием. Даже ваш дом. Дом человека, не верящего ни во что, кроме кулачного права... Нет!.. нет... Я не могу, я не должен вас оскорблять. Простите... простите!

Он рванулся вперед и, схватив руку Кудрина, прижался к ней губами. Кожей кисти Кудрин ощутил щекочущий волос усов и теплую мокроту слез. Его передернуло, он вырвал руку и отскочил к стене с перекосившимся лицом. Шамурин заметил его судорогу и весь осунулся.

— Да... конечно... я противен. Вас тошнит от моего прикосновения. Весь мир содрогается, соприкасаясь со мной. Я знаю... Я не останусь у вас ни секунды.

Прежде чем Кудрин мог остановить его, Шамурин выбежал из комнаты. Сильно хлопнула входная дверь. Кудрин бросился вдогонку. Но старик бежал с невероятной для его возраста быстротой. Шаги его стучали уже глубоко внизу в пролете.

— Стойте! — крикнул Кудрин.— Гражданин Шамурин! Вернитесь!

Но шаги смолкли внизу. Кудрин медленно вернулся в комнату. Все происшедшее показалось ему сном. Только лежащая на столе гравюра была реальна и напоминала о реальном. Обреченное мертвое лицо смотрело на него в муке безысходного отчаяния. Кудрин вздрогнул и поспешно поставил картон лицевой стороной к стене.

Заснуть в эту ночь не удалось. Едва веки смыкались в дремоте, откуда-то из ночной темноты выплывали странные тени, и виделось: то воспаленные глаза Шамурина и дрожащий мускул на его щеке, то лицо замученной безумным отцом девушки, то черная вода канала с лопающимися на ней пузырями гнили.

Проворочавшись до рассвета на диване, Кудрин поднялся разбитый и вялый. Болела голова, ныло все тело, и моментами наплывал легкий озноб. Кудрин достал из стола термометр. Термометр после пяти минут показал тридцать семь и шесть.

«Простудился»,— подумал Кудрин, укладывая стеклянную трубочку в футляр.

Он вспомнил, что, идя от станции к заводу, неосторожно распахнул пальто, а вечер, хотя и обманчиво теплый, дышал лихорадочной сыростью.

«Придется денек пересидеть дома,— подумалось Кудрину,— а то совсем расклеюсь».

Он позвонил в трест и вызвал Половцева.

— Александр Александрович, будьте добры, поработайте малость за меня. Я немного прохватился ветерком и кисну. Так уж надеюсь на вашу любезность.

— Может, вам врача направить? — спросил Половцев.

— Да нет, ничего серьезного. Просто лихорадит. Приму хины, разотрусь водкой, и все как рукой снимет.

— Позвольте вас навестить вечерком? — продолжал Половцев.

Кудрин помолчал секунду. Видеть Половцева не хотелось, и нужно было сказать об этом прямо, но деликатно, чтобы не обидеть профессора. И Кудрин сказал наконец извиняющимся тоном:

— Лучше не надо, Александр Александрович. Мне что-то хочется хоть один день отдохнуть от людей.

— Понимаю,— ответил Половцев, и в ответе профессора Кудрин уловил ту же скрытую иронию, которая так раздражала его в последние дни. Он быстро положил трубку и, достав из шкафа одеяло, прилег на диван.

Он надеялся заснуть, но сон не шел. Мелкий озноб щекотал тело и не давал успокоиться. И нахлынули мысли. Вспомнился Шамурин с его рассказом: палач и жертва своего фанатического безумия.

Безумие ли?

Кудрин приподнял подушку за спиной и остался в таком положении — полулежа-полусидя.

Безумие ли? Да, конечно, безумие, но в нем была и своя жестокая, мрачная прямолинейная логика. Шамурин упрямо и неуклонно шел по своей линии, без компромиссов и отступлений. Своя и чужая жизнь в жертву делу, в жертву идее искусства.

Несчастный старик!

Кудрин мотал головой, как будто хотел подтвердить свой вывод.

А может быть, счастливый художник,— художник, оправдавший свое бытие.

Кудрину вспомнился миф о гениальном художнике Эллады, приковавшем своего раба-натурщика к камню. Чтобы вникнуть и передать на полотно искаженные черты огненосца Прометея, художник привязывал к животу натурщика кусок сырого мяса. Голодный орел клевал мясо и вместе с ним рвал клювом мускулы и кожу живого человека. А художник, холодно и зорко наблюдая, запечатлевал каждую судорогу муки и боли на лице и теле натурщика.

А средневековье. Колоссальные полотна с мучениями святых. Христианство возвело эти мучения в догмат жизни и искусства. И, подчиняясь требованиям класса и эпохи, художники творили мучительные вещи. Был художник, который для полотна Голгофы распинал на кресте

собственного сына и запоминал формы готовых разорваться от напряжения мускулов. Другой сидел с карандашом в углу инквизиторского застенка и зарисовывал пытки. Верещагин появлялся на полях боев, когда над ними еще плавала кислая мгла порохового дыма и корчились тела умирающих.

Кудрин с испугом вытер проступивший на лбу пот.

«Что же это? Я оправдываю преступление ради искусства?» — подумалось ему.

Нет. Жестокие легенды всплыли в памяти не для этого.

Они были закономерны и диалектически объяснимы для своего времени. Для мрачного, черного времени угнетения и насилия.

Кудрин усмехнулся. Мысль его ухватилась за тоненький кончик ниточки, на мгновение мелькнувший из спутанного клубка, и, ухватившись, начала спокойно развертывать нить.

Да, ясно. Задача художника в социалистическом обществе иная. Он должен не обескрыливать и душить человека зрелищем страданий и мук, но будить радость, здоровье, надежду, говорить полнокровным голосом искусства для освобожденного человечества. Но эту задачу может осуществлять только художник, рожденный классом, создающим новую эру в человеческой истории. Только плоть от плоти победившего впервые класса бывших рабов. Только он сумеет заметить и передать со всей силой и искренностью новые темы. Чужой, даже и дружелюбный чужой, просто не сможет понять.

Все чудовищные потуги, ужасающе размалеванные тряпки «красных похорон» и «красных октябрин» безнадежны не потому, что они делаются тупыми ремесленниками, без вдохновения, без любви. Нет, среди их авторов есть имена, заслуженно вошедшие в историю искусства. Но при всем старании они не в силах, они не могут понять новой сути изображаемого.

Они корнями вросли в психологию отмершего мира. Волею рождения в недрах чуждого революции класса они обречены на непонимание, на невозможность революционного познания и потому на трагическое бесплодие.

Понять, отразить до конца обреченность своего класса, своего общества способен был полубезумный маньяк Шамурин, сам продукт этого общества, квинтэссенция его разложения. Понять будущий расцвет нового общества, его здоровую жажду жизни и здоровые радости может только

порожденный классом-победителем, перемоловший старую и воспитавшийся на новой культуре, здоровый художник со здоровым коммунистическим мышлением.

Вот именно.

Кудрин вскочил с дивана и, как бы зараженный внезапным и бодрящим током, заходил по кабинету.

Стены кабинета незаметно растаяли, раздвинулись. Сквозь них Кудрин видел, как наяву, бесконечную галерею накопленных веками сокровищ мирового искусства. Где-то в бесконечном далеке, на желтых обрывах песчаников, смутно виднелись первые попытки мышления художественными образами. Кремневым резцом, цветной глиной, копотью первобытный художник запечатлевал бытие своего общества. Постепенно, шаг за шагом, век за веком, улучшались и усложнялись материалы, искусство захватывало все более широкие перспективы.

И, как бы бродя в гигантском музее, Кудрин внезапно понял еще одно.

В каждую эпоху искусство было кровными связями слито с политическими и социальными формами человеческого бытия. Слабое, неуклюжее и блуждающее вслепую на переломах эпох, оно неуклонно возрастало в своей ценности и полнокровности параллельно с укреплением новых социальных форм и, достигнув величайшего расцвета на вершине эпохи, низвергалось вместе с падением породившего его общества.

Искусство вырастало органически из комплекса идей и понятий эпохи, оно не терпело никаких понудительных и ускорительных мер в своем закономерном и правильном росте.

Кудрин усмехнулся:

«Да, да! Конечно, так! У нас все еще впереди, впереди, и мы напрасно «и жить торопимся и чувствовать спешим». Десять лет? Что такое десять лет для хода истории, ведущей счет тысячами веков? Мы — дети, грудные дети, мы еще едва открываем глаза. И, еще не раскрывши, хотим уже видеть свое искусство в полном расцвете. И стремимся взрастить его, как тепличный огурец, паром и жаром, поскорее, побольше, забывая, что в парниковом плоде безвкусная, пресная вода, что он противоестествен, так же противоестествен, как ретортный гомункулус алхимиков».

Кудрину вспомнился Рубенс. Бешеный фламандец, плотоядный обжора, каждым мазком кисти утверждавший

коренастое благополучие ядреных голландских торгашей, властелинов морей, колонизаторов. Рубенс вошел в свою эпоху, в эпоху блеска и торжества нарождавшегося могущества голландского капитала, в тот момент, когда оно пришло к своей кульминационной точке. Впереди уже нависали грозовые тучи. Адмиральский флаг Нидерландов еще гордо развевался на ближних и дальних морях, но уже одевались парусами трехъярусные громады английских кораблей, чтобы через полвека, в решительных боях с прославленным Рюйтером, раздавить голландское могущество.

Рубенс был плоть от плоти своего века. Его полотна кричали буйством красок и форм о торжестве наживы, стяжания и бычачьего сластолюбия. Он писал тела так, что их хотелось схватить и ощупать пальцами мясистые, налитые округлости. Его живопись была гимном практического торгаша, верящего только в реальную выгоду, привыкшего ощупывать и мерить приобретаемый товар.

Но эта кричащая мощность и пышность, прославляющая мощность и пышность тучной Голландии, была взращена в Рубенсе не искусственными теоретическими построениями,— она вырастала из самых глубин его сознания, она ощущалась художником не как результат предвзятого логического хода, но как естественный выход творческой силы, порожденной и питаемой окружающим расцветом.

И Кудрин отчетливо сознавал, что Рубенс, выписывая своих тучных богов и богинь, никогда не думал, что взмахи его кисти должны содействовать росту и мировому внедрению голландского торгового капитала. Вернее всего, что художник никогда и не задавался вопросом, чему служит его творческий дар,— настолько органично и непосредственно было его восприятие окружающего быта и общества, вошедшее в его кровь с молоком матери. Он был нормальным продуктом своего общества и своего класса и его пропагандистом по крови.

Социальная революция, делу которой отдал свою жизнь Кудрин, сломала и разрушила сгнившие общественные формы и строила новые. Со срывами, с ошибками, с отступлениями она воздвигала новое здание. И наряду с государственным и общественным строительством медленно нарождалось и новое искусство. Как на переломе каждой эпохи, первые его шаги были топорными, неуклюжими

и слепыми. Оно было еще оторвано от общего роста и шло без связи с остальным.

В эти годы трудной, изнурительной, воловьей работы Кудрину казалось, что он поступает правильно, отрекаясь от искусства для будничной, тяжелой, но первоочередной хозяйственной работы. Он успокаивал себя тем, что нельзя объять необъятное. Он занят был делом, которое сейчас важнее для строящегося государства. Если делить время между искусством и экономикой — от этого пострадает тот существенно важный в народном хозяйстве промышленный организм, который вверен его наблюдению. Нужно было сосредоточить все силы в одной области, а не дилетантствовать понемногу во всех.

Но теперь, после всего пережитого и перечувствованного за последние дни, он начал понимать, что в его логических построениях есть пробел.

Ему было ясно, что ни в какой стройке не может быть такого положения, при котором отдельные камни здания существовали бы сами по себе, не связанные с другими. Искусство было так же неотделимо от хозяйства, как и наука. Трест выбрасывал свою продукцию — посуду, статуэтки, стекло — не в безвоздушное пространство, а на реальный рынок, на миллионного потребителя.

И для этого потребителя нужно было создавать и новое художественное оформление выпускаемых изделий, знать перемену и рост художественных вкусов и требований, иначе вся работа творилась впустую, на какого-то неживого, теоретического потребителя, не существующего в природе.

Кудрин остановился посреди кабинета.

«В сущности говоря, ведь это же дико,— подумал он,— ведь мы в действительности не знаем, на кого мы работаем, какой вкус у нашего покупателя, какое искусство ему нужно? Да больше того — нам нечего ждать, пока он нам откроет истины, мы сами должны их открыть».

Внезапно ему вспомнилась поданная угрюмым комсомольцем ядовитая записка, и он смутился.

«Открыть? А что мы можем открыть, когда наши дети уже перерастают нас в вопросах культуры и искусства. В громе военных гроз, а после — в будничном щелкании счетов мы, старшее поколение, оторвались от культуры, просто упустили ее из виду и, рассчитывая, прикидывая на счетах, лепя кирпичи, отливая балки и формы, пытаемся строить мирный дом, забыв, что под ним нет фундамента

культуры. И в новых культурных требованиях никто из нас толком не смыслит и, сталкиваясь с ними, или становится в тупик, или легкомысленно хлестаковствует».

— Ведь я же все перезабыл,— сказал он вдруг вслух, уязвленный этой мыслью,— я ничего не знаю. Нельзя же сказать, что я знаю искусство страны, только потому, что три раза в год я заезжаю любопытства ради на очередную выставку и рассматриваю экспонаты с точки зрения ремесленника. Я вижу недостатки, но я палец о палец не ударил, чтобы помочь их уничтожить. А ведь у меня специальность. Ведь я же художником был настоящим. Даже Шамурин, для которого мы все — новые гунны, разрушители, и тот это признал. Нет... нужно что-то сделать...

Он опять взволнованно заходил из угла в угол и остановился, только услышав звонок в прихожей. Домработницы не было дома. Кудрин вышел и, открыв дверь, столкнулся с Маргаритой Алексеевной.

Он отступил назад в темноту прихожей.

— Ха-ха-ха! Испугались? — услышал он веселый возглас артистки.

— Входите, Зяма, входите,— приказала она кому-то, проскальзывая в прихожую, и Кудрин увидел в пролете двери чью-то незнакомую фигуру.

— Ну, зажгите же свет, Федор Артемьевич. Вы меня простите, мне позвонил Александр и сообщил, что вы заболели и что не желаете его видеть. А так как я знаю, что вы в единственном числе и беспомощны, я решила нагрянуть и похозяйничать. Не сердитесь!

Кудрин зажег свет и невольно улыбнулся. За артисткой стоял небольшой человечек, нагруженный кульками и свертками.

— Зяма, сложите покупки и можете уходить. Вашей помощи больше не требуется,— сказала Маргарита Алексеевна.

Молодой человек сложил кульки и, поклонившись, исчез за дверью.

Кудрин беспокойно топтался на месте.

— Нет, право, Федор Артемьевич, вы не сердитесь,— заговорила артистка внезапно тепло и просто,— я ведь хорошо знаю, как иногда бывает трудно болеть одинокому человеку. А у меня сейчас свободное время до спектакля, и я рискнула приехать к вам с вкусными вещами. Но если вам не хочется видеть людей — можете спокойно выгнать меня. Даю слово, что не обижусь.

— Зачем выгонять? Наоборот,— ответил Кудрин, успокоенный мягкой теплотой ее голоса,— милости прошу.

— Вот и хорошо.

Кудрин подобрал сложенные Зямой кульки и отнес их за Маргаритой Алексеевной в столовую.

— А почему вы так немилостиво отправили этого вашего носильщика? — спросил он.

Маргарита Алексеевна засмеялась.

— Зямку? А куда ж он годится, кроме как носить покупки? У меня таких адъютантов вагон. У вас примус есть?

— Есть,— ответил Кудрин.

— Показывайте. Я буду чай кипятить.

— Ну, это чепуха! Я сам могу,— возмутился Кудрин.

— Ни-ни,— вы больной.

Несмотря на протесты Кудрина, она забралась в кухню и поставила на примус чайник.

— Я буду следить за ним, а вы разворачивайте тут на столе покупки.

Кудрин послушно занялся развертыванием пакетов. Маргарита Алексеевна, возясь у примуса, беспечно рассказывала театральные сплетни. Кудрин слушал, но мысли его были далеко. Он продолжал думать о своем.

Чайник забурлил паром, и артистка перенесла его в столовую. Она усадила Кудрина и уселась сама, продолжая болтать. Но вдруг прервала болтовню и, внимательно взглянув на Кудрина, спросила:

— А вы нехорошо выглядите. Что с вами случилось?

— А что? — опешил Кудрин.

— Вы пьете чай, делаете вид, что слушаете меня, но мысли ваши совсем не здесь. И видно, что вам не по себе.

— Таить не буду,— ответил Кудрин,— не по себе. Это правда. Только не стоит тревожиться.

Маргарита Алексеевна посмотрела на Кудрина, и ее спокойный взгляд напомнил ему взгляд Половцева.

— Вы меня извините, Федор Артемьевич, я совсем не хочу навязываться с ненужным участием. Я спросила както невольно. Я слыхала, что у вас разрыв с женой, знаю, что это бывает очень тяжело. Помочь нельзя, но вы-то не расклеивайтесь. Ваше дело не в семье, а в работе.

Кудрин поставил чашку на стол и улыбнулся.

— Спасибо за участие, Маргарита Алексеевна. Только дело совсем не в разрыве с женой. Он был и прошел. Беда в разрыве с самим собой.

Маргарита Алексеевна удивленно склонила голову.

— Разрыв с собой? У вас? Странно. Я всегда считала вас твердым.

— Вы не совсем поняли. Я и остался таким. Я не поколебался. Но вот трещинка крошечная есть. Я на распутье. Открывается новая дорога. Пойти — или нет.

— Не совсем понимаю,— ответила артистка, подвигая Кудрину налитую чашку.

— И я не совсем понимаю. Может быть, права моя бывшая жена, и все это одни интеллигентские шатания... Впрочем... хотите, расскажу. Вы — человек умный и теплый, не чета вашему мудрому супругу. Любопытно, как все это выглядит со стороны.

— Рассказывайте,— коротко сказала Маргарита Алексеевна, сложив руки на скатерть и опершись подбородком на ладони.

Кудрин медленно, точно вдумываясь и выслушивая самого себя, рассказал все происшедшее с ним, от первого посещения выставки до прихода Шамурина.

Артистка выслушала молча, медленно опустила руки на стол и взглянула на Кудрина, словно боясь поверить.

— Как странна и как ужасна история этого старика,— промолвила она тихо.

— Но этот безумный старик натолкнул меня на решение мучившего меня издавна вопроса: почему они могут выразить свою обреченность и распад с подлинной мощью, а мы еще не можем показать нашу силу и здоровье. За ними вековая культура с ее философией, науками, техникой, искусством. А мы вновь родившиеся. Голые человеки на голой земле.

— Да, это конечно,— раздумчиво сказала Маргарита Алексеевна.— Но вы не правы в том, что упадок живописи, как и других искусств, в области формальной, возник только теперь, в связи с переломом эпох. Нет, упадок начался гораздо раньше, и ему другая причина.

— Какая? — перебил Кудрин.

— Сейчас. Вы, я думаю, согласитесь со мной, что в области вашего искусства — живописи — есть какая-то грань, резко разделяющая два периода. Уже, собственно, с семнадцатого века исчезли гиганты кисти и резца и сменились в лучшем случае крепкими ремесленниками. Согласны? Ну вот! Возьмите великолепнейшую эпоху живописи. Поглядите старых итальянцев, испанцев, голландцев. Что вас поразит в первую очередь? Крайняя немного-

численность тем и сюжетов. На триста — четыреста имен пять-шесть сюжетов: благовещение, мадонна с младенцем, святое семейство, распятие, ритуальная церемония, обряд. У голландцев к этому прибавляется деревенская пирушка и пейзаж. Вы скажете: какая скудость, какое неуменье видеть все живое разнообразие жизни. Ничего подобного! Тут налицо сознательное ограничение диапазона для возвышения мастерства. Возьмем какое-нибудь благовещение. Некий мастер писал его всю жизнь. В десятках вариантов. Умирая, оставлял учеников. Ученики писали то же благовещение, привнося новые детали, совершенствуя технику и мастерство. Сами становились мастерами и передавали сюжет новым ученикам. И доходили до полного вдохновенного мастерства, до гениальности. Вырабатывались определенные навыки, то, что сейчас называется казенной кличкой квалификации... Ах, вы, наверно, не понимаете, куда я гну. Я сама чувствую, что путаюсь,— беспомощно улыбнулась она.

— Нет,— произнес Кудрин,— валяйте дальше. Начинаю разбираться.

— Да? Ну, хорошо. Мастер повторял почти без изменений полотно своего учителя, доводя живопись до непревосходимого блеска. Так вырабатывалась школа. Теперь не только отвергли этот принцип совершенствования по одной линии, но его стали считать чуть не преступлением. Каждый фигляр, каждый безграмотный олух стремится поразить мир, открыть свою технику, создать свою школу, исходя при этом не из принципов искусства, а из голой самовлюбленности и нахальства. Повторить сюжет и технику гениального мастера считается преступлением. За это травят и доводят людей до могилы. Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого. Вспомните: Франс Гальс, оба Тенирса и еще десяток голландцев писали в центре своих пирушек одно и то же хохочущее лицо. И ведь тип этого лица, наконец доведенный до совершенства, стал почти нарицательным. И никто не боялся, что невежественный недоросль, думающий, что в искусстве обязательно нужно выдумывать небывалые откровения, обвинит Тенирса в плагиате у Гальса или наоборот. Они вместе создавали и совершенствовали школу. Почему до сих пор еще высоко держится наше сценическое мастерство? Да потому, что мы считаем не грехом, а доблестью повторять приемы и технику наших великих актеров, не оригинальничая ради пустого оригинальничанья... Право, не знаю, поняли

ли вы меня? Александр всегда говорит, что я умею думать, но лишена возможности связно выражать свои мысли.

— Ничего,— усмехнулся Кудрин,— хоть и путано, но главное я понял. Это любопытно и, пожалуй, имеет смысл... Но, кроме всего, я спрошу вас о личном деле. А вы отвечайте напрямик.

— Пожалуйста,— просто сказала Бем.

— Я очень растревожился за эти дни. Вот оглянулся кругом, посмотрел, проверил и понял и свое и общее наше бескультурье. Хозяйство строим, а про культуру хозяйства забываем. Что толку в том, что построим небесной красоты дворцы, если в этих дворцах на наборный паркет сморкаются. Кто-то сказал, что раньше нужно потолки построить, а потом уже придумывать, какие узоры на них разводить. Чепуха! Нужно одновременно. И потолок и узор придумать, чтоб не опоздать. Фреска сырой штукатурки требует, по сухому потолку не напишешь... Ну вот. И потянуло меня к моей старой работе, к кистям. Только сомнение мучает. Не поздно ли вернуться? Сорок два года...

Маргарита Алексеевна внимательно взглянула на Кудрина и без улыбки сказала:

— Поздно? Малодушие вам не к лицу, Кудрин. Вспомните Гогена. Если вы серьезно...

— Совершенно серьезно.

— Тогда в добрый час. Поверьте, что это говорит друг... А теперь мне пора на спектакль.

— Я выйду с вами,— сказал Кудрин.

— Выйдете? Но вы же нездоровы.

— Пустяки. Мне на воздухе станет лучше.

Кудрин помог артистке одеться, и вместе они вышли на вечереющую улицу.

13

Проводив Маргариту Алексеевну до театра, Кудрин простился с ней и подозвал извозчика. У него созрело решение отправиться к Никитичу и поговорить с ним. Он любил и уважал этого старого, ясного человека, отдавшего партии сорок лет своей жизни и бывшего для Кудрина как бы партийной совестью.

Он застал Никитича дома, в маленьком чуланчике за станком. Старик, руководивший работой крупного оптического предприятия, помимо административной работы находил время для кропотливой возни с проектированием

и сборкой фотообъективов и часами возился, прилаживая и пригоняя линзы в десятках комбинаций.

Никитич, не отнимая ноги от педали станка, кивнул гостю:

— Здравствуй, милый! Ну, как дела? Поуспокоился или нет?

— Почти успокоился,— сказал Кудрин,— вернее нашел способ успокоиться. Ты мне можешь уделить полчаса, Никитич?

— Ух, как шикарно! Прямо как в посольстве. «Не можешь ли уделить»,— передразнил он Кудрина.— Чего там уделять. Садись вот на табурет и вываливай.

— Ладно,— отвечал Кудрин, садясь,— дело вот какое, Никитич. Бросить я хочу директорство к чертовой матери.

Никитич повернул голову, прищурился и опять стал чем-то неуловимо похож на Ленина.

— Ой ли? — протянул он.— Что так загорелось? Или тоскуешь по поэзии?

— Нет,— твердо сказал Кудрин,— не тоскую. Работа в тресте мне по душе была, и сейчас мог бы работать и честно и крепко, не скучая и не томясь. Вопрос в степени полезности. Где лучше? На какой работе больше толка?

— А разве толка мало?

— Да нет. И толк есть, и охота есть. Но есть еще большая охота. Помнишь, как я у тебя ночевал — о чем говорили.

— Помню,— не спеша ответил Никитич, смотря линзу на свет,— помню.

— Ну вот. Раз помнишь — напоминать не стану. Вот мы тогда с тобой еще утром о культуре нашей говорили, о том, что ее строить чистыми и своими руками надо. Так кажется мне, что руки мои к этому делу пригоднее, чем к тресту.

— Подумал как следует? — спросил Никитич, как будто вскользь, но в вопросе Кудрин уловил острое внимание, и это обрадовало его.

— Подумал. Много думал. Боялся, что действительно у меня уклончик какой-то такой гниловатый начался. А теперь, подумавши, знаю ясно, что иду по-правильному. Тянет к прежней работе, к профессии, к художеству. Натолкнули кой-какие случайности, кой-какие наблюдения.

— Думаешь, на художестве больше пользы принесешь?

— Больше! Твердо знаю, что больше. Пришлось вспомнить и понять, что есть у меня профессия, специальность.

Раньше как-то невдомек и ни к чему было. Когда варились в котле с семнадцатого по двадцать первый — у всех нас исчезли профессии. Это законно было — иначе нельзя было. В разрушении нужен был только пафос и энергия. Так с этим обезличением и вошли в мирную жизнь. Стали легкомысленно думать, что на постройке нового нужен только пафос да энергия. И пошли сажать людей. Маляра в издательство, швейника в кино, художника в трест. Не боги горшки обжигают. Справимся авось. За авось и расплачиваемся. Недаром уже поняли, что нужно свои кадры специалистов создавать для промышленности, потому что чужие или предают, или не понимают. В промышленности это осознали, а на культурном участке еще нет. И каждый свой человек там на вес золота. Вот я и решил.

Никитич положил линзу и покачал головой.

— Говоришь дельно, ну, а подумай, кем тебя в тресте заменить? Там мало, говоришь? Да и тут одинаково мало.

— Я знаю. Но в тресте может справиться любой партиец, который знает четыре действия, таблицу умножения и имеет сметку в голове. А я могу создавать культурные ценности и обязан их создавать.

— Ну что же. Если веришь в свою силу и знаешь, что пользу партии дашь и урона не принесешь, тогда иди. У нас того... с художествами худо. Выпускают мастеров малярного цеха, которые не знают, куда ткнуться и как в жизни свое малярство применить. Что ж, иди в какой-нибудь художественный вуз ректором — дела много, организующая, умелая рука нужна.

Кудрин отрицательно покачал головой.

— Нет. Ни на какие посты в этом деле не пойду. Я тут сам ученик. Мне и работать и одновременно учиться надо. Засяду в мастерскую, возьмусь за уголь, за кисти, за черновую работу, может не на год, на много лет, прежде чем первые плоды созреют.

— Ну, это ты вздор понес, миляга. Вздор! А партработа, а общественность?

Кудрин ответил не опуская глаз под пристальным взглядом Никитича:

— Партработа? Общественность? Партия освобождает своих писателей от будничной партийной нагрузки, считая, что их партийная работа в том, что они пишут. Партийная работа художника в его полотнах. Отрываться от общественной жизни не стану, но работа моя в полотне.

— А с массами как? С низами? Что же, в нору от них уйдешь?

Кудрин засмеялся.

— Нет, Никитич, на этом не поймаешь. Не только не оторвусь — ближе подойду. С карандашом, с альбомчиком туда, в мастерские, в цеха, в самую гущину, в самый центр. Каждый штрих, каждый замысел на их проверку, с ними вместе. Это я продумал. У меня на заводе старик есть, изобретатель Королев. Возился последнее время с механической глиномешалкой. Так вот, если мне удастся за всю мою жизнь его одного лицо написать в ту минуту, когда он об этой самой мешалке своей говорит и думает, так написать, чтоб люди почуяли, что это наш Королев, что всю жизнь, все чаяния свои, все торжество свое он в эту мешалку вложил,— вся моя задача выполнена. А если я научу десяток молодых ребят моими глазами видеть, тогда и совсем уходить спокойно можно.

Никитич стоял, ссутулясь, хмуря мохнатую вылинявшую бровь, но Кудрин видел, что под этой хмуростью процветает теплая, ободряющая ласка.

Внезапно, вскинув на Кудрина светлые зрачки, Никитич ворчливо сказал:

— В одиночку все же хочешь работать. Жертва! Подвижничество! Как бы не сорвался. Наше дело миллионное — тем и сильны. В одиночку камня не сдвинешь, а гуртом землю повернуть можно.

Кудрин ответил спокойно:

— Я и об этом думал. Казалось самому — интеллигентская замашечка. А потом вспомнил историю. Верно! Наше дело миллионное. А почему таким стало? Потому что к миллионам, корпевшим в рабстве и темноте, пришли одиночки. Пришли жертвенно, безоглядно — будить и звать. И разбудили и скрепили, спаяли в массив, равного которому не было. То же и сейчас, и я знаю, что от партийной линии я не отхожу. Иду будить и звать на постройку культуры.

Хмурая бровь Никитича подпрыгнула, и рот дрогнул под усами.

— Ухватился, мошенник,— сказал он смешливо,— поймал жар-птицу за хвост. Ну, добре. Валяй. Видать, идешь с ясным сердцем. Ну и иди. Одобряю.

Кудрин пожал руку старика.

— Спасибо, Никитич. Мне очень важно было, что ты скажешь. Твое слово — точка. Ты меня мальчишкой знал,

и без твоего одобрения мне было бы трудно решиться. Спасибо.

Он ушел от Никитича облегченный, спокойный, уверенный.

Легко и широко шагал по мосту через Неву. Голубовато-зеленое трепетанье июньской ночи колыхалось над сонной рекой. Под настилом глухо шелестела вода. Маленький черный жук-буксир тянул по сиреневому шелку, надрываясь и плюя струей воды с левого борта, караван мариинок.

На середине моста Кудрин остановился и долго смотрел за реку, в легкий опаловый туман. С особой четкой зоркостью он видел эту привычную, сотни раз виденную картину и с необычным волнением понял, что опять смотрит взглядом художника, творчески запоминающим взглядом.

Свое, настоящее, дающее смысл жизни, говорило внутри него все ощутительнее и властнее.

Он усмехнулся и опять зашагал по мосту.

Дома он сел за стол, вынул лист бумаги и уж взялся за перо, как вдруг зазвонил телефон. С неудовольствием взявшись за трубку, Кудрин услыхал голос Половцева.

— Федор Артемьевич, простите, что так поздно,— но я только что узнал от Маргариты Алексеевны потрясающее известие. Она говорит, что вы уходите из треста. Что это — шутка?

— Почему шутка? — сухо спросил Кудрин.

— Да не в самом же деле. Мне Маргарита сказала мотивы, и я иначе как шутку воспринять не могу. Бросить прекрасное положение, крупную работу и идти,— куда? Вы же не маленький, чтобы вам рассказывать, как живут в наше время художники. Хлеб, вода и кислый квас на сладкое. А потом, вы думаете, мне приятно? С вами я сжился, сработался, а теперь черт знает кто у меня хозяином будет. Ну, взбрело вам заняться искусством,— неужели нельзя совместить это с трестовской работой? Нет, я не могу к вашему номеру серьезно отнестись, как ни хотите.

Кудрин злорадно засмеялся в трубку.

— А... Вот когда я вас поймал, уважаемый гражданин! Вот когда я докопался до вашей сердцевинки-то. Все вы таковы, товарищи специалисты, товарищи интеллигенты высокой квалификации. Когда со стороны говорить о бескультурье, о нехватке работников на культурном участке, о нашей неграмотности, о нашем духовном нищенстве —

вы соловьями разливаетесь. А когда нужно идти в бой против бескультурья,— вмиг хвост набок и наутек, потому что в драке за культуру поголодать приходится. Потому что тут ни спецставок, ни тантьем, ни заграничных командировок, а хлеб, вода и кислый квас на сладкое.

— Позвольте, Федор Артемьевич! — услыхал он обиженный вскрик Половцева.

— И позволять не хочу. Все вы за лишнюю копейку с потрохами продадитесь. Черная работка не по вас, не сладка. Шкурники, уважаемые товарищи!

— Я вижу — вы не в духе, Федор Артемьевич. Лучше поговорим после.

— И после разговаривать не хочу. Много я от вас наслушался умных слов, сладких слов. Больше слушать не хочу. А Маргарите Алексеевне скажите, что я ей крепко кланяюсь за дружбу да за честный совет. Баста!

Половцев забормотал что-то, но Кудрин, не слушая, бросил трубку на рычажки и, откинувшись на спинку стула, захохотал.

Ему ясно представилась долговязая фигура технического директора, в костюме в калифорнийскую клетку, с капитанской бородкой заборчиком вокруг подбородка, недоуменно оставшаяся у телефона. Он ощутил мстительное удовлетворение, отплатив профессору за ядовитые и бередившие разговоры.

Нахохотавшись вдоволь, он снова взялся за перо, придвинул стул и стал писать заявление об уходе из треста.

Ленинград,
февраль — сентябрь 1928 г.

РАДИО-ЗАЯЦ

1

К Нефеду Карпычу Антон попал случаем.

После недельной тряски в жестком ящике под вагоном, после второй недели, убитой на слоньбу по питерским рынкам, и ночевок в подвале разрушенного дома на Фонтанке Антон ослабел, ссохся и стал прозрачен, как желтый восковой сот.

А деваться некуда было. В деревню возврат был закрыт,— мачеха не примет, у самой пятеро голодных ртов.

И Антон продолжал бродить по улицам шатающейся тенью, ни о чем уже не думая, и ждал только, без всякого страха, с тупым безразличием, когда подогнутся наконец ослабевшие ноги и можно будет лечь на тротуар, на пыльный асфальт, чтобы ничего больше не видеть.

В этот миг и натолкнулся он на Нефеда Карпыча.

Проходил между ларьками, на широких досках которых громоздились груды снеди, и от них уже даже не тошнило, как прежде, и казалось странным, что люди едят эту снедь. У Антона уже не было желания есть.

Он остановился и прижался спиной к стенке ларька, чувствуя тяжелый звон в голове, сознавая, что еще секунда — и все придет к концу, простому и нестрашному.

Но вдруг услышал над собой трубный голос:

— Эй, ты, оголец, подпорка тебе тут, что ли? Проваливай!

Зрачки еще смогли повернуться на голос, и Антон увидел в ларьке, за горой колбас, человечью занятную морду, широкую и рябую, как яичная-глазунья, а в ней две зорких оловянных пуговицы.

Хотел было оттолкнуться от досок ларька, но поскользнулся и поехал боком на мостовую. Падая, почувствовал смутно, что поднят на воздух, как краном.

— Эй, паренек, сомлел, что ли?

Антон шевельнул белыми высохшими губами, но не мог выдавить звука.

Тогда человек с мордой-яичницей втащил его в ларек и, как комара, плюхнул на табуретку. Заворчал что-то — и о зубы Антона застучала кружка, в рот полился горячий чай, который мальчик глотал с отвращением и жадностью вместе.

— На, вот хлеба с салом, сшамай,— сказал человек-яичница, подсовывая к носу Антона ломоть.

Антон зажевал, вяло двигая челюстями, и в голове начало быстро, толчками воскресать сознание. Он попытался встать, но трехпудовая рука опять пришпилила его к табурету.

— Сиди! Разговор есть. Ты скажи вот, откедова ты такой?

— Голодный... самарский.

— Деревенский? То-то, гляжу, обличье у тебя не шкетово. Опять же голодный. Наш голодать не будет, сам стырит... Ты что ж, и своровать-то не смог?

— Я, дяденька, не можу красть,— слабо сказал Антон.

— Вона какой!.. Годов тебе сколько?

— Тринадцатый.

Яичница ухмыльнулся и задумался. Вдруг опять тяжелепная ручища легла на костлявую Антонову спину.

— Звать как?

— Тошка...

— Ну, слышь, Тошка. Твое, значит, счастье, вроде фортуна. Требовается мне малец по торговлишке помогать, куда-туда сбегать. Городского брать не хотел. Обворует, ракалья, да еще прирежет сонного. А ты, видать, вовсе еще святая халда. Так вот, хошь — оставайся. Кормежка, одежонку справлю. Только работа у меня без баловства... а ежели надумаешь слямзить что — пополам разорву... Согласен?

Антон только закрыл глаза.

2

С того дня утекло два года. Жилось Антону у Нефеда Карпыча не слишком плохо. Кормил сытно, одевать — одевал, под пьяную руку, случалось, тузил, но случалось это не часто.

А втрезве даже хвастался Антоном перед соседями-ларечниками.

— Мой-то — поискать! Два года живет — хоть бы пуговицу стянул. Ничегошеньки!

И особенно ценил Антона за уменье бегло считать на счетах и писать грамотно. Прошел Антон сельскую школу с прилежанием, а Нефед Карпыч хоть и ловок был торговать, зато подпись по полчаса выводил и взмокал, как в бане на полке.

Так и жили вдвоем, пока не нагрянула беда.

Были у Антона две причуды с точки зрения хозяина: жадность несытая к чтению и страсть к механике.

Нефед Карпыч две газеты выписывал, чтобы считали его за благонамеренного и сознательного гражданина, а не за паразитный элемент. И хоть читать вовсе не мог, но в ларьке под рукой всегда держал «Правду» и, как только видел, что идет милицейский, или фининспектор, или другая власть, распластывал перед собой газету и делал вид, что читает.

А к вечеру газета попадала к Антону и тут уж прочитывалась от доски до доски. Иногда и Нефед Карпыч просил прочесть вслух про драки в церкви или про загадочное убийство.

Антон же больше всего напирал на новости науки и техники, а особенно на радио, с тех пор как пошли писать о приемниках, громкоговорителях, антеннах.

А еще любил в промежутках между побегушками заходить в железные ряды, где в лавках лежали груды всякого ржавого лома. Валялись часовые, игрушечные механизмы, изломанные, мертвые.

В эти минуты разгорались у Антона глаза. Иногда перепадали ему чаевые от покупателей, которым таскал он покупки на дом, иногда Нефед Карпыч в праздники, после хороших оборотов, раздобрев, совал Антону рваные бумажки, которые не хотели брать покупатели.

На эти гроши и покупал Антон ломаные механизмы и все недолгое время отдыха копался в них, чистил, свинчивал, маслил, и не было для него больше радости, как

услышать тиканье и потрескиванье оживших колесиков и пружин.

Нефед Карпыч потешался над его страстью, но не мешал.

— Чистый клад у меня дуралей мой. Пятнадцать годов ведь. Другой в это время цигарку в зубы, клеш на полпанели распустит и с любой гуляет, а он все в хламе роется,— говорил он довольно соседу.

Но от механики и стряслась Антонова беда.

Однажды, вернувшись вечером, принес Нефед Карпыч под мышкой большую лакированную шкатулку черного дерева, а по крышке врезаны на ней искусным художником из цветных кусочков дерева и камней цветущая вишневая ветка и на ней воробьи.

— Лафовая работа! — щелкнул пальцем Нефед Карпыч,— японца делал. А главное — в ей секрет. Верхняя крышка попросту открывается, на защелке, а под ей железная, внутренняя, и тут секрет и есть. Пока до секрета не дойдешь, хоть топором бей, не откроешь — железо толщины в полпальца. Купил у генеральши за рупь на барахолке.

Антон взглянул на красивую шкатулку мельком и рассеянно и опять погрузился в чтение книжки. Книжку он выпросил у знакомого студента. Книжка была про радио, и Антон мучительно хмурил брови, стараясь понять, как делать приемник. Уже больше месяца как приемник не давал ему спать. Он ходил и грезил маленькой коробкой, из которой звучат человеческие голоса и чудная музыка. Но книжка, взятая у студента, была написана по-ученому, мудрено, и Антон с досадой захлопнул ее.

Он встал, чтоб отнести ее студенту, и увидел, как Нефед Карпыч клал шкатулку на верх печи, где были вынуты кирпичи.

«Чего это он шкатулку туда попер?» — подумал Антон, выходя.

Вернувшись, он прибрал комнату, вымыл стаканы и залег спать. Завтра было воскресенье — свободный день, и ему хотелось отоспаться.

Проснулся он утром, когда Нефед Карпыч ушел к обедне отмаливать торговые грехи. Взялся было за какую-то машину, но вдруг остановился.

Случайно вспомнилась вчерашняя шкатулка с секретом.

«Вот досада! Читал про радио и не спросил хозяина, какой секрет»,— подумал он. Постоял минуточку раздумы-

вая, взял табурет и полез на печь. Доставая шкатулку, повернул ее боком, что-то внутри затарахтело и покатилось.

— Должно, чего положил хозяин.

Решил поставить шкатулку на место, но вдруг желание посмотреть секрет пересилило.

— Ничего ж ей не сделается. Погляжу и поставлю, пока хозяин у обедни.

Верхняя деревянная крышка отошла легко от нажима защелки. Под ней открылся плотный стальной пласт, весь в прорезах, выступах и пуговках.

Антон нагнулся заинтересованный. Долго пыхтел, возился, вертел и дергал каждый выступ и неожиданно нажал в одном углу, потянул в другом, крышка отпрыгнула с лязгом и звоном, шкатулка от неожиданности вывалилась из рук, и на пол посыпались сокровища Нефеда Карпыча — колечки, браслеты, серьги, часы, под которые он давал ссуды проевшимся гражданам интеллигентного звания.

Антон стоял, остолбенев, и с ужасом глядел на рассыпавшиеся вещи. Опомнился, поспешно нагнулся, схватил браслетку, но вдруг дверь открылась, и на пороге показался хозяин.

Антон открыл рот, чтобы объяснить, что это вышло нечаянно, но не успел.

Молотовый кулачище Нефеда Карпыча сбил его с ног.

Через неделю Антона судили в комиссии для несовершеннолетних.

Нефед Карпыч, дворник и милицейский показали в один голос, что видели вскрытую шкатулку и золотые вещи на полу, а милицейский добавил, что, когда он пришел в квартиру, в руке у мальчика была браслетка.

На вопрос члена комиссии, сознается ли он в совершенном, Антон ответил, что шкатулку брал, но не знал, что в ней, вещами не интересовался, а только хотел посмотреть секрет.

— А зачем в руке у тебя была браслетка?

Антон хотел объяснить, что он намеревался собрать вещи обратно, но подумал, что ему не поверят, и смущенно промолчал.

Председатель комиссии объявил решение. Дело о побоях, нанесенных хозяином Антону, и пользовании его трудом без оплаты передавалось инспектору труда, но Антона за кражу со взломом определили отдать на исправление в детский дом «для правонарушителей».

3

«Исправляемые» встретили Антона сурово и неприветливо.

Когда надзиратель вышел, к нему подошел высокий парнишка с жестокими синими глазами, прищурился в упор и спросил:

— За бока или за коку? [1]

Антон вытаращил на него глаза.

— Чего? Я не понимаю.

— А может, в трамвае чехлы чистил?

— Я по ошибке,— тихо сказал Антон.

Судков прищурился еще больше, хохотнул и сделал ладонью Антону вселенскую смазь, от которой защемило щеки и нос едкой болью, бросил с презрением:

— По ошибке? Вша! Труперда деревенская!

Кругом сидел бывалый городской народ. Говорили на своем, непонятном языке, ругались, хвастались подвигами: кражами, драками. Один двенадцатилетний даже за убийство отсиживал.

Антону было страшно и смутно с ними.

Несмотря на то, что хорошо кормили, ласково обращались, учили в школе и в мастерских, большинство обитателей ненавидели работу и ученье.

И в разговорах мечтали об одном: бежать или скорее вернуться к легкому труду, к вольной бесшабашной жизни.

Она шла где-то там, за толстыми каменными стенами реформаториума, шумная, живая, буйная, и сюда, в камеры, как в склеп, долетали только ее слабые отголоски из рассказов вновь прибывающих.

Антону казалось, что все сидящие здесь уже умерли и больше никогда не услышат настоящего голоса жизни.

Его соседом по койке оказался четырнадцатилетний мальчик болезненного вида. По вечерам его трепала лихорадка, и он лежал молча, поблескивая воспаленными глазами. Звали его все «монтером».

В конце второй недели Антон как-то разговорился с ним.

— Гляжу я на тебя,— надломленным голосом сказал монтер, теребя худыми пальцами одеяло,— и дивлюсь. Какой тебя леший сюда занес? Попал, должно, от дурости. Как тебя с такой головой угораздило шкатулку ломать? А?

Антон вспыхнул.

[1] За часы или за кокаин.

— Да говорю ж тебе, что и не думал я красть. Только в секрете все и дело. А хозяина и принеси в самую минуту. Ну, известное дело,— испужался. Разве его уверишь, что мне его золото ни к чему. Два года ведь жил, мог дотла обчистить, а я копейки не взял. Все дело в штукатулкином секрете.

Антон заволновался и, размахивая руками, стал рассказывать монтеру, как он возился с машинками. Монтер слушал внимательно, впалые щеки порозовели.

— Вон как! — сказал он,— я тоже по этой части шел, при дядьке работал, электромонтерствовал. Хорошо жилось, да компания подкузьмила. То конфеты, то в кину. Так и начал понемножку по квартирам, где с дядькой работали, тырить что придется. А сорвался на часах, что у одного доктора со стола угреб.

— Ты что ж, значит, электричество проводил?

— Всяко бывало. Последнее время мы больше радио устанавливали,— мечтательно ответил монтер.

Антон быстрым движением вцепился ему в руку.

— Радио? — закричал он,— ты радио умеешь делать?

— А что? Ты спятил, что ли? — вырвал руку с недоумением монтер.

Антон смотрел на него, дрожа от волнения и неожиданности.

— Ты и приемники умеешь делать? Настоящие, чтоб слышно было?

— Вот хазина соломенна! — сказал монтер усмехаясь,— а что ж ты думал, все такие святые дурачки, как ты? Я, брат, с усилителями умею работать,— закончил он с гордостью.

— А что для него нужно... для приемника? — почти задохнувшись восторгом, спросил Антон.

Монтер посмотрел на него пристально.

— Да ты никак и вправду рехнулся? Зарядил, как попка... приемник... приемник. Может, здесь хочешь поставить приемник, с Лиговки от шпаны каблограммы с поздравлением получать? Вот стоеросовый! Иди к черту! Я спать буду,— он отвернулся к стене и натянул на нос одеяло.

4

Но на следующее утро Антон снова взялся за соседа.

— Монтер, а монтер!.. А ты слыхал, как оно разговаривает?

— Кто?

— Ну радио.

— Опять ты с радио!.. Ясное дело, слыхал. Москва поет, а тут тебе в трубке как рядом. И пение и музыка. Балалайка здорово шпарит.

Антон шагнул к приятелю. Лицо у него налилось румянцем, и он тихо сказал:

— Монтер... давай делать приемник.

— Здесь? Да ты поди к доктору. Вот орясина! — рассмеялся монтер, но глаза его тоже зажглись странными искрами.— Как ты его сделаешь? Матерьял нужен, деньги нужны.

— Сколько?

— Рублей восемь. Приемник — он чепуху стоит, а трубки сам не сделаешь, покупать надо. Если б на воле, с телефона бы срезал где, а тут не возьмешь.

Антон задумался.

— А хорошо бы сделать. Сидим мы тут как дохлые, только и жизни, что в сад на прогулку. Очертел он, сад этот. От скуки пропадаем. Всего и дела, что воровством хвастают ребята да похабное несут, аж тошнит. А тут бы тебе каждый вечер музыка, поют тоже вот хорошо. У нас в деревне учительша в школе пела, просто как иволга.

— Да что ты прилип, как банный лист. Я сделать не прочь. Достань деньги, сделаю,— и монтер раздраженно отошел.

Эту ночь Антон не спал. Вертелся на койке и томительно думал. Под утро уже лукаво улыбнулся и уснул.

Перед обедом, по выходе из мастерской, он торжественно показал монтеру пустую консервную коробку, привязанную на веревке к короткой палке. На коробку была наклеена бумага, а по ней крупно выведено: «Граждане, положите сколько можете, для заключенных детей на радиоприемник».

— Что ж ты с этим делать хочешь? С луны деньги удить? — засмеялся монтер.

Антон молча подтащил его к окну, выходившему на улицу.

— Буду спускать в форточку, как кто идет. Двое обругаются, третий даст.

— Вот черт,— хмыкнул монтер,— и придумал же! Орясина орясиной, а обмозговал. Пробуй!

Коробка скользнула в форточку и сползла вниз к носу какого-то прохожего. Наступила тишина, шаги оборвались, и вдруг послышалась крепкая ругань.

— Не выйдет,— сказал монтер, сразу угаснув,— брось!

— Говорю, выйдет! Вот еще кто-то идет.

Снова закачалась коробка. После тишины с улицы донесся женский смех и голос: тащите.

Коробка взвилась. На дне ее лежал двугривенный.

— Я тебе говорил, что есть люди на свете,— убежденно сказал Антон.

Пять дней Антон и монтер проводили свободное от занятий время у окна, вылавливая пожертвования. Дело шло с переменным успехом.

Опять многие ругались, какой-то прохожий даже оборвал коробку и пришлось привязывать другую, но все же под конец собралось четыре рубля тридцать копеек.

Мало-помалу другие обитатели реформаториума тоже ввязались в Антонову затею, сперва с насмешками и руганью, но понемногу интерес к говорящей музыке, о которой многие слыхали впервые, затянул их всерьез.

У коробки установились дежурства.

Вечерами ребята собирались у койки монтера и, сопя от напряжения, слушали спутанные объяснения мальчика и разглядывали неуклюжие чертежики схем, нахимиченные карандашом на лоскутах бумаги.

Жесткоглазый парнишка Судков, привыкший главенствовать над всеми, хотел было отобрать собранные деньги, но ребята подняли бузу и пригрозили, что накроют всем гуртом и забьют до смерти.

Затея Антона привлекала все новых и новых сторонников.

— Конечно, здорово! — говорили ребята,— все одно вечером слоны слоняем, сами себе надоели, а тут такая штука — и поет тебе, и играет.

— Вот семь целковых наберем, тогда попрошу заведующего, чтоб купили все нужное, и в мастерской сработаем как игрушечку,— разъяснял монтер.

На следующее утро коробка, спущенная дежурным в третий раз, очень долго висела неподвижно. Дежурный решил, что прохожий не заметил, и потянул, но услыхал окрик:

— Погоди.— Немного спустя он услышал: — Подымай!

В поднятой коробке оказалась записка. Все сбежались и стали разворачивать листок, затаив дыхание.

«Мальчата! Я инженер, работаю по радио. Рад счастливой встрече. Вы умеете сделать приемник? Может, нужно помочь? Пишите».

— Стой, братишки! Давай карандаш, сейчас я ему все досконально насчет техники,— засуетился монтер.

Он быстро начиркал ответ: «Товарищ енжинер. Приемник умеем делать, толька нет дениг штоб усилитель, без его плоха слышный. Памагите».

Коробка вернулась с запиской: «Ждите завтра оклика».

— Вот это подвезло,— сказал довольно монтер,— инженер,— он собаку съел, он во́ что сделать может.

Но наутро все стояли у окошка, ждали, а оклика не дождались. На занятия пошли мрачные и подавленные. Сообразили, что инженер надул, и проклинали его на все лады.

Среди работы дверь мастерской открылась и на пороге появился заведующий, а за ним какой-то неизвестный рыжеватый высокий человек в сером пальто.

Заведующий оглядел мастерскую и сказал:

— Антон Заровняев, Василий Ключарев, подойдите сюда!

Антон и монтер подошли, недоумевая.

— Вы почему ничего не сказали мне, что затеяли делать радиоприемник? Почему вы занимаетесь попрошайничеством? — строго спросил заведующий, но под усами его забегала лукаво-добрая усмешка.

Антон и монтер стояли повеся головы. Было ясно, что инженер не только надул их, но еще и нажаловался.

— Нужно было сказать сразу,— продолжал заведующий,— я бы разрешил вам и дал бы материал.

Антон и монтер молчали.

— Ну, ничего. Не вешайте головы. Вот товарищ Татаринов решил заняться с вами.

Человек в сером пальто поздоровался с мальчиками за руку.

— Вы на меня не злитесь, мальчата,— сказал он ласково,— я вчера после вашей записки пошел в губоно и получил разрешение заняться с вами. Ну вот, я пришел и принес материалы.

Он положил на стол сверток.

— А теперь, ребята, за работу.

Слова его были встречены восторженным гамом, и заведующему с трудом удалось водворить тишину среди радостно разбушевавшихся мальчиков.

Работа закипела.

Татаринов приходил каждый день часа на два. Мальчики старались вовсю, оттачивая каждый винтик, отшлифовывая каждую дощечку.

На четвертый день приемник к вечеру был собран.

Татаринов с Антоном и монтером с четырех часов возились на крыше, укрепляя антенну. Наконец все было сделано, и они спустились вниз.

— Ну,— сказал Татаринов, вынув часы, монтеру,— умеешь настраивать? Валяй. Сейчас Москва начинает концерт.

Монтер, пыхтя от волнения, задвигал рычажки, ловя волну. Вдруг он широко улыбнулся и опустил руку.

— Слыхать! Живой голос!

Мальчики стояли, боясь дышать. В раковине трубки, прижатой к ушам монтера, ясно слышались поющие звуки.

Мальчики подходили, один за другим, тихие, присмиревшие, взволнованные,— слушали и так же молча отходили. На лицах их была грусть и радость вместе.

Подошел даже Судков с наглой усмешкой, взял точно нехотя трубку и долго не отходил, а когда уступил очередному, топтавшемуся от нетерпения, губы его, разгладившись, потеряли свою недетски жестокую складку, и он, словно отгоняя тяжелое воспоминание, тряхнул головой и быстро ушел.

— Пусть мальчата слушают,— сказал Татаринов, взяв Антона и монтера за руки,— а мы пройдем в канцелярию. Мне нужно с вами поговорить.

В канцелярии он усадил их и сел сам.

— Вот что, детишки! Я пригляделся к вам за эти дни. Вы славные парни! И я получил разрешение взять вас на поруки. Хотите работать в радиомастерских?

Антон и монтер подскочили на стульях, вспыхнув от радости, но вдруг разом переглянулись и потускнели. И Антон, выражая поразившую обоих мысль, сказал тихо и тревожно:

— А товарищи? Они ж по радио мало смыслят, сами не управятся. Монтер один у нас все знает, а я ему помогать должен.

— Ничего,— ответил Татаринов,— заведующий обещал их научить и помогать дальше. Они тоже вернулись к жизни.

— Радио им поможет!

<1928>

БЕЛАЯ ГИБЕЛЬ

1

Струистые ленты хризолитового блеска, шелестя, качались внизу, и на их сверкающих сгибах вздрагивали опаловые тени высоких, ленивых, круглых облаков. Облака плыли над заливом, над косматыми взлобьями скал, на восток, навстречу ширящемуся молочно-розовому сиянию рассвета и, наливаясь им, розовели над морем, как теплые девичьи тела на пляже.

Хризолитовые ленты с медленным и тягучим шипением рвались, разбивались, рассыпались сияющими, живыми хрустальными пузырьками. Пузырьки в шаловливую перегонку, кувыркаясь и блестя, катились на сероватую полосу гальки и гасли в ней.

Ленты валов медленно и валко шли без числа из открытого устья залива, из матовой глуби зыбкого тумана, залегшего над далью, над гудящей широтой океана.

За свежими, желто-смолистыми сваями пристани, в глубине бухты, лепясь к грузным скатам плато, к вывихнутым корням горных сосен, к темной шерсти хвои, притаившимися подслеповатыми троллями спали дома фактории.

Черные косящатые оконца мрачно пялились на море. В одном только окне крайнего сарая электростанции сонно трепетал бледный сиреневатый свет, стираемый утром.

Утро великой тишины просыпалось над заливом неторопливо, торжественно баюкаемое шуршаньем шелковых лент и детским плачем чаек.

На перемычке последних свай сидел, свесив ноги над водой, парень в брезентовых грубых сапогах и вязаной

серой фуфайке. На его брови, белые лохматые брови северного человека, свисала кисточка шерстяного, зеленого с белым, колпака.

Парень рассеянно болтал ногами. Блеклые синие глаза бездумно наливались розовым утренним медом. Он мурлыкал простую, двухтактную, древнюю, как мир, как лето, как июньское утро, ласковую мелодию деревенской песенки. Парень не ложился спать в эту ночь.

Около полуночи, в зеленом сумраке летней ночи он поджидал на другой стороне бухты, в охотничьем еловом шалаше, служанку старшего инженера фактории — Ингрид.

Ингрид была высока ростом, статна, широка в кости. У Ингрид был ярко-кровавый рот, и в нем узкие полоски зубов лесного зверька. Она умела высоко и звонко петь, так же высоко и звонко смеялась. От этого смеха у парня стискивало дыхание и начиналась щекотка под коленями. Он два месяца бродил вокруг домика инженера, не находя случая подойти, мучаясь и потея от желания заговорить с девушкой.

Ему помогла весна. Когда майское солнце прогрело землю и из-под прозрачных побурелых пластов снега вышли наружу густые рыжие мхи, шуршащие под ногами, он, блуждая вокруг дома инженера, натолкнулся нежданно на узкой тропке на Ингрид. Еще льдистый, но уже волнующий влажными запахами майский ветер трепал ее цветной платок.

Парень остановился посреди тропинки, опустив руки. Кисти их свинцово отяжелели и загудели от напора крови. Он стоял так, не сводя взгляда, испуганного и пустого, с подходящей Ингрид.

Она подошла вплотную, раскрыла ослепительный рот и засмеялась.

— Сойди с тропинки,— и легко толкнула парня под ребро. Он отлетел в сторону, путаясь сапогами во мху, и так же остолбенело смотрел, как она проходила мимо. Пройдя, обернулась и крикнула:

— Как тебя зовут, чертополох?

— Нильс,— завязшим во рту голосом выдавил он.

— Нильс? Я так и думала. Ты самый большой дурак на всем берегу. Ступай сюда, урод, и не хлопай гляделками!

Он подошел, и по мере того как приближался, она смеялась все выше и звонче. Он смотрел на нее, на сильные

ноги, открытые взвившейся юбкой, на сочную грудь, колебавшую кофту, как волна в заливе колеблет тени облаков, и молчал. Она подбоченилась:

— Ну, чего тебе нужно? Что ты весь мох кругом дома стоптал? Что ты буркалы свои водяные на меня пялишь? А?

Парень вспотел с ног до головы.

— Ты мне по сердцу, Ингрид,— прохрипел он, надеясь, что ветер унесет его дерзкие слова.

Но она покраснела и захохотала:

— По сердцу? Овца, утри слюнки!

Маленькая жесткая рука мазнула его по губам. Он зажмурился, как от ожога, и когда рискнул взглянуть, Ингрид, хохоча, бежала к дому.

В следующее воскресенье они уже плясали на площади и ходили под руку. Еще через неделю Ингрид впервые пришла в охотничий шалаш. Теперь парень больше не боялся ее. Он привык к яркому рту и не дрожал уже от смеха Ингрид. Он стал хозяином в игре, и роли переменились. В эту ночь он вдосталь насытился смеющимися губами.

Пьяный и усталый, он довел Ингрид до тропинки. На прощанье лениво, по-хозяйски, обнял. Идти домой не хотелось. Слишком зазывно шелестело море, слишком томно и медлительно проплывали к востоку круглые ленивые июньские облака, слишком раздражающе визжал пронзительный оркестр чаек.

Он свернул к бухте и залез на сваи пристани, чтобы поглядеть еще раз вблизи, без цели, так, от любовной пресыщенности и безделья, на большую серую птицу, бесшумно спавшую на легкой зыби бухты.

Птица прилетела в Джерри-Бай с юга три дня тому назад и уже третью ночь неподвижно колыхалась на воде. Стройная, ширококрылая, распластавшаяся над водой, она все время притягивала внимание Нильса.

Из разговоров в фактории он знал, что птица должна скоро улететь на север, но час ее отлета никому не был известен.

Ее серое тело тонкими лапами металлических труб опиралось на два широких поплавка, и поплавки эти казались Нильсу как будто издавна знакомыми, старыми друзьями. Вероятно, это происходило оттого, что поплавки были похожи на шерстяной колпак Нильса — зеленые с белыми полосами.

Когда Нильс взобрался на сваи пристани и взглянул на птицу, он, впервые за три дня, заметил в ней признаки жизни.

Верхний люк в сером узком теле птицы был открыт, и у двух широколопастных крестов, повисших над крыльями, возился человек в синем рабочем комбине. Морские глаза Нильса, не потерявшие зоркости от бессонной ночи, по-звериному ясно видели в руках человека в синем комбине блестящие искры инструментов. Нильс смотрел и ждал, что птица заклохчет часто и гулко, как в день своего прилета, и оба креста сольются в стремительные гудящие круги.

Но человек в синем, очевидно, не был склонен доставлять береговому ротозею бесплатное развлечение. Вскоре он исчез в корпусе птицы и больше не появлялся. Птица молчала, покачиваясь. Поплавки плавно ныряли, зарываясь в волну и выскакивая из нее, сверкая от облипавшей их на секунду воды.

Нильс, зевая, смотрел на птицу, но уходить не хотелось. Какая-то внутренняя сила приковывала его к мокрым и скользким бревнам, сидеть на которых было неудобно и холодно.

Он отвернулся от птицы и лениво оглядел ширь залива. Из устья его, разрывая шаткие клочья тумана, выползал моторный куттер. На черном борту белела мелкая надпись, и Нильс напряг зрение, чтобы разобрать ее. Но куттер был еще далек и обвит туманом. Куттер был чужак, не из Джерри-Бая, случайно забредший за пресной водой или консервами. Это было ясно — все свои куттера были наперечет, и для них не нужно было трудиться читать название. Их можно было узнать по корпусу, по оснастке, по другим признакам. Подавшись вперед и приставив ладонь ко лбу, Нильс разглядел на корме куттера вертикальные полосы флага: синюю, белую, красную.

«Французская галоша»,— подумал он презрительно.

Занятый установлением личности куттера, он не заметил легкого скрипа досок позади себя и обернулся только на говор. По пристани шли люди. Между ними он узнал директора фактории Гельмсена и инженера — хозяина Ингрид.

Первой мыслью его было, что инженер узнал о любовной игре с Ингрид и пожаловался директору и вот теперь эти люди идут, чтобы задать ему трепку. Он испуганно вскочил, поскользнувшись на сваях, но сейчас же успо-

коился. Идущие не обращали на него никакого внимания. Они приближались, отрывисто переговариваясь.

Впереди, окружая директора, шли четверо в меховых одеждах и кожаных круглых шапках, похожих на поплавки невода. Один, небольшого роста, шедший с инженером, смеялся молодым звонким смехом, и этот смех почему-то напомнил Нильсу смех Ингрид.

Когда люди подошли вплотную, Нильс увидел, что у смеющегося мальчишески упругие, нежные, покрытые пушком щеки и карие смешливые глаза. Он был очень юн.

Позади первой группы шли низшие служащие фактории, в том числе механик, монтер Яльмар. Идущие дошли до конца пристани, до того места, где на воде дремала моторная лодка фактории «Эльга». Яльмар по шаткому трапу сбежал вниз и сбросил чехол с мотора.

Один из людей в меховых одеждах остановился совсем рядом с Нильсом и повернулся к нему в профиль. На зеленовато-золотом блеске утреннего света вылепился темный силуэт крупного угловатого лица с горбатым выступом носа, окаймленного глубокими продольными морщинами, сходящимися на подбородке. Узкие синеватые губы сжимали мундштук трубки, и, поглядев на трубку, на крепкий очерк лица, Нильс вспомнил портреты, не раз виденные в газетах, и вспомнил, что этот человек, которого в его стране и повсюду звали Победителем, должен был лететь на большой серой птице к северу.

Нильс отступил на шаг и быстро снял колпак. Ветер сбросил ему на лоб белые клоки волос; он нетерпеливо зачесал их назад пятерней.

Он знал, что этого высокого старика, с которым за руку здоровается сам король, нужно уважать. Он подобрался и вытянул руки по швам.

Но тот, кого звали Победителем, не смотрел на него. Он повернулся к директору Гельмсену. Сухие губы его разошлись вокруг мундштука лукавой усмешкой.

— Отлично, господин Гельмсен,— сказал он чуть глуховатым голосом,— наша хитрость удалась. Ни одного интервьюера, ни одного фотографа.

Директор Гельмсен почтительно и тихо засмеялся.

Внизу запыхтел пущенный Яльмаром мотор. Победитель, прищуривая глаза, посмотрел на солнце. Веки покрывали его зрачки, как пленка, и Нильс увидел, что эти глаза похожи на глаза мудрой и смелой птицы.

— День будет ясный,— произнес Победитель и, снова обернувшись к директору, спокойно сказал, как будто исполняя простой обычай вежливости: — До свиданья, господин Гельмсен! Благодарим вас за гостеприимство.

Директор подался вперед, хватая протянутую ладонь, и Нильс увидел на его одутловатом лице, опушенном бородкой, испуг.

— До свиданья. Когда же ждать вас обратно?

Победитель ответил не сразу. Он посмотрел на устье залива, на остатки тумана.

— Никто не может сказать точно. Инструкции у вас есть. Если на третьи сутки вы не увидите нас в бухте, сообщите в штаб воздушного флота. Но я думаю, нет оснований... Если туман...

Он еще раз взглянул на залив, и Нильс вторично увидел его необычный, запоминающийся профиль.

Остальные молча стояли за ним. Похрипывало астматическое дыхание директора Гельмсена. Наконец Победитель обернулся к ожидающим:

— Пора, Эриксен! В лодку!

Великан в меховом костюме коснулся рукой кожаного шлема и уверенно пошел по ступенькам трапа. За ним сошли двое других. Победитель еще стоял, пожимая тянущиеся к нему руки. Нильс придвинулся ближе, чтобы не упустить ничего.

Шагнув к трапу, Победитель встретился взглядом с глазами Нильса. В их блеклой голубизне он увидел ясный детский восторг. Он улыбнулся и, поставив ногу на ступеньку, положил ладонь на плечо Нильса.

Нильс стоял вытянувшись, прижимая руки к бедрам, по-солдатски.

Победитель похлопал парня по плечу.

— Будь здоров, малый,— сказал он, смеясь,— не унывай, кланяйся своей крале.

«Откуда он знает?» — машинально подумал Нильс, густо покраснев, но прежде чем он успел разжать рот, Победитель уже был в лодке.

Ее нос отвернулся от свай, и за тупо срезанной кормой побежала по зеленоватой глубине кипучая пенная струя по направлению к качающейся на волне серой птице. Лица сидящих в лодке быстро уменьшались и таяли.

Так Нильс Воллан, кавалер и возлюбленный смешливой служанки Ингрид, стал последним, чьи глаза запомнили прощальный взгляд Победителя.

2

Серая птица, спавшая три ночи в пустынной бухте Джерри-Бай, приняла в свое металлическое тело пятерых, чтобы нести их на своих крыльях над фиордами, над косматыми взлобьями скал, над темной шерстью хвои и дрожащей прозрачной листвой берез — на север, в белые пространства.

Пятеро были разными. У каждого по-своему билось в такт металлическому сердцу птицы живое человечье сердце и по-своему работали серые таинственные клеточки человеческого мозга.

И в кровеносных сосудах текла разная кровь.

Тот, кто сидел в передней застекленной кабине, перед загадочными для обычного человеческого сознания циферблатами, трубками и проводами, положив на обод руля бледные тонкие сухие пальцы неврастеника,— был француз.

Его, под именем лейтенанта Гильоме, знала Франция.

Патриотические парижские буржуа, томные дамы высшего света и пестрые женщины бульваров и кафе дрожали от восторга, развертывая в дни войны, в постелях, свежие простыни газет, читая о семьдесят пятом боше, сбитом непобедимым королем воздуха, лейтенантом Гильоме.

Парижские фирмы наживались на его имени:

«Ликер Гильоме».

«Сигареты Гильоме».

«Шелковые гарнитуры Гильоме».

«Десертный шоколад Гильоме».

«Плащи Гильоме».

«Идеальные дамские шарики Гильоме».

Все, что носило прославленное, несравненное имя героя Гильоме, имело обеспеченный сбыт. Благодарные фабриканты присылали лейтенанту Гильоме огромные посылки с образцами фабрикатов на фронт.

Дрянные сигареты и скверный шоколад Гильоме раздавал механикам и солдатам аэродрома, и это еще больше увеличивало его популярность в армии и стране. Дамские шелковые комбинации и идеальные предохранительные шарики Гильоме из озорства разбрасывал с воздуха над немецкими позициями, и газеты, захлебываясь, твердили о неподражаемом остроумии короля воздуха, который, как галантный рыцарь, заботится о немецких дамах.

Но Гильоме по ночам мрачно напивался с другими не менее знаменитыми летчиками, а утром с тяжелой головой и скукой подымался в отравленный тротиловой и пироксилиновой вонью воздух и привычно гонялся за немецкими авио.

У него была необычайная зоркость, звериное чутье машины, выработанное долгой практикой. Свой одноместный истребитель он знал как самого себя.

Завидев немца, он, нахмурясь, прибавлял газ; истребитель, вздрагивая, как живой коршун, бросался за врагом. Начиналось бешеное, стремительное кувырканье в воздухе.

Обе машины, преследуемая и преследующая, танцевали дьявольский воздушный танец, взлетали вверх, рушились вниз, кидались в стороны, пока стремительным маневром лейтенант Гильоме не подбирался снизу под самолет противника.

Тогда Гильоме неторопливо клал бледные тонкие пальцы на затылок пулемета. Он признавал только русский пулемет «максим» — это был его каприз; и для него всегда держали в парке запас лент с разрывными пулями.

Худое горбоносое, с чахоточными пятнами, лицо нагибалось к прорези прицела, большие пальцы нажимали спуск, и в оглушающий рев пропеллера врывалась хриплая чечетка пулемета.

Над аппаратом противника вспыхивало розовое облачко взорвавшегося бензина, он окутывался черным хвостатым дымом и, закачавшись, нырял в бездну, проносясь огненным коконом мимо ускользающего истребителя.

Лейтенант Гильоме на прощанье махал ему рукой.

Лейтенант Гильоме не ненавидел немцев. Он не болел шовинистической горячкой, он считал войну грязной песьей свалкой и открыто говорил об этом везде и всюду. И тем не менее он сбивал немцев везде, где это было можно; и при одном имени Гильоме у лучших немецких летчиков холодели ладони и горло сжимала неприятная спазма.

Лейтенант Гильоме не хотел убивать своих товарищей по ремеслу, которые были по ту сторону фронта и носили немецкие фамилии. Гоняясь за немецкими самолетами и сбивая их, он всегда избегал думать о том, что на сбитой и пылающей машине горит живой человек.

И, пробегая в моменты отдыха слюнявые излияния газет о воздушном Баярде, «пламенеющем священной нена-

вистью к варварам-бошам», лейтенант Гильоме рвал газеты, плевался и ругался самыми затейливыми ругательствами.

Ибо он один знал настоящую причину своей неутомимой погони за немцами, причину, в которой не было ни тени патриотизма, ни тени «священной ненависти».

Да, лейтенант Гильоме ненавидел... Ненавидел фронт с его кровью, грязью, насекомыми, вонью экскрементов и трупов, грохотом и бестолковщиной. Лейтенант Гильоме любил только Париж, и в Париже он любил только Жаклин Лятри.

На борту своего истребителя в свободный час он сам красной лаковой краской «Гильоме», присланной ему с почтительнейшим письмом фабриканта на мягкой шелковой бумаге, которую лейтенант с удовольствием использовал после обеда, вывел имя «Жаклин».

И разлука с Жаклин и Парижем была самым тягостным испытанием для лейтенанта.

В армии существовал негласный приказ, по которому каждый летчик, сбивший немецкий самолет, получал двадцатичетырехчасовой отпуск в Париж.

И лейтенант Гильоме, ежедневно рискуя своей головой, зарабатывал отпуск, бросался в поезд, несся в Париж, выхватывал Жаклин из ее гнездышка на Rue Saint Martin, кружил до полуночи по кабакам и остаток ночи, до утреннего поезда на фронт, торопливо и стремительно ласкал подругу в спутанном беспорядке шелков и кружев огромной средневековой постели.

С окончанием войны лейтенант Гильоме вышел в отставку и стал неразлучен со своей возлюбленной.

Он был на редкость постоянен для француза и, казалось, мог бы без конца наслаждаться этой любовью.

Надо сказать, что Жаклин стоила постоянства.

Гильоме нашел ее в начале войны, еще будучи сержантом и заканчивая обучение в школе летчиков, в маленьком бистро возле Версаля. Она была там постоянной посетительницей, почти служащей.

У нее была необычная профессия. Она резала маленькими ножничками быстро и точно силуэты посетителей. Но за особую плату для любителей, она с такой же быстротой и подлинной художественностью вырезывала очаровательно непристойные сценки. При этом у нее была внешность скромной, хорошо воспитанной девочки, получившей образование в каком-нибудь кармелитском монастыре.

Вырезав из плотной черной бумаги изощренно эротическую группку, она подавала ее заказчику, смотря на него ясными, чистыми, как будто отражавшими безмятежную голубизну провансальского неба, глазами, и в них светилось такое невозмутимое целомудрие, что ни один из заказчиков не рисковал сострить по поводу ее работы.

Ученик школы летчиков Гильоме пришел в бистро с компанией приятелей, таких же вольноопределяющихся. Они успели достаточно нагрузиться аперитивами и абсентом, когда вошла Жаклин и скромно села на свое обычное место за столиком в углу.

Приятели указали Гильоме на Жаклин и объяснили ее ремесло. Заинтересованный, он поднялся и, несколько нетвердо шагая, направился к девушке.

Бросив на стол десятифранковую бумажку, он просил вырезать ему историю любви Зевса к Европе и с интересом следил за быстрыми движениями прозрачно-розовых пальцев, действовавших ножничками.

Когда девушка, взглянув ему в глаза безгрешным взглядом серафима, подала свою работу, исполненную с экспрессией и откровенным реализмом, Гильоме, прищурясь, поглядел на силуэт, потом на нее и сказал весело:

— А не кажется ли тебе, пичужка, что гораздо веселей проделывать все это в натуре с хорошим малым вроде меня, чем вырезывать такую роскошь для потехи дураков?

Жаклин, не опуская глаз, спокойно спросила:

— Мсье уверен в этом?

Гильоме засмеялся.

— Конечно, малютка! Бросай свою пачкотню, и я воспроизведу все это с тобой куда реальней.

Она вздохнула и молчала несколько секунд. Сложила ножницы и бумагу в крошечный портфелик и, вздохнув, ответила:

— Хорошо, мсье.

Они провели ночь в загородной гостинице, и наутро Жаклин, полубезумная, с синими тенями под глазами, потянувшись, обняла Гильоме и прошептала мечтательно:

— Мой дорогой, ты прав! Это куда приятнее, чем только вырезывать на бумаге.

В это же утро Гильоме узнал, что она живет у старого скупого отчима, который ей смертельно надоел. Он перевез ее в мансарду, а оттуда, по мере того как росли его военная слава и дивиденды в предприятиях, использовавших его имя,— в пышный маленький особнячок. Они по-настоя-

щему полюбили друг друга, и эта любовь не погасла со временем.

Но после войны, живя счастливым бездельником, Гильоме вдруг томительно затосковал в уютном гнездышке. Он никак не предполагал, что та пьянящая игра со смертью, которую он вел в течение трех лет, может стать настолько привычной и настолько необходимой, что, просыпаясь в дни мира в белой спальне, рядом с теплым, безупречно прекрасным телом Жаклин, он будет скучать по грохоту, дыму, суматохе аэродрома.

Он вставал с постели, открывал окно в сад и жадными тоскующими глазами смотрел в мирное голубое небо, ласковая тишина которого не нарушалась пчелиным жужжанием летящей неприятельской машины. И если случайно в такое утро по небу внезапно проносился какой-нибудь почтовый аэроплан, он провожал его, вцепившись в подоконник, как в руль своего истребителя.

Он пробовал определиться на службу в компанию воздушных рейсов. Его приняли с почтением почти подобострастным. Имя Гильоме сохраняло еще свое обаяние. Но, вернувшись из второго рейса, он яростно швырнул свое кожаное пальто в угол и на заботливый вопрос Жаклин зарычал, сжав кулаки:

— Сто тысяч чертей! Тоска! Я летчик, а не кучер фиакра. Возить этих глаженых олухов в цилиндрах и их жирных сук и получать за это монету по таксе? К дьяволу!

Он ушел со службы компании воздушных рейсов, купил себе собственный «Дорнье-Валь» и кружился на нем ежедневно, снедаемый бездельем и скукой. Его тянуло к настоящей большой работе летчика, какая была у него в дни войны,— такой работе, которая бы щекотала нервы, давала ощущения и несла громкую славу.

Но мирные будни разжиревшей Европы не давали простора романтике.

Имя Гильоме стало понемногу затягиваться серой пленкой забвения.

Гильоме ринулся в кругосветный перелет, но тут, впервые за его летную карьеру, его постигло несчастье. В тридцати километрах от Парижа он имел вынужденный спуск и был привезен домой с вывихнутой рукой и ободранным носом. После этого, в ярости, он продал помятый «Дорнье-Валь» и сказал Жаклин, что не хочет больше летать в это чертовское время, когда не умеют ценить настоящих лет-

чиков и когда весь воздух загажен антеннами и тому подобной дрянью.

Он сажал рассаду, подстригал клены и купоны облигаций, любил Жаклин — и все-таки тосковал.

Но однажды почтальон принес ему большой пакет, запечатанный красной печатью с королевским гербом северного королевства.

В нем он нашел приглашение лететь на спасение застрявшей на 82° северной широты команды экспедиционного судна «Роза-Мари».

Полет был рискован, тяжел, но обещал приключения и славу. Главой предприятия был Победитель, человек, перед славой которого слава Гильоме была пустой погремушкой.

Гильоме показал письмо Жаклин. Жаклин, видевшая, что он тоскует, и жалевшая его, не только благословила его на полет, но пожелала лететь с ним вместе. Гильоме изумленно взглянул на нее и, отбросив письмо, кинулся целовать ее с таким жаром, что она вспомнила давнюю ночь в загородной гостинице, когда она впервые убедилась, что любить приятнее, чем вырезывать любовь на бумаге.

Через неделю они выехали на север. Встретясь с Победителем, Гильоме уперся, как вол, поставив условием, что без Жаклин он не летит. Спорить было некогда, и Жаклин заняла свое место в самолете. Нежный розовощекий юноша, виденный Нильсом Волланом на пристани в таком же меховом костюме, в каком были все люди, прилетевшие на серой птице,— была Жаклин Лятри, верная подруга бывшей славы и гордости Франции, лейтенанта Гильоме, летевшая с ним вместе в полет, который нес Гильоме развлечение, настоящую работу и новую славу и который был для него лучшим лекарством от медленной и съедающей сердце тоски фокстротных будней и размеренной жвачки усыпленных победой рантье.

3

Вальтер Штраль родился в Саксонии,— в Саксонии, где весной яблони наливаются в одну ночь розовым снегом цвета и где хороши девушки, как поется в старой саксонской песенке.

Но Вальтер Штраль мало обращал внимания на яблоневый цвет и на прекрасных, тугих и багровощеких сак-

сонских девушек. С девятилетнего возраста Вальтер Штраль помогал отцу в багровом чаду сельской кузни.

У старого Штраля была пышная и плодородная, как саксонская почва, жена.

Каждый год она рожала во славу и на пользу расцветающей германской империи. Работы в деревушке было не так много, а ртов в семье было тринадцать, и от этого старый Штраль согнулся несколько раньше, чем это следовало бы по жизненным законам.

От этого же Вальтер Штраль был отправлен на четырнадцатом году в Дрезден, к дяде Фрицу, имевшему в предместье крошечную мастерскую по починке велосипедов и мотоциклов.

У детей старого Штраля не было ничего, кроме головы и рук, и им нужно было знать какое-нибудь ремесло, чтобы путешествовать вокруг жизни.

У дяди Фрица, к великому огорчению Германии, не было своего приплода: дядя Фриц был закоренелый и непатриотичный холостяк.

Пока он был молод, он не отказывался от веселых встреч с маленькими мещаночками или бойкими кельнершами, но с педантичной осторожностью избегал отягощать простые романы сложными результатами. Постарев, дядя Фриц свою любовь перенес на мастерскую.

Он любил дело и был поэтом гаек, винтов, конусов, спиц, шайб, поршней и прочих велосипедных и мотоциклетных мистерий.

Задумчивого и рассеянного племянника он приучал к такой же любви и вниманию жестко и настойчиво. После двух лет пребывания у дяди уши Вальтера значительно выросли от постоянного дерганья.

Это не понравилось Вальтеру, и, когда ему исполнилось шестнадцать лет, он ушел из маленькой мастерской дяди Фрица в огромный корпус фабрики автомобильных и аэропланных моторов, где работать было жутко и трудно, но где не дергали за уши и небрежность грозила только немедленным вылетом на улицу.

Но Вальтер Штраль не вылетел. Его, немножко ленивого, флегматичного и созерцательного юношу, захватил и подчинил властный, гармонический и захватывающий ритм фабрики, и он стал одним из ее молчаливых, исполнительных и покорных колесиков. А так как у Вальтера Штраля была хоть и мечтательная, но ясная и понятливая голова, он через год был уже субмехаником конструкторского цеха.

Но вместе с работой Вальтера Штраля захватили и социал-демократические идеи. Он стал читать Энгельса и Бебеля, по вечерам заседал в социал-демократическом рабочем ферейне в клубах трубочного дыма, сжимая в руках, как некое грозное оружие, кружку с текущей по пальцам пышной пивной пеной.

Он ходил на маевки, пел вместе с другими социал-демократические песни, дразнил на улицах столпоподобных шуцманов, попадал иногда в полицей-бюро и гордо заявлял там, что он социал-демократ.

Это гражданское мужество не отражалось на его служебной карьере. Империя не преследовала строго социал-демократов; сам император Вильгельм, пошевеливая прославленными усами перед фотографами, говорил почти социал-демократические речи и признавался в любви к рабочему народу.

Монархия и социал-демократия мирно шли рука об руку во славу Германии, ибо и та и другая любили родину.

Были, правда, чудаки, которые пытались доказать невозможность такой дружбы. В их числе был и сын старого вождя Вильгельма Либкнехта — Карл. Империя сердилась на Карла и сажала его периодически за решетку.

Вальтер Штраль, как и другие члены ферейна, любил горячего, порывистого и резкого на язык Карльхена, но считал его неисправимым фантазером и, хотя сам был значительно моложе Карла, относился к его выступлениям как к запальчивым мальчишеским выходкам.

Вальтеру Штралю было уже двадцать пять лет. Он был субмехаником, на прекрасном счету у герра директора и инженеров, получал приличный оклад, помогал немного старому Штралю и откладывал сбережения на книжку.

Иногда он не прочь был погулять с компанией молодежи и поухаживать за саксонскими девушками, которых он теперь начал замечать. Девушки относились к нему благосклонно: у него были такие приятные шелковистые льняные волосы и большие серые глаза.

Поэтому Вальтер Штраль нередко ссорился с квартирной хозяйкой фрау Шервуд, когда у него ночевали девушки с влажным и добрым ртом и широкими гостеприимными бедрами. Он уже стал подумывать о том, что пора завести настоящую хозяйку и свой уютный угол, потому что девушки, как они ни были ласковы, приятны и нетребовательны, все же вызывали расходы, в то время как хорошая честная жена должна была вносить в дом прибыль.

Но он не успел присмотреть жену. Настал день, и газеты взбешенным воем заголосили о войне.

Через полгода Вальтер Штраль, явившись по повестке в призывное бюро, надел серую шинель и был назначен в боевой авиаотряд механиком.

Он с горечью простился с фабрикой и отправился на фронт. За полтора долгих года он понял там, что Карлуша Либкнехт был вовсе не таким неисправимым и беспечным фантазером. Вальтер Штраль все больше и больше клонился в сторону левой социал-демократии и пораженчества.

Поэтому он испытал почти удовольствие, когда во время одного из разведочных полетов, в который он был взят на борт летчиком ритмейстером фон Грауденц для выверки шалившего мотора, русская пуля перебила тягу рулей высоты и «фоккеру» пришлось садиться на русский косогор у болота.

Потомок тевтонских рыцарей фон Грауденц, выскочив из самолета, отстреливался от сбежавшихся русских солдат, пока хватило патронов в маузере, после чего солдаты долго и с хрипом били его в спину прикладами за такую неустрашимость, пока его не спас русский офицер.

Вальтера же Штраля, принимая во внимание его покорность и вежливый поклон, взяли в плен без инцидентов и отправили в далекий уральский лагерь.

Когда проволочные заграждения лагеря были перерезаны революцией, Вальтер Штраль сделался председателем солдатского Совета немецких военнопленных, а затем поступил в Красную Армию старшим механиком авиаремонтного поезда.

Но русская революция была неделикатна, свирепа, грязна, по ней ползали насекомые, и социал-демократическая душа Вальтера Штраля, несмотря на симпатии к идеям русских, брезгливо съеживалась и ехидничала.

Комиссаром поезда был днепровский слесарь Тулупов. Тулупов любил по вечерам приходить в вагон Штраля,— где работал дизель-мотор, дававший энергию поезду, и где от этого всегда было тепло,— чтобы поспорить с немцем.

Но споры никогда не удавались. Тулупов любил широко и бестолково, по-русски, подымать вопросы мировой справедливости и выкладывать душу — Вальтер Штраль был точен, как ритм мотора, утилитарен, узок и ограничивался короткими ироническими фразами, которые под конец приводили Тулупова в бешенство.

Он плевался, выскакивал из вагона и, ругаясь, грозил, что расстреляет немецкую контру.

Самая крупная стычка между ними произошла однажды под Оренбургом. Поезд медленно громыхал по занесенной бураном белой степи. Тулупов сидел у Штраля и доказывал, что русская революция не только разрушает, но и строит. Вальтер Штраль вежливо, с чуть заметной улыбочкой, кивал головой.

Поезд остановился перед вокзалом у семафора. Тулупов открыл дверь и спрыгнул на землю. Пути вокруг поезда были рыжи, загажены, забросаны объедками и гнилым сеном. Между путями высились огромные кучи замерзших экскрементов.

На своем плече Тулупов почувствовал прикосновение. Он обернулся. За ним стоял Вальтер Штраль, аккуратный, вежливый, с трубкой в зубах. Он вытянул руку по направлению к замерзшим кучам и спокойно спросил на ломаном языке:

— Was? Штой это значит?

Тулупов, внезапно ощутив неприятное смущение, покраснел и резко ответил:

— Сам видишь. Куча г...

Вальтер Штраль без улыбки отрицательно повел головой и произнес со стоическим спокойствием:

— Ниэт... Это есть показательни аусштеллунг... виставок... русски построительств. О я!.. Эс ист шен!

Тулупов побелел. Пальцы его рванули крышку кобуры. Вальтер Штраль увидел в глазах комиссара опасное русское безумие и скрылся в вагоне, захлопнув дверь на задвижку. Тулупов вырвал наган и, слепой от злобы, выпалил семь раз в красную обшивку теплушки.

После седьмого выстрела из вагона глухо прозвучал спокойный голос Штраля:

— Сьем пуля даром на потолок. Я ложил меня на пол.

Тулупов махнул рукой, истерически захохотал и побежал вдоль поезда успокаивать переполошенную охрану.

Вскоре после этого, однако, Штраль покинул поезд и уехал в Германию. Он последовательно разочаровался в патриотизме, социал-демократии и коммунизме. Он стремился добраться до родного Дрездена.

Там, разочарованный во всем, он пошел к прежнему герру директору проситься на фабрику. Герр директор

охотно взял Вальтера Штраля на прежнюю работу. В течение пяти лет Вальтер Штраль стал старшим механиком-конструктором.

Он окреп, немного располнел, стал важен и неразговорчив. Он получал крупное содержание. И, как покойный дядя Фриц, всецело отдавшись работе, Вальтер Штраль сделался закоренелым мизогином. Он решил, что в послевоенной Германии брак вовсе не такое выгодное и разумное предприятие, как прежде.

Он весь ушел в моторы.

И когда в рискованный героический северный полет фирме понадобилось послать механика, который мог бы поддержать честь ее мощных моторов, выбор дирекции остановился на Вальтере Штрале.

Он принял предложение дирекции без колебаний. Ни энтузиазма, ни сомнения не отразилось на его крепком лице с каменными челюстями.

Ему не было никакого дела ни до цели полета, прекрасной и человечной цели спасения погибающих людей, ни до спутников по путешествию, ни до последствий этого путешествия.

Он не боялся ни жизни, ни смерти; вернее — не замечал их. Вся жизнь для него заключалась в точнейшей выверке двух моторов гидроплана. Собирая самолет в путь, он по нескольку раз в сутки запускал моторы, прислушиваясь к их реву и гулу, настойчиво ища изощренным слухом малейшие неровности и отклонения в их стремительном сердцебиении.

Он знал, что от работы этих двух стальных организмов зависит честь фирмы, расширение сбыта ее продукции, реклама, рост производства, а вместе с этим — и дальнейшее его продвижение по службе и повышение оклада. Он входил уже в те годы, когда человек начинает понимать и ценить комфорт и благополучие.

И он думал только о том, чтобы заслужить лестное доверие дирекции и доставить ей выгоды, которые коснутся и его своим отраженным светом. Моторы должны были работать с четкостью солнечной системы, потому что это было нужно фабрике в жестоком мире конкуренции и борьбы за завоевание рынка.

О людях, которые летели вместе с ним, он не думал и не думал о том, что от безупречности двух механизмов, кроме материальных выгод, зависят также жизни участников полета и его собственная.

Он был честным и верным служакой прежде всего. Кроме того, он не оставлял на земле никого и ничего, о чем можно было бы жалеть. Если бы фирма пожелала отправить его в межпланетное пространство, он полетел бы, потому что он служил и должен был выполнять служебное предписание. А до того, что находились безумцы, добровольно лезшие в такое предприятие, ему не было дела.

4

Два последних обитателя обтянутой кожей гондолы качавшейся на спокойно-опаловой воде бухты Джерри-Бай серой птицы были северяне.

Физик и метеоролог доктор Эриксен и другой... Другой, который от завистливой, мелочной и злобной человеческой толпы получил по праву звание Победителя.

Доктор Эриксен был молод, моложе всех спутников, моложе даже Жаклин, которой официально было двадцать четыре года и неофициально — тридцать один. Поэтому доктор Эриксен, сознавая все неприличие своих двадцати трех лет, старался в этом испытанном и многоопытном обществе держаться скромно и незаметно, насколько это позволял его огромный рост молодого викинга.

Он был единственным, кто не мог выпрямиться во весь рост в компактной каюте гидроплана. При каждой такой попытке его темя ощутительно упиралось в жесткий потолок и он растерянно горбил спину и сутулился.

Доктор Эриксен испытывал глубокое уважение к своим старшим спутникам и рыцарски преклонялся перед Жаклин.

Он, выросший в суровой стране, в старых стенах древнего университета, преданный науке точной и трезвой, заблуждался в самых простых истинах той обыденной жизни, которая текла вне лабораторий и аудиторий.

И участие в полете маленькой хрупкой женщины, с рыжеватыми кудрями и обаятельно-слабой улыбкой, казалось ему сверхчеловеческим героизмом, перед которым должно было стать на колени с обнаженной головой.

Он совершенно не способен был понять, что Жаклин и ее возлюбленный ринулись в опасное, почти смертельное, предприятие только от скуки и томления, повинуясь древним зовам горячей галльской крови, неугомонно бившейся в их телах, толкая на авантюры, на риск, на безумие

ради только того, чтобы эта неугомонная кровь не обратилась в жидкую, укрощенную буднями розоватую водицу, текущую в жилах европейского мещанина.

Поэтому всякий раз, когда в дни, предшествовавшие полету, Жаклин обращалась к доктору с каким-нибудь мимолетным вопросом, доктор краснел, у него пропадал дар слова, и ему становилось грустно и нежно хорошо.

И Жаклин, заметившей это, нравилось поддразнивать этого ребенка-великана и вызывать у него приступы лирической и восхищенной грусти.

И в кабине гидроплана она поместилась рядом с ним на передних креслах, чтобы и во время полета иметь его своим соседом. Ей льстило это детское и чистое обожествление ее грешной женственности.

Доктор Эриксен считал свое участие в экспедиции высокой честью для себя и для своей науки, которой он служил так же верно и самоотверженно, как бортмеханик Вальтер Штраль служил идолу германской моторостроительной промышленности. Но в то время как Штраль помнил и о себе, о выгодах, которые принесет и ему его служение, доктор Эриксен думал только о пользе геофизики и метеорологии.

Арктика, мрачная приполярная область, мировой склад вьюг, метелей, циклонов, низких давлений, снегов, инея, магнитных бурь, загадочных течений и холодных вихрей, кладовая насморков, бронхитов, гриппов, казалась доктору Эриксену враждебным чудовищем, врагом человеческого рода, которого нужно поразить в ахиллесову пяту, в не нанесенную на карту воображаемую точку полюса, беспощадным и спасительным копьем науки.

Доктор Эриксен тоже был романтиком. На сером кожаном кресле гидроплана он ощущал себя Георгием Победоносцем, воссевшим на крылатого коня, чтобы стереть главу враждебного науке и человечеству змия.

И, может быть, поэтому он особенно остро ощущал удовольствие от сознания, что свидетельницей его возвышенного научного подвига является красивая, молодая и пленительная женщина, от которой пахло нежными и чудесными ароматами, непохожими на запахи химических реактивов в университетской лаборатории.

И доктор Эриксен мечтал, что в полете ему представится случай заслужить благодарный взгляд своей соседки каким-нибудь деянием рыцарской доблести.

Только благодарный взгляд. Не больше. О большем доктор Эриксен не думал, не хотел думать. Он был северянин, скромный и целомудренный; все женщины казались ему неземными существами, к которым страшно прикоснуться.

В маленьком городке на берегу южного фиорда он оставил такое же слетевшее с горных высот создание, с тяжелыми белокурыми косами и синими, как раствор метиленовой синьки, очами.

Неземное создание называлось фрекен Анна Демсун и было до корней волос пламенно и безнадежно влюблено в гигантский рост и безмятежно ласковое лицо молодого жреца метеорологии.

Безнадежно — потому что доктор Эриксен не представлял себе, что эти дети неба, с длинными косами и певучими голосами, могут заражаться такой грешной и неприличной болезнью, как человеческая страсть, и что от одного намека на нее такой чистый ангел, как фрекен Анна, растает, как восковой херувим над елочной свечкой, и без остатка исчезнет в синеве.

И как ни пробовала фрекен Анна деликатно и осторожно, со всей свойственной женщинам севера тихой настойчивостью, дать понять своему обожателю, что она не прочь испытать самое человеческое блаженство в его громадных и сильных руках,— доктор Эриксен не понимал этого и смотрел на нее безмятежно светлым обожающим взором.

Его счастье было полно и совершенно. Он мог смотреть на свой предмет, и этого ему было достаточно. В двадцать три года доктор Эриксен был девственником, и сны его были безгрешны, как у двухлетнего мальчугана.

Но, вступив в кабину гидроплана, он в тот же миг позабыл всех женщин. У его места на стене и на полу медно блестел хаос метеорологических и физических приборов. Они целиком поглотили его внимание. Неловко ворочаясь громоздким телом в узкой клетушке, он перебирал и пересматривал их один за другим, и руки его ласкали медь и стекло с нежностью любовника. Он попал в свой привычный, увлекательный целесообразностью цифр и формул, прекрасный мир.

Заднее широкое кресло в суживавшемся конце кабины занял Победитель. Он снял шлем авиатора, и на матово-сером фоне спинки кресла казались особенно чисто и нежно белыми его коротко остриженные седые волосы и особенно крупными и выразительными — резкие и тяжелые углы головы мыслителя.

Непрестанные годы мысли и непрестанные годы борьбы отложили на этом темном, словно изваянном из старого дерева, лице отчетливые черты решимости, зоркости, широкого ясновидения прямых и трудных путей.

На шестом десятке своей жизни он преодолел все, что было назначено и что хотелось ему преодолеть, и от этого приобрел еще одно выражение — чуть-чуть скучающей уверенности и покоя.

И немного зрелой, глубоко проникающей иронии залегло в складках узких синеватых губ, как будто губы эти сложились для того, чтобы сказать:

«Вот сделано все, пройдены все пути и достигнуты все пределы. И что же? Мир, не имеющий больше тайн, становится скучен и тесен».

Семья, в которой полвека с лишком назад родился сероглазый мальчик, никогда не думала, что ему назначена судьба сорвать остатки покровов с последних тайн земного шара.

В этой семье из столетия в столетие просто родились, вырастали и скромно и верно служили отечеству в банках, таможнях, судах простые и мирные люди, вполне удовлетворявшиеся сдвинутыми каменистыми горизонтами родных фиордов и тихой честной памятью в сердцах неприхотливых сограждан.

И тот, кому назначено было стать Победителем, на первой трети своей жизни, размеренно проделывал путь своих отцов и готовился стать незаметным провинциальным врачом, чтобы честно врачевать насморки и геморрои у бухгалтеров и катары кишок у городских лавочниц.

Но в один весенний день его позвало море. Он вышел из пропитанного трупным и формалиновым запахом анатомического театра и пошел подышать свежим ветром на приморском бульваре. Он зашел в уединенную часть бульвара на холм, покрытый серебристой хвоей калифорнийских елей.

Под блеклым майским солнцем дымился и шумел порт; серебряной сельдяной чешуей переливалась вода за молом; четырехмачтовый парусник уходил в Аргентину; на его палубе, как связки спаржи, лежали ободранные сосновые стволы. Оттуда, со сверкающей воды, на холм шел крутой, упрямый, соленый и волнующий ветер.

Океанский ветер. Стремительный, непокорный, никем не укрощенный ветер голубых зыбей, далеких странствований, неоткрытых далей.

Он щекотал студента мягкими и влажными щупальцами, он кружил голову, пьянил, будоражил, сводил с ума.

И внезапно побледневший, выронив из рук анатомический атлас Шпальтегольца, студент вытянулся вперед, подставил грудь ветру, смотря в морскую прозрачную глубину восторженно распахнутыми глазами. Он в одну секунду утратил рассеянный мигающий взгляд городского жителя, утомленный шрифтами книг и искусственным освещением.

Он приобрел в это мгновение навсегда раскрытый, прямой, не боящийся ветра взгляд морской птицы, и хотя глаза его с непривычки слезились и краснели, он не опускал век и стоял неподвижный, потрясенный нечаянно открывшимся ему смыслом мира.

Потом закачался, закрыл лицо руками и бегом побежал к городу, к улицам, к привычному, знакомому, давнему.

Оброненный атлас Шпальтегольца остался лежать на чисто подметенном гравии площадки.

Через три дня бриг, уходивший в Австралию, вез на борту простым матросом бывшего студента королевского медицинского факультета, и с этого дня пошла по пути тернистому и горькому, но ослепительному блуждающая комета Победителя.

Тридцать лет дрожали под ногами пьянящей дрожью доски палуб, и мимо бортов, запениваясь, неслись волны всех морей и океанов.

Свинцовая синь Атлантики, густой сапфир Тихого, змеиная зелень Индийского, лиловая густота Средиземного моря, мутные воды Желтого, глубокая чернь Берингова и вороненая рябь приполярных зыбей оставляли соль своих брызг на его лице, пропитывая и дубя загрубелую кожу.

Покой перестал существовать для него. Его покой стал постоянным движением, и только изредка, в часы болезни, на узкой, взлетающей корабельной койке, перед закрытыми глазами вставало успокаивающее видение — белый домик под черепичной крышей на берегу зеркальной бухты, по песчаному дну которой сияющими стайками бегали золотые рыбки.

Но болезнь уходила; он вставал на ноги, выходил на палубу и там, слушая стремительную симфонию ветра в такелаже, забывал об этом мимолетном и расслабляющем сне, смотря на новые пространства и голубые миражи горизонтов.

В неустанном движении он стремился к незапятнанным человеческой любознательностью уголкам мира; он испытывал материнскую нежность к каждой вынырнувшей из оторочки пены подводной скале, не помеченной на точнейших лоциях британского адмиралтейства.

Он твердо верил, что человечество должно владеть всем земным шаром без изъятия и должно подчинить себе все его загадки: иначе этому человечеству незачем существовать.

Слабое и вырождающееся, исчерпывающее понемногу те запасы природных богатств, которые оно топтало ногами на занятых им территориях — оно было обречено на гибель.

Нужно было открыть и подарить ему новые запасы, новые возможности, взбодрить его дух, толкнуть на новые взрывы борьбы за существование.

И с некоторого времени все его внимание направилось на области, куда еще не ступала человеческая нога. В обоих полушариях за высокими широтами лежали скованные белым молчанием пространства.

Под грузной зеленовато-хрустальной тяжестью льдов, под зернистыми напластованиями вечного снега таились земли, мрачные, проледеневшие нагромождения черных базальтов и угрюмых гранитов.

В Арктике они были разорваны, образуя архипелаг таинственных земель, обрывков рухнувшего в водяную пропасть материка.

В Антарктике за гигантскими обрывами ледяных барьеров земля вставала угрожающим массивом горных высот, равных Альпам. Она образовала сказочный материк, недоступный и враждебный. Он сумрачно разлегся вокруг полюса, тая в своих недрах, может быть, неисчерпаемые запасы ископаемых, тепловой и световой энергии, нужной нищающему человечеству.

В нем глубоко под почвой кипела борьба мировых сил, глухо колыша поверхность, обламывая пласты барьеров и вырываясь наружу торжественно-погребальными султанами дыма и пепла из жерл грозных вулканов — Эребуса и Террора.

И снова, в течение десяти лет, водимые им суда врезались в заколдованные области, и доски палуб дрожали под его ногами уже не от мягких и плавных накатов волны, но от скрипа, треска и грохота сжимавшихся вокруг корпуса прозрачных, бездушных и нещадных льдин;

лопались бимсы и переборки, перекашивались шпангоуты.

Захваченное скрипящими и хрустящими челюстями льда, беспомощное судно покорно плыло, подчиняясь незримому течению, на горбатой спине ледяного поля. Дни сменялись днями и ночи ночами.

Где-то далеко текла обычная мирная жизнь: шумели улицы городов, облитые голубоватым медом электрических светов; раздвигались занавесы театров, ослепляя павлиньим водоворотом цветных радуг; томительно рушились в душистый сумрак водопады симфоний и фуг; жадно блестели зовущие и отдающиеся глаза. В высоких залах с портретами коронованных особ люди, запаянные спереди и сзади в блестящие консервные коробки мундиров, шамкающими голосами решали судьбы страны. Вспыхивали войны, заключались и разрывались союзы.

А вокруг захваченного льдами судна расстилалась прозрачная, похрустывающая тишина. Кончались запасы провианта. Люди с воспаленными от блеска снегов глазами, с распухшими кровавыми деснами спускались с палубы на лед, шатаясь от слабости, едва держа карабины, подкрадывались к полыньям и часами стерегли круглую с человеческим добрым взглядом морду тюленя или маленькие лукавые угольки глаз белого медведя.

Сжигался весь уголь, и по судну звонко стучали топоры, выламывая доски и бревна на топливо. Экипажем овладевало безразличие и смертельная сонливость. Офицеры и матросы не выходили из кают и целыми днями валялись, зарываясь в промозглые меховые мешки, примерзающие к промороженным бортам.

И только он, командир и водитель, каждый день часами стоял на мостике, вглядываясь в белую сумеречь немигающими глазами вещей птицы, сверхчеловеческим чутьем улавливая в воздухе неощутимые признаки приближения теплых ледоломных ветров.

Они налетали внезапно, в ночь, с влажным гулом и свистом. Сильнее скрипел полураздавленный корпус корабля. Звонкий грохот, скрежет и визг катался по ледяным полям, точно невидимая артиллерия обстреливала их ураганным огнем.

Наутро вокруг корабля расседались широкие полыньи; в них черным серебром рябила вода. В топки летели последние койки, настилы мостиков, верхней палубы, и винты, медлительно урча под кормой, бурлили ледяную чернь

глубины. Медленно, шаг за шагом, от трещины к трещине, от полыньи к полынье, корабль выходил наконец в гулкую широту океана, и люди дышали и пьянели размахом простора и свободы.

Так год за годом пробивался Победитель к полюсам. В одно из плаваний, оставив корабль, с пятью спутниками и двадцатью тундровыми собаками, на узких и легких нартах он пошел через ледяные барьеры и черные хребты к недоступной сердцевине Антарктиды.

Волей, настойчивостью, упрямством он преодолел ледяную западню и воткнул в маленькую кучку снега, в той точке, где секстан и буссоль показали конец невидимой оси, пронизывающей землю, знамя своей родины.

Вокруг было тихо и пустынно. Жались к нартам исхудалые собаки с выпирающими из-под свалявшейся и примерзшей к бокам шерсти ребрами. Угрюмо и безразлично стояли усталые спутники, и на один момент Победитель ощутил странную тоску и смущение.

Завеса еще одной тайны упала, разорванная упрямым напором его руки, и — странно — он не почувствовал ожидаемого удовлетворения. Застывший, колючий от мороза воздух, не колебавшийся над этой омертвелой пустыней, замораживал и мертвил его мечты о будущем человечества, о новой сокровищнице мирового хозяйства.

Во всяком случае, в этот момент он чувствовал только смертельную усталость, разочарование и голод. Он не видел в эту минуту в руках человечества средств к тому, чтобы овладеть этими сокровищами, таящимися под трехсотметровой броней прочного, как сталь, льда.

Он машинально поправил наклонившееся древко знамени и, понурив голову, отдал приказ своим спутникам пускаться в обратный путь.

И в то время, как их силуэты утонули в начавшейся пурге, к той же точке с другой стороны подошел со своими людьми англичанин. Он увидел воткнутое в холмик снега чужое знамя, вцепился руками в отмороженные лиловые щеки и глухо застонал.

Он шел сюда с другими мыслями и побуждениями, чем Победитель. Он пришел закрепить за Великобританией еще один кусок земли, пустой, ненужный, мертвый и недоступный. Но британская гордость требовала, чтобы все еще бесхозяйственные места земного шара склонились под корону His Majesty King of England, и в британском министерстве уже лежал подписанный приказ о назначении гу-

бернатора этой области, где на лету замерзали птицы и где не было перекрестка для стоянки лучшего лондонского «бобби».

И он опоздал. Чужие цвета реяли над центром Антарктики, шелестя тяжелыми складками шелка.

Англичанин, так же как и Победитель, сумрачно повернул обратно. На обратном пути от горя и обиды он умер. Его люди вырубили яму в звонком зеленом льду и положили туда сухое, легкое и ломкое тело.

А Победитель, вернувшись на свой корабль, заперся в каюте и неделю не выходил оттуда. И когда он впервые появился на мостике, люди увидели, что на щеках его прорезались две новые глубокие морщины.

Но путь его не был еще кончен. Впереди был еще север. Такая же кучка снега или безмолвная стылая пропасть воды над воображаемой осью.

В это время гудящие металлические птицы завоевали непокорный и мстительный воздух.

Победитель бросил корабли и ринулся в бой с севером на крыльях.

В первый полет он вынужден был опуститься, не долетев, на плавучую льдину. Моторы, привычные уже к покоренному воздуху средних широт, выдохлись в оледенелом пространстве.

Две недели Победитель со своими спутниками лечили их сжавшиеся от холода сердца, пока вновь побежал бензин по медным артериям и зарокотал взбесившийся пульс цилиндров. Серая птица вернулась назад тогда, когда ее перестали уже ждать.

Тогда, сознав несовершенство аэроплана, Победитель обратился к дирижаблю и достиг своего. На следующий год он пролетел над местом своих последних стремлений. Такая же пустыня расстилалась под прозрачно-серебристым корпусом воздушного корабля.

Снова с бокового мостика гондолы упал северный флаг с заостренным древком. Пронзительно свистнув, он полетел вниз и глубоко воткнулся в снег. И, как прежде, Победитель испытал и сейчас то же чувство разочарования и тоски.

Но в этот раз еще и самая честь похода оспаривалась у него его спутником, новичком в дальних странствованиях. Трескучей рекламой, самовосхвалением, беззастенчивой наглостью — он бросил тень на имя Победителя, и стареющий искатель не мог уже протестовать и бороться.

Он по-настоящему устал. Давний мимолетный и расслабляющий сон становился желанной явью. Белый домик под черепичной крышей на берегу тихой бухты гостеприимно открыл ему двери последнего отдыха. Он чувствовал, как обволакивает его мягкими сетями баюкающий покой, и не боролся с охватившим его сладостным безразличием.

Бороться больше было не с чем, открывать больше было нечего.

Мир был изведан и пройден насквозь; бесконечная лента пути, пробежав тысячи миль, привела его к начальной точке. Из круга не было никакого выхода, и он примирился с неизбежностью, с необходимостью остановиться и ждать другого конца, под бременем горестной и неудовлетворяющей славы. Мирная тина засасывала его, из нее больше некуда было вырваться.

Он с полным равнодушием отнесся к известию, что его спутник в последнем полете и враг, отнявший у него половину последней победы, предпринимает новую экспедицию на корабле в сердце белой тишины.

Усталая кровь не ответила на это известие ускорением биений. Он только старчески мудро и старчески спокойно улыбался. Он знал, что льды не любят легкомысленного молодечества, и заранее знал конец этого предприятия.

Но он молчал. Он не хотел ни предостерегать, ни осуждать, ни тем более помогать. Ему были известны законы, скрытые от других; но он угадывал, что его знанию не поверят.

И только когда пришла короткая, жалко пискнувшая в мировом гуле знаками морзе, весть о катастрофе с «Розой-Мари», с судном его врага, который, презрев законы льдов, захотел совершить то, чего не мог совершить сам Победитель,— пробраться в заповедные области на беспомощной и жалкой скорлупе из дерева и железа, проглоченной без остатка клыками торосов,— Победитель очнулся от усыпляющего покоя.

Иной, не прежний голос искания и странствия позвал его. Другой зов, зов долга и человеческой простой жалости к маленькой кучке людей, умиравшей в ледяных тисках, людей, среди которых находился его враг, человек, отнявший у него радость последнего достижения, властно поднял его, зажег его кровь молодым бурлящим пожаром, и он бездумно кинулся на этот зов.

Гильоме обернул в сторону пассажирской кабины нахмуренное лицо со сведенными к переносице бровями и сжатыми губами. За рулем он перестал быть тем беспечным весельчаком, каким был на земле.

Встретясь взглядом с глазами Победителя, он почтительно-сурово улыбнулся. За короткое время знакомства он успел полюбить горячий пепел этих пронизывающих зрачков. И, подняв руку в меховой перчатке, он крикнул отрывисто и резко:

— Готово!

Победитель медленно и тяжело склонил голову.

Гильоме повернулся к рулю и также коротко бросил Вальтеру Штралю:

— Контакт...

Люди, оставшиеся на пристани: директор Гельмсен, служащие фактории и Нильс Воллан увидели, как кресты пропеллеров дрогнули и слились в стремительные гудящие круги. Гидроплан дрогнул, рванулся, почти выпрыгнул из воды; от зеленых с белым поплавков, шипя, побежала пена.

Он быстро уменьшался, стремясь в своем беге в устье залива, в открытую ширь. Гулкий рев взвихренного пропеллерами воздуха таял и расплывался в мягком натиске ветра.

Еще несколько секунд — и самолет оторвался от синеватой пелены воды, распластался тонкой черной чертой на золотом небе, повернул и, резко взмыв кверху, пошел на север.

По берегу к пристани бежали, задыхаясь, опоздавшие репортеры и фотографы, на ходу вынимая аппараты из футляров и пытаясь поймать на пленку опустевшее небо. Зыбкая черная точка мелькнула в последний раз и растаяла, как брошенный в кипяток кусочек рафинада.

Нильс Воллан вздохнул и низко надвинул на брови зеленый с белым шерстяной колпак. Его окружили репортеры.

5

У полета есть свой необычайный и заманчивый пейзаж.

Гидроплан высоко шел над бухтой Джерри-Бай, все резче забирая на север. Покрытые хвоей острозубые мысы уплывали назад, омываемые голубизной моря.

Море казалось огромным стеклом ослепительного блеска, и берега были как будто наклеены на это стекло.

Весь пейзаж был до чрезвычайности похож на лепные макеты местностей, которые можно видеть в краеведческих музеях. Земля, вылепленная из папье-маше, обсыпанная раскрашенным песком, на который наклеены зеленые шерстинки лесов и кусочки старых негативов, заменяющие водные пространства.

Земной макет медленно скользил под крыльями машины, уходя в розовую дымку. Впереди сплошной ртутносияющей рябью накатывался океан. Он набегал из-за горизонта, как бесконечная вертикальная стена.

Впрочем, из всех обитателей гондолы земным пейзажем занималась одна Жаклин. Она была в полете только пассажиркой, человеком без обязанностей, и это позволяло ей наслаждаться скрывающимися позади тенями земного прочного мира и переливающимся сверканием океана.

Остальные, занятые каждый своим делом, не обращали внимания на то, что оставалось внизу и сзади.

Вальтер Штраль, высунувшись до половины из верхнего люка пассажирской гондолы и подставив плечи упругому натиску пронизываемого воздуха, наблюдал работу моторов в моторном кожухе.

Его голова, с откинутым назад меховым капюшоном, медленно склонялась от переднего мотора к заднему. Он слушал. Он слушал с немного мечтательной выжидающей и одобрительной улыбкой ровный гул цилиндров. Так старый и добрый доктор слушает через стетоскоп биение сердца ребенка, только что перенесшего критическую минуту болезни, и улыбается все удовлетворенней, когда ритм ударов доказывает ему, что опасность миновала и можно обрадовать отупевших от ожидания родных одним бодрым кивком головы и прищелкиванием пальцев.

И, оборачиваясь изредка к Гильоме, встречая неподвижный взгляд летчика, Вальтер Штраль бессознательно воспроизводил этот докторский жест. Он кивал головой и прищелкивал пальцами, и по этому знаку Гильоме понимал, что моторы в полном порядке и беспокоиться нечего.

Доктор Эриксен с момента подъема не отрывался от своих приборов. Он проверил солнечные компасы: они тикали четким звоном, который можно было расслышать даже в реве пропеллеров. Успокоившись, он ласково погладил крышку компаса и пустил в ход автоматический гигрометр. Поглядев некоторое время на извилистую ли-

нию, которую чертил вделанный в металлическую лапку графитовый штифтик, он достал американский шаровой секстан и в последний раз запеленговал направление по еле видимому в тумане клочку исчезающей земли.

Победитель склонился к картам, разложенным на его коленях, и, не разгибая спины, беспрерывно делал заметки в своей записной книжке. Он проверял еще раз сверху линии уже пройденных пространств и читал в них, как в загадочной для других и ясной для него книге, сложную повесть мировых путей.

Внезапно он поднял голову. Доктор Эриксен, обернувшись к нему, тронул его колено почтительно, но настойчиво.

Доктор Эриксен показал на стеклянную стенку кабины летчика. Гильоме головой сделал знак, приглашающий Победителя приблизиться. Он встал, отложил карты и, держась за спинки кресел — машину бросало в воздушных ямах,— продвинулся вперед к стеклянной перегородке.

Гильоме показал рукой вперед.

Перед носом аэроплана, далеко впереди, но надвигаясь с каждой секундой, висела лохматая, серая шерстяная пелена. Она колыхалась, как повешенное для просушки солдатское одеяло.

Губы Гильоме шевельнулись. Звук слова растаял в реве машины, но по складу губ, по надвигающейся пелене Победитель понял сказанное:

— Туман.

Тяжелые веки прищурились над горячим пеплом зрачков, и морщины у рта дрогнули. Туман. Это было самое худшее, то, чего надо было бояться.

Но уже в следующую секунду он поднял руку, указывая на небо, и Гильоме, сверкнув на мгновенье зубами в короткой и деловитой усмешке, положил на себя рукоятку руля высоты.

И в тот же миг гидроплан мягко, как в вату, нырнул в молочно-белую, влажную и душную мглу тумана. Жаклин вскрикнув, откинулась от окна и тревожно взглянула на возвращающегося на свое место Победителя. Но сухое темное лицо его было спокойно; он мимоходом положил руку на плечо женщины, и от этого уверенного прикосновения она почувствовала разливающееся по всему телу спокойствие и благодарно улыбнулась ему.

Крутой взлет кверху откинул ее на спинку кресла, и она закрыла глаза. Когда она открыла их вновь и взгля-

нула в окно — солнце заливало румяным блеском серебристое крыло. Мутное, душное серое одеяло качалось внизу, глубоко под ногами, бессильное дотянуться до поплавков гидроплана.

Она посмотрела в сторону доктора Эриксена. Он тоже приник к своему окну, что-то разглядывая внизу.

Обернувшись и поймав ее взгляд, он указал ей рукой вниз. Жаклин поднялась и, опираясь на его плечо, перегнулась к окну. Она увидела необычайное, пленительное зрелище. Внизу, на пелене тумана, отраженный как в зеркале, несся другой гидроплан, перевернутый вверх ногами и окруженный сверкающим кольцом радуги. Этого она никогда не видела в прежних своих прозаических и обычных полетах с Гильоме над зелеными полями и рощами Франции. Она застыла у окна, придерживаясь за ремень.

Радужное кольцо дрожало, мерцало, светилось, то погасая, то вспыхивая почти нестерпимым для зрения блеском. Она еще ближе подалась к окну. Ее щека очутилась совсем рядом со щекой Эриксена; он чувствовал теплое дуновение пахнущей духами кожи и сидел неподвижный, зачарованный, залившийся горячим румянцем.

Покрывало тумана внизу разорвалось.

В свистящей воздушной бездне мелькнуло белое ледяное поле. Его резали во всех направлениях черно-синие линии трещин. Широкие полыньи казались тихими озерами. Лед блестел зеленоватым фосфорическим отблеском.

Но прежде чем Жаклин успела насмотреться на эту картину, длинные волокна тумана, кружась и завиваясь, закрыли ее. Опять внизу качалась плотная тяжелая муть, и от этого качания у нее томительно закружилась голова.

Она опустилась на свое сиденье.

И в это же время Вальтер Штраль спустился из моторной гондолы вниз и, сгибаясь, влез в кабину летчика. Он нагнулся к самой голове Гильоме и, широко раскрывая рот, закричал ему в самое ухо, указывая вверх.

И Гильоме, так же как Победитель, понял механика скорее по жестам и движению губ, чем по теряющемуся в гуле беззвучному крику.

Вальтер Штраль сообщал, что масло начинает густеть от холода на высоте и что нужно снижаться в более теплые слои воздуха, иначе два металлических сердца застынут.

Гильоме нахмурился. Внизу был туман. Шерстистый, коварный, липкий, непроглядный. Он тянулся на многие сотни километров в этих мертвых пространствах, и уйти от него нельзя было иначе, как держась над ним.

Он не любил тумана, как все летчики. Он чуял в нем смертельного врага.

Самолет был подобием птицы, но все же не птицей. Самолет не обладал верхним чутьем пространства, высоты и расстояния. Летящая в тумане птица инстинктом чувствовала препятствие на пути. Человек этим чутьем не обладал, и это делало его беспомощным и жалким в сырой темноте.

Но Гильоме знал, что спуск, хотя бы и временный, необходим. Рискованный путь наугад, вслепую, был все же лучшим исходом, чем внезапная закупорка труб сгустившимся маслом, остановка моторов и головокружительное падение с высоты трех тысяч восьмисот метров на острые кромки пакового льда.

И, пропустив сквозь зубы яростное ругательство, он пошел на снижение, буйствуя и протестуя в душе, но бессильный бороться с законом воздуха.

Победитель, ощутив плавное падение, вопросительно посмотрел на балансирующего по проходу Штраля. Штраль, поднеся руку к капюшону, прокричал ему в ухо, так же как и пилоту, о случившемся.

Морщинистое лицо потемнело. Победитель сумрачно поглядел в окно, которое опять облипал молочным киселем туман, но ничего не ответил механику. Он, как и Гильоме, знал волю и закон ледяных пространств.

Он мог бы дать приказ о возвращении. Туман был необоримым врагом, и отступление перед ним не было позором.

Но за свою долгую жизнь он научился ненавидеть отступление. Он мог отступать только перед лицом немедленной смерти. Туман был опасностью, но еще не гибелью. И он решил не отступать.

Может быть, он отступил бы прежде, когда он, по своей воле и желанию, для себя пробивал путь к тайне. Но теперь он шел в эту мрачную и безысходную пустыню не для себя. В нескольких сотнях километров на льдине стыли три человека без пищи, без помощи, одинокие в белой тишине ледяного холода.

И среди этих трех был его враг. И потому он должен был не отступать. Он мог бы отступить перед опасностью,

спасая друга. Но для спасения врага должно было презреть все опасности. Так говорил ему внутренний голос.

Гидроплан с пронзительным воем резал сметанную гущу тумана.

Тонкие, суховатые пальцы неврастеника на ободе руля жили своей особой, напряженной внимательной жизнью. Они как бы существовали отдельно от летчика. Они с молниеносной быстротой отзывались на каждое вздрагивание, на каждое колебание самолета.

Они были еще спокойны и автоматически уверены, в то время как в сознание их хозяина стали врываться неуверенность и беспокойство.

Гильоме нервничал. Он не хотел сознаться в этом самому себе. Жуткое ощущение слепоты и беспомощности начинало давить его нервы тяжелым прессом. Ему начинало казаться, что близится неведомая, но неотвратимая опасность. Вокруг него не было ни горизонта, ни ориентировочных предметов.

На расстоянии метра от его глаз металась волокнами непроглядная сырая белизна. Он стал терять ощущение пространства.

Моментами ему казалось, что аэроплан падает, кренится набок, что высота потолка катастрофически падает, и он круто вздергивал машину кверху.

Он начал чувствовать страшное — он перестал доверять показаниям приборов. Альтиметр показывал среднюю высоту в пятьсот метров, кренометр своей стрелкой успокоительно заверял, что аппарат идет горизонтально, не отклоняясь в колебаниях от нормальных пределов.

Но Гильоме не верил этому благополучию. Ему казалось, что всегда покорная ему алюминиевая птица возмутилась, что в ней проснулся дух дерзкого и смертоносного мятежа, что она стремительно рушится в воздушную бездну, ложась набок таким креном, выправить который было невозможно.

Он с ужасом ощутил, что у него дрожат колени и сердце бьется с неимоверной быстротой и силой, гудя как мотор.

Ледяной и липкий пот проступил у него на лбу под холодной кожей шлема.

Сознание мутилось и изменяло ему, как будто в душных волокнах тумана, которыми он дышал, был растворен обжигающий и несущий сумасшествие яд.

Он поднял правую руку от руля и, сбросив перчатку, вытер лоб от проступивших капель с таким омерзением,

как будто прикоснулся к холодному и скользкому телу жабы.

И в ту же минуту ощутил, что гидроплан, рухнув в яму, свалился на правый бок.

Инстинктивно привычным и твердым движением он рванул рычаги, чтобы дать крен налево и выровнять самолет. В то же время помутневшие и бессознательные зрачки его уперлись в стрелку кренометра. В момент рывка стрелка стояла ровно посредине, показывая безукоризненно правильное горизонтальное положение.

Но он уже не мог исправить ошибки, если бы даже и поверил в этот момент прибору.

Дрогнувшая стрелка бурно кинулась вправо, гидроплан лег на левое крыло, и Гильоме швырнуло на стенку кабины. От толчка ровный и ослепительный свет, как сигнал бедствия, вспыхнул в его мозгу. Он вскрикнул и рванул рычаги в обратную сторону. Гидроплан дрогнул, но не выпрямлялся.

Гильоме не видел, как сзади него выброшенный из кресла доктор Эриксен всей своей тяжестью свалился на Жаклин. Он не видел, как попытался вскочить и тоже свалился на стенку кабины Победитель.

Последним усилием воли он выключил моторы. Ветер и какая-то гулкая, дикая, безумная музыка свистели у него в ушах, и ему показалось, что эта музыка продолжается необычайно долго. Он не успел удивиться этому. Резкий разрывающийся треск грянул под его ногами, и новый толчок перебросил его на другую стенку кабины. Тяжестью своего тела он сломал рычаги и оборвал провода.

Зеленые искры замерцали у него под веками. Он услыхал вторичный гулко ударивший треск. Из сырой ваты тумана в разбитое стекло козырька кинулась на него гнусная синяя, распухшая, колеблющаяся, как желе, морда и захватила его голову мягкими слюнявыми челюстями.

Он не мог дышать, он захлебывался омерзительной холодной слюной и, пронзительно закричав, провалился в эту бездонную пасть.

6

Морской заяц, высунувший круглую усатую морду из воды у края небольшой полыньи, чтобы подышать летним воздухом, поглядеть на молчаливый белый мир и показать себя, был необычайно поражен неслыханным в его жизни гулом высоко в небе, над его мокрой и гладкой головой.

Он знал всякие шумы.

Он привык, что во время передвижки льдов или в дни штормов по пространствам катается раздирающий уши грохот и гул ломающихся голубовато-зеленых глыб, от которого лопаются уши даже у привычного ко всему морского зверя.

Он знал также, что, когда начинается такая музыка в ледяном царстве, тюленям, моржам, морским львам и прочей твари нужно нырять поглубже и пережидать там окончания буйств, потому что сдвигающиеся льдины могут растереть попавшее между ними неловкое зверье тело так, что не останется и косточек.

Но гул и грохот, творимые льдами, были неправильны, неровны, не имели никакого ритма. А звенящий гул над его головой был ровным, певучим, ритмическим, необычайным в этих владениях.

И несмотря на то что этот гул мог таить в себе неслыханную еще и страшнейшую из всех опасностей, какие приберегала жизнь для морского зайца, любопытство преодолело в нем другие побуждения.

Он даже вскарабкался на лед, задрал усы кверху, раскрыл розовый рот и запищал от волнения, помахивая ластами. Гул приближался и рос; от него начинало уже звенеть во всем теле, и заяц осторожно подался опять на самый край полыньи, чтобы иметь под боком спасительную черную глубь.

Но воющий гул оборвался, сменившись внезапным и пугающим молчанием.

Вслед за тем сырое облако, тянувшееся над льдом, разорвалось, и из него, взмахнув крылом, ринулась на застигнутого врасплох зверя громаднейшая страшная птица.

Заяц заверещал и отчаянно метнулся к воде. Он счел себя уже погибшим в клюве чудовища, но, ныряя, успел заметить, что птица с разлету задела крылом за выступ высокого тороса перед полыньей, перевернулась, крыло отлетело в сторону, а сама птица с звонким грохотом рухнула и покатилась по льду вверх лапами.

Уйдя на достаточную глубину, морской заяц успокоился и стал соображать. Он был еще молод, но жизненный опыт уже мог подсказать ему, что птица, которая при падении теряет крыло и катится по земле спиной,— это или больная, или мертвая птица.

И, нерешительно пошевелив ластами, он неторопливо поднялся снова на поверхность полыньи.

Первое, что он увидел, был странный зеленый с белой полосой предмет, качавшийся совсем рядом с ним на мелкой ряби воды. Предмет был неподвижен и явно мертв. Заяц осторожно подплыл к нему, обнюхал и ткнулся мордой в раскрашенный бок предмета.

Он услыхал легкий пустой отзвук, понял, что предмет особого интереса не представляет, и оглянулся по сторонам.

Птица лежала по-прежнему, задрав лапы. На одной из них боком висел такой же зеленый с белым предмет, какой качался на воде. Заяц выполз на льдину и, снедаемый любопытством, заковылял поближе.

Но не успел он проползти и половину расстояния, как в боку мертвой птицы вдруг открылась узкая дыра и из нее вывалился шевелящийся меховой ком. Заяц перевернулся и настолько быстро, насколько позволяли ему ласты, помчался к воде, рухнул в нее с фонтаном брызг и скрылся, чтобы больше не появляться.

Движущийся меховой ком, который вываливается из брюха птицы,— это было уже слишком для морского зверя.

Меховой ком долго копошился на льду, пытаясь подняться. Наконец он протянулся во всю длину и некоторое время лежал неподвижно.

Но потом опять зашевелился. Гильоме — это был он — заскреб пальцами по льду и простонал. Холодное прикосновение льда к лицу привело его в себя. Он поднял голову,— на льду осталось широкое яркое розовое пятно в том месте, где к нему прижималась рассеченная щека,— оперся на руки и тяжело встал во весь рост.

Голова у него кружилась и звенела набатом. Он сделал несколько шатающихся шагов и облокотился на корпус гидроплана. Захватил кусок смерзшегося снега и стал сосать его дрожащими белыми губами.

От колючих ожогов снега сознание его понемногу яснело. Он бросил снег, достал из-за пазухи платок и вытер щеку, по которой сползала кровь.

В эту минуту он впервые со всей остротой отдал себе отчет в том, что случилось несчастье, и с ужасом посмотрел в темное пространство за перекошенной и скрюченной ударом дверью гондолы. Он не мог решиться вступить туда, откуда он бессознательно, с инстинктивным упрямством гибнущего, сумел выбраться. Ему стало страшно, что там больше нет жизни.

Он вспомнил о людях, которые доверили свою жизнь его опыту и знанию, и снова застонал. И как бы в ответ на этот стон, из гондолы послышался тихо зовущий его голос, голос Победителя, который он узнал с первого звука.

— Гильоме, вы живы? Помогите вынести наружу женщину и доктора.

Гильоме рванулся на зов. Слабость и страх мгновенно замолкли в нем. Он знал теперь, что нужно работать, только работать, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Все тело его болело невыносимо и казалось разломанным на мелкие куски, но он впрыгнул в гондолу с мальчишеской легкостью.

В сумраке опрокинутой и сдавленной кабины он встретил спокойное тление горячего пепла под тяжелыми бровями.

— Я, кажется, совсем цел,— ответил Победитель на вопросительный взгляд пилота,— легкие ушибы и сотрясение. Она тоже, по всей вероятности, не получила тяжелых повреждений,— он указал на тело Жаклин, лежавшее у него на коленях.— Хуже всего с беднягой Эриксеном. По поверхностному осмотру — у него перелом обеих голеней. Берите вашу подругу, я займусь им.

Гильоме принял на руки легкое тело Жаклин и осторожно выбрался с ним из гондолы на лед. Он положил ее и поспешил на помощь Победителю. Оба с трудом подняли грузного большого Эриксена — он тоже был без сознания — и опустили его рядом с Жаклин.

Победитель расстегивал сумку с походной аптечкой. Взглянув искоса на Гильоме, наклонившегося над Жаклин и с тревогой смотревшего в побелевшее лицо женщины, он сказал тихо и недоуменно:

— Как же это произошло?

Гильоме выпрямился. Кровь гулко зашумела в нем; он покраснел и опустил голову.

— Не знаю,— ответил он после паузы,— я не могу понять... это впервые со мной... Это было выше меня... я потерял голову в этом проклятом тумане... Мне показалось... показалось, что самолет падает... вы понимаете... я не верил кренометру, и я взял крен... Впрочем, это не оправдание, я сознаю всю глубину... я сумею ответить за свое преступление.— Голос его начал дрожать и рваться.

Победитель шагнул к нему и положил меховую руку на плечо летчика.

— Бросьте,— произнес он властно и в то же время ласково,— бросьте это навсегда. Преступление? Вздор! Если так, то главный преступник — я, потянувший вас за собой в смертельный рейс. Ни слова больше о вине. Никто никогда не посмеет упрекнуть вас. Возьмите — дайте ей понюхать. Потом мы дадим ей глоток рома.

Он подал летчику пузырек нашатырного спирта и сам опустился на колени перед распростертым навзничь Эриксеном.

Гильоме, цепенея от боли и волнения, открыл склянку и поднес ее к лицу Жаклин. Крылья ее носа дрогнули, рот искривился, она всхлипнула, вздохнула еще раз. Ресницы с усилием разжались, и Гильоме вздохнул, увидев помутневшие зрачки, так непохожие на ясный и прозрачный взгляд своей подруги.

— Жаклин... Жаклин... крошка! — позвал он нерешительно, поддерживая ее голову.

Теплая легкая искорка мелькнула в глубине глаз. Жаклин снова всхлипнула, губы ее сложились страдальческой складкой, и Гильоме услышал хриплый шепот:

— Альфред... Что мы? Где? Ты жив, Альфред? Мне больно... мне очень больно. Я хочу домой.

Гильоме с силой отчаяния стиснул ее руку.

— Лежи, лежи, Жаклин. Спокойно! Не бойся, мы вернемся домой. Где у тебя болит? Скажи.

— Все болит,— прошептала она, опускаясь.

Гильоме быстро ощупал ее руки и ноги — они были целы. Расстегнув малицу, он исследовал спину и грудную клетку и убедился, что ребра и позвоночник тоже не пострадали. Он опять застегнул ее малицу, встал и пошел к машине, вытащил из гондолы подушку от сиденья и подложил ее под голову Жаклин.

В это время его позвал Победитель.

— Он скоро очнется,— сказал он, указывая на Эриксена,— надо сделать ему лубки. Берите нож — раскалывайте лыжу.

Гильоме взял протянутый нож, вытащил лыжу и принялся за работу. Победитель, стащив с ног Эриксена меховые сапоги и штаны, приторачивал отрезываемые летчиком куски лыжи бинтами. Эриксен, не приходя в себя, стонал.

Наложив лубки, Победитель поднялся.

— Принесите одеяло. Закутайте ему ноги,— приказал он.

Гильоме достал одеяло, и оба старательно укутали сломанные голени доктора. Победитель поддержал пошатнувшегося Гильоме.

— Дайте я перевяжу вас,— сказал он,— у вас разорвана щека.

Гильоме махнул рукой. Какая-то царапина казалась ему не стоящей внимания наряду со сломанными ногами доктора Эриксена. Он оглянулся вокруг и вдруг вскрикнул:

— А где же Штраль?

Победитель также недоуменно посмотрел кругом. Обоим стало на мгновение мучительно стыдно, что они могли забыть о механике. Гильоме первый бросился к изломанному корпусу машины и обежал его кругом.

Победитель услыхал его странно глухой и подсеченный крик:

— О, мой боже!.. Он здесь!.. Помогите...

Вальтер Штраль в момент катастрофы подымался в моторную гондолу. Падение застигло его в то мгновение, когда он по грудь втиснулся в узкое пространство между двумя моторами, и один из них, сорванный сотрясением с места, придавил всей тяжестью тело механика к другому.

Из гондолы виднелась только нижняя часть корпуса Вальтера Штраля. Ноги его, подогнутые и неподвижные, мертво лежали на фюзеляже.

— Топор,— бросил рывком Победитель бледному Гильоме.

Схватив поданный топор, он стал рубить алюминиевую оболочку гондолы и ее скрепления, пока Гильоме отгибал разрубленные листы. Наконец они увидели сине-черное лицо Штраля, налитое кровью, с выпученными безжизненными шарами белков.

Гильоме содрогнулся и закрылся рукой.

— Мотор!.. Сворачивайте мотор! — прикрикнул на него Победитель, и овладевший собою Гильоме вцепился в выступы мотора. После долгих усилий им удалось свернуть в сторону тяжелую махину металла и высвободить зажатое тело. Оно мешком съехало на лед.

— Конец,— сказал Гильоме.

Победитель опустился над Вальтером Штралем с такой же суровой заботой, как и над Эриксеном. Он взял тяжело повисшую кисть механика и нащупал пульс. Гильоме, забывший обо всем, застыл, не двигаясь.

— Пульс есть. Очень слабый. Давайте ром,— услыхал он спокойный приказ, приказ вождя, и, невольно пора-

жаясь самообладанию и воле этого старого уставшего человека, выполнил распоряжение.

Победитель разжал зубы Штраля ножом и по капле вливал ром. Тело механика затрепетало; он захлебнулся, и изо рта его вместе с кашлем хлынула тяжелая, густая и черная волна крови на белый олений мех малицы.

— Безнадежен,— произнес Победитель,— проломана грудная клетка. Он может прожить еще полчаса-час. Может быть, жестоко пробуждать его, но нужно узнать у бедняги, кому он хотел бы послать последний привет. Помогите перенести его к остальным.

Они подняли Вальтера Штраля и понесли его туда, где лежали доктор Эриксен и Жаклин. Когда они огибали корпус гидроплана, они увидели, что одна из оставленных фигур поднялась и склонилась над другой.

Доктор Эриксен тяжело и продолжительно стонал. Веки его по-прежнему были опущены, и на его лбу мягко лежала успокаивающая ладонь Жаклин.

— Он хотел подняться... Он бредил,— сказала она с виноватой улыбкой подходящим,— я не могла позволить ему встать.

— Жаклин, ma petite, лежи. Тебе тоже нельзя вставать,— заволновался Гильоме, но она перебила его:

— Нет, нет, Альфред. Мне уже не больно. У меня только немного головокружение. Я буду помогать вам...— Она внезапно заметила струю крови на одежде Штраля, привстала, и ее глаза налились слезами.— Он умер? — спросила она чуть слышно.

— Нет еще. Но умирает.

Она наклонилась над Штралем и рукавом, бесконечно нежным и инстинктивным движением женщины вытерла кровь с губ бортмеханика. И как будто от ласкового тока этого прикосновения Вальтер Штраль открыл глаза и странным, пустым взглядом уперся в фигуру Победителя.

Губы его разлепились, и с хрипом и новой струйкой крови из них выдавились неразборчивые звуки. Двое мужчин и женщина склонились над ним.

Наконец они с трудом разобрали слова и переглянулись, потрясенные.

Вальтер Штраль, захлебываясь кровью, задыхаясь, просил засвидетельствовать фирме, что катастрофа произошла не по вине моторов, что моторы до последней секунды работали безукоризненно.

Победитель мягко сказал умирающему:

— Не нужно об этом думать. Мы знаем, что моторы тут ни при чем. Вам нужно отдохнуть.

Вальтер Штраль весь перекосился жалкой и страшной улыбкой. Он опять заговорил, и хрип его с каждой секундой становился ясней и чище, как часто бывает у умирающих.

— Мне не стоит... отдыхать... Я знаю... мне конец... Я прошу... составить акт для фирмы... Я долго служил... честно... мне не хочется... чтобы герр директор... подумал обо мне плохо... Я прошу вас... господа.

Гильоме и Победитель переглянулись. Летчик увидел, что у Победителя подергивается судорогой угол рта. Он расстегнул костюм и вынул блокнот.

— Хорошо, дорогой. Успокойтесь. Мы напишем.

Он застрочил карандашом. Гильоме, понурясь, отвернулся. Жаклин, поддерживая тяжелеющую голову Штраля, не отрывалась от ползущей из его рта кровавой струйки, все время вытирая ее рукавом.

Победитель кончил писать и наклонился над механиком:

— Прослушайте...

Штраль прослушал несколько строк, свидетельствующих, что моторы гидроплана до последней минуты работали без отказа и выявили исключительные качества.

— Подписи,— прохрипел Штраль.

Победитель поставил свою подпись и протянул блокнот Гильоме.

Тот подписал в свою очередь.

Вальтер Штраль с усилием поднял вялую руку, испачканную маслом. Победитель, поняв это движение, вложил в эти уже мертвые пальцы карандаш и подставил блокнот.

Собрав последнюю силу, Вальтер Штраль расползающимися буквами вывел под актом свою фамилию и выронил карандаш.

— Данке шен...— прохрипел он,— гут...

Новая волна крови брызнула сквозь его сжатые зубы. Он рванулся, вытянулся всем телом, забулькал, забил ногами и замер. Жаклин отшатнулась.

Победитель накрыл меховым капюшоном искаженное смертной судорогой лицо.

— Остальным надо жить,— сказал он сурово.— Пусть мадам позаботится о докторе. Нам надо выяснить наши

запасы и состояние инструментов. Идти придется долго и трудно.

Они отправились к гидроплану. Жаклин шаткой походкой, бледная, подошла к доктору Эриксену. Он уже пришел в себя и опять пытался приподняться.

Жаклин сквозь слезы улыбнулась ему:

— Не шевелитесь... Не шевелитесь, доктор. Вам нужно лежать неподвижно. Вы будете теперь моим большим бэби и должны слушаться меня.

Доктор Эриксен смотрел на нее восторженно, по-детски благоговейно. Он действительно был похож на больного ребенка.

— Что со мной, фру? — спросил он.— Что с моими ногами? Не скрывайте от меня правды. Что вообще случилось? Я ничего не помню. Только первый толчок... Я должен попросить у вас прощения, фру, я, наверное, ушиб вас, но я не мог удержаться...

И доктор Эриксен покраснел.

— Мы упали,— ответила Жаклин, пораженная, что этот огромный ребенок с изувеченными ногами может еще извиняться за нечаянный толчок.— Упали очень плохо. Я сейчас еще ничего не понимаю. Но мы одни во льду. Машина разбита. Альфред, monsieur и я — мы почти не пострадали. У вас, кажется, сломаны обе ноги... Но это пустяки... вы вылечитесь... Только бедный саксонец умер. Ему раздавило грудь мотором. Но нам нечего бояться, не правда ли? Monsieur такой опытный в северных путешествиях. Он спасет нас всех...

В последних словах Жаклин доктор Эриксен уловил тревогу и скрываемое отчаяние. И, забыв о своей боли, он ответил насколько мог весело:

— Не беспокойтесь, фру... Через две недели мы будем дома. Все это пустяки. Мне только досадно, что я могу несколько помешать вам со сломанными ногами... Сломаны? Это очень плохо. Но все же никакой опасности нет.

— С вами я ничего не боюсь,— шутливо ответила она, подворачивая его одеяло.

Доктор Эриксен, следя за ее движениями, заботливо сказал:

— Наденьте перчатки, фру. В этом климате нельзя оставлять руки непокрытыми...

Он не окончил фразы. Мозжащая боль поднялась от ступней к коленям, поползла по бедрам, животу, ударила в сердце. Он напряг все силы, чтобы не застонать, не

испугать небесного ангела, склонившегося над ним, и от боли и напряжения опять потерял сознание.

К ночи Победитель и Гильоме разбили палатку, в которую перенесли бредившего Эриксена. Застывшее тело Вальтера Штраля они подтащили к полынье и, привязав к его ногам кусок станины разбитого мотора, опустили в воду.

На примусе сварили шоколад, напоили больного.

Уставшая и разбитая Жаклин заснула, заботливо завернутая, как в кокон, в спальный мешок.

Победитель и Гильоме сидели друг против друга перед электрическим фонариком и шепотом разговаривали.

— До земли Франца-Иосифа, по-моему, около ста километров. Завтра я определю наши координаты. Лед плотный и без разрывов. В обычных случаях десять дней пути. Но у нас больной и женщина. Следовательно, две, две с половиной недели. Эриксена придется тащить на санях. С собой возьмем продукты, ружье, складную лодку для переправ через полыньи. Мне очень жаль мадам, ей будет тяжело. Вам не следовало брать ее, но, впрочем, это было ваше желание. А теперь отдыхайте. Я выйду посмотреть на лед.

Победитель встал. При слабом свете фонарика его фигура казалась очень худой и значительно выше, чем днем. Морщины на щеках тоже были глубже и резче. На потолок палатки отбрасывалась ломаная странная тень.

Он закурил трубку и вышел. Гильоме закутался в мешок.

Победитель прошел к погибшему самолету. Он постоял возле него и безотчетно погладил продавленный алюминий гондолы.

Отошел и взобрался на верхушку тороса.

Туман рассеялся. Вверху плыли невысокие редкие тучи. Сквозь них иногда проглядывало низкое, медно-желтое, неподвижное полуночное солнце, обведенное опаловым нимбом.

Кругом лежали густые льды, плотные, взгорбленные торосами, белые, угрюмые. Они тихо скрипели, потрескивали, звенели.

Победитель неподвижно стоял на верхушке тороса и смотрел на юг. Он чувствовал свинцовую, непреодолимую усталость. И как прежде, в дни болезни, из белого ледяного молчания наплыл мираж, расслабляющий и лишающий воли.

Белый домик на берегу тихой бухты и нежный обволакивающий покой уюта и отдыха. Он закрыл глаза и вздохнул. Этот мираж был плохим предвестием.

Победитель встряхнул головой, как будто прогоняя призрак, и пошел к палатке.

7

Ночью Гильоме видел странные сны. Парижские бульвары в опаловом весеннем тумане сияли заревами огней. С пчелиным жужжанием мелькали вереницы авто, звенела музыка. Веселые люди в светлых одеждах, непохожие на обычных парижан, проходили под сладостным шорохом каштановой листвы. Они были красивы — и мужчины и женщины — невиданной утонченной красотой, смеялись и пели.

Гильоме же летал над ними. Но не в машине. Он летал так, как летают в детских снах. Он висел в воздухе над домами, над каштанами, висел свободно и легко. Ему только стоило слегка разводить руками в воздухе, чтобы передвигаться. Он то опускался вниз, то взлетал вверх и сам радовался весеннему вечеру, сиреневому мерцанию Сены, шуму, музыке.

Внезапно на скамье он увидел пару. Мужчина и женщина сидели обнявшись.

Он опустился совсем низко и повис над их головами. Женщина, вытянувшись в истоме, подставила губы возлюбленному, запрокинув голову на спинку скамьи. Гильоме вздрогнул. Он узнал в женщине Жаклин, а в мужчине — своего товарища по фронту Траверсе.

Он вскрикнул от боли и ревности и ринулся вниз. Мужчина и женщина вскочили и бросились бежать. Гильоме побежал за ними, дико крича. Но почва бульвара была необычной. Вместо шероховатого асфальта блестел и звенел под ногами фосфорически сияющий лед.

Жаклин и Траверсе мчались по нему с легкостью птиц. Ноги Гильоме расползались, скользили, он падал. Преследуемые, смеясь, уходили все дальше. Гильоме сделал последнее усилие и покатился на лед. Лед встал наклонно, и Гильоме стремительно полетел по склону. Ветер свистел у него в ушах от быстроты падения. Впереди вставало мрачное алое зарево. Он попытался ухватиться за кочку, рванулся — и проснулся.

Стиснув голову, он дико огляделся и сразу вспомнил все.

Потолок палатки слегка качался над ним от ветра.

Слева лежал и тихо стонал Эриксен. Дальше в меховом мешке, завернутая с головой, видимо, спала спокойным сном Жаклин.

Париж, бульвары, Траверсе, погоня — все было лишь сном. Из яви во сне было только стремительное падение на лед.

Гильоме вздохнул и сел. Он искал Победителя, но его не было в палатке. Гильоме выкарабкался из мешка и подошел к Жаклин. Отвернув осторожно край, он увидел разрумянившуюся щеку, полуоткрытый рот. Жаклин дышала ровно и здорово, и Гильоме почувствовал облегчение.

Он снова закрыл ее мехом и вышел из палатки. У обломков гидроплана возилась высокая, согнутая фигура Победителя. Завидев Гильоме, он поднялся.

— Уложил сани. Продовольствия на месяц по ограниченной порции. Часть на санях, остальное в этих рюкзаках. Нам с вами придется нести на себе. Мадам мы обременим только аптечкой — для женщины это достаточный груз. Не скрою — нам придется трудно: рюкзаки и нарта с Эриксеном. Как вы себя чувствуете? Можете идти?

Гильоме покраснел. Это суровое и лаконическое спокойствие и забота о нем, виновнике катастрофы, глубоко задели его.

— Но почему же вы работали один, monsieur? Я бы мог вам помочь.

Победитель улыбнулся, наклоняясь над нартой.

— Теперь я один взрослый в нашей семье. Вы были взрослый в воздухе. Эриксен не в счет, так же как и женщина. Я здоров, и потом только я чувствую себя здесь в своих владениях. Лучше разожгите примус. Нужно завтракать — и в путь.

Гильоме медлил; оглянувшись на палатку, как бы боясь, чтобы там не услышали, он спросил шепотом:

— Простите, monsieur. Мне нужно знать. Мы... можем дойти?

Победитель молча затягивал ремень. Затянув, он повернулся к летчику.

— Можем ли мы дойти? Не нужно спрашивать... Впрочем, вы имеете право знать. Дойти можем. До земли сто километров... Но... вылетая, мы рассчитывали долететь. Непредвиденность... туман. Мы можем дойти. Но первая

непредвиденность — больной... вторая — состояние льдов, направление дрейфа. Много лет назад Нансена пронесло дрейфом на тысячи километров от места, к которому он стремился. Мы можем дойти... Но кроме этого — мы должны дойти. А теперь принимайтесь за завтрак.

Гильоме торопливо пошел к палатке, зажег примус и, набив котелок льдом, поставил его на огонь. Сев рядом на выступ льдины, он уставился на бледный голубоватый шипящий огонек пустыми зрачками.

За этим занятием его застала вышедшая из палатки Жаклин. Она тихо подошла к нему сбоку и по вялой позе, по опущенным рукам, по пустому взгляду поняла, что ему тоскливо и смутно. И ей захотелось вдохнуть в него бодрость и жажду бороться за нее и за себя. И она весело окликнула его:

— Альфред!.. Я уже встала... Какая чудесная погода. Какое солнце! Как чудно блестит лед! Какое забавное приключение, Альфред. Мы теперь пойдем пешком с мешками на спинах, как мусульманские пилигримы ходят в Мекку. О, это будет так весело, не правда ли, Альфред?

Гильоме, хмуро улыбнувшись, посмотрел на нее, потом на ледяные просторы.

Вчерашний гибельный туман бесследно исчез. На стальном тяжелом небе грузным вычищенным колоколом висело косматое, как комета, растянутое солнце.

Белая пустыня искрилась и переливалась металлическими блесками, как парчовое покрывало на катафалке. И Гильоме ответил женщине:

— Да, Жаклин, мы пойдем, как пилигримы. Мы пойдем к черному камню. Мы напьемся сейчас шоколаду, как дома, в нашей столовой, и пойдем. Ты не уставай, Жаклин. Нельзя уставать... Как Эриксен?

Жаклин подошла ближе и облокотилась на плечо Гильоме. Печально и медленно она сказала:

— Эриксен? Он очень плох, Альфред. Он не хочет этого показывать, чтобы не огорчать меня, тебя и monsieur! Но ему так больно. Он такой большой, ему стыдно болеть. У него дома невеста. Мы отвезем его к ней. Ведь мы довезем его, Альфред? Правда?

Гильоме молчал. От гидроплана подошел Победитель. Он понял, что разговор шел о тяжелом и смутном.

— Не стоит задумываться над будущим,— сказал он, опускаясь на льдину.— Пусть мадам напоит Эриксена, потом мы положим его на нарту.

Жаклин ушла в палатку. Победитель сидел, сгорбив плечи, как большая хищная птица в клетке зверинца, и прихлебывал шоколад. Гильоме с деланно спокойным видом укладывал примус в мешок.

— Не прячьте далеко топор,— проговорил Победитель, видя, что Гильоме намеревается уложить маленький скаутский топор в мешок.— Возьмите за пояс. Мы не только пойдем по этой дороге,— он показал в пространство,— мы сами должны будем делать себе дорогу.

Он встал.

— Подведем нарту к палатке. Его нельзя нести далеко.

Гильоме последовал за ним. Впрягшись в лямки, они подтащили нарту к палатке и осторожно уложили Эриксена. Доктор лежал неподвижно, закусив губу, и смотрел вверх, в стальное небо, в какую-то ему одному видную точку.

Победитель взглянул на компас.

— В путь,— обронил он коротко.

Жаклин с испугом шагнула к нему.

— А палатка, monsieur! Мы забыли ее взять.

Гильоме, уже налегший на лямку, остановился в нерешительности, но Победитель сделал отрицательный жест.

— Нет. Палатка остается. С сегодняшнего дня нам придется забыть об удобствах,— сухо сказал он, и впервые за все время спутники уловили в его голосе твердость военной команды. Жаклин опустила голову: ей не хотелось, чтобы мужчины увидели слезы.

Но они не смотрели на нее. Они налегли на лямки. Сухо скрипнул снег, и полозья начали чертить однообразную запись пути.

Большое ровное поле лежало до горизонта, унылое и омерзительное своей плоскостью. За ним, уже на самом краю, где лед сливался с небом, над ним искрящейся зубчатой каймой вставали рваные края загромождающих дорогу торосов. Эта кайма ничего не говорила Гильоме, но Победитель знал, чем угрожает ломаный гребень на горизонте.

Это были клыки ледяной пустыни, ее свирепые и бездушные челюсти, которые нужно было выламывать с яростью, с остервенением, до судорог в руках, до изнеможения. Он не в первый раз попадал в страшный зажим этих челюстей, но тогда с ним были испытанные спутни-

ки, железные люди, которые могли выломать клыки белой гибели.

Теперь с ним был непривычный человек, стихией которого был воздух, маленькая испуганная, бодрившаяся женщина и искалеченный обломок.

И тень сомнения ложилась на его морщины. Он шел, мерно налегая на лямку, цепко ставя ноги в тяжелых меховых сапогах, но взгляд его был угрюм, и пепел зрачков холодел от встречного холода снега. Безветренная тишина висела синеватой ризой над пространством. Солнце, разбрасывая косые лучи, било в лица удесятеренным отражением блеска. От этого светового пожара слезились глаза, и казалось — перед ними стелется мутный полог из кисеи, скрывающий даль.

Гильоме не мог смотреть на этот свет и шел как автомат, с опущенными веками, надвинув на брови капюшон. Изредка он на мгновение подымал ресницы, чтобы проверить направление, и опять смежал их, встречая тянущуюся впереди безотрадную равнину.

Рядом с собой он слышал отчетливый и мерный скрип снега. Он знал, что это лыжная палка Победителя с механической точностью заносилась вперед, откачивалась вправо с замахом руки и медленно отходила назад для нового замаха.

Казалось, она качается с чудовищной правильностью, как маятник роковых часов, отсчитывающий бесконечное течение угрожающего времени.

И сухой скрип снега под вонзавшимся наконечником был похож на брюзгливый, нудный старческий голос, твердящий без конца:

— Не дойти... не дойти... не дойти...

Гильоме старался не слушать этого нашептывания и думать о чем-нибудь своем. Он боялся оглянуться назад. Он знал, что Жаклин идет за санями, придерживаясь за борт привязанной складной лодки.

Он даже слышал, наряду с поскрипыванием палки, сухой шорох ее мелких торопливых женских шагов, но не смел взглянуть на нее. Он боялся увидеть в ее глазах боль, отчаяние, осуждение.

Утихшее за ночь сознание вины перед спутниками разгоралось теперь с новой мстительной силой. Он сжал челюсти и заскрипел зубами.

Он изо всех сил налег на лямку и тянул, как трудолюбивый и верный вол тянет крестьянскую телегу на холмах Шампани.

Внезапно ему послышалось веяние теплого ветра и благоухание цветов. В красном мерцании, дрожавшем перед ним, замелькали ветви апельсинных деревьев с темной глянцевитой листвой. Оранжевые тяжелые плоды клонили ветви к земле. Сквозь сетку зелени сквозила густая горячая синева моря.

Гильоме сделал еще несколько шагов. Купа зелени надвинулась еще ближе. Он уже почти входил в нее. Большой апельсин, красно-золотой, теплый, поблескивавший, мягко коснулся его щеки. Он ухватил качающийся плод и очнулся.

Равнина кончалась. Зубчатая лента торосов вплотную вырастала на пути. Торосы наваливались один на другой, громоздились, закрывали путь.

Липкий пот, такой же, как перед падением гидроплана, выступил у него по телу. Он остановился, зашатался.

Он почувствовал, что кто-то поддерживает его под локоть, и как сквозь сон услыхал встревоженный щебет Жаклин. Она трясла его за плечо:

— Альфред... Альфред... Очнись... что с тобой? Ты болен? Нет, нет! Мы же должны идти. Нам нужно домой, Альфред.

Сознание медленно возвращалось к нему. Он увидел хмурые, участливые складки морщин Победителя, вздрагивающий подбородок Жаклин.

Краска стыда забрызгала пятнами его скулы, он выпрямился.

— Ничего, ничего. У меня закружилась голова от блеска. Это уж прошло. В путь,— почти злобно сказал он.

И в то же самое мгновение он увидел на санях позади себя доктора Эриксена. Доктор приподнялся на локте на жесткой брезентовой постели и глядел на Гильоме. В его провалившихся орбитах, обведенных темными тенями, мерцал безмолвный вопрос.

Гильоме, побледнев, отвернулся и, подавшись вперед плечом, с решимостью отчаяния двинулся на склон первого тороса.

По часам пришла ночь, но ночи не было. Солнце, распухшее и пьяное от бессонницы, качалось на горизонте, задевая ледяные выступы, обливая их желтой бешеной кровью.

Победитель сунул за пояс топор, которым он вырубал острые клыки льда на ледяном взгорбье.

— На сегодня довольно,— сказал он глухо,— дорога трудна с непривычки. Мадам тоже устала.

— Нет, нет, monsieur! Я могу идти еще немного,— торопливо ответила Жаклин, облизывая растрескавшиеся губы,— я могу идти. Нам нужно домой,— повторила она с болезненным упорством.

Лицо ее в темном нимбе мехового капюшона было белым — как снег, расстилавшийся под ногами.

Она ухватилась за сани, как бы стремясь столкнуть их с места, но Победитель с мягкой настойчивостью отвел ее.

— Нельзя. Я знаю, сколько можно идти в этих местах. Ночлег.

Гильоме механически опустился на снег, тупо смотря перед собой. Снежная слепота мучила его.

Победитель развязал рюкзак и сварил пеммикан.

— Теперь ложитесь,— приказал он, когда все выпили по чашке густого бульона,— завтра нужно будет подняться раньше. Я думал, мы пройдем больше. Пять километров слишком мало.

Гильоме торопливо закутался в спальный мешок. Жаклин приблизилась к нему.

— Ты нездоров, Альфред? Не нужно,— просительно сказала она,— потерпи, Альфред. Ты же мужчина, ты мой храбрый, неутомимый. Помнишь войну? Помнишь — ты был королем воздуха, как ты сбивал немцев, как они боялись тебя и как восторгалась тобой Франция?

Гильоме молчал. Тяжелая дремота клонила его в темную пустоту.

Жаклин тихо отошла к своему мешку. Когда она проходила мимо саней, тихий, чуть слышный призыв Эриксена остановил ее.

— Простите, фру, — заговорил доктор, когда она села на край саней,— простите, что я остановил вас. Сколько мы прошли за сегодняшний день?

— Пять километров. Monsieur говорит, что это слишком мало. Но так тяжело идти по этим горам. Я никогда не думала, что это кончится так ужасно. И как досадно, что вы больны,— грустно сказала она, не замечая, как он вздрогнул от этих слов.

Несколько секунд стояла тишина, грузная, весомая. Потом Эриксен так же тихо проговорил, глядя в небо:

— Да... я знаю, что я ненужная и губительная обуза.

Жаклин встрепенулась и вскочила:

— Ах, ради бога... какая я глупая. Я совсем не то хотела сказать... Нет... Ведь вы не прибавляете никакой тяжести. Сани скользят легко... Не говорите так, а то я заплачу. Мне так жаль вас, я хочу, чтобы вы еще увидели фрекен Анну... Да, да...

— Хорошо, я не буду больше... Спасибо за вашу доброту... Дайте я поцелую вашу руку перед сном. Завтра все пойдет хорошо.

Жаклин, сдерживая слезы, сняла рукавицу, и потомок викингов доктор Эриксен почтительно и благоговейно дотронулся до обветренной кожи воспаленными губами.

— Теперь прощайте,— произнес он, отпуская ее.

Жаклин, вздохнув, сошла с саней и направилась к мешку. Закутавшись, она еще раз оглянулась на сани. Доктор Эриксен лежал на них, длинный, прямой, вытянувшийся на спине.

На мутно-вороненом небе желтел освещенный боковым пламенем солнца его профиль с заострившимся носом и глубоко запавшими орбитами.

Жаклин вздохнула еще раз и набросила мех на голову.

Доктор Эриксен лежал неподвижно и думал.

Он сознавал свою обреченность. Обе ноги изломаны. Ниже колен каша из размозженных костей и порванных мускулов. Правда, в этом холоде нет особенной опасности гангрены, кости могут срастись. Пусть неправильно, пусть он навсегда останется калекой. Но у него железное здоровье, он может работать и с искалеченными ногами.

Жизнь... жизнь...

Какое умное и прекрасное слово! Жизнь... работа... университет... лаборатория, белокурое и синеглазое видение... Фрекен Анна... Но фрекен Анна знает его полным сил, спортсменом, лыжником. Эти прекрасные прогулки в январских хрупких снегах... Пологие скаты, по которым со свистом скользят лыжи. Испуганный вскрик женщины; его твердые руки, подхватывающие ее стан; близко, близко пылающие щеки и смеющийся рот... Нет, больше не будет этого...

И потом... потом этот черный путь через ледяную неизвестность. Их только двое... Победитель и Гильоме. Победитель — стареющий гигант. Он живет только волей,

поддерживающей дряхлеющее тело. Он не может быть неутомим, как прежде... Гильоме?.. О, эти французы. Нежный, легкомысленный, слабосильный народ. Комки нервов... Воспаленный и слабый мозг умирающей Европы. Он тоже не выдержит долго. Что же тогда? Одинокая маленькая женщина с ласковыми глазами, одна в челюстях белой гибели.

Доктор Эриксен беспокойно взглянул в сторону Жаклин.

Да, конечно, он обуза... Он только лишняя и вредная тяжесть на плечах этих людей, которые на пути к жизни должны перешагнуть через смерть. И он может стать причиной того, что смерть раздавит их всех. Нет — этого он не может, не должен допустить.

Эта мысль обожгла его.

Он, доктор Эриксен, собираясь в полет, мечтал о том, что он совершит что-нибудь, что возвысит его в глазах этой женщины, так дружески улыбавшейся ему в кабине гидроплана. Какой-нибудь поступок, доблестью равный подвигам древних викингов.

Доктор Эриксен, нахмурив брови, зашевелился. Он осторожно просунул руку под меховую оболочку и вытащил из грудного кармана теплой замшевой куртки маленький черный револьвер.

Как хорошо, что он понял. Без мертвого веса его большого, беспощадно изломанного тела эти трое легче придут на солнечный берег жизни.

Он должен помочь им мертвый, если не может живой.

Бессильным пальцем он с натугой отодвинул щелкнувший предохранитель и крадучись поднес дуло к голове.

Острый зеленоватый зрачок огонька тускло мигнул в неживой желтизне полуночного света.

8

Доктор Эриксен лежал на глубине полутора метров в вырубленной узкой яме, засыпанный осколками льда.

В головах у него трепался в поземке начинающейся пурги привязанный к лыжной палке квадратный клочок родного флага. Он должен был своим шелестом напоминать спящему родину: зеленые склоны фиордов и все, что было дорого памяти и сердцу. Желтое ночное солнце

исчезло. Над головами рвались, свиваясь и густея, волокна туч. Рывастый бешеный ветер носил шлейфы колючих снежных игл.

Они кружились все гуще и гуще и рушились неистовыми бесшумными белыми водопадами, мгновенно наметая гривастые сугробы.

Нарта ныряла, как гичка в острой зыби, валясь с бока на бок. На месте, вчера занятом доктором Эриксеном, лежала укутанная Жаклин.

Смерть Эриксена сломала ее искусственную бодрость. Ее веки опухли от слез; они грязными потоками расплывались по красной лупящейся коже и замерзали сосульками на малице.

В белесой сумятице Гильоме едва различал рядом с собой смутный силуэт Победителя. Изредка он с тревогой оглядывался назад: ему казалось, что ревущий напор ветра сорвет с нарты Жаклин и она останется позади, не в силах встать и догнать уходящих.

Временами нарта застревала в сыпучей каше. Полозья зарывались по самые нащепы, и натянувшиеся лямки швыряли назад тянущих. Тогда, подволакивая лямку под передний копыл нащепа, оба, хрипя и напрягаясь, выволакивали нос нарты из сугроба, чтобы через несколько шагов опять завязить ее еще глубже.

Наконец, выбившись из сил, они остановились оба сразу, как будто кто-нибудь извне приказал им. Победитель отбросил на секунду капюшон и вытер лоб. Несмотря на вьюгу и леденящий ветер, он был мокр от пота.

— Нельзя. Нужно переждать. К утру стихнет. Все равно мы не можем держать направления и только напрасно выбьемся из сил,— сказал он, присаживаясь на край нарты.

Гильоме сел прямо на снег и опустил голову в колени. Охваченный усталой безнадежностью, он повернулся спиной к ветру, чувствуя навалившуюся тяжесть душной и непреодолимой дремоты.

Он не знал, сколько времени он просидел так.

Поднявшись, он увидел занесенную снегом до верха нарту и свернувшуюся на ней клубком Жаклин. Она тоже была засыпана снежными волнами.

Она лежала так неподвижно, что у Гильоме промелькнуло тревожное подозрение. Он протянул руку к маленькому отверстию в спальном мешке и радостно ощупал живую теплоту ее шеи.

Она пошевелилась, и верхняя часть ее лица показалась из меха.

— Альфред! Почему мы не идем? — спросила она.— Что случилось?

Он ответил вяло и нехотя:

— Метель... Не видно дороги. Нужно отдохнуть.

И в ту же минуту увидел, что Победителя нет у нарты.

Сумасшедшая мысль рванула его с места. Он, спотыкаясь и проваливаясь в сугробы, обежал вокруг нарты. Никого не было видно. Он приставил ладони ко рту и пронзительно хрипло закричал.

Ответа не было. Выла и свистела пурга, бросая ему в открытый рот комья снега. Он прижался к нарте, тормоша Жаклин.

— Жаклин!.. Жаклин!.. Мы пропали. Он ушел... ушел один... Он бросил нас. Мы никогда не выберемся из этого ада. Нет... нет... я догоню его... я убью его.

Жаклин с дрожью испуга смотрела на его перекошенный рот, на вылезающие из орбит белки. Гильоме схватил ее за руку; она оттолкнула его.

— Ты трус и лжец! — крикнула она.— Ты не мужчина! Я никогда не поверю, что monsieur может оставить женщину на произвол судьбы. Стыдись, Альфред!

Гильоме отшатнулся. Горький трепет стыда потряс его. Он опустился в снег, задыхаясь, хрипя. И сейчас же услыхал окликающий его из мги глухой голос.

— Я разведывал дорогу,— сказал подошедший Победитель, отряхая снег с малицы.— Там за торосами влево огромное ровное поле. Мы переночуем здесь и утром двинемся туда. Будет совсем легко.

Гильоме сидел не поднимая головы. Победитель перевел взгляд с него на Жаклин и понял. Морщины у его рта выступили явственней в жестко иронической складке.

— Мы дойдем все трое... или не дойдем, но тоже все трое,— проронил он жестко и укоряюще.— А сейчас надо располагаться.

Гильоме поднялся и, избегая смотреть на Победителя, помог ему перевернуть нарту на бок. Под нартой подрыли снег и в эту ямку усадили Жаклин, укрывая ее от ветра. Победитель ножом вскрыл консервные банки и протянул одну из них с галетами Жаклин.

— Сегодня ужин à la fourchette. Придется примириться,— сказал он, ласково погладив ее меховой рукав.

Ели молча, машинально. Доев, Жаклин отбросила банку и улеглась. Гильоме тесно прижался к ней. Победитель лег снаружи.

Ветер понемногу слабел; снег валил уже не такими сплошными водопадами. Несколько раз тучи разрывались на мгновенье, открывая тяжелую синеву неба.

Спустя некоторое время гулко лопнувший в отдалении звук разбудил Победителя. Он привстал и прислушался. Гул лопнул вторично и покатился над льдами, круглый и значительный. Он был похож на пушечный выстрел.

Победитель поднялся на ноги, прислушиваясь. Но звук не повторялся больше. Победитель устало набил трубку и закурил.

Он знал, что пушечного выстрела не может быть здесь, что это лопается лед, громоздясь и ломаясь от ветра и подводных толчков.

Но все же он отошел от нарты и взобрался на вершину ближайшего тороса, вглядываясь до боли в зрачках в кружащуюся сутемь. Но в десяти шагах все сливалось в томительно дрожащий белесый полог.

Он присел на выступ льдины. Ветер с бешенством разрывал голубые клочки табачного дыма, подымавшегося от трубки.

Победитель устало сидел один со своими мыслями.

Они были грузны и неотвязчивы, как рвущиеся за прохожим яростные деревенские псы. Он не мог отогнать их. Он остался одиноким в этой пустыне.

Он с горечью вспомнил свой поход через ледяные барьеры на противоположном конце земли. Их было тогда тоже пятеро, отправившихся в смертельный путь. Пятеро, как и теперь в начале этого пути.

Но это были люди, с которыми он сжился, как с самим собой, в двадцатилетних скитаниях. Они без слов понимали каждое его движение, каждый жест. И они были крепки, как дубовые бимсы брига. Сжав челюсти, они шли напролом, не зная усталости, болезни и уныния.

Теперь из пятерых осталось только трое. И в числе двух, уже погибших, был единственный, кто был ему близок.

Бортмеханик Штраль и Гильоме были знатоки своего дела, люди, владевшие секретами своего ремесла, но они были бесполезны и неопытны в стране белой гибели. Он впервые пожал руки своим спутникам за три дня до отправления в путь. И с ними была еще женщина. Жен-

щина, которую не нужно было брать в рейс, где закадычным соседом была смерть. И он жалел, что согласился на настойчивую просьбу летчика, отказывавшегося лететь без нее.

Он вспомнил старое наивное морское суеверие, что женщина на корабле приносит несчастье. Сколько раз он сам смеялся над этой детской легендой, но сейчас воспоминание о ней наполнило его смутной и раздражающей тревогой. Он с досадой выколотил пепел из трубки и встал.

Опять тот же приступ тоски и смущения, который он испытывал в сердце ледяных пустынь на юге, защекотал его нервы шершавыми щупальцами.

Смутно еще, но с возрастающим недоумением и почти испугом он почувствовал, что его охватывает безразличие. Исход борьбы перестал интересовать его; у него больше не было цели и не было желания побороть, дойти и победить.

Может быть, от налетевшего порыва ветра, а может быть, и от этой странной пугающей мысли он почувствовал озноб и холод в коленях.

И, с трудом разгибая ноги, осунувшийся и вялый, он прошел к нарте и улегся рядом со спящими спутниками.

Пурга утихла за ночь так же стремительно, как и разыгралась. По небу скользили ленивые круглые пышные, совсем весенние, облака.

Они были такие же нежно-розоватые, как те, что плыли над бухтой Джерри-Бай в час отлета.

Так сказала Гильоме Жаклин поутру, перед отправлением в путь.

Потерянная бодрость снова вернулась к ней при свете солнца, при блеске облаков и снегов.

Несколько часов Гильоме и Победитель врубались топорами в лед торосов, пробивая дорогу к замеченному вчера ровному полю.

Торосы, как утесы, стояли на дороге. Люди с остервенением крошили ломкое звенящее замороженное стекло. Искрошив лед на несколько метров перед нартой, влезали в лямки, протаскивали нарту через расчищенное пространство, выпрягались опять, чтобы взяться за топоры.

Наконец нарта вскарабкалась на переволок последнего ледяного увала и, подтолкнутая сзади, мягко съехала по откосу на ровный лед.

После минутного отдыха тронулись дальше.

Тянуть по наглаженной пургой плоскости было легко. Гильоме поднял голову и засвистал веселую мелодию.

Уныние и тяжесть покинули его; он снова поверил в свое счастье. Жаклин, смеясь, подталкивала нарту сзади и на все вопросы отвечала, что чувствует себя совсем как на Rue Saint Martin. Победитель легко тянул лямку в трех шагах впереди Гильоме. Он шел, слегка наклонясь вперед и свесив руки, ровной и равномерной походкой. Он заимствовал ее у полярных тундровых собак, он знал, что не нужно утомлять себя рывками, и Гильоме старался подражать его движениям.

Внезапно у него лопнул ремень, стягивающий пояс меховых штанов. Гильоме остановился и, сбросив с плеч лямку, начал связывать концы ремня.

Победитель продолжал тянуть один, не останавливаясь. Нарта прошла мимо Гильоме, и Жаклин улыбнулась ему разгоряченным лицом.

Он быстро покончил с ремнем и побежал, догоняя ушедших. Он был уже в десяти шагах от нарты, как вдруг фигура Победителя скрылась в облаке взвившегося снега, и он услыхал короткий и хриплый вскрик.

Он рванулся вперед и увидел, как нарта, встав вертикально, рухнула в провал. Он едва успел схватить Жаклин и отбросить ее назад, а сам кинулся плашмя на край провала.

В полутора метрах под ним, в широкой трещине, покрытой за ночь легким и зыбким, провалившимся под тяжестью человека снежным мостом, пузырила черная прозрачная вода.

В ней он увидел смутные тени — уходящей в глубину нарты и другую, человечью. Она судорожно металась. Гильоме понял эти движения. Человек, увлекаемый тяжестью груза, пытался сбросить с себя петлю лямки.

Два-три раза мелькнула в неверном зеркале воды эта бьющаяся тень; всплыли на поверхность крупные пузыри, и вода легла мертвым и недвижным слоем.

Гильоме вцепился в закраину льда и, не чувствуя боли от ломающихся ногтей, закаменев, смотрел в черную глубину.

Минута — и он вскочил, будто отброшенный от трещины.

Жаклин стояла на коленях, хватая руками воздух, как слепая.

Глаза ее были исступленны, страшны, и в открытом, как для крика, рту пузырилась, сбегая по губе, пена.

9

Ничто больше не связывало этих двух людей, бессильно и вяло карабкающихся по неровному льду.

Они забыли все. Они забыли свое прошлое и настоящее.

У них не было ни мыслей, ни слов — одни автоматические движения, не подчиненные ни воле, ни разуму.

Они сами не сознавали себя людьми. Они брели бессознательно; у них не было ни цели, ни направления.

Их след на снегу лежал большой круглой петлей, и они ходили по этой петле, как лошади на корде, все суживая и суживая ее.

Им некуда было идти.

Они не знали дороги, они не могли отдать себе отчета, где север, где юг.

Им незачем было идти и истощать последние силы в бессмысленном кружении, потому что у них не было еды, нечем было поддержать угасающее тление жизни.

Но они с упрямством маньяков тащились, вытаскивая из снега разбитые ноги. Их глаза отупело и мрачно смотрели вперед, застывшие, замерзшие, выкаченные, и, встречаясь изредка взглядами, они поспешно отворачивались, пугаясь зеленых огней волчьей злобы и ненависти, вспыхивавших во встречных зрачках.

Так же бессознательно они держались на некотором расстоянии друг от друга, боясь сближаться вплотную, точно чувствуя, что прикосновение тела к телу может превратить их в зверей.

Им некуда было идти. Огромная полынья, перерезавшая им путь, тянулась без края в обе стороны. Противоположный берег ее был чуть виден на горизонте фосфоресцирующей голубоватой полоской.

На низких серых тучах вдали дрожал темный вороненый отблеск. Там за льдами было свободное море: темный отблеск молчаливым языком примет говорил об этом. Но они не знали этого языка, а если бы и знали — это не помогло бы им.

Изредка первая фигура, спотыкаясь, падала на колени и затем валилась ничком, вытянув руки, и сейчас же ложилась в снег и задняя, как бы подстерегая ее движения.

И как только первая подымалась, за ней тенью вставала вторая, начиная опять трагический круг. Два дня и две ночи продолжалась эта смертельная игра, когда наконец первая круто повернулась и пошла, рыча и захлебываясь, на отставшую.

В первой тени никто из знавших не узнал бы бывшего короля воздуха, лейтенанта Гильоме. Черная щетина проросла сквозь его облупившуюся кожу. Кожа отлипла пластами и висела со щек, как слезающая чешуя змеи, делая и без того изуродованное лицо фантастической маской пятнистой чумы. Полопавшиеся губы кровоточили, и челюсть по-звериному выдвинулась вперед.

Он шел, шатаясь, и по-волчьи лязгал зубами, ощерившийся, дикий, вытягивая вперед хватающие воздух руки.

Вторая фигура остановилась, вздрогнула, жалко, по-собачьи, заверещала и, осунувшись на колени, смотрела на подходящего Гильоме, тоже оскалив мелкие белые зубы. Лицо ее было так же искажено и изломано зверьим преображением.

Не дойдя несколько шагов до нее, Гильоме опустился на снег и пополз на четвереньках, пригибаясь и задирая кверху голову.

Жаклин шарила левой рукой по снегу. Осколок льда попал ей под рукавицу, она ухватила его и с визгом бросила в подползающего противника. Осколок слабо взлетел и пролетел мимо, и в ту же минуту бросок навалившегося тела опрокинул ее навзничь. Руки, цепкие, как когти, зашарили у ее горла.

Тогда неистовый страх воскресил в ней человечье, и воющим голосом она закричала высоко и звонко:

— Альфред... Альфред... Опомнись!

Руки упали с ее шеи. Человек лежал вниз лицом, скреб снег пальцами, оставляя на нем капли крови, и глухо рыдал.

Она наклонилась над ним; она быстро и нежно гладила его меховую одежду, неразборчиво бормоча смутные, уже забытые ласковые, уменьшительные имена, всплывшие в проясненном болью сознании.

Она старалась поднять его отяжелевшую, измученную голову. Сама изнемогающая, теряя остатки сил, она думала о нем, и ей хотелось только облегчить его тяжесть.

Но он упрямо упирался в снег и мычал.

Потом он дернулся, вскочил на ноги и, заплетаясь, побежал от нее.

У нее не было силы подняться вслед за ним; она только со стоном протягивала вслед падающие руки.

Гильоме отбежал недалеко и опять упал. Приподнявшись, он стиснул виски и, качаясь взад и вперед, ошеломленный и раздавленный, пусто смотрел перед собой.

Взгорбья льдин, снега, горизонт шатались и кружились в беспорядочной пляске. Все было смутно, неверно и томительно бело. В этой белизне глаза искали какого-нибудь цветного пятнышка, за которое можно было бы зацепиться, чтобы остановить кружение серебряно-белой карусели.

И вдруг ему показалось, что за торосом, шагах в сорока, выплыли из белеси три крошечные черные точки. Он отнял пальцы от висков и потер веки. Точки не исчезали. Он приподнялся. Точки зашевелились.

Он еще раз протер глаза. Кисея, застилавшая зрение, прояснилась, и он увидел на вершине тороса желтовато-белый силуэт медведя.

Медведь стоял и нюхал воздух, вытягивая длинную злую морду.

Гильоме, не сводя с него глаз, тихо поднимался, опираясь на руки, и наконец встал во весь рост. Медведь попрежнему стоял не двигаясь.

Он понимал положение. Он видел, что перед ним только двое, и эти двое в таком состоянии, что не могут сопротивляться. Он стоял и ждал, когда они упадут, чтобы больше не встать.

Медведь был здоров и сыт. Он не торопился, он мог ждать долго.

Гильоме оглянулся на Жаклин. Она лежала неподвижно. Тогда, тихо пятясь от медведя, он начал подползать к ней. Ему нужно было в эту минуту ощущать близость другого человеческого, хотя и бессильного тела.

И по мере того как он отходил, медведь осторожно и бесшумно опускался за ним с тороса на гладкий лед.

Доползши до Жаклин, Гильоме затормошил ее.

Дикий и всклокоченный, он тряс ее за плечо и выбрасывал хриплым шепотом рвущиеся слова:

— Жаклин!.. Жаклин!.. Там... там... видишь, белый... Он пришел за нами... Но я убью его... У нас будет мясо... Мы будем жить, Жаклин... Жить.

Она трудно повернулась на бок и мутно смотрела на

три черные точки — нос и глаза медведя. Потом, как будто поняв, забормотала в свою очередь:

— Да, да!.. Альфред... Убей его... Мы должны жить.

И словно в ее словах был ток, толкающий вперед, пробудивший память о прошлом, Гильоме, качнувшись, встал и, как бык, грузно пошел на медведя.

Медведь со спокойным любопытством наблюдал его приближение.

Человек качался и шел, весь растопырясь и оскалясь, как будто уже рвал клыками врага. Но медведь знал свою силу и ждал.

Когда человек был в десяти шагах, медведь глухо заурчал и приподнялся на задних лапах.

Они стояли друг против друга, выжидающие, напряженные, оба готовые к броску. Но человек остановился и вспомнил. Гибельное мгновение окончательно разбудило его память. Он сбросил перчатку и, сунув руку в карман малицы, вытащил большой кольт.

Медведь с любопытством смотрел, как человек взмахнул какой-то плоской черной штукой, повернулся к нему боком и положил эту штуку на дрожащий сгиб левого локтя.

Он не успел рассмотреть этой занятной штуки и от злости замахал лапами и заревел. Но его рев сорвался в двух всплесках грохота, и медведь почувствовал, как жгучие и зазубренные иглы прорвали в двух местах его шкуру и железная боль ударила ему в позвоночник.

Он рявкнул и, сев на все четыре лапы, бросился прочь.

Но железная боль расходилась по всему телу, и, пробежав косой пробежкой пространство, отделявшее его от полыньи, он подогнул лапы и опрокинулся на спину, катаясь и взметая когтями облака пороши.

Потом повернулся на бок и вытянулся.

Гильоме, вопя, подбегал к распластанному медвежьему телу.

В пяти шагах он остановился и в третий раз поднял кольт.

Новый укол иглы рванул медвежье тело и пробудил медведя от смертельного бессилия. Собрав всю уходящую силу, он вскочил, сделал огромный прыжок на край льда, перевернулся и, подняв тучу брызг, рухнул в воду.

Сделав два последних слабых взмаха парализованными болью лапами, он пошел под лед, уносимый течением. Умирая, он помнил одно — что нельзя отдаваться даже мертвым в руки человека.

Гильоме стал на краю полыньи и бессмысленно смотрел на пляшущие по взметенной падением зверя воде кусочки льда.

Его рот искривился уродливой гримасой. Он вскрикнул и бросил кольт в воду вслед за медведём бессознательным непроизвольным движением.

Уронивши руки вдоль бедер, сгибая колени, он поплелся назад к Жаклин.

Она смотрела на подходящего с вопросительной жалкой улыбкой.

Гильоме содрогнулся.

— Я убил... да, я убил его... Ты не веришь? Клянусь тебе, я убил его... Но он упал в воду... Он утонул, проклятый зверь... Он ушел.

Жаклин упала.

Гильоме растерянно постоял около нее. Лицо его распустилось, обмякло. Он сломался пополам и лег, уронив голову на ее бедро.

Гильоме, трясясь, отбросил капюшон. На ресницах Жаклин звездами стыл иней. Он стыл и на полуоткрытых губах и на полоске мелких зубов. Гильоме попытался поднять ее руку.

Она не сгибалась. Он всей тяжестью налег на ее локоть. Скрипуче хрустнув, рука сложилась.

Звук этого хруста прошел морозом по спине Гильоме. Он сел и замер, смотря на сине-белые щеки Жаклин. Но это зрелище было невыносимо, и он упал опять рядом с ней.

Он изо всей силы дышал на эти каменно-твердые щеки, пытаясь согреть их. Но они оставались такими же твердыми, ледяными, безжизненными.

Он смирился и затих.

Он пролежал несколько часов; сколько — он не знал. Время утратило для него смысл.

Железная скребница раздирала его внутренности. Голова кружилась. Он испытывал одно желание: есть, есть, есть.

Но он знал, что это неосуществимо. Последние крошки галет, завалявшиеся в кармане, были съедены три дня назад. Он отдал их тогда Жаклин.

Но есть было нужно. Голод владел им, голод властительно царствовал над его сознанием, сознанием издыхающего зверя.

Выпученные и безумные зрачки его блуждали по телу Жаклин, и он засмеялся визгливым, лающим смехом.

Как же он не мог понять этого сразу? Рядом Жаклин. Нет, не Жаклин. Жаклин уже нет. Рядом с ним тело... Труп... Несколько десятков килограммов мяса и костей... Говядина... Он может еще жить, если...

Из его открытого, обвисшего рта потекла слюна.

Он встал на колени и, видя все окружающее в мутном тумане, вынул из кармана неживым движением шведский нож. Он вытащил его из ножен и торопливо, обдирая окровавленные пальцы, стал расстегивать застежки малицы на груди трупа. Они не поддавались — он оторвал их несколькими взмахами лезвия и, хрипя, растянул в сторону смерзшийся мех.

Распоров свитер и разорвав рубаху, он ощутил ледяной холод окоченевшего тела. Спеша, безумствуя, он рвал остатки материи и обнажил грудь трупа.

Бледно-желтая, как кожура лимона, затвердевшая кожа глухо стучала под его пальцами. Он нащупал выпуклость груди и, зажмурясь, ударил ножом прямо, потом вкось.

Вдруг душный животный страх тошнотой стиснул его горло.

Он беспомощно-загнанно огляделся.

Из туч, влачившихся над его головой, сыпался, все усиливаясь, снег. Опять начиналась пурга. Белые вихри неслись ему в лицо от полыньи.

Он всмотрелся в эту мглу и попятился, чувствуя, как встают под капюшоном волосы на голове. Из сутеми метели на него наплывала огромная, блестяще-белая, медленно колыхающаяся масса.

Она была бесформенна и громадна. У нее была широкая, застывшая неподвижно студенистая морда, похожая на ту, которая уже привиделась ему однажды, в момент обморока, вызванного падением гидроплана.

В ее жадно разверстой пасти синели выщербленные ледяные клыки, и с ледяной, жесткой, замораживающей тупостью смотрели круглые совиные, зеленоватые гляделки.

Она наваливалась, растопыривая лапы, безжалостная, неизбежная,— и спасения от нее не было. Вспышкой угасавшего сознания Гильоме понял, что это подходит к нему белая снеговая гибель, и, отталкиваясь от нее руками, он прыгнул в черную рябь воды, где она не могла догнать его.

Летнее утро расцветало над Джерри-Баем, над бухтой, над косматыми налобьями скал.

Дверца заднего крыльца домика старшего инженера фактории отворилась с тихим скрипом, и из нее боком вылез Нильс Воллан.

Теперь он уже не боялся инженера. Он был помолвлен с Ингрид и приходил к ней на правах жениха.

Он стоял на крыльце, подставляя голову теплому, ласкающему ветру, и тихо улыбался удовлетворенной, осиянной улыбкой. Ночью, среди поцелуев, Ингрид призналась ему, что она тяжела от него.

Он улыбался и думал о том, что у него будет хороший, толстенький розовый мальчишка, который будет ковылять за ним, топая перевязанными ниточкой у запястий ногами.

Резкий мелодический крик прозвенел над его головой. Он поглядел вверх. По прозрачному небу раздвинутым, сверкающим белизной циркулем, летела стая диких гусей. Они тянули на север, и, проследив их величавый лет, Нильс Воллан вспомнил о человеке, в глаза которого он заглянул на пристани в час отлета на север серой металлической птицы.

Он знал, что улетевшие не вернутся. Об этом уже говорили в поселке, и директор Гельмсен провел несколько бессонных ночей на берегу, вглядываясь во влажную и пустую морскую даль и в равнодушное небо.

Нильс Воллан сошел со ступенек и набил трубку. Закурив, он закрыл глаза и припомнил суровый и незабываемый профиль того, кто похлопал его по плечу на ступеньках трапа.

И, тряхнув головой, он сказал сам себе:

— Что же, он был настоящий старик... Пожалуй, можно назвать парнишку в его честь. Наш парнишка тоже... тоже должен быть неплохим малым.

Он засмеялся и, насунув на белые мохнатые брови шерстяной, зеленый с белым, колпак, пошел по тропинке к селению.

Ленинград,
октябрь — ноябрь 1928 г.

ЛОТЕРЕЯ МЫСА АДЛЕР

1

Скошенные бимсы потолка наклонной дугой бежали справа налево. Скошенный почерк на синеватом конверте, лежавшем между измятыми игральными картами на столе, бежал слева направо в нижний угол конверта.

Пламя масляной лампочки вытягивалось кверху коптящим кинжальным языком. Под желтой настилкой потолка копоть расплывалась плоским облаком, курчавым по краям. Была похожа на крону пинии или на дым Везувия, каким изображали его живописцы на тщательных литографиях дорогих английских кипсеков.

За гнутым дубом обшивки тяжелая невидная вода ворчливо посапывала, натирая борты. В каюте пахло медью, табаком и каютой.

На бортовой койке спал зверь четвероног. Он слагался из двух офицерских тел, укрытых одной изжеванной шинелью. Шинель поглощала головы и туловища, ноги расползлись и шевелились во сне, как щупальца. Красный лоскут шинельного воротника был как высунутый язык зверя четвероногa.

Зверь нежно булькал носом во сне. Иногда бульканье переходило в мелодичный свист болотного кулички.

Дошедшая издалека, может быть от ворот Босфора, пухлая, пологая волна поддала в днище шлюпа шалым всплеском. Кинжальный клинок пламени заколебался, выгнулся, копоть погустела.

Взметнувшийся свет зацепил первую букву на конверте и струйкой пробежал до последней, проявляя слова:

«Город Кутаис. В кавказскую действующую армию, в десятый черноморский батальон, его благородию прапорщику Александру Александровичу Бестужеву в собственные руки».

Дремавший за столом, опираясь на локоть, поднял голову, зевнул, раскинул руки в стороны, потянулся. Полотняный сюртук распахнулся на груди, как шторки на окне, открыв небесную синеву канаусовой рубашки.

Человек опустил руки и искоса поглядел на конверт. Взял его и повертел длинными загорелыми пальцами. Поморщился...

Фамилия Бестужева показалась ему чужой. Она неприятно напоминала о каком-то человеке, которого он забыл или хотел забыть. Эта фамилия была для него частоколом тюремной решетки, ржавым запором на двери каземата.

Он чувствовал себя чуждым ей. Он любил другое имя, которое было для него широким выходом в мир навстречу острому земному ветру. Он был не Бестужев. Он был Марлинский.

Загорелые пальцы раздраженно смяли конверт и засунули письмо в карман сюртука. Губы скомкали брезгливую судорогу, как пальцы письмо.

Он знал письмо наизусть. Письмо было от Полевого. Полевой писал много и вяло. О Петербурге, о Грече, о мертвом Пушкине, об альманахах и своих долгах. Он просил прислать какую-нибудь повесть «в прежнем роде». О самом главном в письме было мало. Несколько строк. Они жгли, как йод, вливаемый в открытую рану.

«Надежды мало, Александр Христофорович не решается вновь обеспокоить его величество, поскольку сентенция на просьбу Воронцова была не в меру сурова. Ее не решились даже передать, чтобы не обидеть чрезмерно Михайло Семеновича. Государь написал: «Мнение графа Воронцова совершенно неосновательно. Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью,— он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой батальон». Из этого можешь понять, каковы виды. Призови терпение...»

Сентенция выдавала плохой литературный стиль повелителя. «Служить без вреда для службы». В теории словесности это могло бы быть примером неуклюжей тавтологии.

Бестужев усмехнулся. Все же он имел некоторое преимущество перед человеком, управлявшим его судьбой.

Он лучше знал русский язык. Но это было невесомое преимущество.

Он придвинул с середины стола обтянутую войлоком солдатскую манерку и налил водки в оловянный стаканчик. Старательно отрезав горбушку от ржаной краюхи, он круто посолил ее крупными ржавыми кристаллами.

Черные, простегнутые седой дратвой усы коснулись стаканчика. Водка, щекотнув, обожгла горло. На жилистой шее, дрогнув от глотка, выпятился кадык.

Бестужев прожевал хлеб, набил трубку. Приподнял мутный стеклянный пузырь, прикрывавший огонь масленки. Нагнув трубку боком, долго раскуривал.

Выпущенный дым затяжки дрогнул и застыл в сыром тумане каюты круглым плотным клубом, похожим на дым пушечного выстрела.

Бестужев, сведя брови, секунду пристально смотрел на него. На щеке под глазом мелким тиком задергался нерв. Коротким размахом руки он разбил пополам дымовой шар. Волокнистые обрывки ринулись в стороны, испуганно оседая книзу.

Вишневый черенок трубки заскрипел в стиснутых зубах.

Этот разбитый клуб дыма был мучительно похож на тот... Он не хотел, он страшился назвать его. Но он ощущал его грозную плотность.

Прошлое восстанавливалось перед ним в гуле и падении времени.

Мутные снежные сумерки томпакового цвета. Кондратий ли Рылеев вот этот мертвец со слипшимися бесцветными губами, прижавшийся к решетке памятника? И неужели пламенный Брут, непоколебимый цареубийца Каховский — этот жалко нахохлившийся марабу в потрепанном фраке, дико мечущийся сбоку каре?

Как забыть теплящийся страданием взгляд Миши Пущина, стоящего в рядах своих матросов и сжимающего солдатское ружье?

И покорно осуждающие, осветленные гибелью глаза сотен, сомкнутых в каре?

А напротив, под похоронными свечами адмиралтейских колонн (желтые стены были в тумане, как тусклая парча на гробе), уже суетились у орудий черные механические солдатики, на мгновение там метнулась чья-то тень на коне, взвевая белый султан над шляпой.

Подумалось: «Сухозанет выслуживается...» — и грубое слово. Розовая молния накрыла площадь. Голова внезапно нырнула в плечи под нудным визгом высоко перенесенной картечи. Дым упруго прыгнул распухшим белым мячом на середину площади и застыл. Его неподвижность была страшна.

Оглянувшись на вопящие ряды, Бестужев поднял ненужную шпагу. Он хотел крикнуть команду к атаке, но голос был слизан громом второго залпа. Толчок сбил назад его треуголку. Он машинально снял ее. Под панашем рядом с кокардой круглилась картечная дырочка.

Вокруг суматошно метались люди. Неподалеку, склонясь на локоть, сидел матрос гвардейского экипажа. Стриженая голова свисала к снегу. На желтую ледяную клеенку истоптанного наста толчками, как из узкого бутылочного горлышка, капала изо рта и ширилась в лужицу кровь.

Увидев это пятно на снегу, Бестужев затрясся, выронил шпагу и, закрывшись воротником шинели, шатаясь, побежал вслед за толпой с площади.

После этого в памяти был шумный черный провал. Всю ночь в блудливом кружении мелькали мимо улицы, дома, сторожкие фантомы людей. Дважды он приходил в себя, видя растекающееся зарево костров у Исаакия. Его тянуло туда, но всякий раз, как показывались орозовленные огнями колонны, будто невидимая настойчивая рука отбрасывала его назад.

Утром открылись церкви, и он переходил из одной в другую, стараясь согреться. Но молиться не мог. У богородиц на алтарных дверях, у святых, у людей, встревоженно слушавших литургию, были глаза, полные безмолвного упрека. Глаза сотен, стоявших в каре.

Его сознание мутилось от стыда и голода.

Незаметно он очутился перед дворцом. Подчиненная канону, система камня проламывала зыбкие облака тумана. Сбоку процокали подковы. Пронеслись сани. В санях, рядом с хвостатой каской жандарма, он увидел понуро сгорбленные плечи.

Он чувствовал, что сердце его покидает тело и стремится догнать сани.

Он ринулся за ними, задыхаясь, перебежал площадь. Подъезд дворца был распахнут, как дверь ночного трактира. Беспрерывно входили и выходили люди.

Никем не останавливаемый, он дошел до караульни.

Полковник в зеленом, как бессонница, мундире, небритый и смятый, лизал языком края конверта. Серые солдаты жались в углах.

Полковник вскинул на него растекшиеся, непонимающие зрачки.

— Что вам угодно, капитан?

Он молчал. Каменно опрокидывалось время. Он не знал — минуты или годы текут мимо.

— Что вам угодно? — повторил полковник, привстав в испуге.

— Я Бестужев,— сказал он наконец неестественно хрипло,— узнав, что меня ищут, я явился сам.

Полковник отступил, опрокинув стул. Ражий конно-егерский унтер в оспинах, с волчьей челюстью, дернулся, хватая за плечи.

Словно проснувшись, Бестужев рванулся, отбрасывая короткопалые звериные руки, ухватившие за воротник. Но сквозь толпу обступивших солдат уже проталкивался Перовский.

— Не троньте. Он сам пришел... Пойдемте, Александр Александрович!

Лестницы, коридоры, лестницы. Впереди спина Перовского в новеньком обтянутом мундире. Над шитым флигель-адъютантским воротником завитая белокурая голова. У тяжелой двери двое гайдуков. По знаку Перовского они бесшумно распахнули половинки.

Между окнами, всасывавшими с улицы декабрьскую слизь, над столом склонились прямые плечи. Лицо было в тени, но по плечам, по тяжелой посадке головы Бестужев узнал Николая.

Гордое волнение всколыхнуло его. Он почувствовал себя как актер на сцене, на которую смотрит Россия.

Вольно, почти дерзко, он подошел к столу, театрально, не по уставу поклонился и, слушая свой голос, преувеличенно громко в деревянной тишине подвального убежища самодержца продекламировал:

— Виновный Александр Бестужев приносит преступную голову на суд вашего величества.

Николай молчал. Плечи оставались недвижны. Потом они колыхнулись, и недоношенный день слабым блеском лизнул эполеты. Через стол протянулся обтянутый рукав.

— Радуюсь, что вашим благородством вы даете мне право уменьшить вашу вину.

Голос был сдавленный и тусклый, как из могилы. Влажная, холодная еще ото вчерашнего страха ладонь коснулась пылающей руки. Николай повернулся к Перовскому:

— В крепость! Содержать хорошо.

Как он мог поверить этому бригадиру с лицом эллина, страдающего флюсом? Как он мог пожать руку, затянувшую потом конопляную петлю на девической шее Кондратия? Но он думал тогда, что все происшедшее только ссора между братьями, что этот старший, получивший в наследство Россию, поймет младших и создаст крепкую, любовную семью.

Бестужев яростно засосал мундштук. Но трубка погасла. На языке расплылась только едкая горечь холодного никотина. Он швырнул трубку на стол и по скрипящему трапу поднялся на палубу.

Между кормой и баком внутренность шлюпа была раскрыта, как вспоротое брюхо большой рыбы. На дне, между шпангоутами, сидя и лежа, плечо к плечу, дремали солдаты. В темном свете ущербной луны они казались молчаливой серой отарой овец, везомых на продажу. Их дыхание билось, как далекий ровный прибой.

Он отвернулся с отвращением и болью. Он чувствовал их. Ведь семь лет он был овцой этого проданного стада, семь лет бок о бок, локоть о локоть с ними он выбивал штыком свое офицерство, кровавыми усилиями выкарабкиваясь на поверхность жизни.

И только они до конца понимали ужас его участи. Только они стали верной опорой, когда отвернулись бывшие друзья. Многие из тех, кто прежде искал в адъютанте принца вюртембергского, в течение этих семи лет при встречах опускали глаза и прятали руки, чтобы избежать рукопожатия опального солдата. Захолустные бурбоны считали за удовольствие мелкими придирками напомнить ему о каторжном бесправии.

Но солдаты были крестными братьями в несчастье. Он вспомнил, с какой простой жалостью они отдавали ему свои последние куски, как они оберегали его достоинство и его покой, как в палатке, после дневного перехода, затихали шутки, смех и побранки, когда, примостившись у огарка, он записывал в книжку свои заметки.

«Алексан Алексаныч пишет, братцы».

По этому слову умолкало все. И когда наконец он получил приказ о своем производстве, разве не они первые пришли поздравить его и принести в дар символ его жалкого воскресения — прапорщичьи эполеты!

Они помогали ему, как добрая няня помогает ребенку, встающему впервые на ноги. С их помощью он вырвался из страшного круга, чтобы от безыменной вещи перейти в положение лица, имеющего права, от совершенной безнадежности к возможности счастья, от унижения к неприкосновенности самой чести.

Да?.. Он прислонился к борту и засмеялся.

Права? У него не было даже права на отставку. Что из того, что его второе имя, ставшее ему родным, знала вся Россия? Что тысячи людей дышали и жили его мыслями и проливали слезы над его страницами? У него не было даже права на отставку, права на склоне лет отдать последние силы перу с тем же суровым постоянством, с каким он отдавал силы молодости боевому оружию.

Что из этого? «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью,— он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

Право на отставку давала только рана. А он был несчастлив. Пули несправедливо избегали его, как бывшие друзья — опального солдата.

У него оставалось одно неоспоримое право — на смерть. Но жизнь еще бушевала в нем. Она шумела в крови, как майская гроза в кронах весеннего сада. Он хотел жизни, он был жаден к ней, он мог еще начать снова.

Пусть здоровье вытекало по каплям, как сок из надрубленной березы, в зное кавказских болот, в душистой сырости зарослей.

Если умирать — умирать нужно было раньше. Он мог умереть так, что об этой смерти пела бы вся Россия одной широкой, вольной песней.

Он снова вспомнил встречу во дворце. Она могла бы быть иной.

Когда по доставке в крепость его обыскивали в комендантской камере, хихикающий Сукин вытащил из-за борта его мундира маленький английский пистолет, заряженный на оба ствола.

Он сам удивился, увидев этот пистолет. Он забыл о нем. Это было во дворе Московского полка. Взбесившийся

якобинец из недорослей, Щепин-Ростовский, носился по плацу, увешанный оружием. Сбоку у него висела шпага, а в правой руке кривая сабля, забрызганная кровью Фредерикса и Шеншина, в левой кинжал и пистолет. Он был смешон и страшен, как помешавшийся мясник.

Бестужев отнял у него пистолет и сунул за пазуху.

Нужно было вспомнить о нем раньше, когда через стол протянулась испуганная потная рука. Нужно было выпустить оба заряда в лицо, призрачно плававшее в желтой слизи декабря.

Но об этом было поздно жалеть. Оставалась последняя надежда. О ней он думал, когда писал месяц назад Воронцову: «Прошу, ваше сиятельство, ходатайствовать о переводе из гарнизона, где я осужден тлеть без случаев к отличиям, в какой-либо полк, в рядах которого можно положить голову с честью».

Просьба была исполнена. Старый, добросердечный, рассеянный Розен согласился взять опального в свой полк, отправлявшийся на высадку к мысу Адлер.

Мыс Адлер был впереди по носу шлюпа. Оттуда текла, вздрагивая сельдяной чешуей, трепетная лунная дорожка, и на ней, у самого горизонта, вытянулся узкий темный язычок выступающего берега.

На этом клочке земли для него была приготовлена наутро беспроигрышная лотерея. Выигрышем была отставка. Он выигрывал ее равно и жизнью и смертью.

Он оглянулся за корму. Там струилась такая же живая, золотая тропинка. Она была прямым путем к родине. Она струилась к Крыму, к киммерийским степям. Оттуда, через Дикое поле, древние кочевые тракты сбегались к Москве.

Сорок судов высадочного отряда черными дельфинами ныряли в лунном омуте. Каждое несло груз надежд и отчаяния. На каждом были такие же игроки, как он. Они так же стояли, убаюкиваемые колыбельной дрожью палубы, и смотрели на мыс.

Внезапно он прислушался. Чуть слышный шорох, казалось от вытянутых вантин, зашептал ему в уши. Он старался понять нестройные звуки и вдруг почувствовал, что голос идет изнутри его. Он рождался медленно, как прорастающее в земле зерно, и пускал ростки. И когда он стал явным, Бестужев испуганно оглянулся, будто кто-нибудь мог подслушать его, сгорбил плечи и, шатаясь, спустился в теплую сырость каюты.

2

Над узкой полосой галечного побережья, по увалам пригорков дыбилась чащоба кустарников. Она курилась ползучими голубоватыми дымами. Было похоже, что кустарники горят, ежесекундно поджигаемые в разных местах.

Жестяной треск стрельбы путался в кустарнике, как треск ломаемых веток.

Суда высадочного отряда, одно за другим, нехотя подползали к береговой черте, брызгая огнями и громом морских фальконетов, поддерживавших высадку.

Навстречу судам, с берега, свистя, неслись невидимые резвые птички. Они прошивали душный с утра воздух, иногда сослепу ударяясь в доски бортов. Тогда в борту оставалась дырка, и мертвая птичка обессиленно валилась на днище раздавленным свинцовым комком.

Когда нос судна со скрипучим шуршанием давил гальку, солдаты с сапогами за спиной, в белых рубахах, как по команде, крестились и, крепя посудину, наваливаясь на борт, гурьбой сыпались в воду.

По грудь в ней, бережно подымая ружья и пороховницы, взбивая пену, скользя по неверным камням и хватаясь друг за друга, они торопились к берегу табуном искупавшихся коней. Ругань была похожа на ржанье.

Некоторые не успевали добраться до суши и тяжело валились в мутную теплую пенную зелень. Полотно рубах, вздутое воздухом, держало их на поверхности. Из-под воды вылетали хрипящие пузыри, лопаясь в расплывающихся кровяных нитях.

Лекарские ополченцы вытаскивали их и, грубо хватая за ноги и плечи, тащили к груде рыжих, ржавых камней, под прикрытием которой лекарь раскинул перевязочный пункт. Одутловатый, в сюртуке с полупогончиками, но без штанов, с трубкой в зубах, он спокойно ковырялся в ранах. Розовое солнце обливало глазурью его волосатые ляжки и свислый жирный зад.

Успевшие выбраться на берег быстро валились за камни, за бурелом и беспорядочно палили по кустарникам. Стреляли без толку, наугад. Черкесов не было видно, но они били сверху на выбор. Как всегда, оружие завоевателей было хуже оружия завоевываемых, а империя твердо верила в суворовскую поговорку о пуле-дуре и штыке-молодце.

Вода была неприятно теплая и упругая. Ее теплота проникала сквозь голенища сапог и полотно брюк, словно ноги были погружены в чуть остывший чай.

Бестужев зябко поежился. Его мутило. Ноги дрожали.

Он знал, что это предвестие прихода малярии, давней малярии, захваченной еще в дебрях Геленджика. Как привязчивая жена, она тайком, неслышно кралась за ним повсюду, время от времени обрушиваясь на него страстными изнурительными припадками.

Влажная ночь в море раздразнила ее, разбудила ее скрытую ярость.

Он знал, что эти первые вспышки вскоре разразятся буйным истерическим пароксизмом, после которого он надолго утратит вкус к жизни.

Вокруг него с гулом и гоготом валились в воду солдаты его роты. Семнадцатилетний прапорщик, проигравшийся ночью в доску и обиженно спавший на нарах, смеясь заносил ногу через борт и вдруг, скользнув рукой по доскам, свалился в воду вниз головой.

Солдаты захохотали. Но один, старый, заросший на затылке серой, в колечках, овечьей шерстью, нахмурясь, прикрикнул на смеющихся и подхватил упавшего. Щеки прапорщика позеленели, глаза прикрылись пленкой век.

Старик куснул ус и среди внезапного молчания, взвалив тело на плечи, пошатываясь, понес к берегу.

Бестужев, вяло передвигая ногами, побрел за ним. Он вступил на береговую гальку. Вода стекала с сапог перламутровыми живыми капельками.

Рота бегом рассыпалась по берегу. Под охраной передовой цепи солдаты торопливо выжимали воду из портков и обувались.

Бестужев лег. Солнце жгло голову сквозь фуражку. Над берегом носились оранжевые бабочки. Земля казалась рыжей и звонкой, как червонец.

Он вспомнил такую же сгоревшую землю в Тифлисе, на горе Святого Давида. Он поднимался туда к могиле Александра Грибоедова. Памятник был скучен и тих, Грибоедов молчал. Внизу гортанно перекликался Тифлис.

Бестужев погладил ладонью горячий угол мрамора. Он вспомнил, что под мрамором лежит один из двух, уже мертвых, Александров. Они умерли — Александр Пушкин и Александр Грибоедов. Оставалось в живых двое — Александр Марлинский и Александр Одоевский. Надолго ли?

Он присел на ступеньку и в жестоком одиночестве заплакал о двоих умерших и о двоих живых. Капли слез сгорали на раскаленной земле.

— Господин Бестужев, что вы? Заснули?

Голос брюзги и хрипуна ротного командира ударил сзади.

— Застрельщиков вперед! — скрипел ротный, вытирая шею платком.

Бестужев вскочил. С мокрых штанов посыпались прилипшие камешки.

— Застрельщики, выходи! — крикнул он.

Они поднялись. Сухие, костистые, прожженные солнцем, промороженные дагестанскими буранами, выпитые лихорадками, сивоусые. Прокашливались и подтягивали пояса.

— В первой цепи татарва народу перебила — не сосчитать,— хрипел командир,— выводите застрельщиков в цепь на поддержку. Генерал сердится. Весь отряд на берегу, а до сих пор дальше кустов не продвинулись.

Бестужев скомандовал. Застрельщики, скользя по сыпкому щебню, вразвалку побежали наверх к кустам по пологому откосу. Там они влились в интервалы поредевшей цепи и залегли. Их ружья гулко забухали, щупая мушками противолежащие шагах в семидесяти кусты, разыскивая дулами по не понятным и не видным никому, кроме них, признакам среди масляннистого блеска листвы человечьи плечи, груди, головы.

Застрельщики стреляли отлично. У них был опыт и злость, накопленные двадцатипятилетним сроком службы, в течение которого они волокли сквозь тысячи верст прикрепленное к ногам позолоченное ядро империи. Эта злость направляла их пули.

Они стреляли недолго. Те же невидимые другим приметы указали им, что черкесы оставляют свои берлоги в цепкой гуще держидерева. И один, в смятой рыжей пластунке, надвинутой на брови, обернув напружившееся от зноя и лежки лицо, крикнул Бестужеву:

— Ваше благородие! Може, штычком?

Мелкая дрожь подъема прошла по телу Бестужева. Он вскочил и, махнув рукой, прыгнул вперед, закричав:

— Ребята, за мной!

Цепь, белея рубахами в кустах, побежала за ним. Вытянутые штыки рвали листву. За листвой была пустота. Лишь под одним кустом валялась, как ком навоза, карачаевская папаха и подле нее изумрудные мухи, звеня, липли на блестящем сгустке крови.

Тело черкесы унесли.

Размах атаки задохся в пустой чащобе. Солдаты снова повалились на те места, где только что лежали враги. За кустами пролегала ровная поляна, накрытая ядовито-зеленым травяным плато. За ней уже вставал подгорный лес. По опушке громоздились рядами сваленные древесные стволы с остро торчащими ветками. Они были похожи на покинутые срубы невиданных рогатых изб. Из щелей между стволами, как прежде из кустов, вылетали тающие дымы. Свистящие незримые птички подрезали клювами ветки кустарников.

Бестужев опять лег ничком. Земля у самого лица пахла земляникой и солью.

Он втягивал ноздрями этот колющий запах, как курильщик дым заморского табака. Травинка защекотала ему шею. Он сорвал ее и закусил беловатый, сочный к корневищу стебель. На языке осталась свежесть и горечь сока.

Свежесть и горечь. Откуда был знаком этот вкус?

Пуля взвизгнула над самой спиной, срезав ветку и разбрызгав на сюртук клочья разнесенных листьев. Он бережно собрал обрывки и помял их в пальцах. Они подтолкнули начавшее прорезаться воспоминание.

Был день двадцать третьего февраля. В Петербурге буйствовала пурга. У Зимнего леденели преображенские часовые в меховых киверах, отбрасывая деревянными руками ружья на караул, по-ефрейторски. Больной флюсом самодержавный эллин выходил с комендантского подъезда, где его ждали легкие санки на одного. Вороной, меча стынущую на лету пену, проносил его по проспектам. Народ снимал шапки. Самодержавный эллин улыбался,— он любил быть обожаемым.

В ресторациях с утра горели свечи. Ментики, доломаны и кирасы вспыхивали блеском, синью и багрецом. А на Голодае снег зализывал белыми языками сугробов гладкую могилу пяти друзей. И, может быть, Пушкин, еще живой и веселый тогда, склонясь над столом и просматривая альманахи, скользил глазами по строкам «кавказских писем».

Но в Дербенте была короткая, как вспышка затравки, весна. Небо зеленело теплыми хризолитами, и за городской стеной расцветали первые полевые цветы.

К вечеру в его солдатскую каморку пришла Оля Нестерцева. Простая и тихая, как тихие березы в парке Марли. Она любила его покорной, теплой, почти материнской крестьянской любовью. Идя к нему, она нарвала у ограды мусульманского кладбища пучок подснежников.

Ясно улыбаясь, она поднесла к его лицу цветы и свои мягкие губы.

В объятии подснежники смялись. Разорванные листья и лепестки рассыпались по подушке. Оля лежала, закинув полные, с ямками у локтей, руки за голову, и бездумно смотрела, как он приглаживал перед зеркалом растрепавшиеся волосы.

Повернулась на бок, заметила разбросанные подснежники. Сказала:

— Цветочки, Сашенька, жалко.

...Приподнялась, опираясь рукой на подушку, и вдруг под подушкой глухо громотнуло. Пополз пахнущий селитрой и жженым пером дым. Глаза Оли, потерянные, пустые, остановились, подломилась рука.

Он бросился к ней, подхватил, поднял. На спине между лопатками, по беленькому в сиреневых крапках ситцу, расплывалось жирно намокающее пятно.

Из-под подушки торчало дуло забытого там пистолета.

Оля умерла через двое суток, и комендант Шнитников не позволил ему выйти из-под ареста проводить ее.

Память сохранила от этой любви прохладную свежесть. Он не успел допить ее до горечи.

Бестужев отбросил разжеванную травинку и сел, прислушиваясь. Как и вчера ночью в вантинах шлюпа, в листве кустарников, дрогнувшей от внезапного ветерка, ему послышался шепчущий голос.

Он был искусителен и необорим. Бестужев почувствовал, как у него шевелятся волосы. Самые потаенные мысли его оживали в окружающей природе, звенели ему в уши, волнуя обостренный лихорадкой слух.

Он раздвинул перед собой листву и остановившимся взглядом посмотрел на рогатые завалы черкесов. Они курились непрерывной стрельбой.

Жаркий туман заволакивал землю. Все было противно и скучно. Сколько раз он лежал так, в томительном

бездействии, под свистом пуль, он не мог бы уже сосчитать. Жизнь была походом и боем. Он дрался, как дрессированный для арены огромного и нелепого цирка зверь.

Против кого подымалась его рука и оружие? Разве он чувствовал какую-нибудь злобу на этих людей, лежащих за бревнами завалов и защищающих свою землю и свою свободу?

Свобода! Это слово береглось в его сердце, как отсвет великолепной зари, один раз осиявшей его искупительным блеском на Сенатской площади.

Заря погасла в пороховом дурмане и смраде каземата, но память о ней жила.

Люди за завалами дрались за свою свободу. А он дрался против их свободы, но он любил их, он понимал их чувства, их простую, дикую, не связанную цепями жизнь. Разве он не мыслил их думами? Разве он не написал «Аммалат-Бека», который принес ему славу и первые радости в опальной солдатской судьбе? И разве в непокорном, неприручимом горце он не чувствовал себя, разве на потеху недальновидным зоилам, в ущерб правде искусства, он не заставлял дикого аварца говорить своими словами и думать своими мыслями, потому что для него это было единственной отдушиной, единственной возможностью пробить брешь для своего, заветного, таимого, прорваться к читателю-другу сквозь толщу чугунного фельдфебельского николаевского бреда?

Там, за завалами, были простые и нелживые сердца. Среди них возможна была раскрепощенная жизнь. Выиграть такую жизнь стоило.

Нужно было осмелиться перешагнуть легкую грань от прошлого к будущему, порвать ржавую цепь, связывавшую его с империей.

Между ее каторжным пленом и царством свободы было только семьдесят шагов по ядовито-зеленой поляне. Ее нужно было перейти прямо и твердо.

Он говорил по-татарски не хуже любого муллы. У него были кунаки по ту сторону поляны. Он мог рассчитывать на верное гостеприимство.

И кто знает — с еще не растраченными силами, с памятью о том дне на площади еще можно начать сначала и повторить удар отсюда, под зеленым значком Ислама.

«Искандер-бек! Муршид... Вождь газавата...»

Он задохнулся от этой мысли и, с трудом ворочая сухим языком, облизнул растрескавшиеся губы. Лихорадка волнами катилась в его крови, и кровь гудела громко и жадно:

— Иди... иди... иди...

3

— Ваше благородие... а ваше благородие... генерал идет.

Бестужев с трудом воспринял наконец настойчивые оклики солдата, лежавшего вблизи, и оглянулся. С наморья, от приземистого скрюченного дуба, под которым устроился командовавший боем Розен, поднимались по тропинке двое офицеров.

Всмотревшись, Бестужев узнал начальника штаба отряда Вольховского и поручика Мищенко.

Вольховский быстро семенил ногами, подымаясь в гору. Маленькое желтое личико генерала было красно от жары и гнева. Бестужев встал ему навстречу.

— Где ротный, Александр Александрович? Что же это такое? Сплошной срам!

— Ротмистр Альбрандт на том фланге цепи,— официально ответил Бестужев, кривя губы.

Вольховский засеменил в указанном направлении.

Бестужев и Мищенко последовали за ним.

— Что творится? — спросил Бестужев у поручика.

Тот махнул рукой:

— Ерунда. Сумятица. Черт знает что.

Ротмистр Альбрандт уютно расположился на шинели и дожевывал куриную ногу. Завидев генерала, он, смешно давясь, прожевал мясо и вытянулся на стойке с преданным видом.

— Стыд, ротмистр, стыд! — закричал Вольховский, не замечая преданности ротмистра.— Стыд! Старые кавказцы засели, как барсуки в норах, и ни взад ни вперед. Нужно двигаться. Барон приказал вызвать охотников выбивать черкесню из завалов.

Ротмистр Альбрандт неприметно вздохнул в усы, на которых налипли остатки пищи. Он попал в грузинский полк недавно из армейской кавалерии.

В уездном захолустье не шли чины, не хватало жалованья сводить концы с концами и кормить семью. Кавказ манил сверкающими крутыми завитками золотого руна, и

ротмистр стал аргонавтом, сменив доломан на плебейский сюртук линейца.

Но золотое руно было неуловимо, как мираж. Оно пряталось в болотах и теснинах, его нужно было доставать кровью.

Ротмистр знал, что ему придется идти с охотниками. Вздох завяз в его усах. Выпрямив грудь, он обернулся к солдатам.

— Братцы! Мы нехристей били везде и всюду. Не посрамим нашего оружия во славу батюшки царя,— сказал он стыдливо-казенным голосом и потупился.

Солдаты переглянулись. Согревающий огонек перемигнулся в зрачках от одного к другому. И равнодушно-спокойно отозвался кто-то невидимый в листве:

— Ну что же. Нужно так нужно! Кто еще, ребятушки?

По одному, по двое подходили из-за кустов охотники.

Тайный зов толкнул Бестужева вперед.

— Разрешите и мне, ваше превосходительство,— сказал он, упираясь взглядом в Вольховского. Генерал скроил гримасу удивления.

— Вы, Александр Александрович? К чему вам? Отличиться или умереть всегда успеете. Чего же вы лезете на верную смерть? Ваша жизнь дорога для России. Ваш долг беречь ее.

Наигранное великодушие Вольховского и легкая улыбка, дернувшая губы Мищенко, разбудили, подняли все отстоявшееся годами бешенство, накопленную мелочь обид и унижений.

Желтое личико Вольховского заколыхалось в раскаленном воздухе, то распухая тыквой, то сморщиваясь в кулачок. Но, подавив накипающую мутную ярость, Бестужев ответил как мог спокойно:

— Нет, Владимир Дмитриевич. Все равно. Найдутся люди, что и порадуются моей смерти.

А сам в то же время подумал о жизни. Иной, новой, только сегодня, в этот час рождающейся.

Вольховский сожалительно развел руками. Приличия были соблюдены.

— Не смею удерживать, зная вашу храбрость. В реляции будет отмечено,— сухо сказал он и, прочтя в глазах Бестужева явное, почти слышимое, короткое обидное слово, резко вздернув плечом, повернулся и пошел вниз. Мищенко остался.

— А вы что же, поручик? — спросил Бестужев.— Разве не с генералом?

Мищенко засмеялся. Он был настоящим кавказцем. Он тоже выбил штыком свои поручичьи погоны, а не вытанцовывал их на дворцовом паркете.

— Я с вами. Я не баба — на печи сидеть.

Ротмистр Альбрандт вздрагивающей рукой вытащил из ножен тупую сабельку.

По команде охотники бросились вперед, после того как два ядра единорога ударили в груду завала, развернув и расщепив бревна.

Удар был быстрый и дружный. После небольшой заминки на верху завала упрямо не хотевших покидать его черкесов исковыряли штыками. Цепь, передохнув и отправив назад раненых, втянулась в лес.

В лесу ротмистр Альбрандт растерялся. Здесь мало было уметь махать саблей и кричать команды. Лес был западней. Нужно было знать его, как любимую книгу, чтобы распознавать его ловушки. Черкесы прятались за стволами, в ямах, влезали на деревья, пропуская цепь, и били сверху в спины.

Их приходилось выкуривать из каждой впадины, снимать с ветвей, как белок, все время сохраняя равнение цепи и ее зрительную связь.

Ротный Альбрандт не знал лесного закона, и вскоре солдаты расползлись по чаще. Они уже не видели друг друга за деревьями. Они слышали только беспрерывный бабий крик ротмистра, вспотевшего от зноя и страха.

— Вперед!.. Вперед!..— кричал он, размахивая сабелькой.

Солдаты шли вперед, а черкесы, рассыпаясь перед ними, бурыми змеями проскальзывали назад, отрезая цепь от резервов. Все путалось.

Бестужев догнал Альбрандта. Почти против желания, по вкоренившейся годами привычке, видя бессмыслицу, он сказал устало:

— Ротмистр! Вы все приказываете идти вперед. Так нельзя. Нас обойдут. Мы и так зашли далеко, а подкреплений не видно.

Альбрандт вскинул голову, как тамбурмажорская лошадь, осаженная мундштуком, и посмотрел на Бестужева:

— А?.. Вы трусите? Трусите, наверное? Эй, ребята, вперед!.. Вперед!

В орбитах ротного плавал тупой бычий страх и бессмысленное упрямство. Бестужев отошел. Проваливаясь во мху, спотыкаясь о корни, он побрел на фланг цепи. В ложбине он увидел Мищенко, собиравшего ближайших к нему солдат.

— Александр Александрович,— закричал Мищенко,— что же он делает, черти его подери! Ведь нас голыми руками заберут в этой дыре.

Бестужев не ответил. От ходьбы лихорадка рассвирепела. Голову ломило. Огневые волны ходили по телу, сотрясая его. Деревья плавно кружились, развевая кронами; на ветках гроздьями, как бурая осенняя листва, висели, раскачиваясь, черкесы и шумели гортанным, растительным говором.

Споткнувшись о кочку, он упал, ушиб локоть и разорвал сюртук.

Подымаясь, увидел перед собой солдата. Солдат стоял, опираясь на ружье. Его затылок зарос седой, в колечках, овечьей шерстью. Что-то было странно знакомое в солдате, но Бестужев не мог припомнить что.

Солдат покачал головой.

— Ваше благородие,— сказал он, и при первом слове, по голосу, Бестужев узнал в нем того, который вытащил из воды убитого проигравшегося прапорщика.

— Ваше благородие,— сказал солдат,— куда вы идете?

— Куда? — Бестужев почувствовал, что его рот, помимо воли, перекосило одичалым смехом.— Куда? Не знаю куда.

— Ваше благородие. Растолкуйте, что оно происходит?

— Да что же тебе толковать, когда я сам ничего не понимаю.

Солдат испуганно приблизил к нему лицо.

— Что же мы такое? Цепь или что другое?

Бестужев ощерился.

— Сперва, братец, была цепь, а теперь г... всмятку.

Солдат глухо, не по-человечески засмеялся, но сейчас же оборвал смех. Откуда-то затрещали выстрелы, и пули затараторили по стволам.

— Надо идти к нашим,— произнес солдат, подымая ружье.

— А где наши? — спросил Бестужев.

— Там,— солдат махнул рукой вбок.

— А черкесы?

Солдат махнул в обратную сторону и остановился, увидя, что офицер повернул и быстро пошел в ту часть леса, где были черкесы. Он закричал вдогонку, недоумевая и пугаясь:

— Ваше благородие. Куды ж вы идете? Не ровен час, в самые лапы нехристям влезете.

Но офицер не отвечал и уходил. Его напряженно согнутая спина испугала простой ум солдата. Он побежал за уходящим и догнал его у развороченной дикими свиньями ямы. Он ухватил офицера за рукав.

— Ваше благородие! Постойте! Никак, вы больны?

Бестужев остановился. В выцветших от солнца старых глазах отразилась перед ним вся загнанная, растерянная, недоумевающая Россия.

Страшная российская чертова карусель. Осатанелая толчея. Оловянные болваны, водящие на убой проданную отару овец.

Вся страна была проданной отарой, и ее кружил по бездорожью оловянный болван, сидевший в Зимнем дворце.

Нужно было построить Россию в каре, придать ей стройность и крепость архитектурного канона. Но ведь они пробовали это однажды — четырнадцатого декабря. И сколоченная в каре Россия промерзла на месте несколько часов и распалась в визге картечи.

Он пошатнулся и оперся на плечо солдата. И, нагибаясь к самым усам, пахнущим потом и табаком, прошептал не своим голосом:

— Идем со мной. Слышишь, старик, уйдем!

Солдат таращил выцветшие глаза. Он еще не понимал болезни своего начальника и осторожно тянул его за собой.

— Пойдем, ваше благородие. Авось как-нибудь пробьемся.

Бестужев отшатнулся.

— Куда пробьемся? Туда? Не хочу. Я иду к ним. Ты пойдешь со мной.

— Что вы, ваше благородие. Зачем к чеченцам? Зарежут басурманы,— выдавил оторопевший солдат.

Бестужев с силой ухватил его за грудные ремни амуниции и дернул к себе. Солдат послушно, как деревянная кукла, почти упал на него.

— Слушай меня, старый выжатый глупец. Разве не болит твоя изорванная палками и шпицрутенами шкура, разве не рвется твое сердце от тоски по родным полям и дому, разве не чувствуешь ты, что ты продан, как заправская вещь, и тобой будут помыкать до смерти? Ты игрушка деспотичества...

Он выбрасывал странные, как будто не в его уме рождавшиеся, слова, задыхаясь и торопясь. Откуда эти слова? Ах да, это было двенадцать лет назад у Синего моста, в доме Американской компании, в душно натопленной квартире Рылеева.

Он почувствовал, что солдат дрожит мелкой дрожью, но не отпускал ремней.

— Здесь унижение и позор, здесь самое человечество раздавлено руками угнетателей — там свобода. Идем вместе!

Солдат молчал и тяжело дышал, опустив голову. Он наконец понял и, пряча глаза, мутно, как в подушку, выговорил:

— Нет, ваше благородие, не блазнитесь. Грех вам. Как хотите, а я присягу сполню. К басурманам не пойду, не продам веру. Хочу середь своих помереть.

Мрачное, горькое покорство было в его словах, в опущенной седой голове. Бестужев внезапным размахом отшвырнул его от себя.

— Раб,— закричал он хрипло и ошалело,— раб... овца... илот, что сделали из тебя? Ты даже ненавидеть не можешь...— и, повернувшись, побежал во всю мочь на выстрелы.

Солдат кричал за его спиной, звал отчаянным криком,— он не обернулся.

Чаща редела. Впереди была прогалина. Он остановился и нащупал в кармане пистолет, тот самый, что лежал под подушкой в Дербенте. Он был маленький, двуствольный и странно похожий на тот, прежний, отнятый у Щепина-Ростовского. Два тонких ствола узорчатого дамаска были похожи на пару склеенных и замороженных змеек. Он повертел пистолет в руке, как будто примеряясь.

Потом медленно поднял руку к голове, но прикосновение теплой стали было противно, и рука тотчас же опустилась.

Умереть! Нет! Смерть не была страшной! Он знал, что сегодня ему суждено в последний раз тянуть билетик беспроигрышной лотереи. Вчера было только два выигрыша.

Чет или нечет. Беспросветная жизнь или смерть! Но сегодня открылась возможность третьего: свобода. Нужно было испробовать неожиданный шанс. Он выпрямился и широкими шагами пошел к прогалине. Дойдя до опушки, он вынул из кармана платок, накинул его на пистолет и, высоко подняв руку, выступил из опушки на открытое пространство, шагая, как дуэлянт к барьеру.

Солнце морило высыхающую траву. За деревьями противолежащей опушки мелькали тени. Там были о н и.

Его заметили. От деревьев отделились трое и побежали навстречу ему.

Он замедлил шаги. Он по-детски улыбался этим подбегающим братьям. И еще издали закричал им:

— Чох селяммум, кардашляр!.. Чох селяммум, кунакляр!

Жаркая радость туманила его зрение. Она была горяча, как жар лихорадки. Все пламенело и плясало в его врачках.

Передний черкес был уже близко. До него оставалось не больше десяти шагов.

Бестужев широко раскинул руки, как бы готовясь обнять набегающего, и взглянул на него.

Стремительный толчок крови, бросившийся к вискам, шатнул его. Он закричал и задрожал, в оцепенении смотря на черкеса. Черкес был молод. У него было розовое, одутловатое, гладкое лицо с маленькими усиками.

Что-то невыносимо знакомое и страшное было в этом лице. Напряженно лопнула секунда, и он понял, он вспомнил. У черкеса было лицо Николая в тот день, когда в глухом подвале дворца через стол протянулась холодная рука для предательского рукопожатия.

Коротко и испуганно вскрикнув, Бестужев опустил пистолет на уровень этого жуткого своей непонятной схожестью лица и в забвении нажал курки. Отдача двойного выстрела вырвала оружие из его рук. Он вскрикнул вторично и, повернувшись, бросился без памяти бежать, как тогда с Сенатской площади.

До опушки, откуда он вышел, было недалеко, но неожиданно его сильно толкнуло в спину. Он удивленно оглянулся. Но сзади никого не было. Он подумал, что толчок почудился, и хотел снова бежать. Но в горле тепло защекотало. Он закашлял и удивился, когда с кашлем изо рта поползли кровавые пузыри.

Колени мягко подломились. Сопротивляясь нахлынувшей слабости, он трудно шагнул последним усилием и сел на горячую землю у дерева, лицом к черкесам.

Сквозь зеленое мерцание солнца, листвы и боли он увидел еще, как, по-звериному распластываясь, через прогалину бежали уже не трое, а много людей. Он пытался считать и не мог.

Сознание медленно покидало его, голова опускалась на грудь, и подбородком он ощущал противную мокроту набухшей кровью рубахи.

Черкесы добежали. Двенадцать шашек голубым взблеском сверкнули под солнцем и опустились на его голову и плечи, как огненные языки, дарующие свободу и покой.

Лотерея была кончена. Он выиграл нечет.

Рыжебородый карачаевец, с дрожащими от возбуждения и бега ноздрями, наступил на плечо и, коротко дернув шашкой, отсек голову. Она отвалилась, дрогнула и стала теменем книзу, как детская игрушка ванька-встанька.

Карачаевец, обтирая лезвие полой полотняного сюртука мертвеца, каркнул:

— Кеселибты коп баш урусляр бугют [1].

Ленинград,
10 ноября 1929 — 6 января 1930 г.

---

[1] Сегодня срезали много русских голов.

«АДРЕС СУДЬБЫ»

Курков прислонился к стене дома. Сквозная листва липы, росшей на тротуаре, была наклеена на мутно-сиреневое вечернее небо, как бессюжетная детская аппликация. Снизу листья начинали слабо золотеть от блеска ламп над входом кинотеатра на другой стороне улицы.

Окно первого этажа, у которого стоял Курков, вдруг налилось бледным сиянием. Курков повернулся и сквозь мутный ледок непромытых стекол увидел коробочную внутренность комнаты. Розовый, как земляничный сироп, свет лампочки под ситцевым колпаком сочился по стенам. Молодая женщина в халатике подошла к окну с большой бутылью в руках. Поставив бутыль на стол у окна, она отошла к шкафу в глубине и вернулась с водочным графином. Графин остро лучился блестящими хрустальными иглами.

Женщина подняла бутыль и, сосредоточенно сведя к переносице тонкие выгнутые бровки, стала переливать из бутыли в графин вишневую наливку.

Бутыль была тяжела. Локти у женщины дрожали, губы поджались и бровки над переносьем трепетали, как усики большого мотылька.

Наливка выливалась медленно. Ягоды застревали в узком горле бутыли и, подталкиваемые тяжестью жидкости, толчками вываливались из него. То выскочит одна, то сразу несколько, кучкой, качаясь и сталкиваясь в густой сладкой струе.

Внезапно женщина подняла голову и увидела за стеклами чужие пристальные глаза. Брови ее разошлись,

вздернулись. Она поставила бутыль на стол и капризным, оскорбленным взмахом задернула шторку.

Куркову стало жалко ее, а потом неожиданно и себя. Экспозиция чужой жизни, открывшейся на мгновение, как в театре, навсегда задернулась занавесом. Она стала прошлой и неповторимой. На нее осыпался зыбкий пепел времени.

Сырой размах ветра перепутал и разметал узор лиственной аппликации над головой Куркова. Он поежился и поднял воротник пальто.

Двери кино напротив распахнулись. Кончился первый сеанс.

Курков смотрел теперь на выходящих зрителей. Они что-то напоминали ему, чего он никак не мог вспомнить, и, вдруг вспомнив, смущенно заулыбался.

Зрители вытекали из дверей, как вишневые ягоды из горла бутыли. Как ягоды, они застревали в узкой дверной раме и, выдавливаемые напором задних, толчками вываливались наружу. То по одному, то кучками, сталкиваясь и колыхаясь, уплывали они в густую сладкую струю вечерней свежести.

Курков вынул блокнот и, спотыкаясь, в сумерках, карандашом записал сравнение. Оно понравилось ему.

Довольный и повеселевший, он отделился от стены, быстро перешел мостовую.

Его ботинки весело захлебывались в круглых дождевых лужах. Он остановился против выхода в кино и, полузакрыв глаза, слушал плескающееся течение говоров.

Люди шли. Обломки слов, фрагменты фраз, жалобы, признания, мысли падали в темноту и, прочертив легкий звуковой след, задыхались на лету, рушились, разбивались.

Курков ловил эти бесформенные обрывки.

Ампутированные, искалеченные слоги звучали странно увлекательно. Освобожденные от обычного груза смысла, они становились экзотикой, интриговали, как слова чужого, непонимаемого языка.

«Заметить это. Разорванное слово освобождается от смысловой нагрузки,— можно использовать»,— подумал Курков. Он опять полез в карман за блокнотом, но руку его перехватила чужая рука. Курков нервно вырвал свою и, обернувшись, увидел старика Левченко. Эллиптические морщинки монтера весело пересекались в сложном чертеже по щекам от висков к подбородку.

— Ворон ловишь, целитель,— сказал механик, усмехаясь в усы.

— События ищу, Павел Семенович,— рассеянно ответил Курков, все еще прислушиваясь внутренне к оседающему гулу толпы.

— Чего? — переспросил Левченко.

— Для романа своего ищу,— опомнившись, сказал Курков,— людей и события. Хожу по улицам, по домам и ищу. Мне нужны, Павел Семенович, большие события и большие люди. Огромные. Чтоб от края до края видно не было. А попадается все узкое, спрессованное, крошечное... Лилипутия... Все умещается на ладони, под стеклышком, за занавесочкой... Судьбы нет, Павел Семенович, факты и фактики, а судьбы нет.

Старик не спеша достал деревянный портсигар, щелкнул крышкой и закурил.

— Чудишь все,— хмыкнул он ласково сквозь облачком хлынувший дым,— чудишь! Васька ведь правду о тебе говорит, что у тебя шкив сорвался.

— Что? Василий? Обо мне? — возмутился Курков.

— Эх, выболтал невзначай. Сорвалось... А ты не ерзай. Ты прикинься, что не слышал. Он тебе этого не скажет, он только мне говорит,— с хитрецой законфузился старик, поглаживая Куркова по рукаву пальто.

— Нечего сказать, утешили. Мне в глаза одно, а за глаза другое?

— А ты наплюй: Васька тебя, лекарь, уважает. Васька тебя за друга почитает. А что дома сболтнет — такая повадка человечья. Она еще долго будет гулять по свету, повадка-то. Дома новые построим, землю заново назовем, а старая повадка и на новой земле еще准ванивать будет. Но только Васька не зря говорит. Он деляга. На язык больно хват, так это все нынешние. Может, так и лучше. Ежа голым ртом не ухватишь. Так, что ли?

— Так, должно быть,— ответил Курков.— Вы домой, Павел Семенович?

— До почи домой — косточкам покой,— отозвался прибауткой старик,— проводишь, что ли, святитель Пантелеймон?

— Я с удовольствием,— обрадовался Курков.

В старике Левченко была спокойная умиротворяющая ясность, и Курков любил его за это. Он искренно обрадовался возможности проводить его.

Они свернули в переулок. Переулок круто обваливался

вниз к надречью, был узок и стиснут и от этого казался похожим на пересохшее русло горной реки. Крупный булыжник мостовой еще усиливал сходство. Казалось, час назад здесь с ревом пробушевала вода и ушла, оставив на пути плотно улегшиеся голыши.

Шли по узкому тротуару молча. Левченко впереди. Курков за его плечом вплотную.

— Так хочешь писать все? — вдруг спросил старик.

— Хочу.

— События ищешь? А где ж ты их ищешь?

— Везде, Павел Семенович. Это у меня как запой сейчас. Чуть из клиники — и обо всем, кроме этого, забываю. Хожу, смотрю, слушаю, ожидаю. Необычного ожидаю. Всасываю, как губка. Дружбу, ненависть, ярость, желание, восторг и равнодушие. Заглядываю в окна и в души, в комнаты и в глаза. Но везде пусто. Нет большой судьбы. Есть игрушки из папье-маше. А человеческих страстей не вижу.

Старик внезапно остановился и вскинул голову. Был значительно ниже Куркова и оттого привстал на цыпочки, заглядывая ему в лицо, смутное в темноте.

— Не там ищешь,— коротко, странно, сурово и как бы вдохновенно — так показалось Куркову — сказал механик.

— Как не там? — опешил Курков.

— Не там, говорю. Судьба нынче квартиру переменила, друг ты мой Леонид Петрович. Другой у нее адрес.

Курков насторожился. Он заметил, что впервые со времени знакомства старик Левченко назвал его по имени-отчеству. Раньше всегда называл шутливо: то лекарем, то святителем Пантелеймоном или целителем.

И от этого неожиданного обращения и оттого, что затвердел голос старика, Курков взволнованно спросил:

— Переменила квартиру судьба, Павел Семенович? Где же она теперь? Вы знаете?

Старик помолчал, вытянув шею, склонив голову набок, будто прислушивался к дальнему скрежету трамвая.

— Знаю. Не знал — не говорил бы.

Слова широким выдохом ринулись в ночь. Курков, похолодев от внезапного предчувствия, схватил Павла Семеновича за локти.

— Да где же она? Ведь ищу я ее! Говорите!

Старик мягко освободился.

— Ишь, как тебе, друг мой Леонид Петрович, жар-птицу поймать хочется. Мечтатель дурачок Иванушка.

Напомнил ты мне сейчас его, знаешь. Давно это было. Я еще у батьки жил, ремесленное кончал в ту пору. Была у нас сука Милка. Рыжая такая, с подпалинами, и хвост перекусан. Ощенилась она тогда и на второй день из подворотни на улицу выскочила по собачьей своей обязанности на телегу полаять. Ну, то ли не рассчитала, то ли еще ногами слаба была,— и угодила под колесо. А щенята лопать хотят, повизгивают. Налил я из крынки молока в блюдечко, поставил на пол. Так и завозились псята. Носы повытянули, лапы расползаются. Чуют, что молоко есть, а где оно — не видят, не поймут. Мозги еще не выросли. Вот и ты. Возле судьбы пищишь, лапами елозишь, а не видишь, как она тебя рядом поджидает.

— Да где же она?! — уже с мучительным напряжением вскрикнул Курков.

— Постой минуту. Сейчас покажу. Пойдем.

Старик опять двинулся по переулку. Курков бросился за ним.

— Судьба?.. Ау, старая судьба, друг ты мой Леонид Петрович. Жила-была судьба в больших воротах, в барских хоромах. По горницам пряталась, в куточках укрывалась, на диванах отлеживалась, на солнце не показывалась. А ныне повыволокли ее на вид, чтоб всем ясна была. А ты по-прежнему в уголочках шаришь.

Переулок замедленным падением вытек на площадку к надречному скверу. Как в устье реки камни уходят под налег песку,— булыжник утонул под асфальтом. Павел Семенович перешел площадку и вошел в ворота сквера.

Сквер был пуст, не в моде и заброшен. Павел Семенович все ускорял шаги, и Курков уже с трудом поспевал за ним. Аллея кончалась у пологого травяного ската, спадавшего к реке. У пристани освещенный белый пароход пошлепывал ступицами колес, похожий на заблудившегося гуся.

За пристанью, над заречными лесами, далеко в синей тишине в высокое небо лилось голубое бледное зарево. От него по лакированному черному плаву половодной шири вились и кружились зыбучими спиралями играющие отблески. Голубое зарево рождалось от безустанных дуговых солнц на постройке гидростанции.

Павел Семенович положил руку на плечо Куркову. Положил так, что Куркову показалось, словно Павел Семенович взял его поучительно и настойчиво за шиворот, как слепого щенка.

— Вон она, судьба. Гляди, Леонид Петрович, не проглядн. Наружу судьба вышла, светится, полыхает. Широкая. Пришли нынешние, вытащили ее из закоулочков, поставили для всех. Бери кто умеет.

Курков молчал в изумлении.

— Не понимаю,— сказал он раздумчиво,— не понимаю, Павел Семенович. Что же с вами? Ведь вы же с Василием на ножах из-за гидростанции. Ведь вы же нынешних ругмя ругаете. Вы всю эту постройку комариным бредом именуете, а строителей под плотиной потопить хотели. Вы же большевиков последними словами поносите. Почему же вы меня к этой судьбе привели? А вдруг я ее тоже ругать начну?

Старик сухо крякнул. Не разобрать было, смеется или сердится.

— Не можешь, друг мой Леонид Петрович. Нет твоего права ругать.

— А вы?

— А я могу. Да что — могу, должен даже. Я свою ругань, во-первых, горбом выслужил, а во-вторых, мне хвалить не положено по штату. Плохой отец, кто свое дитя только хвалит, хороший, кто ругает. Я выругаю — добро будет. Чужой выругает — худо. Я ее, гидру эту, породил своим потом, моей жизни камушки ей под сваи на забой пошли. Я и браню за то, что не всему миру в пример вышла. А ты перед ней молчи. Ты чужой.

— Какой же я чужой,— растерянно сказал Курков,— когда я всегда постройку от вас же защищал. Вы ругались, а я вам доказывал, что она прекрасна.

— А все ж я ей свояк, а ты чужак. Потому ты умом, а я сердцем. Ты ее головой хвалишь, а сердца она тебе не бередит. Так — дом и дом. Разве больше других домов? А я языком поругиваю, а в середине она у меня как жар горит. Для меня она, как для моей бабы покойницы церковь была. Понял?

— Понял,— ответил Курков, ежась. Ему стало холодно от сырого дыхания реки и от внезапного жестокого одиночества.

— Вот то-то и есть. Здесь ищи судьбу, друг ты мой Леонид Петрович. А про углы забудь. Вышла жизнь из углов и не вернется. И ты из угла вылазь, а то пропадешь, как старое помело, что в доме забыли. Уходи в жизнь, да кругом смотри. И увидишь судьбу.

Курков стало еще холодней.

— Но как же? — спросил он.— Я ищу человеческую судьбу, Павел Семенович. А там камень, стекло, металл, машина... Человек там ведь только работает. А живет он у себя. Я человека хочу.

Павел Семенович прищурился и помотал головой, как упрямая старая лошадь.

— Ты все свое. Заладила сорока про Якова. Че-ло-века? — протянул он с подчеркнутым смешком.— Че-ло-века? Судьба другая пошла, и человек другой пошел. Был человек такой, как ты говоришь, да весь вышел. Теперешний там живет, где работает, потому что работа жизни стала стоить. Теперешний на работе живет, а дома мается. А пройдет еще время и дом вовсе фу-фу. На ветер пойдет, как наша с Васькой старая хибара. Скоро и слова такого не будет, Леонид Петрович, «дом». Будет «здание» или «постройка». А дому — гроб. Ищи человека и судьбу его не в дому, а на постройке. Смотри кругом. В клинике у себя смотри. Там в науке судьбу человечью увидишь. Наука, она, друг ты мой Леонид Петрович, краев не имеет, когда из угла на свободу вышла. Как сам ты говоришь, «от края до края чтобы видно не было...» Ну, прощай. Пойду на боковую. Сегодня в холостяках я. Васька на дежурстве.

Он ткнул Куркову жесткую тарелочку ладони и, быстро семеня, побежал вниз по деревянной лестнице, спускавшейся от сквера к пристани.

Серое его пальтишко таяло в ночи, как будто в затемняющемся кадре фильма.

Уже почти невидный, он крикнул снизу Куркову:

— Людей ищешь, чудак. Да их что песку морского! Ты на Котельникова одного оглянись. Большая судьба!

Голос его, отяжелев, всползал по откосу, пригнетаемый сыростью. Курков остался один. Зарево гидростанции высоко вставало на горизонте.

Мелькнула там рыжеватая зарница, и спустя долгое время долетел глухой и пухлый отгул взрыва. По ночам рвали гранитную породу под перемычкой, когда оставалось мало рабочих.

Ветер с реки воробьиной припрыжкой перепархивал по деревьям, поклевывая листву.

Зарево было далеким и заманчивым. Оно притягивало, и от него трудно было оторваться. В теплой гуще апрельской ночи, ленивой, томной и неподвижной, оно было живым, упрямым, рабочим.

— Адрес судьбы?.. Это судьба,— медленно вслух сказал Курков, продолжая смотреть на зарево.

— А может, я ваша судьба, кавалер,— хрипло отозвалась ночь.

Курков отпрянул, вздрогнув.

Рядом стояла незаметно подошедшая женщина. Ее белки тускло блестели под шляпкой, и тускло блестела в зубах папироса. Глаза были жалобные, собачьи.

Курков вздохнул. Ему стало вдруг ясно и легко. Он засмеялся.

— Вы? Нет, вы не моя судьба. Вы даже ничья судьба. Вы тень стоящего позади. Мир уже пролетел мимо вас. Мимо. Вы остались и никогда не догоните судьбу,— сказал он, размашистым жестом сняв шляпу и кланяясь.— Так застывайте же в каменной неподвижности прошлого. Оставайтесь, а я спешу догонять судьбу. Я получил ее адрес.

Он нахлобучил шляпу и бегом бросился по аллее вверх к городу, к шуму, к жизни.

<1930>

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Утром, приехав на завод, Михаил Викентьевич прошел в кабинет и занялся просмотром корреспонденции. Очередной циркуляр облплана о создании фонда металлического лома вызвал у Михаила Викентьевича раздражение. Циркуляр по ошибке прислали вторично.

Михаил Викентьевич позвонил в Облплан и иронически предложил члену коллегии присылать впредь лучше чистую бумагу, так как в канцелярии завода в бумаге большой недостаток. Облплановец съел директорскую пилюлю молча, возразить было нечего, а кроме того, попадать на язык Левченко было опасно — Михаил Викентьевич умел высмеять жестоко и едко.

Остальная почта не представляла интереса, и Михаил Викентьевич механически перелистывал ее в то время, когда в кабинет вошел один из завкомовцев со сводкой суточной подписки на заем.

Михаил Викентьевич удовлетворенно усмехнулся, проглядев сводку. Подписка шла в гору — было ясно, что завод даст не меньше ста пятидесяти процентов задания.

— Хорошо работаете, ребята,— сказал он просиявшему завкомовцу.— Этак мы, пожалуй, на первое место выскочим. И «Металлострою» нос утрем. Вот вам и «старая плевательница», и «кузница каменного века». Поглядим, как «гигант индустрии» за нами угонится.

— До двухсот бы процентов натянуть, Михаил Викентьевич,— возмечтал завкомовец.

— А зачем? Только, чтобы цифрами пыль в глаза пускать? И так охотно подписываются, а это самое ценное. Я ведь вас знаю — рады перегнуть. Нажмете так, что публика пищать станет. А тут подписывают действительно по доброй воле. Комсод премировать надо будет за энергию.

Завкомовец забрал сводку и ушел, разминувшись в дверях с техническим директором.

По хмурым складкам над переносицей инженера и покосившимся очкам Михаил Викентьевич сообразил, что он пришел с какой-то неприятностью.

И, словно отталкивая от себя эту неожиданную неприятность, Михаил Викентьевич, еще не спрашивая ничего, предложил инженеру портсигар. Это была давняя и испытанная хитрость. Инженер любил хороший табак, а Михаилу Викентьевичу племянник ежемесячно присылал из Сухуми абхазский медовый.

Хитрость подействовала. Инженер сел и молча стал крутить папиросу. Делал он это медленно и неловко, и неприятность на какой-то недолгий срок была отдалена молчанием.

Но, выпустив первый синий клуб дыма из-под стриженых усов, инженер прорвался сразу и взволнованно:

— Я больше не могу отвечать за состояние машинной, Михаил Викентьевич. Это черт знает что!.. Это неслыханно!.. Кажется, было договорено точно, что в мае котел будет. Представитель «Котлотурбины» давал клятвенное заверение, что никаких опозданий со сдачей заказа не может быть... А вот извольте полюбоваться — вчера прислали роман в десяти частях с неблагополучным концом. И то, и это, и объективные причины, и субъективные обстоятельства, и так врут, и этак брешут, а смысл один... дескать, раньше августа котла вам не видать... Ведь разбой!.. Без ножа режут, сволочи!.. За наш котел я на три дня не поручусь. Не котел — тришкин кафтан, чертова сопелка, которую завтра разнесет вместе со всем машинным и людьми.

Инженер поперхнулся дымом и закашлялся. Лежавшая на столе, с зажатой между пальцами папиросой, рука его сильно вздрагивала в такт захлебам кашля.

Михаил Викентьевич глядел на эту вздрагивавшую руку и думал свое.

Во вздутых веревках вен, напружившихся под кожей, он читал повесть о тревожном волнении старого, опытного человека, так же привязанного к старому, задыхающемуся заводу, как был привязан и Михаил Викентьевич.

А внутри, в самом Михаиле Викентьевиче, в его сознании, в его сердце, накипал сочувственный гнев. Инженер достал платок и вытирал выступившие от кашля слезы. И одновременно Михаил Викентьевич потянулся к телефонной трубке и рывком назвал номер Облплана.

— Петр Егорыч?.. Это опять я... Я тебя только что покрыл в шутку за твой перманентный циркуляр... Да-да... Ты постой, слушай. А теперь буду крыть всерьез. Вот тебе и ну!.. Бумажками почковаться вы умеете в неограниченном количестве, это я знаю, а вот реальную помощь оказать слабо... Да постой... Ты пойми, что это невозможно. «Котлотурбина» в третий раз надувает со сдачей котла. Да... Ты прости, но это называется очень точным именем. Это, друг мой, мошенничество... Да не сильные слова, а правда. Неужели только в капиталистической промышленности нужно соблюдать сроки заказа? Да... Попробовали бы они на экспорт так работать! А с нами можно волынить и заниматься обманом одиннадцать месяцев? Брось!.. Управу найти можно. Винтик за винтик цепляется... А если у меня завтра взорвет мой инвалидный котел, кто под суд полетит,— ты или я? И не один я. Полетит и техдиректор и заведующий техникой безопасности, а люди ни в чем не виноваты, ибо десятки раз докладывали, предупреждали. Я, наконец, требую внимания...

Инженер, сидевший во время разговора потупясь и с вниманием разглядывавший чернильное пятно на полу, внезапно поднял голову, услыхав, как стукнула по столу упавшая трубка телефона.

Михаил Викентьевич, осунувшись в кресле, опускался набок. Голова его беспомощно сникла на грудь, щеки посинели, глаза закрылись.

Инженер вскочил. В волнении он зачем-то схватил выпавшую из руки Михаила Викентьевича трубку и, коротко крикнув в нее: «Товарищу Левченко дурно»,— швырнул ее на рычажки. Потом он подхватил Михаила Викентьевича под локоть, раза два встряхнул огрузневшее тело директора, выпустил его и, кинувшись к

двери и распахнув ее, крикнул в машинный цокот канцелярии:

— За доктором!.. Живо!.. С Михаилом Викентьевичем обморок.

Цокот сорвался в мгновенную испуганную тишину. Разбив ее, по полу прогрохали каблуки побежавшего к выходу бухгалтера. В кабинет, с графином в одной руке и стаканом в другой, вскочила машинистка, за ней засеменил старик делопроизводитель. Растерянно мигая, замерла у двери курьерша.

Инженер вырвал у машинистки стакан, набрал в рот воды и неумело, целым фонтаном прыснул в лицо Михаилу Викентьевичу. Вода побежала струйками на костюм, сияющие капельки повисли на подбородке. Веки директора чуть вздрогнули.

Машинистка, торопясь, вырывая запонку, расстегивала воротник.

Старичок делопроизводитель нерешительно предложил перенести Михаила Викентьевича на диван и начал путано объяснять, что это первое дело в таких случаях. Инженер, не дослушав, подхватил Михаила Викентьевича под мышки и, краснея от натуги, потащил к дивану. Ноги Михаила Викентьевича жалко, деревянно волочились по полу. Едва его уложили — вошел врач.

От поднесенной врачом склянки с нашатырным спиртом Михаил Викентьевич закорчился и мотнул головой. Врач перехватил его руку, нащупывая пульс.

— Тсс...— зашипел инженер на стукнувшую графином об стол машинистку и тихо спросил у врача:

— Ну, как?

— Ничего страшного,— ответил врач с профессиональным спокойствием,— обморок, резкое падение пульса.

— А отчего это с ним?

Врач пожал плечами:

— Отчего?.. отчего? Оттого, что... годы... работа... сердце. Что-нибудь, вероятно, взволновало?

Он уставился на инженера упрекающим взглядом, точно говоря: «Знаем мы вас, рады расстроить человека».

Инженер смутился, будто действительно совершил преступление, и отозвался испуганным шепотом:

— Он крупно поговорил по телефону насчет котла... Не кончил разговора и вот...

— Вот оно самое... Ушли бы вы все отсюда,— страдальчески сказал врач.

Машинистка, делопроизводитель, курьерша гуськом, на цыпочках, удалились в канцелярию, прикрыв дверь. Врач вторично дал Михаилу Викентьевичу нюхнуть спирта. Михаил Викентьевич сморщился, чихнул и трудно раскрыл глаза.

Еще отсутствующим взглядом он рассеянно обвел знакомые стены, скользнул по тревожному лицу инженера и остановился на враче.

Медленно возвращающееся сознание, в котором он чувствовал гулкий провал, фиксировало фигуру врача как признак вторжения в обычный уклад жизни чего-то необычайного, из ряда вон выходящего, причины чего он не мог понять.

Никогда не испытанная до этих пор слабость парализовала его тело. Он хотел поднять руку, чтобы стереть с лица непонятно откуда взявшуюся влагу, и не мог. Рука, чуть шевельнувшись, бессильно упала, и врач поспешно предупредил новую попытку движения:

— Не шевелитесь. Вам нельзя шевелиться.

Михаил Викентьевич тщетно пытался связать оставшиеся в памяти последние минуты телефонного разговора с тем, что происходит сейчас, и не мог. Почему он лежит на диване, зачем здесь врач и откуда эта отвратительная, унизительная слабость и разбитость?

— Что случилось? — спросил он, холодея от внутреннего испуга.

— Вам было плохо. Вы потеряли сознание.

Это был голос врача, но Михаил Викентьевич воспринял его как собственный голос. Это собственная память быстрой вспышкой осветила выпавший промежуток. И он сразу вспомнил все. Он вспомнил, что уже после первых фраз, сказанных в трубку, глубоко в груди началось сосущее давление. Потом грудь стало распирать, словно внутри с непонятной быстротой вздувался горячий ком. Он мешал думать и говорить и, наконец, разорвался с дребезжащим гулом. И наступила темнота.

И оттого, что Михаил Викентьевич вспомнил это с поразительной, обостренной ясностью,— ему стало страшно. Пот мелкими капельками выступил у него на лбу и бровях. Захотелось присутствия близких людей, и Михаил Викентьевич робко, словно боясь встретить отказ, попросил:

— Позвоните в клинику, вызовите Василия.

Инженер подошел к телефону. Врач сел рядом

с Михаилом Викентьевичем на диван и слегка погладил его по плечу:

— Что же это вы, Михаил Викентьевич, на старости лет этак шалить вздумали? — сказал он шутливо, как говорят заболевшему ребенку.

Михаил Викентьевич бессильно, одними глазами, улыбнулся.

— Старость не радость,— в тон врачу отозвался он и вдруг сразу понял настоящее. Да... Конечно, это старость. Та самая старость, о которой он никогда не думал и которая так неожиданно и грубо напомнила о себе, непрошенно ворвавшись в его жизнь, в работу, дело. Сегодня он получил первое предупреждение, первый сигнал неблагополучия.

Он устало закрыл глаза и повернулся лицом к стене.

В наступившем молчании он услыхал, как врач сказал шепотом инженеру, но шепот этот прозвучал в мозгу Михаила Викентьевича жестяным дребезгом:

— Ничего... Пусть подремлет. Очень слаб...

«Это он обо мне... Это я слаб... Михаил Викентьевич Левченко слаб... Развалина»,— горько подумал Михаил Викентьевич и протяжно вздохнул.

Сквозь наплывающую дрему он слышал, как уже совсем тихо шептались в кабинете технический директор с врачом, и он не мог уловить ни одного слова из этого разговора.

«Как о мертвом шепчутся»,— подумалось ему с обидой.

Потом он услышал, как шумно распахнулась дверь, прозвучали быстрые шаги, и крепкая, молодая,— он сразу почуял это,— рука сжала его руку.

— Отец... Это что за новости? — произнес родной, дрогнувший недоумением и жалостью голос.

Михаил Викентьевич повернулся. Над ним склонилась белокурая, в мелких завитках, голова Василия. Глаза были тоже родные, расширенные, с трепещущим огоньком тревожной любви. И Михаил Викентьевич обхватил обеими руками эту милую голову, прижал ее к своей мокрой рубашке и заплакал молчаливыми, неожиданными слезами.

— Брось... брось... родитель. Ну, что ты... Комиссар армии... директор завода — и ревешь,— говорил улыбчиво Василий, и от этой усмешливой ласки сына Михаилу Викентьевичу еще больше хотелось плакать.

Василий понял это и понял, что Михаила Викентьевича не следует оставлять дольше здесь, в той обстановке, где ему стало плохо.

— Дайте машину, я отвезу его домой,— сказал он техническому директору. Инженер вышел. Василий высвободился из объятий отца и спросил врача:

— На какой почве это с ним?

Врач помедлил с ответом и осторожно покосился на затихшего Михаила Викентьевича. Вполголоса сказал несколько тяжело прозвеневших в тишине латинских слов. Василий удивленно взглянул на отца и стал серьезен.

До машины Михаила Викентьевича довели под руки Василий и технический директор. Михаил Викентьевич опустился на кожаные подушки вяло и грузно.

— Выздоравливайте, Михаил Викентьевич. Главное — отлежитесь, отдохните и не думайте о котле. Я без вас за него буду грызться,—сказал на прощанье технический директор, пожимая похолодевшую руку.

Михаил Викентьевич не ответил. Мысли его были в эту минуту далеко от завода, котла, от всего обычного жизненного уклада. Так, молча, он доехал до дому, молча позволил Василию раздеть себя и уложить в кровать. И только вытянувшись, укрытый одеялом, вдруг заглянул в глаза сыну и хрипло спросил не своим голосом:

— Что? Помирать пора?

Василий засмеялся.

— Помирать? Рано вздумал. Еще попляшешь.

Но в смехе сына уловил Михаил Викентьевич неискренние нотки. Смеялся Василий не так, как всегда, не открыто, а глухо, внутрь себя, будто сам боялся за свой смех. Михаил Викентьевич опять вздохнул и подтянул одеяло.

— Так...— произнес он и помолчал: — Так... Ну, что же, лечи. Вот тебе и практика на дому...— И прибавил после долгой паузы: — Ты в самом деле послушал бы меня. Черт его знает, чего чужие наскажут. Я тебе больше поверю, чем кому другому. Главное, противно уж очень. Так сразу... вдруг кондрашка. Я всю жизнь ничем не хворал.

Василий пожал плечами:

— Слушать тебя не стану. У нас это как правило — родных не лечить. Ни один врач не станет. К больному нужно подходить хладнокровно, как механик подходит

к испорченному механизму. Между больным и врачом должен быть холодок, чтобы врач сохранял ясность мысли. А свой больной волнует... А кроме того, я ведь хирург. Завтра я позвоню профессору Бекману. Он на дому теперь не принимает, но для меня сделает исключение. Он сердечник, опыта у него колодец, он твое дело и решит.

— А дело серьезное?

— Не знаю, отец. Ничего заранее не могу сказать.

— Не хочешь, значит. Видать, серьезное... Ну, отлично. Я посплю немного — ты поди.

Михаил Викентьевич повернулся на бок. Василий бережно подвернул одеяло ему под спину и несколько секунд смотрел на затылок отца. Над жилистой, худой шеей всклокочившиеся от подушки волосы отливали серебром, были тонки и пушисты, как волосы годовалого ребенка. В этих волосах, в изгибе шеи Василий впервые остро ощутил отцовскую старость, всю усталость уходящей к закату жизни. Он нахмурился и вышел в свою комнату.

Там он сел к столу, взял раскрытую книгу, но, не дочитав до конца страницы, отложил ее.

Он хотел осмыслить случившееся. Ни он, ни Вика не замечали, что отец стареет. В дружной жизни семьи были только старший и младшие. Но и это различие, особенно с тех пор, как вырос Вика, осталось только формальным. По существу, его не было, и оно особенно терялось в спорах и дискуссиях, когда отец горячился, как мальчик.

Было только сознание большой дружности, теплоты, взаимного внимания, стиравшее все перегородочки между тремя людьми различных возрастов. Оставаясь внутренно молодым, полный молодой горячности, Михаил Викентьевич был среди троих только самым опытным, лучше остальных знающим жизнь.

Если бы кто-нибудь в это утро, до телефонного вызова с завода к отцу, назвал при Василии Михаила Викентьевича стариком, Василий был бы искренно удивлен. Отец — старик? Да нет же. Он молодой. Он, по существу, моложе, хотя бы, Леонида. В нем никогда не было расхлябанности, вялости, бесформенности. Всегда живой, энергичный, четкий, он не мог быть стариком.

И вдруг сразу тяжкое, медное латинское слово, эти старческие слезы, беспомощная рука поверх одеяла, седой

пух на затылке, все признаки усталости и сгорания. Как это могло случиться, как они проглядели?

Из строя их жизни выпадал один, самый большой, самый крепкий, тот, который вводил в эту жизнь двоих младших, был им опорой и лучшим другом.

Василий вскочил и зашагал по комнате.

«Прозевали... Да, прозевали старика... не заметили старости,— думал он, меряя шагами комнату,— нужно исправлять, нужно позаботиться о его покое. Только он покоя не захочет. Он, как рабочая лошадь, умрет в оглоблях, на ходу. Умрет? Кто? Отец? Что за чепуха? Как может умереть отец, вот этот самый живой отец, который дремлет там за дверью на своей кровати? Если остановиться и прислушаться, можно услышать даже его дыхание. Живое дыхание. Как же он может умереть?»

Василий остановился и в самом деле тревожно прислушался. На цыпочках подошел к двери, неплотно притворенной, заглянул в щель. Михаил Викентьевич лежал в той же позе. Одеяло мерно подымалось и опускалось. Значит, дышит,— все в порядке.

Он облегченно отошел и тотчас же услышал щелканье французского замка в прихожей и стук захлопнувшейся двери. И через секунду в комнату ворвался Вика с задорным хохотком, с весенним смугловатым румянцем на щеках.

— Васька! Ты дома? Сдал зачет... Сдал, понимаешь, на большой палец с покрышкой. Профессор даже...

— Тише,— шикнул Василий и в ответ недоуменному взгляду брата уронил тихо: — Не шуми... Отец нездоров.

— Что? — спросил Вика, не понимая. Ему, ничего не знавшему, ворвавшемуся с весенней улицы, полному своей радостью, было непонятно, как можно быть нездоровым в такой день. Он еще меньше Василия мог думать, что отец способен захворать.

— Что с папой? — повторил Вика уже шепотом.

— Да ничего особенного. Просто мы с тобой, брат, проморгали отцовский возраст. Понимаешь, отец-то у нас, оказывается, настоящий старик. Ну вот и болеть ему пора... Устал, и сердце устало. Нужно о нем подумать теперь. Был он долго нашей нянькой, теперь ему нянька нужна. Понял?.. Завтра отправлю его к Бекману. А пока он заснул.

Вика осторожно подошел к двери и заглянул в комнату отца. Он долго простоял там. И очевидно, увидел то же, что и Василий.

Когда повернулся к брату, был бледен, и губы сошлись черточкой.

— Это опасно? — спросил он решительно.

Василий отозвался не сразу.

— В его возрасте,— а оказывается, что возраст-то у него большой,— все опасно.

Вика подошел к брату и, не сказав ни слова, нашел его руку и стиснул ее изо всей силы, и Василий ответил ему тем же.

Этим безмолвным рукопожатием братья сказали друг другу все, что нужно было сказать в минуту тревоги и опасности, обрушившейся на семью.

Пятиэтажная, темно-шаровая громада дома, в котором жил профессор Бекман, врезалась, как утес законченных геометрических очертаний, грузный и подавляющий, в бесформенную пену одно- и двухэтажных провинциальных домиков.

Дом был одним из скороспелых грибов строительной горячки предвоенного периода, времени лихорадочного роста города.

На его фронтоне сумрачно корчились в каменных судорогах два крылатых дракона. Им было скучно стеречь купеческий архитектурный бред, но оторваться и улететь они не могли.

Об этом подумал Михаил Викентьевич, когда, сойдя с трамвая, приближался к подъезду. С трудом открыв окованную медью дверь, он очутился в вестибюле, облицованном темным мрамором. В разноцветные стекла готического окна скупо пробивался свет. Вестибюль был похож на склеп ассирийского сатрапа, обладавшего при жизни потрясающим безвкусием.

Михаил Викентьевич даже усмехнулся, взглянув на пухлые, обрюзгшие, точно лоснящиеся от ожирения, черные колонны.

Он поднялся на второй этаж и позвонил, нажав фарфоровую кнопку под эмалевой дощечкой с надписью: «Профессоръ Венедиктъ Львовичъ Бекманъ».

Дощечка была, очевидно, старая. Все четыре слова заканчивались твердым знаком, и Михаил Викентьевич

подумал с презрительной иронией, что профессор не разорился бы, заказав новую дощечку.

Горничная в наколке и накрахмаленном фартучке открыла дверь и пристально, недоверчиво оглядела Михаила Викентьевича.

— Вы к профессору?

— Да,— ответил Михаил Викентьевич,— профессор назначил мне прийти. Моя фамилия Левченко.

Горничная отступила в квартиру, пропуская Михаила Викентьевича.

— Пожалуйте.

Михаил Викентьевич положил на столик в передней шляпу и прошел за горничной по коридору.

— Вот здесь обождите,— сказала горничная, раскрывая дверь, в которую хлынул широкий ясный голубой свет. Михаил Викентьевич вошел — дверь захлопнулась.

Приемная Бекмана была обширна и высока. За двумя большими окнами зеленел сад, и вдали, за рядами низких домиков, искрилось море. Михаил Викентьевич подошел к окну, сел в уютное кресло и огляделся.

В жизни ему довелось бывать у врачей раза три-четыре. Было это в большинстве случаев в маленьких городках, у обыкновенных бедняков врачей. Помнил он и квартиру-особнячок доктора Куркова. Но никогда он не видел ничего похожего на приемную Бекмана.

Она напоминала скорее музей. В три ряда от потолка она была завешана картинами. Михаил Викентьевич внимательно осмотрел все четыре стены. Его поразил подбор картин. Это были сплошь батальные сюжеты, в большинстве работы старых мастеров. На полотнах сталкивались конные и пешие массы людей, лилась кровь, сизо заволакивал дали пороховой дым.

Для мирной приемной врача они были неожиданны, слишком резко напоминали о смертях, несчастиях, насилии. Михаил Викентьевич отвернулся и стал смотреть в окно. Он почти жалел, что согласился на предложение Василия пойти к Бекману. Припадок прошел бесследно, не оставив никаких болезненных ощущений, и Михаил Викентьевич склонен был считать его просто случайным результатом волнения и раздражения.

Он никак не мог примириться с мыслью о болезни. Она противоречила всей его жизни. Болезнь была для него отвлеченным понятием. Даже в годы каторги, в Якутии, когда вокруг гибли от болезней товарищи, Михаил Викен-

тьевич отделывался только легким недомоганием. Когда, в дни гражданской войны, сыпняк тысячами косил красноармейцев, когда каждую неделю политотдел провожал в могилу своих работников, Михаил Викентьевич ни разу не захворал даже насморком. Здоровье было для него верным товарищем и подспорьем в его неустанной работе. Мыслить жизнь без работы Михаил Викентьевич не мог. Это было бы так же нелепо и ирреально, как море без воды. Михаилу Викентьевичу никогда даже не приходило в голову, что может когда-нибудь наступить время одряхления, слабости, бессилия. Оставить работу — значило покинуть завод, коллектив, товарищей, уйти куда-то в мутную пустоту. Этого не могло быть.

Михаил Викентьевич зябко поежился, представив себе эту пустоту.

Но в эту минуту полированная красная дверь бесшумно открылась. За ней блеснуло белое, розовое, серебряное, и это блеснувшее видение сказало быстрым говорком:

— Милости прошу... Извиняюсь, что задержал.

Михаил Викентьевич встал и, идя в кабинет профессора, почти с испугом констатировал, что волнуется и от волнения у него слабеют ноги и расшатывается походка.

Бекман стоял у стола. На столе в чрезмерном порядке, пирамидками по размеру, лежали толстые книги в коленкоровых переплетах. На синем сукне блестел стетоскоп и еще непонятный инструмент с циферблатом, резиновыми трубками и грушей. По стенам в лакированных шкафах тоже стояли книги, поблескивая золотом корешков.

Все в кабинете было точно, прямоугольно, суховато, дышало ледяным холодком, и только хозяин нарушал строгую математическую прямолинейность.

Он весь был круглый. Аккуратная круглая голова с круглой лысиной и веночком тускло блестящих седин вокруг нее, круглые плечи. Круглые щечки розовели по-ребячески нежно. Профессор был не толст, а именно кругл, как шар, выточенный из розового дерева. Белый летний костюм плотно облегал его тело.

Он быстро пожал руку Михаилу Викентьевичу и плавным круглым движением пригласил его сесть. Сразу, без предварительных разговоров, Бекман спросил:

— Ну, что же у вас, Михаил... кажется, Викентьевич?

Так? Со мной говорил о вас Василий Михайлович... Очень серьезный молодой врач... Приятно иметь такого сына... Да, так он говорил о вас, но от диагноза воздержался. Что же с вами случилось?

Скороговорка у Бекмана была такая же круглая и крепкая, как он сам.

Михаил Викентьевич несколько развеселился, смотря на этот подвижной шарик, вертевшийся перед его глазами, и рассказывал о своем неожиданном припадке.

— До того неприятно... Как женщина, в обмороки падаю. Никуда это не годится. Вот и пришел чиниться.

— Так,— сказал Бекман, настораживаясь, и вдруг точно вцепился в Михаила Викентьевича круглыми серыми пристальными зрачками.— Будьте любезны снять рубаху.

Неловко и торопясь, Михаил Викентьевич разделся. Бекман вплотную подошел к нему и мягким нажимом опустил руки Михаила Викентьевича вдоль туловища. Приложил теплую розовую ладонь к желтоватой коже пациента и стал выстукивать костяшкой среднего пальца. Потом, не оборачиваясь, уверенным движением достал из-за спины лежавший на столе стетоскоп. Михаил Викентьевич про себя отметил эту уверенность жеста — было видно, что по привычке профессор найдет стетоскоп сразу, даже если ему завязать глаза.

— Не дышите,— приказал Бекман, прижимая чашечку стетоскопа к груди Михаила Викентьевича. Михаил Викентьевич задержал дыхание.

Круглая голова Бекмана, прижимаясь к стетоскопу, передвигалась вправо, влево, вниз, вверх. Ловким движением он повернул Михаила Викентьевича, как портной ворочает манекен, и продолжал выслушивание со спины. Разогнувшись, положил стетоскоп на место.

— Присядьте.

Михаил Викентьевич сел. Бекман взял непонятный инструмент с резиновыми трубками и, схватив руку Михаила Викентьевича повыше локтя, широкой холщовой повязкой затянул ее ремнями. Потом взялся за грушу и несколько раз надавил ее. Вздувшаяся от воздуха повязка плотно сжала мускулы Михаила Викентьевича, стрелка побежала по циферблату. Бекман проследил ее бег, мельком взглянул на пациента и снял повязку. Сев за стол, он раскрыл книгу и той же скороговоркой спросил у Михаила Викентьевича, когда он родился, чем болел, как

живет, питается. На ответы он многозначительно кивал головой и записывал, поскрипывая пером.

— Можете одеться,— кинул он, заметив, что Михаил Викентьевич все еще сидит раздетый.

— Работаете много? — услыхал Михаил Викентьевич последний вопрос профессора, просовывая голову в рубашку.

Он посмотрел на Бекмана с недоумением. Как умный ученый человек мог задать такой глупый вопрос? И ответил с раздражением:

— А кто же сейчас мало работает?

— Да, конечно...— Бекман повертел в пальцах вечное перо и резко встал: — Ну вот... У вас — myodegeneratio cordis senectae. Говоря по-русски, старческое перерождение сердечной мышцы. Мышца ослабла, потеряла способность к нормальному сокращению, к сжиманию. А самое сердце у вас значительно расширено, почти на два пальца вправо. В результате мышца не может прогонять кровь с нужной силой. Отсюда понижение кровяного давления, общее замедление кровообращения, нитевидный и слабый пульс... При сильном волнении, испуге, тревоге, приливающая к сердцу кровь образует застои, пульс замирает. Это и было непосредственной причиной вашего обморока. Для вашего возраста, для пятидесяти восьми лет, у вас чрезвычайно изношенное сердце. Оно может остановиться совершенно внезапно и навсегда... Вам нужно бросить всякую работу... По меньшей мере на год.

Бекман говорил значительно медленнее, как будто читал лекцию, но смысл его слов не дошел до Михаила Викентьевича, кроме последней фразы. За эту фразу Михаил Викентьевич ухватился с испугом.

— Бросить работу? На год?.. Нет... Как же это... как же это можно? Я ведь потому и пришел к вам...

— Простите,— перебил Бекман,— вы пришли ко мне как к врачу, тридцать лет работающему по сердечным болезням. Мой опыт и мои знания заставляют меня сказать вам свое мнение со всей категоричностью... Вы можете, конечно, пренебречь моим советом, это ваше частное дело, но моя обязанность была сказать вам всю правду.

Бекман произнес последние слова с холодноватым пренебрежительным подчеркиванием, видимо, обидевшись, но Михаил Викентьевич еще не хотел сдаваться.

— Я верю вам, профессор... но ведь... дело в том, что я хотел просить у вас именно подлечить меня... ну, как-

нибудь заштопать мое сердце, раз оно стало такое поганое... потому что я не могу бросить работу.

— Постойте.— Бекман сделал нетерпеливый жест.— Все это отлично. Но ваша болезнь не принадлежит к числу временных заболеваний. Повторяю, в тканях вашего сердца произошли настолько существенные органические изменения, что всякие лекарства бесполезны. Они могут только не давать вашему сердцу распадаться в усиленной прогрессии, задержать этот процесс, но при условии полного покоя и отказа от работы. Вы инвалид.

Он говорил нетерпеливо. Видимо, упорный пациент стал надоедать ему, и он стремился скорее покончить с затянувшимся визитом. Михаил Викентьевич понял это.

— Инвалид,— протянул он раздельно и тихо.— Странно... а я думал...

Даже годами практики приобретенное в этом кабинете, видевшем не раз трагические сцены, равнодушие Бекмана не выдержало этого беспомощного голоса. Бекман положил розовую руку на плечо Михаилу Викентьевичу.

— Не отчаивайтесь. Это всегда так. Живем-живем и в один прекрасный день узнаем, что жизнь, в сущности, кончена. Обидно, но никто этого не избежит.

Михаил Викентьевич сухо отстранился.

— Да, вы правы.

— Я пропишу вам пилюли, и кроме того, вам необходимо поехать в Кисловодск. Нарзан делает чудеса. Он не вылечит, но подкрепит вас. Я сегодня же поговорю о вашем состоянии с Василием Михайловичем,— прежней скороговоркой протараторил Бекман.

— Нет, не делайте этого. Я уж сам поговорю с сыном.

— Как угодно,— отозвался Бекман, протягивая рецепт.— Будьте здоровы.

Он подкатился к двери и раскрыл ее. В приемной уже стояла наготове горничная.

— Проводите больного,— приказал Бекман, протягивая руку.

Михаил Викентьевич неловко ткнул профессору свою ладонь с зажатыми в ней двадцатью пятью рублями. Бекман взглянул на смятые бумажки и равнодушно сунул их обратно растерявшемуся Михаилу Викентьевичу.

— У нас, врачей, правило пользовать членов семей наших коллег gratis [1],— нравоучительно произнес он и повернулся спиной к Михаилу Викентьевичу.

Михаил Викентьевич вышел и, когда горничная открыла ему дверь, машинально отдал ей возвращенные профессором деньги и, прежде чем обомлевшая девушка успела что-нибудь сказать, гулко и с силой ударил дверью.

Улица показалась ему чрезмерно шумной и грязной. Ветер гнал пыль, с пылью летели бумажки, как живые, катились по тротуару окурки. Михаил Викентьевич словно впервые увидел неприглядность улицы и досадливо поморщился.

Дома он застал Вику. Вика сидел за чертежами и заливал краской какое-то зеленое поле. Увидев отца, вскочил.

— Был у профессора?

— Был,— нехотя ответил Михаил Викентьевич.

— Ну, что? — Вика прижался щекой к щеке Михаила Викентьевича. Это была его любимая ласка, сохранившаяся с детства.

От Викиной щеки дышало здоровым жаром молодости. Михаил Викентьевич обнял сына.

— Плохи мои дела, сынишка. Каюк,— сказал он возможно развязней и шутливей. Но голос сорвался, и Вика встрепенулся.

— Ну, что ты глупости говоришь, папка! Какой может быть тебе каюк!.. Разве только я построю такой легонький, белый с голубой каемочкой, и мы поедем с тобой рыбу ловить,— дурачась, пропел он, тормоша отца.

Михаил Викентьевич увлек Вику за собой на тахту. Вика лег головой отцу на колени и, ластясь, заглядывал в глаза. Михаил Викентьевич погладил Викины волосы.

— Нет уж, сынишка. Должно быть, не ездить нам за рыбкой... Неприятный фрукт этот Василиев профессор, а все-таки он прав. Живем мы, живем, и однажды, помимо нашего желания, со стороны нам дают первый звонок к отходу. И самое скверное, что отходить надо вне расписания, экстренно, в неотложный час, срывая весь свой график.

Вика лежал молча, затих, слушая.

---

[1] даром *(лат.)*.

— И все меняется,— продолжал Михаил Викентьевич,— нужно бросать дело, укладываться либо бегать просить об отсрочке отправления. Получается кавардак. Что же мне теперь, выходит, делать? Жизнь у меня в работе, а он говорит — «бросьте». Чепуха! Ему это легко. Когда говорил он, я так, нутром, почувствовал, что сам-то он воспринимает работу только как неизбежную неприятность, хорошо оплачиваемую. Если ему будут так же платить за безделье, он ляжет на диван и до смерти в потолок проплюет. А я не могу. Даже представить этого нельзя. Полвека в котле кипел, а теперь, как медведь, в берлогу. Зачем тогда и волынку тянуть? Лучше в год на работе пропасть, чем десять лет тунеядствовать.

Вика пошевельнулся и поднял голову.

— А ты не думал никогда, папка, о праве на отдых? На обыкновенный человеческий отдых? Не тунеядство, а на разумное и заслуженное спокойствие? А ты на него право имеешь. Это не то, понимаешь, когда какой-нибудь тупоумный сопляк на двадцатом году, расслабясь от водки и девчонок, стонет: «Тот, кто устал, имеет право у тихой речки отдохнуть». Таких «тружеников» шлепать надо. А у тебя настоящая почетная усталость. За плечами у тебя и подпольщина, и Сибирь, и гражданская война, нэп, реконструкция. Все вынесено и во всем горел. Ну и отдохни. Что он тебе сказал насчет отдыха?

— На год, говорит, все бросьте,— едко передразнил Михаил Викентьевич Бекмана.

— Не кипятись. Правильно он сказал. Ведь ты в самом деле зашился. Не хочу тебя вышучивать, а вот от ребят знаю, что на прошлой неделе приехал ты в райком комсомола на пленум докладывать о посевной, а загнул о лесосплаве. Перепутал. Ребята в рот воды набрали — уважают тебя и любят, а мне шепнули, что у папаши гвоздики перепутались.

— Что ты врешь, щенок? — возмутился Михаил Викентьевич и неожиданно смолк. Он вспомнил этот доклад и вспомнил вдруг, что в самом начале доклада обратил внимание на странно недоуменные взгляды и перешептывание в первых рядах.

— Неужели же спутал? — испуганно спросил он Вику. Вика утвердительно мигнул ресницами. Михаил Викентьевич сконфуженно чертыхнулся.

— Ах ты, дьявол! Ну и мальчишки тоже хороши, не могли хоть записку подать.

— Не хотели конфузить. Доклад ведь вышел хороший. А одинаково полезно послушать и о посевной, и о лесосплаве. Но только сам видишь, что уже качество твоей работы переходит в количество.

Михаил Викентьевич засмеялся. Ему было хорошо и ласково здесь, в комнате сына.

— А выходит, ты и прав. Надо подумать. Только ты меня поддержи перед Василием. Этот придет и начнет горячку пороть, чтобы я немедленно работу кинул. А я сейчас не могу. До августа не могу, пока с машинным не покончу и не сдам фермы для моста. А там попрошу технического месяц за меня пострадать.

— Нет. Я тебе обещаю поддержку, но только при условии, что в августе ты бросишь возню на столько, на сколько мы с Василием найдем нужным. Иначе завтра в отставку,— пригрозил Вика.— А кроме того, эту неделю ты тоже просидишь дома. То есть не дома, а на воздухе.

— Ладно. Раз ты такой предатель — сдаюсь,— сказал Михаил Викентьевич и дал Вике легкого шлепка по затылку.

Вика сел и стиснул отца.

— Золотой ты мой папка, единственный. Я тебя сам лечить начну. Я тебя физкультурником сделаю. Вот что — послезавтра у меня теннисное состязание. Очень интересное. Беру с тебя слово, что ты придешь на стадион смотреть. Ладно? А то мне обидно будет. Все смотрят, а тебя нет.

— Хорошо,— сказал Михаил Викентьевич,— я и сам рад на воздухе побывать. Второй год, как за город не выезжал.

— Вот здорово будет! И Леонид приедет со мной. Он любитель. На все состязания ездит. Я обещал за ним заехать,— обрадовался Вика.

Они проболтали до темноты. В сумерках приехал Василий.

Расспросив отца о визите к Бекману, он решительно потребовал, чтобы Михаил Викентьевич немедленно бросил работу и уезжал в Кисловодск. Но Вика сдержал слово и пришел на помощь отцу.

После долгих споров решили окончательно, что сейчас Михаил Викентьевич возьмет отпуск на две недели, потом вернется на завод, а в августе уедет лечиться в Кисловодск и уйдет с работы на такой срок, который найдут нужным врачи.

Михаил Викентьевич артачился, упирался, огрызался на Василия, но в конце концов сдал и уступил напору сыновей. Уходя спать, сказал уже успокоенный:

— Ладно, сыны. Может, вы и правы... От больного в работе проку немного. Полечусь... а там поживем — увидим. В могилу мне еще недосуг. Спокойной ночи, ребятки!

Лязгнув скелетом, трамвай остановился у стадиона. Шумливая ватага молодежи выплеснулась со ступенек вагона и растеклась по парковым дорожкам. Михаил Викентьевич, постукивая палочкой и глядя вперед поверх очков, медленно зашагал по хрусткому гравию к ярко-голубой деревянной арке входа.

Арку перерезала надпись. Она начиналась громадной фигурой физкультурника в полосатой футболке. Художник изобразил его лицом к входу с широко расставленными руками. Физкультурник был первой буквой надписи, буквой «Т». Дальше шли обычные белые буквы.

«Только физически развитой пролетарий может встать в ряды образцовых ударников пятилетки»,— прочел Михаил Викентьевич и болезненно сощурился, словно опять почувствовал то отвратительное замирание сердца и страх, который испытал во время припадка.

Он подошел к кассе, взял билет и спросил у кассира, как пройти к теннисным кортам.

— Прямо... налево... к морю,— ответила кассирша автоматической скороговоркой.

Михаил Викентьевич побрел по широкой аллее. Слева от нее пушистой зеленой скатеркой лежало футбольное поле. По нему живым узором красных и белых маков носились за мячом в тренировочной игре футболисты. Михаил Викентьевич, поглазев немного на них, свернул налево. В просвете деревьев над дорожкой зацвело синевой море. В его влажном мареве проплыл белый блеск парусов уносящейся яхты. У обрыва берега, за зеленой дранкой и проволочными сотами ограды, желтели корты. Михаил Викентьевич толкнул калитку и вошел внутрь.

На трибунах никого не было — Михаил Викентьевич приехал рано. Он знал, что игра начнется в шесть. но ему просто хотелось подольше побыть на воздухе. Два корта пустовали, на третьем у трибуны бегала девушка в белом холстинковом платьице, вышитом понизу зелеными тре-

угольниками. Партнером ее был полный мужчина в фуражке командира флота. На крошечном носике его трепетала блестящая стрекоза пенсне.

На нижней скамье трибуны лежал в одних трусах отдыхающий игрок, подложив под курчавую голову ракету. Солнце жарко сверкало на загорелой груди и ногах.

Михаил Викентьевич присел на скамью неподалеку от лежащего. Он с любопытством смотрел на игру, которую видел вблизи впервые.

Ракетки мелькали в воздухе, как флажки в руках сигнальщика. Пушистый фланелевый шарик то тупо ударялся о землю, то с глуховатым звоном отпрыгивал от тугой плоскости струн. Девушка и моряк прыгали и перебегали, словно исполняя древний и таинственный танец спортивного ритуала. Моряк, несмотря на толщину, бегал легко, и только рубашка его взмокла и прилипла сзади к широкой спине.

— Сетбол! — звонко крикнула девушка, отводя от глаза прядку волос, и смешливо добавила: — Вы делаете успехи, Кульчицкий. Если я погоняю вас каждый день по два часа, вы будете играть как Тильден и станете стройны как Хаджи-Мурат. Даю.

Ракетка на круглом размахе встретила высоко подкинутый мяч, и он ринулся через сетку, чтобы немедленно отпрянуть назад от встречного удара мужской ракеты. Еще два раза он перенесся с одной стороны на другую. Михаил Викентьевич щурясь, с невольной улыбкой следил за полетом. В последний раз мяч лег коротко, едва перелетев сетку, и заставил моряка сделать два отчаянных прыжка, чтобы поймать его на ракету. Все же он успел отбить мяч, но девушка, лукаво блеснув зубами, резким поворотом послала мяч в опустевший, незащищаемый угол площадки. Он мягко прошипел, вздымая струйку песка, и, не встреченный ракетой, глухо стукнул на отпрыге об зеленую дранку ограды.

— Готово... Ваших нет,— хохоча сказала девушка и, направившись к скамьям, села рядом с Михаилом Викентьевичем.

— Ладно,— отозвался партнер,— мы свое возьмем. Пойду заливать горе лимонадом. Вы не хотите?

— Нет... Я посижу.

Моряк ушел. Девушка сидела, подкидывая мячик и ловя его ракетой. На темно-розовых, голых до плеча руках

колосился светящийся пушок. Ловя мяч, она покосилась раза два на Михаила Викентьевича.

— Вы, дедушка, не на состязания пришли? — спросила она вдруг с доверчивой лаской,— вам долго еще ждать придется.

Михаилу Викентьевичу стало весело от вопроса, от теплого девичьего голоса.

— Ну, разве я дедушка? У меня даже внуков нет. Я молодой.

Девушка не смутилась.

— А у меня дедушка на вас похож... Вы в первый раз здесь? Я раньше вас никогда не видела. Вы интересуетесь теннисом? А сами играли раньше?

Вопросы слетали с ее губ, как капли теплого летнего дождя, бездумные и беспечные. Она говорила потому, что светило летнее солнце и сама она была молода, здорова, полна своей радостью.

— Меня сын соблазнил поглазеть. Он сегодня будет играть. Вот и позвал старика похвастать.

— А ваш сын сегодня играет? А как ваша фамилия? Левченко? Что вы говорите? Вы отец Левченко? Как интересно! Хорошо, если б он выиграл...

— Почему? — спросил Михаил Викентьевич, любуясь девушкой.

— Он очень славный. Он так быстро выдвинулся в рабочей команде. А его противник Марлов — противный задавака, фасон ломает. Ваш сын должен выиграть.

Прожаренный солнцем отдыхающий теннисист поднялся и, потягиваясь, сказал:

— Восторженная Лелечка, не угодно ли вам покидаться?

— Давайте.

Девушка выбежала на корт и с середины еще раз крикнула Михаилу Викентьевичу:

— Скажите сыну, чтоб он не сдавал. Он не смеет проиграть.

Михаил Викентьевич тоже встал. Ему захотелось пройти к морю. Он вышел из ограды и спустился по каменной лестнице к водяной станции. Под стрижеными шарами акаций стояли парусиновые шезлонги. Михаил Викентьевич сел и вытянул ноги.

Был тот час, когда солнечный блеск, теряя знойную ослепительность, уже не жжет, а нежит. Море дрожало перед глазами пляской серебряных искр. С плавательной

вышки, пластаясь в воздухе, летали тела, буравя плотную зелень воды. В густом цвете моря, в палевых треугольниках парусов, в громких голосах пловцов жила и дышала молодость, цвело здоровье.

Михаил Викентьевич вспомнил внезапно безучастные глаза профессора Бекмана, когда, выслушав Михаила Викентьевича, он с профессиональным равнодушием говорил об усталом теле Михаила Викентьевича, как о неживой и скучной вещи. Он не видел, профессор Бекман, как сжимались от его вялого голоса нервы стоящего перед ним человека,— человека, прошедшего многотрудную жизнь, полную работы, и ждавшего от профессора совета не как прекращать работу, а как продолжить ее, ибо жизнь без работы теряла всякий смысл. Бекман ничего этого не понял. Он принял и отпустил Михаила Викентьевича, как принимал сотни и тысячи людей.

От этого воспоминания Михаил Викентьевич зябко передернул плечами. За его спиной зазвучали зовущие голоса. Он обернулся.

От лестницы легко полушел-полубежал Вика. В левой руке он нес ракету в чехле, помахивая ею. За ним спускался по лестнице Курков.

— Ты давно, папка? — спросил Вика.— Мне на кортах сказали, что ты был там.

— Это девушка с треугольничками?

— Ну да... Леля.

— Она просила передать тебе, чтоб ты не сдавал и непременно выиграл.

— В самом деле? — засмеялся Вика.— Постараюсь.

Подошедший Курков тоже поздоровался с Михаилом Викентьевичем.

— Ну, папка, отправляйся с Леонидом на трибуну. Я иду одеваться. Через десять минут начнем. Я действительно должен сегодня выиграть,— сказал Вика, хмуря морщинку над переносьем.

Он повернулся и убежал.

Михаил Викентьевич и Курков прошли на заполненную уже трибуну. Над ней колыхался гул разговора. Они заняли свои места. Михаил Викентьевич долго разглядывал публику.

— Непонятный какой-то народ,— сказал он наконец Куркову,— больно парадно.

— Публика верхушечная,— отозвался Курков.— Недавно еще теннис считался у нас буржуазной игрой.

Теперь эту дурость ликвидировали. Игра замечательная и с каждым годом демократизируется. А зрители еще прежние в большинстве. Но игра будет занятная. Марлов и Вика. Два полюса спорта... Смотрите, вон уже и судья идет.

Высокий пожилой человек в белом, держа в руке блокнот, поднялся на зеленую вышку, и в то же время из калитки на корт вышел Вика, в голубой майке и легких полотняных брюках. Круглые мускулы легко и ритмично ходили у него под кожей. Он подошел к трибуне против места отца.

— Не продуешь? — улыбаясь, спросил Вику Курков.

— Боюсь гадать. По-настоящему мне сегодня отдыхать надо было бы, да неудобно отлынивать, когда соревнование до кипятка долезло. Ну, есть немного гула в руках. А впрочем, думаю, разойдется.

— А где Марлов?

Вика обвел глазами корты и кивнул на противоположную сторону. Там, у скамьи, расцвеченной женскими платьями, стоял высокий, гибкий юноша. Он поставил ракетку ободом на край скамьи и, опираясь на нее, разговаривал с хорошенькой черноглазой женщиной, щуря глаза и изгибаясь, как избалованный котенок. На нем была легкая широкая рубашка кремового шевиота и такие же брюки. По краю подошвы резиновых заграничных туфель бежала тоненькая красная полоска.

Гладко зачесанные на пробор черные волосы стягивала шелковая сеточка.

Отвечая на какой-то вопрос собеседницы, он лениво вздернул плечами и презрительно засмеялся.

— Жучок,— сказал Михаил Викентьевич, повеселевшими глазами смотря на противника сына.

Вика хотел что-то ответить отцу, но его прервал резкий голос судьи:

— Внимание. Финальная встреча по городскому первенству второго класса. Игроки: Марлов — клуб совработников, Левченко — рабочий клуб «Металлостроя». Игроки, на корт! Прошу выбрать места.

Марлов, смеясь, поцеловал протянутые пальчики собеседницы и, слегка раскачиваясь на ходу, пошел к сетке. Вика порывисто бросился туда же.

— Нервничает, щенок,— поморщившись, обронил Михаил Викентьевич.

Вика действительно нервничал. До финала он дошел без особого труда, легко справляясь с противниками. Но

встреча с Марловым была опасной. Марлов стоял головой выше всего второго класса, был в это лето в хорошей форме и играл сильнее Вики. Для Вики результат встречи означал многое. Первое — победа рабочей команды, второе — переход в первый класс и возможность попасть на всесоюзные соревнования. Это волновало Вику, и, торопясь к сетке, он потерял ритм движения, неловко попал опущенной ракеткой между колен и споткнулся. Выпрямляясь, увидел насмешливую гримасу, дернувшую уголок рта Марлова. Темная злость на эту улыбку, на это нескрываемое превосходство поднялась в нем.

— Марка или пустышка? — спросил Марлов, вертя ракету.

— Пустышка,— резко бросил Вика, как бы обращая это слово к Марлову. Упавшая на ручку ракета закружилась волчком и легла.

— Марка,— сказал Марлов,— беру подачу. Ваша сторона.

Вика выбрал сторону спиной к солнцу. Оба разошлись по местам. Публика на трибуне притихла.

— Подача Марлова,— возгласил судья,— по пулю.

Марлов поднялся на цыпочки, подкинул мяч и, мгновенно откинув корпус назад, встретил опускающийся шарик широким взмахом ракеты. Прорезав воздух, тонко свистнули струны. Мяч почти невидимкой, как пуля, прошел низко и плоско над ленточкой сетки, щелкнул по земле, и Вика не успел дать нужный угол своей ракете. Мяч скользнул по ней и бессильно скатился вбок.

— Пятнадцать — ноль,— равнодушно отметил судья.

Вика перешел в левый угол со вспыхнувшими щеками. Ему показалось, что в момент его неудачного удара в публике кто-то засмеялся. Он шире расставил ноги, согнувшись вперед, весь обратясь во внимание. Второй мяч Марлова он принял уже спокойно и отдал правильно. Марлов отбил косым в правый угол. Вика, рассчитывая каждое движение мускулов, развернулся пружиной навстречу мячу. Пушечным драйвом мяч ударил в ноги Марлову и остался на его стороне.

— По пятнадцати,— простонал судья.

— Ага,— шепнул Вика сам себе, сжимая челюсти,— рано обрадовался.

Он убил еще два мяча Марлова один за другим. Счет стал «пятнадцать — сорок». Для выигрыша первой игры

оставалось сделать еще один мяч. Приняв подачу, Вика ринулся к сетке и встретил летящий шарик с лету, коротким ударом вниз. Он думал опять послать его в самые ноги противнику, но Марлов успел отпрыгнуть и мягко, без размаха, подставил ракету под отпрыг. Вика сразу сообразил опасность. Вместо того, чтобы ответить сильным ударом, Марлов прибег к коварной свече. С внезапным холодком Вика понял, что сейчас случится: мяч медленно взовьется кверху, высоко перейдет над сеткой, недостижимый для ракеты, и ляжет где-то у самой задней линии. Нужно сейчас же бежать назад, догоняя мяч, стараться отбить его там, на месте падения, хотя бы через голову, из-за спины, как-нибудь. Правда, свеча была не менее опасна и для Марлова. Малейшая ошибка в силе удара — и мяч ляжет за линией, в аут. Но Марлов был слишком хорошим игроком, чтобы грубо промахнуться — его могла подвести только случайность... Вика рванулся назад. Вот мяч близко, Вика занес ракетку, но было поздно. Мяч, словно издеваясь, лениво лег на самой черте задней линии, и достать его не удалось.

— Тридцать — сорок,— оживился судья.

Следующий мяч оба брали осторожно и цепко. Он был решающим для обоих. Взяв его — Вика выигрывал, проиграв — он давал возможность противнику сравнять счет. Мяч метался через сетку от Вики к Марлову и обратно долго — Вика потерял счет перебраскам. Случайно взглянув в сторону трибуны, он едва подавил приступ глухого смеха. Головы зрителей, следящих за полетом мяча, как по команде поворачивались. Было похоже, что на трибунах сидят фарфоровые китайские болванчики, головы которых одновременно пущены в ход.

Зрителям, видимо, надоела бесконечная переброска мяча.

— Пошли качать,— громко сказал кто-то с трибуны.

Этот возглас слышали оба — и Вика и Марлов. Оливковое лицо Марлова побелело, и губы поджались. На следующем ударе, отогнав Вику к задней линии, он вдруг коротко уронил мяч вплотную за сеткой резаным ударом и взял очко у растерявшегося противника.

Трибуна радостно зааплодировала. Хотя Вика чувствовал, что прекрасный удар Марлова заслуживает одобрения и в этом одобрении нет пристрастия,— рукоплескания смутили его.

— Ровно,—сквозь зубы сказал судья, закуривая.

Вика вытер тылом ладони мокрый лоб. Поглядев в сторону, где сидел отец, он увидел за стеклами очков Михаила Викентьевича знакомый иронический блеск. Так смеялись глаза отца всегда, когда Вика делал что-нибудь неловко или неладно, и это еще больше обескуражило Вику.

Он вяло отбил мяч Марлова, но Марлов, поскользнувшись, тоже не успел поймать мяч и ударил наугад. Вика следил за идущим на него мячом, стоя за задней линией и держа ракету наготове. Мяч упал за линией, и Вика не ударил, видя явную ошибку.

— Мяч правильный. Больше,— протянул судья.

Вика с изумлением посмотрел на судью, потом себе под ноги. В шести дюймах за меловой полосой линии, вне корта, на желтом слое песка виднелся темный овальный след, выдавленный ударом мяча. Ошибка была настолько очевидна, что не заметить ее было нельзя. Судья явно засчитал в пользу Марлова проигранный им мяч. Но спорить с судьей было нельзя. Вика с яростью сжал рукоятку ракеты, как эфес сабли.

Следующий розыгрыш он провел совершенно не глядя на мяч. На третьем ударе игра была кончена.

— Игра Марлова. Счет игр один — ноль. Марлов ведет в первой партии. Прошу меняться сторонами,— ленивой скороговоркой пробубнил судья, отмечая в листке соревнований результат.

Вика стал проигрывать игру за игрой. Только когда счет дошел до «пять — ноль», огромным напряжением воли он заставил себя играть внимательно и вырвал одну игру у Марлова. Недружные рукоплескания не подбодрили его. Он боялся поднять голову и посмотреть на трибуны, на публику, отца, Куркова. Он почти радостно вздохнул, когда судья объявил:

— Первая партия Марлова, со счетом шесть — одна.

В конце концов, если проигрывать, то чем скорее, тем лучше. Меньше придется быть на площадке, оставаясь мишенью для острот чужой публики.

Вторая партия началась стремительным нападением Марлова. Он уже не считался с противником и играл с Викой, как кошка с мышью. Вика проиграл две первые игры со счетом «ноль — сорок». Он тупо смотрел перед собой в землю и с отчаянием думал: «Скорее... только бы скорее...» Для него ничего не существовало больше, кроме усыпанной песком тупо гудящей земли под ногами и белых меловых полос на ней.

Меняясь сторонами после очередной игры, он проходил по краю корта, противоположному трибунам, с опущенной головой, как вдруг его слух уловил тихий оклик:

— Витька! Ты что же подводишь? Неужто скис?

Вика вскинул глаза и увидел озабоченное лицо футболиста Петьки Волкова из команды строительства. Он смотрел на Вику с укором и негодованием. Но лицо товарища мелькнуло только на миг. Вику поразило другое. С этой стороны корта, пустовавшей в начале игры, теперь плотной толпой сбились люди. Не те, которые, оплатив нумерованные места, с удобством расположились на трибуне. В этой толпе Вика увидел знакомые взволнованные лица ребят-физкультурников, легкие матерчатые шляпки и красные платочки девушек. От них повеяло теплым сочувствием, дружеской поддержкой, сознание одиночества сменилось у Вики радостным, разлившимся по телу подъемом. Он вскинул голову и неожиданно широко и открыто улыбнулся всем этим слабо различаемым от волнения лицам.

И от этой улыбки размягчившиеся мускулы его налились сразу звенящим кровяным током, отвердели. Он взглянул в противоположную сторону, на трибуну, занятую привычной публикой соревнований, и трибуна сразу потускнела и расплылась в его глазах, и отчетливо видно на ней стало только лицо отца с нахмуренными седыми бровями.

Вика начал подачу. Он креп от удара к удару. Его мячи стали молниеносными и неуловимыми. Марлов метался за ними из угла в угол. Его пренебрежительная гримаса сменилась напряжением, от которого еще больше побледнело сухое длинное лицо, стало злым.

Но он не мог сопротивляться внезапной силе Викиного нападения. Вика взял шесть игр подряд. В радостном вопле одобрения своей, левой стороны зрителей он черпнул новый запас свежести и крепости.

— Вторая партия Левченко со счетом «шесть—два»,— объявил судья, неприязненно поглядев на Марлова.

«А, запел по-иному,— злорадно подумал Вика, вытираясь висевшим на сетке полотенцем,— погоди, дальше чище будет».

С начала третьей партии публика обеих сторон насторожилась в безмолвии. Люди внутренним чутьем почувствовали, что это уже не обычное спортивное соревнование, что здесь борются два начала, два мира. Игра больше

походила на бой, на смертельную дуэль. Оба партнера носились по корту, не отрывая друг от друга ненавидящих глаз. Мячи шипели, как разозленные змеи, разрезая воздух, пронзительно звенели струны ракет. Еще в конце второй партии Вика нащупал наконец слабое место Марлова. Он с трудом брал короткие драйвы под левую руку, и Вика стал посылать мяч за мячом в это опасное для противника место.

Но Марлов тоже напрягал все свое уменье, выработанное долголетней тренировкой, и партия шла ровно. Счет дошел до «пять — пять».

Шестую игру Марлов отдал без сопротивления, и Вика почувствовал в этой уступчивости партнера опасный подвох и приготовился к последней схватке. Действительно, с первого же мяча Марлов оставил заднюю линию, на которой все время держался, и бросился вплотную к сетке. Он подряд убил два мяча Вики стремительными бешеными смэшами, от которых мячи со звоном взлетали кверху через голову Вики и падали в сетку ограды. Но Вика успел на следующих мячах дважды обвести Марлова. Счет сравнялся.

— Ровно,— отчеканил судья, тоже увлеченный темпом игры.

Подав мяч, Вика, неожиданно для Марлова, тоже помчался к сетке. Они стояли, разделенные шестью метрами пространства, и ракетки мелькали с непостижимой быстротой в руках. Мяч метался с ракеты на ракету, не касаясь земли, и наконец сорвался с ракеты Марлова вбок, увязнув от силы и быстроты в ячейке сетки.

Публика загудела. Вика имел преимущество. Оставался последний мяч.

Возвращаясь от сетки к линии подачи, Вика услыхал свое имя.

— Молодцом, Левченко! Я держала пари, что вы выиграете,— ласково сказала девушка в белом платьице с зелеными треугольниками. Она сидела в первом ряду трибун. И оттого, что и на этой стороне Вика почувствовал поддержку, он благодарно кивнул девушке.

Он спокойно и размеренно подал сетбол, без особой силы и так же уверенно отбил его. Но в последний миг ракета скользнула по вспотевшей ладони, и Вика, дрогнув, ощутил, что удар слаб.

«В сетку вбил»,— подумал он, зажмуриваясь, чтобы не видеть своего нелепого промаха, отдалявшего уже

вырванную победу. Но гул и крики заставили его взглянуть.

Судья встал на вышке, складывая листок:

— Игра, партия и соревнование Левченко со счетом: «один — шесть, шесть — два, семь — пять».

Зрители неистовствовали. Девушка с треугольничками, вскочив, подбежала к Вике и схватила его за руку:

— Браво! Вот это шикарно сделано!

— Что такое? — не понял Вика.— Я ведь в сетку посадил.

— Что вы!.. Мяч пошел по ленточке и перекатился к Марлову.

Марлов, закусив губу, подходил к сетке. Вика вспомнил о традиционном обычае рукопожатия и взял протянутую руку противника. Несмотря на жару и пыл игры, кисть Марлова была суха и холодна. Марлов резко повернулся и пошел в раздевалку. Вика подошел к Михаилу Викентьевичу. Старик, подмигнув, сказал:

— Вытянул-таки, щенок.

— Вы подождите меня у трамвая. Я сейчас переоденусь и догоню вас,— ответил Вика, делая вид, что не замечает похвалы отца. Он повернулся и побежал в раздевалку, но по дороге перехватили ребята со строительства и начали качать. Вика взлетал в воздух, прижимая к груди ракету. Наконец его отпустили.

Петька Волков задорно выкрикнул:

— Ура, рабочая команда! Ай да наши!

Человек в сером клетчатом костюме, стоявший спиной к Вике на дорожке к раздевалке, недовольно обронил соседу:

— Ведь это же надувательство. И так во всем. Какой он рабочий? Вузовец, завтра инженер... Липа..

Побледнев и оскалив зубы, Вика шагнул прямо на клетчатого, загораживавшего проход:

— А ну-ка, сдвиньтесь с дороги. Вы не памятник.

Стоявший обернулся и открыл рот, но ничего не сказал. В позе Вики была нескрываемая угроза.

Человек замигал и быстро отступил. Вика прошел мимо него, как мимо пустого места.

Приняв душ и переодевшись, Вика выскочил из раздевалки и побежал к воротам стадиона догонять отца и Куркова. Но на полпути он увидел ту самую девушку в

платье с треугольничками, которая была почему-то заинтересована в его победе на соревновании.

Вика, в сущности, очень мало знал ее. Она была постоянной посетительницей стадиона и завзятой теннисисткой. Вика знал только, что все называют ее Лелечкой и что она ласковый, приятный и приветливый человек.

К ней относились немножко иронически за ее экспансивную восторженность, но вместе с тем очень нежно.

Она шла теперь по дорожке уже не в платье, а в сиреневой футболке и белых трусах и несла на плече весла. У нее была легкая походка, тоненькая и гибкая фигурка.

Она ласково и открыто улыбнулась Вике.

— Еще раз поздравляю. Вы отлично играли. И главное, не терялись. Знаете, Марлов рвет и мечет. Он перед игрой хвастал, что расчешет вас как пса.

— Как? Как пса? — Вика расхохотался.— Это что ж такое?

Девушка тоже засмеялась.

— Это ужасно глупая поговорочка наших теннисистов. Это значит побить противника без всякого труда.

— Ну, вышло наоборот. Причесал-то я его,— сказал Вика.

— Очень хорошо...— Девушка перебросила весла на другое плечо и спросила: — Вы торопитесь куда-нибудь?

Вика хотел сказать, что ему нужно догнать отца и друга у трамвайной остановки, но девушка смотрела так приветливо и у нее было такое милое, привлекательное лицо, что Вика неожиданно для себя самого сказал:

— Да нет... Куда же мне теперь торопиться? Дело сделано, можно и погулять.

— В самом деле? Вот отлично. Я хочу покататься на лодке, а одной скучно. Вы ничего не имеете против?

— Есть, товарищ командир,— ответил Вика,— давайте весла и пошли к морю.

Они спустились к лодочной станции и отвязали маленькую гичку от причала.

Вика вложил весла в уключины и хотел отваливать, но спутница остановила его.

— Нет, нет... Садитесь на корму, а я на весла. Во-первых, я очень люблю грести, во-вторых, я не хочу, чтобы вы подумали, что я словчилась пригласить вас, чтобы катать меня, а в-третьих, вы сегодня герой дня, и я вас катаю...

— А в-четвертых, вы милейшее существо,— сказал Вика, отталкивая гичку от пристани,— и это, к сожалению, все, что я о вас знаю. Вас зовут Лелечкой, а все остальное темно, как история мидян. Я даже не знаю вашей фамилии.

— Ну, фамилия — пустяки. Фамилия у меня самая простая — Петрова.

— А имя и отчество?

— Не требуется. Зовите Лелей. А как вас зовут?

— Меня Викентием. Зовите Викой.

Девушка промолчала и навалилась на весла. Гребла она хорошо, неторопливо, сильными взмахами. Гичка ходко шла по тихому морю.

Вода золотела от заката. Под бортом гички она была сияюще зеленой. Сквозь ее стеклянный пласт виднелся наглаженный волнами полосатый песок, усеянный ракушками. По песку хлопотливо носились маленькие крабы, проплыла стайка султанки. Вика улегся на корме и опустил руку в теплую влагу.

Неожиданно девушка засмеялась.

— Я сегодня опростоволосилась. Вашего отца дедушкой назвала, а он, оказывается, совсем не старый. Вы счастливый, у вас есть отец.

— А у вас нет? — спросил Вика.

Девушка пустила весла по борту и задумчиво сказала:

— Нет... Его убили в двадцать первом году бандиты. Он был агрономом, поехал в деревню, в командировку. Они выскочили из леса и застрелили его. Думали, что он везет деньги, а у него ничего не было. Я живу теперь с мамой.

— Служите?

— Нет...— Девушка наклонилась вперед и доверчиво смотрела на Вику.— Я учусь в техникуме. Я химичка. У нас очень интересно. Один из наших профессоров работает над синтетическим каучуком, и моя группа работает с ним вместе. Мы уже многого добились. Профессор говорит, что у меня есть все данные стать хорошим химиком, и обещал мне аспирантуру.

Вика улыбнулся. Девушка была просто трогательной.

— О, оказывается, я плыву на одном корабле с будущим академиком.

Он думал смутить свою собеседницу шуткой, но она просто и совсем серьезно ответила:

— Я люблю научную работу. По-моему, нет ничего лучше. Большое и благодарное дело. И творческое.

Ребяческая наивность сбежала с ее лица, глаза стали глубоки и строги. В свою очередь она спросила Вику:

— А вы тоже учитесь?

— Да.

— А где?

— В институте коммунального строительства. Кончу — стану архитектором и построю вам завод синтетического каучука... А пока работаю на практике на «Металлострое» в бригаде арматурщиков.

Девушка снова взялась за весла. Быстро темнело. На берегу вспыхнули огни.

Издалека из городского парка зазвенела музыка. Девушка лениво шевелила веслами и молчала. Молчал и Вика, думая о своём.

Девушка нравилась ему. Она была непохожа на тех девушек, которых он ежедневно встречал в институте и на стройке.

В ней не было грубоватости, резкости, размашистых мальчишеских манер, показного ухарства, чрезмерной фамильярности. Но вместе с тем она не была и кисейной барышней, мещаночкой.

Легкий налет ребячьей наивности был в ней от юности, от незамутненной ясности, от чистоты. С ней Вика чувствовал себя легко и просто, как будто они говорили сегодня не в первый раз, а знали друг друга уже давно.

Гичка бесшумно коснулась бревен пристани. Вика выскочил и принял поданные весла. В темноте рука девушки задела Вику по щеке. Рука была теплая и нежная, и Вика даже пожалел, что прикосновение было таким мимолетным.

— Вы сдайте весла,— сказала девушка,— а я моментально оденусь.

У инвентарного сарая стояла очередь возвратившихся катающихся, сдававших имущество, и, когда Вика пробился к сторожу, девушка появилась уже в прежнем своем платьице.

Они вместе вышли со стадиона.

— Вам на какой трамвай, Леля? — спросил Вика, впервые назвав девушку по имени.

— Мне, собственно, ни на какой. Я хочу идти пешком. Крепче буду спать. А вы поезжайте.

— Я тоже с удовольствием пройдусь,— ответил Вика и с недоумением отметил, что сказал совсем не то, что хотел: он чувствовал сильную усталость и вовсе не хотел идти пешком.

— Но я живу не слишком близко, а вы ведь очень устали после игры.

Если бы было светло, она увидела бы, как покраснел Вика. Она угадала его мысли. Но почти с обидой он ответил:

— Что вы? Я тренированный спортсмен. И потом такая чудесная ночь.

— А по-моему, вы врете,— улыбнулась Лелечка.— Как можно не устать после такого напряжения! Но если вам хочется идти со мной, я буду рада.

Она доверчиво позволила Вике взять себя под руку, и они пошли аллеей. Через темную зелень акаций пробивались лучи фонарей, бросая на гравий аллеи розовые пятна. После молчания девушка сказала:

— Вы, наверно, очень любите своего отца.

— Почему вы думаете? — удивился Вика.

— Я заметила, как во время игры вы часто смотрели туда, где сидел ваш отец, и у вас даже лицо светлело в эти секунды.

— Да. У нас прекрасные отношения с отцом. Для меня и брата он больше друг, чем отец. У нас всегда есть общий язык. И мы очень уважаем отца. Он старый большевик, много пережил, был на каторге. У нас с ним нет никаких разногласий.

— Это хорошо. Я знаю несколько семей, где отцы большевики, а дети просто шалопаи. Это, должно быть, очень тяжело. По-моему, на детях партийцев огромная ответственность перед старшим поколением. Они должны жить и работать так, чтобы сделать больше, чем сделали отцы. Чтобы отцы, уходя, знали, что отдавали жизнь недаром. А то у меня есть знакомая семья — отец тоже старый партиец, сейчас очень ответственный работник и сгорает на работе, а сын ушел из комсомола и фокстротирует на танцульках. И между родными людьми вырастает пропасть.

— Конечно,— сказал Вика,— но я думаю, что таких меньшинство... А вы комсомолка?

— Нет,— спокойно ответила девушка, и, хотя Вике хотелось спросить — почему, он удержался, чувствуя, что допрашивать об этом сейчас, может быть, неудобно. И, отвечая на слова девушки, заговорил:

— Дело даже не в том, что у хороших революционеров бывают негодные дети. Дело в том, что разрыв между отцами и детьми никогда еще не принимал таких острых форм, как в наши дни. Потому что, за редкими исключениями, между старшими и младшими встала социальная катастрофа, которая одних бросила на старый берег, других на новый. Новое поколение живет на совершенно иных устоях, чем старое. Моста нет, и между ними лежит непроходимый провал.

Девушка неожиданно прижалась к плечу Вики и залилась смехом.

— Простите, пожалуйста,— едва выговорила она, захлебываясь,— вы не говорили ничего смешного, и я внимательно вас слушала, но ваша последняя фраза... ха-ха-ха... фу, как это глупо... ваша фраза напомнила мне случай на собрании в техникуме... Докладчик, наш студент, говорил, что между эпохой капитализма и эпохой социализма лежит переходный период... И вот... ха-ха... в прениях встает — один такой у нас есть — «ортодоксальный» парнишка и говорит: «Докладчик оппортунистически ставит вопрос, он смазывает значительность переходного периода... Как он сказал о переходном периоде: «лежит». Разве можно, товарищи, применять такой статический термин к бурному времени нашего строительства?»

Вика тоже расхохотался.

— Классный номер. Много у вас в техникуме таких «правоверных»?

— Хватает. Я вам много могу рассказать курьезов.

Они вышли из аллеи в ярко освещенную улицу. На углу, у будки с минеральными водами, мальчуган продавал розы. Вике захотелось доставить удовольствие этой милой девушке, с которой он чувствовал себя так хорошо, и он взял у мальчугана всю охапку роз.

— Это вам за сегодняшние добрые пожелания и за сочувствие.

Не жеманясь, с коротким «спасибо», она взяла букет и окунула во влажную свежесть цветов лицо, потом протянула букет Вике.

— Как пахнут!

Вика вдохнул всей грудью дразнящий пряный запах роз и еще какой-то неощутимо тонкий аромат девического дыхания. Кровь ударила ему в виски, и он поспешно вернул букет.

— Ну, вот мы и пришли,— сказала девушка, останавливаясь у ворот.— Если захотите, приходите к нам. Я с удовольствием увижу вас у себя, и мама будет рада.

Она протянула маленькую узкую руку, и тут Вика совершил преступление. Он нагнулся и поцеловал холодную от весенней свежести кисть. И когда сообразил, что сделал,— стремительно повернулся и, не оглядываясь, ушел.

Дома он застал только отца. Михаил Викентьевич сидел в столовой и читал газету. Увидев входящего Вику, с ворчливой шуткой сказал:

— Куда же ты девался, щенок? Мы с Леонидом битых полчаса ждали тебя у трамвая, а потом рукой махнули.

— Задержался по делу,— сурово ответил Вика, повертываясь спиной, чтобы отец не видел его горящих щек.

Михаил Викентьевич снова погрузился в газету. Вика налил себе чаю, но не пил, а только машинально вертел ложкой в стакане. Мысли его были далеки от чая, столовой, дома. Наконец он встряхнул головой и искоса взглянул на отца. Михаил Викентьевич был увлечен чтением. Тогда Вика осторожно потянул за угол газеты.

— Чего тебе? — спросил Михаил Викентьевич.

— Папа,— сказал Вика отчаянно,— я заболел.

Михаил Викентьевич положил газету и сдвинул очки на лоб.

— Что такое? — спросил он тревожно,— чем заболел?

— Я заболел, папа... Поглупением... Я, кажется, втрескался.

Михаил Викентьевич улыбнулся хитро и понимающе.

— Вот какие дела? В кого же?

Вика молчал. Тогда Михаил Викентьевич с той же хитрой улыбочкой спросил:

— Эта... беленькая с треугольничками?

Вика, зардевшись, кивнул.

— Ну, что же... Одобряю... Девушка приятная. Она и мне очень понравилась.

Вика встал и, подойдя к отцу, обнял его сзади.

— Папка,— шепнул он,— я сейчас провожал ее домой и знаешь...— он запнулся,— когда я прощался с ней, я ей руку поцеловал. Как ты думаешь, это очень плохо... для комсомольца?

Михаил Викентьевич притянул Вику к себе и потрепал по щеке:

— Щенок... глупый щенок! Плохо лизать руки бабам походя, от нечего делать, бабам, с которыми у тебя нет ничего общего. А поцеловать руку женщине, которую чувствуешь близкой и родной,— можно. Целуй. На то и молодость. Только береги девушку, если полюбишь. Ты ведь хороший и честный... Будь счастлив, мальчик.

Вика боднул отца головой, звонко чмокнул его в щеку и вихрем унесся к себе.

<1932>

ВООБРАЖАЕМАЯ ЛИНИЯ

Первым и единственным камнем преткновения в красноармейской службе для Скворцова был горизонт.

Было это в те дни, когда новенькая фуражка ядовито зеленела пушистым ворсом верха, как поемный луг после спада разливных вод, шинель не облежалась еще на круглых плечах и торчала острыми углами затверделого сукна, а казарма казалась оглушительным складом нерассортированного шума.

Словом, в те дни, когда Скворцов только-только начал привыкать к мысли, что он уже не житель села Ракитина, а боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии и что это новое положение в корне меняет его жизнь.

Решительное столкновение Скворцова с горизонтом произошло на первом занятии по топографии. Исход борьбы оказался неопределенным. Скворцов считал себя победителем, но, если бы горизонт мог иметь свое мнение, он, вероятно, также не признал бы своего поражения.

— Горизонтом называется воображаемая линия, на которой для взгляда наблюдателя, смотрящего вдаль, земля сходится с небом,— сказал преподаватель, плавно поведя перед собой рукой на уровне груди.

Преподаватель был взводным командиром из сверхсрочных одногодичников. Он был очень юн, румян, как девушка, но старался быть очень положительным и официальным.

— Понятно, товарищи? — спросил он, оглядывая взвод.

Товарищи молчали, но по особенному, учащенному сопению, шуршанию свежих гимнастерок на крепких спинах и напряженным, блестящим взглядам преподаватель сделал для себя неутешительный вывод, что объяснение его требует дополнительного толкования.

Горизонт еще не овладел молодыми, неискушенными умами. Он скользил по их поверхности, не проникая в глубину мозговых клеточек. Нужно было сделать понятие горизонта реальным, материализовать его, довести до степени такого же удобнопонятного предмета, как обеденная каша с салом, ибо для пограничника горизонт — вещь серьезная.

— Хорошо, товарищи,— впрягся снова преподаватель в горизонтальную проблему,— попробуем объяснить отвлеченное понятие наглядным примером. Большинство из вас жило в деревне и чаще видело горизонт, чем горожане, от которых он скрыт архитектурными деталями (преподаватель любил иногда остро научные термины, как южные народы — красный перец). Вы каждый день видели горизонт, но не обращали на него внимания как на естественное явление. Так вот — представьте себе, что вы вышли на полевую работу. Перед вашими глазами открытое пространство, где нет ни леса, ни гор, а только ровная, как поле, нива. И вы видите, что на некотором расстоянии от вас нива кончается, соприкасаясь с небом. Воображаемая линия соприкосновения неба с нивой и называется в науке горизонтом. Теперь понятно, товарищи?

Сопение утихло, и напряженный блеск погас. И робкий еще, но уже осознающий первую победу в учении голос из угла отозвался:

— Понятно, товарищ командир.

Преподаватель облегченно поправил пояс на френче и хотел уже продолжать возню с горизонтом для изъяснения практической важности этого явления, как другой голос (он принадлежал Скворцову) опять выбил почву из-под его ног.

— Товарищ командир,— Скворцов говорил решительно и хмуро, сознавая, что идет наперекор начальнику, наверное съевшему собаку в горизонтах.— Это неправда, что земля с небом сходится.

— То есть как неправда? — возмутился уязвленный преподаватель.

Скворцов оробел, но не сдавался.

— У нас на селе старики говорили, точь-в-точь как

вы, что земля до неба касаема и можно по лестнице на небо залезть. Я в те поры подпаском был, и дюже меня интерес взял до того места дойти и на небо заглянуть

Сдержанный смешок за спиной Скворцова колыхнул взвод, и Скворцов медленно налился краской.

— Вот и пошел я раз по полю... Еще подметил на том месте — куст прямо в небо торчал. Дай, думаю, до него доберусь — и до неба рукой подать... Иду, а поле от меня все уходит. До куста дошел, а за им опять поле, и до неба не допрыгнешь. Ну, плюнул — и назад. Ясное дело — враки. Ничего не сходится, и линии не видать.

Взвод уже откровенно грохотал. Преподаватель криво усмехнулся.

— Товарищ,— сказал он,— я же вам и говорю, что линия эта — воображаемая. На самом деле ее нет.

— А на что ж воображать, коли ее нет,— уже сердито сказал Скворцов,— только людей зря путать.

Преподаватель призвал на помощь авторитет науки:

— Потому, что условное понятие горизонта дает нам возможность самым простым образом, без всяких вычислений и инструментов, доказать, что земля не плоская, как думали раньше, а имеет форму шара. Понятно?

Скворцов помолчал и мрачно ответил:

— Може и так, а по-моему, можно и без врак доказывать.

И хмуро сел под общий хохот. То, что рассказывал преподаватель дальше, было вполне понятно Скворцову и не вызывало в нем никаких сомнений, но с горизонтом он долго оставался во вражде. И часто, закрывая глаза, пытался представить себе эту, неизвестно к чему воображаемую линию, но не мог.

Его не смущали и не ставили в тупик такие сложные понятия, как «экономика», «эксплуатация», «капитал», «социализм»,— все это было вполне понятно и реально и вызывало совершенно определенные чувства симпатии или вражды. А воображаемая линия горизонта оставалась в сознании каким-то туманным, расплывчатым призраком, не имеющим реальной ценности.

И только через год он понял горизонт с предельной остротой и ясностью, когда попал в пограничную заставу. Приведенный впервые отделкомом на пост, он оглядел лежащее перед кустом, за которым ему предстояло стеречь советский рубеж, болотистое пространство. Здесь должна была быть граница. Границу он хорошо знал по карте

Союза. Советская земля была отделена от земель, точивших на нее клыки штыков, жирной черной чертой.

И Скворцов думал, что на местности граница помечена либо насыпанным валом, либо вырытой канавой. Но ничего подобного не было видно в мшистом, дымящемся осенним туманом болоте. Оно лежало рыжее, ровное, мокрое и противное. За ним синел такой же перелесок, как и на советской стороне. Но там были чужие,— Скворцов знал это. Чужая земля, чужие деревья, чужие люди.

— А где ж граница, товарищ Садченко? — недоуменно спросил он у отделкома.— Как мне ее разобрать?

— От чудак,— ответил Садченко,— не иначе ты думал, что тебе тут флажки на веревках навешаны, как лису загонять... От — болото видишь?.. Ну, посередь болота и есть граница... Она ж воображаемая линия.

Скворцов глянул на болото, и в сознании его все сразу стало ясным. Он реально увидел границу. Она пролетела в его мозгу резко очерченной линией. По эту сторону лежали свободные поля, дымили свободные фабрики, и землей правили такие же бесчисленные Скворцовы и Садченки, над которыми не висела ничья палка. По ту сторону Скворцовыми и Садченко, носившими чуждо звучащие имена, помыкали хозяева. Оттуда тучей ползли к советской земле ложь, предательство, вражда, насилие. И, раз поняв воображаемую линию границы и ее высокую условную правду, Скворцов понял и воображаемую линию горизонта. Это была такая же граница, но лишенная социального смысла и потому для Скворцова второстепенная.

Стекла заставы тонко и жалобно звенели от ударов метели. Двое суток она бесилась разъяренной, визгливой, вздорной ведьмой и только в ночь, исчерпав весь запас злобы и остервенения, стала затихать.

За это время она успела намести сугробы до половины окон, засыпать двор и ворота конюшни, к которым пришлось прорывать дорогу между пушистыми голубоватыми стенами снега.

В ночь ударил мороз, и к томительному стону стекол прибавилось сухое потрескивание бревен. К рассвету окна заткало пышным лапчатым узором. На восходе оранжевая теплота ламп смешалась с густо бирюзовым холодком оконного света, и в заставе стало зябко. Дневальный под-

бросил в печи по охапке лайковой березы и стал будить утреннюю смену.

Скворцов вскочил, сунул ноги в валенки и побежал в сени умываться... Ледяная вода щекочуще обожгла лицо и шею, стало свежо и весело.

До отвала нахлебавшись обжигающего чаю, Скворцов стал собираться на пост.

Взял из пирамиды винтовку, вынул затвор и, повернув винтовку прикладом к окну, заглянул в ствол. Ствол сиял, как ледяной. От сизого оконного света по нарезам трепетал холодноватый голубой блеск.

Винтовка была в отменном порядке. Скворцов аккуратно обвернул ноги суконными обертками и, снова надев валенки, потоптался на месте, пробуя, все ли ладно, не жмет ли, не попала ли какая неловкая складка, которая помешает ходить и разотрет ногу.

Раскрыл подсумок, вынул обоймы, чтобы пересмотреть патроны — нет ли помятостей и трещин в гильзах, но в это время услышал голос дневального:

— Скворцов... Начальник зовет.

Скворцов бережно сложил обоймы в подсумок и, подтянув пояс, пошел в комнату начальника заставы.

Начальник сидел за столом в расстегнутой гимнастерке. Он только что кончил пить чай. На распаренном лице проступили мелкие капельки пота — начальник любил чай, как пьяница водку, и выпивал по семи стаканов зараз.

Маленькая, востроносенькая, похожая на ручную белку, жена начальника сидела на постели, кормя грудью ребенка и, когда Скворцов вошел, повернулась спиной, стыдясь красноармейца, так как только первый месяц наслаждалась материнством и еще не успела привыкнуть к нему.

— Здравствуйте, товарищ начальник,— сказал Скворцов, переминаясь у порога.

— Здорово, Скворцов,— весело ответил начальник и добавил тихо и серьезно: — маленький разговор будет.

Скворцов пристально смотрел на красное лицо командира.

— Сейчас пойдете на пост, так глядите в оба. Есть у меня думка, что сегодня может быть «случай».

Скворцов насторожился. Он знал привычки и словечки начальника и знал, что на его языке «случаем» называется попытка перехода границы. Если начальник гово-

рил «может быть»,— значит, он знал это наверное, значит, у него были проверенные сведения и, следовательно, ему, Скворцову, предстоит сегодня серьезный боевой день. Тело его напряглось, и в ушах зашумела кровь.

— Поняли, товарищ Скворцов? Вы хороший пограничник, и я на вас полагаюсь. Дело серьезное, и птичка отличной породы. Главное дело, если заметите — не спугните не вовремя. Дайте перескочить и забирайте живьем. Оружие применять только в самом крайнем случае. Соображаете?

— Соображаю, товарищ начальник,— ответил Скворцов.

— Ну, ладно — идите. Полагаюсь на вас.

Скворцов вернулся в казарму. Постовая смена уже одевалась.

— Скворцов, поторопись,— окликнул Садченко.— Где тебя носило?

— Начальник звал, товарищ Садченко,— ответил Скворцов, присел на постель и, подумав минуту, решительно сбросил валенки и потянулся к шкафчику за сапогами. Когда он натягивал их, Садченко подошел к постели.

— Зачем валенки скинул? Непорядок... Такой мороз...

Скворцов не дал ему договорить. Подняв голову и взглянув прямо в глаза отделкома, он раздельно и с напором сказал:

— Может, бежать много придется, товарищ отделком... В валенках неспособно...

Глаза договорили остальное, и старшина понял мысль красноармейца. И уже больше для формы сказал:

— Не застудись только.

В сенях поверх тулупов постовые напялили белые холщовые балахоны с капюшонами, помогая друг другу завязывать сзади тесемки. Смена тронулась на посты.

Противный рыжий пустырь болота сиял незапятнанной белизной, плотно прикрытый полуметровым покровом снега. Ни одного пятнышка не было на всем открывающемся взгляду пространстве, мерцающем матовым сахарным блеском, только кое-где, протыкая снег, как штыки, торчали острые стебли осоки.

Ни впадинка, ни горбик не нарушали скатертной ровности пустыря, и тем не менее Скворцов отчетливо видел

воображаемую линию границы. Она пересекала болотный пустырь ровно посредине, она горела, красная и живая, как кровь.

Скворцов присел на знакомый пенек за кустом, положил винтовку на колени и, слегка потопывая ногами, приминая пухлую снеговую перинку, погрузился в думу о чужой земле.

Что нужно тем, которые властвуют на этой чужой земле? Какая злобная ненависть кидает их, как волков, к советской границе, острит их штыки, закладывает обоймы в магазины маузеров, заставляет подстреливать из-за угла часовых советской земли, таких же, как он, Скворцов, пограничников, молодых, жизнерадостных парней?

«Вот мы же,— думал Скворцов,— не лезем к ним. Стоим и бережем свою границу и никого не трогаем. А они, как звери, кусаются. Должно быть, оттого, что силенки за собой не чуют. Силенки нет, а злобы хоть отбавляй. Силой взять не могут, так хоть пакостью душу отводят. Вон на соседней заставе неделю назад стоял на посту Гриньков. И вдруг из-за дерева — трах! и нет парня. В висок пуля и навылет,— всю голову разворотила. А за что? А у Гринькова в деревне старики остались, калеки. До Советской власти, гады, дострелить не могут, так по крайности в Гриньковых стреляют. Вот сволочи!..»

Скворцов озлобленно плюнул в снег и смотрел, как плевок пробил круглую ямку в зернистом снежном пуху и медленно застыл.

Потом поднял голову, глянул вперед, дрогнул, подался и медленно, как зачарованный, не отводя глаз от мелкого переплета веток чужой рощицы за болотом, сполз с пенька в снег и вытянулся на животе, подбирая к боку винтовку.

За ветками рощицы метнулось что-то желтое. Как будто лисица пробежала, а может быть, и не лисица... Глаза в руки, товарищ Скворцов, и замри!

Из напряженных глаз потекли слезы, и Скворцов несколько раз часто мигнул ресницами, смахивая мешающие смотреть капли. Ветер пронесся над поляной, качнул ветки деревьев, стряхивая с них невесомые белые глыбы. Ветер примчался издалека с моря и свистал, как боцман.

Здоровый кусок снега свалился на голову Скворцову, засыпал лицо — Скворцов только слегка передернулся, чтобы стряхнуть колющие снежинки, двигаться сильней было нельзя.

Он, не отрываясь, смотрел в чащобу чужой земли, туда, где метнулось желтое.

«Нет... верно, и в самом деле лиса»,— подумал он, и только успел подумать, как вновь возникло отчетливое желтое движущееся пятно, и Скворцов сразу понял: человек!..

Холодея, Скворцов осторожно вытянул руку вдоль пояса и пощупал подсумок, точно испугался: на месте ли он. Но твердая кожаная коробочка крепко держалась на поясе и хранила свинцовое зерно. Скворцов снова перевел взгляд на рощу. Человек — теперь Скворцов видел его совсем ясно — в желтой бобриковой куртке с меховым воротником сторожко, как волк, переползал от кустика к кустику, пробираясь к опушке. На его спине горбился вещевой мешок с новенькими ремнями. Вот он добрался до крайних березок, выпрямился во весь рост, поглядел из-под руки. Теперь Скворцов видел его лицо, длинное, с резким подбородком, со стрижеными усами.

Минуту человек постоял неподвижно, потом медленно, мягко ставя ноги в валенках, двинулся вперед. Он, видимо, как и Скворцов, хорошо чувствовал воображаемую линию границы. Он не дошел до нее двух шагов, остановился, взглянул исподлобья, усмехнулся и нахально достал из кармана коробку папирос. Чиркнула спичка, легкий дымок всплыл и исчез, на лету украденный ветром.

У Скворцова рот переполнился слюной от злости и зависти. Захотелось курить до боли под ложечкой.

Человек стоял вполоборота, выпуская периодически клочки дыма, которые также мгновенно воровал ветер.

Щелкнув зубами от злости, Скворцов припал к прикладу винтовки и медленно поднял ствол на уровень груди человека. Черные пуговицы на куртке были ясно видны. Мушка подползла под вторую пуговицу, оставалось только легко дернуть спуск, но Скворцов знал, что этого делать нельзя. Он просто успокаивал себя этой забавой сознания своей власти над жизнью этого человека, может быть, того самого, который неделю назад пустил из-за дерева предательскую пулю в висок пограничника Гринькова.

Человек как будто ощутил опасность. Он сделал два быстрых шага назад, огляделся, бросил папироску и стал неторопливо прохаживаться по болоту вдоль линии границы, делая каждый раз, с точностью часов, пятнадцать

шагов вперед и потом пятнадцать шагов назад. Несколько раз он улыбнулся, и Скворцов с каждой его улыбкой все больше и больше наливался едким ядом озлобления.

«Гуляешь, стерва?» — прошептал он с ненавистью.

Человек явно испытывал скворцовское терпение, если подозревал присутствие пограничника, и Скворцов понял, что он делает это нарочно, чтобы вызвать его на какое-нибудь движение, окрик, чтобы показать, что здесь опасность.

«Не дождешься, сука не нашего господа»,— прохрипел Скворцов.

Лежать становилось трудно и неудобно. Снег засыпался в рукава тулупчика. Руки и ноги начинали коченеть. Скворцов пожалел на мгновение, что снял валенки. Руки полбеды. Пальцами можно было все-таки шевелить. Даже можно было по очереди засовывать руки под тулуп, в теплую овчину. Ногам приходилось хуже.

Нельзя было ни переменить положения, ни похлопать сапог о сапог — это моментально выдало бы пограничника. А в ступнях уже начиналось неприятное покалывание. Сейчас бы встать только на две минутки, побегать по снегу, высоко взбрасывая ноги, пригнать к ним кровь, а там опять можно лежать хоть час, хоть полтора. Но не только встать — переменить позы нельзя, пока этот черт торчит там на болоте.

Скворцов взглянул на человека и обрадовался. Он повернул и пошел к роще.

«Сдрейфил,— решил Скворцов,— смывается».

Но человек, как будто издеваясь, дошел до деревьев и присел на пень. Достал новую папироску, покурил, бросил, развязал мешок. Скворцов видел, как он достал хлеб, вскрыл ножом консервную банку, намазал содержимое на ломоть и стал есть, медленно жуя, искоса посматривая в сторону Скворцова. Он явно испытывал терпение Скворцова.

Ветер опять рванул ветки над головой пограничника и, сорвав большой ком смерзшегося снега, обрушил его на ноги Скворцову. Скворцов с испугом почувствовал, что ноги не ощутили удара, как будто они были деревянные. Он попытался пошевелить ногами, передвинуть их вбок, и при этой попытке ледяная боль прошла от ступни до колена.

«Застудил,— подумал Скворцов и почувствовал приступ ослабляющей тошноты.— Дурак! Надо было валенки

оставить, а коли бежать — сбросил бы валенки и босиком погнал бы».

Но жалеть о сделанном было бесполезно. От боли и злости Скворцов вцепился зубами в рукав халата, заглушая стон.

Человек снова завязал мешок и, неся его на руке, подошел к середине пустыря. Немного постоял, прислушиваясь, откинулся, сильно размахнулся и швырнул мешок в сторону Скворцова. Мешок взвился в воздух, упал в снег и, кувыркаясь, обрастая белыми комьями, как снежная баба, лег сбоку Скворцова, шагах в десяти.

Боль в ногах мгновенно забылась. Скворцов весь напрягся.

«Провокацию делает, гад... Пробует на арапа взять мешком. Авось польстятся...»

И еще глубже врылся в снег.

Человек послушал, наклонив голову набок. Потом решительно пошел на Скворцова. Воображаемая линия границы была перейдена. Скворцов трясущимися руками навел винтовку.

Десять... пятнадцать шагов... Человек остановился. Скворцов открыл рот крикнуть, но в эту минуту человек круто рванулся и большими скачками побежал назад. Палец Скворцова истерически заплясал на спуске. Нажать — и вся мука кончена. Но в памяти встала комната начальника, самоварный пар, женщина на постели, кормящая ребенка, и голос командира: «Живьем бери».

Можно было бить в ноги, но выстрел наделает шума, набегут пограничники с той стороны. черт знает что может выйти. С пробитыми ногами можно переползти рубеж, и тогда все насмарку. Скворцов закусил губы. Ему хотелось плакать. Перебежав заколдованную линию, человек остановился, повернулся и поглядел назад. Потом повторил ту же проделку еще и еще.

После пятого раза, точно убедившись в том, что путь свободен, он засунул руки в карманы куртки и уже совсем другим шагом, легким звериным, волчьим ходом пошел напрямик, чуть уклоняясь в сторону от куста, за которым лежал Скворцов.

Скворцов, не отпуская, вел дулом винтовки. Мушка прочно вцепилась в облюбованную пуговицу. Вот человек перешел пустырь, вот он равняется с кустом, смотря в другую сторону... вот нагнулся за мешком.

И когда он выпрямился, сдавленным от волнения и боли голосом Скворцов крикнул:

— Стой!

Человек выронил мешок и взвился, как пружина. Руки его метнулись к карманам, взгляд в сторону окрика, и руки медленно, как вытягиваемые посторонней силой, поднялись над головой. Скворцов видел, как побелело его лицо и затряслись усы.

Неслыханная ненависть потрясла все тело Скворцова, смешиваясь с болью и жалостью к себе, к своим закоченевшим ногам.

— Кидай оружие, гад,— прокричал Скворцов, плача и не сдерживая слез.— Кидай, тебе говорю.

Человек, с испуганным удивлением глядя на залитое слезами, исковерканное лицо пограничника, осторожно опустил руку в карман. Черный и блестящий, как ворон, пистолет отлетел в сторону и зарылся в снег.

— Все кидай,— крикнул опять Скворцов, захлебнувшись злобным всхлипом.

— Больше нит,— ответил человек по-русски, но странно выговаривая слова.

— Ложись! — приказал Скворцов, и человек послушно лег ничком. Скворцов попытался приподняться, но ноги так резнуло, что он с протяжным стоном опустился на снег. Человек исподлобья глядел на Скворцова одним глазом, и во взгляде была мутная ненависть пойманного волка. Он чуть пошевелился.

— Тихо лежать! — заорал Скворцов и подумал: «Доходился? Не на такого напал. Я тебя, как лису, стерег, я за тебя ноги загубил,— теперь не выпущу. Носит вас, гадюк, нет вам спокоя».

Левой рукой Скворцов достал из-за пояса свисток и, не спуская глаз с лежащего нарушителя, вставил кончик свистка в рот. Скрежещущая трель пошла по лесу. Человек дернулся всем телом, но под черным зрачком винтовки затих.

— Ты что лежишь? За компанию, что ли? Чтоб не скучно было? — услыхал Скворцов за спиной голос Садченко.

Через силу он повернулся к отделкому и двум товарищам.

— Берите,— выдавил из себя тупым стылым голосом, протягивая руку в сторону задержанного, и добавил хмуро: — Не могу встать, товарищ отделком. Ноги застудил.

Когда двинулись на заставу, задержанный шел впереди. Винтовка Садченко упиралась ему в спину. Сзади Садченко пограничники, просунув винтовки в рукава снятой с задержанного куртки, несли на ней, как в кресле, Скворцова, обнявшего их за шеи.

— Молодец парень,— обронил на ходу Садченко,— чисто сработал. Дельный пограничник.

Скворцов колыхался на руках товарищей, закрыв глаза. Ноги щемило, все тело ныло от лежки. Но горячая радость переполняла его и, казалось, оттаивали и отмороженные ноги. Он бессильно улыбнулся и проговорил, как в бреду:

— Горизонт есть воображаемая линия, на которой небо сходится с землей...

Красноармейцы переглянулись. Им показалось, что Скворцов «свихнулся». Они не знали, что он просто вспомнил свое первое столкновение с воображаемой линией, которая теперь не вызывала в нем никаких сомнений.

<1933>

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Война есть продолжение политики иными средствами.

Клаузевиц

Дипломатия выше стратегии.

Энгельс

1

«Рейд Александрия.

11 час. 43 мин. Дежурным полицейским унтер-офицером замечен по левому борту, у иллюминаторов офицерских кают, каик с двумя феллахами, по подозрению в намерении покражи вещей через иллюминаторы посредством удочек. При обыске таковых удочек не обнаружено.

11 час. 48 мин. С флагманского корабля последовательные сигналы: 1) Всему отряду приготовиться к съемке с якоря в 17. 30. На походе иметь дежурные орудия заряженными, подвахтенным спать одетыми. При встрече с немецкими кораблями салют производить только в ответ на таковой с немецкой стороны. Выход с рейда в строю по ордеру № 3. Дивизиону эскадренных миноносцев коммодора Бейли организовать походное охранение. 2) Флагман приказывает командирам кораблей прибыть к нему на борт в 16.00 на совещание.

12 час. 33 мин. Вызван с берега катер портовой полиции для отвода на буксире каика и сдачи феллахов в полицейский портовой пост.

12 час. 52 мин. Арестованные сданы на катер.

14. час. 40 мин. Офицеры приглашены в салон адмирала на экстренное совещание.

15. час. 42 мин. К правому трапу подан командирский вельбот» [1].

---

[1] Выписка из вахтенного журнала британского крейсера «Warrior» от 29 июля 1914 года.

«Дорогая Сириль!

Пишу вам невероятно наспех: сию минуту катер свозит на берег последнюю почту. Поэтому не принимайте во внимание безобразно торопливый почерк. Мне невыносимо горько сообщать вам, что наши планы провести август вместе неожиданно и бесповоротно разрушены. И подумать только, что отпуск уже лежал у меня в кармане! Только что, сменившись с вахты, я узнал в кают-компании поразительную новость. По-видимому, война решена окончательно. Это ранило меня в сердце и одновременно наполнило гордостью и новыми надеждами. Отряду приказано немедленно выйти в море. Думаю, что уже дня через три мы гордо подымем наши славные боевые флаги и пойдем навстречу врагу. Поэтому все в восторге и поздравляют друг друга. У меня звенит в голове от трех выпитых за победу Британии бокалов шампанского. Нам предстоит важное и замечательное дело. В Средиземном море, как бельмо в нашем глазу, уже два года нахально расхаживает Сушон со своими «Гебеном» и «Бреслау». Мы должны раскатать их в пух и прах сразу же по объявлении войны. Это обязательно. Немцам нужно показать их место. Средиземное море — британское море. Достаточно уже того, что мы любезно терпим в нем наших союзников-французов. Мы все горим нетерпением встретиться с немцами и дать им хороший урок. Как ни горько мне, что мечты половить с вами форелей в шотландских ручьях так внезапно рухнули, я утешаю себя мыслью, что просить вашей руки, имея лейтенантские нашивки и крест Виктории, будет солидней и шикарней. Да и дело не затянется. Будущее Германии, которое кайзер полагает на воде, окажется под водой через два-три месяца, и мы встретимся с вами. В том порукой честь королевского флота.

У нас сегодня был очень смешной случай: дежурный поймал двух жуликов-феллахов, которые хотели удочкой вытащить вещи из офицерских кают. Хотя они и клялись, что они только честные продавцы бананов, и, вероятно, успели выбросить удочки в воду, лейтенант Грэгсон все же приказал унтер-офицеру Доббелю дать им несколько пинков и отправить в полицию. Если даже в этот раз они и не имели намерения красть, это будет им предостережением. Феллахи все воры. Я часто думаю, как трудно нашему отечеству заботиться обо всех диких народах, насе-

ляющих наши земли, и поднимать нравственность этих несчастных.

Однако нужно кончать письмо. Утешаю себя надеждой на скорую нашу встречу. Как чудесно будет прийти к вам победителем!. «Гебена» мы не выпустим, за это я ручаюсь. Он хочет быть в нашем море — мы найдем ему местечко на дне. Целую ваши руки.

Ваш *Эви»* [1].

«Милая мама!

Не знаю, увидимся ли мы с вами когда-либо, и поэтому решил написать вам прощальное письмо. Сейчас уже ясно, что мы лезем в драку с Германией. Мне, да и всем нам, матросам, мало улыбается это, но ничего не сделаешь, мы «проданные». Первое, что нам предстоит, как сказал сегодня фронту командир,— найти и уничтожить немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау». Офицерам кажется это легким делом, но я знаю немецких моряков и думаю, что они будут храбро сопротивляться. У них хорошие корабли, но все же наши силы здесь настолько велики по сравнению с ними, что бой будет жестоким избиением слабейшего. Впрочем, такова всякая драка. Возможно, что кое-кто из нас сложит голову в этом бою. Если эта участь суждена мне, я прощаюсь с вами, милая мама, и благодарю вас за вашу нежную любовь и заботы. Я знаю, что вы старались сделать для меня все, что могли, но после смерти отца вам стало очень трудно, и не ваша вина, что мне пришлось «продаться» во флот, чтобы не быть вам обузой. Это ведь обычная участь среднего подданного нашей Англии. Она умеет «заботиться» о своих детях, и не дальше как сегодня два нищих феллаха испытали это на себе. Грязная сварливая собака, полицейский унтер-офицер Хэмпдон заподозрил двух продавцов бананов в попытке обокрасть каюты офицеров. И хотя не было никаких доказательств обвинения, все же феллахов отправили в полицию, а лейтенант Грэгсон приказал мне, когда арестованных спускали в катер, накостылять им шею. Что я мог

---

[1] Письмо плававшего на крейсере «Warrior» мидшипмэна Эванса Кольвилля его невесте мисс Сириль Уйдфайр. Кольвилль погиб в бою у Коронеля 1 ноября 1914 года на броненосном крейсере «Monmouth».

сделать? Отказаться? Но я знал, что всегда найдутся другие, а я буду наказан. Ведь мы живем, как в сказке о взбунтовавшихся членах человеческого тела, каждый за себя,— об этом заботится радетельное начальство. И скрепя сердце я дал каждому феллаху по притворному лещу, а теперь мне противно смотреть на свою руку. Сейчас мы снимаемся с якоря, а если война будет объявлена, пойдем на поиски немцев. О, уж мы наверное их не упустим! Командующий в Средиземном море адмирал Мильн такой цепной дог, которому самое первое удовольствие вгрызться в чьи-нибудь икры. Прощайте, милая мама, поцелуйте сестренок Кэтти и Дору. Жалко будет, если я не доживу до замужества Доры.

Джекоб» [1].

«29 июля 1914. № 117 с/с. Командующему силами Средиземного моря. С получением сего устанавливается предупредительный период. Инструкции вам известны.

Первый морской лорд

Луи Баттенберг» [2].

«Рейд Валетта.

10 час. 17 мин. Отдали якорь на внутреннем рейде. Вытравлено каната 195 ярдов.

10 час. 23 мин. Вызван караул для встречи командира порта, прибывшего с визитом к командующему.

10 час. 27 мин. Караул отпущен.

11 час. 06 мин. Вызван караул для проводов командира порта.

11 час. 13 мин. Караул отпущен после проводов командира порта.

11 час. 18 мин. Приказано поставить на бакштов все моторные катера и иметь их наготове.

11 час. 43 мин. С берега пришел катер консула» [3].

---

[1] Письмо унтер-офицера крейсера «Warrior» Джекоба Доббеля матери.

[2] Предупредительная телеграмма Британского адмиралтейства всем флагманам соединений, получение которой предписывает мобилизационные меры и прием боезапаса.

[3] Выписка из вахтенного журнала флагманского крейсера «Inflexible» от 30 июля 1914 года.

«Валетта. «Inflexible». Адмиралу Мильну. Последним сведениям «Гебен», «Бреслау» направляются погрузки угля Бриндизи или Таранто.

Б...» [1].

«Вышлите «Chatham» наблюдения районом Бриндизи — Таранто. Случае появления немцев донесите. Командиру «Chatham» дайте директиву держаться за зоной итальянских территориальных вод, чтобы не раздражать итальянцев, стороны которых возможно соблюдение нейтралитета войне.

Мильн» [2].

БРИТАНСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО

ПО МОРСКОМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ

30 июля 1914 года. № 0068
Директивно. С/с.
Оперативная часть.

Командующему силами Средиземного моря адмиралу сэру Бэрклею Мильну.

Обстановка в Средиземном море на случай войны складывается следующим образом: выступление Италии против Согласия маловероятно, тем не менее признается необходимым, до окончательного выяснения ее поведения, избегать проходов итальянскими проливами и территориальными водами, равно не вступать в соприкосновение с австрийцами, позиция которых в отношении Великобритании неопределенна. Главная ваша задача с момента военных действий — помощь французам в перевозке их африканского корпуса, для чего надлежит занять прикрывающую позицию, стараясь принудить к бою всякий немецкий корабль, особенно же «Гебен», если он попытается помешать перевозке французских войск. В случае встречи с превосходными силами противника не вступать в решительный бой иначе, как совместно с французами, для чего установить контакт с адмиралом Буэ де Лаперейр. Надлежит твердо помнить основную директиву: подавить всякую попытку немецких крейсеров укрыться в австрийских

[1] Телеграмма морского агента Великобритании в Риме коммодора Б.

[2] Радиограмма командующего силами Средиземного моря адмирала сэра Бэрклея Мильна младшему флагману, командующему отрядом броненосных крейсеров, контр-адмиралу Трубриджу.

портах или вырваться из ковша Средиземного моря через Гибралтар. Дивизия адмирала Сушона должна быть истреблена быстро и решительно. О начале военных действий узнаете по условной телеграмме.

Первый морской лорд

Луи Баттенберг.

Начальник Оперативной части Морского генерального штаба капитан первого ранга, баронет

X...1[1].

«Мессина, 3 августа. (От собств. корресп.) Сегодня утром вошли в гавань немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» для погрузки угля. Ввиду того что властям порта было сообщено о состоявшемся вчера объявлении войны между Францией и Германией и о нашем нейтралитете, губернатор предложил немецкому адмиралу вывести свой отряд из Мессины. Адмирал Сушон известил губернатора, что крейсера уходят вечером. В разговоре с вашим корреспондентом офицеры германских кораблей высказали мнение, что, в случае вступления в войну Англии, «Гебену» и «Бреслау» придется покинуть Средиземное море и прорываться в Атлантику, или же в Полу на соединение с австрийским флотом, либо искать убежища в порту столицы Турции, с которой на днях заключен союз. Между слов можно было понять, что на прорыв в Константинополь офицеры адмирала Сушона смотрят как на совершенно безнадежную попытку, считая британские силы в Средиземном море настолько подавляющими, что немецким кораблям остается только как можно дороже продать свою жизнь. Англия никогда не допустит появления немецких кораблей в Константинополе, ибо это может усилить турецкий флот до опасных для русского Черноморского флота пределов. А это поведет к разрыву коммуникаций Англии с ее северным союзником, пресекая удобнейший путь питания европейского театра военных действий неисчерпаемыми людскими резервами России, русским хлебом и богатейшим и дешевым сырьем, в первую очередь кавказской нефтью. Поэтому на пути в Тур-

---

[1] Директива Британского адмиралтейства. Доставлена из Лондона экспрессом Лондон — Рим и из Неаполя эскадренным миноносцем «Laurorey» на Мальту. Расшифрована службой связи флагманского крейсера «Inflexible».

цию немецким крейсерам грозит неизбежная гибель, и офицеры решили на случай прорыва в этом направлении составить завещания»[1].

«Лондон. Адмиралтейство. Полученной директиве нет указаний дислокации флота случае направления прорыва немцев Дарданеллы — Константинополь. Прошу указаний. Полагал бы необходимым, оставив на западе легкие крейсера для поддержки линейных сил французов и в Отрантском проливе броненосный отряд Трубриджа для преграждения пути на Полу, выслать главные силы моих линейных крейсеров мысу Матапан на пересечку курса Сушона. Районах Адриатики Гибралтара считаю их присутствие лишним силу окончания концентрации французского флота.

Мильн. № 1887»[2].

2

В больших иллюминаторах адмиральского салона темно-голубая вода рейда и над ней светло-голубые колючие звезды. Пятилапой золотой морской звездой плавает под подволоком люстра. Над пухлой спинкой кожаного кресла седая голова флагмана. Напротив, в таком же кресле, флаг-капитан, капитан первого ранга Митфорд. Щеки у флаг-капитана выбриты до такой гладкости, что в них, как в зеркальце, отражаются искорки ламп.

На столе в толстых хрустальных стаканах густой теплый чай. Аромат его крепок и сладок, кажется, что где-то в салоне поставлен букет пряно пахнущих цветов.

Флаг-капитан отхлебывает глоток и закусывает хрустящим бисквитом.

— Разрешите продолжать доклад, сэр?

Седая голова склоняется в медленном кивке. Адмиралу мучительно хочется спать. Он огромным усилием воли удерживает свинцовые веки открытыми над спящими зрачками, в которых туманно и не доходя до сознания отражаются полированные тиковые панели салона, гладкое лицо Митфорда и дрожащие слезки звезд в круглых просветах иллюминаторов.

---

[1] Газета «Popolo di Roma» от 3 августа 1914 года.
[2] Радиограмма адмирала Мильна в Адмиралтейство от 3 августа 1914 года.

Голос Митфорда сливается с ровным гудением турбодинамо глубоко под палубой адмиральского помещения, и адмирал не может отличить одного звука от другого. Он с трудом улавливает отдельные слова, которые невозможно связать, и сквозь дрему раздражается на самого себя. Раньше он мог не спать целыми сутками и сохранять ясную голову. Теперь усталость и старость совместными атаками одолевают его. О чем говорит Митфорд?

— Командир крейсера представляет это неприличное происшествие на усмотрение флагмана. Требуется ваше заключение, сэр!

— А?..

Сэр Бэрклей Мильн вскидывает голову и, собрав всю внутреннюю живучесть, отбивает наступление сна. Нужно что-то ответить Митфорду, но что? Адмирал расслышал только последние слова: «Ваше заключение, сэр».

Но если от флагмана ждут заключения, оно должно быть дано — немедленное и ясное. Необходимо найти достойный выход из положения, и адмирал прибегает к уловке, не раз выручавшей в таких случаях. Он поворачивается к флаг-капитану.

— Но ведь из доложенного вами, Митфорд, явствует, что у командира корабля уже имеется свое и определенно выраженное мнение. Я полагаю, что можно согласиться с ним. Да, да! Я утверждаю! — с привычной уже властностью заканчивает адмирал, чувствуя, что не промахнулся и на лице Митфорда не появится та, чуть просвечивающая сквозь синеватую амальгаму живого зеркала корректная улыбка уважительной жалости к стареющему начальнику, которую адмирал иногда замечает в случае своих промахов.

— Есть, сэр!

Митфорд развинчивает «Монблан» и золотым пером пишет поперек рапорта резолюцию флагмана. Затем он откладывает рапорт налево и берется за другие бумаги. Флагман прямее усаживается в кресле. Теперь сон прогнан, адмирал может быть внимательным и точным в ответах. Ровным, без выражения, говорком Митфорд читает сводки о количестве боезапаса и топлива на складах базы. Отложенный в папку налево рапорт слегка вздрагивает уголком плотной бумаги от вздохов ветра из иллюминатора. Ветер солен, сыроват, жарок. Бумагу как будто лихорадит от сырости и тревоги за судьбу человека.

Командир крейсера «Warrior» доносит флагману, что

после выхода с александрийского рейда и уведомления команды о возможности войны унтер-офицер Джекоб Доббель на походе сказал в группе матросов следующие слова: «Немцы такие же люди, как и мы, англичане. Каждому народу хочется мирно трудиться и жить под солнцем. Кому нужна драка между нами и немцами? Пусть бы наши павлины и индюки воевали с феллахами, которые не могут сопротивляться. Так нет же, им хочется большой войны, чтобы нацепить на себя лишние перья, которые выщиплют для них у нас же». Слышавший это кондуктóр Паркинс приказал группе разойтись, сделав одновременно замечание Доббелю о недопустимости таких разговоров накануне великих для Англии событий, и спросил, кого унтер-офицер имел в виду под названными им птицами? На это Доббель дерзким тоном ответил: «Что касается павлинов, то это офицеры от мичмана Кольвилля до короля, а индюки — это вы и другие кондуктóры и боцмана». После этого кондуктóр, не вступая в пререкания с Доббелем, доложил вахтенному начальнику, арестовавшему унтер-офицера. Командир корабля, находя этот случай выходящим из рамок дисциплинарных проступков и свидетельствующим о преступном образе мыслей унтер-офицера Доббеля, полагает необходимым разжаловать его в матросы второго разряда, лишив наградных и нашивок за хорошую службу, и перевести на другой корабль под особое наблюдение, о чем доводит до сведения флагмана, спрашивая, находит ли адмирал меру взыскания достаточной и не считает ли необходимым ввиду наличия в словах Доббеля оскорбления его величества усилить наказание преданием суду.

Ветер в иллюминаторе крепчает, бумага дрожит сильнее.

— Крейсерам ночью принять полный боезапас,— говорит адмирал Мильн, прослушав сводку, и глаза его блестят уже по-молодому цепко и искристо,— погрузку производить, не вывешивая красных огней, чтобы на берегу не знали. Шпионаж здесь поставлен отлично. Что еще?

И голос у адмирала уже не вялый и сопливый, а отрывистый, лающий. Он отвечает характеристике, данной командующему унтер-офицером Доббелем. Мысленно адмирал Мильн уже видит в темноте силуэты немецких кораблей, в которые он готов вцепиться, как остервенелый дог, сокрушительными клыками тринадцатидюймовых снарядов.

— Еще, сэр, русский морской агент в Италии барон Врангель, случайно находившийся в Мессине, персонально сообщает адмиралу Трубриджу, что адмирал Сушон, видимо, окончательно принял решение идти в Константинополь. Он сообщает о времени выхода «Гебена» и «Бреслау» из Мессины.

Адмирал Мильн поднимается, и Митфорд повторяет это движение.

— Вопрос для меня ясен. У него только два выхода. Либо он собирается идти в Полу на присоединение к австрийцам, либо это начало прорыва на Дарданеллы. Дайте радио Трубриджу продолжать наблюдение в Отрантском проливе. Мы останемся здесь с «Weymouth», «Hussard» и миноносцами. «Indomitable» и «Indefatigable» пусть пройдут к W до острова Галита, на случай, если бы немцы все же свернули к Гибралтару, что я лично считаю исключенным. Их ход позволяет нам в любой момент вызвать их к нам. По получении ответа на мой запрос Адмиралтейству мы пойдем к мысу Матапан, и там Сушон найдет свою могилу. Обоим линейным крейсерам выйти к двум часам. Все! Прикажите разбудить меня в десять. Спокойной ночи!

Флагман уходит в спальню. Митфорд несколько минут чертит пером по блокноту, фиксируя приказания адмирала.

Потом он выходит, идет по верхней палубе. Шаги его в мягких туфлях на тросовой подметке бесшумны. Он шагает с привычной осторожностью, чтобы не наступить на раскинутые в жарком и душном сне тела матросов. Взбирается по узким трапам на ходовой мостик и передает блокнот вахтенному начальнику. Приказы адмирала переписываются в шифровальный журнал. Митфорд, обменявшись несколькими словами с вахтенным начальником, спускается вниз — соснуть.

Бледные искры летят с высоты мачт в темно-голубую ночь к светло-голубым звездам, стрекоча сверчками,— работает искровая. Желтой капелькой дрожит на клотике фок-мачты огонь лампочки, мигая коротко-длинно. Рука сигнальщика танцует на рычаге ключа, посылая позывные «Indomitable». Вахтенный начальник выходит из рубки, подходит к обвесу и долго смотрит вниз на фосфоресцирующую воду. Под его ногами, подрагивая пульсом машин, дышит железное тело корабля. К борту черной тенью подходит баржа. На нее перебрасывают мостки. Начинают грузить боезапас средней артиллерии. По мосткам

движется беспрерывная цепочка людей, гнущихся под тяжестью стальных остромордых болванок. По палубе, до люков бомбовых погребов, постлана полоса мягкого мата. Игольчатые лучики потайных фонарей на поясах боцманов цепляются за длинный ворс мата. Огромный корабль беззвучно жрет начиненную притаившимся огнем и громом пищу. Вахтенный начальник не может оторвать глаз от зеленоватого света, пронизывающего воду. Эта прозрачная и мерцающая зелень похожа на райки глаз его жены. Она сейчас спит в маленькой спальне на твердой земле, и глаза ее скрыты под теплыми веками.

— Джеп!

Имя вырывается у вахтенного начальника непроизвольно. Звук его нежен и долог. Сигнальщик, не сводящий глаз с офицера, срывается с места и кидается в рубку. Секунду спустя он подает лейтенанту плотный томик.

— Что? — спрашивает лейтенант, очнувшись и смотря на матроса непонимающим взглядом.

— Вы приказали, сэр, флотский справочник «Джен», и я...

Лейтенант приходит в ярость. Он отталкивает книгу и металлически сухо кидает матросу:

— Вы болван, Лоренс! И потом, сколько раз вам повторять, что на посту нельзя прислоняться к штагам. Возьмите один наряд вне очереди и пять суток без берега. Это научит вас дисциплине.

Капитан Митфорд по дороге в свою каюту заходит на минуту в кают-компанию выпить содовой воды со льдом. Ночь слишком жарка и томительна. В кают-компании уже пусто. Офицеры разошлись, и лишь в углу на диване белеет лейтенант Грэн, наклонив голову над книжкой. При входе Митфорда он вскакивает. Флаг-капитан делает ладонью жест сверху вниз, и Грэн опускается на диван.

— Почему не спите? — Митфорд медленными глотками пьет поданный вестовым бокал пузырящейся ледяной жидкости.

— Не могу спать в этом проклятом климате, сэр. Я с севера Ирландии. От этой жары у меня лопается череп, сэр. Я просился о переводе на север — мне отказали. Я рассчитывал, что осенью получу капитан-лейтенанта и уйду в отставку, но теперь...— Грэн безнадежно пожимает плечами.

— Все же вам лучше вздремнуть. Нам предстоит большая гонка.

— За «Гебеном»? Я думаю, сэр, что это не потребует больших усилий. У немца плохо с котлами. Текут трубки.

— Они перебрали их, когда стояли на ремонте в Поле.— Митфорд ставит на стол пустой стакан.

— Знаю, сэр. Они переменили около четырех тысяч трубок, но результаты невелики. Когда мы ремонтировали дейдвуд в Дураццо, мне пришлось дважды выпивать с инженерами доков, и австрияки рассказывали об этом деле. Флагманский механик Сушона жаловался им, что, несмотря на все усилия, он может надежно держать долгое время ход не более пятнадцати узлов. Только на полчаса у него хватает сил добиться двадцати одного узла, а наши линейные, несмотря на обрастание, способны часов шесть держать двадцатитрехузловой. Немцам некуда податься, старик поймает их, как крыс. Куда только они пойдут? На запад или на восток? Впрочем, тонуть одинаково паршиво на всех румбах. А мы их потопим, не будь я ирландец!

— Да, мы должны опередить всех. А все же советую вам пойти к врачу и попросить веронала. У вас покойницкий вид.

Митфорд уходит. Лейтенант Грэн захлопывает книгу и подходит к стенному термометру. Термометр показывает сорок три выше нуля. Китель и брюки офицера пропитаны липкой, жаркой и тяжелой сыростью. Грэн вздрагивает и с ненавистью смотрит на термометр. Понурившись, идет к врачу за вероналом.

3

«Сегодня на рассвете перед портом появился с норда германский линейный крейсер «Гебен», который, спустив русский военный флаг, под которым приближался, поднял германский и без предупреждения открыл огонь по городу и гавани залпами тяжелой артиллерии. Всего выпущено пятнадцать залпов. Повреждения незначительны. Жертвы есть среди мирного населения. Войска не пострадали, так как посадка частей девятнадцатого корпуса на транспорты еще не началась. Наши батареи отвечали. Транспорты целы.

Военный губернатор колонель-коммандан *Мишле»* [1].

---

[1] Радиограмма военного губернатора города Филиппвилля (Французская Африка, Алжир) в Главный штаб в Париж от 4 августа 1914 года.

«Открытое море.

9 час. 34 мин. Сигнальщиками доложено о появлении в вестовой части горизонта двух дымов.

9 час. 39 мин. Опознаны «Гебен» и «Бреслау». Сигнал с «Indomitable»: Строй пеленга, курс NO 75°. Ход 20 узлов.

9 час. 43 мин. «Гебен» ворочает влево. Сигнал с «Indomitable». Курс 234°. Скорость «Гебена» 18 узлов. Дистанция 47 кабельтовых.

10 час. 15 мин. «Гебен» положил руля вправо, избегая сближения. Пробили боевую тревогу. Разошлись контркурсами на дистанции 40 кабельтовых. Башни на «Гебене», как и у нас, в диаметральной плоскости по-походному. Салюта не было.

10 час. 21 мин. Сигнал с «Indomitable»: «Поворот все вдруг, 16 румбов. Развернуться в линию фронта на интервалах 15 кабельтовых, следуя за противником».

10 час. 33 мин. После поворота «Бреслау» полным ходом бросился на норд. Все время слышны его вызовы радиостанции в Кальяри. Он развил ход до 28 узлов. «Гебен» сильно дымит. Его ход 19 узлов. У нас шесть котлов в резерве.

10 час. 41 мин. Ввиду порчи передатчика на «Indomitable» приказано передать радио флагману о встрече, запросив инструкции о положении с войной и разрешении боя» [1].

«Открытое море.

14 час. 15 мин. Англичане продолжают держаться справа сзади. По приказанию адмирала ход увеличен до двадцати двух узлов. В топках жгут дерево и доски. Англичане легко держат ход.

14 час. 45 мин. Англичане начинают отставать.

15 час. 30 мин. Англичане скрылись из видимости, кроме легкого крейсера «Dublin» [2].

«4 августа 1914 года.

На рассвете у африканского берега мы разделились. «Бреслау» полным ходом ушел на Бону, мы на Филипп-

---

[1] Вахтенный журнал линейного крейсера «Indefatigable» от 4 августа 1914 года.

[2] Выписка из вахтенного журнала линейного крейсера «Гебен» от 4 августа 1914 года.

вилль. До порта по приказу адмирала шли под русским флагом, чтобы не быть опознанными торговыми судами. По выходе к Филиппвиллю подняли германский флаг и открыли огонь башенной артиллерией главного калибра. Впервые в жизни мне пришлось стрелять не по щиту, а по настоящей боевой цели. Это было восхитительное ощущение. Сердце билось как бешеное, и пальцы прыгали на рычагах приборов. Каждый залп отдавался во всем теле судорожной дрожью. Горло пересохло так, что я приказал рассыльному принести мне в боевую рубку бутылку «Виши», ибо потерял голос. Снаряды падали и рвались отлично. Французы, видимо, были застигнуты врасплох, так как только после одиннадцатого залпа с берега ответили гаубичные батареи на больших недолетах. Стрельбу вели на постоянном курсовом, на сближении. Дистанция последовательно от 59 до 40 кабельтовых. Выпущено 150 одиннадцатидюймовых. В порту ясно были видны три пожара. После пятнадцатого залпа отошли на норд-вест и, повернув, взяли курс на Мессину. Около восьми встретились в море с линейными крейсерами англичан. Разошлись на 40 кабельтовых, без салюта. Черт бы побрал Англию, она ведет себя, как панельная шлюха, выжидая, кто больше даст за ее гнилое мясо. Мне неимоверно хотелось влепить парочку залпов в эти напыщенные, как британская леди, корабли. После расхождения адмирал Сушон приказал «Бреслау» уходить на север, а «Гебену» дать максимальный ход. Наш славный корабль старался изо всех сил и дымил, как самовар, но не мог натянуть больше двадцати одного с половиной узла. Англичане легко держались за нами и, вероятно, без особых усилий могли набавить еще узла три. Если эта старая островная кокотка объявит нам войну, наша участь будет печальна, но все же мы постараемся перед смертью заставить хоть один их крейсер наглотаться соленой воды. Идя за нами, англичане вызывали на помощь другие корабли, вследствие чего кольцо все время смыкалось. Неожиданно, около 15 часов, англичане вдруг начали отставать, что показалось мне чрезвычайно странным, принимая во внимание легкость, с которой они держались на наших плечах. Не могу подумать, чтоб у них так быстро скисли механизмы. Скорее это хитрость или трусость. Только «Dublin» еще держался на горизонте до 21 часа, после чего и он исчез. Мы вздохнули свободно и наконец могли отпустить от

орудий изнемогшую команду, простоявшую на страшном зное девять часов. Один комендор скончался в башне от паралича сердца»[1].

Мятой и имбирем
Пахнет весенний луг.
В воздухе золотом
Носится майский жук.
Мэджи! Веселый май —
Наша пора любви.
Ручки свои мне дай,
Милым меня зови!

Это опять улыбается улетевшая юность. Это лужайка в закатном солнце. Мэджи стоит на скамейке в легком платьице. Она отмахивается руками, она хохочет и кричит: «Нет, нет! Чур, тут не трогать! Скамья — это мое «табу», Бэрклей!» Но Мэджи такая легонькая, ее совсем не трудно снять со скамьи, поставить на траву и поцеловать в детские припухлые губы с солоноватым привкусом.

Ручки свои мне дай,
Милым меня зови!

Какая нежная, трогательная старинная песенка! Мы умели петь в доброй старой Англии. А теперь песни стали грубыми и нескромными, а музыка — сплошные барабаны. Тук... тук... тук...

Чья это щучья морда с выпяченными зубами просовывается сквозь зеленый плюш газона? Брр! Какая мерзость! Подите прочь, сударыня!

Сэр Бэрклей Мильн открывает глаза. Они еще размягчены пережитой памятью молодого счастья. Но щучья морда продолжает кривляться из полированной рамки. Кто это? Да! Ведь это последний портрет Мэджи, присланный в прошлом году из Англии с приказом: повесить над койкой. Господи! Неужели у этой старой крысы были когда-нибудь стройные девичьи ножки и губы имели солоноватый привкус счастья?

Адмирал приподнялся на койке, морщась.

Тук... тук... тук... Это не музыка. Это стучит вестовой.

— Да! Слышу... Который час, вестовой?

---

[1] Страница из дневника старшего артиллериста линейного крейсера «Гебен» капитана второго ранга Теодора фон Шт...

Но вместо вестового из-за двери неожиданно слышен голос Митфорда.

— Это я, сэр... Десять пятнадцать. Есть две радиограммы, сэр. Одна от командира «Indomitable». Вторая — экстренная — из Адмиралтейства.

Адмирал спешно натянул брюки и пижаму.

— Войдите, Митфорд.

Кивнув флаг-капитану, адмирал вытер лицо пушистым полотенцем, смоченным в лавандовой воде. Мельком взглянул в зеркало. Лицо было румяное, почти без морщин. Во всяком случае, он больше походил на молодого Бэрклея, чем леди Мильн на юную Мэджи. Черт возьми, какой непрочный товар — женщины!

Он пробежал радио «Indomitable», сладко щурясь.

— Так... Отлично! Вцепились и пусть держатся. Объявление войны последует, вероятно, не позже полудня, и мы утопим наконец эту бронированную проказу. А что во второй?

Митфорд молча подал бланк. Адмирал высоко поднял левую бровь и сверкнул глазом на флаг-капитана.

— Почему не в расшифрованном виде?

— Прошу прощения, сэр. Видимо, телеграмма чрезвычайно важного и секретного характера. Она зашифрована вашим личным флагманским шифром.

— Что? — Адмирал попятился.

Личные флагманские шифры существовали, это было ему известно. В сейфе его салона лежал пакет с ключом этого шифра. Но за долголетнее флагманство на разных соединениях он никогда не пользовался этим загадочным шифром и никогда не слыхал, чтоб им пользовались другие флагманы. По всей видимости, действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. Адмирал взял бланк. Вены на его высохшей кисти надулись темными валиками.

— Ступайте, Митфорд. Я позову вас, когда разберу это... эту... — Флагман запутался в определяющем «это» термине.

Он расправил бланк на доске стола. Аккуратным частокольчиком бежали цифры:

1479, 9335, 1021, 8815, 3124, 4545, 7126, 7298, 1 90° OST. 7179, 5547, 1793, 3561, 5711, Трубридж, 9297, 0516, 9112, Форейн Оффис, 1214, 3299, 1875, 9357, 1541, Тюркей, 1977, 7454, 1127, 9889, 1716, 2444, 1251, 5190, 0041, 5562, 6084...

Щелкнув замком, сэр Бэрклей Мильн открыл сейф и вынул пакет с ключом. Сухо прошуршав, разорвался подклеенный батистом бристоль, осыпав сухую кровь сургуча. Адмирал вынул таблицу ключа и сел за стол. Пальцы его медленно водили карандашом, седая голова гнулась над бумагой, а плечи подымались углами, по мере того как из-под серого жальца графита вытекали слова. Карандаш сломался. Адмирал нервно швырнул его и схватил другой.

Когда последнее слово легло на бумагу, адмирал тяжело поднялся, оперся на стол, поглядел вокруг и, оттолкнувшись, неверными шагами подошел к зеркалу. Несколько секунд он смотрел в стекло, не узнавая себя. Лицо у него стало зеленовато-землистым, призрачным. Потом долго накоплявшаяся у сердца медленная старческая кровь хлынула в щеки, залив их мутно-багровым цветом. Адмирал отшатнулся от зеркала, отошел на середину салона и там медленно поковырял носком туфли ворс ковра. Смотря на ковровый узор, произнес сдавленным хрипом:

— Это безумие! Чудовищно!

Он оглянулся, как будто испугавшись своего голоса. Нагнулся над текстом и еще раз беззвучно прочел его, шевеля увядшими губами. Потом вздохнул и зажег свечу. Взял со стола запись и уже уверенными пальцами поднес к огню. Забегали синие дымные змейки. Бумага скорежилась, лопнула, пошла вихрастыми черными клочьями. Адмирал аккуратно собрал их, бросил в чашку умывальника и открыл кран. Блестящая пленка воды, сбежав по голубому фаянсу, смыла и унесла пепел. Адмирал отошел от умывальника и нажал кнопку одной из пяти звонковых груш, свисавших с люстры. В дверь втиснулся вестовой.

— Капитана Митфорда!

— Есть, сэр! Капитана Митфорда!

Вестовой лихо повернулся вокруг оси и вылетел.

Флагман дважды прошелся из угла в угол, остановился посреди каюты и, бережно поднеся руки к голове, как будто она была стеклянная и он боялся разбить ее, сжал пальцами скулы. Опустил руки и быстро подошел к столу. Карандаш снова зачиркал по бумаге. Заслышав отворяющуюся дверь, адмирал, не обернувшись, бросил придавленным, удивившим флаг-капитана голосом:

— Минутку, Митфорд! Сейчас же сдадите это связисту.

5

Командир «Indomitable» стоял у узкой щели боевой рубки, уткнувшись лбом в окуляры стереотрубы. Рога трубы медленно ползли вбок, следуя склонению низкого, закутанного дымом силуэта на лиловой черте горизонта. Рядом с командиром, тоскуя и нервничая, топтался старший артиллерист корабля.

— Ход у него все время падает... Черт! Неужели мы так и не дождемся известия о начале военных действий? Противно чувствовать себя лисой, которой запрещено рвать курицу.

Он нагнулся к переговорной трубке.

— На дальномере!.. Дать дистанцию до противника!

— Шестьдесят три, пять,— глухо заурчало из трубы.

— Вот видите, опять нагоняем. Нужно оттянуть. Я хочу расчехвостить его с девяноста пяти кабельтовых на предельной дальности его артиллерии. Он не сможет даже поцарапать нас.

Хлопнула броневая дверь. Запыхавшийся рассыльный подал командиру листок.

— Из радиорубки, сэр. От адмирала.

Командир выхватил листок. Он и артиллерист взглянули друг на друга жадными, настороженными глазами, и артиллерист нажал кнопку. Ток ринулся в башни и казематы, призывая к вниманию.

— Ну? — спросил артиллерист, заметив нервную спазму мускула на щеке командира.

— Ничего не понимаю,— командир протянул радиограмму,— читайте сами.

Артиллерист поднес листок к щели рубки.

«Командиру «Indomitable». Ввиду неясности до сего времени наших отношений с Германией предписываю: преследование адмирала Сушона прекратить. Но, дабы ввести немцев в заблуждение о нашей способности держать ход, что считаю важным для возможных будущих операций, преследование прекращайте не сразу, а постепенным уменьшением количества оборотов, чтобы у Сушона создалось впечатление медленного отставания преследующего. По выходе из видимости противника ворочать на W и держаться, крейсируя на траверзе Бизерты, наблюдая за путями на Гибралтар.

Мильн».

Артиллерист вскинул светлые глаза на командира.

— Что за белиберда? Вы понимаете что-нибудь?

— Не больше, чем вы.

— Неслыханный вздор! Каким образом Сушон может поверить в такую небылицу, что мы отстаем из-за невозможности держать ход, после того как в течение семи часов он убеждался в обратном и видел, что, не вводя в действие всех котлов, мы обжимаем его, как хотим? Ведь, прости господи, мы же имеем дело с отличным моряком, а не с учительницей школы для раскаявшихся девок. Кого может ввести в заблуждение такой лошадиный анекдот? Тут что-то неладно! Спятил старик, что ли?

— Тише, Викли,— вполголоса сказал командир,— не забывайте, что здесь сигнальщики. Я обязан заботиться о том, чтобы их мнения об умственных способностях флагмана не совпадали с вашими, иначе они начнут делать ненужные умозаключения обо всех нас, а это поведет ко многим неприятностям.

Командир снял телефонную трубку.

— Старшего механика! Это вы, Холден? Потрудитесь через пять минут начать сбавлять обороты. Да! Я, кажется, говорю по-английски — сбавлять обороты. На десять оборотов меньше через каждые пять минут. Что? Вы слышали приказание? Ну и хватит!

— Хорошо! — Артиллерист сжал кулаки, не отрывая завистливого взгляда от дымной проекции немецкого крейсера.— Я не возражаю против всякой там высокой стратегической кулинарии, которой заняты наверху. Но скажите мне, ради какого вельзевула мы должны ворочать на W, когда детям ясно, что Сушон идет на O, в Мессину, и возвращаться нам в лапы ему не придет в голову, если его голова не в таком же состоянии, как у наших Ансонов.

Командир покусал черенок трубки, высосал из него плотное облако дыма и раздумчиво заметил:

— Я не имею права критиковать старших, но мне думается, что на этот раз там происходит крупная стратегическая ошибка. Это все злосчастный принцип сосредоточения оперативного руководства на берегу. Флот плавает в море, на кораблях сидят флагманы, а боевые приказы даются из лондонской канцелярии. Луи Баттенберг ужасный диктатор и на полногтя не желает поступиться своим адмиралтейским абсолютизмом. Он исходит из истины, что корабли слишком дорогое имущество для боя. Это психология фабриканта фарфоровых статуэток, а не флотоводца.

Я подозреваю, что, если даже мы и вступим в войну, наши морские операции будут заключаться в моральном давлении на противника списками эскадр и личного состава, без применения их в бою. «Fleet in being» — вот принцип Луи Баттенберга, Фишера и всей нашей морской стратегии.

— Дьявол унес бы их вместе с этой стратегией! — буркнул артиллерист.— У меня пушки, и если во время войны эти пушки будут стрелять тоже только морально, мне остается повеситься на гафеле взамен британского флага.— Он повернулся к артиллерийским кондукторам и рявкнул в бешенстве: — Накрыть приборы чехлами! По башням отбой!

«Indomitable» замедлял ход. Стремительный гул винтов, ослабевая, переходил в замедленное дрожание.

Далекий «Гебен» скрывался за горизонтом. Над ним были видны теперь только верхние башни, мостики, широко расставленные трубы и мачты.

6

«Warrior» и «Gloucester» встретились в море, у входа в Отрантский пролив. С «Warrior», застопорившего машины, просемафорили на «Gloucester»: «По приказанию флагмана примите штрафованного матроса».

Море дышало крупной и неровной зыбью. Для Джекоба Доббеля сочли ненужным посылать крупную посуду — спустили четверку. Четверку метало, как волейбольный мяч, и ей едва удалось оторваться от крейсера. Высокий вал вскинул ее почти до уровня верхней палубы, и гребцы, напрягая все силы, предотвратили удар о выступ каземата. Следующая волна далеко откинула четверку от борта. К «Gloucester» она подошла, на треть наполненная водой. Над водой болтался поданный с выстрела штормтрап. Доббель, держа под мышкой сундучок с имуществом, судорожно цепляясь правой рукой за узлы, поднялся на борт, пробалансировав над густо-зеленым бурлящим кипятком. Вступив на палубу, он отряхнулся от воды, как выкупавшийся пес, и огляделся. Невдалеке торчал вахтенный офицер. Поставив сундучок на палубе, Доббель подошел к нему и подал пакет.

— Матрос Доббель... Прибыл на корабль его величества «Gloucester».

Вахтенный офицер оглядел Джекоба Доббеля с головы до ног с такой гримасой, как будто смотрел на омерзительно грязный и дурно пахнущий предмет, хотя Доббель был в одежде первого срока, только вымоченной морем.

— К старшему офицеру,— процедил вахтенный начальник сквозь зубы и отвернулся.

Джекоб поднял сундучок и отправился на поиски старшего офицера. Он прошел крестный путь под нахальными взглядами кондукторов и боцманов, ненавидяще-брезгливыми — офицеров и тайно сочувственными — матросов. Старший офицер ходил по юту и рыжими зрачками сеттера изучал медный диск кормового шпиля. Диск горел медью, как солнце, но старший офицер не доверял блеску, памятуя, что и на солнце могут быть пятна. Доббель повторил ритуал, от постановки на палубу сундучка до рапорта и вручения пакета. Старший офицер вскрыл пакет и, как собака, обнюхивал бумагу.

— Вы думаете, матрос Доббель, мне приятно возиться с такой вонючей падалью, как вы и вам подобные? — ласково спросил он, положив бумагу в карман.

Матрос Доббель промолчал. Да старший и не ждал ответа.

— Специальность?

— Дальномерный унтер-офицер, сэр!

— Что? Вы, кажется, продолжаете воображать себя унтер-офицером? Я вас отучу от чинов! Ваше счастье, что в Александрии нам пришлось оставить в госпитале сигнальщика, не то похлебали бы вы у меня горячей беды в кочегарке. Марш в кубрик, и запомните мою фамилию. Меня зовут Мак-Стайр, и я умею делать из плохих матросов пудинги, посыпать изюмом и запекать в топке. Слышите?

— Так точно, сэр!

— Вон!

Джекоб Доббель мгновенно исчез с палубы. Было похоже, что его вместе с сундучком смыла и унесла грузная волна, хлестнувшая в обрез юта и бросившая на палубу снежный ком пены, с веселым журчаньем ринувшейся в шпигаты.

7

«Моя верная Грета!

Я чувствую каждую минуту моим любящим сердцем, как ты тоскуешь обо мне. Я вижу, как ты подходишь к

своему туалету, смотришь на мою карточку и твои голубые глаза наполняются слезами. Осуши их, Грета! Германская женщина должна подражать в бодрости женщинам наших древних сказаний. Я еще жив и здоров, хотя не знаю, что будет со мной через несколько часов. Сейчас мы догружаем последнюю тонну угля в Мессине. Итальянские власти изо всех сил старались помешать этому (хорошего союзника имел наш обожаемый кайзер в этих макаронниках!), но благодаря заранее заготовленным транспортам и содействию агента господина Стиннеса, отдавшего нам уголь, закупленный англичанами, мы снабдились на большой поход. Адмирал Сушон — величайший герой. На требование итальянского коменданта выйти из порта по истечении двадцатичетырехчасового срока он ответил этому надутому олуху, что считает срок не с момента прихода в порт, а с момента выдачи морским министром разрешения на погрузку и что двадцатичетырехчасовой срок не вытекает из норм международного права, а является частной точкой зрения англичан, для культурных наций необязательной. Итальянец съел эту пилюлю с кислой рожей. Адмирал решил прорываться на Константинополь. Адмирал, как настоящий германец, выбрал самый опасный путь — в Стамбул. Он сказал офицерам: «Лишь бы нам, господа, добраться до Константинополя, а там я ручаюсь, что под жерлами наших пушек Высокая Порта будет маршировать под немецкие марши». Через час мы покидаем Мессину. Если только нам удастся прорваться, это будет гениально. Но, по правде сказать, я мало верю в успех нашего геройского, но рискованного предприятия. Англичане повсюду на нашем пути. По донесениям агентуры, сегодня утром видели «Gloucester» у входа в Мессинский пролив с юга. Очевидно, он стережет наш выход. Линейные крейсера хотя и отстали от нас вчера, но, вероятно, также находятся поблизости и готовы обрушить удар. Мы слишком ценная добыча, и британцы не так глупы, чтобы ею не воспользоваться. Им выгодно разгромить нас и произвести во всем мире огромный моральный эффект не в нашу пользу. Поэтому мы готовимся к великому подвигу и к славной гибели во славу нашего отечества и кайзера. Я крепко обнимаю тебя, Грета, и прошу поцеловать нашу невинную малютку Минну. Как бы я хотел еще раз ее увидеть! Если меня не станет, ты расскажешь ей, что ее отец умер за отечество, с именем бога и императора на устах. Прощай, Грета!

Эвон.

P. S. Все же, на случай благополучного исхода нашего предприятия, прошу тебя сейчас же по получении письма выслать в адрес нашего посольства в Константинополе три дюжины отложных воротничков моего фасона (ты знаешь, какого), а также голубой гарусный коврик под ноги, который ты вышивала перед нашей свадьбой. С наступлением холодного времени он мне пригодится» [1].

«ЗАВЕЩАНИЕ

Августа 5-го дня 1914 года. Германского военного флота линейный крейсер «Гебен».

Находясь в здравом уме и твердой памяти, я, минный механик линейного крейсера «Гебен», капитан-лейтенант Рудольф фон Денке, завещаю моей жене Шарлотте фон Денке и моему сыну Вольфу Эйтелю все мое имущество, выражающееся в восьмидесяти двух гектарах земли с садом и усадьбой «Розенкрейцер», близ Веймара, принадлежащее мне по праву наследования и закрепленное соответствующими документами у нотариуса Гашке в Веймаре, а также состоящее в обстановке моей квартиры в Веймаре, Лессингштрассе, 111/7. В случае выхода моей жены замуж до совершеннолетия сына, распоряжение имуществом в пользу моего сына переходит к моему брату, подполковнику шестого гусарского его величества короля прусского полка Вильфриду фон Денке.

Капитан-лейтенант *Рудольф фон Денке.*

Свидетели: Корабельный пастор *Иероним Шванц.*

Имп. и корол. генер. консул в Мессине советник

Альберт Лосс».

«Луиза!

Опять ты будешь ругаться, что письмо в свинском виде, но, честное слово, я не хочу оскорблять твою аккуратность. Я просто грязен, как сто свиней, и не имею времени отмыться. Мы целые сутки грузили уголь, и эта каторжная погрузка вымотала из меня все кишки.

---

[1] Письмо штурмана линейного крейсера «Гебен» Эгона Пф... жене от 5 августа 1914 года, переданное в Германию через Швейцарию, с дипломатическими вализами германского посольства в Италии, как и следующее завещание.

Наш сумасшедший адмирал решил переть напролом к туркам. Конечно, по дороге нас слопают англичане, и за адмиральское геройство, как и всегда, мы поплатимся нашими матросскими шкурами. Хорошо, что в Средиземном море нет крокодилов, и я не доставлю такой гадине удовольствия полакомиться рагу из электрика Баумана.

Если я действительно сдохну, тебе будет трудно, я знаю, но посоветовать что-либо утешительное не могу. Пожалуй, выходи тогда замуж за Гельмута. Он честный и непьющий парень и социал-демократ. К тому же хороший слесарь. По правде сказать, я предпочел бы, чтобы ты оставалась моей женой, уж очень ты ладная баба, но я понимаю, что женщине в двадцать шесть лет хранить верность скелету, да еще плавающему в море, трудно и скучно. Продай какому-нибудь идиоту-коллекционеру из филистеров шелковые ширмы, которые я привез из Китая. Говорят, дураки платят за них хорошие деньги, и Гельмут сможет взять тебя с приданым. Я шучу, а на сердце скверно, ведь я люблю тебя, женка. Черт бы подрал бога, кайзера и адмиралов с их собачьей грызней и этой проклятой войной! Пусть бы сворачивали скулы друг другу, а нас, матросов, оставили бы в покое.

Кончаю, нужно сдавать письмо. Вместо подписи отштемпелевываю тебе на память мой большой палец, вымазанный кардифом. Вот — полюбуйся (отпечаток пальца)» [1].

8

«Командующему силами Средиземного моря адмиралу Мильну. Командующему отрядом броненосных крейсеров контр-адмиралу Трубриджу. На траверзе Таормины. 6 час. 10 мин. 6 августа 1914 г. Встретил «Гебена», «Бреслау», выходящих из Мессинского пролива. Мое место: Ш. 38° 45′, Д. 15° 33′. Пропустив противника с левого борта вперед, на дистанции девяносто кабельтовых, следую за ним. Жду приказаний и присылки поддержки невозможностью

[1] Письмо электрика Баумана с линейного крейсера «Гебен». Передано, чтобы избежать цензуры, матросу немецкого угольщика «Грета Мейер». Вручено адресатке лишь через три недели, когда мобилизованный экипаж «Греты Мейер» прибыл в Германию через Швейцарию.

самостоятельно вступить в бой. Прошу сообщить, объявлена ли война, могу ли открывать огонь случае сближения немцами дистанцию боя?

Келли» [1]

«Командующему силами Средиземного моря. На борту «Defence». Отрантский пролив. 6 час. 30 мин. 6 августа 1914 г. Доношу, что в 6 час. 10 мин. принято радио Адмиралтейства об объявлении нами войны Австрии. Ввиду этого прошу директив дальнейшей дислокации. Полагаю необходимым оставаться проливе, считаясь возможностью выхода австрийских сил из Полы навстречу «Гебену». Ожидании ваших приказаний прекратил движение к югу, держусь на месте.

Трубридж» [2]

«Лондон. Адмиралтейство. Адмирал Трубридж срочно донес мне о получении радио, извещающего об объявлении нами войны Австрии. Ввиду неприятия этого радио мною прошу подтверждения и разъяснения положения, так как случае военных действий с Австрией необходимо держать отряд Трубриджа в северном секторе Адриатики для наблюдения за австрийцами и удержания их от намерения выйти на помощь Сушону.

Мильн».

«Война объявлена. Продолжайте держаться за противником, не вступая в бой, вне пределов досягаемости. Дальнейшие директивы получите.

Мильн» [3]

«На борту «Inflexible». 7 час. 09 мин. 6 августа 1914 г. Командующему броненосным отрядом, контр-адмиралу Трубриджу. Нахожусь линейными крейсерами, миноносцами тридцати пяти милях севернее Маритимо. Связи запрещением Адмиралтейства пользоваться итальянскими территориальными вода-

---

[1] Радиограмма командира легкого крейсера «Gloucester» коммэндера Келли.

[2] Радиограмма командующего броненосным отрядом контр-адмирала Трубриджа.

[3] Радиограмма адмирала Мильна командиру «Gloucester» коммэндеру Келли.

ми пройти Мессинским проливом не считаю возможным. Огибаю Сицилию с веста. Думаю пройти к весту до траверза Бизерты, имея основание полагать демонстративном движении Сушона Константинополю обман и возможный поворот Гибралтар. Объявлении войны Австрии мне неизвестно. Срочно запросил у Адмиралтейства директив и разъяснений. Наблюдайте за австрийцами, не исключен вариант прорыва Полу.

Мильн».

«На борту «Defence». 9 час. 18 мин. 6 августа 1914 г. Настаиваю разрешении спуститься к S. Со стороны австрийцев никаких признаков военных действий не замечаю, вследствие чего отход к северу полагаю излишним и вредным для операций против «Гебена». Окончательном решении Сушона следовать Дарданеллы нет никаких сомнений. «Gloucester» все время доносит курсе противника. Считаю возможным перехватить, принудить к бою ночью, когда силы моего отряда будут уравновешены немецкими в ночной обстановке возможностью сблизиться на дистанцию средней артиллерии. Замедление считаю тяжкой ответственностью перед родиной, королем.

Трубридж».

«Флагману Средиземного моря адмиралу сэру Бэрклею Мильну. 13 час. 10 мин. 6 августа 1914 г. Принятое Трубриджем радио Адмиралтейства о войне с Австрией передано ошибочно по небрежности чиновника канцелярии. Со стороны Австрии пока никакой угрозы нет. Отрядом Трубриджа распоряжайтесь по своему усмотрению соответствии имеющимися у вас общими директивами.

Первый морской лорд

Луи Баттенберг».

«На борту «Inflexible». 13 час. 29 мин. 6 августа 1914 г. Адмиралу Трубриджу (по неизвестным причинам задержана передачей, вручена адресату лишь в 3 час. 13 мин. 7 августа). Сообщение о войне с Австрией ошибка. Указание ответственности считаю бестактным, прошу помнить подчинении. Следовать на S разрешаю.

Мильн».

9

Командир «Gloucester» коммэндер Келли не принадлежал к числу заметных и пользующихся блестящей репутацией офицеров британского флота. Крейсер, которым он командовал, считался кораблем с неважными традициями. Келли был на счету оригинала, чудака и «немного не в себе». Это было ясно из того, что он всерьез занимался научной деятельностью и музыкой. У него была отличная исследовательская работа «О микроскопическом строении клетки красных водорослей Саргассова моря», доставившая ему премию всемирного микробиологического конгресса. И он выступал в публичных концертах как виолончелист. С точки зрения традиций флота, это был, конечно, странный офицер, и он вряд ли получил бы даже легкий крейсер, если бы не случайная протекция высокопоставленной дамы, оценившей музыкальное дарование оригинала.

Несмотря на незавидное реномэ, Келли держал корабль в образцовом порядке и даже, к крайнему неудовольствию подлинных моряков, взял в 1913 году королевский приз на крейсерских стрельбах. Но высокое начальство все же не доверяло необычному командиру, играющему на струнном инструменте, и назначило к нему старшим офицером, для порядка, лейтенанта Мак-Стайра, самого отъявленного бурбона флота.

Кроме того, на «Gloucester» было принято ссылать со всех кораблей провинившихся матросов, от которых открещивались порядочные командиры, и Келли безропотно принял эту обузу.

Отношения между командиром и старшим офицером были в высокой степени странными. Келли не замечал Мак-Стайра и никогда не разговаривал с ним иначе как по делам службы. Но Мак-Стайр не обижался и даже был доволен этим. Извилины его мозга были до отказа заполнены уставом корабельной службы, и ни одна посторонняя мысль уже не могла найти себе в них места.

Командир и старший офицер, стоя на противоположных крыльях ходового мостика, разглядывали в бинокли густеющую на востоке мглу, сквозь которую быстро бежали две, накрытые дымом, чуть заметные черточки — немецкие крейсера. Они начали теряться из виду в наступающей ночи, но за кормой «Gloucester» медленно выползала из морских глубей неправдоподобно огромная малиновая луна, обещавшая через час прекрасную види-

мость. Высокий обрывистый берег Греции уже высветлялся лунными бликами.

Коммэндер Келли смотрел на берег и соображал, что для удобства дальнейшего наблюдения, чтобы иметь противника освещенным луной, нужно будет зайти между берегом и немецкими кораблями. Он отнял бинокль от глаз и позвал:

— Лейтенант Мак-Стайр!

— Есть, сэр!

— Поворот влево шесть румбов. Заходить между берегом и немцами.

На лице старшего офицера отразилось удивление, смешанное с нерешительностью. Пришедшие в движение немногочисленные мозговые извилины привели ему на память сравнительные тактические данные немецких крейсеров и своего корабля. Приказание командира положить руля, идя на сближение, походило на самоубийство. Один удачный залп одиннадцатидюймовых башен немца, и «Gloucester» разлетится на атомы со старшим офицером, командой, командиром и его виолончелью. Вот что значит иметь командиром музыканта! Мак-Стайр почувствовал неприятный холодок и осмелился сказать:

— Разрешите доложить, сэр, что на этом курсе мы попадем под продольный залп «Гебена».

Коммэндер Келли дружелюбно улыбнулся своему помощнику, и эта улыбка совершенно не гармонировала с содержанием его ответа:

— Если вам не нравится подобный оборот, Мак-Стайр, я могу застопорить машины на две минуты, спустить двойку с суточным запасом консервов и дать вам возможность съехать на берег. До него не больше пятидесяти кабельтовых,— при энергичной гребле вам понадобится не больше двадцати часов, чтобы добраться. А я попрошу у адмирала другого старшего офицера.

Впервые Келли разговаривал со своим помощником в таком тоне. Мак-Стайр вытянулся, но попробовал обидеться.

— Я считал бы, сэр...

Но Келли не дал ему договорить:

— Когда у вас будет свободное время, возьмите в каюту счеты и считайте с утра до вечера в свое удовольствие. А сейчас — исполнять приказание, лейтенант Мак-Стайр! — И, к удивлению лейтенанта, у командира оказался железный голос.

Мак-Стайр бросился к переговорной трубке и машинному телеграфу. Людей на мостике мотнуло вправо, крейсер, кренясь, покатился влево, и за кормой вспенилась дымящаяся фосфором на сиренево-стальной воде крутая дуга поворота.

— Довести ход до двадцати двух узлов!

— Есть, сэр! — Мак-Стайр покосился на командира с опаской и злостью.

Медленно нагоняя, крейсер привел немцев на правый крамбол.

— Так держать! — бросил Келли.

— Есть так держать!

Теперь луна, уже побледневшая и засиявшая в полную силу, серебрила борты немецких кораблей и освещала облака их дыма.

— «Бреслау» ворочает влево! — крикнул сигнальщик.

Коммэндер Келли вгляделся. Четыре трубы немецкого крейсера, с кормы казавшиеся одной, теперь медленно разделялись. «Бреслау» склонялся совсем к берегу с явной целью отжать преследователя, загораживая ему путь.

— Сбавить ход до шестнадцати узлов. Привести за корму противника.

Лихорадочный озноб машин, сотрясавший мостик, утих. «Gloucester» понемногу отставал. Дым «Бреслау» стлался теперь под самым берегом, закрывая корабль, и определить его курс было невозможно.

— Ход двадцать узлов,— скомандовал Келли.

Снова «Gloucester» стал нагонять. И сигнальщики разом подали голос:

— «Бреслау» ворочает на пересечку.

— На дальномере! Дистанцию! Правый борт, приготовиться к открытию огня!

— Есть приготовиться к открытию огня.

— Дистанция двадцать кабельтовых.

В голубом лунном дыму крейсера пролетели друг мимо друга правыми бортами, совсем близко. Орудия правого борта ползли за движением «Бреслау», как огромные указательные пальцы, показывающие на врага. Расстояние опять увеличилось.

— Игра в кошки-мышки,— сказал вполголоса командир «Gloucester» и сладко зевнул.

— Я пойду к себе, Мак-Стайр. Запросите адмирала Трубриджа о его месте. Если у немцев появятся признаки храбрости, пошлите за мной рассыльного.

Коммэндер Келли спустился в походную командирскую рубку. На маленьком столике уютно урчал на синем пламени спирта серебряный кофейник. Китайский вентилятор-ханка гнал по рубке влажную свежесть. Было тихо и мирно, как дома. Коммэндер Келли выпил две чашки кофе, загасил спиртовку, выключил верхний свет и вынул из футляра, стоявшего в углу, виолончель. Смычок нежно припал к струнам, вызывая их на лирический разговор.

За дверью рубки, на мостике, сигнальщики, повернув головы, прислушивались к грустной мелодии «Элегии» Массне.

— Играет,— сказал один не то с удивлением, не то с сочувствием.

— Самое время,— отозвался другой,— как раз ярмарка, только балагана не хватает.

10

Ночь. Тишина. Ровный и нежный гул воды за бортом. Легкий посвист ветра в штангах и сигнальных фалах. Теплый блик лампочки в нактоузе главного компаса.

Молчаливые тени сигнальщиков и дальномерщиков неподвижно стоят на постах. Тихо ступая, шагает поперек мостика вахтенный начальник.

На правом крыле мостика, на ветерке, камышовое кресло. В нем белая тень. Голова склонилась на грудь, руки вытянуты на ручках кресла. Адмирал Мильн дремлет в прохладе.

Три линейных крейсера идут средним ходом от Мальты к Кефалонии, держа курс на Сан-Маура. Курс не понятен ни командирам крейсеров, ни офицерам. Если адмирал имеет намерение перехватить противника, давно пора ворочать на О и давать полный ход.

Вполголоса, приглушенные, но хлесткие, уже ползут в кают-компании дерзкие разговорчики насчет флагмана. Уже обмолвился кто-то, что «старая развалина потеряла от страха соображение» и что «Адмиралтейству пора бы открыть приют для впавших в детство флотоводцев». Офицеры раздосадованы. Ускользает возможность прекрасного дела, не связанного ни с каким риском. Три линейных крейсера с тринадцатидюймовыми орудиями могут разнести «Гебен» с дистанции, на которую немец бессилен

докинуть свои залпы. Операция сулит максимум достижений при минимуме неприятностей. Слава первой победы британского флота, приказы о производстве и наградах за доблестный бой, портреты участников в «Illustration». А старый растрепанный тюфяк спит на мостике и, кажется, совершенно равнодушен к морской славе и чести британских кораблей.

Рассыльный связист подымается на мостик и докладывает вахтенному начальнику о двух принятых радиограммах адмиралу.

Вахтенный начальник берет у рассыльного бланки и мгновение стоит в нерешительности возле сладко посапывающего во сне флагмана. Потом, решившись, осторожно трогает адмирала за плечо.

Мильн открывает глаза. Секунду они пусты и далеки от корабля, мостика и вахтенного. Но при взгляде на бланки наливаются лунной зеленью и жизнью.

— Свет!

Тонкий луч фотофора дрожит на бумаге.

Адмирал Трубридж запрашивает место флагмана и сообщает, что вследствие непонятного запоздания директивы о спуске к S он сомневается в возможности настигнуть «Гебен» до рассвета, пока темнота позволяет броненосным крейсерам состязаться с немцами.

Сэр Бэрклей Мильн подымает руку и смотрит на светящийся циферблат часов. Два часа десять минут. До рассвета три часа. Нервная судорога сводит подтянутый усталостью рот адмирала. Он кладет радиограмму в карман тужурки.

Вторая от Келли. Командир «Gloucester» доносит, что его место: Ш. 38°11′, Д. 18°02′. Преследование продолжается. Он просит сообщить место линейных крейсеров и предполагаемое место, где они могут нагнать «Gloucester».

— Ближе свет!

Адмирал пишет ответ. Вахтенный начальник читает из-под пальцев.

«Коммэндеру Келли. Опасаюсь за ограниченность ваших запасов топлива, полагаю ввиду этого дальнейшее преследование рискованным. При недостатке топлива разрешаю преследование прекратить, отходить на Занте, где догрузиться. Имею намерение настичь противника в Архипелаге, в районе Наксос-Денуза.

Мильн».

— Отправьте сейчас же, просите срочного ответа.

— Есть, сэр!

Вахтенный начальник берет бланк и мнется, не уходя. Осторожно спрашивает:

— А по первой радиограмме ответа не будет, сэр?

Адмирал молчит. После паузы раздраженно обрывает:

— Не будет! Идите!

Вахтенный начальник отходит, вызывает рассыльного. Адмирал снова задремал. Крейсера неторопливо пожирают водную пустыню, тяжело покачиваясь на длинной волне.

Через полчаса Мильна будят вторично. Получен ответ от коммэндера Келли.

— Читайте!

Вахтенный начальник наклоняется над листком:

— «Запаса топлива при экономическом ходе противника хватит вплотную до Дарданелл, вследствие чего преследование продолжаю. Сообщаю: на «Гебене», видимо, авария в машине, ход упал до четырнадцати узлов. Условии быстрого подхода линейных крейсеров считаю положение Сушона безнадежным.

Келли».

Вахтенный начальник выжидательно смотрит на флагмана и завидует Келли. Молодчага, хоть и музыкант! Висит на хвосте у немца — и только. Храбрый парень! И вдруг вздрагивает от неожиданности. Адмирал вырывает у него радиограмму, комкает, швыряет на палубу, и офицер слышит злобный хрип старика:

— Болван! Шарманщик!

Адмирал подымается, трет замлевшие колени и идет в рубку. Второй рассыльный появляется в отверстии трапа. Поднятое лицо его залито припадочной синевой наплывающего рассвета.

— От адмирала Трубриджа, сэр.

Вахтенный начальник догоняет адмирала у двери рубки. Радиограмма Трубриджа коротка и удручающа:

«Наступлением рассвета необнаружении противника прекратил преследование невозможностью вступления бой вверенного мне отряда дневное время».

Вахтенный начальник ждет новой вспышки адмиральской ярости. Скверная история! С каких пор английские адмиралы стали бояться дневного света? Но, к изумлению офицера, адмиральские морщины разглаживаются тихой

улыбкой, и вахтенный начальник слышит фразу, повергшую его в окончательное остолбенение:

— Слава богу, хоть с этим уладилось.

Адмирал скрывается в рубке. Вахтенный начальник стоит несколько секунд в столбняке, качает головой и отходит к компасу, у которого старший штурман берет пеленг на появившийся слева на горизонте парусный бриг. Вахтенный приближается вплотную к штурману, и оба офицера тихо разговаривают, опасливо оглядываясь на рубку.

11

За жалобным воплем горна возбуждающим стрекотом рассыпаются по кораблю колокола громкого боя. Стремглав несутся люди по коридорам и палубам, проваливаясь в люки и вылетая из них, как оперные дьяволы, в едком дыму, застилающем крейсер.

Коммэндер Келли смотрит сквозь прорезь боевой рубки, насвистывая «Элегию» Массне, и наблюдает движение противника. Уже около получаса, как «Бреслау» начал маневрировать, зигзагируя вдоль генерального курса, и сейчас полным ходом идет на пересечку «Gloucester». Высокий белый бурун кипит у его форштевня, штурман определяет его ход в двадцать семь узлов — максимум, что может дать немец. В бинокль Келли видит, как на корму немецкого крейсера бегут люди. Минута, и какие-то круглые предметы летят с кормового среза в кипящую струю винтов.

— Они сбрасывают мины на нашем пути,— говорит Мак-Стайр.

Стоящий у обвеса сигнальщик Доббель подымает руку к фуражке.

— Разрешите доложить, сэр! Это не мины. Они берут нас на пушку, бросая бочки.

Коммэндер Келли поворачивается и смотрит на сигнальщика.

— У вас прекрасное зрение, сигнальщик. Вы правы. Оставаться на курсе!

— Есть оставаться на курсе!

— Я вас не видал раньше,— продолжает Келли, приглядываясь к сигнальщику.— Вы недавно на корабле?

— Точно так, сэр! Я переведен позавчера с «Warrior» за служебный проступок.

— За служебный проступок? — Коммэндер Келли заинтересован. У сигнальщика хорошее, умное лицо рассудительного и дельного парня.— Что вы натворили?

— Я, сэр, неудачно выразился насчет войны,— отвечает сигнальщик, продолжая спокойно смотреть в глаза командиру.— Я сказал, сэр, что война совершенно не нужна матросам.

Коммэндер Келли едва заметно улыбается.

— Вот как... Я думаю, сигнальщик, что война не нужна офицерам так же, как и матросам. Я лично предпочитаю мир. Но когда начинается война, мы должны оставить наши частные мнения при себе и исполнять наш долг. Полагаю, что на моем корабле вы сможете служить именно так и станете отличным служакой.

— Постараюсь, сэр,— отвечает сигнальщик Доббель.— Хотя господин старший офицер и считает, что я вонючая падаль, которая ни на что не годится.

Командир переводит взгляд на старшего офицера. Коммэндер Келли не любит, когда матросов обзывают такими унизительными словами. Коммэндер Келли — ученый и музыкант, и вульгарная прямота дисциплинарных методов флота иногда претит его тонкой натуре. Под его взглядом рыжие зрачки сеттера мутнеют, опускаются, и лейтенант Мак-Стайр, багровея, отходит в угол рубки.

— «Бреслау» замедляет ход,— как бы не замечая сцены между старшим помощником и командиром, докладывает сигнальщик.

Немецкий крейсер явно отстает от своего мателота, стараясь этим сковать преследователя, отвлекая его внимание от линейного крейсера, продолжающего идти двадцатиузловым ходом.

Коммэндер Келли решается. Нужно вступать в бой, чтобы либо вынудить противника приблизиться под защиту «Гебена», либо заставить последнего повернуть на помощь младшему.

— Поднять стеньговые! Открыть огонь!

Старший артиллерист дает установку. Щелкают автоматы, орудия плавно идут по борту, задираясь кверху. Гнусавое блеянье ревунов обрывается в резком громе, дергающем мостик. Брызнув осколками, разлетается вдребезги колпак на лампе у штурманского столика.

Коммэндер Келли подносит бинокль к глазам. Из-за длинного и низкого корпуса «Бреслау» высокими белыми привидениями встают три пристрелочных всплеска.

— Перелет два кабельтова,— доносится в рубку с сигнального поста.

— Два меньше, два влево,— командует артиллерист, и одновременно с новым выплеском грома вдоль немецкого крейсера пробегает соломенная молния ответного залпа. Бой начинается.

Столбы воды от немецких недолетов обрушиваются на рубку. Это почти накрытие. После второго немецкого залпа «Gloucester» вздрагивает. С полубака в щель рубки ударяет душным и горячим газом, доносятся крики.

— Попадание в палубу, сэр, у первого орудия,— докладывает Мак-Стайр. Губы у него неудержимо прыгают, рыжие глаза с ненавистью смотрят в спину командира. Конечно, сейчас крышка! Нужно с ума сойти, чтобы ввязываться в бой на паршивой посудине с такими противниками.

— Недолет! Два накрытия! — бесстрастно хрипят с дальномера.

— Левый борт — поражение! Огонь по готовности!

Артиллерист сияет, как маленькая девочка, которой дали шоколадку. Пушки беспрерывно грохочут, сотрясая крейсер. Занятый «Бреслау», коммэндер Келли приказывает склониться на пять румбов влево, приводя противника на траверз, когда слышит взволнованный возглас сигнальщика Доббеля:

— «Гебен» ворочает на шестнадцать румбов!

Весь закутанный дымом, гигантский силуэт линейного крейсера, описав кривую, несется теперь на сближение с маленьким «Gloucester». Ослепительно вспыхивает залпом весь борт немца. Шесть огромных светло-зеленых столбов воды взвиваются кверху в двух кабельтовых от крейсера, и ветер доносит урчащий рев разрыва. Второй недолет — ближе, у самого борта. Взметенные падением снарядов фонтаны долго стоят в воздухе, не опадая. Мак-Стайр закрывает глаза, мысленно прощаясь с миром, в котором так приятно было жить. И сразу ободряется, услыхав команду Келли:

— Право руля! Самый полный!

«Пронесло!» — шумно вздохнув, думает Мак-Стайр. Командир уходит от обстрела. Орудия замолкают. Крейсер увеличил ход. Выпустив еще два залпа, «Гебен» уменьшает ход и поворачивает снова на восток. На горизонте из дымки вырезается острый обрыв мыса Матапан. «Gloucester» тоже начинает ложиться на старый курс преследова-

ния, когда на мостик вбегает мокрый и грязный старший механик.

— Авария, сэр! Лопнул центральный паропровод левой машины. Машина вышла из строя. Раньше как через шесть часов исправить не удастся.

«Gloucester» сразу теряет ход и уныло волочится по морю под одной машиной. Погоня дальше невозможна. Топнув ногой и жалобными глазами взглянув на уходящие немецкие корабли, коммэндер Келли упавшим голосом командует:

— Поворот шестнадцать румбов! Курс вест-норд-вест триста десять градусов! Горнист, дробь! Команде разойтись и обедать.

На стенных часах рубки тринадцать часов пятьдесят минут седьмого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года.

12

«Берлин. Императорская главная квартира. Счастлив донести вашему величеству, что суда Средиземноморской дивизии после беспримерного героического похода и боя с английским легким крейсером благополучно встали на рейде Стамбула, имея на стеньгах германские флаги. Население турецкой столицы оказало морякам наших доблестных судов исключительно восторженное внимание. На всю жизнь сохраню мой китель, испачканный руками турецкого населения, несшего на руках меня и моих офицеров от пристани до султанского сераля. Команда и офицеры вели себя выше всяких похвал и, забывая нечеловеческие труды и усталость, готовы в бой по первому слову вашего величества во славу Германии. Установлена теснейшая связь с Энвер-пашой и комитетом младотурецкой партии, мечтающей о счастье сражаться рядом с нами против общего врага.

Командующий Средиземноморской дивизией
контр-адмирал *Сушон*

Стамбул, 11 августа 1914 г.»[1]

«Константинополь. Адмиралу Сушону. Благодарю вас, офицеров, наших храбрых матросов и население Константинополя. С вашей помощью я покажу врагам,

[1] Телеграмма адмирала Сушона императору Вильгельму II.

что Германия — меч в руке бога. Поздравляю крестом «Pour le mérite» второй степени.

Вильгельм, император и король» [1].

«Командующему силами Средиземного моря. Общественное мнение взволновано слухами о прорыве «Гебена» в Дарданеллы. Не считаете ли возможным возобновить энергичное преследование и достичь уничтожения противника по возможности до прохода пролива.

Черчилль» [2].

«Грета!

Я поражен твоим невниманием. Мы пришли в Константинополь после легендарного похода, но, явившись в посольство, я не нашел воротничков, о которых просил тебя. Ты могла бы позаботиться отправить их в день получения моего письма восточным экспрессом, и я не был бы вынужден являться к султану на прием в воротничке сомнительной новизны. Немецкая женщина должна быть внимательной к мужу, борющемуся за великое будущее Германии. Запомни это и вышли воротнички немедленно. Мы проскочили необыкновенно удачно. Англичане, хвастающие на весь мир своим флотом, вели себя как последние дураки и дали нам возможность улизнуть из-под их носа. Мы им еще покажем. Только один английский крейсер вел себя храбро, и я могу отозваться о нем с уважением, хотя он и враг. Остальные показали себя идиотами и трусами. Нам придется, вероятно, провести здесь долгое время. Напоминаю тебе, Грета, о долге верности своему мужу, который обязателен для каждой немки, и думаю, что ты о нем помнишь. Будь здорова,— спешу на бал у визиря. Пожалуйста, не забудь о воротничках, чтобы мне не пришлось напоминать вторично, а я не люблю невнимания.

Эгон».

---

[1] Телеграмма Вильгельма II адмиралу Сушону.

[2] Поперек текста телеграммы рукой адмирала Мильна размашисто написано карандашом одно слово, позже тщательно замазанное штемпельной краской, не поддающееся прочтению. При исследовании фотоаналитическим путем удалось разобрать слово «скотина». Неизвестно, к кому оно относится. Вряд ли дисциплинированный адмирал мог так выразиться об отправителе телеграммы, морском министре Британии.

«Дорогой Отто!

Мы уже в Константинополе, как ты знаешь из газет. Нас здесь принимают, как героев «Илиады». Я видел таких гречанок, что пальцы оближешь. Страстные, как черные пантеры. Я очень прошу тебя прислать мне профилактические пилюли доктора Геймана. Кстати, я поручаю тебе присмотреть за Гретой. Женщины так легкомысленны. Обнимаю тебя и желаю здоровья.

Эгон» [1].

13

Полубак убирали после боя. С десяток матросов столпились у рваной дыры в верхней палубе, пробитой снарядом «Бреслау». Из нее еще курился дымок,— только кончили тушение пожара в канатной камере. Матросы, переговариваясь, заглядывали в глубину пробоины.

— Ловко рвануло!

— Я стоял у орудия подающим. Всех нас шарахнуло в сторону, как будто огромной подушкой двинуло. Диксона прямо влепило мордой в затвор, зубы вдрызг посыпались, а орудийный унтер-офицер Хидди вылетел за борт. Успел ухватиться за стоечный трос, висит на одной руке и орет. Выволокли его на палубу, а он все не выпускает троса и орет. Облили ведром воды — очухался.

— Хорошо, что только эта дырка. Могло быть и больше.

— Ну и немцу здорово попало. Я сам видел, как наши залпы рвались у него на кормовой надстройке.

— А Фред сыграл в ящик!

— Ему вывернуло все кишки и раскидало по палубе, как вьюшку троса.

— А ну! Какого черта здесь базар? Разойтись! Продолжать приборку!

Играя квадратными плечами, подходил коренастый боцман. Матросы нехотя стали расползаться.

— Теперь горазд орать, а во время боя в штаны клал,— сказал кто-то негромко, но внятно.

— Это еще что за скотина язык распускает! Это вы, Стокс?

---

[1] Письмо штурмана линейного крейсера «Гебен» Эгона Пф..., брату Отто Пф..., аптекарю в Берлине, Шарлоттенбург.

— Никак нет, боцман.

— Молчать! Я отлично знаю ваш паршивый козлиный тенор. Неделю без берега!

Сигнальщик Доббель пожал плечами.

— Не думается ли вам, боцман, что людям, которые только что играли в «здравствуй-прощай» со смертью, можно дать другое поощрение?

— Что? — спросил боцман, надуваясь.— Это у кого вы брали уроки такой философии, вы, штрафованная кобыла!

— К счастью, вы несомненный мерин, и я не буду иметь от вас потомства. Это были бы отвратительные ублюдки.

Матросы закатились смехом. Боцман надвинулся вплотную, подымая кулак, но, увидев в холодных зрачках Доббеля предостережение, сплюнул и отошел, гнусно выругавшись.

— Здорово вы его, Доббель! — Маленький рябой матрос оскалил плохие зубы.— Эта зверюга только и норовит сунуть кулачищем в челюсть. Если бы они все были такие же храбрые с немцами, Германия испугалась бы и не стала воевать.

Чернобровый красивый матрос положил руку на плечо Доббеля.

— Вы все время на мостике, Доббель, и вам слышнее разговоры начальства. В чем дело? Почему, имея отличные линейные крейсера, наши адмиралы не могли прислать нам хорошую поддержку, и наш злосчастный ночной горшок должен в одиночку драться с этим немецким чудовищем?

— Всех разговоров начальства я не знаю,— ответил Джекоб Доббель,— но кое-что я слышал, а кроме того, у меня есть голова на плечах. Я знаю, что Келли все время вызывал по радио поддержку и указывал адмиралу Мильну наш курс. Келли храбрый и порядочный парень. Но, однако, никто не пришел нам на помощь. Господа офицеры любят в мирное время втолковывать нам о счастье отдать жизнь за отечество. Но сами они готовы на это только до первого боевого выстрела. В самом деле, пожалуй, куда приятнее плавать в мирной обстановке, избегая опасной встречи с врагом. Гораздо удобнее предоставить ее одинокой маленькой посудине, от потопления которой никому не будет убытка. Можно лихо раздуть в донесении сказку о геройской гибели самоотверженного экипажа, который, плавая по воде, пел хором «God, save the King», причем даже ди-

сканты не фальшивили. Такими рассказиками хорошо баюкать маленьких детей и матросов. Нас сознательно оставили на растерзание «Гебену». Большие корабли начальство не хочет пускать в бой. Они слишком дорогие игрушки и существуют для страха, как пугала на огороде. Маленькие же лоханки будут тонуть во славу Англии. А наша на особом положении. Во-первых, треть экипажа штрафные, от которых неплохо вообще избавиться, во-вторых, платить половинную пенсию семьям мертвецов куда выгоднее, чем полный оклад живым...

Джекоб Доббель разгорячился. Внезапно жесткой ухваткой сжали сзади его локоть, и в ухо проурчал хриплый бас:

— Отлично. Вы повторите все это непосредственно старшему офицеру, вы, пророк Иеремия. Очевидно, с вас мало того урока, который вам задали на «Warrior». Из вас вышибут эти фокусы!

Узловатая топорная боцманская ручища безжалостно сминала локоть Доббеля. Сигнальщик обвел глазами матросов. Они втянули головы в плечи и оробело молчали. Доббель грустно и ласково усмехнулся:

— Ну что же, боцман! Пойдем на файв-о-клок к старшему. До свиданья, друзья! Думаю, что когда-нибудь мы опять встретимся. Привет!

Пять минут спустя часовые вели Джекоба Доббеля по нижнему коридору в карцер. На запястьях матроса тупо побрякивали наручники. Боцман, скалясь усмешкой на широкой морде оттенка копченой ветчины, шествовал сзади.

14

«Лондон, 15 августа 1914 года.
По личному составу.

НАГРАДЫ, ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

§ 17. Награждается: Командир легкого крейсера «Gloucester» коммэндер Келли Р.-Д. орденом Бани за проявленную исключительную настойчивость и доблесть в преследовании вдесятеро превосходящего силами противника и умелое проведение неравного боя, результатом которого были тяжелые повреждения германского крейсера «Бреслау».

§ 18. Назначается: Членом Комиссии по организации береговой обороны восточного побережья королевства коммэндер Келли Р.-Д. с производством в капитаны первого ранга».

«...Что касается Келли, то второго такого болвана и тупицы свет не создавал. Дурак своим усердием поставил нас в почти безвыходное положение, ибо при его упорстве в погоне становилось необъяснимым, как мы утеряли противника. Впрочем, чего можно было ожидать от морского офицера, который занимается микробиологией и игрой на виолончели. Я заткнул его в Комиссию по береговой обороне. Там он по крайней мере будет безвреден, ибо Комиссии нечего делать. А орден и производство подсластят ему пилюлю, хотя он до сих пор не может понять своей глупости, до такой степени неповоротливы его мозги» [1].

«Лондон. 17 августа 1914 года. Мы можем с уверенностью сказать: никогда за всю вековую и славную историю королевского флота он не переживал столь постыдного (shocking) и необъяснимого эпизода. В течение многих лет путем огромных жертв, тяжело ложившихся на бюджет империи и кошелек британца, мы создали мощный отряд флота в Средиземном море, противопоставляя свою твердую волю попыткам других держав претендовать на господство в этих водах. В частности, ни для кого не секрет, что три наших новейших линейных крейсера были переброшены на Мальту специально для усиления наших сил, основной и первейшей задачей которых было немедленное уничтожение германской Средиземноморской дивизии в случае войны. И в результате этой гигантской деятельности мощный отряд лучших кораблей допускает «Гебена» и «Бреслау» без всяких помех, если не считать короткого и безнадежного боя доблестного «Gloucester», уйти в Дарданеллы и тем нарушить наши коммуникации с союзной Россией. Мы вправе задать вопрос: с чем мы имеем

---

[1] Выписка из частного письма крупного государственного деятеля Великобритании, занимавшего руководящий пост в морском ведомстве в 1914 году. Письмо доставлено автору преподавательницей астрономии в женском колледже в Дублине мисс Лаурой П., членом Лиги друзей СССР, в ее приезд с группой туристов в Ленинград в 1932 году.

дело — с несчастной случайностью или с преступной халатностью и бездарностью морского командования? Приветствуя высокую награду, дарованную короной лихому командиру «Gloucester», мы от имени общественного мнения Великобритании выражаем твердую уверенность, что будет произведено тщательное расследование этого скандального случая и виновные понесут ответственность по всей строгости закона за упущение, легшее позорным пятном на имя британского моряка...» [1]

«Лондон. 23 августа. Совет лордов Адмиралтейства постановил предать суду, на основании доклада следственной комиссии, командующего отрядом броненосных крейсеров Средиземного моря контр-адмирала Трубриджа по обвинению в том, что по небрежению или ошибке он прекратил 7 августа погоню за уходившим неприятелем» [2].

«Я готов принять любой приговор, но моя совесть моряка спокойна. Я выполнил все, что надлежало выполнить в условиях, которые создались. Из предъявленных суду приказов, радиограмм, карт и штурманских прокладок курсов совершенно ясно, что мною были приняты все меры для встречи противника и принуждения его к бою. Старший флагман адмирал Мильн не мог своевременно передать мне директиву в ответ на мою просьбу о разрешении спуститься к югу из отведенного мне диспозицией района наблюдения. В этом тоже нет вины адмирала Мильна, и это опоздание директивы приходится отнести за счет непредвиденных и непреодолимых обстоятельств (force majeure), принимая во внимание малую проверенность радио как средства связи в боевой обстановке. После получения разрешения на преследование противника я немедленно пошел за «Gloucester», но, несмотря на предельный ход, не мог выйти на видимость противника до наступления дня, после чего дальнейшее преследование становилось бессмысленным, так как, имея только артиллерию среднего калибра, не превышающую семи дюймов, я не мог рассчитывать на какой-либо успех против линейного крейсера с одиннадцатидюймовой артиллерией. В лучшем случае мой

---

[1] «Морнинг ньюс» от 17 августа 1914 года. Передовая «Небывалый позор».

[2] «Таймс» от 23 августа 1914 года. Судебная хроника.

бой мог быть только демонстративным, как и бой «Gloucester». Без поддержки линейных крейсеров решительное столкновение обращалось в безумную затею, влекшую за собой напрасную гибель пяти броненосных крейсеров с четырьмя тысячами людей. Я прошу суд учесть эти обстоятельства при вынесении приговора и снять с меня позор, падающий на меня и на мое имя в потомстве...» [1]

«ПРИГОВОР ВОЕННО-МОРСКОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ БРИТАНСКОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА

...Постановили: во имя бога и короля,— младшего флагмана Средиземного моря, контр-адмирала британского королевского флота Трубриджа, 57 лет, семейного, под судом и следствием не бывшего, преданного суду по обвинению в том, что «по небрежению или ошибке он 7 августа 1914 года прекратил погоню за уходившим неприятелем»,— считать в означенном небрежении или ошибке невиновным и по суду оправданным...»

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ [2]

Лорд Керзон. Я уже имел возможность изложить уважаемым джентльменам точку зрения министерства.

Лорд Сельборн *(с места)*. Известно ли министру, что военно-морской суд вынес оправдательный приговор по делу адмирала Трубриджа?

Лорд Керзон *(иронически)*. Да, такие сведения достигли министерства и соответствуют действительности.

Лорд Сельборн. Следовательно, адмирал Трубридж не виновен? Кто же тогда несет ответственность за позорный скандал? Не старший ли флагман адмирал Мильн?

Лорд Керзон. Я полагаю, что адмирал Мильн выше подозрений.

Лорд Сельборн. Может быть, тогда это вина господа бога?

Лорд Керзон. Министерство не обращалось за разъяснениями к названному вами имени. *(Смех.)*

Лорд Сельборн. А известно ли министру, что общественное мнение Великобритании не удовлетворено подобной мягкостью в отношении преступных деяний?

---

[1] Стенограмма последнего слова контр-адмирала Трубриджа на суде.

[2] Стенограмма заседания палаты общин в Лондоне.

Лорд Керзон. Мне это неизвестно. Почтенный джентльмен должен знать, что общественное мнение Великобритании — это ее суд.

Лорд Сельборн. Следовательно, виновных в этом деле вообще не имеется!

Лорд Керзон наклоняется к скамье министров и несколько секунд разговаривает с Уинстоном Черчиллем.

Лорд Керзон. Адмиралы выполняли точные инструкции Адмиралтейства. Я сообщаю об этом почтенному джентльмену и дополняю, что вопрос этот не подлежит никакому пересмотру [1].

15

«Все же случай с уходом «Гебена» остается тенью в нашей морской истории. Но не следует забывать, что и Нельсон в 1805 году, озабоченный утверждением своего господства в Сицилии и в восточной части Средиземного моря, выпустил Вильнева на запад точно так же, как Сушон был выпущен на восток. Неудача с «Гебеном» усугублялась еще одним обстоятельством, зная о котором своевременно, мы могли бы исправить причиненный вред: германо-турецкий союз испытывал трения... Однако редко когда мудрое решение, подобное принятому адмиралом Сушоном, более соответствовало обстоятельствам и редко когда оно сопровождалось столь грандиозными последствиями» [2].

«Лондон, 22 апреля 1922 года.

Сэру Джулиэну Корбетту, члену Имперской морской исторической комиссии.

Досточтимый сэр Джулиэн!

С огромным и все возрастающим интересом прочел я первые главы вашего поистине колоссального и несравненного труда по истории наших морских операций во время большой войны.

---

[1] Стенограмма заседания палаты общин. Запрос лорда Сельборна по делу адмирала Трубриджа.

[2] Sir Julian S. Corbett. History of the Great War. Naval Operations, т. 1, гл. 3, изд. РИО Военно-Морских сил СССР. Перевод М. Л. Бертенсона, Ленинград, 1927.

Блеск вашего изложения, придающего самому сухому материалу увлекательность героического романа, в соединении с высокоавторитетной эрудицией ученого и знатока трактуемых вопросов ставят ваш труд неизмеримо выше всех вышедших до сего времени материалов о великой войне, повлекшей за собой столь сложные и бедственные для Европы и всего мира последствия.

Тем необходимее, кажется мне, отметить все пробелы и недочеты, которые, совершенно естественно, имеются и в вашем безупречном исследовании и вызваны исключительно его гигантским охватом, при котором самому изощренному уму затруднительно избежать неясностей и неточностей в изложении фактов.

Я заранее прошу у вас прощения, сэр, что прихожу вам на помощь в освещении одного из кардинальнейших событий войны только через два года по выходе вашей книги, почему и мои комплименты вам являются также запоздалыми, но, будучи связан словом по отношению к одному из участников события — сохранить его в полнейшей тайне до его смерти,— я не мог ранее нарушить данное обещание.

Обращаясь к вам, я считаю совершенно лишним предупреждать вас, что мое сообщение не предназначено ни для опубликования, ни даже для обсуждения в самом тесном кругу. Ваша безупречная и высокополезная отечеству деятельность моряка и историка дает мне право и основание изложить вам факты так, как они протекали в действительности, чтобы лично вы не были в заблуждении. Моя подпись, которую я прошу вас немедленно отрезать от письма и уничтожить по его прочтении, даст вам, полагаю, полную уверенность не только в правильности изложения событий, но и в добросовестности их трактовки. Я же, как всякий британский гражданин, имеющий честь, заинтересован в том, чтобы следы истины сохранились. Вполне возможно, что история событий в том виде, как они развертывались, никогда не сможет стать достоянием общественного интереса без вреда для Англии и ее морального престижа, но потомки, которые будут судить нас, должны иметь в своем распоряжении и оправдательный и обвинительный материалы.

Заканчивая этим мое предисловие, я выражаю уверенность, что вы, высокочтимый сэр Джулиэн, отнесетесь со всей серьезностью к предмету этого письма, сохранив его содержание между нами двумя.

Вы трактуете в своем труде инцидент с прорывом из Средиземного моря в Константинополь крейсеров адмирала Сушона, как роковую стратегическую ошибку, последовавшую в результате неясности положения первых дней мировой войны, излишней централизации управления флотом в руках Адмиралтейства, неправильной и неналаженной связи между флагманами и т. п. причин, принятых в установившейся официальной версии происшествий. Вы даже пытаетесь оправдать стратегический промах адмирала Мильна, аналогируя его с подобной внешне ошибкой Нельсона, упустившего в 1805 году французскую эскадру Вильнева из Средиземного моря в Атлантику. Но, во-первых, вы упускаете добавить, что Нельсон исправил свою ошибку, ибо, сознав, какие беды она может причинить, он с огромной энергией бросился на поиски Вильнева и, найдя, уничтожил его отряд. Во-вторых, покойный адмирал Мильн, по существу, не нуждается ни в каких оправданиях с оперативной точки зрения, ибо в ходе событий он был совершенно лишен свободы волеизъявления и выполнял чужие предначертания, намеченные злой и преступной волей людей, мнивших себя гениями мировой политики, на деле же оказавшихся самыми глупыми и подлыми персонажами нашей государственной истории. Вы, работая над вашей замечательной книгой, об этих обстоятельствах не были осведомлены.

Если бы покойный сэр Бэрклей Мильн мог руководствоваться собственными оперативными соображениями, «Гебен» и «Бреслау» покоились бы на дне Средиземного моря с первых дней августа 1914 года и карта мира была бы сейчас иной.

Но адмирал, память и талант которого я глубоко чту, не совершил никакой стратегической ошибки, так же как и его младший флагман — Трубридж, да здесь и не могло быть стратегической ошибки, ибо боевыми действиями руководило не военное искусство, а политика и дипломатия, притом самая бездарная и бесчестная политика людей, потерявших здравый смысл и прозрение грядущего.

В этом деле проявилась вся животная и эгоистическая тупость, свойственная закоснелым мозгам деятелей нашей внешней политики. Совершилось безответственное преступление, породившее в дальнейшем события, которые угрожают нам в будущем еще более тяжелыми катастрофами и, может быть (я молю судьбу отвратить от Англии

это испытание), гибелью и распадом нашей империи, судьбой Рима, некогда владевшего полумиром.

Как вы, наверное, знаете, незадолго до войны я был привлечен первым морским лордом к работе в его кабинете для выполнения чрезвычайно серьезных поручений по разработке оперативных планов. В первые дни войны, когда наше вступление в нее было еще под вопросом[1], поздно ночью на четвертое августа мне подали радиограмму адмирала Мильна, которую вы, конечно, имели в числе бывших в вашем распоряжении документов. В ней он запрашивал у Адмиралтейства недостающих в секретной инструкции директив на случай попытки прорыва Сушона в Константинополь, предлагая бросить линейные крейсера к мысу Матапан на пересечку единственного возможного при таком обороте курса противника. С точки зрения стратегии это было весьма разумное предложение, свидетельствующее о том, что флагман Средиземного моря был на высоте положения как флотоводец.

Я немедленно направился с радиограммой к первому лорду, будучи уверен, что просимое разрешение будет немедленно дано. Первый лорд, прочтя радиограмму, снял телефонную трубку, чтобы информировать одно высокопоставленное лицо о запросе адмирала. Из односторонних реплик первого лорда я мог заключить, что это лицо неожиданно запротестовало против просимого адмиралом разрешения и просило первого лорда ничего не предпринимать до его приезда.

Через час я был приглашен в кабинет первого лорда, где, кроме него, застал двух наших крупнейших политиков того времени, которых я, по понятным вам соображениям, буду обозначать в дальнейшем буквами Икс и Игрек, ибо подлинные их имена вам станут ясны из содержания разговора[2].

---

[1] Автор письма допускает здесь передержку. Вступление Англии в мировую войну никогда не стояло под вопросом. Затяжка объявления войны была сознательной провокацией Германии на такие шаги, после которых мирный исход был невозможен, так как в Англии опасались, что, если Германия будет уверена в наличии в числе ее противников Англии, она может отказаться от мысли начать войну.— *Примеч. автора.*

[2] Чрезвычайно затруднительно расшифровать эти имена. По некоторым признакам можно было бы полагать, что автор письма имеет в виду Черчилля и Керзона, но с полной уверенностью стать на эту точку зрения нельзя, ибо мы не можем базироваться только на предположениях.— *Примеч. автора.*

Первый морской лорд взволнованно ходил из угла в угол и при моем появлении сказал своим гостям:

— Вы сами не понимаете, что вы хотите сделать и к чему это может повести.

Дальнейший разговор я постараюсь передать с той стенографической четкостью, с какой он врезался в мою память.

X. Ваша светлость, вы великолепно рассуждаете, как военный я вас понимаю. Но есть и другие предпосылки, обязывающие к иному решению.

Y. Мы не для того вязали в течение долгого периода этот сложный, опасный и дорогостоящий узел, чтобы, разделавшись с угрозой БББ[1], навязать себе на голову еще более мрачные осложнения.

Первый морской лорд. Проблематические осложнения, сэр! Они могут быть и не быть. А мой план уничтожает в корне вековое недоверие между двумя странами. Ваш же отрезает нас от единственной коммуникации с мощным сухопутным союзником, у которого дешевый лес, хлеб, металл и огромные человеческие резервы, каких у нас нет. Мы и сейчас сидим как нищие и раздумываем — можно ли нам истратить во Франции одну дивизию или две? Это в то время, когда нужно бросить сотни дивизий. Германию нужно давить на материке.

X. Она и будет раздавлена на материке, но без таких жертв с нашей стороны.

Первый морской лорд *(раздраженно)*. Черт возьми! Страх перед привидениями?

Y. Если вы, ваша светлость, считаете Россию привидением... Вся наша политика за триста лет базировалась на немедленном отсекании русской загребущей лапы, как только она протягивалась к Босфору. Ясно же, что, кто владеет проливами, тот владеет Малой Азией. Мы пошли на эту войну, чтобы ликвидировать немецкие поползновения к Багдаду. А теперь вы хотите, чтобы в самом начале

---

[1] Б Б Б — сквозная железная дорога Берлин — Бизантиум (Константинополь) — Багдад, спроектированная немцами и грозившая английскому империализму прямым выходом германской экспансии к малоазиатским рынкам и зонам английского влияния, а также к Суэцкому каналу и Египту, что ставило под угрозу английское владычество в Египте, а отчасти и в Индии. Дорога эта, на которую немцы уже получили концессию у турок, была одной из основных причин вражды между империалистами Англии и Германии, поведшей к мировой войне.— *Примеч. автора.*

войны Россия уселась своим чугунным задом на Дарданеллы, предъявляя требование на них в качестве «фактически обладающего». Если это случится, кто помешает русским, заключив с Германией сепаратное соглашение за счет каких-нибудь прибалтийских провинций и части Польши, приносящей русскому правительству только неприятности, выйти из войны и бросить нас на произвол судьбы? Если она завладеет самостоятельно путями из Черного моря, мы не выбьем ее оттуда никакими усилиями. Мы же можем терпеть в качестве владельца проливов только больное и слабое государство, находящееся под нашим контролем. А Россия контролировать себя не позволит!

X. Конечно, ваша светлость! Пока проливы не у России, мы имеем козырь заставить ее быть верным союзником до конца, дразня проливами, как осла мешком сена, привязанным перед его мордой.

Первый морской лорд *(резко)*. У вас не вполне корректный язык для разговора о союзниках Британии, сэр!

X. *(смеясь)*. Каков союзник, таков и язык. Совершенно достаточно с нас того, что мы связались с ними.

Y. Я думаю, что это частный вопрос. Но наш друг вполне прав. Даже если после войны нам придется отдать проливы России, это нужно сделать так, чтобы до разрушения вселенной она чувствовала себя обязанной нам и кланялась в ноги за щедрый подарок, сделанный от доброго сердца. За него мы, конечно, вытребуем полный отказ от всякой активности в Афганистане и Персии. Мы возьмем концессии на бакинскую нефть. Нефть ведь нужна нам для флота, ваша светлость? Турбинные корабли не едят уже честного старого английского угля.

Первый морской лорд. Это выше моего понимания. На мой взгляд — это предательство.

Y. Слово, утерявшее свое значение в политике, ваша светлость! Один вопрос... Вы верите, что Германия будет побеждена?

Первый морской лорд. Иначе не стоило начинать войну.

Y. Тогда рассудите здраво. Пока не наступит развязка, корабли адмирала Суппона будут нашим полномочным патрулем по охране проливов от русских.

Первый морской лорд. Тогда я не понимаю, зачем вам нужно было реквизировать уже достроенные турецкие дредноуты? Разве турки, обладая сильным флотом, не мог-

ли уберечь проливы от русских, соблюдая нейтралитет? Зачем же передоверять дело смертельному врагу? Зачем закрывать себе самим пути снабжения?

Y. Турецкие дредноуты нужны нам самим, и вы, ваша светлость, знаете это лучше, чем кто-либо. Пропуская же в Дарданеллы немецкие корабли, мы тем самым ослабляем германский флот на главном театре и даем туркам, без ущерба для себя, не только хорошие корабли, но и блестящий личный состав. Турки, получив свои дредноуты, погубили бы их даже в бою с более слабым русским Черноморским флотом. Турецкий флот — это смешной нонсенс. Это анекдот! Кому, как не вам, знать донесения главы нашей морской миссии в Стамбуле адмирала Лимпуса. Он достаточно красочно описывает, как турки обращаются с кораблями. Им лень закрывать и открывать бесчисленное количество дверей и люков в непроницаемых переборках, и они снимают все двери и горловины и еще прорезают в переборках дыры для удобства сообщения. Вы с палубы можете попасть в бомбовый погреб, не открыв ни одной двери. Вы представляете себе встречу такого флота с русским, который после Цусимы научился прекрасно стрелять и маневрировать и привел в полный порядок материальную часть? Полчаса боя — и русские у Босфора. А отнять взятое с боя труднее, чем не дать непринадлежащее.

Первый морской лорд. Черт возьми! Я умываю руки. По-моему, это глупость.

X. Через неделю вы сознаете сами, что это единственный нормальный выход из положения. Не упрямьтесь, и продиктуйте директиву Мильну.

Первый морской лорд. Диктуйте сами. Моя голова не способна придумывать неджентльменские вещи.

Y. *(усмехнувшись)*. Ваша светлость! О, романтика девятнадцатого века! Политика есть политика, ваша светлость, и только она может определять в наши дни боевые операции. Время эффектных военных жестов ради жестов прошло... *(Обращаясь к X.)* Диктуйте, сэр!

Мне предложили сесть за пишущую машинку и продиктовали текст радиограммы, который я не забуду до гробовой доски. Я же и зашифровал ее потом флагманским шифром Мильна.

Вот она, от слова до слова:

«Правительство предлагает ни в коем случае не выводить линейные крейсера восточнее 19° восточной долготы. Имеются все данные за намерение адмирала Сушона идти

в Константинополь. По особым соображениям вы не должны препятствовать выполнению этого плана, обеспечив, однако, видимость случайной неудачи преследования.

Трубриджу предложите не покидать Отрантского пролива, тактическим оправданием какового распоряжения будет данная по ошибке радиограмма об объявлении войны Австрии. Форейн-Оффис считает присутствие германских судов в Турции гарантией и тормозом русских поползновений к десанту и захвату Босфора прежде времени. Поэтому принимайте бой с немцами только на направлениях Гибралтар — Пола, оставляя путь на восток свободным, ограничиваясь в этом направлении, как сказано, демонстрацией и показом флага. Текст шифра уничтожьте по прочтении».

— Подпишите,— сказал X., подвигая бумагу первому морскому лорду.

— Я поставлю мою подпись последней,— сказал первый лорд с болезненной усмешкой.— Я еще не научился подписывать фальшивые кредитные билеты.

Y. передернул плечами и сухо сказал:

— Как вам угодно, ваша светлость.

Я был тут же предупрежден о тайне и ответственности за нее, на что я, взволнованный и потрясенный, ответил лорду X. очень резко, что, служа во флоте его величества двенадцать лет, я не нуждаюсь в таких предупреждениях со стороны кого бы то ни было. Мне было приказано идти шифровать телеграмму.

Выходя, я слышал, как X. с циничным смешком сказал первому морскому лорду: «Ваша светлость, поздравляю вас с потерей невинности».

Теперь, после моего рассказа, я полагаю, вам стало ясным то, что так глухо и бегло изложено в вашем труде.

Нерешительность, сменившая первоначальную энергию адмирала Мильна, необъяснимые перерывы связи, «ошибочные» радиограммы, отказ от поддержки храброго, но совершенно не осведомленного о положении коммэндера Келли, который своим лихим преследованием, вися на плечах немцев, около полутора суток спутывал все карты, так как, имея его в погоне, нельзя было удовлетворительно объяснить неоказание ему помощи. К счастью для авторов этого безумного плана, Келли отстал, получив тяжелое повреждение в машине, помешавшее ему продолжать атаку. Но и так он сделал превосходящее его возможности дело, за что и был убран с флота на берег,— из опасения,

что такой не в меру храбрый и честный моряк может еще раз нарушить «государственные интересы».

Дальнейшее вам известно. Вы знаете, что скоро было осознано роковое значение этого преступного плана. Мы бросились исправлять сделанное и уложили в Дарданеллах семьдесят тысяч людей, цвет австралийского и новозеландского корпусов, и ряд кораблей, но, не добившись результата, ушли с позором, равного которому также не было в нашей истории. Предоставленная самой себе и отрезанная от нашего снабжения, Россия не выдержала и, распавшись, родила то страшное для нас явление, которое, невзирая ни на какие преграды, расползается по всему миру, захлестывая и нас и в первую очередь наши колонии. Почва Англии накаляется и колеблется.

И подумать только, что все эти катастрофы, все беды, обрушившиеся уже на мир и еще угрожающие ему, произведены на свет бесчестностью двух негодяев, двух самых грязных мошенников, каких знала Англия! Я смотрю на наше будущее с чрезвычайной тревогой, которую не пытаюсь даже скрывать [1].

Совсем на днях мне пришлось прочесть несколько русских газет, в которых помещены различные статьи мистера Ленина. Меня поразила в них одна фраза о непримиримых противоречиях, раздирающих мир капитализма. Мистер Ленин говорит, что у молодой русской республики есть одно обстоятельство, облегчающее ее борьбу с наступлением международной реакции. Он утверждает, что мы бессильны раздавить коммунизм не только потому, что боимся своего пролетариата, но и потому, что мы никогда не сможем договориться об общих действиях. Если отбросить резкие и неджентльменские выражения, свойственные полемическому стилю, в которых он именует нас международными бандитами, акулами мирового империализма, рыцарями мирового грабежа и т. д., то приходится с горечью

[1] Истерика автора письма и его филиппики против бесчестности британских политиков свидетельствуют, что, при хороших намерениях, ему совершенно чуждо подлинное понимание исторических процессов. Автор не способен уяснить себе, что беды, обрушившиеся на капиталистический мир, обязаны своим происхождением не двум негодяям, а всей системе капиталистического государства, в которой честных государственных деятелей вообще быть не может в силу присущей такому государству системы продажности и бесчестия во всех отраслях государственного аппарата. Автор, видимо, сознает уже неизбежность гибели своего класса, но еще не способен понять ее причины.— *Примеч. автора.*

признать, что под коркой этих неджентльменских ругательств скрыт вполне справедливый, жестокий приговор всему нашему общественному строю.

Не дай мы распасться императорской России, опоре династических идей и консерватизма, мы не стояли бы сейчас на краю пропасти, считая с тоской минуты, которые остались нам до падения в нее, и падения безвозвратного.

Эти мысли угнетают меня в одинокие вечера размышлений, и я не вижу никакого исхода, гарантирующего не только спасение, но хотя бы отсрочку конца.

Прошу вас, сэр, принять уверение в моем искреннем почтении.

P. S. Еще раз позволю себе рассчитывать на полную тайну нашей переписки, к которой побудило меня личное уважение к вам и желание осветить вам, как ученому, один из интереснейших политических моментов истории империи»[1].

16

«...Наши долгие и дружеские беседы также были приятны мне, и я очень рад, если моими рассказами о моем личном участии в эпопее «Гебена» и «Бреслау» я мог бы быть вам полезен. Но я думаю, что вы преувеличиваете значение моих сообщений. В конце концов, я рассказал вам несколько печальных происшествий моей биографии, дал беглую и неполную характеристику командира «Gloucester», коммэндера Келли, которого я тоже знал больше понаслышке, так как служить на «Gloucester» мне пришлось всего три дня, и, наконец, указал вам на некоторых лиц, могущих пролить свет на неясные детали этой мрачной истории великобританской «честности». Если все это вам пригодилось, дорогой кэмрад, тем приятнее мне. Но после вашего последнего посещения мне вдруг захотелось

---

[1] Автор этого письма к создателю истории английского флота во время мировой войны — лорду Корбетту — неизвестен. Подпись его, согласно его просьбе, отрезана Корбеттом от последнего листка. Нужно думать, что расшифровка имени автора будет чрезвычайно трудна, так как Корбетт ныне умер. В списках работников кабинета первого морского лорда нет фамилии, которую можно было бы заподозрить в авторстве. Видимо, работа, веденная автором в Адмиралтействе, велась им секретно и нештатно, в дополнение к другой должности на флоте.— *Примеч. автора.*

дополнить мою историю рассказом о том, как я попал в Советский Союз. Она не имеет отношения к вашей теме, но эта часть моей жизни так красочна с точки зрения приключений, что я решил записать ее. Если она не пригодится вам, передайте кому-нибудь другому.

Отсидев после «Gloucester» три с половиной года в морской каторжной тюрьме, я был освобожден по амнистии в ознаменование перемирия и направлен на крейсер «Кокрэн», шедший в Архангельск, как нам объявили, для помощи северному русскому правительству в его борьбе против банд разбойников и убийц, именующих себя большевиками. Я не имел тогда понятия о России и русских делах, но у меня не было и никакого желания защищать чье бы то ни было «законное» правительство, ибо я уже убедился на личном опыте, чего стоят все эти господа. В Архангельске мы занимались обстрелом мирных рыбачьих селений, в которых якобы сидели таинственные большевики. Спустя неделю меня списали с крейсера в особый карательный отряд, где, к моему изумлению, подвизался мой «старый друг» Мак-Стайр, ходивший уже в коммэндерах. Он тоже, казалось, был поражен и не слишком доволен таким подчиненным. Через два дня мы вышли в поход на какое-то село, которое взбунтовалось против русских офицеров, представлявших там правительство севера России, и выгнало их вон. Мы захватили село без сопротивления, подвергнув его предварительному кинжальному обстрелу из пулеметов по распоряжению Мак-Стайра, хотя по нас не было сделано ни одного выстрела.

Когда мы вошли в село, то увидели, что улицы были завалены трупами. Ни на одном из убитых мы не обнаружили оружия. Я вошел в одну из маленьких изб вместе с моим соседом по шеренге Джимом Бультоном. Стекла крошечного окна были выбиты пулями. У стола, склонясь головой на доски, сидела женщина, льняные волосы которой разметались по плечам. Из виска на стол стекала кровь, смешиваясь со сметаной, вылившейся из опрокинутого горшка. Мы с Джимом взглянули друг на друга. Я вспомнил Средиземное море. Как медленно действовали там наши адмиралы против немецких крейсеров, и какую быстроту мы развивали здесь, в расправе с безоружными крестьянами и женщинами! «Как вы думаете, Джим?» — спросил я. «Пожалуй, так же, как и вы, Джек»,— ответил он. Мы вышли из избы. Мак-Стайр распоряжался, согнав к деревянной церкви пятерых жалких людей в грязных полу-

шубках. «Это главные большевики,— сказал он с неподражаемо важной идиотской мордой,— мы сейчас расстреляем их». Он вытащил из кобуры маузер и стал размахивать им. Потом поглядел на нас и сказал: «Рядовые Бультон, Хавкинс, и вы, и вы,— тут он стал тыкать пальцем в людей,— зарядите винтовки и марш за мной. Вы тоже пойдете со мной, Доббель. Вам это будет полезно для прочистки мозга». Мы окружили бедняг, дрожавших от страха, и повели их в лес. Там, выбрав полянку, Мак-Стайр поставил их у дерева, а нам приказал выстроиться напротив. Когда он подал команду «на изготовку», я выступил из шеренги и спросил: «Разрешите узнать, сэр, за что, собственно, мы должны расстрелять этих людей и в каком уставе британскому солдату предписано заниматься такими делами?» Мак-Стайр позеленел и заорал на меня: «Молчать! Марш в строй!» Но я ответил, что не пойду в строй и не подниму винтовки, пока не получу точного ответа, и что другие тоже не хотят стрелять, пока не узнают, в чем дело. Тогда он снова полез за своим маузером. Но, знаете, эти пистолеты имеют иногда скверную привычку застревать в кобуре, а у меня винтовка была наготове и заряжена. Словом, вышло так, что я прочистил ему мозги пулей раньше, чем он успел прочистить мои. Тогда я посмотрел на наших ребят и на приговоренных. Они пучили на меня глаза. Я подошел к одному из русских, очень худому и болезненному человеку, и сказал ему по-английски: «Руку, дружище!» Он не понял слов, но понял жест. А пятью минутами позже мы все шли тайной тропкой в расположение партизанского отряда большевиков. Но остальные испугались и среди пути возвратились к отряду, и не в пору. Дураков расстреляли, как я узнал позднее.

Вот и вся моя история. Я остался навсегда в Советском Союзе. Я узнал толком, за что борются русские рабочие, и понял, что в начале войны я мало соображал и судил о политике, как глухой о соловьином пении. Компартия дала мне новую жизнь и новые мозги. Если вам понадобятся еще какие-нибудь сведения от меня, я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю. Я хорошо усвоил русский язык, меня учила жена, которая, как вы знаете, русская. Но литературу я мало читал, так как читать мне все же еще трудновато. Я ходил часто в театр и, между прочим, видел вашу пьесу «Разлом» о восстании русских матросов и много пережил хороших чувств. Меня очень интересует ваша работа, и я очень досадую, что не могу помочь вам достать

все подлинные документы, без которых, я думаю, вам будет трудно составить вашу повесть. Заходите, когда хотите, дорогой кэмрад Лавренев, я и жена всегда рады вас видеть.

С товарищеским приветом

Джекоб Доббель».

«Дорогой товарищ Доббель!

Вы чрезмерно скромничаете, называя свою помощь мне «незначительной». Она дала мне возможность узнать ряд бытовых деталей британского флота и взаимоотношений между его людьми. А ваш блестящий и полный добродушного юмора рассказ о коммэндере Келли дал исчерпывающую характеристику этого бедного неудачника флотской карьеры, излишняя и прямолинейная храбрость которого оказалась столь неудобной для руководителей извилистой британской политики.

Меня очень тронуло ваше волнение по поводу того, что мы не смогли добыть «подлинные» документы, относящиеся к моей повести. Но поверьте, я этим не слишком опечален. Для меня важно то, что, могущие быть опротестованными в хронологических и текстуальных деталях, мои «документы» никем не могут быть опровергнуты в их внутренней правде, в их общем соответствии действительности. Одно вполне историческое заявление Керзона в ответ на запрос лорда Сельборна, что британские адмиралы, пропустив Сушона в Дарданеллы, действовали согласно директивам Адмиралтейства, является прямым признанием существования предательского в отношении союзника заговора британской дипломатии.

Велика тайна, в которой рождается война, как говорил Ленин. Я попытался путем логического сопоставления известных всему миру событий приподнять краешек этой тайны над частным эпизодом морских операций,— эпизодом, повлекшим, однако, роковые последствия для всего плана капиталистической «военной забавы» тысяча девятьсот четырнадцатого года.

Этот эпизод — любопытная иллюстрация ленинской же мысли о невозможности прочного сговора в мире империалистических хищников, раздираемом противоречиями звериного эгоистического стремления к грабежу за счет других.

Этот мир обречен на гибель. Сознание гибели звучит даже в письме неизвестного автора к лорду Корбетту, пес-

симистически расценивающего будущее своего государства и своего класса. Это дает мне добрую надежду, что в недалеком будущем архивы капиталистического мира, хранящие огромный груз подлости, предательства и насилия, раскроют свои двери победившей революции, и мне удастся получить те подлинники документов, о недостатке которых вы жалеете. Тогда мы прочтем их вместе и вместе исправим неточности работы, в которой я, с большой признательностью, считаю вас моим другом-соавтором.

Борис Лавренев».

Севастополь,
24 июля 1934 г.

ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО

1

— Боцман! Развести людей по работам!

Лейтенант Максимов незаметно зевнул и, скучая, отвернулся от строя.

Осатаневшая утренняя комедия разводки на работы окончена. Можно часок соснуть. Кстати, после вчерашнего глаза сами слипаются.

Лейтенант, прищурясь, посмотрел на рейд. По воде, слепя, мечутся резвые серебряные блестки. За блестящей рябью, накаленный, желтый и плоский, как медная сковородка, дымится зноем Алжир. Грузным мертвым облаком висит над городом песчаная пыль.

Минареты главной мечети тонкими голубоватыми свечами оплывают в знойной синей одури.

За мечетью улочка, узкая, как горловина люка. Пропахшая жареным луком и гнусной пудрой. Трепаные ковры заменяют двери в ободранных домах. Между домами бродят шелудивые огрызающиеся псы.

Экзотика! Черт бы ее побрал! Ничего привлекательного в этих хваленых уледнаилях! Немытые татуированные девки, дрыгающие животами под омерзительную музыку. Бесчувственны, как снулые рыбы. Гельсингфорсские чухонки по сравнению с ними пылки, как Мессалина. Сволочи! Напрасно выбросил полтора фунта.

Лейтенант дернул плечом и шагнул к юту. Шаг отдался в висках колючей болью.

«Виски́ трещат от ви́ски»,— лейтенант усмехнулся собственному немудреному каламбуру.

— Разрешите обратиться, вашскородь?

Максимов остановился и повел головой вбок, начиная медленно удивляться.

Это еще что за новость? Через плечо лейтенант смотрел на вышедшего из строя матроса.

Матрос стоял, плотно прижимая руки к бедрам. Невысокий, круглолобый. Бескозырка чуть примята к левому уху. Нос в крупных веснушках. Под рабочим номером на брезенте блузы масляное пятно. Похоже на собачью голову с оттопыренным ухом.

Губы у матроса пухлые. Глаза бесцветны и немножко мутны. Идиотская морда!

Больше всего раздражают глаза. Что спрятано за этой мутью? Покорство или... Наверное, с такими же бесцветными глазами в прошлом году матросня подымала на штыки командира «Памяти Азова». Брр!..

— Ну? — спросил лейтенант, раздражаясь.

— Разрешите просить, вашскородь, ослобонить от работы. Третьи сутки, вашскородь, голову ломит,— мочи нет.

От упоминания о чужой головной боли у лейтенанта опять стрельнуло в висках. Он перевел взгляд с масляного пятна на груди матроса на его ноги. Босые ступни в жестких мозолях, ногти черны и обломаны.

Животное! Туда же с головной болью!

Лейтенант почувствовал себя оскорбленным тем, что это существо неизвестной, но явно низшей породы осмеливается страдать головной болью наравне с ним, исполняющим обязанности старшего офицера.

Вспылив, лейтенант рванул резко:

— Фамилия?

— Шуляк, вашскородь.

Максимов надвинулся на матроса и прямым коротким тычком ударил его в губы. Матросская голова мотнулась назад и снова выпрямилась, как на пружине.

— Стоишь как, мерзавец? Пятки вместе! Скотина!

Матрос сдвинул пятки и молчал. Глаза оставались бесцветными, только сеточка кровеносных сосудов на белках закровавилась — не то от гнева, не то от подступивших слез.

— Марш к врачу,— сказал лейтенант Максимов,— от врача явишься ко мне. Если соврал — три шкуры спущу.

Лейтенант отвернулся и окончательно пошел на ют, раскачиваясь на ходу.

— Корова! — уничтожающе процедил взводный унтер-офицер Дорош Шуляку.— Надо было лезть к его высокоблагородию. Сказал бы мне тишком, я б тебя на легкую какую работу поставил. А теперь твое дело табак. Если врач болести не признает, он тебе покажет за милую душу, откуда ноги растут.

Матрос Шуляк слизнул пабухшую на нижней губе капельку крови.

— Иди уж к врачу, дурень,— мягче сказал Дорош и скомандовал: — Первое отделение, бегом на бак — якорцеп обивать.

Матросы, топоча, ринулись по палубе.

Шуляк направился к люку в жилую палубу. Шел он неровно, пошатываясь.

«Дохлятина богова! Какой с тебя моряк»,— пренебрежительно подумал Дорош, наблюдая за шаткими движениями и болезненно согнутой спиной Шуляка.

2

Врач транспорта Башкирцев осторожно постучал согнутым указательным пальцем по полированной филенке. Внутри зашевелилось. Заглушенный голос позвал:

— Войдите!

Башкирцев толкнул дверь. Лейтенант Максимов стоял у столика, спиной к двери. На столике лежала вата. Стоял флакон цветочного одеколона и скляночка йода.

Стеклянной пробкой, смоченной йодом, лейтенант мазал кожу на сгибе сустава среднего пальца. Он оцарапал палец о зубы матроса, и это окончательно взбесило его.

Свинство! Еще привяжется какая-нибудь дрянь. Дьявол его знает, может быть, сифилитик. Не стоило в зубы, надо было по уху смазать.

Максимов недовольно уставился на врача светлыми ледянистыми зрачками, и врач заробел перед этим взглядом. На него повеяло холодной сыростью погреба.

Врач вообще боялся Максимова. Он чувствовал за офицерским лоском лейтенанта, за крахмальным без пятнышка кителем, за бритым, холодно правильным лицом бесчувственную скотскую жестокость и всегда старался избегать встреч и разговоров с Максимовым.

— Ну что, коновал? — спросил Максимов, и Башкирцев покраснел, сознавая, что это не товарищеская шутка,

а открытое брезгливое презрение флотского баловня к врачу, постороннему и плебейскому существу.

«Хам!» — подумал Башкирцев, но выжал из себя сочувствующую улыбку и попробовал отшутиться.

— Вы, кажется, занимаетесь здесь индивидуальной врачебной практикой? Не годится.

— Палец ободрал об одного прохвоста,— резко ответил Максимов, помахивая рукой, чтобы просушить йод.— Чем могу служить?

— Я, собственно, из-за этого самого прохвоста,— неловко выговорил Башкирцев,— он приходил сейчас в лазарет. Видите ли, Вадим Михайлович, строго говоря, никаких объективных показателей заболевания нет, одни субъективные жалобы. Но, принимая во внимание, что Шуляк вообще страдает малокровием, я полагаю возможным просить вас если не совсем освободить его на сегодня от работы, то дать какую-нибудь полегче. Дело в том, что головная боль...

— Завяжите! — грубо прервал Максимов, тыча доктору закрученный бинтом палец, и Башкирцев, замолчав, послушно завязал бантом хвостики бинта.

— Видите ли, дело в том, что, строго говоря и принимая во внимание,— Максимов, издевательски подчеркивая, повторял неуверенные обороты речи врача,— что, собственно, я не выражал желания слушать лекции по медицине. Или матрос болен, или матрос сукин сын. А раз сукин сын, то лечить его буду я, а вы можете возвращаться в лазарет.

— Как вам угодно,— сказал Башкирцев обиженно,— я считал необходимым сказать...

Он затоптался на месте. Хотелось брякнуть Максимову что-нибудь оскорбительное, резкое. Но Башкирцев не мог преодолеть своей робости перед лейтенантом и вообще был не способен обидеть муху. Он увальнем вытеснился из каюты, прищемив дверью полу кителя.

Лейтенант Максимов убрал йод и одеколон в стенной шкафчик. Надел фуражку, проверив перед зеркалом правильность посадки кокарды над переносицей, и вышел на палубу.

Зной с берега плыл все жарче и томительней. Дрожа и струясь, пламенел воздух.

— Рассыльный! — крикнул лейтенант Максимов.— Боцмана Бутенко ко мне.

Рассыльный оторвал руку от виска и ринулся.

— Рассыльный, назад!

Окрик пригвоздил рассыльного к палубе, и он сразу густо вспотел от жары и испуга.

— Скажешь Бутенко, чтоб явился вместе с Шуляком.

— Есть сказать Бутенке, чтоб пришел с Шуляком к вашему высокоблагородию.

Капля пота сползла с брови рассыльного и солью жгла глаз, но он боялся моргнуть и только нервно подергивал щекой.

Лейтенант Максимов отошел к борту и облокотился на планширь. Поднял голову и неторопливо обвел взглядом рангоут. Вахтенный начальник мичман Регекампф, безбровый, румяный и жизнерадостный, побледнел и задержал дыхание, беспокойно следя за лейтенантом.

«Придерется, кобра. Как пить дать, придерется. Тали у стрелы я забыл приказать обтянуть»,— подумал мичман, страдальчески морщась.

Но Максимов равнодушно отвернулся, и розовая краска вернулась на щеки Регекампфа.

От бака полушагом-полубегом, стараясь и угодить начальству и соблюсти собственное сверхсрочное достоинство, приближался бесшеий, похожий на циркового борца боцман Бутенко, поблескивая цепочкой. За Бутенко с опущенной головой шел матрос Шуляк.

— По приказанию вашего высокоблагородия...— зачастил, вздуваясь от усердия и скорости, Бутенко, но Максимов лениво махнул рукой, и боцман замер, задрав подбородок и не сводя глаз с лейтенанта. Если бы у боцмана был хвост, он, несомненно, завилял бы им перед Максимовым.

Лейтенант смотрел мимо, не замечая боцманской ретивости. Он смотрел на Шуляка пронзительно и беспощадно. Остановившийся одновременно с боцманом, Шуляк с хода неловко нагнулся вперед, но боялся выправиться и стать удобней.

Взгляд лейтенанта пугал его. Несмотря на жару, по спине прошла холодящая зыбь. От неподвижных серых зрачков Максимова еще круче ломило болевшую голову.

— Боцман,— сказал наконец Максимов, и Бутенко вздрогнул,— подвесишь сейчас Шуляка в беседке за борт — мыть краску. Понял?

— Так что мыть краску. Понял, вашскородие.

— Ступай!

После этой фразы все должно было пойти гладко, священным уставным порядком. Боцман и матрос должны

повернуться кругом, твердо приставляя ногу, и отчетливым шагом двинуться по должному направлению.

Бутенко сделал уставный поворот и лоб в лоб столкнулся с неповернувшимся Шуляком. Это было неожиданно. Но еще неожиданней Шуляк отстранил боцмана локтем и, побледнев до серости, сказал четко и звонко:

— Как хотите, вашскородь, а на беседку я не пойду... У меня кружение — недолго в воду свалиться. Дайте работу легче, я не отказываюсь.

Бутенко покосился на лейтенанта. Случай непредвиденный и невероятный. Получается как будто неисполнение приказания. Бутенко незаметно подтянул плечевые мускулы и напрягся, как легавая на стойке.

Лейтенант Максимов свел брови и дрогнул углом губы. Пальцы правой руки зашевелились, складываясь, но сейчас же разжались — лейтенант вспомнил о поцарапанном пальце.

— Молчать! — сказал он глухо.— Марш в беседку, сволочь!

— Не пойду, вашскородь. Нет такого закона.— Шуляк неожиданно повысил голос и переступил с ноги на ногу.

— Да ты что ж это...— начал боцман, подступая к Шуляку, чтобы взять его за локоть, но мгновенно замолк и опустил руку.

Лейтенант Максимов, стремительно повернувшись, уходил на шканцы.

Шуляк стоял понурясь. Возбуждение упало. Он беспомощно и тупо смотрел на узкие тиковые доски палубы, прошитые черными тесемками пазов.

Голову разламывало. Палуба начинала медленно кружиться и звенеть. Шуляк пошатнулся и, стараясь удержаться, услышал, как через воду, бормотание Бутенко:

— Дак ты, холера, боцмана страмить вздумал? Тебе што, а мне за таку дисциплину ответ держать? Ужо я тебе морду расчищу, гадюка скрипучая...

Шуляк бессильно закрыл глаза. Все стало безразлично. С усиливающимся нежным и гулким звоном палуба, транспорт, небо проваливались в горячую колеблющуюся пустоту.

Неожиданно в этой пустоте родились и простучали отчетливые медленные шаги.

Они замолкли совсем рядом, и наступила такая пугающая тишина, что Шуляк, перемогая себя, отчаянным усилием разлепил склеившиеся веки.

Он увидел перед собой багровую губчатую лепешку, на которой в неудержимом бешенстве тряслись жесткие рыжие усы. Шуляк инстинктивно вздернулся. Автоматизм дисциплины выровнял его позвоночник.

Капитан второго ранга Головнин, командир транспорта, вызванный из уединения своего салона докладом лейтенанта Максимова, раскрыл рот. Изо рта потек густой, как нарастающий вой сирены, звук:

— Вызвать караул!

— Есть вызвать караул!

Боцман Бутенко поднес к губам новенькую дудку, сверкнувшую на солнце, как прыгнувшая из воды летучая рыба. Нежные переливы свиста прошли по палубе.

Караул попарно загремел из люка, как сказочные тридцать три богатыря из морского прибоя. На правом фланге бородатым дядькой Черномором встал караульный начальник унтер-офицер Егушев.

Приклады брякнули о палубу, и караул окоченел в истуканьей неподвижности.

— Спустить этого подлеца,— Головнин отделял слово от слова паузами тяжелого астматического задыхания,— спустить этого подлеца за борт!

— Вашскородь! — голос Шуляка подломился.— Вашскородь, как перед господом, правду говорю — голова кружится. Свалюсь в воду, ни за что пропаду, вашскородь.

— Привязать прохвоста к беседке, чтобы не свалился,— кинул Головнин, длинно выругавшись.

Четверо караульных составили винтовки и хмуро взяли Шуляка за плечи и локти. Он рванулся, но зажим был крепок. Его поволокли к борту. Шуляк машинально переставлял ноги, как будто перестав понимать, что с ним хотят делать.

Бутенко, торопясь, подбежал с отрезком линя. Двое караульных влезли на планширь борта, втаскивая Шуляка под мышки. Беседка качалась в уровень с планширем. Караульные перекинули ноги Шуляка на доску беседки. Он обвис у них на руках, тупо ворочая головой, как оглушенный.

Третий караульный, затянув линь за тали беседки, обвел концом грудь Шуляка и перебросил линь четвертому. Тот, торопясь и путаясь, стал прикручивать руки Шуляка к доске. От торопливости и испуга он глубоко врезал линь в тело. Шуляк вздрогнул. Боль резнула его насквозь. Он

посмотрел невидящими глазами на командира, Максимова, боцмана и, не помня себя от боли, закричал горько и зло:

— Кровопивцы! Воинство христолюбивое! Чем так вязать, вязали б уж за глотку...

— Вязать! — крикнул Головнин на оторопевшего караульного.

Матрос рванул линь, еще жестче врезая его в руки Шуляка.

— Братцы! — сказал Шуляк, жалобно, тихо и ласково.— Братцы! Не затягивай так, не скотину ведь вяжете, а брата. Мало что вам прикажут...

— Молчать!.. Спускай его,— рявкнул командир, и боцман Бутенко потравил лопарь беседочных талей.

Беседка качнулась, уходя вниз. Матрос второй статьи Петр Шуляк, связанный, как куль, и прикрученный к талям, медленно уполз за борт.

— Не подымать до моего приказания!

Капитан Головнин, сбычившись — руки в карманах,— смотрел на боцмана, на караул.

Караульные разобрали винтовки и заняли свое место в строю. Лица их были красны от возни и зноя, но каменно-дисциплинированны, и Головнин медленно выпрямился.

— Караул вниз! — сказал он и пошел с Максимовым прочь.

Боцман Бутенко отсвистал положенную мелодию, и палуба опустела. Пазы ровно поблескивали плавящейся на солнце смолой.

3

Мичман Регекампф сдавал вахту мичману Казимирову.

С подчеркнутой служебной деловитостью он оповестил сменяющего о корабельных важных обстоятельствах.

— Под килем девять сажен, якорной цепи на правом клюзе двадцать сажен. Зюйд-ост два балла. Обе машины под парами, старший офицер на берегу. В расходе первый катер и шестерка, за бортом на беседке связанный матрос.

— Что?

Небрежно слушавший надоевшие формулы мичман Казимиров округлил глаза и поднял брови.

— Связанный матрос? Что за номер?

— Понимаешь,— нахохлившись, ответил Регекампф уже не бесстрастным служебным, а мальчишеским голосом,— «бычий пузырь» приказал Шуляка подвесить за отказ от работ. Ему «кобра» доложил. «Пузырь» сам вылез на

палубу и приказал связать, чтоб Шуляк не свалился в воду. И сидеть ему там до распоряжения. Урина мозги залила!

Казимиров обернулся к правому борту. Тали спущенной за борт беседки тихо покачивались — транспорт плавно подымало на шедшей с моря мертвой зыби.

— И давно он его посадил?

— Да сейчас только. Перед твоим выходом. Ну, будь здоров. Смотри, братец, в оба, сегодня денек тяжелый. «Кобра» как белены объелся, и «пузырь» тоже не в духе. Не обгадься, ни пера тебе ни пуху.

Регекампф ушел. Мичман Казимиров поправил завернувшуюся портупею кортика и прошелся по шканцам.

Задержался около матросов, клетневавших поручневый трос, и несколько минут смотрел, как быстрые руки ловко оплетают трос полосами парусины.

Матросы работали споро, но угрюмо и ни разу не оглянулись на мичмана. Казимирову стало скучно. Он заходил взад и вперед, пытаясь развлечься насвистыванием вальса, но внутреннее беспокойство, с каждой минутой усиливавшееся, повлекло его к борту. Он вышел на верхнюю площадку трапа. Беседка висела в двух саженях от трапа, немного боком. Привалившись к задним талям, Шуляк сидел сгорбленный, странно маленький. Голова его ушла в плечи, пальцы рук, прикрученных к доске, безостановочно слабо шевелились, как лапки умирающего жука.

Мичман Казимиров почувствовал неприятный озноб. Он был молод, исполнен лучших намерений. Он пережил Цусиму и был либерален, старался хорошо относиться к нижним чинам.

Он плохо понимал их и не всегда умел находить слова для разговоров с матросами, но все же интересовался их жизнью, знал свою полуроту назубок, выслушивал несложные жалобы, давал советы по семейным делам. Иногда помогал писать письма и, стыдясь самого себя, совал заскучавшему от унылых писем из дому о нищенской жизни матросу пятерку или десятку «на поправку дел».

Матросы, чувствуя неумелое, но человечное внимание, тоже тепло и приветливо относились к «своему» мичману. Он не был ни «шкурой», ни «подлизой», и ему доверялись.

Мичман Казимиров смотрел на осунувшееся тело Шуляка. Мичманские щеки медленно покрывались неровными красными пятнами — это был признак волнения и гнева. Перегнувшись через перила площадки трапа, мичман Казимиров вполголоса окликнул матроса:

— Шуляк!

Шуляк не пошевелился, и голова его свесилась еще ниже.

Обморок?

Казимиров заволновался. Он готов был уже позвать вахтенного и приказать поднять Шуляка на борт, но удержался.

Он любил дисциплину и железную правильность флотской службы. Самостоятельное распоряжение нарушало ее. Шуляк подвешен по приказанию командира. Отмена приказания могла быть дана только командиром. Вахтенный начальник мог лишь доложить о потере сознания подвешенным и просить разрешения поднять его для оказания помощи.

Казимиров отошел от трапа и позвал вахтенного.

— Доложи лейтенанту Максимову,— сказал мичман, избегая смотреть в лицо вахтенному,— что Шуляку дурно и что вахтенный начальник просит разрешения поднять его на борт.

В ожидании возвращения вахтенного Казимиров нервно заходил по палубе.

— Ну? — торопливо спросил он, когда вахтенный спустя несколько минут выскочил из-за толстой трубы палубного вентилятора.

Вахтенный молча подал мичману вчетверо сложенный листок бумажки.

На бланке старшего офицера транспорта «Кронштадт» писарски отчетливым почерком лейтенанта Максимова было написано:

«Предлагаю не вмешиваться в распоряжения старших и не давать советов».

Казимиров отпустил вахтенного и, отойдя к борту, трясущимися от злости и обиды пальцами изорвал записку в мелкие клочья и бросил их в воду. Громко и раздраженно сказал:

— Бранденбур!

Непонятное и неожиданное это слово, на которое с недоумением оглянулся вахтенный, для мичмана Казимирова было наполнено особым смыслом.

Оно возвращало мичмана в детство, в зеленую долину реки Славянки, в увалистый тихий Павловск, в родной дом.

Мичман Казимиров полузакрыл глаза и, по-детски улыбнувшись, увидел явственно, со всеми подробностями, угол комнаты. Полинялые обои в фисташковую с белой

полоску, широкий старый диван с поцарапанной спинкой красного дерева, лампу на столе, мягкий кремовый свет. Деревянную коробку с душистыми, толстыми, как пальцы, папиросами. Руки в синих жилках и ревматических узлах, держащие газетный лист, нос, оседланный очками, чуть пожелтевшую от табака, немножко встрепанную седую бородку.

Так он помнил отца за ежевечерним чтением газеты. Старик от доски до доски прочитывал политические новости, посапывая носом, то хмурясь, то улыбаясь, держа газету на отлете.

И иногда, когда брови старика сходились в гримасе раздражения и возмущения, сквозь дым табачной затяжки в тишину кабинета прорывалось ворчащее слово «Бранденбур».

Слово это имело десятки оттенков, но в основном и главном оно обозначало возмутительную, ничем не оправдываемую бессмыслицу, абсурд, мерзость.

Старик Казимиров употреблял его не только за чтением газеты. Когда расшалившиеся соседние мальчики перебрасывали через забор в расчищенный, как корабельная палуба, палисадник дохлую кошку, когда гусеница неожиданно сжирала яблоки на холимых яблонях, старик ерзал плечами и бурчал сквозь усы:

— Бранденбур!

Уже подростком-кадетом Казимиров однажды решился узнать у отца смысл загадочного заклинания. Он спросил в удобную минуту:

— Папа, а что значит «Бранденбур»?

Отец прищурил глаза и усмехнулся:

— Тебе интересно?

— Ну конечно!

Отец молча снял с полки том энциклопедического словаря и, перелистав несколько страниц, протянул книгу сыну:

— Читай!

«Бранденбуры — название цветных, а также позолоченных или серебрёных шнуров, которыми обшиваются спереди и сзади доломаны офицеров и солдат гусарских полков».

Прочтя, Казимиров удивленно посмотрел на отца.

— Не понимаешь?

— Нет, папа!

Отец сел на диван, усадил сына рядом и обнял его за плечо.

— Милый мой сынок! На свете есть вещи осмысленные и бестолковые, лишенные смысла и цели. Так вот эти по-

брякушки и финтифлюшки, которыми обшивают гусар, для меня воплощение бессмыслицы, дикости, чепухи. Но в жизни не всегда можно называть дикость прямо дикостью и чепуху чепухой... Вот, когда мне хочется выразить мое отношение к нелепым и глупым вещам, я и пользуюсь этим заклинанием... Теперь понял?

Казимиров молча кивнул и с этого момента стал различать в голосе отца различные интонации при произношении страшного слова. Оно имело десятки оттенков, от чуть заметной иронии до гневного возмущения ничем не оправдываемой бессмыслицей, мерзостью, абсурдом.

Последний раз мичман Казимиров слышал это ставшее родным слово осенью тысяча девятьсот четвертого года, когда за два дня до отхода на Дальний Восток Второй тихоокеанской эскадры он, только что произведенный, приехал проститься с семьей.

Отец сильно сдал и похудел. Кожа у него стала восковой и дряблой и жалко висела на щеках, голубые глаза потускнели и завалились. Он согнулся и трудно переставлял ноги.

Когда Казимиров уходил на вокзал, мать лежала в постели заплаканная. Младшая сестра возилась возле нее с нюхательной солью. Отец старался бодриться и пошел проводить сына до дворцового парка.

У ворот он остановился и положил на плечо Казимирову высохшую костлявую руку. Сказал надтреснутым, неестественным баском:

— На тебя надеюсь... Не подведешь, не осрамишь. Бегать не будешь. С матросами живи хорошо. Матрос за добро сторицей отдаст. В мое время мы с матросом жить умели. А нынче молодежь на матроса плюет, ну и у матроса тоже слюна накипает. Плохое может выйти...— Помолчал и добавил вдруг со старческой бессильной злобой: — Надумали!.. Поход! «Гром победы раздавайся», а морда в крови. Не нужно все, не нужно... Бранденбур!

Жалко махнул рукой, ткнулся бородкой в щеку сына и, повернувшись, пошел назад. Войдя в парк, Казимиров оглянулся, и сердце его вдруг сжало острой, мучительной судорогой. Согнутая спина старика была жалка и страшна, и по этой обреченной согбенности мичман Казимиров понял, что больше никогда не увидит отца. Глотая неумолимо подступающие слезы, он почти бегом помчался через парк, повторяя с интонацией отца:

— Бранденбур... Бранденбур... Бран-ден-бур!

. . . .

— Человек за бортом!

Мичман Казимиров вздрогнул и открыл глаза. Солнечный блеск ослепил его, и он опять на секунду зажмурился, успев только заметить, как вахтенный, размахнувшись, метнул через борт спасательный круг. С кормы звонко ударила сигнальная пушка.

Овладев собой, мичман Казимиров скомандовал:

— Боцман! Шлюпку на воду! Рассыльный! Доложить старшему офицеру!

И бросился к борту.

Пустая беседка терлась об обшивку. С нее болтался конец линя, полощась в воде. Саженях в двадцати от транспорта на синей волне белело донышко бескозырки Шуляка. Он плыл не к транспорту, а от него, странно быстро выбрасывая руки. Недалеко от Шуляка шла узкая алжирская фелюга с косым парусом в заплатах апельсинного цвета. Рулевой на ней, обмотанный по бедрам синей повязкой и по голове красной чалмой, перекладывал длинный румпель, ложась на утопающего. Трое кофейнолицых рыбаков перегнулись через высокий фальшборт, протягивая руки, чтобы подхватить плывущего.

Шуляк мотал руками все чаще и короче. Голова его ушла под воду раз. Потом второй. Бескозырка всплыла и поплыла отдельно.

«Не доплывет»,— задохнувшись, подумал Казимиров и оглянулся посмотреть, почему мешкают со спуском шлюпки. Услыхал резкий окрик:

— Отставить шлюпку!

Матросы, уже стравившие шлюпку почти до воды, растерянно и бестолково стали выбирать тали, и шлюпка неровно пошла кверху, непристойно задрав корму.

Лейтенант Максимов, запыхавшись, подбежал к трапу.

Шуляк вынырнул из-под волны в третий раз, и сразу шестеро рук вцепились с фелюги в его намокшую робу и легко вытянули наверх. Рулевой опять переложил руля к берегу.

— Часовой! — крикнул лейтенант Максимов.— Зарядить винтовку. По моей команде стрелять по дезертиру.

Часовой у трапа, торопясь, задергал из подсумка обойму.

Лейтенант Максимов выскочил на площадку трапа и на воображаемом французском языке закричал удаляющейся фелюге:

— Эй! Tu!.. le chien nègre! Reviens ton petit bateau! Va

ici momentalement, lâche noire... Ecoute tu! je donne l'ordre fusiller toi, canaille. Comprends? Va ici! [1]

Мичман Казимиров брезгливо скривился. Скот! Нижегородский француз! Скалозуб!

Часовой навел винтовку на фелюгу. Рулевой, видя плохой оборот, направил фелюгу к трапу. Она стукнулась о нижнюю площадку, и парус в оранжевых заплатах, шурша, порхнул книзу.

Шуляк, бледный и мокрый, стоял в фелюге, почти до колен в скользком серебряном месиве рыбы. Он не смотрел наверх.

— Часовой! Взять эту сволочь на прицел,— приказал Максимов, и часовой, покорно, растерянно мигая, уставил жальце штыка в грудь Шуляка.

— Ступай на корабль, сукин сын,— сказал Максимов.

Шуляк с трудом вытянул ноги из рыбьей массы и, поддержанный арабом, вылез на трап. Он подымался, держась за фалреп, тяжело дыша, и на верхней площадке чуть не свалился. Прозрачными, смертно ненавидящими глазами взглянул в лицо Максимову и, дерзко закинув голову, сказал с присвистом:

— Ну шо ж! Бейте, убивайте, а работать на беседке не буду.

— Не будешь? — спросил Максимов угрожающе тихо, и на скулах его вздулись желваки.— Не будешь? Посмотрим! Часовой, по бунтовщику...

Резкая дрожь дернула все тело Шуляка. Он загнанно оглянулся. Сзади была вода, в которой он не нашел спасения. Впереди Максимов и вздрагивающее, поблескивающее на солнце колечко винтовочного дула, которое сейчас плеснет огнем и смертельной болью, разрывающей грудь.

За Максимовым, как в тумане, придавленные матросские фигуры с расширенными испугом и бессильным негодованием зрачками.

Шуляк мотнул головой и, не в силах оторвать взгляда от дула, деревянными ногами медленно и страшно, как мертвый, пошел вдоль борта к беседке.

Его опять привязали и спустили. Лейтенант Максимов, заложив руки за спину, наблюдал эту операцию, обводя глазами матросов.

---

[1] Эй! Ты!.. негритянская собака! Поворачивай свою лодку! Плыви немедленно сюда, трусливый пес... Эй, слушай! Я прикажу расстрелять тебя, каналья. Понимаешь? Плыви сюда!

— Не копаться! Быстрее!

Голос у него был уверенный и холодный. Стычка была выиграна. С матросским стадом нужно уметь разговаривать. Девятьсот пятый год кончился, теперь нужно держать этих скотов в ежовых рукавицах, ни на секунду не ослабляя хватки.

— Разойтись всем лишним! Что за кабак? Если увижу какую-нибудь сволочь не на месте, насидится у меня.

Он повернулся спиной к матросам и, проходя мимо Казимирова, с нескрываемым презрением и злостью бросил в лицо мичману:

— Вахтенный начальник! Туфля! За матросом доглядеть не могли. Палату общин разводите!

Мичман Казимиров молча проглотил оскорбление. Лишь немного побледнел и, круто повернувшись, пошел в рубку записать происшествие в вахтенный журнал.

Заржавевшее перо не выпускало чернил, приходилось ежесекундно макать его в чернильницу, но, выведя одну букву, оно вновь отказывалось работать. С трудом нацарапав две строки, Казимиров, вдруг ощутив прихлынувший к голове жар ярости, изо всей силы хватил ручкой в столик. Вонзившееся в клеенку перо лопнуло с жалобным звоном, вкладыш разлетелся щепками.

Не владея собой, мичман Казимиров заорал:

— Рассыльный! Канцелярского содержателя!

Пока пришел содержатель, мичман вертел в пальцах обломок ручки, все больше закипая бешенством.

— Перо какое! Перо! За чем смотришь! Воровать только умеешь? Домик строить собираешься? Я тебе построю, бандит! На пять суток под арест. Сменить перо! Чернил налить свежих, а не то я тебе глотку этой дрянью залью.

Перепуганный содержатель убежал с чернильницей. Мичман Казимиров уронил голову на столик и бессмысленно заерзал лбом по грязной клеенке, мысленно считая до ста. Это помогало всегда, когда сдавали нервы.

4

— Вы меня звали, Вадим Михайлович?

Лейтенант Максимов осмотрел вошедшего с ног до головы и внутренне удовлетворенно вздохнул.

— Да, мичман. Присядьте.

Мичман фон Рейер тщательно подтянул белые брюки. Избави боже, если складка ляжет не посредине коленной чашки, когда садишься, а как-нибудь сбоку. Мгновенно на брюках вздуется безобразный пузырь — кормилицына грудь — и вся элегантность морского офицера пойдет к черту. Одежду нужно уметь носить, и наука эта нелегкая.

Он, Рейер, умеет. На нем китель и после трех дней носки не имеет ни одной складочки, нигде не смят.

И сам Рейер гладок, как китель. Гладкие белесые волосы на гладкой голове, отполированное лицо. Стандарт роскошного блондина для девиц из публичных домов.

Подобрав брюки, Рейер осторожно присел в кресло, прямой и гладкий, вперив в Максимова голубые глаза влюбленной Гретхен.

— Вы сейчас свободны, мичман?

Вопрос задан таким тоном, что не предполагает отрицательного ответа. И хотя Рейер только что собирался предаться любимому и вполне осмысленному занятию — раскраске акварелью рисунков морских форм всех флотов, он утвердительно склонил пробор.

— Так точно, господин лейтенант.

Разговор, видимо, будет официальный — Максимов все время говорит «мичман», а не «Петр Федорович», и это тоже обязывает титуловать его по чину.

— Отлично. Я вам дам маленькое поручение. Вы меня простите за беспокойство, но на корабле не совсем благополучно, и мне нужен в помощь дельный и энергичный (Рейер сел еще прямее) офицер.

— Я всегда рад, господин лейтенант.

— Вам известно, что на транспорт вместо команды напихали самую каторжную сволочь. Сегодня эта каналья Шуляк позволил себе отказаться от работ в самой наглой форме и чуть не призывать к бунту в присутствии командира и моем. Командир приказал спустить его за борт в беседке — он умудрился как-то отвязаться и броситься в воду с целью дезертировать с корабля. Его вернули.

— Дезертировать? Вот мерзавец! — огорченно вздохнул Рейер.

— Сейчас я снова привязал его на беседке и продержу там, пока он не сдохнет или пока из него не выветрится вся эта красная дурь. Но думаю, что он опять попытается устроить какую-нибудь штуку. Возьмите, пожалуйста, наган и побудьте на верхней палубе, посмотрите за ним. На вахте Казимиров — сопля и либерал. Он уже проморгал

попытку к бегству, и я ему не доверяю. Если Шуляк снова попытается отвязаться — стреляйте в него без всяких сантиментов. Нужно кончать со «швободами» — довольно с нас недавнего. Я не хочу, чтобы мне перерезали глотку или воткнули штык в живот. Матросню надо спахтать в масло. Поэтому никакой жалости, поняли?

Рейер встал. Голубые глаза Гретхен затлели нечистыми искорками.

— Так точно, господин лейтенант. Можете на меня положиться. В случае чего — не промажу и ляпну его, как рябчика на лету.

Рейер шаркнул и вышел, выразив всем телом сознание важности возложенного на него ответственного дела.

5

Прямо перед глазами серая скучная стена в грязных подтеках. Из-под облупившегося куска краски назойливым пятном рыжеет сурик. Серая стена раскалена солнцем. Горячая сталь жжет прижатые к ней беседкой колени.

Беседка равномерно и плавно раскачивается. Рыжая паршь вылезшего сурика ходит у самых глаз вправо — влево, влево — право.

Если перевести взгляд вниз — под ногами головокружительная зеленая глубь, пронизанная солнечным светом, золотыми искрами. Она кажется прохладной и властно тянет к себе.

Как болит голова! Тупое сверло ввинчивается в затылок, с шипением дырявя кость, веером развертывается в черепе и рвет, рвет, рвет. Временами все мутнеет и отходит в туман, только проклятое пятно сурика остается, словно врезанное в мозг.

И солнце палит. Палит беспощадно и неутомимо. Под холстом рабочей блузы плечи и верх спины горят и как будто вскипают лопающимися пузырями. Отчего так жарко? Так жарко... жарко... жарко. Да, это Африка. Каких только названий нет на свете. Всюду земля, и у каждой свое имя. И люди разные. В Африке чернявые. Про Африку учительница рассказывала в сельской школе. Люди чернявые и голяком ходят. Солнца у них много. В дню двадцать четыре часа, и все солнце светит.

Часы! Который час?

Шуляк закинул голову кверху. Солнце полоснуло по глазам.

Высоко солнышко. Поди, час дня или больше.

Во рту сухо, и невозможно повернуть присохший к губам язык.

Пить!.. Пить!..

Внизу качается зеленая прохладная вода. Ее нельзя пить. Соленая африканская вода. И солнце соленое. И земля плоская и жаркая, что лежит за водой, тоже, наверное, соленая.

Вода шумит и плещет. Плеск напоминает Шуляку что-то знакомое-знакомое, полузабытое, но родное. Он силится вспомнить. Вспоминать больно, каждое усилие памяти разрывает голову, но вспомнить нужно.

Да, так шумели и плескались листья берез в родной роще, когда он бегал мальчишкой за грибами.

Березы шумели, шумели. По дымному от росы лугу медленно и важно шагали щуплые деревенские коровенки и угрюмо мычали:

Му-у-уууу!

Шуляк очнулся от бреда. Над его головой наверху выла сирена, и Шуляк вспомнил, что в два часа «Кронштадт» снимается с якоря.

Значит, скоро его должны поднять на палубу и освободить от этой муки, которую он неведомо за что терпит. Шуляку стало мучительно жаль себя. Запершило в горле, и по щеке побежала одинокая и от этого еще более горькая слеза.

За что? Он исправный матрос. Раньше с ним никогда ничего не бывало. Это вот после погрузки в Ревеле, когда оборвавшийся ящик краем задел его по голове, начались необъяснимые, но мучащие головные боли и головокружение.

«Лейтенант Максимов — дракон, гадина! — Шуляк клацнул зубами в нахлынувшей ненависти.— Ничего — только бы стерпеть, ужо придем в Севастополь, на смотру заявлю претензию адмиралу. Офицерам многие разные права дадены, но нет такого права, чтоб терзать больного матроса. Матрос отечеству слуга, без матроса России тоже не прожить. А может, правду говорил ночью в артиллерийской школе тот неизвестный матрос, что звал взяться за ружье и покидать офицеров за борт».

Лейтенанта Максимова, конечно, не жаль. Сам Шуляк его выкинул бы. И командира тоже. А иные офицеры люди как люди и сердце имеют. Механик, поручик Кошевой или мичман Казимиров. Таких жалко.

Шуляк пошевелил связанными руками и слегка передвинулся вбок по беседке. От этого движения остро резнуло внизу живота. Шуляк попробовал сдвинуться на прежнее место, но резь усилилась еще больше. Он понял ее причину и с внезапной надеждой взглянул вверх.

Над бортом показалась офицерская фуражка, а за ней лицо мичмана Казимирова. Шуляк с трудом отлепил язык от зубов и прохрипел:

— Вашскородь... дозвольте... за нуждой сходить.

Мичмана Казимирова передернуло от этого хрипа. Голова его исчезла за бортом. Шуляк с нетерпением глядел вверх, ожидая подъема, но на месте головы мичмана Казимирова вылезла из-за борта другая голова, и, увидев ее, Шуляк вздрогнул и поник.

— Не барин,— сказал голос лейтенанта Максимова,— нечего комедии ломать. Потерпишь! А нет — делай под себя, скотина!

Черная тяжелая злоба затмила зрение Шуляку. Он задергался на доске, и тали заскрипели. Но усилие истощило его. Он, захлебываясь, вдохнул несколько раз горячий неосвежающий воздух и потерял сознание.

Он очнулся от мягкого и влажного толчка и сразу не мог понять окружающего. Перед ним на желтой полосе торчком стояла белая свечка, и эта свечка медленно уплывала куда-то вбок и назад.

Ноги его были мокры. С них стекали тяжелые прозрачные капли в пенящуюся внизу воду. Вода тоже уходила вбок и назад. В ее искристой зелени промелькнула длинная стремительная тень.

«Рыба»,— подумал Шуляк и в ту же секунду понял, что желтая полоса — это берег, а белая свечка — маяк, и берег и маяк уходят потому, что транспорт дал ход. Потому и бежит вода, а его обдало волной, ударившей в борт «Кронштадта».

«На ходу за бортом оставили... Да что же это?»

Шуляк испуганно подобрал ноги и опять задергался.

Вырваться! Что там ни будь, а вырваться.

Он напряг всю силу, потянув правую руку. Непрочно и наспех окрученный вокруг кисти линь растянулся, и рука высвободилась. Тогда Шуляк осторожно глянул наверх. За бортом никого не было видно. Прижавшись к борту, сохраняя неподвижную позу, он переложил свободную руку налево и с звериной быстротой и хитростью стал развязывать узел на левой кисти. Освободить туловище и ноги

было уже делом простым. Тогда Шуляк вскочил на доске и громко, во весь голос, крикнул: «Прощайте, братцы!» — обеими руками оттолкнулся от борта, опрокидываясь навзничь в горячий африканский воздух. Он перевернулся в пустоте, сделав кульбит, и увидел под собой качающуюся волну. Ее зеленый сияющий холод с неимоверной быстротой летел ему навстречу, и Шуляк, счастливо улыбнувшись, ушел в него глубоко и жадно.

Вынырнув, он увидел невдалеке пузатый парус под лоцманским флагом и размашистыми саженками поплыл к нему. Головная боль исчезла, смытая ласковым холодом воды. Сразу стало легко и радостно.

Он засмеялся и обернулся взглянуть на транспорт. Его серая масса отходила назад, уменьшаясь. На корме у флагштока две фигурки в белых кителях, казавшиеся игрушечными, вытягивали руки к нему, Шуляку, точно приглашали назад.

Шуляк мотнул головой и опять засмеялся.

Нет! Он не вернется! Он не хочет больше мучиться. Он поплывет сейчас к чернявым африканским людям, которые весь год ходят голышом. У них много солнышка, и Шуляку найдется под ним место.

Две осы с назойливым зудением пронеслись над его головой, и Шуляк удивился, как далеко от берега залетели они в синее широкое море. Но за осиным зудением до его слуха дошли два коротких хлопка, и он понял, что это не осы, а пули, и сразу ослаб и вспотел в воде.

«Стреляют... По мне... Господи, доплыть бы».

Спасительный пузатый парус был уже близко. Шуляк махнул рукой.

— Сюда, братцы! Спасите!

Но тупое сверло неожиданно и с новой страшной силой вонзилось ему в череп, сверля кость. Он выбросил руку в последний раз и ушел в душный мрак.

Он не видел и не чувствовал, как его вытянули на лоцманский бот, как подымали по спущенному трапу на транспорт, и не слышал, как мичман фон Рейер сказал лейтенанту Максимову:

— Призовой выстрел, господин лейтенант. Вы прямо Вильгельм Телль!

Лейтенант Максимов холодно и спокойно усмехнулся и сказал, смотря на кровяные пятна, оставшиеся на тиковых досках палубы после того, как Шуляка унесли вниз:

— Боцман! Подтереть эту гадость!

На подъем флага сыграли большой сбор. После подъема старший офицер лейтенант Петров, редко видимый командой, все время отлеживавшийся в каюте, смертельно больной туберкулезом почек и худой, как Кащей, медленно вышел на середину фронта, между двумя рядами выстроенных по бортам матросов.

Болезненно морщась, лейтенант Петров развернул костлявыми, серыми, как могильная земля, пальцами лист бумаги, вынутой из кармана кителя, и глухо скомандовал:

— Смирно! Слушать меня!

Заглатывая слова и заикаясь, он читал, держа лист у самых глаз:

«ПРИКАЗ КОМАНДИРА ТРАНСПОРТА «КРОНШТАДТ»

20 сентября 1906 года № 402

Из рапорта лейтенанта Максимова усматривается, что матрос второй статьи Петр Шуляк оказал открытое неповиновение начальству, подстрекая и подговаривая к этому чинов караула, оскорблял и угрожал лейтенанту Максимову, то есть совершил деяние, предусмотренное ст. ст. 110, 112 и 96, пункт 2, Свода морских постановлений, книга 16, а посему и на основании 1086 и 1087 статей книги 18 Свода морских постановлений назначаю комиссию для разбора дела в составе: председателя — старшего офицера лейтенанта Петрова и членов — мичманов: Бачманова, Казимирова, Регекампфа, Яковлева и фон Рейера и поручика корпуса инженер-механика флота Кошевого. Ввиду того что Шуляк был ранен во время попытки бежать с корабля с помощью иностранных шлюпок, предлагаю комиссии приступить к разбору дела по выздоровлении Шуляка. Старшему офицеру озаботиться, чтобы Шуляк ни с кем не мог иметь сношения, а также чтобы не мог вторично бежать. Команду же предупреждаю, что за малейшую попытку неповиновения виновные будут караться без всякого снисхождения и по всей строгости закона. Приказ прочесть при собрании команды, прочтя также и текст указанных статей.

Капитан 2-го ранга *Головнин*».

Старший офицер опустил лист и сделал жест в сторону мичмана Бачманова.

Мичман прочел текст указанных статей. Матросы напряженно слушавшие, ничего не поняли в абракадабре крючкотворного текста, кроме простого и страшного слова: «смертная казнь». По неподвижному строю прошел чуть слышный шелест и колыхание. Но старший офицер прекратил это опасное движение.

— Команде разойтись! Подвахтенных вниз! Построить на разводку!

Просвиристели дудки, и их привычный свист заставил людей начать привычное ежедневное дело, оборвав неожиданные и тревожные мысли.

— Господ офицеров, членов комиссии, прошу сейчас собраться в кормовой рубке для предварительного совещания.

Лейтенант Петров, прихрамывая, зашагал на полуют. За ним потянулись офицеры.

В рубке было прохладно и полутемно. Стены красного дерева отливали багрянцем, и мичман Казимиров, вошедший последним, нервно сдернул фуражку. Ему показалось, что густой цвет панели похож на кровяные пятна, оставшиеся на палубе после уноса Шуляка в лазарет.

— Господа,— сказал лейтенант Петров, когда все расселись,— нам надлежит высказаться по поводу ведения дела в отношении соответствия статей, перечисленных в приказе командира, составу преступления. Важно, чтобы у членов суда особой комиссии не было разногласий. Имеются ли какие-либо соображения?

— Разрешите, господин лейтенант?

— Прошу!

Мичман Бачманов покраснел до волос и не сразу нашел слова.

— Я прошу извинить меня, господин лейтенант... Мне кажется... то есть я полагаю в данном случае. Меня поразил, господин кавторанг, подбор статей и толкование деяния Шуляка.

— То есть что именно вас поразило? — сухо спросил Петров, скривившись от нарастающей боли в почке.

— Я нахожу, господин лейтенант,— уже резко и окрепшим голосом сказал Бачманов,— что лейтенант Максимов дал всему чрезмерно осложненную мотивировку. Нельзя обыкновенный дисциплинарный проступок подводить под статьи о бунте и призыве к вооруженному восстанию, грозящие расстрелом. Лейтенант Максимов вообще делает все, чтобы довести матросов до белого каления. Это его личное

дело, но нельзя в угоду его характеру переходить рамки закона и лишать жизни человека для удовлетворения максимовского самолюбия.

Мичман Рейер подался вперед и укоризненно покачал головой, осуждая подобное отношение к такому безупречному образцу офицера, как лейтенант Максимов.

— Простите, мичман Бачманов. Я имел честь спрашивать, можете ли вы возразить против применения к подсудимому Шуляку указанных в приказе статей не по соображениям гуманности и морали, а по формальным мотивам законов. Можете ли вы сослаться на какую-нибудь статью Свода морских постановлений, указывающую на незаконность применения именно этих статей? Командир корабля квалифицирует деяние Шуляка как открытое неповиновение и призыв к бунту. Можете ли вы указать статью, запрещающую подобную квалификацию?

Мичман Бачманов пожал плечами.

— Я не юрист... Черт ее знает, может быть, такая статья и есть, но я ее не знаю. Мне кажется, что это слишком сурово.

— То, что кажется вам, держите при себе,— наставительно сказал Петров.— У других членов суда есть возражения?

Мичман Казимиров настойчиво смотрел в иллюминатор. Из иллюминатора была видна грот-мачта. На гафеле полоскался флаг. Три полосы: белая, синяя, красная. Национальный флаг Российской империи.

Транспорт «Кронштадт», плавучая мастерская морского министерства, шел из Балтики в Черное море под коммерческим флагом, без орудий и снарядов, во избежание придирок и неприятностей при проходе через Дарданеллы и Босфор.

Три полосы флага, резво перевивавшиеся в высоте, неожиданно подтолкнули неясную еще мичману Казимирову мысль. Он отвел глаза от флага.

— Господин лейтенант,— произнес он задумчиво,— разъясните мне недоумение. Являемся ли мы военным кораблем?

— Что за вопрос?

Мичман Казимиров молча показал пальцем в иллюминатор.

— В корпусе нас учили, что военные корабли русского флота носят андреевский флаг, состоящий из косого синего креста на белом поле. То, что я вижу отсюда, не похоже на

этот флаг. Мы не военный корабль, господин кавторанг, а поэтому мы вообще не имеем права судить команду не только по законам для корабля, находящегося в отдельном плавании, но и вообще по военным законам.

Мичман Рейер презрительно зафыркал. Ну конечно, чего же можно ждать от «сопли и либерала». Лейтенант же Петров рассердился.

— Что за шутки, мичман Казимиров! У нас нет времени. Вы прекрасно знаете, что транспорт военный и мы несем этот флаг по особым соображениям.

— То есть занимаемся мошенничеством в международном масштабе и играем честью русского флага так, как нам выгоднее,— вдруг отрубил Казимиров.

— Мичман Казимиров, извольте обдумывать выражения.

— А чего тут обдумывать,— сказал Казимиров и, нахлобучив фуражку, вышел из рубки.

Офицеры переглянулись, почувствовав гнетущую неловкость. Только мичман Рейер, сохраняя невозмутимость, процедил презрительно:

— Курсистка! — и засмеялся смехом, похожим на сдавленное кукарекапье.

7

Разговаривающих не было видно. В угольной яме царила настоящая угольная тьма. Горловина ямы была наглухо закрыта. В царапающей горло духоте вяло звучали голоса.

— Этого и в мандаринском флоте не видано, чтоб с борта людей, как цыплят, расстреливать,— сказал один голос, звонкий и злой.

— Ну, что ж ты предлагаешь? — спросил другой, спокойный и медленный.

— Чего предлагать? Не предлагать, а делать. Захватить у караула винтовки, перебить офицерню к чертовой матери...

— И?

— Что «и»? Поднять всю команду...

— И?

— Да ну тебя к черту! Заикал! И уйти куда-нибудь!

— Куда?

— Ну, хоть к французам. В Марсель, что ли? Чертом ли я знаю?

— Вот в том-то и дело,— прозвучал третий голос, насмешливый и острый,— что ни чертом, ни дьяволом. «Похватать винтовки»,— передразнил голос,— с кем ты их хватать будешь? Где у тебя организация? Народ с базара собран, никто друг друга не знает.

— А мы?

— Кум Егор, да кума Палашка, да кошка Мордашка. В самый раз революцию делать. Два социал-демократа и один анархический жеребец обезоруживают двадцать человек караула да пятнадцать офицеров. Поди как легко! Чисто кефиру выпить.

— А что же, молчать? Пусть стреляют?

— Молчать! Хоть и скребет, а молчать. Лучше потерять одного, да из потери извлечь пользу, чем погубить четверых и остальных подвести под каторгу. Погоди, придем в Россию,— им, чертям, кровососам, Шуляк боком встанет. А затеешь сгоряча дурачество — пристрелят тебя запросто на палубе, как собаку, и смеяться будут. Дескать, раздразнили дурака, вот он и напоролся.

Помолчали.

— Фу-ты, мать-матушка,— вздохнул не принимавший участия в пикировке,— и духотища же. Надо вылазить, братцы, а то сдохнем тут, как крысы.

— Поспеешь,— ответил злой.— Так как же? Отказываешься, значит, подымать корабль? Селезенка екает? К Маруське под бок хочется?

— И дурак же ты, Геннадий,— беззлобно, но веско отозвался насмешливый,— кого ты храбростью удивляешь, Бова-королевич? Я в Свеаборге до последнего патрона стрелял, когда смысл был. А сейчас смысла нет. Провалим без всякого толку.

— Что делать?

— Молчать, сказал уже.

— Ну, как хочешь. Если поджали хвосты, будь по-вашему. Только я сам эту суку уксусную, Максимова, пугну, чтоб небо в овчинку показалось.

— Не смей!

— Да ты не бойся. Тишком сделаю, никто не узнает. А коли и попадусь, так в одиночном порядке. Мое дело — мой и ответ.

— Дело твое, ясно, но не советую.

— Ладно. На совете спасибо!

— Отдраивай барашки, Павло,— сказал насмешливый, и слышно стало, как зашуршал уголь под вставшим.

— Ну, наконец-то. Всю внутренность углем забило.

Осторожно приоткрылась овальная дверь в соседний отсек. В полусвете в нее проползли три согнувшиеся фигуры.

8

Лейтенант Максимов нервничал. В кают-компании пили вечерний чай. Над столом веяла необычная колючая тишина. Старшего офицера не было, он лежал в своей койке, мучаясь очередным почечным приступом, вызванным утренними событиями. Лейтенант Максимов занимал его место. Он был хозяином кают-компании, но чувствовал себя сегодня в ней гостем, и гостем еле терпимым.

Офицеры пили чай молча, и вокруг лейтенанта Максимова образовалось заполненное отчуждением пространство. Его не замечали. Несколько фраз, сказанных им, были не услышаны, как сказанные под колпаком воздушного насоса, в абсолютной пустоте. На прямые же вопросы следовали только короткие «да» и «нет».

Это была почти невежливость, и лейтенант Максимов подозрительно и зло всматривался в привычные офицерские лица. Они казались ему сейчас иными, непохожими на себя, и на каждом, вплоть до мальчишеского лица Регекампфа, он ловил оттенок почти нескрываемой брезгливости, что вот они, офицеры транспорта «Кронштадт», должны поневоле, в силу приличий, терпеть общество лейтенанта.

«Мерзавцы»,— подумал Максимов.

Ему захотелось нагрубить кому-нибудь, оборвать, но повода не было.

Он с некоторой надеждой посмотрел на Рейера, на своего любимца Рейера, но гладкий мичман почувствовал, несмотря на свою неуязвимость, общее настроение и блудливо вильнул взглядом в сторону.

Это почти испугало Максимова. Он тревожно пощупал грудной карман кителя. Бумага шуршала там. И ее сухой шелест прошел морозом по коже лейтенанта. Он нашел эту бумагу под дверью своей каюты, проснувшись от послеобеденного кейфа. Бумага лежала на линолеуме, явно подсунутая в нижнюю щель во время сна. Максимов, недоумевая, поднял ее. И, подняв, побледнел.

Карандашом печатными буквами было написано: «За Шуляка, гадюка, тебе гроб будет. Везде тебя найдет

народная месть, кровавый палач. И не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от божьего суда. Береги шкуру и лучше списывайся на берег стеречь сортиры. Мститель».

Лейтенант Максимов скомкал бумагу и тяжело задышал.

Какая наглость! Среди бела дня решиться подсунуть это возмутительное угрожающее письмо. Матросня! Бандиты! Этих каторжников нужно стрелять не по одному, а сотнями, тысячами. Поставить пулеметы и перестрелять половину, только тогда можно будет восстановить прежнее уверенное спокойствие.

Лейтенант Максимов позвал вестового — допросить, кто мог подсунуть письмо, но вестовой только оробело таращился и отзывался незнанием.

Максимов вышвырнул его из каюты. Найти виновного, конечно, невозможно. Каюта в проходном коридоре — это не строевой корабль, все шляются мимо, не углядишь.

Лейтенант еще раз потрогал карман и вдруг поймал косой взгляд старшего механика, подполковника Унтилова. Можно поклясться, что этот идиот насмешливо улыбнулся, заметив нервный жест лейтенанта.

Максимов покраснел и, оставив недопитый стакан, встал.

Когда он вышел в коридор, ему показалось, что в кают-компании мгновенно вспыхнул живой разговор и смех. Он стиснул челюсти.

Подлецы! Ведь для кого же он, Максимов, старается установить на корабле тишь, гладь, божью благодать и привести матросов к одному знаменателю? Для себя, что ли? Да наплевать ему! Придет транспорт в Одессу, и он подаст в отставку. К чертовой бабушке этот проклятый флот с революционными бандами вместо матросов.

Можно устроиться на берегу тихо и почетно.

«Сортиры чистить»,— вдруг выплыла в памяти дерзкая фраза.

Максимов остановился перед дверью командирского салона и резко, почти повелительно постучал.

Кавторанг Головнин, в халате, сидел на диване и гладил своего пса. Из-под абажура лампы розоватый свет тек на его изуродованное волчанкой багрово-губчатое лицо, рыжие колбаски усов.

— Вадим Михайлович, прошу.— Головнин спихнул бульдога под задок, освобождая место для пришедшего.

Но Максимов не был расположен к отдыху. Анонимка жгла ему китель, и он двумя пальцами выволок ее и подал Головнину.

— Извольте полюбоваться, господин кавторанг. Я получил это послание между обедом и ужином посредством поддверной почты. Я говорил вам, что это не корабль, а пороховой погреб. Мы сидим на динамите, и он может взорваться каждую минуту. Вся команда — негодяй на негодяе, и я даже к офицерам не питаю доверия. Черт знает чье это произведение? По цитате из Пушкина я имею право предположить с одинаковой вероятностью, что это могло быть написано и матросом, и офицером, хотя бы типа мичмана Казимирова. Этот конституционный дурак сидит мне вот здесь,— Максимов энергично рубанул себя ладонью по горлу.

— Вот сукины дети,— сказал Головнин, опуская бумажку на диван, и сердито оттолкнул ногой ластившегося бульдога.

— Я нахожу, господин кавторанг, что суда над Шуляком откладывать нельзя ни на минуту. Нужен хороший пример, чтобы отрезвить всю банду и заставить ее присмиреть.

— Но позвольте, Вадим Михайлович. Я с удовольствием, судите хоть сегодня, но нельзя же судить обвиняемого, который находится без сознания. Его нужно допросить, хотя бы для формы, чтобы не было никаких придирок.

Лейтенант Максимов зло засмеялся.

— Форма? Какого черта нянчиться с формой, господин кавторанг, и кому придет в голову обвинять нас в несоблюдении формы? Это могло быть вероятным до «Потемкина», до «Памяти Азова», до Скатуддена. Сейчас таких болванов, которые истекали сентиментальными слюнями над милым матросиком по Станюковичу, почти не осталось. А если и есть экземпляры вроде Казимирова, то им заткнут рот, прежде чем они начнут пищать. Отсрочка суда еще больше развращает команду. Сегодня дело дошло вот до этого,— Максимов ткнул в письмо,— завтра они передушат нас, и в первую очередь вас и меня. Для вас не тайна, что мы честно служим государю императору, а не красному сброду. Неужели вы хотите висеть на рее или вылететь за борт с простреленным затылком?

Капитан Головнин часто задышал и посерел.

— А ну вас с такими предположениями,— буркнул он обиженно и испуганно.

— Тогда, господин кавторанг, разрешите мне, как отвечающему за порядок на корабле, настаивать на немедленном производстве суда над Шуляком. Допрос? О чем, собственно, допрашивать? Все ясно! Есть свидетели — мичман Рейер, боцман Бутенко, вахтенный, часовые караула. Преступление не вызывает никаких сомнений. Неужели вы хотите дождаться прихода в русский порт? Сейчас вы имеете право предать Шуляка суду особой комиссии, как начальник в отдельном плавании, а в Одессе вам придется списать его на берег в распоряжение нормального суда с каким-нибудь присяжным жидоратором. И еще направят дело к доследованию, и мы с вами попадем в обвиняемые за «зверское» обращение с нижним чином. А Шуляка увенчают терниями обожатели «швободы». Вам улыбается такая перспектива?

Головнин, задумавшись, поковырял ногтем указательного пальца кожу дивана.

— Что же, пожалуй, вы правы,— протянул он,— последнее ваше соображение дельно. Мы же и окажемся виноваты. Хорошо. Я отдам в приказе... Ну а теперь, раз с делами покончено, не составите ли компанийку в шестьдесят шесть?

— Охотно,— ответил Максимов, складывая взятое с дивана письмо и присаживаясь.

Головнин вынул из столика карты, быстро и ловко стасовал их и протянул Максимову:

— Прошу снять.

9

Мичман Казимиров спал плохо. Всю ночь снился один и тот же томительный и обессиливающий сон. На темной синей воде плясала легкая, как высушенная тыква, голова матроса Шуляка. При ней не было туловища — она плавала сама по себе.

Мичман Казимиров лежал на юте и, уперши винтовку на согнутую руку, стрелял в танцующую голову по команде лейтенанта Максимова.

Стрелять было трудно и страшно. Казимиров мазал. За выстрелом возле головы взлетал маленький белый фонтанчик. Лейтенант Максимов топал ногой и говорил:

— Туфля! Шляпа!

А плавающая голова подмигивала и тонким бабьим голоском приговаривала:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие, на добром слове.

Мичман просыпался, вертелся, натягивал на голову простыню, хотя в каюте было чертовски душно, опять засыпал, и из темноты снова появлялась синяя вода и пляшущая подмигивающая голова.

Спокойный сон пришел только на рассвете, но ему помешал грохот приборки на палубе. Разбитый и обессилевший, мичман Казимиров закурил и, лежа на спине, пускал дым к подволоку.

В дверь постучали. Рассыльный протянул мичману листок.

— Приказ, вашскородь. Извольте расписаться.

Казимиров зашлепал босиком к столу, черкнул карандашом расписку и взял у рассыльного пакет. Уходя, рассыльный неплотно прикрыл дверь каюты. Из открытого иллюминатора по ногам потянуло приятной утренней свежестью. Мичман Казимиров разорвал пакет и вынул приказ:

«Приказ командира транспорта «Кронштадт». 20 сентября 1906 г. № 405. Предлагаю комиссии, объявленной приказом моим от 20 сентября за № 402, начать разбирать дело о матросе Шуляке 21 сего сентября».

Казимиров положил приказ на стол и стал быстро и решительно одеваться. Злоба затрясла его, как лихорадка. Решение пришло внезапно. Конечно, нужно пойти к командиру транспорта и заявить, что он участвовать в суде над Шуляком не желает.

К черту морскую службу! Он готовился быть морским офицером, а не палачом. На его глазах матроса затерзали до исступления, а потом подстрелили, как дичь,— он молчал, у него не хватило мужества протестовать. Но теперь хватит. Пусть его самого отдают под суд.

Казимиров застегнул последнюю пуговицу кителя и шагнул к двери, но дверь раскрылась навстречу ему, пропуская в каюту инженер-механика Кошевого.

— Вы уже одеты? — удивленно сказал Кошевой.— А я к вам. Вам приносили приказ?

— Да,— ответил Казимиров.

— Послушайте, Виталий Павлович, я пришел поговорить с вами. Я уже был у Бачманова и Регекампфа. Они совершенно со мной согласны. Нам нужно подать особое мнение по поводу дела Шуляка.

— Я вообще не желаю принимать участия в этой под-

лости. Я пойду к Головнину и откажусь от участия в комиссии,— взволнованно сказал мичман.

Кошевой отступил и с изумлением посмотрел на Казимирова.

— Что вы? Зачем такие эксцессы? Вам же будет хуже. Вчера Петров добивался формальных мотивов против суда. Вчера их трудно было найти, сегодня они есть. Давайте протестовать в рамках закона, у нас есть возможности.

— Какая тут к черту законность? Все от начала до конца беззаконие. Если рассуждать о законности, то по-настоящему нужно судить Максимова, а не Шуляка.

— Ну, Максимова нам судить не придется, а Шуляка, кажется, можно отстоять. И вы не волнуйтесь так. Давайте сядем.

Кошевой сел. Казимиров остался стоять.

— Прежде всего,— Кошевой загнул палец и посмотрел на Казимирова снизу вверх,— сегодняшний приказ нарушает основное требование к судебному процессу: допрос подсудимого и его объяснения. Закон не допускает судить заочно. Это первое. Второе, мы с Бачмановым до полночи прокопались в Своде морских постановлений и нашли статью, которая полностью охватывает проступок Шуляка и грозит всего дисциплинарным батальоном. Головнин находит нужным применить статью 110, карающую расстрелом за подговор к вооруженному восстанию. Такого подговора не было. К Шуляку можно применить статью 105 — неисполнение приказания, усугубленное словесным оскорблением начальника. Наконец, последнее: мы можем требовать отвода из состава суда фон Рейера. Он не может судить, ибо одновременно является и свидетелем и активным участником события. Ведь он вместе с Максимовым стрелял по плывущему Шуляку. Таким образом, мы четверо из семи судей, то есть большинство, подписываем особое мнение по этим трем пунктам и подаем командиру. Это совершенно законно и никому не грозит новыми осложнениями, как ваш метод отказа от участия в суде. Ведь вы сами попадете под суд.

— Наплевать! Наплевать мне на все. Я сам не хочу служить с негодяями. Я шел в море потому, что надеялся найти честных людей. А теперь мне все равно! — злобно сказал Казимиров.

— Наскандалить всегда успеете, Виталий Павлович,— возразил Кошевой,— вы только скажите: вы согласны подписать особое мнение?

— Конечно, согласен.

— Тогда не откладывая в долгий ящик валим в каюту Бачманова и там составим текст, а я передам старшему офицеру.

10

— Господа члены суда! Прежде чем мы начнем разбирательство дела, я должен осведомить вас о решении командира корабля по особому мнению, подписанному четырьмя из участников комиссии.

Лейтенант Петров сделал паузу, прокашлялся и повертел головой с таким видом, словно воротник кителя мешал ему говорить.

— Я оглашу резолюцию командира: «Приказываю судить матроса второй статьи Шуляка не так, как «думается» комиссии, а согласно моему приказу. Полагаю, что критика моих распоряжений младшими неуместна. За свои действия я отвечаю не перед господами офицерами, а перед государем императором, священной волей которого я командую кораблем. Прошу помнить об этом, а также о том, что в моем распоряжении имеются средства воздействия на забывающих долг службы как в отношении нижних чинов, так и в отношении офицерского состава». Я думаю, господа,— сказал лейтенант Петров, неприятно щурясь и смотря почему-то на одного Казимирова,— что резолюция командира не подлежит никакому обсуждению. Заседание суда особой комиссии объявляю открытым. Мичман Яковлев, огласите обвинительное заключение.

Мичман Казимиров обвел взглядом протестантов. Мичман Бачманов побледнел и, закусив губу, смотрел в иллюминатор. Регекампф, смотря в пол, крутил пуговицу кителя. Поручик Кошевой, встретившись взглядом с Казимировым, поспешно отвел глаза и отвернулся.

Было совершенно ясно, что дальнейшая попытка протеста обречена на неудачу. Трое из четверых обезоружены и разбиты угрожающим окриком командира. Если даже он, мичман Казимиров, и решится поднять свой голос, он останется в одиночестве.

Мичман Казимиров устало закрыл глаза.

Он не вслушивался в обвинительное заключение, которое равнодушно бубнил Яковлев. Он не видел победоносного взгляда и снисходительно презирающей усмешки мич-

мана Рейера. Он прислушивался лишь к беспорядочным и тревожным обрывкам своих мыслей. Он вернулся к действительности, только услышав фразу лейтенанта Петрова:

— Ввиду того что обстоятельства дела можно считать совершенно выясненными и допрос обвиняемого не может ничего добавить по существу, предлагаю членам комиссии ответить на вопрос: считают ли они обвиняемого виновным в преступном деянии, предусмотренном указанными в обвинительном заключении статьями Свода морских постановлений и караемом, согласно этим статьям, смертной казнью через расстреляние? Мичман Рейер?

— Да, господин лейтенант,— ответил Рейер и мотнулся вперед, как китайский болванчик.

— Мичман Яковлев?

— Да, господин лейтенант!

Лейтенант Петров закашлялся, неторопливо вынул из кармана платок и тщательно вытер рот, растягивая мучительную паузу.

— Мичман Бачманов?

— Не считаю, господин лейтенант,— сухо и четко ответил Бачманов и, волнуясь, потер ладонью ладонь.

Мичман Казимиров ждал. Если остальные трое ответят так же, Шуляк спасен, во всяком случае от смертного приговора. Он с томительным ожиданием смотрел на детское, оробевшее лицо Регекампфа.

— Мичман Регекампф?

Регекампф тяжело и глубоко вздохнул, как будто набирая решимости, и, сразу залившись краской до ушей, тихо сказал, пропуская титулование.

— Не считаю.

Мичман Рейер переложил ногу на ногу и скривился. Регекампф опустил голову, все больше заливаясь краской.

— Мичман Казимиров? — Старший офицер сделал резкое ударение на последнем слоге.

— Не считаю, господин лейтенант.

Уже трое против двух. Если даже Петров выскажется за виновность — смертный приговор провален. Кошевой безусловно против, он же первый предложил подать особое мнение.

Мичман Казимиров оживился. Все идет хорошо. Головнин с Максимовым съедят оплеуху.

— Поручик Кошевой?

Кошевой, не подымая головы, очень тихо, но внятно сказал:

— Да, господин лейтенант.

Казимиров привстал. Что такое? Оговорился Кошевой, что ли? Эта фраза прозвучала так неожиданно и страшно, что, забывая о своей роли и правах, Казимиров в недоумении и волнении спросил:

— Что «да»? Вы за обвинение или против?

Кошевой не ответил, но лейтенант Петров предупредил возможность дальнейшего развития истории. Поспешно и сердито он оборвал Казимирова:

— Мичман Казимиров. Вопросы членам суда задаю только я. Поручик Кошевой изложил свое мнение совершенно ясно, и оно не нуждается в толковании. Я присоединяю свой голос к высказавшимся за обвинение. Заседание суда считаю законченным. Мичман Яковлев, будьте любезны приготовить приговор для представления командиру.

Старший офицер встал и закрыл папку.

Мичман Казимиров поднялся и стремительно выскочил из рубки. Косолапо шагая, натыкаясь на встречных матросов, он прошел по всей длине транспорта и остановился только у гюйсштока, потому что дальше идти было некуда. Он ухватился за шток и бессмысленно смотрел в густую лиловатую воду, с гулом бежавшую под форштевень. За спиной он услышал осторожные и неуверенные шаги. Он быстро и нервно обернулся и увидел поручика Кошевого. Мичмана передернула судорога отвращения.

— Что вам нужно от меня? — сказал он, брезгливо сторонясь, как будто боясь прикосновения Кошевого.

— Виталий Павлович, я хочу объяснить вам,— покраснел Кошевой.

— Что объяснить? Что? — почти закричал Казимиров.

— Вы обвиняете меня, дайте же мне оправдаться. Вы знаете мое положение. Я уже был замешан в свеаборгские дела и еле вывернулся. Для меня это вопрос существования. Головнин не простил бы мне, и я бы вылетел вон. А у меня большая семья, я единственный кормилец. Все равно это голосование ничего не значит. Приговор можно опротестовать. Я не мог иначе — своя рубашка ближе к телу.

— Вы не только подлец, но вы еще трус,— сказал мичман Казимиров и, отстранив растерявшегося и не нашедшего слов Кошевого, промчался по палубе и исчез в надстройке.

11

Военный прокурор стыдливо прикрыл ладонью рисунок и сурово окинул взглядом вошедшего курьера.

— В чем дело?

— К вашему высокоблагородию флотский офицер.

Курьер положил перед прокурором визитную карточку. Прокурор прочел:

«Мичман Виталий Павлович Казимиров».

— Оны говорят, ваше высокоблагородие, с «Кронштадта». Просют принять по безотлагательной нужде.

Прокурор посмотрел в большое окно. Под окном уступами домов сбегала к морю Одесса, шумливый, веселый, денежный город. Море лежало внизу, чуть тронутое уже осенним прозрачным холодком, стальное и тихое. В гавани у Воронцовского мола серела тяжелая туша вчера пришедшего из Константинополя «Кронштадта».

Прокурор повертел в руках визитную карточку мичмана Казимирова и поморщился.

Вероятно, напился мичманок в каком-нибудь заграничном порту, надебоширил и теперь будет просить замять дело. Неприятно. Придется отчитывать.

— Проси,— буркнул прокурор и, когда курьер повернул спину, поднял руку и взглянул на рисунок. До доклада о мичмане Казимирове прокурор предавался чистому искусству — он с помощью красного карандаша раздевал фотооткрытку шансонетной дивы Розы Рис. Сделать это было нетрудно — дива была достаточно раздета на фотографии, но прокурор был совершенным дилетантом в области рисунка и никак не мог поставить на должное место дивин бюст. Получалось какое-то уродство, хотя прокурор самолично имел возможность убедиться в прекрасных качествах бюста на натуре.

Прокурор вздохнул и спрятал неудачное произведение в стол.

Дверь открылась, впуская мичмана Казимирова. Прокурор заметил опытным взглядом неестественную бледность вошедшего и растерянные, пустые, смотревшие сквозь прокурора зрачки.

«Ах, черт! Да он, кажется, пришел еле можаху».

Прокурор насупился и сухо спросил, не предлагая садиться:

— Что вам угодно?

Мичман Казимиров несколько секунд молчал, как будто изучая прокурора.

— Господин полковник,— сказал он глуховатым голосом,— прошу извинить за беспокойство, но дело не терпит проволочки. Нужно спасти жизнь человека.

— Жизнь человека? — Прокурор начал удивляться. Начало не походило на просьбу о прекращении дебоширного дела.— Присядьте, мичман, расскажите. Все, что могу, я обязан сделать, как представитель закона.

Мичман Казимиров сел. Прокурор заметил, что у мичмана кадык под кожей судорожно ходит, как будто человек испытывает томительную жажду.

Он подвинул Казимирову стоявший на столе графин.

— Выпейте, мичман. Не волнуйтесь. Я вас слушаю.

Но Казимиров отодвинул графин. Быстро, путаясь в словах, взволнованно и непоследовательно, он стал рассказывать историю Шуляка.

— Господин полковник, затребуйте дело. Это шемякин суд, бессмыслица, варварский произвол. Нельзя откладывать ни минуты. Час тому назад по приказанию командира транспорта Шуляк передан в распоряжение командира канонерской лодки «Черноморец» для приведения в исполнение приговора. Он еще не вполне пришел в сознание, его спускали на шлюпку под руки. Это неслыханное дело, господин полковник.

Мичман Казимиров все больше волновался. У него дрожали губы и пальцы, блуждали замутневшие, смертные какие-то глаза. И чем больше становилось волнение мичмана, тем большее спокойствие обретал прокурор.

Явный маньяк! Неврастеник и слюнтяй! Вот такие в панике запирались по каютам и просили прощения у матросов на «Потемкине», «Георгии Победоносце», «Очакове», позоря звание офицера и честь мундира.

Прокурор покосился на свое плечо с широкой полосой новенького погона.

— По-моему, вы чрезмерно и безосновательно волнуетесь, мичман. Суд особой комиссии состоялся, как явствует из вашего рассказа, на законных основаниях, согласно приказу командира, и приговор вынесен в соответствии со статьями закона. В общем, совершенно обыкновенное дело, и я не понимаю...

— Какой это суд,— перебил мичман Казимиров,— человек обречен на смерть большинством одного голоса. Чьего голоса, господин полковник? Жалкого и подлого труса.

— Я бы просил вас, мичман, в моем присутствии избегать таких характеристик ваших сослуживцев.

— Хорошо! Не в этом дело,— ответил Казимиров,— главное, не допустить убийства человека.

Прокурор поднялся. Нет, решительно этот мальчишка не понимает, что говорит.

— Позвольте, мичман,— прокурор возмущенно развел руками,— вы должны выбирать выражения. Исполнение законного приговора суда, вынесенного офицерами флота, на основании закона, вы называете убийством. Что это за терминология? Это хорошо для какого-нибудь красного, для студентишки или жида. И в чем, в конце концов, дело? Приговорили матроса к расстрелу? Поделом! Нужно когда-нибудь покончить с крамолой и разнузданностью в армии и особенно на кораблях. Если мы их не успокоим — они успокоят нас.

— Лучше пусть они,— сказал Казимиров,— они, по крайней мере, не ведают, что творят, а мы культурные люди... Во всяком случае, называем себя культурными и считаемся солью земли. Я предпочитаю, чтобы меня убили, чем убивать людей, которые не могут...

— Это дело вашего личного вкуса, мичман,— перебил прокурор, начиная сердиться,— я предпочитаю жить уже по одному тому, что я должен выполнять свой долг перед родиной. И не считаю возможным разводить трагедию из-за того, что одним матросом станет меньше на свете. Чего вы, наконец, от меня хотите?

— Я прошу приостановить исполнение приговора и просмотреть дело. Вы сами увидите всю страшную бессмыслицу...

— Вы странный человек,— засмеялся прокурор,— не я над законом, а закон надо мной. Я не могу по требованию первого встречного приостанавливать законные приговоры.

— Но если я, участник суда, говорю вам, что приговор беззаконен?

— Этого мало, мичман. Я могу приостановить дело в случае поступления ко мне законного опротестования приговора от имени защитника приговоренного или от него самого.

Мичман Казимиров откинулся на спинку стула и с ужасом смотрел на прокурора.

— Но ведь у Шуляка не было защитника, а сам он, с простреленной головой, с не вполне вернувшимся сознанием, не может подать вам жалобу.

— Что же!.. Очень печально, но сделать ничего нельзя.

Прокурор вытянул за цепочку часы из-за отворота сюртука и поднес их к глазам с явным нетерпением.

Мичман Казимиров встал и скомкал фуражку.

— Простите за беспокойство, господин полковник. Очевидно, в нашей стране закон действительно похож на сказочное дышло,— сказал он тихо и раздельно.

Прокурор в негодовании отступил. Он действительно красный, этот помешанный мальчишка.

— Предлагаю вам думать, что вы говорите,— повышенным тоном оборвал он,— иначе я вас арестую и отправлю к коменданту города. Молокосос! — крикнул прокурор, потеряв хладнокровие.

— Можете не трудиться, господин полковник, я уже все сказал,— с дерзкой иронией обронил мичман Казимиров, поворачиваясь в дверях.— Желаю вам спать спокойно и ждать протеста от мертвеца.

Прокурор бросился вслед Казимирову, но на полдороге остановился и безнадежно махнул рукой. Взяв из ящика сигару, он раскурил ее быстрыми и злыми затяжками, потом вынул опять из стола свой рисунок. Дива улыбалась приятной улыбкой непротивления, уродливый бюст ее свисал на живот. Прокурор свирепо сдвинул брови и разорвал диву пополам. Взял красный карандаш и на блокноте «для памяти» написал красивым косым почерком: «NB. Сообщить начальнику штаба флота о мичмане Казимирове».

12

Около полуночи мичман Казимиров вышел на корму. Слева мерцала светляками лампочек Одесса, теплая, шумящая, наполненная смехом и музыкой. Справа, темнея и притаясь, лежало широкое и коварное море. За его чернильно-свинцовой пеленой в устье Днепра лежал остров Березань. В семь часов вечера канонерская лодка «Черноморец» вышла туда, к низкому и пустынному массиву острова, увозя матроса второй статьи Шуляка в судовом лазарете и приговор особой комиссии в столе командирской каюты.

Ночь тяжелела духотой, веяло металлическим запахом грозы, надвигающейся из степных разлог Дикого поля.

Мичман Казимиров вглядывался в тихую темень. У него уже болели от напряжения глазные орбиты и перед гла-

зами просверкивали мелкие лиловые искорки. Ему казалось, что еще одно крошечное усилие — и в этой мягкой и душной, как мех, ночи откроется голый берег заброшенного острога. И на острове он увидит то, к чему были прикованы все мысли и что так пугало его.

Он весь вытянулся вперед, налегая локтями на планширь.

Внезапно над плоской чертой горизонта мигнуло коротко, зелено и весело. Мигнуло и погасло. Первая зарница наплывающей грозы, освежительная и радующая.

Но мичман Казимиров воспринял ее иначе. Нервный толчок отбросил его от борта, и он схватился руками за виски.

Вспышка зарницы мелькнула в его помраченном сознании, как вспышка ружейного залпа. Сжимая голову, он прислушивался.

И вот из тьмы слабо, чуть слышно, как будто мягко колыхнув неподвижный воздух, грохотнуло далекое отгулье.

Мичман Казимиров слабо и тонко вскрикнул, как раненый заяц, и, к изумлению часового у флага, все время искоса наблюдавшего за офицером, побежал на шканцы, закрывая лицо растопыренными пальцами.

Он выбежал из-под надстройки и остановился, ослепленный ярким светом.

С берега только что пришел катер с офицерами.

Вахтенный дал освещение на шканцы. Пятиламповая звездчатка сияла над площадкой трапа, палубные лампы высветлили линеечки пазов на палубе.

На шкафуте строилась смена вахты. У трапа лейтенант Максимов, вернувшийся с берега, рассказывал вахтенному начальнику Яковлеву, как был неподражаем Камионский в «Тоске». Лейтенант Максимов был оживлен и весел. Кроме Яковлева, его слушали штурман, лейтенант Нарозов и Регекампф.

Мичман Казимиров постоял несколько секунд, мотая головой, как оглушенный ударом. Потом выпрямился, быстро пошел к группе офицеров у трапа. Лицо у него было настолько странным, неузнаваемым, что Регекампф тревожно вскрикнул:

— Витя! Что с тобой?.. Ты болен?

Не отвечая Регекампфу, мичман Казимиров с силой втянул в грудь неподвижный и душный предгрозовой

воздух и, закинув голову, с хрипом плюнул в спокойные светлые глаза Максимова.

Все на палубе застыли. Максимов, вытирая левой рукой лицо, правой лез в карман, и лейтенант Нарозов, поняв, перехватил его руку. Он крикнул Казимирову:

— Уходите, мичман!

Казимиров повернулся, сделал два неровных, качающихся шага и упал ничком на палубу. Когда Яковлев и Регекампф подхватили его, он дрожал всем телом и бормотал что-то с закрытыми глазами. И, склонясь к лицу Казимирова, Регекампф расслышал, как Казимиров, задыхаясь, плача, повторяет одно и то же слово:

— Бранденбур... Бранденбур... Бранденбур...

Севастополь,
сентябрь 1934 г.

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

1

Из коляски переднее колесо мотоцикла казалось неподвижным, а под него стремительно втягивалась дорога. Внутренность колеса заполнял мерцающий розоватый круг. Это спицы, слившиеся на семидесятикилометровой скорости, отражали вечернее розовое небо.

Из-под колеса со скрежетом летела в стороны отшлифованная прибоями мелкая галька, крывшая шоссе.

Испуганный разлет камешков — они точно кидались прочь, чтобы не быть раздавленными бегом машины,— их скрежет и вишневое, пьяное влагой, небо на западе напомнили Мочалову кубанское детство, степь, дымящуюся после ливня, полегшие ковыли. Идешь по ним, и тяжелые ртутные капли обжигают босые ступни, а из-под ног во все стороны разлетаются кузнечики.

Прозрачные крыльца блестят летучими искрами, а кругом степная ширь и медовые запахи трав.

Кузнечики проплывут в воздухе и ловко садятся поодаль...

«Почему у Щербаня опять неудачная посадка и авария? Уже в третий раз. Значит, есть какая-то, не ясная пока ни Щербаню, ни мне самому, причина, которая мешает летчику правильно приземляться, хотя техническая выучка у него достаточна».

Коляску сильно встряхнуло на бугорке. Мочалов ткнулся вперед и поправился, чтобы сесть удобнее.

В самом деле — Щербань неплохой пилот. Не лучше и не хуже других. Ученический период прошел у него вполне

гладко. Он усваивал летную науку медленно, зато крепко и навсегда.

Мсчалов припомнил первый самостоятельный полет Щербаня. Обычно и лучшие ученики теряются, когда впервые перестают чувствовать направляющую руку инструктора. Они не могут вести самолет по прямой. Машина тычется, как слепой щенок, мотается, колесит. Со Щербанем этого не было. С трудом одолев теорию, он, взявшись за ручки, не сделал ни одного неверного или суетливого движения.

Взлет он делает превосходно. В воздухе держится хорошо, не трусит, но и не рискует. Не хулиганит. Спокойный летчик, а с посадкой не может справиться.

Это наблюдалось с первого дня и продолжается до сих пор. Как будто боится приземляться, не уверен в расстоянии до воды и в последнюю минуту нервно рвет самолет кверху. От этого посадка выходит тяжелая, на хвост.

Вот и сегодня — вздернул нос кверху, увязил хвост, ляпнулся на левый поплавок, сорвал его на зыби и проломил редан.

Мочалов хмуро крякнул.

Придется особо понаблюдать за Щербанем. Нужно точно узнать причину. Только обнаружив ее, можно будет успешно преодолеть дефект летчика. Может быть, дело в глазомерной ошибке, в ложной оценке расстояния. Бывает, что люди, великолепно определяющие на глаз дистанцию по горизонтали, совершенно лишены вертикального глазомера. Стоя на краю двухметровой ямы, они ошибаются в определении глубины на полметра. На десятиметровой высоте ошибка вырастает до двух-трех метров, а при посадке этого достаточно для катастрофы.

«Нужно будет проверить его,— подумал Мочалов,— в первый свободный день поеду с ним в сопки и повожу по обрывам. Если будут постоянные ошибки в определении глубины обрыва,— значит, собака зарыта здесь. Тогда придется отставить от полетов, пока практикой не исправится вертикальный глазомер. Жалко лишать парня воздуха, но колебаний быть не может. Бить самолеты нельзя.

В воздухе ничего не может быть на авось, на счастье. Все должно быть проверено не только в механизме самолета, но и в механизме летчика. Летное дело не вдохновение, а математика. Летчику нужна храбрость, но быть храбрым можно только на абсолютно выверенной машине, имея абсолютно выверенные движения и чувства».

Мочалов усмехнулся, щурясь от свежего и мокрого ветра, бившего навстречу мотоциклу. Он вспомнил, как утром в аэродромной столовой завязался бурный спор о храбрости и подвиге. Спорили яростно, долго и громко, обнаружив полный разброд мыслей. Спорили по-русски ожесточенно и бестолково.

Храбрость! Подвиг!

Что такое храбрость и подвиг? В воздушном бою шансы на победу дает уверенное спокойствие бойца, а не обреченное удальство гладиатора.

В споре упомянули имя штабс-капитана Нестерова, одного из пионеров русской авиации. Комсомолец летчик Глущенко восхищался героической смертью Нестерова: «Вот так и нужно! Не раздумывая, прямо на врага. Это геройство!»

Мочалов вспылил и сказал, что это не геройство, а нелепость. Но объяснить сразу толково, почему нелепость, не смог.

Сейчас это было ему вполне ясно. Нестеров был прекрасным летчиком и однажды совершил, с точки зрения Мочалова, настоящий геройский поступок. Это было в день, когда, рассчитав теоретически возможность мертвой петли, штабс-капитан Нестеров, не сказав никому ни слова, поднялся с киевского аэродрома, привязав себя к непрочному сиденью Ньюпора обыкновенным погонным ремнем, и, впервые в мире, перевернулся в воздухе со спокойной смелостью, будучи уверен, что выйдет на практике именно то, что было до мелочей рассчитано на листке бумаги в бессонную творческую ночь.

Но — показавшийся многим безумным — этот риск имел свое оправдание. Описанный в воздухе самолетом круг был революцией в авиации, он открывал необычайные возможности для летного искусства. Это был смелый прыжок в будущее.

Нестеров следовал положению Клаузевица: «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть через широкую канаву, мы не начнем с того, чтобы половинным прыжком вскочить на ее дно».

Нестеров сделал сразу большой и рискованный прыжок, удача которого открывала новые пути и новые возможности авиации. Он готов был на смерть ради успеха дела, которому отдал жизнь.

Но тот же Нестеров, в самом начале войны, в первом же незначительном воздушном бою, не раздумывая, бро-

сился на австрийский самолет, как коршун на перепела, но без звериного чутья и прицела птицы, рассчитывающей силу и направление удара интуицией, накопленной веками и передающейся как биологический признак. Обоих летчиков смяло в лепешку на галицийской земле.

Мочалову эта смерть казалась только безумством. Он видел в ней проявление безрассудной удали, характерной для поколения одиноких индивидуалистов. У них не было чувства локтя, ощущения страны и народа за спиной.

Штабс-капитан Нестеров, бросая свой самолет на противника, не продумал последствий этого поступка. Иначе он не кинулся бы таранить врага в случайном и маловажном воздушном бою. Он был асом малочисленных и еще неопытных русских летчиков. Он был нужен русской армии больше, чем другие. И если бы он думал об этом, он был бы обязан беречь как можно дольше тот комплекс уменья и знаний, который был им накоплен. Преждевременной и неоправданной гибелью он обессиливал слабые кадры воздушных бойцов, отнимал у русской авиации часть ее боевой значимости. Он мог летать еще долго, одерживая победы над летчиками противника проверенными на практике боевыми методами. И лишь в полной безвыходности, окруженный со всех сторон, на поврежденной машине, с отказавшим оружием, он имел право, лицом к лицу с неотвратимой гибелью, выбрать наивыгоднейшую в таком положении смерть — падение вместе со сбитым противником.

Храбрость логична. Поступок Нестерова — офицерское сумасбродство, рыцарская выходка одиночки.

Летчик советских воздушных сил должен беречь свой самолет и свою жизнь, чтобы отдать ее без раздумья, но лишь нанеся врагу наибольший урон. И право на смертный риск рождается лишь тогда, когда нет иного выхода...

Мотоцикл влетел в улицу авиационного городка. Лохматая лайка — Мочалов узнал собаку летчика Граве,— захлебнувшись лаем и злостью, пушистым шаром подлетела к переднему колесу и, присев, откатилась, опахнутая вихрем воздуха. Моторист замедлил ход, въезжая в переулок. За зеленым дощатым забором теплым малиновым светом наливалось окно, и Мочалов счастливо вздохнул: Катя дома.

Он вылез из коляски и весело затоптался на месте, разминаясь.

Малиновый свет в окне был для него маяком домашнего тепла. Совсем недавно, нет еще пяти месяцев, он перестал быть один. Маленькая, белокурая женщина — Катя вошла в его две комнаты, и в них сразу стало все по-иному.

— Больше не поедете, товарищ командир? — спросил моторист, отирая кожаным рукавом брызги грязи со щеки.

— Нет! Но на всякий случай — подождите минутку. Может быть, кто-нибудь звонил.

Осторожно ступая, Мочалов взошел на крыльцо, открыл дверь. Ощупью пробрался темной передней к тому мерцающему сиянию, которое видел в окне. Заглянул.

Потрескивая и рассыпая искры, пылают в печи дрова. Перед дверцей на подушке сидит Катя и мурлычет, поколачивая кочережкой по головням.

Прядь волос золотым дымком вьется у ее виска, и трепетные отсветы пламени закругляют скулу. Мочалов неслышно подкрался и, положив руки на узкие ее плечи, запрокинул назад. Катя охнула, оседая.

Мгновенный взблеск испуга в ее зрачках, и, сменяя его, уже просверкали мелкие зубки смехом. Смеясь, Катя откидывается еще больше назад, валясь на руки Мочалова.

— Мочалка! Чертяка милый! Как ты неожиданно... А я хозяйничаю. Сначала сто английских слов отзубрила, потом печки стала топить, а тебя все нет.

Он притягивает Катю к себе. Катины зрачки туманно темнеют, и такой знакомо бессильной, покорной складкой опускаются уголки губ. Но вдруг она отстраняет горячими от печи ладошками захоложенное ветром лицо Мочалова и, чуть задохнувшись, немножко тревожно говорит:

— Мочалов, подожди! Подожди, я совсем забыла. Уже три раза звонил Экк.

Мочалов не слушает и целует Катю, но она выскальзывает из его рук.

— Да постой же! Сказал — немедленно позвонить ему. Очень срочно.

Мочалов огорчен. Так жаль оторваться от милого Катиного тепла, от бессильной улыбки. Слегка раздраженный, он идет к телефону и по дороге привычно приглаживает встрепавшуюся прическу, точно Экк может увидеть ее.

Станция долго не соединяет. Мочалов ждет и косится на Катю. Она подошла к окну и смотрит в густеющие сумерки Силуэт ее в раме окна тонок и нежен.

— Квартира начальника школы? Говорит Мочалов.... Хорошо, жду. Товарищ начальник? Добрый вечер... К вам? Слушаю! Нет, я задержал мотоциклиста.

В сумерках шуршит платье. Мочалов знает — Катя быстро обернулась от окна и прислушивается. Он бросает в трубку последние слова:

— Да, сейчас же еду. Через пятнадцать минут буду у вас.

Он досадливо кладет трубку.

— Мочалов, ты опять уезжаешь? — Катин голос жалобен.

— Я скоро вернусь, Катюк.

Катя секунду молчит. Вздохнув, подходит и трется щекой о плечо Мочалова.

— Когда настанет такая жизнь, чтоб можно было дольше бывать вместе?

Мочалов потрепывает ее по плечу.

— Подожди, настанет.

Катя смеется.

— Но, Мочалка, мы тогда будем старыми обезьянами, и нам не захочется даже смотреть друг на друга.

Катя провожает Мочалова на крыльцо. Совсем стемнело. Синий ковш над головой прозрачно леденеет. В нем тяжелые, чистые звезды. Мотоциклист включил фонарь. Молочный круг дрожит на дороге.

— Мочалов, ты в самом деле скоро вернешься? — спрашивает Катя.

— Думаю. Экк сказал, что разговора на полчаса.

— Я буду ждать. До свиданья.

Захлебнувшись пулеметной очередью взрывов, вскипает мотор. Мочалов усаживается. Сильный рывок. Крыльцо с Катей отлетает назад. Навстречу темь апрельского ночного заморозка. Темный мир пустеет вокруг, становится таинственным, отступает, и только круглое пятно света, прыгающее по гравию шоссе, показывает небольшой клочок живой, осязаемой земли.

«Что случилось?» — думает Мочалов, вглядываясь в темноту. Экк был немногословен: «Немедленно прибыть ко мне... задание исключительной важности».

Что может быть? Неужели война?

Мочалов напряженно смотрит налево, на восток. В темноте мерещится тусклое мерцание, чешуйчатое, как кольчуга. Океана не видно, но влажное и шумное дыхание его обвевает шоссе. Над самым горизонтом зеленая звезда мед-

ленно мигает. Кажется — неведомый притаившийся корабль сигнализирует клотиком.

Может быть, там и в самом деле притаились корабли, и пушки их, бесшумно ворочаясь в ночи, щупают притихший берег.

За горизонтом, под зеленой звездой, залегли гористые, непрочные, часто сотрясаемые земными судорогами острова. Горбатые спины делают их похожими на пригнувшихся перед прыжком зверей. Бухты и гавани островов заполнены низкими, тяжелыми силуэтами серых кораблей.

Серые корабли заволакивают дымом цветущие островные побережья. Тяжелые транспорты расталкивают брюхами морские хляби, переползая проливы и высаживая на континенте полки, бригады, дивизии солдат, похожих на заводные игрушки, под командой юрких и наглых офицериков. Они рассматривают большую землю щелевидными, ненасытными, все вбирающими глазками.

Мочалов знал и ненавидел эти глаза. Черные бисеринки с сухим блеском каменного угля, пристальные и ничего не говорящие, они упирались в глаза собеседника беспокойным жальцем штыка, оставаясь вежливо неподвижными, пока в них смотрят. Но стоило отвернуться, и бисеринки оживали, норовили заглянуть куда не полагается, юлили и вертелись с примитивным, почти целомудренным цинизмом голодной крысы. В их безвлажном блеске горела тогда неутомимая жажда стяжания и тупая каменная жестокость.

У Мочалова перехватывало дыхание от ненависти. Он видел в этих узких щелках средневековую темь, едва прикрытую тонкой пленкой свежего лака. В этой тьме копошились смутные и мучительные тени трехлетних малюток, продаваемых родителями в уплату аренды помещику, призраки ребят, покупаемых в рабство текстильными и металлургическими магнатами, фантомы тринадцатилетних девочек, отдаваемых в голодные годы за чашку риса для страшной жизни на загаженных следами самцов всех наций матрацах Иошивары.

Тогда Мочалов бледнел от злобы и гнева. Он переживал судьбу этих призраков. Он голодал, болел, изнемогал от побоев и пыток и умирал вместе с ними.

Жизнь и школа вдохнули в него навсегда чувство великой близости и связи со всеми раздавленными угнетением. И его двадцатичетырехлетнее сердце разгоняло по

телу вместе с кровью огромную пронзительную ненависть к угнетателям.

Нервный холодок боевого возбуждения мурашками прошел по спине Мочалова.

Навстречу бежали белые огни аэродрома. В окнах домика Экка светло и весело горело электричество. Начальник школы не хотел переезжать в новый городок и остался на аэродроме, которому отдал всю любовь стареющего летчика. Он переделал под квартиру барак бывшего общежития инструкторов.

Мочалов еще на ходу выпрыгнул из коляски и с разлета взбежал по гулким деревянным ступеням.

2

Экк поднял от разложенной на столе карты зоркие с желтыми искорками зрачки.

— Задание понятно?

Мочалов кивнул. Он не мог выговорить слова, голос отказывался повиноваться. Он был ошеломлен. Мальчишеская гордость распирала ему ребра, готовая выхлестнуться из тела каким-нибудь фортелем. Хотелось запрыгать, кувырнуться через голову, пройти на руках, и нужно было все самообладание, чтобы сохранить спокойствие выдержанного и дисциплинированного командира.

— Я понимаю,— сказал Экк,— что вам приятно было бы лететь на наших машинах. И мне это было бы приятней, такой полет — прекрасный экзамен для материальной части. Но, к сожалению, это невыполнимо. Подготовка наших машин к такому заданию требует времени и полного обеспечения. Но ждать нельзя. Дороги каждые сутки.

Мочалов раскрыл рот — и снова ничего не сказал. Он хотел заявить, что готов лететь без всякого обеспечения, но вспомнил свои собственные мысли о храбрости и подвиге полчаса назад и удержался.

— Я уверен,— Экк кропотливо сложил карту,— что с американскими машинами вы справитесь не хуже, чем со своими. Досадно, что мы будем создавать рекламу капиталистической фирме, но что же сделаешь... Теперь будьте готовы. В семь утра выедете во Владивосток. Пароход в Хакодате отходит в одиннадцать тридцать. К отходу парохода получите для всех документы и чековую книжку на калифорнийский банк. Все это будет приготовлено во Владивостоке. Понятно?

— Так точно,— ответил Мочалов, думая о другом.

— Самолеты приобретете в Сан-Франциско и оттуда поведете прямо в Ном. Вас удовлетворяют люди, которых я вам даю? Повторю еще раз: вторым пилотом на другой самолет Марков, запасным пилотом Блиц. Штурманами Саженко и Доброславин. Вы начальник с полной властью и ответственностью.

— Товарищ начальник школы,— Мочалов выпрямился, глуша волнение,— состав людей для меня вполне приемлем. Разрешите только доложить, что я хотел бы вместо Саженко получить Куракина. Задание исключительно сложное, и я хотел бы иметь лучшего из наличных штурманов.

Экк, прищурясь, вертел в руках сложенную карту.

— Куракина вы не получите, летчик Мочалов,— сказал он суровым командирским тоном и сейчас же, встопорщив седеющие стриженые усики, усмехнулся.

— Ты мне не дури,— продолжал он, переходя на ты,— не дури. Смотри, пожалуйста, какой завидущий! Давай ему лучшие машины, лучших пилотов, лучшего штурмана. До чего изнахалились, щенки! Полетать бы вам в наше времечко на гробах, хотел бы я вас, сукиных котов, видеть. А не хочешь ли на «Сопвиче» слетать, а вместо штурмана — капитана с астраханского буксира? Вот! Куракина я тебе не дам. Почему? Потому что не считаю нужным начисто обескровливать школу в тревожное время. Полагаю, что лучшего штурмана могу удержать при себе, доверяя задание лучшему летчику. Разумная экономия сил. Понял?

— Есть, товарищ начальник,— Мочалов опустил глаза, чувствуя, как загораются щеки. Экк редко хвалил в глаза и раз сделал это — похвала была как неожиданный и ценный подарок. И то, что Экк заговорил с ним на «ты», было признаком большого внутреннего волнения самого Экка. Он так обращался к своим командирам, только когда ощущал их не как подчиненных, а как свою семью, своих родных ребят.

— Счастливого пути! — Экк стиснул руку Мочалова большой теплой, полной силы ладонью.— Всякого тебе успеха. Я за тебя совсем спокоен.

Это было высшей похвалой, и Мочалов ответил начальнику таким же порывистым рукопожатием, взглянув ему прямо в глаза. Экк улыбнулся.

— Вижу... Хочешь спросить и не решаешься. А я вот угадал о чем. Почему я выбрал тебя, самого молодого? Правда?

Мочалов утвердительно кивнул.

— Потому, сынок,— Экк положил руку на плечо Мочалова,— что эту самую молодость твою я люблю. Особенная она, твоя молодость, не такая, как наша была. Молодость нового человека. Трезвая, счастливая, ясная. Умней прежней старости... Ну, ступай... О жене не беспокойся, сам поберегу,— добавил он, опять угадывая не сказанное Мочаловым,— и поедешь домой в машине, нечего на драндулете мотаться, устанешь. Я свой «газик» тебе вызвал. Прощай. Сбор без четверти семь в столовой, оттуда и выедете. Я приду еще проститься.

Мочалов вышел. У ступенек, отражаясь в ледке подмерзшей лужи, тихо рокотал автомобиль.

— Держись крепко, Мочалов! — услыхал Мочалов оклик Экка вдогонку тронувшейся машине.

— Есть держаться крепко,— он помахал рукой Экку и захлопнул дверцу.

Лампочка смутно освещала кабину. Мочалов засунул руку во внутренний карман куртки и, напрягая зрение, всматриваясь в танцующие буквы, перечел копию правительственной телеграммы, полученной Экком из Москвы.

В телеграмме сообщалось, что северо-западнее мыса Йорк, на семьдесят третьем градусе северной широты, потерпело аварию судно гидрографической экспедиции «Коммодор Беринг», люди с которого высадились на дрейфующий лед. Правительство приказывало начальнику школы в двадцатичетырехчасовой срок выделить из летного состава экипаж двух самолетов и немедленно отправить его через Хакодате в Сан-Франциско, где начальнику экспедиции поручалось приобрести два самолета полярной службы, взять заготовляемую торгпредством теплую одежду и продовольствие и перебросить все это потерпевшим. По выяснении возможности посадки на лед начальнику экспедиции предписывалось срочно приступить к снятию людей со льдов и доставке на берег.

Три подписи заканчивали телеграмму. Мочалов никогда не видел подписавших, но имена их были так близки, что за печатным текстом люди эти стояли живыми и он слышал их голоса, передающие ему приказ.

Он спрятал телеграмму. Опять чувство особенной гордости вспыхнуло в нем.

Этой телеграммой и ласковым, заботливым голосом Экка с ним разговаривала страна, которую он любил, как мать, и которой был обязан больше, чем матери.

Страна доверяла ему, Мочалову. Страна звала его на подвиг.

— Подвиг? Чепуха! — вслух сказал он и засмеялся.— Какой подвиг? Только первый взнос в уплату долга.

Он знал, что за свою недлинную жизнь он много задолжал стране. С семилетнего возраста, когда он был жестоко вовлечен в круговорот бытия, он всей своей судьбой, существованием, прошлым, настоящим и будущим был обязан стране, тому громадному, в муках и крови рожденному организму, который сейчас так легко и понятно укладывался для него в четыре буквы — СССР.

Эта страна заменила ему мать, повесившуюся от страха казачьей порки перед всем селом, и отца, расстрелянного дроздовцами. Ее заботливые и настойчивые руки много раз снимали с поездных площадок и буферов лохматого, растерзанного, вшивого мальчишку, мыли его, одевали, поселяли в теплом доме, из которого он бежал, как лесной звереныш из клетки, в тоске по холодному и опасному, но родному лесу. И опять эти руки терпеливо, умело и ласково приводили его обратно, пока он не почувствовал в их неутомимой опеке подлинное тепло и не остался, успокоенный и притихший, но еще недоверчивый, в стенах, которые начали казаться ему нестрашными.

Страна учила его ходить, видеть, слышать и понимать. Страна оберегала каждый его шаг, и его инстинктивное недоверие загнанного волчонка рассеивалось понемногу.

Он исподволь привязывался к облупленному особняку детдома, к старухе заведующей, мучимой постоянными флюсами. Он уже не сыпал больше соли в чай нянькам и не бросал дохлых кошек в окно к стонущей от зубной боли старухе.

Однажды она стала читать своим буйным питомцам вслух. Он настороженно примостился у двери, с презрительной гримасой на губах. Подумаешь дело — книжки слушать! Но, слово за словом, читаемое захватывало его. Он придвинулся ближе и стал тяжело и часто дышать. Его кулачонки стиснулись, гримаса подвагонного Чайльд-Гарольда сползла с губ, а в глазах защемило солью. Он слушал «Гуттаперчевого мальчика» до конца, и когда старуха закрыла книгу, он не поверил, что это конец. На следующий день, с клятвами, что ничего не сделает с книгой, он

выпросил ее и вторично перечел, забившись в угол, помогая себе руками и губами.

В этот миг он родился вторично и с жадностью опоздавшего стал наверстывать растерянные годы. И опять заботливая и терпеливая рука страны вела его по новой дороге, пока не вручила беспризорному Митьке Мочалову диплом на звание морского летчика.

С этого дня он стал на ноги без костылей. Он вошел в жизнь легким и уверенным шагом прозревшей молодости. Материальная забота страны кончилась, но с ним навсегда осталась великая моральная сила товарищества, горячая спайка комсомола, раз навсегда расплавившая его одиночество. Где бы он ни находился теперь, он знал, что рядом всегда найдет такую же уверенную молодость, вместе с которой не страшно ничто.

Он перебросился мыслью от этих воспоминаний к завтрашнему дню.

«Экк выделил отличный состав. Марков — перво́классный летчик, хотя нервен и с интеллигентскими странностями. Интеллигентскими в плохом смысле. Блиц — твердый и спокойный парень — замечателен неразговорчивостью. Делает все молча. Оба штурмана дело знают. Лучше бы, конечно, получить Куракина. Но Экк прав. Что ж, можно обойтись и без Куракина».

Одно было досадно — необходимость взять бортмехаников в Америке, знакомых с самолетами. Хотя они и лучше знают свои машины, все же это чужие люди, с чужой психологией. Кроме того, ни он, ни другие пилоты не владеют настолько английским языком, чтобы свободно объясняться с американцами. А в полете необходима полная уверенность, что тебя поймут с полуслова.

— А, справимся, черт возьми,— сказал он, усмехнувшись.

Не боги же горшки обжигают. И до Америки еще шесть суток — можно успеть вызубрить по английскому авиационному словарю назубок технические термины. Самое главное, не ошибаться в названиях частей и приборов. А склеить фразу не так уж трудно.

— Справимся,— повторил он, откинулся на спинку сиденья и, сложив губы бантиком, засвистал.

Это был мотивчик, который привязался к нему, как привязывается к человеку бесхозяйный песик где-нибудь в глухом переулке, неотвязно крепко. В веселом и частом темпе было нечто бодрящее. Мотивчик этот Моча-

лов услыхал впервые на запакощенном перроне одной из станций, отмечавших этапы его сиротства и первоначального одиночества.

Из вагонов выгружался матросский эшелон. В пяти километрах засела банда неведомого атамана. Матросы были присланы из города покончить атаманские похождения. Они выстроились на платформе, загорелые, большелобые от сдвинутых на затылки бескозырок. У них не было никаких инструментов, кроме гармонии в руках курчавого парня в тельняшке и надтреснутой флейты у другого. Но нужно было показать запуганной станции боевую матросскую лихость, и с первым шагом отряда в два голоса залились баян и флейта, и в две сотни глоток подхватили напев матросы.

Из всей песни Мочалов, жадно кромсавший зубами брошенный ему одноглазым боцманом волшебно вкусный ломоть сала, запомнил только мотив и четыре строки:

Долог путь до Типперери,
Долог путь — четыре дня,
Но зато красотка Мери
В Типперери ждет меня.

Странное слово «Типперери» долго оставалось для Мочалова загадкой, вроде наговорного шаманского выклика, да он и не стремился узнать, что это такое. Узнал уже в летной школе и даже удивился, что такое необычайное сочетание букв скрывало за собой невидную английскую деревушку, случайно попавшую в военную песенку и, волей случая же, облетевшую весь мир.

Даже и эти слова Мочалов в конце концов позабыл, и осталась только бравурная, лишенная смысла мелодия, которая всегда сама собой навертывалась в минуты раздумья или труда. В памяти его она была навсегда связана с освежительной бодростью июньского утра и тяжелым шагом матросов.

— Приехали, товарищ командир!

Мочалов встряхнулся. Автомобиль уже несколько секунд стоял у дома, и шоферу показалось, что командир дремлет.

Мочалов простился с ним. В окнах было темно. Мочалов взглянул на браслет. Зеленые фосфорные иглы стрелок показали половину второго. Он просидел у Экка пять часов вместо получаса. Конечно, Катя легла, не дождавшись его. Жалостная нежность к Кате охватила Мочалова.

Он тихо открыл дверь, на носках вошел в прихожую, ощупью повесил куртку и, сняв сапоги, пошел внутрь. Прошел первую комнату, половицы тихо поскрипывали под шагами. В спальне смутно виднелись постели. На Катиной — одеяло поднялось горбиком. Мочалов подошел, прислушался. Катя дышала ровно, казалось, тепло ее дыхания доходит до его губ.

Ему стало жаль будить ее, и в эту секунду он впервые осознал, что завтра разлучится с Катей, может быть, навсегда, и ни Катя больше не увидит его, ни он ее.

У него часто забилось сердце и внезапно пересохли губы. Стало тревожно, и, гоня эту ненужную тревогу, он нащупал и повернул выключатель. Бело и ярко полыхнул свет. Катины ресницы вздрогнули, но сон еще цепко держал ее.

Мочалов нагнулся к ней, спиной закрывая от лампы. На пушистой ребяческой щеке Кати тлела нежная воспаленность румянца, у ключицы легкими толчками билась кровь. Правая рука была сжата в кулачок, как будто Катя во сне поймала птицу-счастье и крепко держала ее.

— Кит,— тихо позвал Мочалов и коснулся ее плеча.

Она пошевелилась, поворачиваясь на спину и вытягиваясь, и приподняла веки. Глаза, наполненные сном и отсутствующие, ожили и потеплели.

— Мочалка, ты — свинья,— проворковала она, протягивая к нему руку,— ты не любишь жену, Мочалов, и шляешься до утра. Уходи вон, плохой!

А рука легла уже на шею Мочалова и тянула к себе. Он сказал нарочито спокойно:

— Ты врешь, жена Мочалова. Я тебя люблю. Но я еду далеко-далеко. Мне осталось очень мало быть с тобой. Помоги мне уложиться.

Катина рука упала на одеяло, и она быстро села на постели. Смотрела на Мочалова, часто мигая. Воспаленность сошла с ее щек, и рот раскрылся.

— Куда?

В коротком вопросе было столько испуга и тревоги, что Мочалов смутился.

— Меня назначили в полет. Погибает наша экспедиция на севере. Нужно вывезти людей со льда,— овладев собой, выговорил он, гладя Катино плечо.— Мы уезжаем в полседьмого во Владивосток, а оттуда в Америку. Уложи мне белье, мелочи. Страшная спешка.

Катины глаза, не отрывавшиеся от него, медленно ту-

скнели, затмевались влажностью, и он понял, что сейчас хлынут слезы. Чтобы предупредить их, он сказал твердо и настойчиво:

— Ты знаешь, что меня в любую минуту могут послать не только в полет, но и прямо в бой. Крепись, Кит!

Катя опустила голову. Одна капля тяжело сползла, упала на ключицу, темным кружком расплылась по полотну рубашки. Катя провела тыльной стороной кисти по глазам и, откинув одеяло, спустила ноги на пол, ища туфли. Мочалов надел их ей.

Катя прислонилась головой к его гимнастерке и тихо сказала:

— Я знаю, Митя... Извини. Это от неожиданности. Сразу после сна. Я сейчас все сделаю.

Она вскочила и мелкими, но четкими шажками перешла комнату и, нахмурив бровки, открыла шкаф.

— Принеси чемодан из прихожей,— полуобернувшись, уже по-женски деловито, сказала она Мочалову.

Он пошел за чемоданом, растроганный и взволнованный.

То, что она назвала его Митей, а не Мочаловым или Мочалкой, как всегда, показывало серьезность ее отношения к случившемуся. Шутливая ласковость обычных названий показалась ей неуместной. Как в нем самом, так и в Кате, после мгновенного испуга и волнения, взяло верх над слабым, над женским и личным, то чувство внутренней дисциплины, которое так свойственно было и Мочалову, и ей, и всей молодежи, выросшей вместе с ними.

Пусть трудно подавить в себе личное чувство, внезапную горечь отрыва от только что обретенного тепла, ласковости, предельной человеческой близости, но нужно его подавить, когда человека требует большое, перекрывающее его собственные переживания, дело. Мочалов понимал, что волнение Кати не угасло, что оно не может угаснуть, что она потрясена, но это уменье справиться с темным и непокорным голосом сердца облегчало ему самому тяжесть разлучных минут и рождало в нем еще бо́льшую благодарность и близость к Кате.

Он сидел и курил, смотря, как Катя, на корточках, ловко и скоро наполняла пустое брюхо чемодана нужными вещами. Они были покорны ее рукам и укладывались каждая на свое место.

Мочалов удивлялся. Он никогда не мог овладеть загадочным искусством находить место вещам. Поездка всегда

была для него мучением, а укладка вещей пыткой. Все эти штуки оживали, злобно упрямились, вырывались из рук, пока в неистовой злости, комкая все и танцуя на чемодане, Мочалов не побеждал их дикое упрямство. Катя обращалась с вещами, как опытный дрессировщик со зверьем. Вещи рычали, но подчинялись.

— Книжки тебе положить, Мочалов? — спросила Катя.— Может, скучно будет в дороге, захочешь почитать?

— Некогда скучать будет,— ответил Мочалов,— возьму только авиационный словарь и, пожалуй...

Он встал и подошел к книжной полке, перебегая взглядом по корешкам. Здесь, прижавшись друг к другу, стояли его лучшие друзья. С того дня, как он прочел «Гуттаперчевого мальчика», книги навсегда стали для него необходимыми, как воздух, и он приобретал их сколько мог.

Пальцы Мочалова перетрогали последовательно несколько корешков книг. Он выдвигал их наполовину и задвигал обратно, ища такую книгу, которая отвечала бы его настроению, его мыслям, его чувству.

И он нашел ее. Он вынул Диккенса, «Повесть о двух городах». Эта вещь некогда дала ему высокое опьянение трех бессонных ночей. И она была связана с Катей. Когда Мочалов впервые увидел Катю на шефском вечере в техникуме, он даже зажмурился — так показалась она ему схожей с обликом дочери несчастного доктора, обликом, который он сам выдумал.

Он подошел к Кате и бросил поверх уложенных вещей словарь и Диккенса. Катя захлопнула чемодан.

— Все!

Она поднялась и зябко повела плечами. Видимо, от волнения и оттого, что она была в одной рубашке, ей стало холодно.

Мочалов смотрел на нее, белую, легкую. В жизнь его она вошла как лучший подарок. В беспризорном прошлом женщина была для него источником темного страха. Первое ощущение женщины осталось в его памяти отвратительным пятном: в трубах московской канализации пьяная, растерзанная, догнивающая маруха ночью навалилась на него, двенадцатилетнего. Он едва вырвался, всадив изо всей силы крепкие волчьи зубы в ее вялый живот. После этого он с нервной дрожью убегал от каждой женщины, пытавшейся просто от жалости приласкать его. Позже это прошло. Во время учебы в летной школе, на юге, у него были связи, как и у других курсантов. Связи эти, чаще

всего с курортницами, шалевшими от моря и солнца, были легки и бесследны. Мочалов относился к ним как к пустой забаве. Они проходили, как утренняя дымка над заливом, и даже лиц этих женщин, их голосов и жестов он никогда не помнил.

Катя пришла к нему иначе. И он впервые почувствовал то странное томление, над которым потешался он сам и его сверстники, как над пережитком разгромленных и уничтоженных чувств. С прежними женщинами он мало разговаривал. С Катей он мог говорить часами, ночами напролет, не прикасаясь к ней, не чувствуя усталости, все крепче связываясь общностью мыслей, желаний, порывов.

И когда он весь отдался этой непривычной, захватившей его близости, он бесстрашно стал выговаривать еретическое слово «любовь».

Катя была любовь. И этого нечего было стыдиться.

— Тебе надо хоть немного поспать, Мочалов,— сказала Катя, сладко потянувшись, и прыгнула в постель, натягивая одеяло.

— Нет смысла. Только раскисну.

Он присел на край ее постели. Катя завладела его рукой, перебирая пальцы.

— Ох, как много хочется сказать тебе, Мочалов. И не знаю что. Мысли скачут. Как ты думаешь, можно сейчас говорить только о своем, о личном? У наших писателей сознательные муж и жена перед разлукой обязательно говорят о смене руководства профкома или преимуществах многополья. Но мне не хочется говорить об этом, и, по-моему, они глупцы и лжецы, которые никогда не знали настоящей близости. Ты знаешь, что мне хочется сказать тебе, Мочалов,— она посмотрела на него ясными глазами,— что я жалею об одном. О том, что ты уходишь неожиданно, неизвестно куда и на сколько, а я остаюсь совсем одна. А мне хотелось бы сразу ждать двоих, тебя и сына... Видишь, какая я жадная. Ты не думай, что я не буду скучать о тебе, Мочалов. Я сейчас держусь, чтоб тебе было легче. Но когда тебя не будет, я буду много плакать, и мне вовсе не стыдно. Это тоже ложь, Мочалов, что комсомолке нельзя плакать. Ведь ты мой, Мочалов?

Мочалов осторожно сжал Катины пальцы. Он не слишком вникал в смысл ее слов, ему был приятен смятенный Катин лепет, дрожание ее руки. Катя клонилась к нему, и голос ее становился все тише.

— И зачем я стану говорить тебе какие-то торжественные слова, когда я знаю, что ты умней и опытней меня, Мочалов. Я знаю, что ты ведешь меня, что я уважаю твое дело, что я вместе с тобой всей кровью предана нашему общему делу. Я даже рада за тебя... Но все-таки мне страшно, если... если ты не вернешься. Я не хочу этого. Береги себя, Мочалов, милый!

Тоненький локоток ее трепетал у самого сердца Мочалова. Он обнял ее, потянулся и выключил свет.

Оставались последние, краткие минуты перед разлукой.

3

Бронзовая пепельница-дракон все время сползала на край стола. Старый японский стимер «Садао-Мару» валяло океанской волной, и Мочалову поминутно приходилось отодвигать пепельницу к середине. Это немного раздражало и отвлекало внимание.

Он сидел на койке каюты рядом с Блицем. Штурманы расселись в креслах, второй пилот Марков лежал на верхней койке.

Мочалов читал вслух названия частей самолета по авиационному словарю, летчики записывали, повторяя вслух.

— На сегодня хватит! — Мочалов захлопнул словарь и прикрыл им сползающую пепельницу.

— Считаю нужным предупредить,— продолжал он, обводя глазами лица товарищей,— через три часа мы придем в Хакодате. Надеюсь, все понимают, что из этого следует? Прошу всех быть чрезвычайно осторожными в каждом шаге и слове... Особенно, товарищи, насчет этого,— Мочалов усмехнулся и щелкнул себя по кадыку.

Летчики переглянулись. Саженко покраснел, закашлялся и заскреб ногтем пятнышко на брюках — знал за собой грех.

— Новые штаны не продери,— с насмешливой заботливостью обронил Мочалов,— других не выдадут. А насчет горячительного — потерпи до дома. Сообщаю как начальник, что малейшее злоупотребление напитками поведет к отстранению от полета, с высылкой назад и отдачей под суд.

Он придал голосу возможную сухость и жесткость.

— Да чего ты на меня уставился? — жалобно сказал Саженко.— Другие тоже пьют.

— Пьют, да меру знают, а ты иной раз перехлестываешь.

— Вот честное слово, в рот не возьму,— вздохнул Саженко.

— Этого не требую. Возможно, придется быть на каких-нибудь банкетах — за границей это любят. От тоста не откажешься, но держи себя на поводу. Помните, что и кого мы будем представлять. Америка нас знает. Там были Громов, Леваневский, Слепнев. После них нам мордой в грязь ударить — смерть.

Летчики молчали, но в спокойных их чертах Мочалов прочел те же мысли, которые владели им в эту минуту.

С каждой минутой они все больше отделялись от родины и утрачивали непосредственную, живую связь с ней. Они становились крошечным островком в настороженно-враждебном мире. Тем крепче должна становиться внутренняя, незримая спайка с оставленным на родном берегу, за зеленой дорожкой, прорезаемой в море винтами «Садао-Мару». Эта спайка должна поддерживать их всех и каждого в отдельности в трудные минуты.

А трудные минуты скоро наступят. Все ближе чужой берег, берег притаившихся островов, с которых ежеминутно можно ждать удара.

Мочалов поглядел в иллюминатор. За круглым стеклом мерно раскачивалась вода цвета голубиного крыла. Над нею висел плотный, мокрый туман.

— Все-таки как же нам придется лететь? Курс, маршрут, места посадок? Тебе это известно? — спросил Доброславин, выколачивая пепел из трубки.

— Пока мне известна лишь основная задача. Подробности, очевидно, мы узнаем или в Сан-Франциско, или уже на Аляске. Считаю нужным, товарищи, условиться, что все вопросы, связанные с нашим перелетом, мы будем обсуждать по-товарищески, сообща. Но одновременно ставлю в известность, что правами командира я буду пользоваться в полном объеме и единолично. Есть у кого-либо замечания?

— Чего же замечать? — отозвался Саженко.— Зря трепаться не стоит. Пока не имеем всех деталей задания, можно лишь сказать: «Приказ приняли и выполним».

— Блиц, у тебя никаких вопросов? — Мочалов подтолкнул локтем соседа.

Блиц все время выписывал пальцем сложные узоры по коечному одеялу. Он медленно поднял голову, водянистые

зеленоватые глаза его были затянуты мечтательной дымкой. Он секунду смотрел на Мочалова, неторопливо мотнул головой справа налево и опять заелозил пальцем по одеялу.

— Незаменимый оратор для торжественных заседаний,— засмеялся Саженко,— не человек, а радость аудитории. Никогда не выйдет из регламента и не обременит стенографисток.

— Марков, а ты ничего не имеешь сказать? — Мочалов запрокинул голову кверху. Над ним из-за рамы койки свешивалось цыганское лицо Маркова. По нему прошла гримаска иронического равнодушия. Он нарочно сладко зевнул.

— Укачиваюсь,— сказал он, не отвечая на вопрос Мочалова,— в воздухе никогда, а как на воду попаду, так и мутит.

Он достал из-под подушки стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок, похожих на зернышки риса. Нагнувшись, поймал их губами и сунул трубочку под подушку.

— Гомеопаты советуют от морской болезни,— и, проглотив крупинки, нехотя, с некоторым раздражением, — только Мочалов, внимательно следивший за каждым движением беспокойного марковского лица, уловил это раздражение,— добавил: — Присоединяюсь к мудрым речам Саженко. Зря трепаться не стоит. Раз приказали, расшибай лоб, и все тут.

— Ладно! Все свободны, товарищи. Рекомендую в предвидении Хакодате всем пересмотреть свои вещи и особенно карманы платья. Не должно быть никаких документов, кроме заграничных паспортов. Поэтому проглядите сейчас же, не завалялись ли какие-нибудь бумажки, вроде мопровских или осоавиахимовских билетов.

Летчики, за исключением Маркова, сожителя Мочалова по каюте, направились к двери. В ее пролете Блиц обернулся и, подумав секунду, спросил медленно, выдавливая из себя каждое слово:

— Книги... можно?

— Смотря какие. Что ты взял?

— «Коммунистический... манифест».

Мочалов вскочил с койки и взглянул на Маркова. Тот усмехнулся. Тогда Мочалов разъяренно надвинулся на Блица.

— Ты что же? Чем соображаешь? Ну, скажи, зачем тебе понадобилось совать в чемодан «Коммунистический манифест», выезжая за границу?

Блиц горько вздохнул. Нужно было объяснить — он не любил тратить слова. Покраснев от натуги и помогая себе жестами, он сказал:

— Я... просыпался... на... проработке... Думал... подчитать...

Он опять вздохнул и поник, устав от длинной речи.

— Жил индюк. Он много думал и издох от этого,— в негодовании сказал Мочалов,— ты ему не сродни часом? Вот что, пойди в каюту, возьми книгу и спусти за борт, через иллюминатор.

Блиц отступил. В мечтательной дымке его глаз вспыхнул испуг.

— «Коммунистический манифест»? — произнес он с недоверием.

— Да! «Коммунистический манифест», на проработке коего ты просыпался. По правде сказать, я с бо́льшим удовольствием выкинул бы за борт тебя. Одна буква манифеста умнее тебя всего с ботинками и фуражкой. Но, к сожалению, ты нужен мне в качестве запасного пилота, и придется тебя сохранить. Чем у тебя, в самом деле, башка набита, Блиц? Неужели не соображаешь, что этой книги в чемодане довольно, чтобы в Хакодате нас всех замели. Пойди выбрось.

Блиц не тронулся с места.

— Сам выкинь... Я не могу... я... беспартийный...

— Слушай, Блиц,— Мочалов озлился,— прекрати валять дурака! Я приказываю тебе немедленно выбросить книгу в Японское море. Принимаю на себя ответственность, но гарантирую, что по возвращении я устрою тебе такую проработку за дурость, что тебе небо с овчинку покажется. Исполнить приказание!

— Есть исполнить приказание.— Блиц вздохнул в третий раз, скорбно и долго, словно жизнь выходила из него со вздохом, и скрылся.

Мочалов захохотал:

— Вот балда! Хорошо, что успели предупредить. А то в прошлом году, в Кобе, на нашем лесовозе японские фараоны увидели у помощника на столе военные письма Энгельса. Только через полпредство на третьи сутки высвободили парня. Вообрази Блица в японской кутузке. Вот где заговорил бы!

Марков не поддержал смеха. Он лежал на спине с портсигаром в руках и то открывал, то захлопывал крышку. Лицо у него было безразличное.

Мочалов остановился у койки.

— Послушай, Марков, что с тобой? Ты нездоров или не в духе? У тебя был какой-то неприятный тон, когда ты ответил на мое предложение высказаться странной фразой: «Приказано — расшибай лоб». Ответ пахнет старой солдатчиной. В чем дело?

Марков резко щелкнул портсигаром и соскочил с койки.

— Ничего особенного,— он засунул руки в карманы и прислонился к стене,— неважное настроение, и ничего больше.

— Видишь ли,— после паузы сказал Мочалов,— я не люблю лезть в чужую душу. Там, дома,— он ткнул рукой в направлении кормы,— я больше не стал бы расспрашивать. Всякий имеет право на плохое настроение. У каждого свои печали. Мне, например, было очень печально расставаться с Катей. Но я оставил печаль на берегу. Сейчас я не имею на нее права потому, что в руках громадное дело, которое требует от меня ясной головы и полного самозабвения. И никто из нас сейчас не имеет права на плохое настроение. Если оно появляется, я, как начальник, должен знать его причину.

Марков пожал плечами. Левый глаз его внезапно и неприятно закосил. Мочалов знал, что это признак нервного возбуждения. Он спокойно ждал ответа.

— Спасибо за урок,— Марков насмешливо оскалил зубы,— ты хороший педагог-методист. Я это понял, когда ты только что читал нам наставления, как вести себя, когда это каждому ребенку известно.

Мочалов удивленно посмотрел на товарища.

— Почему ты злишься? Допустим, ты отлично понимаешь, как нужно себя вести за границей, ты был уже в Китае. А остальные впервые переступают рубеж. Саженко и дома не всегда умеет оставаться в границах, и я даже просил Экка заменить его Куракиным. Ему, Блицу, Доброславину небесполезно выслушать то, что я сам выслушал. Я же не обиделся. А ты сам видел, что Блиц уже наглупил.

Марков чиркнул спичку и поднес к папиросе. Пальцы у него дрожали.

— Знаешь, Мочалов, давай условимся. У меня нет никаких претензий, что ты мой начальник, хотя тебе двадцать четыре, а мне тридцать шесть. Экк был прав, назначив тебя командиром. Несмотря на молодость, у тебя есть

воля и неспособность к долгим раздумьям. Я буду беспрекословно исполнять твои приказания в деле, но будь любезен мои личные переживания, не касающиеся службы и тебя, оставить только мне. Я в них разберусь лучше тебя.

— Наверное,— спокойно согласился Мочалов,— разберешься ты лучше. Но устранять вредные личные переживания удобнее вместе. Я до пятнадцати лет очень гордился одиночеством. А потом понял, что одиночество — самая мучительная поза. Я отвечаю не только за самолеты, но и за людей. И не считаю возможным, чтобы управление машиной было в руках человека с подавленной психикой.

— Что же? Ты угрожаешь не дать мне самолета? — повысив голос, спросил Марков

— Брось, Марков! Грозить товарищам не в моих привычках, и я так вопроса не ставлю. Пока! Но если я буду видеть помеху для дела в дурных настроениях, я без всяких угроз сниму с полета любого, в том числе и тебя. А пока я просто хочу понять, что тебя раздражает.

— Похвальная настойчивость,— Марков досадливо скривился,— могу удовлетворить твое командирское любопытство.

Он сел в кресло, высоко подняв плечи.

— Я сказал, что ты не способен к долгим раздумьям. Это не в обиду, а в похвалу. Это свойство — преферанс твоего поколения. Я бы за него дорого дал. У вас ни одного корешка в прошлом и никакой раздвоенности. Вас посеяли прямо в плодоносную почву, добытую старшими, и вы пошли в рост с завидной быстротой. А мое поколение попало в эту почву, когда она была истощена и на ней произрастали только война и голодовка. Мы своими корнями первые угнездились в ней, и от нас отрезали много веток, чтобы привить вам, таким жизнеспособным, дичкам. Мы потеряли много ростков, чтобы обеспечить вам счастливый и уверенный рост под солнцем. Вероятно, старый дуб радуется, видя у своих засыхающих корней юный и здоровый дубняк. И мое поколение радуется вашему росту, но иногда у нас начинают болеть отрезанные ветви, и тогда нам становится горько, что мы поторопились родиться и для нас уже закрыты бесконечные возможности, которыми владеете вы. Ведь живут пока только раз, Мочалов! Ты понимаешь это?

— Понимаю,— кивнул Мочалов,— но не могу уяснить связь твоих слов с предыдущим нашим разговором.

— Может быть, прямой связи и нет. Но ты вот счастлив, что тебя, двадцатичетырехлетнего, сегодняшнего, послали в полет, из которого семьдесят шансов — не вернуться. А я не испытываю никакого удовольствия, никакой гордости. Почему? Ты подумаешь, что я трушу. Да нет! Я летал на дровяных сараях, которые назывались по недоразумению самолетами, и не боялся. Я давно утратил эту способность. Но, видишь — у нашего предприятия могут быть два исхода: удача или гибель. И я трезво анализирую, что я получаю в том и другом случае. Удача для меня уже опоздала, года через два я прощаюсь навсегда с воздухом, и мне останется только переживать воспоминания. А гибель! Гибель для меня преждевременна, за мной большое прошлое, которого мне жаль. Ты еще не успел узнать вкуса жизни, и гибель не пугает тебя, у тебя нет биографии. Удача откроет тебе ее первую страницу, для меня она только подведет черту, конечную черту. Я не просил об этом полете потому, что мне будет крайне неприятно жить в сознании, что я уже не могу использовать свой успех. А гибнуть не хочу потому, что мне хочется еще пожить, хотя бы только созерцающим стариком. Но меня не спрашивают о моих желаниях. Меня зовут и говорят: «Завтра в полет». А мне он не нужен!

— Почему же ты прямо не сказал Экку, что не хочешь лететь?

— Почему? — Марков махнул рукой, точно удивляясь наивности Мочалова.— Экк не понял бы. Экк — дисциплина от каблуков до шлема. Он просто послал бы меня под арест и выгнал бы из школы.

Марков устало ссутулился в кресле.

— Я очень старался не только выслушать тебя, но и понять,— сказал Мочалов,— и никак не могу. Удача! Гибель! А я вот не думаю ни о том, ни о другом. Нужно спасти четырнадцать человек, и я знаю, что должен это сделать. И, вероятно, сделаю, если не помешают неодолимые препятствия или лед не раздавит людей раньше, нежели мы долетим к ним. Экк был бы прав, посадив тебя под арест. Кто должен считаться с нашими настроениями? Завтра придет война, тебе скажут: «Бери полный груз бомб и лети». Что же ты ответишь, что тебе это ничего не даст? Ты заблудился в собственных нервах. Твои мысли об удаче — это мысли Поста, Маттерна, оголтелых рекордсменов для славы и призов. В тридцать шесть лет человек считает свою биографию законченной, как кинозвезда!

Тебе не стыдно? Посмотри вокруг! Хоть бы на людей, которые ведут нас, страну, в золотой век человечества. Им всем за полста. Позади стены тюрем, тундры, пытки. Что по сравнению с этим твоя «истощенная почва»? Однако у них температура, энергии которой хватит на три молодости. Они даже умирают по-молодому, за делом, во время доклада, не успев закончить подписи на новом декрете. Они не думают о биографии, а делают ее до последнего вздоха. А ты! Единственное, что может оправдать твою философию «созерцающего старца»,— то, что тебя укачало. Пойди, потрави и успокойся. Иначе далеко не уедешь и действительно можешь не вернуться.

Марков вскочил. Глаз его совсем скосило, и он плясал в орбите. Землисто побледнев, он рванул дверь каюты.

— Ты сопляк! — грубо кинул он Мочалову.— Можешь командовать, но советы оставь при себе. И вообще, пошел к черту!

Мочалов секунду смотрел на дрожащую от гулкого удара лакированную филенку двери. Потер ладонью ладонь, как от озноба, и сказал:

— Так! Если до Америки не успокоится,— придется списать.

4

Бритвенный нож шел по щеке с легким хрустом, скользя без задержки, как конек по хорошему твердому льду.

Мочалов улыбнулся сквозь сугробы мыльной пены.

— Хорошо, черти, ножи делают. Не то что наши жатвенные машины. Полрожи сорвешь, пока побреешься.

Он развинтил «Жиллет», промыл и уложил в коробочку. Намочил полотенце одеколоном и стер с лица остатки мыла. Посмотрел в зеркало — щеки сияли, как начищенные ботинки.

Из-под тугой белизны крахмального воротника шелковым змеем выползал синий, в коричневых крапинках, галстук. Галстук был куплен по дороге из порта в гостиницу, по выбору встречавшего летчиков консула. Консул категорически отверг вкус Мочалова, выбравшего подобие радуги.

— Что вы? На вас половина Хакодате сбежится смотреть.

Консул доставил Мочалова с товарищами в отель и уехал, обещав вернуться через час.

Мочалов ударил ногтем по воротничку. Воротничок

издал такой звук, как будто стукнули по яичной скорлупе, и Мочалов засмеялся.

— Капиталист, черти тебя подери,— он подмигнул своему отражению в зеркале,— вот если бы Кит увидела.

Он надел пиджак и вынул из кармана свой старый бумажник. Порылся, достал слизанную, плохо отпечатанную любительскую карточку. Катя в шубе стояла на снегу аэродрома и улыбалась. Аппарат у снимавшего дрогнул — Катя была двойная.

— Полюбуйся,— сказал ей Мочалов,— муж-то у тебя — ферт!

Катя улыбалась двойной улыбкой. Мочалов вздохнул и положил Катю обратно к сердцу. Подошел к окну.

Гостиница стояла на высоком холме. Хакодате непривычным пейзажем лежал полукружием под ногами. Туманно дымился порт, и дымной синевой уходил вдаль океан. В отдельной бухте стояли строгие, четкие силуэты военных судов.

Мочалов смотрел на этот пейзаж с особенным чувством. У него создалась привычка всегда рассматривать землю с военной точки зрения. И сейчас он на глаз прикинул дистанции до какой-то высокой башни налево, до портовых кранов, до военных судов. Это могло пригодиться.

Сзади осторожно стукнули в дверь.

— Плиз,— обронил Мочалов, оборачиваясь.

Вошел консул, высокий, широкоплечий, с крупным лицом в рябинках. Из-за его спины в номер прополз ужом гибкий, извивающийся человечек. На носу у него сидели верхом толстые, шестигранной оправы очки, прикрывая такой знакомый Мочалову безвлажный блеск черных бисеринок. На плотной и чувственной верхней губе дыбом, как приклеенная, стояла черная щетинка.

Он закланялся, приседая.

Консул сделал жест в сторону японца.

— Господин Охаси, журналист. Газета «Хакодате-Симбун». Дайте интервью, товарищ Мочалов.

Японец протянул узкую, жесткую, как акулья кожа, ладонь, и одновременно левой рукой вытащил из бокового кармана блокнот и стило. С поразившей Мочалова ловкой быстротой развинтил стило и поставил вверху блокнотного листа несколько значков, похожих на следы птичьих лап в песке.

— Только помогите мне,— сказал Мочалов консулу,— боюсь, что я напутаю, выражая мысли по-английски.

Под приклеенной щетиной японца миндалинами сверкнули зубы.

— Мочаров-сан модзет выразить по-русски,— сказал он, не выговаривая, как все японцы, «л» и «ж» и по-птичьи присвистывая на «с»,— я есть впорьне свободно понимать русски.

За исключением отсутствующих букв, он произносил слова совершенно правильно, с жесткой отчетливостью человека, желающего похвастать знанием чужого языка.

«Экая чертова кукла!» — подумал Мочалов, смотря в немигающие бисеринки японца, и придвинул кресло.

— Прошу садиться.

Господин Охаси сел, складываясь прямыми углами, как заводной. Мочалов взглянул на консула, стоявшего за спиной японца. Тот показал глазами на Охаси и приложил палец к губам. Мочалов, глазами же, дал знак, что понял.

— Моя газета,— заговорил Охаси, не сводя взгляда с Мочалова,— дзерает знать биография Мочаров-сан.

«Черт! Этот тоже с биографией»,— вспомнил почему-то Мочалов разговор с Марковым. От этого воспоминания стало неприятно, и, нахмурясь, Мочалов спросил:

— Разве это необходимо?

— Расскажите коротко,— подсказал консул,— год, место рождения, образование.

Путаясь в словах, Мочалов с неудовольствием рассказывал.

Рука японца прыгала по блокноту, и Мочалов с любопытством наблюдал ее пляску. Движения пишущего были непривычны. Рука не шла по бумаге ровными строчками, а точно клевала блокнот, быстро и сердито.

— Моя газета дзерает знать,— опять повторил японец,— какая есть задача на порёт Мочаров-сан?

Мочалов удивился.

— Но ведь вам известно, наверное, что случилась катастрофа с нашим кораблем в полярных водах. Нужно спасти людей, и мы летим их спасти.

Господин Охаси закивал, записывая.

— Есть-ри Мочаров-сан уверен дорететь в Арктику и хорошо кончать экспедиция в дурная порярная погода?

Мочалов пожал плечами.

— Можете написать, господин Охаси, что мы не привыкли останавливаться перед дурной полярной погодой для спасения товарищей.

Японец записал. Потом, подумав, спросил:

— Какая есть порьза дря Мочаров-сан на такой опасни порёт?

Мочалов уставился на японца.

— Я не понимаю вопроса.

— Я хотерь знать,— терпеливо пояснил японец,— какая прата будет давать хозяин парохода Мочаров-сан на удача порёта?

И опять Мочалов нахмурился. Второй раз вопрос японца странно соприкоснулся с марковской философией удачи.

— У наших пароходов, господин Охаси, нет другого хозяина, кроме нашего государства. Принять участие в спасательной экспедиции — обязанность всякого советского летчика, и если бы мне предложили деньги за полет, я принял бы это как оскорбление.

— Я есть понярь,— кивнул Охаси, клюя блокнот,— русские имеют борьшая доброта. Я читарь романи писатерь Достоевски-сан. Русские имеют рюбовь дзертвовать себя на других.

— Достоевский устарел, господин Охаси. Русские перестали любить жертвовать собой. Я сам не хочу стать жертвой льдов и спасу товарищей от угрозы стать их жертвой.

— Почему Мочаров-сан так уверен на успех?

Мочалов начинал раздражаться от бездушного голоса японца и вопросов, казавшихся ему неимоверно глупыми.

— За мной и моими товарищами стоит родина, которая нам дорога, как никогда не была дорога родина прежним русским, о которых писал Достоевский-сан,— Мочалов с издевкой подчеркнул японскую концовку фамилии.— И для этой родины каждый из нас сделает все, что в пределах его возможностей. А наши возможности вдесятеро больше, чем прежде. Вы плохо знаете возможности нашей страны,— закончил он с усмешкой.

— Так... так...— Охаси быстро записал и вдруг, вскинув прищуренные бисеринки, в упор спросил: — Мочаров-сан есть ретчик военная срузба?

— А что? — Мочалов насторожился.

— Наши военные ретчики база Хакодате,— вежливо осклабился Охаси,— имеют борьшое увадзени на ваша авиация. Они дзерари би всегда встречаться со свои храбрие русские друзья и много огорчени есть иметь тому препятствие на дринная расстояния от Токио на Врядивосток.

Желтое лицо японца было по-прежнему сосредоточенно-вежливо, но в голосе прозвучал почти нескрываемый вызов, и Мочалов почувствовал, как кровь поднялась и тяжело плеснула ему в виски.

Он с трудом овладел собой.

— Я очень рад,— сказал он, низко поклонившись,— узнать такое лестное мнение о нас японских военных летчиков. Мы шлем свои дружеские пожелания вашей авиации и рады бы встречаться чаще, хотя бы для того, чтобы помогать развитию вашего молодого летного дела... Ведь ваши же летчики разбиваются каждый день,— пояснил Мочалов с издевательской предупредительностью в ответ на изумление, впервые мелькнувшее в бисеринках Охаси,— но отдаленность наших стран препятствует тесному сближению. Впрочем... расстояние от Владивостока до Токио значительно меньше, чем вам кажется.

Охаси, прищурясь, смотрел на Мочалова. Глаза стали снова замкнутыми, неразгаданными, но пальцы сжали стило, как рукоятку ножа. Медовым голосом он спросил:

— Как это есть модзет бить, Мочаров-сан? В ваших и наших географиях показана есть одинаковая дрина...

— Это может быть при условии попутного ветра с материка,— засмеялся Мочалов.

Японец поднял брови.

— А! Но попутни ветер модзет никогда не дуть.

Внутренне торжествуя, Мочалов развел руками:

— У советских самолетов, господин Охаси, всегда попутный ветер, куда бы они ни летели.

Японец помолчал. Потом с подчеркнутым интересом осведомился:

— Верно, Мочаров-сан знает, как модзно всегда иметь такой счастьриви ветер, и скадзет тайна наши бедни ретчик?

Мочалов поглядел прямо в неподвижные зрачки Охаси.

— У японских летчиков, Охаси-сан, к сожалению, никогда не может быть такого ветра. Это ветер большевизма. Он дует только для нас.

Японец молчал.

«Что? Съел, сукин кот?» — Мочалов закусил губу, чтобы не расхохотаться.

Но японец с прежней ловкой быстротой свинтил стило и встал. Он сложил губы и издал странный чмокающий звук, как бы выражая глубокое сожаление.

— О да,— сказал он, едва заметно оскаливая зубы под усиками,— бедние японские ретчики пока не имеют этого счастьривого ветра. Но они скоро узнают секрет задуть его обратно.

В последней фразе была прямая и наглая угроза, и Мочалов раскрыл рот, чтобы так же резко осадить Охаси, но тот мгновенно расплылся в сладчайшую улыбку и, приседая, кивая, нежно пробормотал:

— Я есть признатерьни, Мочаров-сан за интервью. Я имерь поручение просить Мочаров-сан, и других ретчиков-сан на чай в их честь вечером, в отерь «Фузи».

Он низко склонился. Поклонился и Мочалов.

— Если нам не помешает усталость, мы с удовольствием воспользуемся любезностью наших японских друзей, которые нас так любят.

Охаси-сан присел еще раз, чмокнул и быстрым змеиным извивом выполз из номера. Мочалов шумно вздохнул и с бешенством швырнул давно погашенную папиросу в пепельницу.

Он с размаху сел на постель, и хлипкие японские пружинки завизжали под ним.

— Как вы с ними справляетесь? — спросил он, взглянув на консула.— Я трижды взмок, как из бани вырвался.

— Ничего. Все в порядке. А вообще с ними чертовски трудно.

— Словно угорь. Так и вьется,— зло сплюнул Мочалов.

— Я два года здесь. До Японии в Польше был. Уж на что ясновельможное панство... но перед японцами — грудные младенцы. Но это только верхи — военщина, чинодралы, буржуа. Это уже полуяпонцы, полувсесветные мерзавцы, напичканные европейской дрянью. А на низах совсем другой народ. Ласковый, теплый, радушный, необыкновенно искренний, но замордованный вконец.

— Не пойду на чай! — фыркнул Мочалов.

— Нет! Это необходимо,— возразил консул,— иначе будет страшная обида. Кроме того — любопытно! Когда еще удастся попасть сюда. Пробудем у них недолго, а покамест хотите проехаться в парк за городом? Отличный парк — мастера они с деревьями возиться.

— А куда-нибудь в рабочий квартал нельзя? — спросил Мочалов.

Консул сделал отрицательный жест.

— Не стоит. Мы избегаем туда соваться. Возможна любая провокация со стороны шпиков и полицейщины.

— Ну что ж. В парк так в парк,— согласился Мочалов,— сейчас я схожу за остальными. Не мешает подышать свежим воздухом после этого Охаси.

5

Прогулка в парк не успокоила Мочалова.

Все было чудесно: и зеленовато-бирюзовое небо, и дорога, вдоль которой лежали сады, закипающие розовой пеной цветения, душистые и сказочные, и самый парк. Сосны с мощными зонтиками, громадные кедры и криптомерии, невиданные незнакомые растения. Крошечные искусственные деревья-карлики, рост которых насильно прекращался опытными садоводами, передающими тайны искусства по наследству в поколения,— все стоило внимания.

Но с самого выезда из гостиницы Мочалов обратил внимание, что за их машиной неотступно идет другая. Прибавит шофер ходу на склоне дороги, и те прибавляют и все держат одно расстояние.

Остановились у входа в парк, и вторая машина тоже стала. На корректной дистанции, метрах в двадцати.

Выходя из автомобиля, Мочалов взглянул назад и обомлел. Из той машины, один за другим, выскочили четверо Охаси-сан. Так по крайней мере показалось Мочалову. Такие же маленькие, гибкие, в очках оглоблями и с приклеенными усиками. Даже нехорошо стало на минуту.

Мочалов тихо подтолкнул консула под локоть.

— Что за черт? Тут питомник этих самых Охаси, что ли? И какого дьявола они за нами тащатся?

— Где вы Охаси увидели? — спросил консул.

— Да вот же.— И Мочалов ткнул пальцем в четверых.

Консул засмеялся.

— А! Ну, это не Охаси. Это просто шпики. А что они вам кажутся похожими на вашего интервьюера, так с непривычки все японцы как будто на одно лицо. Только когда поживешь, начинаешь разбираться в их лицах и понимать, что разница есть.

— Нельзя ли их как-нибудь того... к чертовой матери?

— Зачем? Они совершенно безвредны. Мы к ним привыкли, вроде как к личной охране. Иной раз заедешь кудан-ибудь по делам, заговоришься, на улице ливень льет,

а этот персонаж торчит у крыльца, весь промокнет, как песик. Я иногда от жалости им даже на чай даю.

— И берут? — неожиданно спросил у консула молчальник Блиц, видимо крайне заинтересовавшись.

— Отчего не брать? Платят им шиши, голодны они как волки.

— Все-таки неприятно, что они за нами увязались,— сказал Мочалов,— какая к черту природа, когда за тобой по пятам ходят.

Четверо Охаси в парке разделились. Двое проползли за деревьями и очутились впереди, двое чинно шествовали сзади. Так они не отставали от летчиков все время.

К концу прогулки консул предложил зайти в пагоду. В пагоде было полутемно и душно и пьяно пахло курениями. В полумраке скользкими металлическими отсветами поблескивал громадный бронзовый идол, сидевший на поджатых ногах, со свившейся змеей в правой руке, улыбаясь странной колдовской улыбкой.

Толстый, весь в тройных складках и жирных припухлостях, сторож-монах, получив от консула иену, приседая, вручил посетителям освященные цветы.

У выхода из пагоды под террасой блеснули спицы и обода десятка прислоненных к ней велосипедов. Владельцы велосипедов, частью в европейских костюмах, частью в кимоно, сидели кружком на корточках и закусывали. Закуски были разложены на развернутой газете.

— Экскурсия, верно? Японское ОПТЭ,— сказал штурман Доброславин,— у них это дело здорово раскрутить можно. Страна маленькая, а красоты много.

Консул мельком взглянул на закусывающих японцев.

— Нет! Это тоже шпики. Резервные. Послали из города на подмогу тем, которые в машине ехали. На всякий случай — все-таки шесть русских за город поехали.

Японцы, увидя выходящих летчиков, вскочили и закланялись, умильно улыбаясь, как будто встретили лучших друзей, которых давно ожидали.

Мочалов затрясся от злости и смачно сплюнул в траву.

— Тьфу! Никогда больше сюда не поеду.

Он приехал на званый чай в отель «Фузи» мрачный, неразговорчивый, замкнувшийся. Все виденное и слышанное — от Охаси до экскурсии шпиков — привело его в состояние с трудом сдерживаемого бешенства.

За чаем, приготовленным по-европейски, на обычном столе, его посадили между Охаси-сан, встретившим его

как старого и хорошего знакомого, и очень красивым — посмотрев на него, Мочалов понял, что это лицо обладает непривычной, но своеобразной и тонкой привлекательностью,— изящным, как куколка, молодым японцем в форме морского летчика.

Остальных тоже рассадили между японцами. Против Мочалова уселся Саженко. Рядом с ним сидел коренастый широкоплечий человек с седой головой. Он положил на стол блокнот, вынул из кармана флакончик туши, кисточку и, взбрасывая изредка глаза на Мочалова, водил кисточкой по бумаге.

— Что он делает? — спросил Мочалов через стол у Саженко: он видел только заднюю сторону блокнота.

— Тебя рисует. Очень здорово выходит,— ответил Саженко.

— Это наш знаменитый художник Токугава-сан,— пояснил Охаси.

Токугава вырвал лист из блокнота и, встав, с поклоном подал его Мочалову.

Мочалов, иногда сам баловавшийся рисованием,— он делал обычно карикатуры для аэродромной газеты,— с любопытством взглянул на рисунок. Его поразила необычайная, почти волшебная легкость и верность линий, своеобразных, непохожих на привычные рисунки. Он вежливо поблагодарил художника.

Но все же мрачное настроение не покидало его. Он односложно отвечал на непрекращающуюся птичью болтовню Охаси-сан. Японский чай, поданный в тончайших, как папиросная бумага, чашечках, показался ему жидким и пресным (он любил пить чай крепкий, как деготь). Водка сакэ — кислой и царапающей горло.

Странных на вид закусок, подававшихся к чаю, он не захотел и пробовать.

Консул, заметивший его безрадостный вид, встал со своего места и из-за спинки стула сказал ему на ухо:

— Что вы в меланхолию ударились? Привыкайте. Советую обратить внимание на соседа справа. Имеет репутацию одного из лучших летчиков гидроавиации и, кроме того, вообще занятная фигура. Принц императорской крови, двоюродный племянник императора. Думали вы когда-нибудь, что придется сидеть рядом с ним в качестве почетного гостя?

— Мне-то что,— улыбнулся Мочалов,— а вот под ним, верно, стул горит.

Консул отошел. Мочалов искоса посмотрел на летчика-принца. Тот сидел, тоненький, прямой, держа чашку пальцами, похожими на желтые стебельки растения.

Мочалов повернулся к Охаси.

— Как зовут моего соседа, Охаси-сан?

— Сендзото-сан.

— Он тоже, может быть, говорит по-русски?

Господин Охаси отрицательно покачал головой.

— Нет! Он не модзет. Он модзет на английский.

Тогда Мочалов, немного робея за свое английское произношение, обратился к летчику:

— Скажите, Сендзото-сан, вы давно летаете?

Сендзото-сан вскинул длинные ресницы и улыбнулся.

— Двенадцать лет.

— Как? — Мочалов не поверил. У японца было настолько молодое лицо, что, прикидывая его возраст, Мочалов определил его года в двадцать два.

— Сколько же вам лет?

Японец опять улыбнулся и пошевелил на скатерти желтые стебельки пальцев.

— Мне тридцать лет. Я сел на самолет, когда мне было восемнадцать.

— Вот странно,— с искренним изумлением сказал Мочалов,— я был уверен, что вы моложе даже меня, а мне двадцать четыре.

— Японцы вообще медленно стареют,— Сендзото-сан опять опустил ресницы,— и всегда выглядят моложе европейцев. Вот уважаемый Токугава-сан, который нарисовал ваш портрет,— ему почти восемьдесят лет.

Мочалов с еще большим изумленим перевел взгляд на Токугава. Он никак не согласился бы дать художнику более пятидесяти.

— Трудно поверить,— в раздумье выговорил он,— отчего это?

— Климат нашей страны сходен с климатом Англии, но гораздо здоровее. А англичане тоже выглядят всегда моложе своих лет.

— Англичане?

Мочалов вспыхнул. После окончания школы он, перед отъездом на восток, заехал в Ленинград. В доме Красной Армии принимали делегацию английских горняков. Среди них был человек, поразивший Мочалова старческим и истощенным видом. Мочалов спросил его, как он решился в таком возрасте на далекое зимнее путешествие. Горняк

скорбно усмехнулся и сказал: «Мне тридцать четыре года, кэмрад, но шахты и безработица делают свое дело».

Мочалов еще раз взглянул на нежное, словно замшевое лицо Сендзото-сан и подумал, что в Японии тоже не все, вероятно, выглядят моложе своих лет. Но сказать об этом собеседнику было неудобно и ненужно.

Он промолчал. Первым заговорил снова японец.

— Вы, наверное, очень знамениты в вашей стране? — спросил он, поворачиваясь к Мочалову.

— Почему? — удивился Мочалов.

— Вы так молоды, а вам дали командование такой почетной экспедицией. Надо было совершить много подвигов, чтобы получить право на это. Я заслужил за двенадцать лет хорошее авиаторское имя, и я родственник нашего повелителя, да сохранят его времена,— Сендозото-сан закрыл глаза и склонил голову,— но я не мог бы рассчитывать на такое блестящее назначение.

Мочалов покраснел. У него не было никаких подвигов, и он никогда не думал о них. Он был мальчишески горд в минуту, когда узнал от Экка о своем назначении, но теперь легшая на его плечи ответственность иногда даже смущала его. Он не чувствовал за собой никаких особых данных, кроме большой любви к своему делу, кроме инстинктивной, жившей в каждой его кровинке, преданности и верности родине. Но сказать об этом японцу не хотелось.

— В нашей авиации основной принцип — выдвижение молодых,— отделался он дипломатической фразой.

Сендзото-сан вздохнул.

— Тогда вы очень счастливые люди. Я бы много дал за право участия в таком замечательном полете. Но, к сожалению, у нас они редки, и мы чаще летаем, чтобы убивать людей, а не спасать.

Голос японца был тих и почти печален, и это еще больше удивило Мочалова. Но продолжать разговор на такую отвлеченно этическую тему показалось Мочалову опасным, и он спросил о другом.

— Если это вас не обидит, Сендзото-сан, я хотел бы знать, в чем причина таких частых катастроф с вашими самолетами? Мы очень внимательно следим за развитием вашей авиации и несколько удивлены постоянными несчастьями. Чем можно их объяснить, если это не секрет?

— Я не нахожу нужным быть неискренним с вами, мистер Мочалов,— ответил летчик после короткого молча-

ния,— мы люди одной профессии, хотя завтра можем стать врагами,— таков закон неизбежности. Причин несколько. Одна из них та, что наша авиация стремится как можно скорей стать первой в мире. Мы летаем днем и ночью, и обилие полетов вызывает обилие несчастных случаев. Это первое. Второе, я думаю,— это мое личное мнение,— что мы первые в мире моряки, но никогда не станем первыми летчиками. Воздух — не наша стихия. Наши летчики боятся высоты. Высотные полеты — это камень, о который мы спотыкаемся. Потолок выше тысячи метров уже опасен для японца, он теряет уверенность, хладнокровие, чувство пространства и близок к катастрофе. А мы с японской настойчивостью стараемся преодолеть этот дефект. Япония вообще слишком много хочет, мистер Мочалов. Это и хорошее и опасное качество. Мы жили лучше и спокойнее, когда Япония была иной. Сейчас она живет на нервах, а это долго длиться не может.

— Я очень благодарен вам за откровенность, Сендзото-сан,— искренне поблагодарил Мочалов, почувствовав некоторую симпатию к тихому и скромному голосу Сендзото, так непохожему на змеиный свист Охаси-сан, ко всему его тонкому и печальному облику.

Вечер заканчивался. Нужно было прощаться, заехать в отель за вещами и направиться в порт для посадки на американский пароход.

Встали из-за стола. Подошел консул. Мочалов протянул руку Сендзото.

Крошечная кисть японца утонула в его здоровой мальчишеской ладони.

— До свиданья, мистер Мочалов. Сердечно желаю вам счастливого пути и успеха. Я очень хотел бы с вами встретиться опять, но так же, как сегодня. Я хотел бы избежать необходимости встречи с оружием в руках.

— Я тоже.— Мочалов стиснул пальцы Сендзото.

— Ну, как вам понравился сосед? — спросил консул, усаживаясь в автомобиль.

— Очень странный. Он несколько обелил в моих глазах японцев. Не все кошки, оказывается, серые.

— Я и обратил на него ваше внимание. У него очень своеобразные взгляды, он весь корнями в старой японской аристократии и сейчас несколько в опале у фашистской военщины. Поэтому его загнали сюда в глушь и держат под негласным наблюдением.

— Тоже, значит, шпики бегают?

— Нет, не так явно, но все же присматривают. Он пацифист, а это в Японии смертный грех.

В порт автомобиль спускался узкими уличками. Уже вечерело, зажглись огни. Бумажные стены нижних этажей насквозь просвечивали желтизной. По ним, как по экранам, блуждали тени. Женщина тонкими руками поправляла прическу, человек мешал шестом в бадье, видимо, месил тесто. Внешне открытая постороннему глазу, шла японская жизнь, скрытная и неразгадываемая. По улице брели люди в соломенных шляпах конусами, таща на плечах корзины, бежали рикши, волоча колясочки. Бумажные фонарики раскачивались от сырого теплого ветра.

Автомобиль со шпиками вежливо следовал сзади.

Свернули к пристани. Шофер повернул машину и сладко осклабился.

— Рюсски-сан, риехара.

«И этот по-русски,— подумал Мочалов,— а много ли насчитаешь у нас людей, которые знают два слова по-японски? Видно, крепко хочет Япония большой земли. И не пришлось бы встретиться с Сендзото-сан так, как нам не хочется».

Он поднялся, открывая дверцу.

Вдруг в толпе носильщиков и любопытных, ожидающих отхода парохода, произошла внезапная сумятица. Люди обернулись. Японец в синей холстинковой куртке отшвырнул стоящих у автомобиля носильщиков и вскочил на подножку. Землисто-желтое худое лицо его с неестественно блестящими глазами вплотную надвинулось на Мочалова, и он инстинктивно вскинул руку, чтобы защититься от удара. Но японец ткнул ему в руку букет и хрипло крикнул:

— Банзай Рении! Банзай Совет!

Мочалов не успел опомниться, а уже два полисмена, гладких и крепких, схватили человека, с необыкновенной ловкостью вывернув ему руки назад. Секунда — и они исчезли вместе с арестованным в толпе. Мочалов сделал невольное движение броситься вслед, но консул цепко ухватил его за руку.

— Стойте! Ничего особенного... Это нередко бывает в Японии. Все в порядке.

Мочалов растерянно смотрел в сторону, куда полисмены уволокли человека в синей холстинке. Кто-то тронул его за плечо. Мочалов обернулся.

— Напрасно... утопили... книгу,— медленно выговорил с усмешкой Блиц,— могла... пригодиться.

— Да! Вот этого я не ждал,— ответил Мочалов, приходя в себя.

Консул попрощался с ними у сходен. Носильщики поволокли чемоданы наверх.

— Блиц,— сказал Мочалов,— на этом пароходе в моей каюте будешь ты. По некоторым соображениям я нашел нужным переместить Маркова на твое место к Саженко и Доброславину.

— Мне... все... равно,— ответил невозмутимый Блиц, даже не пытаясь спросить, какие соображения у командира.

В каюте Мочалов сел за дневник. Он записал со всеми подробностями день в Хакодате, разговоры с Охаси и Сендзото, случай на пристани. Когда он кончил писать, пароход уже вышел в океан. Было за полночь. Блиц сладко спал.

В каюте резко пахло риполином. Мочалову захотелось подышать воздухом. Он вышел на палубу. Притихший океан голубовато мерцал со всех сторон. Вода с гулом бежала вдоль бортов. Мочалов прошелся по пустой палубе. У вентиляторного гриба темнела человеческая фигура. Мочалов приблизился.

— Марков! Ты?

— Я.

Марков обернулся. В отсвете из палубного люка лицо его показалось Мочалову осунувшимся, сразу постаревшим, бесконечно усталым. Было похоже, что он скоротечно и неизлечимо заболел.

Чтобы не взволновать его прямым вопросом, Мочалов сказал шутливо:

— Ну, как? Кончил психовать? Набушевал, как тайфун, а чего ради? Сопляком меня обложил.

Марков ответил не сразу. И когда ответил, Мочалов поразился его голосу, тяжелому и такому же больному, как его лицо.

— Я очень прошу тебя простить мне грубость. Я сам не знаю, что со мной делается. Стараюсь понять и найти корни. Но я хочу предупредить тебя — не удивляйся, если в некий час я выйду из игры.

— Да что же, собственно, с тобой творится? — спросил пораженный Мочалов.

— Я тебе говорю — не знаю. Ты извини, если я на этом прекращу разговор. Мне нужно сейчас быть совершенно одному.

Он повернулся и пошел по палубе. Удаляющаяся фигура его странно и пугающе сутулилась. Как будто шел раздавленный годами старик.

6

Утренний сон сладок. Он обволакивающе пушист, мягок и тепел, как заячий мех. В утренний сон можно укутаться, как в одеяло.

Посторонние звуки, которые врываются в утренний сон, раздражают, как раздражает струя холодного воздуха, проходящая под неплотно подвернутое одеяло.

Пит Митчелл поднял с подушки белобрысую голову и прислушался. Звонок.

Настойчивый, нахальный и требовательный.

Пит чертыхнулся, спустил ноги с постели, нашарил туфли, влез в брюки и пошел в переднюю. Проходя столовой, увидел востроносое, морщинистое лицо матери, выглянувшее в щелку двери ее спальни. Она тоже услыхала звонок, но Пит опередил ее.

Он открыл дверь. У двери стоял мальчишка в кофейной униформе с поблекшими бронзовыми пуговками — сын привратника.

— В чем дело? — раздраженно спросил Пит.— Почему вы не даете спать людям? За квартиру, кажется, заплачено!

— Извините, мистер Митчелл. Принесли почту, и мисс разносчица сказала, что вам, то есть вашей матушке, письмо-экспресс из Питсбурга. Отец приказал сейчас же отнести вам вместе с газетой. Отец говорит, что Митчелл исправный жилец и ему нужно доставлять почту вовремя.

Пит взял номер «Californian Tribune» и толстый пакет.

— Убирайтесь к дьяволу вместе с вашим почтенным отцом,— напутствовал он мальчишку, захлопывая дверь,— ваш отец чересчур исправный привратник.

Он вернулся в столовую.

— Что такое? — спросила мать, снова высовывая голову в папильотках.

— Письмо от Фэй. Готовьте кофе, ма,— сказал Пит,— все равно больше не засну.

Он сунул матери письмо, повалился в кресло у окна и развернул газету.

«С чего это Фэй взбрело в голову посылать письма экспрессом?» — подумал он с некоторым раздражением.

Фэй, сестра, жила в Питсбурге с мужем, старшим монтером городской электрической станции. Она вышла замуж три года назад, у нее уже было двое хороших близнят.

Из немногого, что любил Пит на земле, Фэй была самым любимым. Они выросли вместе, связанные крепкой детской дружбой, которая не распалась во взрослые годы. Пит был страшно огорчен, что Фэй вышла замуж в другой город. У него как будто отняли половину жизни.

Пит, пробегая глазами последние новости «Californian Tribune», старался представить себе живое лицо сестры. Она была платиновая блондинка и пробовала даже сниматься в Голливуде, но провалилась на конкурсе соискательниц кинокарьеры — у нее оказались ноги на полтора сантиметра короче установленной железными законами Голливуда пропорции красоты.

Пит усмехнулся, вспомнив эту наивную попытку Фэй прорваться в заколдованный мир кинозвезд, и вдруг испуганно вскочил.

В комнате матери что-то грохнулось с дребезгом и звоном. Раздался крик, сорвавшийся сразу в рыдания. Потеряв на бегу туфлю, Пит ворвался в комнату.

Преддиванный столик валялся на полу среди осколков стеклянной вазы. Мать лежала на диване ничком. Ее острые лопатки сходились и расходились. Захлебывающиеся придушенные стоны пробивались сквозь пальцы, сжимавшие лицо.

Пит подбежал к ней и неистово затряс за плечи. Он читал где-то, не то в романе, не то в домашнем лечебнике, что женщин для прекращения истерики нужно трясти за плечи. Это было первое, что пришло ему в голову.

Подействовало, вероятно, не самое средство, а экспрессия его применения. Мать вскрикнула уже от боли и затихла.

— Что случилось, ма? — спросил переполошенный Пит.

Мать протянула руку и показала на валявшееся на полу развернутое письмо.

— Что? — вторично спросил Пит, не понимая.

— Фэй... Фэй... Фэй,— трижды повторила мать шепотом и вдруг снова залилась рыданиями.

Пит со страхом коснулся письма. Что с Фэй? Больна? Или умерла? Не может быть. Фэй молода и здорова и пока не голодает. Электричество еще горит в городах, и безработица среди станционных механиков невелика. А может быть, Джемса в самом деле уволили? Но зачем же так реветь оттого, что человек лишился работы?

Пит пробежал первые строчки и почувствовал неприятную слабость в коленках.

Он машинально сел, дочитывая.

Фэй писала, что Джемс в пятницу, как всегда, пошел в распределительную будку проконтролировать вводы рубильников. Он взял с собой плоскогубцы с изолированными ручками, но не надел резиновых перчаток, они куда-то затерялись. Осматривая вводы, Джемс заметил на одном проводе повисший обрывок пакли и решил потихоньку смахнуть его рукавом. Но едва рукав коснулся провода, как вспыхнул, будучи пропитан смазочным маслом. Джемс сделал невольный взмах, чтобы погасить пламя, и ударил ладонью по проводу. Его отбросило к стене будки, и так он оставался, с рукой, прилипшей к проводу, пока не выключили ток. Ему насквозь прожгло череп, и сейчас он лежит при смерти. Чтобы его спасти, нужна трепанация и пересадка кости на прожженное место. Но операция требует больших денег, которых в доме нет, а дирекция станции отказывается уплатить, так как Джемс пострадал по собственной неосторожности, войдя в будку без перчаток.

Фэй просила помощи у Пита и матери.

Пит растерянно выронил письмо и замигал белесыми ресницами.

«Вот проклятое несчастье. Жаль Джемса — хороший парень. Но что делать? Откуда достать столько денег на операцию?»

Больше не осталось никаких сбережений — все проедено и отдано за квартиру.

Надежда на новогодние наградные лопнула: небывалое сокращение количества пассажиров с осени заставило компанию законсервировать в ангарах половину самолетов. Где тут думать о наградных, когда начинают поговаривать, что к лету выбросят за ворота пятьдесят процентов обслуживающего персонала. Да и чем помогли бы сто долларов, когда Фэй пишет, что за операцию и длительное лечение в клинике нужно заплатить около шестисот.

Пит погладил по голове рыдающую мать. Стало смутно.

— Ма! — позвал он растерянно.— Ма, перестаньте поливать подушку. Этим ничему не поможешь. Нужны деньги, а не слезы.

Мать всхлипнула еще два-три раза и села. Щеки у нее были красны и мокры.

— Деньги,— она страдальчески сложила руки,— это легко сказать, Пит. Где мы можем достать деньги?

— Вот и я то же говорю,— меланхолически согласился Пит,— где мы их достанем. Продать мебель?

— Вы не в своем уме,— мать удивленно посмотрела на Пита,— мы еще не выплатили за нее магазину и половины. И потом, кто купит мебель в такое время? За всю нашу обстановку, если и найдешь охотника, можно выручить не больше полутораста.

— Вот и я то же говорю,— опять подтвердил Пит,— я бы и полтораста не дал.

Он прошелся несколько раз по комнате из угла в угол, остановился.

— Все-таки, ма, готовьте кофе. Я пойду одеваться. Я буду думать, пока буду одеваться, вы думайте, пока будет вариться кофе. Потом мы за завтраком изложим друг другу то, что придумали. Боюсь только, что я ничего не придумаю. Может быть, вам посчастливится.

Он ушел в свою комнату и долго стоял у кровати, бессмысленно смотря на распяленный на спинке стула пиджак.

Фэй! Фэй! Милая беленькая сестренка. Еще три месяца назад она прислала семейную фотографию — она, Джемс и близнята. Джемс на этой фотографии такой веселый. У него большой, выпуклый, такой хороший лоб. Значит, ему прожгло лоб насквозь электричеством. Боже мой, но ведь это, наверное, дьявольская боль.

Пита передернуло от одной мысли о такой боли. Он сел и стал медленно зашнуровывать ботинки.

И почему на людей валятся несчастья! И чаще всего на хороших людей! Джемс хороший, и Фэй тоже. Оба молодые, честные, любящие. А всякой сволочи везет.

Бандит Том Сэнджер ухлопал при грабежах больше полусотни людей и спокойно разъезжает в своем автомобиле по улицам на глазах полиции, бывает ежедневно в доме у главного судьи и объявлен женихом его дочери, и никто его не трогает. За деньги врачи сделали ему пересадку кожи на кончиках всех пальцев с рук какого-то бедняка, и хотя все знают об этой операции, но Том Сэнджер пере-

стал быть Томом Сэнджером потому, что оттиски его пальцев не сходятся с оттисками дактилоскопического бюро.

Говорят, он заплатил парню, который уступил ему свою кожу, пять тысяч долларов... Черт возьми, нет ли в сегодняшней газете объявления какого-нибудь бандита, предлагающего обменяться кожей? Пит охотно отдал бы сейчас за пять тысяч долларов кожу не только с пальцев, но и с седалища. Для спасения Фэй он не пожалел бы всей шкуры.

Но, увы, за шкуру рядового бортмеханика никто не даст и пяти долларов.

— Что же делать? — злобно спросил Пит.

Если бы был жив отец! Но что вспоминать старое? Отец не воскреснет.

Пит выпустил из пальцев шнурки ботинка и задумчиво уставился на стену, на большой портрет отца.

При отце жилось иначе. Отец не был ни бандитом, ни автомобильным или нефтяным королем, но он был главным уполномоченным крупной фирмы и зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно и заботиться о детях. У Фэй была учительница музыки, учительница немецкая, учительница французская, учительница рисования. Фэй проявляла большие дарования и в музыке и в живописи. Отец мечтал, что Фэй поедет учиться в Париж и забьет Падеревского и Гогена.

Пит десяти лет поступил в одну из лучших школ военного типа, возникших после большой войны и именовавшихся громким титулом «Military Academia». Этого хотел отец. Он считал, что двадцатый век будет веком беспрерывных войн и военный конструктор никогда не останется без работы. Плата за ученье в «Military Academia» была высока, но отец отказывал себе во многом, чтобы Пит умел проектировать пушки, танки и субмарины.

Но однажды все это благополучие развалилось вдребезги. Мать вызвали телеграммой на одну из маленьких станций великого пути Сан-Франциско — Нью-Йорк, где потерпел крушение трансокеанский экспресс, и по прибытии предъявили ей небольшой ящик, наполненный сырым мясом. Только приколотая к ящику табличка с нелепой надписью «почтенный мистер Уильям-Перси Митчелл» свидетельствовала, что страшная смесь ломаных костей и рваных мускулов представляет собой отца семейства Митчелл.

Когда отца похоронили, Митчеллы узнали, что дела его последнее время шли по наклону. Открылись долги. Пришлось бросить большой дом и продать коттедж в приморском курорте.

Пита взяли из «Military Academia», где его успели только выучить ружейным приемам, шагистике и верховой езде, элементарной алгебре и геометрии. К Фэй перестали ходить учительницы, а через год она сама стала ходить по соседям обучать девчонок бренчать на пианино песенки вроде: «Если б господь дал мне крылышки, я была бы красивой птичкой». Фэй хотела поступить в джаз, потому что там хорошо платили, но мать гневно воспротивилась этому. Она считала, что джаз — это нечто сродни Содому и Гоморре и девушке с порядочным именем нельзя служить в таком страшном приюте порока.

По счастью, Фэй не долго пришлось шататься по урокам. Спустя два года она встретила в доме одной из учениц Джемса, приехавшего в отпуск, и без замедления отдала ему свое сердце.

Пит пять лет прокоптел маленьким клерком в банке и, отказывая себе во всем, дьявольски скреб гроши, пока не скопил достаточно, чтобы заплатить за год обучения в летной школе. Но пять лет в темном углу банка, над расчетными книгами, сыграли с ним плохую шутку. У него ослабело зрение, и в летную школу он не попал. Но расстаться с авиацией совсем ему не хотелось, летное дело развивалось с каждым годом, в то время как остальные профессии неизменно чахли.

И Пит, с горечью плюнув на пилотаж, пошел в школу бортмехаников.

Когда он вышел из нее, ему стукнуло двадцать два года. У него, как и у всего его поколения, не было ничего позади и никаких перспектив в будущем.

Он быстро нашел работу. Его ценили. Он был аккуратен, невзыскателен, терпелив, никогда ни от чего не отказывался. Первый год он работал на линии Аляска — Канада. Он нарочно пошел на эту отдаленную линию, куда неохотно шли и летчики и бортмеханики, которых пугала дикость страны и холод. Но на этой линии можно было быстрее выдвинуться и приобрести хороший опыт.

Север понравился ему. Белая тишина, сосредоточенное молчание суровой природы, не оскверненные человеком леса были сродни его спокойному и молчаливому нраву. Даже в снежных метелях, затмевавших небо и землю и

крутивших, как пушинку, самолет, он находил свою прелесть.

Но через год он перешел в Сан-Франциско. Старела мать. У Фэй не было свободного угла для нее, да и мать предпочитала не обременять Джемса. Нужно было устроить ей спокойную старость. Пит нашел квартирку в три комнаты вблизи аэродрома и поселился со старухой.

Он был доволен судьбой. У него не было никаких требований к жизни и никаких мечтаний. Он был тих, белобрыс, некрасив, не любил пить и не ухаживал за девушками. Это только отняло бы у него время и деньги.

Бескорыстно девушки любили только развязных самоуверенных красавчиков в костюмах с модной картинки, с твердыми подбородками и томным взглядом Рудольфа Валентино. Швыряться же деньгами, чтобы привлечь их благосклонность, Пит не мог и не хотел.

Он несколько побаивался жизни. Выбитый однажды из колеи смертью отца и семейной катастрофой, он со страхом наблюдал, как все разваливалось вокруг. Особенно это стало заметно с девятьсот тридцатого года. В Америке все катилось под гору. Летела валюта, лопались и трещали банки, банкротились предприятия, которые, казалось, нельзя было подорвать взрывом всего запаса динамита, имевшегося в мире. Какая-то необъяснимая сила с ничего не разъясняющим названием «кризис» валила самые крупные репутации и самые мощные капиталы, как детские кегли. По газетам Пит знал, что эта страшная сила бушует и озорничает во всем мире. Газеты писали, что во всей этой непонятной карусели бед виноваты русские большевики.

Пит не мог этого понять. Он знал еще из школьных уроков, что Россия — это второстепенная, почти дикая страна, которая после войны и революции окончательно превратилась в разрушенную пустыню, совершенно сброшенную со счетов большой политики мира. Правда, левые газеты писали, что Россия начинает оправляться, что у нее хорошо вооруженная и многочисленная армия, называющаяся «красной», что в ней возрождаются фабрики и заводы и даже, по замыслу русского правительства, большевики надеются в одно десятилетие «догнать и перегнать» Америку. Это было настолько смешно, что юмористические журналы долгое время жили карикатурами и остротами о России, догоняющей Америку.

Но старания России создать свою промышленность

никак не объясняли Питу сокрушительного тайфуна разорения и обнищания, крутившего Америку.

Русские сидели у себя, никуда не совались, не посылали армии и флота и, видимо, были глубоко равнодушны ко всему остальному миру.

Они верили в своего президента Ленина и делали свою собственную жизнь по его учению, не путаясь в жизнь других.

Учение Ленина казалось Питу чем-то вроде доктрины Монро или четырнадцати пунктов президента Вильсона. Пит даже заинтересовался этим учением, думая, что в нем можно найти объяснение катастрофам, обрушившимся на Новый Свет.

Однажды, возвращаясь с аэродрома, он увидел в окне книжного магазина на окраине красный коленкоровый томик с надписью «Избранные сочинения Ленина».

Он зашел и с некоторой робостью купил книгу. Но чтение разочаровало его. Он понимал только отдельные места, все остальное было необычайно сложно, трудно, переполнено незнакомыми Питу терминами и социальными формулировками и не имело никакого, как показалось, отношения к Америке и американским несчастьям. Из прочитанного Пит понял только, что президент Ленин был очень умный человек, знавший кучу таких вещей, о которых ни Пит, ни его знакомые не имели никакого представления. Он поставил книжку на полку, но имя Ленина осталось в его сознании окруженным инстинктивным уважением к учености президента.

То же, что делалось в России, помимо постройки фабрик и заводов, не нравилось Питу. Отмена собственности казалась ему совершенным абсурдом, но особенно поражала отмена религии.

Он не был религиозен. Он состоял одно время в христианском союзе молодежи, но ежедневное монотонное пение гимнов на собраниях надоело ему, и он покинул союз без сожаления. Но в конце концов у каждого человека и у каждого народа должна быть какая-то религия? Не нравится одна — ее можно заменить другой. Но жить вовсе без религии? Это хуже, чем у дикарей-язычников, которые хоть в деревянных чурбанов верят. Очевидно, в России действительно творится что-то странное.

— Пит! Вы заснули? Кофе совершенно остыл!

Пит очнулся от оклика матери. Он сидел на постели, и ботинки его были до сих пор не зашнурованы. Он

стремительно закончил эту работу, завязал галстук, надел пиджак и вышел в столовую.

— Ну? Вы придумали что-нибудь, ма? — спросил он, принимая из материнской руки чашку.

— Нет, Пит. А вы?

— Вот и я ничего. Это очень трудно, ма. Бедная Фэй, что же она будет делать? Но вы обязательно думайте, ма. И я тоже буду думать. Счастливые мысли всегда приходят неожиданно. Я сейчас пойду на аэродром, ма.

— Но вы забыли, что сегодня воскресенье, Пит,— сказала мать.

— Я знаю. Но я пойду в кафе, ма. Мне лучше думать среди шума. Я могу что-нибудь придумать по дороге. Наконец, я могу найти потерянный бумажник с тысячью долларов или вытащить из-под автомобиля девочку Вандербильдта,— Пит скорбно рассмеялся собственной шутке,— и потом, ма, в кафе я не буду так одинок.

Он действительно был одинок. Одиночество, как верный друг, сопровождало его и его поколение. Иногда от этого становилось тяжело.

И немногими местами, где он чувствовал себя членом человеческого общества, были: кафе механиков на аэродроме и общественные уборные, где людей объединяет общность цели.

7

Пит толкнул дверь. Из сизой мути табачного дыма, сквозь стук ножей о тарелки, навстречу ему рванулись раскаты хохота. Он осмотрелся.

Кафе, как всегда по воскресеньям, было полно. У задней стены возле двери в биллиардную скопилась группа механиков. Оттуда несся непрекращающийся хохот.

Пит повесил пальто и шляпу на вешалку и пошел между столиками прямо к смеющимся. Если люди так хохочут, значит, есть что-то веселое. Пит чувствовал настоятельную потребность развлечься, у него было слишком смутно на сердце после утреннего происшествия.

— Что тут за веселье? — спросил он, втискиваясь в толпу.

Красивый белозубый механик Фиппс, один из тех красавчиков, которые всегда ходят в новеньких, с иголочки костюмах, курят поддельные гаваны и волочатся за девушками, оскалясь смехом, вскричал:

— Конкурс продолжается! Прибыл новый соискатель! Торопитесь, пока не поздно.

— Какой конкурс? — сумрачно спросил Пит. Пока он не видел ничего веселого.

— Здесь происходит конкурс на звание дурака,— пояснил Фиппс с развязным смешком, и все вокруг опять засмеялись,— «Уэст-Эйрвейс Компани» ищет дурака. Прошу ознакомиться с условиями.

Фиппс сделал широкий жест в сторону стены, и тут Питу бросился в глаза листок бумаги с напечатанным на машинке текстом. Он продрался к листку, энергично работая локтями.

— Новый соискатель проявляет энергию,— тоном аукциониста возгласил Фиппс.

Пит вплотную приблизился к листку — в углу было темновато.

«Уэст-Эйрвейс Компани»,— прочел он,— вызывает двух бортмехаников, знакомых с северной воздушной службой, для участия в арктическом полете русских летчиков по спасению экипажа судна «Коммодор Беринг». Полет предполагается через Аляску в арктический бассейн к восемьдесят третьему градусу северной широты. Требуется знакомство с моторами «флетчер». Желающим обращаться в отель «Пасифик», № 118, к начальнику русской эскадрильи командору Мочалову, в любое время дня и ночи. Дирекция «Уэст-Эйрвейс Компани».

— Что же тут смешного? — недоуменно спросил Пит, и его вопрос потонул в новом взрыве хохота.

— Конкурс, кажется, заканчивается,— завопил Фиппс, в восторге тряся Пита за плечо,— достойным кандидатом признается механик Митчелл, блондин, двадцати шести лет.

— Оставьте в покое мое плечо,— сказал Пит, освобождаясь резким поворотом,— я спрашиваю, что здесь смешного?

— Вы что... хлебнули с утра? — осклабился Фиппс.— Но ведь только круглый идиот может рискнуть лететь в это время года в Арктику, да еще с русскими. Это сумасшедшие люди. Впрочем, если у вас нет ни папы, ни мамы, ни детишек, ни мягкой девочки, с которой приятно поспать, и в черепушке отсутствие мозгов,— вы можете отправиться к командору Мочалову. Воображаю этого командора. Вероятно, весь зарос шерстью и очищает ноздри пальцами.

— Ну, вы преувеличиваете, Фиппс,— несмело сказал кто-то из группы.— Я понимаю, что лететь сейчас в полярное море могут только сумасшедшие. Но насчет русских летчиков — это неправда. Они неплохие ребята. Я видел русского летчика мистера Громбу — это вполне респектабельный человек и отличный пилот, он брился каждый день. Другой, мне о нем рассказывали знакомые,— командор Слайпни, совсем герой. Он привез в Америку на своем самолете тела разбившихся в Арктике Эйельсона и Борланда. Он нашел их в снегу и во льду.

— Сказки,— Фиппс презрительно повел плечом и скривился,— этот командор Слайпни не садился на самолет до Берингова пролива. Он искал Бена Эйельсона на санях, запряженных оленями. Ему пришлось сесть за рули только в Уэллене. Туда прилетели Ионг и Гильом, и ему волей-неволей пришлось доказывать, что он летчик, иначе был бы скандал. Он перелетел только пролив до Теллора, и Ионг и Гильом, летевшие с ним, видели, что самолет у него качается, как пьяная баба. А обратно из Америки он поехал пароходом, потому что не мог лететь. Мне говорил сам Ионг.

Пит вдруг побледнел и надвинулся на Фиппса. Вышло это у него совершенно непроизвольно, он даже не подумал, что будет делать сейчас и что будет говорить.

— Вы... паршивый лгун! Заткните ваше грязное хайло! Ионг не мог говорить вам ничего подобного. Ионг честный человек и хороший летчик. Я летал с ним на севере, и мне он говорил, что если есть человек, который достоин уважения, так это русский командор Слайпни.

Он начал говорить тихо, но к концу разволновался и закричал. Механики затихли, ожидая развития истории.

— Вы, кажется, сказали, что я лгу? — Фиппс прищурился.

— Да, я сказал, что вы лжете. Вы вообще прохвост! — закричал Пит, уже не владея собой.

Он сам не понимал, что привело его в такое бешеное состояние. Русские были ему совершенно безразличны. Он никогда не видел ни одного русского с того берега и не испытывал желания видеть. Ему приходилось встречать на Аляске людей, говоривших на этом странном языке. Потомки русских колонистов, они, за исключением знания чужих слов, были такими же американцами, как и он сам. Неверие в способности русских летчиков никак не задевало его лично. Он не решался сознаться себе, что причиной его

внезапного гнева была ненависть одиночества, ненависть его поколения, миллионов Митчеллов к таким вот развязным красавчикам. Для них все: и хорошие костюмы, и лучшие девушки, и уверенные манеры, и неотразимая наглость победителей. Они лгут — и им верят, они делают подлости на каждом шагу — их считают образцами благородства, им не прожигает лба электрическим током. Хорошо, Пит сейчас покажет ему, что такое взбунтовавшийся Митчелл.

— Может быть, вы, сэр, подумаете и решите, что вы сказали глупость? — Фиппс явно издевался.

— Снимайте пиджак, иначе я измолочу вам морду и пропадет ваш костюм,— ответил Пит, быстрым движением срывая свой пиджак.

— Идите в биллиардную,— предложил кто-то из механиков,— здесь мало места для хорошей драки.

— Отлично! Я буду бить его везде.— Пит двинулся в биллиардную.

Там Фиппс тоже снял пиджак. Он покраснел, и сладкая красивость сошла с его лица, оно стало неприкрыто звериным. Им очистили место.

— Начинайте,— предложил Пит, становясь в позицию, и тут же получил оглушительный удар в скулу, от которого все завертелось у него в голове.

— Хороший удар! — услыхал он чье-то одобрение.

Тогда он бросился вперед с яростью первобытного человека, защищающего свою жизнь. Он бил изо всех сил, как никогда в жизни. Он получал ответные удары, но уже не чувствовал их. Внезапно все стихло вокруг, как будто исчезли люди и провалилось здание. Только звонкий писк стоял у него в ушах. Красноватый мутный туман, застилавший ему зрение, медленно растаял, и он вновь увидел себя и окружающих. У стены он заметил трех людей, нагнувшихся над чем-то. Длинные ноги в серых брюках неподвижно вытянулись на полу. Кто-то поддержал Пита под локоть.

— Ну и били же вы его! — сказал восхищенный голос.— Мне думается, что без доктора он не встанет.

Пит, шатаясь, подошел к тем трем у стены. Заглянул через их плечи. В глаза ему бросилась посинелая вздутая маска, непохожая на человеческое лицо. Один глаз сплошь запух, другой стоял в орбите тусклый и неподвижный. Из разбитых губ текла кровь. Пит содрогнулся всем телом — тяжелая тошнота подступила к горлу. Тот же неизвестный

провел его в уборную. Над умывальником висело тусклое, засиженное мухами зеркало. Пит не узнал себя. Левая скула залилась багровым пятном, весь низ лица был замазан кровью, текшей из носа. Пятна крови были на воротничке, на рубашке.

— Однако и он вас здорово разделал,— продолжал тот же удовлетворенный голос, и только теперь Пит обратил внимание на его обладателя и узнал его. Это был механик Девиль, один из самых тихих и незаметных людей в их обществе.

— Умойтесь, Митчелл,— сказал Девиль,— и потом пойдем выпьем виски. После такой передряги обязательно нужно дернуть стаканчик, иначе ослабеешь.

Пит осторожно обмыл лицо. И без того непрезентабельный нос-картошечка походил теперь на большую, хорошо разваренную картофелину.

— Ужасно,— произнес он и сам удивился своему гнусавому, как будто чужому голосу.

— Не беда, раз вы на ногах,— утешил Девиль и, неожиданно сжав руку Питу, добавил: — Тому вдесятеро хуже. Говорят, вы сломали ему ключицу и ему придется поваляться месяц. Но это поделом, он давно напрашивался на хороший мордобой. Пойдем!

Пит послушно дал увести себя к столику и послушно выпил предложенный стакан виски. Сразу по телу брызнуло тепло и унялась, не прекращавшаяся до того, противная дрожь нижней челюсти.

— Теперь посидите спокойно,— сказал Девиль,— закройте глаза и думайте о чем-нибудь, тогда все пройдет. Я знаю — я был ассистентом у боксеров.

Пит покорно закрыл глаза и откинулся на спинку стула, распустив тело. Тепло от виски проникало все глубже, разливалось в каждой жилке, и он почувствовал вдруг состояние волшебного покоя и счастья. Такое состояние бывало у него на севере, когда, в свободное время, он уходил в лес и в глуши, среди синих сугробов нетронутого снега садился на сваленный ствол помечтать. Кругом лежала хрустальная тишина, в ветках чирикала зимняя пичужка, и изредка с шорохом сваливались с ветвей пушистые снежные хлопья.

Пит сидел, слушая лесные шорохи, и мечтал. Чаще всего он мечтал о какой-то счастливой земле. Он не знал, где она находится и как называется, но верил, что где-то в мире должна же быть большая, теплая солнечная земля, на

которой всем людям живется беззаботно, радостно и ясно. Не может быть, чтобы такой земли совсем не существовало, без нее мир терял всякий смысл, а жизнь не имела цели.

И когда Пит вспомнил об этих своих мечтах в лесной тишине, его вдруг властно потянуло опять на север, в белое молчание снегов, в безлюдье. На севере он был счастливее, чем здесь, в безалаберном грохоте Сан-Франциско, где он чувствовал себя пушинкой из детской сказки, пушинкой, за которой гоняются черти.

И еще не осознанная мысль начала настойчиво проталкиваться в его растревоженное сознание.

— О чем вы думаете, Митчелл? — услыхал он тихий и дружелюбный вопрос Девиля.

— О севере, Девиль,— ответ вырвался неожиданно.

— Да? — сказал Девиль.— Вот это странно. Ведь я тоже думаю об этом. Это объявление засело у меня в голове.

Пит открыл глаза и сел прямо.

— Какое объявление?

Он совершенно забыл об объявлении дирекции, о том самом объявлении, которое привело его к бою с Фиппсом.

— Ну это! Насчет полета с русскими. Что вы об этом думаете?

Пит уставился на собеседника. Это было совершенно неожиданно. Он ни одну секунду не думал отзываться на это объявление. Он изуродовал Фиппса за подлое вранье о командоре Слайпни, но ему в голову не приходило лететь с русскими летчиками. Фиппс врал о качествах пилота, но Фиппс был прав, что в такое паскудное время, как начало весны, лететь в Арктику могли только люди, которым надоела жизнь и претили тривиальные способы самоубийства. Умирать же Питу совсем не хотелось, тем более сегодня. Нужно было жить, чтобы придумать, как помочь сестре и где достать денег.

— Я совершенно не думал об объявлении,— сказал он довольно равнодушно.— Почему вам это пришло в голову?

Девиль придвинулся ближе.

— Слушайте, Митчелл. Я хочу вам предложить сделать это дело вместе со мной. Я видел вас и в работе и на отдыхе. Мне кажется, что вы спокойный парень, с выдержкой и характером. И вы честный человек, Митчелл. В этом я убедился сегодня. Вы не кум русскому командору, но вы не стерпели, когда всякая скотина клевещет на хорошего лет-

чика. Что бы вы подумали о предложении поехать вместе со мной сейчас к русским? Это не решает вопроса о вашем согласии лететь — вы сможете отказаться. Но мне нравится эта авантюра, в ней есть что-то свежее. И помимо того, русские вообще не жалеют денег. Они платят, как цари.

Пит несколько секунд молчал. Ему не приходила в голову денежная сторона вопроса. А в самом деле, возможно, что Девиль прав. Он слыхал, что русские приглашали в свою страну инженеров и мастеров обучать обращению с машинами, и слыхал, что этим инженерам платили много и щедро. Может быть, здесь решение того неразрешимого вопроса, над которым он и мать утром безнадежно ломали голову.

— Вы уверены, что они хорошо заплатят?

— Убежден. Ведь дело экстренное. Они не могут ждать и торговаться. Им дороже час, чем тысяча долларов. Так как? Проедемся?

Пит помолчал еще секунду.

— Что же, пожалуй, проедемся. Вы перевернули мне это дело другой стороной,— сказал он, подымаясь,— я не имею ничего против севера, мне даже хочется туда. А если при этом будут хорошие деньги, это меня совсем устраивает. Я сегодня как раз с утра ломаю башку, где бы достать много денег?

Они вышли и взяли автобус. Едва автобус тронулся — Пит вдруг поднялся с сиденья.

— Погодите,— сообразил он,— мне же нужно переменить рубашку. У меня, вероятно, достаточно подозрительная рожа, и если к тому же я явлюсь в рубашке, измазанной кровью, меня отправят прямо в участок. Нужно зайти в лавочку купить новую рубашку.

— Ни черта вы не купите,— Девиль усадил Пита,— воскресенье. Все лавочки заперты. Зайдем ко мне, я живу в двух шагах от «Пасифик», и дам вам рубашку.

В отеле лифт вскинул их на четвертый этаж. Коридорный указал направление. Они шли по гулкому длинному коридору с массой дверей.

— Интересно в самом деле, как выглядят эти русские? — сказал Пит, останавливаясь у номера 118.— Может быть, я напрасно разворотил личико Фиппсу.

— Мне совершенно все равно, какой у них вид, лишь бы у них были настоящие деньги,— отозвался Девиль.— Стучите.

Пит постучал. На оклик изнутри толкнул дверь. Оба вошли в обычную коробочку-прихожую отельного номера. Во второй, внутренней двери, закрывая ее пролет, стоял спиной к свету человек. Лицо его было в тени. Питу показалось, что это совсем зеленый юноша.

— Что вам угодно? — спросил он, всматриваясь в вошедших.

— Мы бортмеханики, сэр. По объявлению «Эйрвейс Компани»,— пояснил Пит.— Может быть, мы опоздали?

— Нет, вы не опоздали. Тут были уже трое, но с ними не вышло.

— Тогда, сэр, если вас не затруднит, доложите русскому командору.

Стоявший в дверях засмеялся.

— Зачем же такие сложности? Может быть, возможно обойтись без доклада?

Пит нахмурился. Действительно, должно быть, русские странные люди. Шутить шутки с людьми, пришедшими по делу, несколько неуместно.

— Я однажды читал, сэр, в газете о русских обычаях. Там писалось, что русские любят дурачить гостей всякими прибаутками. Но у нас нет времени на это. Мы хотим видеть начальника русской эскадрильи командора Мочалова.

Человек в дверях засмеялся еще беззаботней.

— Я тоже однажды читал в газете об американских обычаях, и там писалось, что американцы очень чудаковаты. Но я этому не верю. Я Мочалов... Плиз!

Он отступил от прохода и сделал пригласительный жест. Опешивший Пит вошел в номер, не сводя глаз с хозяина.

В номере было накурено. На столах лежали развернутые карты, бинокли, какие-то свертки, на полу и на креслах чемоданы, раскрытые и закрытые. Комната напоминала скорее палатку золотоискателей, чем номер респектабельного отеля.

— Прошу садиться.— И командор Мочалов столкнул с кресла на пол чемодан.

Пит и Девиль присели, огорошенные обстановкой.

— Курите? — командор протягивал коробку с папиросами.

— Благодарю вас,— сказал Пит,— я предпочитаю трубочный.

— А вы попробуйте. Это русские папиросы. Сейчас будем разговаривать.

Пит взял из вежливости папиросу. Она показалась ему крепкой и необыкновенно вкусной. Он поглядел на командора, свертывавшего карты, на остальных людей и спросил:

— Значит, сэр, вы и есть начальник эскадрильи?

— Да. А что? Разве я вам не нравлюсь? — улыбаясь, сказал русский.

— Нет, сэр. Я с удовольствием сыграл бы с вами в регби или поплавал наперегонки. Но для начальника эскадрильи, которой предстоит такое путешествие, вы несколько молоды.

Русский сказал, обернувшись к своим, несколько фраз на чужом языке. Последовал раскатистый, неудержимый, открытый, совсем непохожий на американский, смех.

— Но мне кажется, и вы не так стары? Я совсем не заинтересован в инвалидах труда,— сказал русский командор.

— Мне двадцать шесть лет, сэр. Это нормально для рядового бортмеханика.

— Мне двадцать четыре. В нашей стране это уже много для летчика.

— Очень замечательная страна, надеюсь,— с легкой иронией сказал Пит.

— Совершенно верно, механик. Замечательная страна... Но как же мне понять вас? Вы отказываетесь признать авторитет такого щенка, как я, так, что ли?

— Я, сэр, не называл вас щенком,— Пит покраснел.— Я только удивился вашей молодости. У нас летчика в таком возрасте не назначили бы командором. А что касается вашего авторитета, вполне возможно, что вы знаете дело назубок.

— Так что вы не прочь полетать со мной? — спросил русский.

— Это зависит от дальнейших разговоров, сэр,— вставил молчавший Девиль.

— Отлично! Перейдем сразу к дальнейшим разговорам.— Русский запросто сел на стол, и это понравилось Питу.— Дело обстоит так. Послезавтра в два часа дня мы вылетаем на двух самолетах «Савэдж» на Аляску. Там мы меняем поплавки на лыжи и летим дальше на поиски людей, застрявших на льду. Возможно, что нам придется сперва только сбросить им одежду и продовольствие, мы не знаем, как обстоит у них дело с посадкой. Если у них нет площадки, придется поискать подходящего места вблизи. Как только будет выяснена возможность посадки, мы

снимаем людей, возвращаемся в Ном, перелетаем пролив в бухту Провидения, оттуда в Петропавловск и Владивосток. Там экспедиция считается законченной, и вы возвращаетесь в Америку. Понятно?

— Понятно,— сказал Пит, со все большим удивлением разглядывая русского.— Все совершенно понятно, но вы говорите о пути так, как будто вы его уже пролетели и сделали все, что нужно.

— Не совсем так,— поправил командор,— я только говорю, как я пролечу и как сделаю то, что нужно.

— Очень приятная уверенность, сэр. Видимо, вам нечего терять.

Командор внимательно взглянул на Пита, и только сейчас Пит увидел, что у этого мальчика пристальные, очень взрослые и насквозь проникающие глаза.

— Насчет потерь, механик...— медленно сказал русский, но вдруг оборвал начатую фразу.— Я понимаю, что многое может показаться вам необычным. Но думаю, что все это уяснится в работе. Я изложил вам цель экспедиции. Теперь условия.

— Да, сэр! Условия,— повторил Девиль.

— Условия просты. Вы поступаете на службу советского правительства под моим командованием. Это — первое. Второе — срок работы. Я не уверен, но полагаю, что все дело займет около полутора месяцев, принимая во внимание сложные метеорологические условия, возможность долгого сидения в ожидании летной погоды, мелкие аварии и тому подобное.

— А крупных, сэр, вы не предвидите? — осведомился Пит.

— Я их исключаю,— спокойно ответил русский,— мое правительство не заинтересовано в крупных авариях и я сам тоже.

«Однако малый крепкий и самоуверен»,— подумал Пит.

— Материальные условия,— продолжал русский,— таковы: вы получаете двойной оклад бортмеханика полярной службы, то есть триста долларов в месяц. Жалованье дается сразу за три месяца вперед, плюс сто долларов подъемных. Правительство страхует жизнь каждого в двадцать пять тысяч долларов, полис на предъявителя. Если же экспедиция закончится без всяких потерь — каждый из вас получает премию в размере того же трехмесячного оклада. Сколько бы ни продолжалась работа, полученное жалованье возврату не подлежит. Вас удовлетворяет это?

Пит почувствовал внезапное головокружение. Его мозг заработал с быстротой автоматического счетчика, и цифры завертелись в мозгу.

Трижды триста— девятьсот, плюс сто — тысяча долларов, плюс трижды триста — девятьсот — тысяча девятьсот долларов. Девятьсот долларов Фэй для Джемса. Тысяча долларов ему с матерью — сказочная история. Шехерезада! Как все это случилось?

Если бы письмо Фэй опоздало на сутки, он не пошел бы сегодня на аэродром, не прочел бы объявления, не дрался бы с Фиппсом и не попал бы к русским.

Пит почувствовал испарину на лбу и вытер его ладонью. А русский продолжал голосом змия-искусителя:

— Первую тысячу долларов вы получаете немедленно по подписании условия. Если все это приемлемо для вас, мы подписываем контракт сейчас же. Люди мне нужны немедленно...

— Но, сэр, вы должны, вероятно, проверить нас? Вам необходимы рекомендации, отзыв компании? — спросил Девиль.

— Через пять минут я его буду знать от директора,— сказал командор.— Итак, вы согласны?

— Йес, сэр,— Пит кивнул.

Русский еще раз взглянул на Пита и усмехнулся.

— Теперь один вопрос, механик... Пьете? — спросил он в упор.

— Я? Нет, сэр. Кроме пива, ничего в рот не беру. Сегодня, правда, выпил стаканчик виски, но по исключительному поводу.

— Для храбрости? А почему у вас синяк на скуле и распух нос?

Пит ответил не сразу.

— Это случайное дело,— смущенно произнес он, отводя взгляд.

— Возможно, механик,— русский смотрел в упор,— но, набирая людей, я беру на себя ответственность за их жизнь и за жизнь машин. Поэтому для уверенности я желал бы знать, какое случайное дело привело вас в такой вид?

Пит встал и горько вздохнул. Счастье начало внезапно и стремительно проваливаться в пустоту. Не рассказать нельзя, а рассказать тоже бесполезно. Вряд ли руский командор захочет иметь дело со скандалистом и драчуном. Все пропало.

— Нет, сэр,— сказал он захолодевшим голосом,— это не имеет отношения к работе. Но я вас понимаю и сам поступил бы так же. Разрешите уйти, сэр?

Он сделал шаг к двери, но Девиль поймал его за рукав.

— Простите, сэр,— сказал он, обращаясь к русскому,— этот парень сегодня поглупел, но, ручаюсь, завтра он будет опять нормальным. Он прав — это не имеет никакого отношения к работе. Все это вышло из-за командора Слайпни.

— Кто такой командор Слайпни? — Русский высоко поднял брови.

— Командор Слайпни, сэр,— русский пилот, который разыскал во льдах Бена Эйельсона и Борланда.

— Слепнев? — спросил русский.

— Совершенно верно, сэр. Это мы его так называем.

— Хорошо. Чем виноват командор Слепнев в синяке механика?

— Видите, сэр! Он поспорил с одним из наших парней, который утверждал, что командор Слайпни никуда не годный летчик. А в Америке уважают командора Слайпни. Тогда парни подрались, и Пит своротил рожу этому прохвосту, но пострадал сам.

Пит хмуро смотрел в пол, пока Девиль объяснялся за него. Ему было стыдно и не по себе.

— Это любопытно,— услыхал он голос русского,— тогда, механик, я думаю, что ваши синяки меня вполне устраивают.

Он опять что-то сказал другим русским. Сразу заговорили все громко и весело и начали жать руку Питу. Он совсем растерялся. Поднял глаза и увидел перед собой невысокого, с добрым курносым лицом человека. Человек смотрел на него мечтательными водянисто-зелеными зрачками.

— Пилот Блиц, механик! Он ведает всей материальной частью. По всем делам, связанным с оборудованием машин, обращайтесь к нему,— представил командор.

Пит крепко стиснул руку Блица. Пилот ему понравился.

— Теперь, механики, спустимся вниз, в номер нашего консультанта, юриста торгового представительства. Там мы подпишем контракт, вы получите чеки. Завтрашний день на прощанье и сборы, а послезавтра прошу в семь утра быть на аэродроме.

Русский распахнул дверь, пропуская бортмехаников.

8

Спокойная вода бассейна гидроаэродрома рябила серебряной чешуей. Два голубых самолета стояли на буйках, пришвартованные хвостами к стенке, тихо подрагивая на воде. Блиц в складном резиновом тузике, подгребая веслом, вертелся у самолетов, приглядываясь, ощупывая, втягивая голову в плечи, нахохленный, как заботливая наседка, кружащая подле выводка. Мочалов сидел на стенке, спустив ноги к воде, и с улыбкой наблюдал за Блицем.

Блиц подобрался под плоскость, снизу пощелкал по ней, подгреб к фюзеляжу и нежно провел ладонью по зеркальному голубому лаку. Поглядел на ладонь и просиял.

— Что? Нравятся самолетики? — спросил Мочалов.

Блиц выбрался из-под крыла, выпрямился и, положив весло поперек тузика, неопределенно хмыкнул.

— Что мычишь?

— Как сказать,— Блиц мотнул головой,— вроде... буржуазной... дамочки.

— То есть? — не понял Мочалов.— Ты внятней говори.

— Жульничество,— сказал Блиц и сделал длительную паузу,— сверху шик... под шиком пшик... На крыльях... батист... бабьи подштанники. Шасси — спички... Только на асфальт... садиться. На фу-фу строено...

— Думаешь, на льду засыпаться можно?

Не отвечая, Блиц подгреб к стенке и протянул руку.

— Дай папиросу.

Мочалов сунул ему портсигар. Блиц взял папиросу и закурил. Прищурясь, смотрел на поползшие дымные ниточки. Повел бровью.

— Засыпаться?.. Даже... очень... просто. И Марков ругается... соломенные машины.

— Ерунда! — Мочалов поднял плечи.— Ведь летают американцы — и ничего. Что же, мы хуже?

— Это... верно,— сказал Блиц, опять подумав.— Хотя Рид раскваcился... летевши к Слепневу.

— Оттого раскваcился, что фасон ломал. Пыль в глаза хотел пустить перед Слепневым. Сесть на ропаках на три точки. Думал не о самолете, а о своем гоноре. А при осторожности не страшно. Безаварийность — это осторожность.

Блиц закрепил конец линя тузика в кольцо стенки и вылез наверх.

— Осторожно все можно.

Мочалов засмеялся.

— Ишь развезло тебя сегодня на разговор. Стихами даже жаришь.

Блиц широко развел руки, вытянул большой палец и покачал им перед носом Мочалова.

— Настроение... у меня... во! Лететь будем... Соскучился... без воздуха. От радости не знаю... что сделать.

И вдруг толчком в плечи опрокинул Мочалова на спину. Мочалов не успел опомниться — Блиц уже сидел на нем, тузил под бока, тискал и хохотал. Тогда на Мочалова тоже накатил приступ неудержимого мальчишеского буйства. Он, в свою очередь, сдавил Блица, и оба завозились, кувыркаясь на нагретых каменных плитах и повизгивая, как расшалившиеся щенки. Наконец, извернувшись, Мочалов выпростался наверх и навалился на Блица, притиснув к земле его раскинутые руки.

— Шалишь,— кричал он, отбивая попытки Блица освободиться,— врешь! Уложен на лопатки. Сдавайся на милость. А то возьму за ноги и окуну в воду.

Продолжая возню, он оглянулся и увидел вылезшего из кабины на крыло бортмеханика Митчелла. Он смотрел на летчиков. Поймав взгляд русского командора, Митчелл осторожно спросил:

— Прикажете помочь, сэр? Или позвать полисмена?

Мочалов выпустил Блица и расхохотался:

— Не требуется, механик. До этого не дошло. Мы просто шутили... понимаете? Дурака валяли,— закончил он по-русски, не найдя соответствующего английского выражения.

Белесые брови Митчелла слегка приподнялись.

— Да, сэр,— вежливо, но недоверчиво сказал он.

— Знаете, Митчелл,— Мочалов поморщился,— перестаньте звать меня сэром. Я не сенатор и не шериф. Мне не нравится этот титул.

Вытирая ветошкой масло с пальцев и еще выше приподняв брови, Митчелл спокойно спросил:

— Как прикажете обращаться к вам, сэр?

Блиц фыркнул, зажимая рот. Мочалов растерялся.

— Если вам не удобно называть меня кэмрадом, как принято у нас, можете звать просто пилотом.

— Гуд, пайлот,— коротко ответил Митчелл и снова полез в кабину.

— Верняк, за сумасшедших считает,— флегматически заметил Блиц.

— Ничего, привыкнет... Хотел бы я залезть ему в нутро,— смеясь, сказал Мочалов,— наверно, сплошное удивление. Пусть поудивляется на первых порах — ему полезно. А вообще мы взяли, кажется, неплохих парней. Во-первых, дело знают, во-вторых, тоже молоды, вроде нас. Легче понять друг друга и договориться. Еще не зачерствели. А Митчелл совсем толковый малый. Сегодня утром спрашивает, включили ли мы в снабжение электростельки. А я и не знаю, с чем их едят. Оказалось, у них все летчики в зимнее время пользуют эту штучку. Кладется в сапоги и прямо включается в сеть. Обязательно дома нужно завести. Все ведь в ногах. Как ноги начнут стыть, сразу самочувствие теряешь.

— Это я заметил,— сказал Блиц,— у них... много внимания... к мелочам.

Он откинул обшлаг и посмотрел на часы.

— Ого! Тринадцать двадцать. Скоро штурмана приедут, и... фаруэл, Сан-Франциско.

— Достали ли карты? — взволновался, вспомнив, Мочалов.— Наши все-таки неточны. Эх, была бы Аляска наша, летали бы как дома.

— Достанут,— успокоил Блиц,— обещали ведь... Слушай... у меня что-то под ложечкой... посасывает. Не сходить ли в кафе, пока они приедут.

— Можно,— согласился Мочалов,— зови Маркова.

— Марков... Марков,— закричал Блиц, приставив рупором ладони,— вылезай, пойдем заправимся на дорогу!

Мочалов пересек набережную, направляясь к постройкам. Он нарочно не стал ждать Маркова. С той ночи на пароходе, помня просьбу Маркова оставить его наедине с самим собой, Мочалов уклонялся от непосредственных разговоров с ним, ограничиваясь общими деловыми беседами. В конце концов, если человек нервничает и психует, пожалуй, лучше не нажимать на него. Возможно, в одиночку ему легче перебороть себя и справиться с непонятной депрессией. У всякого свой норов. Один выздоравливает в коллективе, другой в одиночестве. Наблюдая за Марковым со стороны, стараясь не навязываться, Мочалов с радостью замечал, что за трое суток в Сан-Франциско Марков значительно успокоился и выровнялся. Лихорадочная желчность исчезла, он распрямился, окреп и стал похож на прежнего Маркова, отличного, опытного летчика, прекрасного товарища. Было бы очень неприятно потерять его. Маркова любили и уважали в школе за доблестное боевое прошлое,

за знания и опыт, за блестящие летные качества. Мочалов, со своими пятьюстами налетанными часами, был недорослем рядом с Марковым, давно потерявшим счет этим часам. И поэтому признаки выздоровления Маркова радовали Мочалова, как радовало бы собственное выздоровление.

Он оглянулся. Позади его догоняли Блиц с Марковым, спокойно разговаривая.

«Ну и чудесно,— подумалось Мочалову,— может быть, все уладится. Снимать Маркова с полета было бы так же тяжело, как выгнать из дома старшего брата».

Девиль, свезший Маркова на стенку, пригреб на своем тузике к самолету Мочалова.

— Э, Митчелл! Алло! — позвал он, просовывая голову в дверь кабины.

Пит оглянулся:

— В чем дело?

— У вас все готово?

— Все.

— Тогда давайте закусим. Хозяева тоже ушли позавтракать. Нам с вами уже не удастся плотно перехватить. У вас есть закуска?

— Да! Сандвичи и всякая мелочь.

— И у меня. Кроме того, у меня кофе в термосе, так что у нас будет королевское меню. Вылезайте и тащите ваш продуктовый магазин.

Пит вылез и уселся на пороге люка. Девиль разлил кофе в алюминиевые кружки. Пит взял кружку, но не дотрагивался до нее губами. Он сидел, поджав ноги, и сосредоточенно смотрел на носки своих ботинок.

— Что вы так разглядываете свои сапоги, Митчелл? — спросил Девиль.— Не думаете ли вы, что они из золота?

— Нет,— Пит оторвался от задумчивого созерцания,— я думаю об одной вещи, которую никак не могу понять.

— А именно?

— Минут пятнадцать назад, когда я работал с мотором, мне послышались на набережной крики и какой-то шум. Я выглянул наружу и увидел, что командор Мошалоу насел на другого пилота и тузит кулаками.

— О-ээ! — произнес Девиль, переставая жевать сандвич.— Они подрались?

— Они валялись по земле, один на другом, и на моих

глазах командор Мошалоу прижал этого маленького, с зелеными глазами, и притиснул его к земле. Естественно, я подумал, что они поссорились, и предложил командору позвать полисмена. Вообразите, он ответил, что это не драка, а шутка и еще что-то по-русски, чего я не понял. Я подумал — он врет от стыда, что я застал их драку. Но действительно они забавлялись, потому что через минуту разговаривали, как друзья.

— Что же, у них не все болты тут завинчены? — Девиль дотронулся до головы.

— Вот и я тоже подумал сначала. Это очень странно, что два взрослых пилота, перед вылетом в такую экспедицию, валяются по земле, как бешеные телята.

— Да,— ответил Девиль,— а впрочем... какое нам до этого дело? Пусть они ходят по земле хоть вверх ногами. Мне на это плевать. Я не имею никаких возражений, поскольку я получил все, обусловленное контрактом. А почему вас это волнует? Или вам недоплатили?

— Нет,— Пит отрицательно мотнул головой,— я тоже получил все. Да это, в сущности, меня и не беспокоит. Вот если они затеют такую возню в воздухе, тогда я соображу — продолжать мне эту игру или нет. Но меня занимает другая сторона происшествия. Я не стар, но кое-что на своем веку повидал. Главным образом, я видел людей. Мне приходилось встречаться со всякими нациями. Я знавал китайцев, французов, итальянцев, немцев. Вы знаете, этих людей немало в Америке. И понимаете, что меня удивляло. Люди называются по-разному, и несмотря на это, немца трудно отличить от японца и японца от неаполитанца.

— Ну, джапа я отличу за километр,— заметил Девиль.

— Снаружи, конечно. Но я не об этом говорю. Суть в том, что люди разных наций разнятся только внешне. Разная форма глаз, носа, окраска кожи. В смысле же психологии я не знаю особой разницы между японцем и парижанином. Все равно как если вы возьмете доллар и двадцать франков. На долларе Вашингтон, на франках — мисс Франция. Разные рисунки на одинаковом серебре одной пробы. Средний японец думает и говорит о том же, что и средний немец. О выгодной работе, хорошей женитьбе, покупке фермы и сберегательной книжке. Вам приходилось когда-нибудь разговаривать с вашими знакомыми об архитектурных стилях?

— Я в них ничего не понимаю,— процедил Девиль, жуя ветчину.

— Но у вас и нет никакого желания их понимать. Вам просто некогда и не до архитектуры. Вам впору заработать на хлеб. Мы ничего не знаем, кроме нашего непосредственного ремесла. Это собачья старость, Девиль. А вот я смотрю на русских и вижу, что они не похожи ни на кого. Вчера я просидел три битых часа в номере у командора Мошалоу, где были все русские. Они говорили без умолку и ожесточенно спорили. А когда я спросил у командора, о чем разговор,— оказалось, что они спорили об американской архитектуре. Я мог предположить все что угодно, только не это. Как хотите, мне это непонятно.

— Ну, видите ли, все-таки русские полудикий народ,— снисходительно сказал Девиль.

Пит отмахнулся:

— Бросьте эти сказки. Если бы они спорили, какие кольца продевать в ноздри и куда вставлять павлиньи перья, я мог бы вообразить такую чушь. Но полудикие люди, которые три часа спорят об архитектуре,— извините, это вздор. В них, по-моему, есть то, чего нам не хватает,— молодость. Они, видимо, чертовски молоды, жизнерадостны и жадны на ощущения. Мне это нравится, но я хотел бы знать, откуда у них эта молодость?

Девиль небрежно скривился.

— Охота! Вы большой чудак, Митчелл! Вы начинаете закапываться в философию. Не советую. Это не по носу нашему брату. Кроме того, я слыхал, что один немецкий философ так углубился в решение вопроса о причине всех причин, что забыл принимать пищу и умер от истощения. С вами может случиться то же... Смотрите на жизнь проще. Русские щедро платят, и с меня этого хватает.

— Вы говорите как стандартный американец,— с неудовольствием сказал Пит.

— Я и есть стандартный американец. Это отличный продукт... Но вон подходят русские. Давайте убирать наш ленч и пожелаем друг другу счастливой дороги.

Пит встал. К самолетам приближались русские летчики в сопровождении своего советника и директора «Эйрвейс Компани».

— Все в порядке, механики? — спросил со стенки командор Мочалов.

— Йес,— в один голос ответили Митчелл и Девиль.

— Отлично. Сейчас мы летим. Приготовиться к старту.

— Ну, товарищи, ни пуха ни пера, по охотничьему присловью,— пожелал юрисконсульт торгпредства, пожимая руки летчикам.

— Марков! На первом этапе поведешь ты,— сказал Мочалов, застегивая ремни шлема,— я пойду ведомым. Товарищи командиры, по самолетам!

Тузики в две очереди развезли команды. Мочалов сел на пилотское место. Саженко закладывал под сетку планшета карту первого этапа. Потом оглядел навигационные приборы, новенькие и блестевшие бронзой и никелем.

— Чистая работа,— сказал он и даже облизнулся от удовольствия.

Освобожденные от буйков и хвостовых швартовов, самолеты медленно отходили от стенки, отгоняемые легким ветерком. Митчелл сложил тузик, убрал трап и захлопнул дверцу кабины.

— Самолет готов, пайлот.

Мочалов поглядел в сторону соседнего самолета. В стекле кабины мелькнула поднятая рука Маркова, и Мочалов повторил жест.

— Контакт!

— Контакт!

Моторы взвыли. Завертевшиеся пропеллеры погнали назад упругую струю воздуха и водяной пыли. Самолет стал разворачиваться против ветра. На набережной юрисконсульт бежал, ловя катящуюся шляпу, сдутую вихрем винтов. Мочалов улыбнулся.

Глухой рев моторов перешел в пронзительно звонкий вопль на полном газу, и самолет Маркова, вздрогнув, побежал по воде. Мочалов подрулил ему в струю кильватера. Несколько секунд стремительного пробега — шипение воды под поплавками, плавное покачивание. И сразу привычное ощущение невесомой легкости, которое определяет отрыв от воды.

Описав широкую дугу в воздухе, синяя птица Маркова развертывалась к северу, с каждой минутой набирая высоту.

«Здорово ведет»,— подумал Мочалов, оценивая мастерство товарища.

На вираже самолет накренило влево. Под собой Мочалов увидел нежно-голубой извилистый залив, воздушные очертания моста у Голден-Гейт, геометрические чертежи фортов, горы, покрытые еще не зазеленевшими рощами, коробочки домов. Весеннее солнце обливало пейзаж горячей

глазурью. За бухтой лежала густая бескрайняя синева океана. И хотя все это было привычно, Мочалов, в веселом опьянении сверкающей широтой, толкнул в бок Саженко и, показав вниз, крикнул во весь голос:

— Красота.

9

Тонкий и высокий свист, похожий на свист пули, звенел, не умолкая. Мочалов повернул голову и прислушался.

Свист продолжался, меняя тембр с глухого на пронзительный.

Мочалов встал и подошел к заиндевевшему окну. Постоял, прислушиваясь. Распахнул форточку. С визгом ворвалась в комнату и закружилась, обжигая лицо, стая сухих серебряных искр. Мочалов зажмурился и быстро захлопнул форточку.

Это повторялось сегодня уже несколько раз. Это было и вчера и раньше. Пурга метет и неистовствует пятые сутки. Поселок занесен до крыш. На улицах сугробы в двухэтажный дом. В двух шагах не видно человека, и шелестящие снежные вихри вонзаются в лицо тысячами колющих игл. На аэродроме накрепко привязаны сменившие поплавки на лыжи, занесенные выше плоскостей самолеты, и каждый день приходится устраивать авралы, чтобы тяжесть сугробов не надломила хрупкие крылья.

Пятые сутки нет никакой возможности тронуться с места. А время не ждет. С каждым часом положение становится тревожней. Вчерашнее радио из лагеря «Коммодора Беринга» уже носит угрожающий характер.

Мочалов вернулся к столу и нагнулся над бланком радиограммы. Лагерь «Беринга» сообщил, что на льду плохо обстоит дело с теплой обувью. При быстром погружении корабля он увлек с собой на дно отломившуюся льдину, на которой находился ящик с выгруженными меховыми сапогами. Из-за этого несчастья девять человек из четырнадцати остались в обычных кожаных и брезентовых сапогах. Обувь начинает разваливаться, и это грозит бедами. Один уже отморозил ступни.

Мочалов ударил кулаком по столу:

— Чертова пурга!

Пурга не пугала его. Он готов был лететь в самую дьявольскую погоду, сквозь все бури и ураганы, но важность задания удерживала его от авантюры. Рисковать нельзя.

Авария самолетов подписывает смертный приговор четырнадцати отрезанным от мира и жадно ждущим спасения людям.

Нужно ждать. Ждать, какая бы злость на проклятую погоду ни накипала в сердце. А пурга, словно издеваясь, не хотела униматься.

Мочалов посмотрел на фантастические серебряные сады, расцветшие на оконных стеклах, и нервно зашагал из угла в угол комнаты поселкового отеля. Это громкое название плохо шло к двухэтажному коттеджу канадского типа, в котором едва разместился состав звена, заняв все свободные номера.

Чистенький и уютный коттедж очень напоминал финские северные дачи. Стены из некрашеной сосны теплились смолистой желтизной досок, слезились янтарными каплями живицы и уютно пахли хвоей. Невозмутимая монастырская тишина владела домом. Здесь хорошо было пожить на отдыхе, побегать на лыжах по синему снегу, глотать всей грудью ледяной, чистый, как горный ключ, воздух. Но сидеть взаперти в жарко натопленной каморке, пока стихнет бешенство разнуздавшегося ветра! Сидеть, зная, что с каждой просроченной минутой ближе подходит гибель к товарищам, было изнурительным испытанием для нервной системы. Несколько раз Мочалов порывался дать распоряжение о вылете, но в последний миг сдерживал себя.

«Советский летчик имеет право на риск лишь тогда, когда не остается никакого нормального выхода»,— вспоминал он свою же мысль.

Постучали в дверь. В щель заглянула коридорная девушка.

— Сэр! Капитан Смит пришел. Он ждет вас в холле.

— Хорошо! Будьте добры сказать остальным, чтобы шли в холл.

Капитан Смит, начальник поселкового аэродрома, являлся каждый день в этот час с метеорологическими сводками. Он принял русских летчиков с отцовским радушием, помогал всем, чем мог, и вместе с ними страдал от пурги.

Мочалов спустился в холл — шестиугольный сарай, рядом с лестницей. Дощатый потолок холла почернел от каминного и табачного дыма. Середину холла занимал громадный дубовый стол с десятком пепельниц.

Капитан Смит сидел, положив ноги на решетку камина, и сосал трубку. Темно-бурое лицо его, в рябинах и буг-

рах, казалось вырубленным из того же корня, что и трубка. Неожиданным на этом лице старого пирата были ярко-синие ласковые детские глаза.

— Алло! Мистер Мошалоу! Как поживаете?

Он потряс ладонь Мочалова в своей заскорузлой огромной кисти.

— Неважно поживаю, капитан. Может быть, вы принесли утешительные новости?

— О,— Смит усмехнулся,— не особенно утешительные. Перемена предвидится. Ветер стихает и за ночь, наверное, стихнет совсем. Но предстоит новая неприятность, мистер Мошалоу. Сводка предсказывает на завтра оттепель и большую туманность. Лететь все равно нельзя.

— В тумане? Ну, нет, капитан. Туман нас не остановит.

— Оо! — Смит удивленно взглянул на Мочалова.— Вы никогда не видали хорошего тумана на Аляске. Сгущенные сливки Дженкинса прозрачны, как виски, по сравнению с нашим туманом, мистер Мошалоу. Никто из летчиков не рискует летать, когда на Аляску надвигается этот туман. И вам не советую... Добрый вечер! Добрый вечер! — Смит прервал разговор, здороваясь с спустившимися летчиками.

— Примите во внимание, что на вашем пути, через мыс Йорк и дальше к северу, лежит сильно пересеченная местность, неразведанные горные цепи. Вы рискуете в любую минуту напороться на скалу,— продолжал он, обращаясь к Мочалову,— а пробить туман вы вряд ли сможете. В это время года он стоит очень высоко, а над ним еще облачность. Вы не выйдете под солнце ниже чем на двух тысячах метров. А на такой высоте вы рискуете обледенеть и заморозить моторы. Идти же низом — это девяносто девять шансов треснуться о какой-нибудь отрог. Поверьте моему опыту, я с малолетства знаю эти чертовы места.

Мочалов задумался. Он смотрел по очереди на лица товарищей. Они все были угрюмы и скучны. Пятидневное вынужденное безделье заточения надоело всем, и Мочалов понял это.

— Я лично считаю, что дальше сидеть и ждать у моря погоды бессмысленно. Все эти дни я вынужден был воздерживаться от вылета, рассуждая, что вылет в такую пургу грозит аварией или гибелью, а наша первая задача — сохранение в целости материальной части и личного состава, чтобы долететь до места и вернуться, не потеряв ни одного

человека, ни одного самолета. Капитан Смит прав — туман опасен. Но я нахожу нужным лететь, не откладывая дальше. Никакой гарантии нет, что на смену туману не придет снова пурга. Мы можем ждать благоприятной погоды больше месяца, но тогда нам придется подобрать со льда только трупы, а мы имеем приказ спасти людей. Я мог бы просто приказать лететь, но я хочу знать и ваше мнение. Лететь ли вместе, или выпустить один самолет на разведку, оставив второй в резерве. Или, наконец, ждать всем еще несколько дней в надежде на хорошую погоду.

— По-моему, лететь, и вместе.

Сказал Марков. Голос был крепок и ровен. Глаза блестели уже не лихорадочным жаром, а уверенным боевым блеском, и Мочалов обрадованно посмотрел на Маркова.

«Отлично. Значит, выздоровел»,— повеселел Мочалов.

— Так! Остальные как думают?

— Можно было бы подождать сутки-другие. Но ты прав, что нет гарантии на перемену к лучшему. Думаю также, что лететь обязательно нужно всем вместе. На случай какого-нибудь...— Саженко замялся, не захотев сказать «несчастья».— На случай происшествия есть товарищи рядом... и можно нанести на карту координаты, если понадобится помощь.

— Поддерживаю Саженко,— сказал второй штурман. Блиц молча кивнул.

— Следовательно, разногласий нет? Тогда назначаю вылет на завтра с рассветом, в десять часов. Всем приготовиться и обеспечить материальную часть.

— Ну, как? — спросил Смит, когда кончился непонятный русский разговор.— Поспим еще денька два?

— Нет, капитан. Завтра утром вылет. Я ценю ваши советы, но ждать нельзя.

— Но это безумие,— сказал Смит.

— Это только слепой полет, капитан. Для чего-нибудь учились же мы слепым полетам. Мы отвечаем за жизнь людей на льдине.

— Но свою-то вы цените во что-нибудь? — Смит вынул трубку изо рта.

— Несомненно, капитан. Каждый из нас хочет жить. Но там хотят жить еще больше.

Смит неторопливо выбил пепел из трубки и положил ее в карман куртки. Подошел к Мочалову, заглядывая ему в лицо своими детскими глазами, и сердечно сказал, положив руку на плечо летчику:

— Не сердитесь, мистер Мошалоу, за прямоту. Вы сумасшедший, но если бы я был женат, я попросил бы свою жену, чтобы она нарожала мне таких ребят, как вы.

Он застегнул куртку, надел шапку и вышел.

— Механики,— обратился Мочалов к Митчеллу и Девилю,— мы вылетаем завтра утром. Поэтому вам придется сейчас же заняться расчисткой самолетов и моторами, чтобы к рассвету все было в полном порядке.

Митчелл удивленно посмотрел на командора и перевел глаза на Девиля.

Приказание было неожиданно и непривычно. Бортмеханики должны работать днем, а не ночью. Митчелл почувствовал раздражение. Все-таки русские странные люди и делают все не по-человечески... Достаточно того, что каждый день приходилось с утра до вечера надрываться, оберегая самолеты от заносов. И сегодня они провели больше четырех часов на этой скучной и утомительной работе и порядком утомились.

— Если позволите заметить, пайлот,— сказал Митчелл сухо и недовольно,— мы полагаем, что ночное время существует для сна и отдыха, а не для возни с моторами. Можно успеть сделать это утром и вылететь не в десять, а в полдень.

Мочалов сунул руки в карманы. Кровь плеснула ему в виски, и он тяжело задышал. Он предугадывал это еще в разговоре с Экком перед отъездом. Конечно! Иностранцы, наемники. Пошли на службу ради наживы, соблазненные высокой оплатой и легким заработком. Какое им дело до чувств и волнений Мочалова и его товарищей? Они выполняют работу механически, равнодушно. Нужно было настоять на своих бортмеханиках. С этими шкурниками еще наплачешься. Они будут саботировать и отлынивать от работы всякий раз, когда вздумается.

Его потянуло обложить обоих механиков всем запасом ругательных английских слов, пришедших ему на память, но он сдержал себя. Ни к чему! Только обозлишь их, и тогда можно остаться вовсе без механиков. Нужно попробовать пронять их иначе.

— Отлично,— сказал он, с презрением пожав плечами и в упор смотря на Митчелла,— отлично, механики! Вы совершенно правы! Вы наняты для дневной работы, в определенные часы. Я упустил это из виду. Вы обязаны работать «от и до», а остальное вас не касается. Вы правы! На льдине замерзают и ждут гибели не ваши, а наши това-

рищи. Следовательно, их судьба вас не касается. Вы правы!.. Можете отдыхать. Мы справимся с работой без вас. Вы отправляйтесь спать, а завтра приходите на готовое. Все же лететь мы будем в десять, а не в двенадцать. Ступайте спать, Митчелл. Спокойной ночи!

Он резко повернулся спиной к бортмеханикам.

— Одну минуту, пайлот,— услыхал он за собой голос Митчелла.

— Разговор кончен,— сухо отрезал Мочалов,— я сказал, что вы вправе требовать отдыха. Идите спать. Желаю приятных снов.

Но Митчелл обошел его и стал перед ним. Он был красен до корней волос, и белесые брови стали светлее лица.

— Разговор не кончен, пайлот,— сказал он настойчиво,— я сообщил вам, что в Америке мы имеем обыкновение работать днем, и полагал возможным просить вас отложить час вылета, чтобы мы могли сделать работу утром, отдохнув. Это было мое мнение. Но я не желаю позволять вам бросать мне упреки в бесчеловечности и равнодушии к погибающим. Это право вам не предоставлено контрактом, мистер Мошалоу. Мы не считаем нормальным, чтобы летчики делали работу за бортмехаников. Если это нужно, мы будем работать всю ночь. Вы могли бы нам объяснить необходимость этого, не прибегая к оскорблениям. Мы будем работать! Правильно, Девиль?

— О'кей, Митчелл,— спокойно сказал Девиль,— мы пойдем на работу, сэр, чтобы вы не могли потом рассказывать, что американцы не умеют работать, когда нужно. Не поспать несколько часов не страшно. Я предпочитаю не спать, чем слушать обидные речи.

— Ладно,— Мочалов усмехнулся,— тогда я беру свои слова обратно. Пойдемте к самолетам, Митчелл.

Все вместе они вышли на ночную улицу. Пурга еще мела, но ярость ее уже ослабела. Снег не метался больше в бешеном танце, а только перебегал, дымясь, по закраинам сугробов. Но самолеты, расчищенные в полдень, снова замело почти по плоскости. У своего самолета они разобрали лопаты. Саженко зашел с другой стороны. Мочалов и Митчелл остались вдвоем. Пухлые комья снега полетели в сторону.

Митчелл работал с молчаливым ожесточением, как будто желая показать летчику, как может работать американец, задетый за живое. Он захватывал громадные пуш-

стые глыбы и, весь напрягаясь, сворачивал их. Мочалов с улыбкой посматривал на него.

«Задело по самолюбию,— подумал он,— так и надо. Сперва на самолюбие, а потом на сознание! Иначе ему трудно понять. По существу, он должен воспринимать нас примерно так же, как воспринял бы марсиан».

Глубоко всадив лопату в заскрипевший сугроб, Мочалов налег на нее, но не смог выпростать,— снежный ком был слишком тяжел. Он выпрямился, чтобы передохнуть, и вдруг, пораженный, прислушался. К утихавшему посвисту ветра примешался человеческий свист, неожиданно и фантастически возникший рядом и складывавшийся в знакомый мотив. Насвистывал, несомненно, Митчелл. И несомненно, это был мотив «Типперери».

Не может быть! Мочалов откинул наушник. Нет, он не ослышался. Действительно, Митчелл, разбрасывая снег, свистал эту знакомую, въевшуюся в память с детства песенку. Это казалось невероятным, но это было так. Мочалов шагнул к Митчеллу и взволнованно схватил механика за рукав.

— Почему вы свистите эту песню? Откуда вы ее знаете? — спросил он быстро и почти сердито.

Митчелл воткнул лопату в снег и удивленно посмотрел на пилота.

— Если вам не нравится, я могу перестать, пайлот. Я вспомнил ее случайно,— сказал он виновато-недоуменно.

— Нет, нет,— прервал Мочалов,— пожалуйста... Я только хочу знать, откуда вы знаете эту песню? Где и когда вы услышали ее впервые?

— Где и когда? — Митчелл с возрастающим изумлением смотрел на взволнованного командора,— но это совсем нестоящее дело, пайлот. Мальчишкой я учился в военной школе, и мы всегда пели эту песню. Ее привезли в Америку наши солдаты с большой войны. Они переняли ее у английских томми. Наш воспитатель был из солдат и обучил нас. Дурацкая песня, пайлот, но эти паршивые мотивчики вцепляются в человека, как клещ в коровье брюхо. Трудно запомнить хорошую арию из оперы, а такая чепуха застревает в мозгу на всю жизнь. Я люблю свистать ее во время работы. От этого становится легче и веселей.

Мочалов молчал. Сложный узор воспоминаний стремительно развертывался перед ним. От перрона разгромленной станции Приволжья до этой минуты на синем ночном

снегу Аляски. Он был очень взволнован и не мог сразу справиться с волнением.

— А почему вас так интересует эта песня, пайлот? — осторожно спросил Пит.

Мочалов ответил не сразу.

— Это забавно,— сказал он наконец,— очень забавно. Мы могли бы никогда не встретиться с вами, Митчелл. И никогда не знали бы, что есть два человека, совершенно различных человека, которые любят петь одну песню. Дурацкую песню — вы правильно сказали. Я тоже знаю ее, Митчелл. И ко мне она привязалась с детства. Только вас научили в школе, а я узнал ее, когда был бездомным бродячим щенком. Очень странно.

— Да, пайлот,— ответил Пит, подумав,— и я тоже говорю, что это очень странно. Я никогда не смог бы предположить, что вы знаете эту песню.

Мочалов усмехнулся.

— А скажите, Митчелл, вы знаете, что такое «Типперери»?

Митчелл прислонился к фюзеляжу и долго смотрел перед собой, как будто припоминая.

— Говорят, что это маленькая деревенька, кажется в Ирландии, если я не ошибаюсь. Но мне наплевать на это,— сказал он вдруг с нежданной горячностью,— наплевать. Я не интересуюсь и думаю, что эта деревня просто выдумана. Я люблю иногда помечтать, пайлот. Когда живется не очень легко, иногда позволяешь себе думать о хорошей жизни, пайлот. И в мечтах я представляю себе, что Типперери — страна чудес, в которой жила Алиса. Что это счастливая большая земля, где солнце светит, не заходя, где нет несчастных, больных и бедных, девушки красивы, как феи, и добры, как ангелы, а цветы громадны и пахнут счастьем.

— А вы представляете себе, где находится эта земля? — спросил Мочалов.

— Нет, пайлот. Наверное, такой земли совсем нет. Она ведь должна быть очень большой, и если б она существовала, люди знали бы о ней. Это только мечта маленьких людей, пайлот. Им хочется счастья, и они выдумывают себе такую счастливую землю. Я спрашивал у многих, где может быть земля, на которой всем одинаково хорошо живется, но никто не знает адреса. Или она не существует, или она провалилась в океан, как вулканический остров.

— Вы так думаете, Митчелл? — спросил Мочалов.— Тогда вы плохо знаете географию счастья. Такая земля есть.

— Мне не удалось много учиться, пайлот,— Митчелл вздохнул,— но в нашей школе географию учили подробно. Только преподаватель никогда не говорил о такой земле. А вы знаете ее, пайлот?

— Ваш учитель бы стар и слеп, Митчелл. Он не мог знать, где большая счастливая земля. А я знаю. Я могу показать вам ее. И вы ее увидите.

— Где же она?

— Это моя родина, Митчелл.

Пит оттолкнулся от фюзеляжа и засмеялся:

— Вы говорите о России?

— Бывшей России, Митчелл, которая провалилась в океан, как вулканический остров. А на ее месте поднялся из волн Советский Союз.

Митчелл развел руками.

— It is long way to Tipperary, it's long way to go...[1] Простите, пайлот, но вы тоже рассказываете сказки. Я кое-что знаю о вашей стране. Я не верил россказням, что вы ходите одетыми в свои бороды и едите человечье мясо. Раньше не верил, а теперь подавно. Но насчет счастливой земли вы меня не уверите. Вы поставили себе задачу догнать и перегнать Америку, я читал об этом в газетах. Если вам понадобилось догонять нас,— значит, у вас хуже, чем у нас, а Америка совсем не похожа на счастливую землю. Как могут быть счастливыми люди, которые не могут иметь ничего своего и которые ни во что не верят?.. Это невозможно, пайлот.

— Вот что! — засмеялся Мочалов.— Но у вас ложное представление о том, что мы имеем и во что верим.

— Если я думаю неправильно, я хотел бы узнать правду,— серьезно сказал Пит.

— Видите ли, Митчелл. Рассказывать вам все будет долго и трудно. Многое просто покажется непонятным или неправдоподобным. У нас будет еще впереди время для разговоров. Я только отвергаю ваше представление, что мы ничего не имеем и ни во что не верим. Мы имеем все, кроме права эксплуатировать человека. И верим, но не в бога, а в знание и труд.

— Это туманно,— возразил Митчелл.— Очень хорошо,

---

[1] Долог путь до Типперери, долог путь...

но туманно. Знание? Это понятно для меня. Я знаю, что ученый человек может добиться в жизни вдесятеро большего, чем неуч. Что же касается труда — не понимаю. Как можно верить в самое скучное дело, которым человек вынужден заниматься из-под палки или от голода? Пустая затея. Как можно верить в самое неприятное и обременительное, что есть в жизни?

— Я же говорю, что вы не поймете сразу,— согласился Мочалов,— нужно многое видеть своими глазами. Вы житель другой планеты, Митчелл. Это ясно даже из вашей сегодняшней попытки отказаться от неприятного и обременительного занятия — ночной работы у самолета.

— Но я согласился.

— Да. Потому, что из моего обращения к вам вы краешком уяснили себе разницу между вашим и нашим отношением к труду. И вам стало стыдно, что я, ваш начальник и работодатель, пойду в пургу работать без сна и отдыха, а вы, на основе своего формального права, будете валяться в теплой кровати. Тот эгоизм, который заставляет вас ревниво оберегать свои права и беречь свои силы, понятен при вашем отношении к работе, как к подневольному делу, высасывающему соки. Вы стремитесь сохранить себя подольше, чтобы не лишиться трудоспособности, а с ней права на жизнь, потому что, нетрудоспособному, вам никто не поможет. Вы всю жизнь работаете не на себя, а на других, и цель вашего труда заключается в том, чтобы поддержать свои силы для возможно более долгой работы на других. И такой труд вам противен. У нас каждый работает для всех, и для себя в первую очередь. И мы не ненавидим труд, а любим его, как свое дело, как дело своей чести.

— Интересно, но малоправдоподобно, пайлот,— сказал Пит со смешком.— Хотел бы я видеть, как люди трудятся с удовольствием и для себя.

— Вы сможете это увидеть,— Мочалов взял лопату,— а пока давайте продолжать. И чтоб было веселей, мы можем петь вместе нашу дурацкую песню.

— О'кей,— сказал Пит, весело хватая лопату,— попробуем работать с удовольствием.

Они наперегонки швыряли рассыпающиеся серебряной пылью комья снега и во все горло распевали «Типпери», каждый по-своему. И Питу казалось, что он выпил стакан шипучего и хмельного напитка, от которого весело кружилась голова.

Окончив работу, Мочалов вернулся в номер, разделся, обтерся одеколоном и залез под одеяло. Нужно было выспаться и отдохнуть в оставшиеся часы. Он вытянулся во весь рост на спине, закинув руки под затылок.

«А он неплохой парнишка — Митчелл,— подумал он, вспоминая разговор с механиком.— Но каких только казусов не бывает в жизни. Никакая фантазия не перешибет. Нужно же было, чтоб он засвистел «Типперери». Тысячи песен на свете, и почему именно эта?»

Он выпростал руки из-под головы и потянулся к выключателю настольной лампы. Но прежде чем он дотронулся до него, без стука отворилась дверь, и на пороге Мочалов увидел Маркова.

— А... заходи,— сказал он, искренне обрадовавшись. Впервые после крупной размолвки, когда Марков назвал его сопляком, он пришел к нему запросто, как прежде.— Хорошо, что зашел. Я не хотел тебе навязываться, раз ты сам просил оставить тебя в покое. Но я здорово рад, что у тебя все уладилось. Мне чертовски неприятно было видеть, как тебя развезло. Я тебя и люблю и уважаю, ведь ты мне в летные отцы годишься. Ты белых бил в воздухе, когда я штаны подвязать не умел... и вдруг такая история. Я боялся, что ты окончательно запсихуешь, и чуть не запрыгал от радости, когда увидел, что ты опять прежний, боевой... Очень хорошо. Садись!

Марков присел на край постели и открыто, хорошо улыбнулся.

— А ты знаешь, зачем я пришел? — спросил он, слегка прищурив теплый свой цыганский глаз.

— Нет! Просто пришел — и все... Какие еще причины нужны?

— Слушай, Дмитрий,— сказал вдруг Марков тихо и просто,— не удивляйся только и не лезь на стенку. Я пришел просить снять меня с полета.

— Ты что?

Мочалов откинул одеяло и сел на постели, растерянно уставившись на Маркова. Он ждал чего угодно, но не этого. Пришел здоровый человек, старый товарищ, пришел запросто, дружески и... черт знает что!

— Объясни! Почему? — спросил он недоуменно, пристально смотря в глаза Маркову, и тот потупился. Легкий румянец выступил на его смуглых скулах.

— Сейчас объясню. Только не перебивай и дай договорить. Возражать будешь после, хотя думаю, что, выслушав, возражать не станешь. Я очень тяжело шел к этому решению, и этим объясняется мое состояние. Но сейчас все продумано окончательно. Все созрело на этом этапе. Когда я вел сюда самолет, со мной несколько раз делалось совсем скверно. Я чувствовал, что теряю способность управлять машиной. Это заметил не только я, но и Доброславин. Он ничего тебе не говорил?

Мочалов сделал отрицательный жест.

— Значит, промолчал. Но я видел, что он дважды порывался взять у меня управление, когда я терял скорость и заваливал виражи. Началось это со мной давно. Месяца три. Я пытался справиться, побороть, анализировать, в чем дело, но становилось все хуже. Ну, стал нервничать и психовать. Наш разговор с тобой по пути в Хакодате — приступ такого невроза. Все, что я нес о двух поколениях, удаче и прочее,— чушь. Я строил себе клеточку, прятался сам от себя, как страус башкой в песок. Но от себя не спрячешься. И, проверив каждый свой уголок, устроив себе самую жестокую самочистку, я понял. Это болезнь, которой все мы подвержены рано или поздно. Я вылетался. У меня явная боязнь самолета — он перестал мне повиноваться. Я летаю восемнадцать лет. Три ранения и контузия. Я еще крепко держался. Противно подписывать себе инвалидность, но лучше сделать это вовремя. Я не чувствую себя вправе занимать пилотское место и не могу больше отвечать за машину и жизнь людей. Если б я был один... Словом... раз не веришь в себя, нужно иметь мужество кончить.

Он говорил спокойно и ровно. Только на последней фразе сломался голос и задрожали губы.

Мочалов не сразу нашел слова. Его ошеломила неожиданность. По мучительному спокойствию Маркова он понял, что налицо не нервная вспышка, не каприз, а обдуманный приговор человека самому себе. Диагноз врача, внимательно прослушавшего свой организм и признавшего неизлечимость.

— Но как же...— выжал он наконец,— постой... Ты окончательно уверен, что не можешь лететь?

— Абсолютно,— с каменным спокойствием качнув головой, ответил Марков,— ты видишь, я не психую. Это прошло. Раньше я боялся сознаться самому себе в причи-

не. Теперь все ясно. Я не имею права вести машину в ответственный полет.

Он сидел, наклонив голову, смотря на свои руки, скрещенные на колене. Пальцы застыли в напряженной неподвижности. И по этим неживым пальцам Мочалов понял, каких страшных усилий стоит Маркову спокойствие. Прощание с воздухом было для него смертельно.

Ни протестовать, ни убеждать, ни отговаривать было не нужно. И, положив свою ладонь на окоченевшие пальцы Маркова, Мочалов тепло сказал:

— Я верю тебе. Хорошо, что сказал откровенно. Подай рапорт о болезни, и я доложу Экку, что не мог допустить тебя к полету из-за болезненного состояния. Ты поступил правильно. Раз нет уверенности — лететь нельзя... Но я думаю, что это пройдет. Просто ты устал. Вернемся, съездишь в санаторий, отдохнешь — и снова в седло. Не хорони себя сразу, бодрись.

— Спасибо на добром слове,— Марков стиснул руку Мочалова,— только я уверен, что это уже навсегда. Укатали сивку воздушные горки. Эх, Митя, твою бы мне молодость! Сколько б я еще сделал!

— И так сделаешь,— сказал Мочалов, стараясь утешить товарища, охваченный жалостью и нежностью,— уверен, что сделаешь. Если не сможешь летать — останешься в школе на теории. У тебя опыт и знания. Разве это не нужно молодым? Будешь готовить кадры.

— Да, конечно,— вяло обронил Марков, и Мочалову стало ясно, что эти печальные утешения не доходят до него,— конечно...

Он замолчал и вдруг с отчаянием взметнул голос:

— Ах... Посмотрел сейчас на карточку свою старую. Не расстаюсь с ней. Выцвела вся, облиняла. Снят я на Южном фронте. Только что из боя, французского гастролера сбил. Федько мне Красное Знамя пришпиливает. И молодой я такой, задорный, на петуха похож, и глаза горят, как у черта. Был же я таким. Вспомнил — и чуть бабой не завыл. Никогда ведь не вернуть. Ну, прощай, Митя.

— Ты как же? Здесь нас подождешь... или домой? — спросил Мочалов.

— Нет... Лучше здесь. Людей здесь меньше. Чужие люди, и воздух чужой. Мне легче здесь будет.

Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и вышел. Мочалов встал с постели, наскоро натянул брюки, пимы, вышел в коридор и постучал в комнату Блица.

Ответа не было. Он постучал вторично. В третий грохнул кулаком так, что дверь затряслась.

— Кто?..— сонным голосом спросил изнутри Блиц.

— Открой... я.

Зашлепали босые ступни, и заспанный Блиц, в рубашке, впустил Мочалова.

— В чем... дело?

— Протри глаза,— сказал Мочалов,— и слушай. Самолет завтра поведешь ты. Марков не летит.

Блиц отступил и почесал в затылке.

— То... есть... как?

— А вот так. Марков подал рапорт о болезни. Не может вести машину.

— Ничего... не понимаю,— Блиц замотал головой,— сплю... или не сплю... Он был... совершенно... здоров.

— Если хочешь, я стукну тебя по куполу, тогда убедишься, что не спишь.

— Ну... ну, без рук,— возмутился Блиц.— Как же... он... неожиданно... Что с ним?

— Скоротечная холера,— ответил Мочалов.

— Да ты... дурака... не корчь,— окончательно взбесился Блиц,— толком...

— С Марковым плохо,— уже серьезно объяснил Мочалов,— на нервной почве. Решил, что вылетался и не может вести машину. Может быть, в самом деле, может быть, бред. Но раз он говорит, что не может, я обязан с этим считаться. Надеюсь, ты здоров?

— Я... да... Оказия,— вздохнул Блиц, переступая босыми ногами по полу.

— Ладно. Ложись. Думай не думай, ничего не придумаешь. Словом, утром примешь машину и экипаж.

— Есть,— сказал Блиц, расплываясь в счастливую улыбку.— Жаль, что из-за такого случая. А то... сплясал бы... Совсем... заскучал. Запасный пилот. Что... такое? Ни богу свечка... ни черту... кочерга. Спокойной ночи.

11

За окном кабины мутная белая непроглядь. Пит помянул дьявола.

Такое зрелище должно представляться человеку, которого утопили в крынке молока. Белая засасывающая муть неподвижна, как студень. Моторы ревут приглушенно и хрипло. Полетная скорость — сто восемьдесят километров,

а кажется, что самолет висит без движения в липкой белой гуще, затянувшей его, и, стоя на месте, только проваливается временами, стремительно и жутко, и снова медленно, с натугой набирает высоту.

Хотя и не впервой туманная каша, но лететь в ней отвратительно. Закапризничает мотор, и бесповоротно — крышка, потому что не поймешь даже, куда садиться — вверх или вниз. Что под тобой — вода, снег или голые острые камни горного кряжа. Самолет идет на трехстах метрах, высота условно безопасная по показаниям карты, но частые воздушные провалы угрожают бедой. Рухнешь вот так, метров на сто вниз, как раз над каким-нибудь пиком, и сядешь на него, как жук на булавку.

А где-то рядом идет второй самолет, растворившийся без остатка в тумане. Где он? Справа? Слева? Отстал или ушел вперед? Нет возможности понять, зато полная вероятность внезапно напороться на него.

Пит приник к окну, стараясь рассмотреть что-нибудь, но неподвижное молоко упорно липло к самолету. Едва виден собственный хвост.

На момент ему показалось, что в колышущейся мути тянется темная струя — может быть, след разорванного соседним самолетом воздуха.

Он отпал от окна, и в ту же секунду самолет стал уходить из-под его ног, проваливаясь в бездну. Он вцепился в ручки кресла... Почти прямо под ним из тумана вырвалась губчатая, черная гряда камня с зализами снега. Пита с силой швырнуло назад. Самолет бешено прыгнул кверху, и темные зубцы камня, как промахнувшиеся клыки зверя, пронеслись под самыми лыжами. Питу показалось даже, что левая лыжа царапнула хребет. Он беспокойно взглянул, но лыжа стояла на месте.

Пит вздохнул и с уважением посмотрел на широченную спину пилота в оленьей кухлянке.

Прекрасно управляется с машиной командор Мошалоу. Такая акробатика не каждому пилоту по плечу. Другой бы уже грохнулся в лепешку.

Эта спокойная, закутанная в мех спина вернула Питу уверенность. Он прислушался — голос моторов был ровен и четок. Все в порядке.

Вырваться бы только к чертям из этой гнусной сметаны. Хоть на несколько минут, чтобы осмотреться и ориентироваться. И, словно уступив желанию Пита, туман нехотя разорвался.

Внизу проносилась земля. Мертвая, в грязных замороженных морщинах горных кряжей. Теперь ясно ощутилась быстрота самолета. Земные складки отлетали назад раньше, чем их можно было разглядеть. Пит осмотрелся.

Справа и несколько выше, метрах в шестистах, шел второй самолет, и Пит облегченно вздохнул.

Кабина несколько раз плавно качнулась с боку на бок. Покачивая крыльями, пилот подзывал к себе товарища, и второй самолет, развернувшись, подошел вплотную. За козырьком кабины Пит разглядел пыжиковую маску и очки пилота.

Он поднял руку и проделал ею несколько движений. Вероятно, это были условные знаки, которых Пит не понял. И в тот же миг самолет исчез, как будто его сдуло ветром. Снова окна залило молоком, машины опять ворвались в полосу тумана, и началась болтанка. Это было скучно. Пит углубился в кресло, его потянуло в дремоту.

По времени и счислению мыс Хоп должен был быть уже сзади, но увидеть его было невозможно. Туман держался упорно и густел с каждой минутой. Казалось, самолет вязнет в нем, как ложка в киселе.

Мочалов нагнулся к переговорной трубке.

— Счисление?

— До места лагеря сто двадцать километров.

— Снос?

— Два градуса. Учитываю.

— Чертова мамалыга,— выругался Мочалов,— ни зги не видно.

Хотелось нырнуть вниз — там можно было попытаться проскочить под туманом, если он не лежит на самом льду. Но это был риск. Можно было потерять соседа и, идя на подъем, столкнуться. Наконец, на льду мог оказаться случайный айсберг, хотя в этом районе они не часты.

— Без авантюр! — сказал Мочалов сам себе.

Приходилось ждать просвета и продолжать нестись вслепую, по прямой.

Разбирала неудержимая злость. Становилось похоже, что придется вернуться ни с чем. Капитан Смит был прав.

Лететь в тумане было несложной задачей. Практика слепых полетов облегчала задачу. Приборы работали без

отказа. Но обнаружить в этом кислом молоке маленькую кучку — четырнадцать человек, когда не удалось открыть даже такой ориентир, как огромный мыс, не приходилось надеяться.

Мочалов облегченно вздохнул, когда через несколько минут вырвался в полосу разреженного тумана и обнаружил на месте второй самолет.

Неприятно возвращаться с пустыми руками. Позорно, но все же лучше вернуться. Бить лбом в туманную стену — бессмысленное занятие. Мочалов досадливо закусил губу.

Может быть, как раз в этот миг под плоскостями проносится ледовый приют экспедиции «Беринга», и там, внизу, люди с отчаянно забившимися сердцами слышат над собой рев моторов, кричат, подают сигналы, ожидая избавления. Но ни они не видят самолета, ни самолет не видит их. Можно десятки раз пролететь над самым лагерем и даже не увидеть твердой поверхности, на которую можно сесть.

Он опять нагнулся к трубке.

— Возвращаемся... Будь проклят этот туман... Дай сигнал Блицу.

Саженко нажал кнопку. Укрепленная над кабиной лампочка замигала.

— Передавай: пойдем вéрхом. Не хочу болтаться в простокваше.

Саженко морзил. Мочалов вытянул ручку на себя.

Задирая нос, самолет набирал высоту.

600... 900... 1300... 1700... 2500.

И сразу, словно с размаху ударили по глазам, полыхнуло блеском и светом. Густо-синее, с лиловым отблеском небо, низко висящее солнце и глубоко внизу рыхлая, рыжевато-грязная вата облаков.

— Другая музыка,— услышал он в наушниках голос Саженко,— лети куда хочешь!

Мочалов бежит по площадке, задыхаясь, сжимая кулаки. Как это могло случиться?

Самолет Блица стоит, задрав к небу хвост. Край правого крыла, вспахавший снег, подвернут беспомощно и мертво, как у подбитой птицы. На снегу мелкие обломки нервюр и обрывки ткани плоскости. Двое людей у самолета держат под руки третьего. От бега и волнения Мочалов

сразу не видит — кого. Только подбежав вплотную, узнает обескровленное лицо Блица, с опущенными веками и красной струйкой у подбородка.

Штурман Доброславин испуганно смотрит на подбегающего командира. Механик Девиль держит у подбородка летчика намокающий темным платок.

— Что? Что же это? — кричит Мочалов, набегая на группу.

Левой рукой он прижимает бок кухлянки. Сердце под мехом гудит, готовое вырваться наружу.

— Вот... понимаешь,— Доброславин растерянным жестом указывает на Блица.

— Ни черта не понимаю, товарищ командир,— бешено обрывает Мочалов.

Его душат ярость и негодование. Угробить самолет при посадке на приличной площадке, при сносной видимости! Угробить, когда самолет может понадобиться каждую минуту! Что тут понимать? Он вне себя. Ни безжизненная бледность Блица, ни взмокший кровью платок не действуют на него отрезвляюще.

— Блиц! — жестко окликает он.

Блиц медленно подымает вздрогнувшие веки. Взгляд его мутен и бессознателен. Он видит и не видит. Может быть, не узнает.

— Блиц! Что у тебя случилось?

Блиц отводит поддерживающие его руки Доброславина, с трудом выпрямляется и подносит руку к шлему. Голос его глохнет в стиснутых губах.

— Товарищ командир звена. При посадке самолет скапотировал. Разбит винт... сломана левая плоскость.

Он стоит и пошатывается... вот-вот упадет, и Доброславин держит руки наготове за его спиной. Мочалов спрашивает беспощадно и прямо:

— Что же именно? Как назвать в донесении? Поломка или авария?

Сжатые губы Блица вздрагивают. Он опускает глаза. Бросает отрывисто:

— Авария!

И сплевывает на измятый снег сгусток крови и крошки выбитых зубов. Глаза заволакиваются пленкой, и, шатнувшись, Блиц падает, подхваченный руками Доброславина и Мочалова.

И уже не командирским, а заботливым и взволнованным голосом Мочалов говорит штурману:

— Осторожно... Может быть, у него перелом. Сейчас же в больницу.

Штурман, Девиль и подбежавший вслед за Мочаловым Саженко на руках несут Блица. Мочалов отходит в сторону, нагибается, как будто ищет что-то на земле. Найдя, выпрямляется. Подошедший от самолета Митчелл с изумлением видит, что пайлот жадно ест большой комок снега, а на ресницах у него стынут хрусталики.

Митчелл тихо отходит в сторону.

12

Второй раз самолет идет по пройденному уже пути. Но сегодня нет тумана. Желтое солнце ползет над белой пустыней, и по снегу скользит зыбкая распластанная тень самолета. Он одинок в этом полете.

Мочалов смотрит вниз. Лед плохой, крупноторосистый. Это видно по длинным косым теням от выступов льдин, лежащим на снегу. Кое-где темнеют разводья, змеи трещин, извиваясь, уползают к горизонту. Местами на льду темные пятна. Их легко принять за группу людей издали. Несколько раз Мочалов уже ошибался. Сейчас лучше бы снизиться и идти бреющим полетом над самыми льдами, но тогда потеряешь кругозор. При двух самолетах поиски значительно облегчились бы. Можно ходить вдвоем параллельными курсами, держась в трех — пяти километрах друг от друга, и просматривать местность в обе стороны. А теперь приходится держаться на высоте, суживая спирали. А лагерь где-то совсем близко, судя по счислению.

— Эх, Блиц, Блиц,— вырывается у Мочалова,— как тебя угораздило.

Блиц лежит сейчас в больнице с треснувшей челюстью и вывихнутой рукой. Но его не так мучит физическая боль, как сознание аварии. Он первничает, не спит, плачет. Это его первая авария, и он переживает ее мучительно. Особенно потому, что авария произошла в минуту, когда выход из строя самолета вырвал половину шансов на победу.

Окончательно придя в себя, он рассказал, что его ослепило блеском снега и дымкой, он просчитался в расстоянии до земли. Самолет клюнул носом и скапотировал.

«Как пригодился бы сейчас второй самолет»,— думает Мочалов, суживая круги по замкнутой кривой. Снег бле-

стит. На нем все то же: грязные пятна, разводья, людей не видно.

«Откуда грязь? — удивляется Мочалов.— Кажется, на тысячи километров ни жилья, ни человека, а грязь — словно коровье стадо топталось».

Он вздрагивает. Что это там? Слева... Черные шевелящиеся точки у края промоины. Неужели люди?

Захватывает дыхание. Мочалов разворачивает самолет влево и круто идет на снижение. Проносится в пятидесяти метрах над полыньей и отчетливо видит, как, торопясь, натыкаясь друг на друга, валятся в воду испуганные ревом мотора тюлени.

«Однако тут садиться гробовато,— думает он, снова набирая высоту,— сплошные ропаки. Пятачка чистого нет».

Рука дотрагивается до его плеча. Он полуоборачивается. Видит внимательные зрачки Митчелла. Механик вытягивает руку вперед. По шевелению его губ Мочалов угадывает слово:

— Flag!

Мочалов приподымается на сиденье. В глазах рябит от белизны и блеска. Крошечная красная точка пляшет в сетчатке. Возможно, просто замельтешило от усталости и напряжения. Он ворочает к этой красной крупинке и на мгновение смежает веки, чтобы дать успокоиться глазам.

Но сорвавшийся волнением голос Саженко в наушниках бьет ему в уши:

— Митя! Флаг! Честное слово, вижу флаг!

Мочалов открывает глаза. Теперь ясно — это не ошибка. Прямо по курсу треплется на ветру комочек рдяной материи. Мочалову становится тепло и весело. Флаг родины, люди родины, маленькая ячейка большой земли.

Руки уверенно и точно ведут туда машину. Самолет идет на снижение.

— Люди! Людей вижу! — орет Саженко, забывая, что кричит в трубку, оглушая пилота, и глаза у Саженко ошалелые, счастливые, яркие.

Да! Люди... Игрушечные фигурки на снегу. Вот уже видно — они мечутся, машут руками. Мочалов представляет себя на их месте и ощущает сумасшедшее счастье жизни, спасения, возврата в мир из безмолвной ледяной могилы.

Он идет бреющим полетом, чуть не цепляя за верхушки торосов, так низко, что люди на пути самолета испу-

ганно кидаются ничком, но тотчас же вскакивают. Пора садиться, но не видно площадки. Кругом ропаки и торосы.

— Вымпел! Проси указать направление, расстояние до посадочной площадки.

Саженко торопливо прыгает карандашом по блокноту и закладывает листок в древко вымпела. Узкий красный флажок огненным язычком уходит вниз и втыкается острием древка в снег. Люди подбегают и выхватывают его. Самолет уходит от лагеря. Нужно ложиться на обратный курс. Мочалов носится над лагерем короткими кругами. Запищала морзянка приемника. Саженко в наушниках слушает, приоткрыв рот от волнения, и кричит во весь голос:

— Площадка есть!.. На норд-вест... Длина триста пятьдесят!

Маловато, но сесть можно. Сесть нужно. Было бы меньше, и то сел бы. Мочалов настораживается. Спокойствие и расчет! А, вот и площадка. Гладкая овальная вмятина, а кругом хаос ломаных льдин, торосы и ропаки, ропаки и торосы. Длина площадки прямо поперек ветра. Дело дрянь, но нужно садиться. Он делает два последних круга. Растянувшись длинной цепочкой, бегут от лагеря люди. Была не была! Раз! Лыжи коснулись снега. Ветер подбрасывает левую плоскость — Мочалов с бешенством выравнивает самолет. Прыжок... другой... Острые зубы торосов скалятся навстречу. Удастся ли амортизировать разбег? Ход замедляется.

Внезапно перед правой лыжей вылезает из снега острый, как нож, клинок льдины.

— Черт!

Рывок влево... Поздно! Сухой треск. Самолет описывает полукруг по оси и медленно, как уставший, ложится на правый бок. Тишина.

Мочалов срывается с места, распахивает люк кабины и выпрыгивает наружу.

Лыжа с куском стойки торчит в тридцати метрах сзади, воткнувшись в снег.

Мочалов оглядывается и видит рядом Митчелла. Механик бледен. В глазах у него испуг и отчаяние. Сломанная лыжа — гибель.

Впереди смерть на льду, смерть вместе с людьми, которым они летели на помощь. Смерть, от которой не уйти.

— Кончено, пайлот!

Голос Митчелла срывается хрипом.

— Что?

Летчик, отряхивая снег с рукавиц, смеется, отвешивая низкий поклон.

— Кончено? Ничего не кончено. Только начинается. Поздравляю со счастливым прибытием в плавучий район Советского Союза.

И хлопает по плечу ошеломленного механика с такой силой, что Митчелл садится в снег, ничего не понимая, только видя над собой ровные белые зубы летчика в оскале беззаботной усмешки.

13

Резкие удары колокола разносятся по дортуарам. Семь часов. Кадетам висконсинской «Military Academia» пора вставать на занятия.

Пит машинально вскочил, протирая глаза. Колокол продолжал звонить, но вместо высокого потолка дортуара над его головой висел заиндевевший брезент палатки, и он не сразу сообразил, где находится.

Вокруг него люди быстро подымались с нар и выбегали из палатки. Не зная причины тревоги и думая, что случилось какое-нибудь несчастье, Пит тоже выбежал за остальными.

Колокол ударил в последний раз, и дрожащий звук его медленно истаял в морозном рассвете.

Люди стояли у палатки ровной шеренгой. На правом фланге огромный седобородый старик в очках, одно стекло которых звездообразно расколото. Пит знал уже, что это начальник экспедиции, которого все называли профессором. С левого фланга шеренгу замыкал кругленький розовый юноша, радист «Беринга». В середине строя стояли командир Мошалоу и штурман.

Пит не мог сообразить, нужно ли ему тоже становиться в этот строй, и в нерешительности топтался у выхода из палатки.

И пока он раздумывал, развернувшееся пред ним зрелище ошеломило его до такой степени, что он начал щипать себя за щеку, желая убедиться, что это не галлюцинация.

Шеренга одновременно вскинула руки, распластав их в стороны на уровне плеч, и так же одновременно присела

на корточки. Опять выпрямилась — и снова присела. Пит оцепенел в изумлении. Несомненно, русские делали гимнастику.

Это было похоже на бред. Но, собственно, все, что случилось в недолгий промежуток времени от посадки на льдину, было похоже на бред.

Летчик, разбивший самолет, поздравлял механика с «благополучным прибытием». Набежавшие от лагеря к самолету люди накинулись на Пита, как дикие, и, неизвестно почему, стали высоко бросать его в воздух, неистово вопя при этом. Питу показалось, что они хотят растерзать его и летчика за поломку машины при посадке. Но оказалось, что это русский способ приветствия. Этим подбрасыванием хотели выразить ему особенную радость и уважение.

Это странное уважение чуть не вытрясло из Пита внутренности.

Но больше всего поразили его сами потерпевшие крушение.

Он ожидал увидеть в этом лагере отчаяние, истощение, безнадежность, потерю воли к борьбе, звериную враждебность человека к человеку. Он имел основания так думать. Во время прежней службы на Аляске ему пришлось участвовать в полете за партией золотоискателей, отрезанных в горном ущелье небывалыми заносами. Вид этих людей навсегда остался у него в памяти. Они пассивно ждали смерти, в мрачном отчаянии махнув рукой на все. Они даже не разжигали костра, хотя вокруг их пристанища было достаточно хвороста, и питались промерзшими консервами.

Команда «Беринга» казалась не погибающими на льдине, а только что сошедшими с корабля, уверенными в своей безопасности людьми.

С их лиц, сохранивших здоровую окраску, почти не сходили улыбки. Они выглядели сильными, ловкими и бодрыми. Кроме седобородого профессора и еще одного пожилого, остальные были чисто выбриты, как будто побывали полчаса назад в парикмахерской.

Организованность и налаженность их быта казалась почти сказочной.

Пит обнаружил в палатке военную чистоту и порядок. Она была отлично утеплена войлоками, широкие нары покрыты брезентом и мехами. В проходе между ними стояла железная печка с ловко приспособленной нефтяной форсункой. В углу настоящий умывальник — большое ведро

с дырочкой в боку, заткнутой деревянной затычкой. На решетке шлюпочного настила лежали умывальные принадлежности и зубные щетки, как в дортуаре «Military Academia».

Вокруг палатки были сложены хозяйственные запасы, выгруженные с погибшего корабля, и, обозревая их, Пит поражался, как можно было в спешке последних минут так позаботиться о расчете всего необходимого для длительной жизни на льдине.

К поврежденному самолету, оставленному на посадочной площадке, был немедленно поставлен вооруженный часовой. Выгрузка доставленной теплой одежды, обуви и съестных припасов происходила в полном порядке, и Пит еще раз вспомнил, с какой скотской яростью набросились золотоискатели на табак и шоколад, вырывая их друг у друга с проклятиями и ругательствами.

Здесь все выгруженное перенесли к палатке, и никто не поинтересовался заглянуть в ящики и коробки. Только когда командор Мошалоу стал раздавать пачки папирос, у команды жадно заискрились глаза. Но все спокойно подходили, получали свою пачку и, только отойдя, дрожащими руками закуривали, шумно затягиваясь и пьянея от дыма.

Катастрофа с самолетом, катастрофа гибельная и непоправимая, казалось, никого не интересовала и не тревожила.

Еще одно обстоятельство удивило Пита. Он не мог понять отношений между этими людьми. Невозможно было угадать, кто здесь начальник и кто подчиненные. С профессором разговаривали так же, как с любым из команды. Все держались как равные, и все одинаково ухаживали и заботились о единственном больном, отморозившем ноги и неподвижно лежавшем на нарах.

Но и этот исхудавший и изможденный человек, лишенный врачебной помощи, не был похож на отчаявшегося погибающего. Он все время разговаривал и, видимо, смешил остальных. Каждая его реплика вызывала взрывы хохота.

Но в окончательное остолбенение поверг Пита лист оберточной бумаги, висевший на полотнище палатки, исписанный расплывающимися карандашными каракулями и карикатурными рисунками.

Командор Мошалоу объяснил, что это газета, описывающая жизнь лагеря и дающая сводки принятых рацией новостей с материка.

Это было чудовищно! Газета у людей, которых каждую минуту стережет смерть!

Необычайность всего уклада этой непонятной жизни и волнения дня так измотали Пита, что, напившись чаю, он свалился на нары и проспал мертвым сном, пока его не поднял звон колокола.

Русские приседали, подымались, выбрасывали руки и ноги, целиком увлеченные необыкновенной гимнастикой на льду, в непосредственном соседстве со смертью.

Пит пожал плечами и вернулся в палатку.

Он не мог разобраться в своих ощущениях. Он не мог бы сказать, что русские не понравились ему. Наоборот, их налаженность, организованность и отсутствие уныния были приятны. Но вместе с тем все это походило на бесшабашность.

Самолет поврежден серьезно. Без лыжи машина — инвалид, ни к черту не годный. Чтобы установить лыжу на место, нужна новая стойка. На аэродроме это получасовое дело, здесь же стойку взять неоткуда. Неужели они рассчитывают, что за ними пришлют другие самолеты? Но если русское правительство рискнуло расходами на две машины, больше оно расточительствовать не будет. Значит, нужно думать, как выбираться из ледовой могилы иными средствами. А вместо этого русские занимаются гимнастикой.

Иными средствами? Холодок прошел по спине Пита. Какими? До ближайшей береговой линии тысяча триста километров. Собак нет. Нарт нет. Если идти пешком через ледяные поля, прежде чем люди пройдут это расстояние, настанет тепло, лед развезет, и тогда... Питу стало не по себе. Кажется, было глупостью ввязываться в эту авантюрную затею. Умней было бы сидеть дома. Да, но откуда же было достать нужные для Фэй деньги? Их никто не дал бы. И нужно же случиться этому дикому несчастью с Джемсом!

Пит ощутил внезапное, острое раздражение против Джемса, Фэй, против всей жизненной бессмыслицы, которая забросила его на льдину и обрекла на приятную перспективу попасть на закуску медведям.

Он вяло лег на нары, подпирая руками подбородок и бессмысленно смотря перед собой.

Русские, окончив зарядку, вернулись в палатку. На гудящей пламенем печке начинал пошипывать огромный медный чайник.

Люди расселись на нарах, тесной кучкой окружив пилота Мошалоу, который стоял, опираясь спиной на поддерживающий палатку столб, и говорил. Его слушали внимательно и тихо. Люди не сводили глаз с говорящего. Иногда речь пилота прерывалась возгласами и аплодисментами слушающих, как в театре.

Это заинтересовало Пита. Забыв, что его не поймут, он спросил у ближайшего соседа:

— О чем разговор?

Обернувшийся матрос смотрел на Пита с добродушной и беспомощной улыбкой, безмолвно шевеля губами, словно подталкивая нужные слова, но так и не нашел. Сделал непонятное движение рукой, хлопнул Пита по коленке, засмеялся и, прерывая речь летчика, обратился к нему, указывая на Пита. Летчик поглядел на Пита и спросил:

— В чем дело, Митчелл?

— Простите, пайлот,— Пит несколько смутился,— я не хотел помешать вам. Мне интересно, о чем вы говорите, и я спросил у соседа, но он меня не понимает.

— Ничего особенного, Митчелл. Просто я рассказываю товарищам, что произошло дома во время их отсутствия.

— Тогда я еще раз прошу извинения, пайлот. Пожалуйста, продолжайте. Конечно, людям интересно узнать новости о своих семьях.

Пилот улыбнулся.

— Вы не так поняли, Митчелл. Я ничего не знаю о семьях товарищей. Я вижу их впервые, так же как и вы. О семьях они узнают, когда вернутся домой, не раньше. Я рассказываю другие новости. Товарищи просили меня рассказать им о постройке большой железнодорожной магистрали, которую запроектировали перед их отплытием с родины и которая должна превратить пустынные места нашей страны в цветущий и богатый край.

— Йес, пайлот. Это очень интересно,— с вежливой иронией кивнул Пит.

Он понял. Пилот, конечно, пошутил, чтобы прекратить расспросы и продолжать беседу с товарищами.

Питу передали большую кружку чаю, и он с удовольствием хлебнул пахнущую жестью жидкость, не интересуясь уже разговором.

Пилот говорил долго. Мысли Пита снова вернулись к самолету, катастрофе и мрачному будущему. До чего все-таки беспечны эти люди. Если они хотят спасти свою жизнь, нужно скорее принимать решение идти к земле.

Каждый упущенный час смертелен. Нужно сказать об этом прямо и сейчас же. Если русским все равно — умирать или не умирать,— ему хочется жить.

Пилот кончил разговор. В палатке занялись своими делами — убирали посуду, чинили платье и белье. Пит слез с нар и подошел к пилоту. Тот вопросительно посмотрел на него.

— Что же будет дальше, пайлот? — тревожно спросил Пит.

— Это вы о чем?

— О нашем положении. Мне кажется — оно не из веселых. Как мы из него выйдем?

Пилот беспечно пожал плечами, и это взорвало Пита.

— Вас это не занимает? А меня очень. Я не желаю умирать здесь.

В глазах пилота мелькнул нехороший блеск.

— Только *вы* не желаете?

— Мне нет дела до других. Я знаю, чего *я* хочу. Самолет погиб...

— Вы преувеличиваете, Митчелл,— уже мягче сказал пилот,— самолет в полной исправности, за исключением ноги, но нога у него будет.

Пит окончательно вспылил. Что за нелепое легкомыслие!

— Послушать вас — все обстоит прекрасно, и лучшего не приходится желать. Но я уже слышал это. Когда я пришел к вам в Сан-Франциско, вы тоже уверяли меня, что все будет благополучно, что никаких аварий не будет, потому что они не входят в ваши планы. Я уже испытал, как реализуются ваши обещания.

— Я бы советовал вам успокоиться,— сказал пилот с предостерегающей ноткой.

Но Пит не желал успокаиваться...

— Я сам знаю, когда мне успокаиваться... Теперь вы обещаете, что у самолета вырастет новая нога... Сколько времени она будет расти, и как вы предполагаете ее вырастить? Может быть, нужно поливать ее морской водой?

Пилот встал.

— Я не говорил вам, что нога вырастет,— сказал он жестко,— не мелите чепухи. Мы сделаем ее.

— Чем? — спросил Пит, свирепо усмехнувшись,— или, может быть, я не осведомлен, и тут поблизости есть авиазавод или склад частей?

— Авиазавода нет, но есть большевики, а это самое

главное. Я думаю, что можно окончить разговор, раз вы не проявляете способности понимать.

— Может быть, я глуп,— Пит почти кричал, и пилот смотрел на него с презрительным удивлением,— но я не намерен шутить шутки. Вы можете делать что хотите, но я уйду. Дайте мне ружье и пищу, и я уйду к земле.

— Вот как? — пилот уперся руками в пояс и смеющимися глазами рассматривал обозленного Пита.— На этот счет будьте спокойны. Вы никуда не уйдете и не получите ни оружия, ни пищи.

— Это советская свобода? — спросил Пит в бешенстве.

Пилот улыбнулся, и от этой улыбки Пит почувствовал себя маленьким и смешным, настолько уверенна и спокойна была она.

— Наша свобода отличается от других тем, что мы ограничиваем ее для дураков и персонажей с анархической психологией,— сказал пилот веско, но не зло.— У вас паскудная психология одиночки, Митчелл. Вам лучше лечь спать. Раздутие печенки опасно для здоровья. Ложитесь, пока мы не поссорились.

— Я лягу, когда захочу. Но если мы доберемся до земли, я буду жаловаться. Я свободный американский гражданин! — крикнул Пит.

— Вы рядовой американский обыватель. Можете жаловаться! — И пилот спокойно повернулся к Питу спиной.

Русские внимательно смотрели на Пита, не понимая разговора, но по тону почуяв, что произошло столкновение. В их взглядах была настороженность и отчужденность, и Пит внезапно почувствовал себя одиноким, как прежде. Он отвернулся от людей, забрался на нары и уткнулся лицом в подложенную под голову кухлянку. Неожиданно он ощутил смятение и непонятный стыд.

К ночи налетел тяжелый и пронзительный ветер. За палаткой загромыхало и заскрипело. Двигались и ломались льды. Они скрежетали колесами телег и громыхали пушечной пальбой. Люди проснулись от нарастающего грозного шума. Сидели, не зажигая огня, тихо переговариваясь.

Суровый голос ледяной пустыни холодил кровь. Мочалов сунул руку в карман, нащупывая портсигар. Нагретое телом серебро успокаивающим теплом коснулось его окоченевших пальцев. Он закурил. Беглый отблеск спички осветил лежащего рядом Митчелла.

Мочалов бросил спичку.

— Да... Далеко до Типперери,— сказал он вполголоса самому себе с внезапной тоской. Вспомнилась Катя, легкая, милая, обвевающая горячей молодостью, какой была в ночь разлуки. Мочалов зажмурился и совсем тихо буркнул: «Но зато красотка Мери в Типперери ждет меня».

Катя смущенно и немножко печально улыбнулась ему из мерзлой темноты и медленно расплылась. Он стиснул челюсти.

Как скверно все обернулось! Неудача! Не-уда-ча!.. Один самолет разбит на первых шагах. Блиц надолго выведен из строя. Марков... Черт бы побрал Маркова с его интеллигентской неврастенией и малохольностью. Вылетался!.. Нашел время, не мог подождать. Хорошо все-таки будет, если Экк всыплет Маркову так, чтобы небо с овчинку показалось. Но чему это поможет? От этого не появится второй пилот... Экк! Удастся ли снова увидеть Экка, старого милого Экка, летного папу многих поколений летчиков? И как посмотреть в зоркие ястребиные глаза Экка, что ответить, когда он спросит о выполнении задания? Командир звена, которому родина доверила почетное дело! Командир звена, ни разу не имевший аварий, и вот сразу две, и в какой момент? Когда не должно было быть ни одной, когда все заключалось в том, чтобы самолеты не имели ни малейшей царапины. Как мог он не увернуться от проклятого ропака? Нелепая, случайная, непредвиденная беда. Авария, которая ничего не значила в нормальных условиях. Перемена стойки — и все снова в порядке. Тут она обращалась в бедствие, в катастрофу. Команда «Беринга» клянется, что сделает новую стойку. В это хотелось верить, потому что обещали товарищи, обещали большевики. И в это невольно не верилось. Топор, ножовка и три матросских ножа — весь инструмент. Немного ломаного дерева от погибшего корабля — все материалы. Мало надежды. И сколько времени должен занять этот адский труд, когда каждый час, каждая секунда дороже золота.

Он зажег вторую папиросу. Во рту стало горько и стянуло губы.

Авария! Авария! Знавший раньше это слово как отвлеченное понятие, он сейчас остро и болезненно чувствовал всю его конкретную оскорбительность. Оно падало на него горькой тяжестью, звонкое и хлесткое, как пощечина.

Он стиснул кулаки и с горечью спросил у себя: «Для того ли затратила родина на тебя уйму времени и денег, чтобы ты в первом большом и ответственном полете погу-

бил доверенные тебе машины? Стоишь ли ты после этого звания летчика? Не лучше ли было раньше сорваться в метельную ночь с буфера поезда и издохнуть под колесами, как многие твои сверстники?»

Он досадливо отбросил окурок, и все существо его бурно запротестовало. «Издохнуть? Как смеешь ты думать о смерти, Мочалов? Не берешь ли пример с Маркова, которого сам осуждаешь? Глупо торопить смерть. Прежде нужно исправить ошибку, выйти из беды и вывести других. Больше чем кто-либо ты обязан сохранить хладнокровие и найти выход. На то и даны тебе знания и уменье».

Ледовый грохот разрастался. Терпкая тревога за самолет подняла Мочалова с места. Он пробрался к выходу, откинул полу палатки и выбрался наружу.

Его ослепило иглами поземки. Все кругом слилось в белесую сутемь, в которой метались снежные воланы. Он огляделся, ориентируясь в направлении посадочной площадки, и пошел, наклонясь всем телом вперед, пробивая тугую упругость ветра, перелезая через нагромождения льда, проваливаясь по грудь в наметенные сугробы. В кружении снежных смерчей он различил наконец расплывчатую тень прилегшего на лед самолета и темный столбик около него — часового.

Еще несколько шагов, и ветер донес сухой лязг затвора и сорванный вскрик:

— Кто идет?

— Свой... Мочалов! — крикнул он во всю мочь голоса и подошел к охранявшему самолет.

— А, это ты, товарищ Мочалов,— кивнул часовой, втыкая винтовку прикладом в снег и отдирая от усов ледяные катышки.— Собачья ночь... Ты что прибрел? Не спится?

— За самолет побаиваюсь,— сказал Мочалов, отряхиваясь.

— Будь спокоен. Закрепили что надо... Никакой шквал не сорвет. Вот разве ледяной вал полезет, тогда жарко будет!

Мочалов подошел к самолету. Нагнулся. Бережно и ласково, как врач больную ногу, пощупал сломанную стойку лыжи.

— Починим?! — сказал часовой не то вопросительно, не то утвердительно.

— Сложно,— ответил Мочалов.— На аэродроме раз плюнуть. Переменили бы на запасную — и вся забота. А здесь не угадаешь.

Часовой придвинулся ближе.

— Утром разберем барахло, которое от «Беринга» осталось,— сказал он тихо и убежденно.— Когда тонули, так разные дерева выбросили на лед и отдельно склали. Отроем из-под снега, поглядим, чем обернуться. Стеньга есть, от фок-мачты. Больно хороша. Финская сосна, как кость крепкая, все что хочешь можно сделать.

— Это так... Но инструмент.

— Насчет инструмента, товарищ Мочалов, ты не волнуйся. Меньше всего беды. Когда нужно, и кулаком подкову выковать можно. Кулак устанет — зубом выгрызем. Ты по молодости такого не помнишь, а мне довелось в гражданскую партизанить по Сибири с Яковенкой. Против нас Колчак да японцы. У них всего вдосталь. Слыхал небось, в частушке поется: «Тулуп сибирский, погон российский, мундир японский, правитель омский». Со всех концов света ему навезли и ружей и пушек. А нам в тайге сидеть приходилось, гнуса собой кормить, по пуп в болоте. Ружья — дробовики, а инструмента всего — вот эти мои пять да твои десять. И ведь пушки делали и японцев из тех пушек, как куроптю, били. А обтесать какую-нибудь стеньгу ради своей жизни — это не загвоздка. Сделаем, парень!

Часовой помолчал, задумавшись.

— Главное, что прилетел ты,— продолжал он задушевно.— По правде сказать, у нас паники ничуть не было. Народ сплавился, крепкий. На четырнадцать душ девять партийцев, а профессор хоть и беспартийный, а в доску свой старик. Организация сразу пошла, как в армии. В то, что нас в беде не оставят и на смерть не кинут, верили и не сомневались, потому что наша же власть нас послала. Только брало раздумье, как выручать станут. Думали, ледокол пошлют, а ему тяжко. Льды в этом году трудные — пока дойдет, может, не все дождутся. Потом приняли рацию насчет самолетов — легче стало. Сидеть тут не страшно, а больше скушно. Дни, часы уходят, дела никакого нет. От этого думы иногда разыгрываются. Вестей с земли мало, всего только, что рация в день наслушает, аккумуляторы беречь надо. А думы, сам понимаешь, об чем. О своих, кто на большой земле остался. У каждого есть. За себя не болеешь, а за них смутно становится. Конечно, крепко себя держишь на вожжах, понимаешь, что сдавать нельзя. Жизнь тут такая — все за одного, один за всех. А все же иногда отойдешь втихомолку в сторонку и зубами поскри-

пишь. Потом опять себя урезонишь и ждешь спокойно. Только вот когда услышали — гудет небо и птица твоя голубая над нами облака режет,— оборвалось. Всякие я виды видел. В контрразведке сидел, и спину мне шомполами ободрали, а такого смятения со мной не было. Будто под коленки ганшпугом ударили. И бежать тебе навстречу хотелось, и ноги подкашивались. Пять раз падал, пока добежал. И не то что спотыкался или поскользался, а вот от мурашек этих под коленками. Ударит — и сядешь. А когда добежал, чувствую — слова выжать не могу. Только смотрю, как ты у машины стоишь, на ногу сломанную уставился и тоскуешь, словно жена у тебя померла. А мне весело. Чего, думаю, тоскует? Прилетел, и ладно, а с остальным вместе уже управимся. Будь я на твоем месте, тут же на льду в плясовую пошел бы. Прямо тебе скажу — хоть и молод, а герой!

— Какой же я герой? — смятенно спросил Мочалов.— Не смог посадку сделать толком, самолет завязил, сам завяз и вам три лишних рта прибавил. Хорошо геройство!

— А знаешь, что я тебе скажу,— часовой, придвинувшись, опахнул щеку Мочалова теплом дыхания из-под обмерзших усов,— ты плюнь на это. Не в том геройство, что ты меня в кресло посадишь и домой отвезешь. Это всякий сумеет. А вот что ты для братского долга летел в нашу могильную дыру, о себе не думая. И все мы понимаем, что за всю нашу землю ты долг исполнял. Такого дела ни одна держава не сделает. С ихней точки зрения, для четырнадцати людишек надрываться смыслу нет. Может, все мы, выключая профессора, одного самолета не стоим. А наша власть иначе думает, хотя ей самолет, может, дороже, чем какой-нибудь Америке, стоит. Наша власть людей, как собак, не кинет, и ей за добро каждый жизнь отдаст. Прилетел ты, и теплом на нас повеяло. Дай обниму тебя.

Мерзлые усы ткнулись в щеку Мочалова.

Это целовала его простым и братским поцелуем страна. Целовали те, кто беззаветной своей кровью и безмерным страданием отстояли для него счастливую родину. Кто заботливо, нежно и настойчиво снимал его с поездных площадок, из-под вагонных ящиков, мыл, чистил, учил видеть, слышать и жить. Кто из беспризорного волчонка вырастил военного летчика Мочалова, читающего Диккенса по-английски и Гельдерса по-немецки. Кто сменил в его сердце

едкую гарь волчьей ранней озлобленности на всех людей пламенем любви к угнетенному человечеству и подарил ему и его освобожденному поколению недостижимое раньше право знания, роста и труда.

Он взволнованно молчал, боясь, что голос изменит и сорвется слезами.

Так они постояли молча, крепко держась за руки, как дружные ребята-однолетки. С трудом возвращая твердость голосу, Мочалов сказал:

— Ну, ладно... Я пойду.

Часовой выпустил его руки.

— Ступай,— обронил он,— отдыхай. Небось перетрясся. Надо тебе устояться. А насчет прочего, говорю, не тревожься. Сделаем. Если ты нас домой доставить должен, так и мы тебя Красной Армии в целости сдать обязаны.

Мочалов пошел к палатке. Пройдя несколько шагов, оглянулся. Часовой темной вешкой маячил в поземке, неподвижный и строгий.

И от этой четкой строгости его силуэта распались сомнение и тоска, отступая перед возвращающейся полнокровной молодой уверенностью. Он с размаху перепрыгнул выступ льдины, поскользнулся, брякнулся всей спиной в снег и, лежа, громко расхохотался, как будто в метельном небе увидел что-то очень смешное.

14

— Блиц, перестань... Тебе же нельзя двигаться. Не сходи с ума!

Блиц, сидя на койке, упрямо вырывал руку, за которую его держал Марков.

— Оставь... пусти! — вскрикивал Блиц.— Это я... я виноват... если б летели вдвоем... ничего... не было б!

— Ну, рассуди здраво, при чем тут ты? — сказал Доброславин, подымая с полу брошенную Блицем радиограмму с льдины об аварии Мочалова.— Ты пойми. Он же сообщает: «Сорвал лыжу при посадке, случайно задев за выступающую льдину». Кто же мог это предусмотреть? Садились бы мы вместе с ним, могли бы оба обломаться. И ничего непоправимого нет. «Надеюсь исправить лыжу средствами лагеря, немедленно приступить вывозу первой партии. Настроение отличное. Саженко, Митчелл шлют привет». Видишь?

— Да я ж... его... знаю,— сказал Блиц, мучительно сморщивая незабинтованную верхнюю часть лица от боли в надтреснутой челюсти,— я его... знаю... Голову потеряет... ногами будет сообщать — «настроение отличное». Это... чтоб мы... не волновались. Нужно... лететь на помощь... Как самолет?

— Самолет послезавтра будет в порядке, как только из Нома винт доставят. Плоскость уже залатана. Только никуда ты не полетишь,— сказал Доброславин,— нечего дурака валять. И я не сумасшедший с инвалидом лететь, и самолета ты не получишь. Хочешь лететь, вставь себе перья и лети.

— Дурак! — окрысился Блиц.

— Это как вам будет угодно, товарищ командир самолета,— поклонился Доброславин.

— Марков, скажи же ему... я имею право... приказать... или нет?

Но Марков сосредоточенно смотрел в окно палаты на сияющий под солнцем уличный снег и не отвечал.

— Приказы начальника, отданные им в явно болезненном состоянии или в состоянии опьянения, могут не исполняться подчиненными,— заметил Доброславин.

— Честное... слово... как встану... измочалю,— погрозил Блиц.

Он сморщился и опустился на подушку.

— Болит? — уже участливо и с тревогой спросил штурман.

— Болит... проклятая,— с трудом выговорил Блиц и замолчал.

— Вот видишь. Куда же тебе лететь?

— Я и сам... понимаю... А хочется... и нужно,— тихо и грустно вымолвил Блиц и закрыл глаза.

Марков продолжал смотреть на улицу. Доброславин покосился на него. Неподвижность и сосредоточенность Маркова показались ему ненатуральными, нарочитыми, как будто Марков старался сделать вид, что не слышит или не хочет слышать разговора. Доброславин даже нарочито кашлянул, но Марков не шевельнулся.

Неожиданно Блиц открыл глаза и засмеялся.

— Ты что? — спросил Доброславин.

— Я думаю... вот утрет нам нос Мочалка... если вывернется сам. Вот утрет... А я башку даю... вывернется. Он такой... На одной лыже... улетит.

— Ну, брат, дудки! На одной лыже до сих пор никто не летал.

— А он... улетит,— упрямо сказал Блиц.— Вот срам... нам будет. Фигá с маслом.

Он посмотрел на неподвижную спину Маркова, и Доброславин поймал в зеленоватых добродушных зрачках Блица жесткий и злой блеск.

— Прилетит и скажет... ну, вы, инвалиды... отвести вас, что ли, в богадельню, больше вам некуда... деваться.

Блиц не сводил глаз с Маркова и увидел, как вздрогнули его неподвижные плечи. Эта дрожь, казалось, доставила Блицу удовольствие, он сморщился в улыбку.

— Выхлопочет пенсию... в собесе... по выходным дням будет... тянучки возить. Мне «Коммунистический манифест»... подарит... взамен выброшенного. А Маркову... пилюли для... омоложения.

Доброславин испуганно взглянул на Блица, потом на Маркова.

Марков повернулся от окна, подошел к постели и протянул руку Блицу.

— Будь здоров,— сказал он и быстро вышел.

— Зачем ты так? — спросил Доброславин, недоумевая, впервые видя Блица озлобленным и беспощадным.— Он ведь обиделся.

— Я этого и хотел,— сухо ответил Блиц.— Иди и ты. Я хочу отдохнуть.

Он повернулся к стене и подтянул одеяло. Доброславин постоял еще минуту, ожидая. Но Блиц лежал так же нарочито напряженно, как за минуту до этого стоял у окна Марков, и Доброславин понял, что он не хочет больше разговаривать и разговаривать не станет. Он вздохнул и направился к двери.

15

— Летим, Митчелл. Летим! — сказал еще издали Мочалов, подходя к самолету.— Вижу, что вы этого не ожидали.

Пит с удивлением и недоверчивостью ощупывал новую стойку, сделанную лагерниками.

Эта работа протекала на его глазах и была для него самым большим чудом, которое ему пришлось видеть

в жизни. Пять суток распиливали хилой ручной пилкой, предназначенной для мелких столярных поделок, а затем обтесывали топором, резали и долбили матросскими ножами отрезок тяжелой стеньги погибшего судна. На первых порах Пит криво и сердито усмехался, наблюдая это бесполезное занятие. Дерево стеньги было сухо и твердо, желтовато-маслянисто, как слоновая кость. Ножи едва царапали его верхний слой. А нужно было не только острогать, но вырезать сложные выемки и просверлить отверстия для болтов. Попытка делать эту работу такими инструментами казалась Питу маниакальным бредом.

На руках работающих вздувались и лопались кровавые пузыри. Соскальзывающие лезвия впивались в пальцы. Кровь брызгала на дерево. Наскоро замотав порезы обрывками белья, люди продолжали работу. Без отдыха долбили и резали, постепенно придавая обрубку стеньги должный вид.

Это был настоящий кровавый труд. Но Пит не слышал ни одного слова протеста или недовольства. Он ни разу не заметил тени уныния или усталости на лицах работающих. Работа была необыкновенно организованна, слаженна и дружна. Коллективное муравьиное упрямство человеческой кучки могло окончиться неудачей. Но люди работали, и на лицах их не погасал отсвет великолепной и веселой уверенности в удаче.

Особенно поражала Пита неостывающая забота всех работавших о тщательной отделке будущей стойки. Люди спорили из-за каждой стружки и в затруднительных случаях, прекращая на мгновение неутомимую работу, вместе совещались по сомнительному казусу. Питу казалось, что дело заключается в скорейшем окончании работы, что не стоит заботиться чрезмерно о наружном виде стойки. Она должна быть только прочна и в состоянии выдержать толчки. Внешний вид безразличен — пусть безобразно, лишь бы крепко. Но здесь заботились о хорошей отделке не меньше, чем о прочности.

Как будто людей радовал самый процесс труда и доставляло удовольствие сделать вещь, ласкающую глаз.

И стойка казалась выпущенной из заводского цеха и только не отлакированной. Поглаживая пальцами отшлифованную поверхность дерева, Пит едва верил, что это сделано на его глазах примитивными инструментами Ро-

бинзона. Он пришел в тихий восторг от тщательности отделки.

Пит в последний раз потрогал восхитившую его стойку. Она была превосходна и безусловно обещала выдержать тяжелую посадку, но ее крепления вызывали самые мрачные сомнения. Вся изобретательность русских оказалась бессильна. Стойку пришлось пришвартовать к отломку тонким проволочным тросом, единственным имевшимся в распоряжении команды «Беринга». И хотя трос был обмотан в три ряда и затянут намертво — это ненадежное соединение сулило катастрофу. Трос мог и даже должен был не выдержать толчков, особенно при посадке.

Пит горестно вздохнул и поглядел на пилота Мошалоу, спокойно разговаривавшего с профессором в нескольких шагах от самолета.

Мочалов сделал отрицательный жест.

— Нет, профессор. Категорически не согласен с вашим предложением. Стойка может выдержать, но может и не выдержать. Рисковать десятью жизнями я не вправе. Воздушное хулиганство и бесшабашность не в моих правилах. Без пробного взлета я пассажиров не приму. Если угроблюсь — угроблюсь один.

Профессор двумя пальцами подсадил кверху сползающие очки.

— Я все-таки настаиваю. При благополучном взлете вам придется садиться на населенном берегу, где есть посадочные площадки, достаточно оборудованные. Там риск посадки невелик, и даже в случае аварии вы сумеете быстро привести самолет в порядок. Зато половина людей будет уже вывезена. Я совещался с парторгом. В первую очередь с вами вылетят более слабые и больной.

Мочалов досадливо поморщился.

— В летном деле, профессор, парторг для меня не авторитет. Будь самолет в исправности, я считал бы себя обязанным выполнить решение партячейки. Но вопрос взлета на больной машине могу решать только я. Теоретически правильно, что на жилом берегу мне легче садиться на неисправном самолете. Но перед посадкой есть взлет. Несчастье при взлете — и на льдине прибавятся больные и раненые, если не убитые. Если стойка выдержит взлёт и посадку здесь, я смогу с уверенностью брать людей. С непроверенной стойкой я могу до берега встретить всякие

неприятности. Может налететь пурга, туман. Наконец, забарахлит мотор. Вынужденная посадка на первом попавшемся месте рискованна даже для здоровой машины, что доказала моя посадка здесь. Садиться же на перегруженном инвалиде, имея вместо положенных семи — десять человек на борту,— это самоубийство и убийство. На это я не пойду. Взлетаю один и отвечаю за это.

— Ну что же с вами поделаешь,— сказал профессор, беспомощно разводя руками,— запретить не могу. Вам виднее.

Мочалов усмехнулся.

— Во всяком случае, не беспокойтесь за меня, профессор. Я все-таки думаю, что эта самодельная оглобля с честью сослужит свое. Но я предпочитаю следовать на этот случай старому правилу: «Семь раз примерь — один отрежь».

От самолета подошел Саженко, натягивая поверх шерстяных рукавиц кожаные перчатки.

— Моторы прогреты, товарищ командир самолета.

— До свиданья, профессор,— сказал Мочалов,— ненадолго. Через десять минут увидимся.

Он поднял руку к шлему и пошел к самолету. Моторы глухо работали на малом газу. Из кабины выглядывал Митчелл. У самолета кучкой стояли лагерники, испытующе рассматривая стойку.

Не дойдя нескольких шагов до самолета, Мочалов покосился на густую синюю тень на снегу, неотступно следовавшую за ним. Это была тепь Саженко, вплотную шедшего за командиром. Мочалов нахмурился и повернулся.

— Виктор, ты останешься! Я лечу один,— сказал он сухо.

Саженко остановился на полушаге и часто замигал, как будто смотрел на солнце.

— То есть... как один? — спросил он, краснея.

— Очень просто! В десятиминутном пробном полете при солнце я могу обойтись без штурмана. Понятно?

— Но позволь...

— Ничего не намерен позволять,— отрезал Мочалов,— я могу потерпеть аварию при взлете или посадке. В этом случае я буду стараться сохранить не себя, а самолет. А на исправном самолете дело закончишь ты... Ясно?

— Дмитрий! Это хамство,— сказал ошеломленный Саженко.

— Об этом поговорим после.

— Но пойми же в самом деле...

— Штурман Саженко! Остаться на земле! — рванул Мочалов, кусая губы.

Очень тяжело подчиниться такому приказанию. Но и отдавать его тяжело. Долгая дружба связывает этих двух людей. Сейчас, может быть, ей наносится неизлечимая трещина обиды. Но командир должен командовать. Трудно быть командиром.

Саженко вскинул руку к шлему и насквозь прожег Мочалова потемневшими от злости глазами. По-уставному повернувшись, отошел шагов на пять и оттуда бросил с горьким негодованием, уже не по-уставному:

— Сволочь, Митька! Генеральствуешь?

— Ладно,— сказал Мочалов, застегивая шлем,— крой меня во всю мочь. Легче станет.

Он поднял голову и увидел в люке кабины Митчелла.

— Митчелл! Выйдите из самолета. Я лечу один.

Но Митчелл не пошевелился и смотрел на пилота с усмешкой. Мотнул головой упрямо и решительно.

— Я лечу с вами, пайлот. Я понял, о чем вы разговаривали со штурманом. Штурмана вы можете не брать, но место бортмеханика у мотора. Или вы не уверены в себе? — закончил Митчелл с дерзкой ухмылкой.

Захолодевший взгляд Мочалова остановился на белесых бровях Пита.

— Вы слышали приказание, Митчелл?

Но Митчелл осклабился еще дерзче.

— У вас паскудная психология анархического одиночки, пайлот Мошалоу,— сказал он, хорошо копируя тон Мочалова.— Садитесь, пока мы не поссорились.

Мгновение Мочалов смотрел на механика бешено вспыхнувшими глазами и вдруг расхохотался:

— Однако вы нахал, Митчелл. Черт с вами! Можете оставаться!

Он влез в кабину и сел на место. Гудя, взвыли винты. Самолет дрогнул, скользнул по снегу. Чувствуя машину как часть своего тела, болезненно ощущая каждый толчок, Мочалов рулил. Только бы удалось вовремя оторвать самолет от площадки перед хаосом ропаков, стремительно бежавшим навстречу.

Пора! Он взвел ручку на себя. Самолет плавно закинулся носом. Подозрительный хруст послышался под фюзеляжем, но самолет был уже в воздухе. Шумно вздохнув,

Мочалов повернул голову и увидел Митчелла, припавшего к окну. Секунду спустя механик отвалился, и Мочалов увидел его растерянные пустые глаза.

— Что? — крикнул он, недоумевая и пугаясь.

Митчелл навалился на его плечо и прохрипел одно только слово, которое Мочалов понял больше по шевелению губ:

— Лыжа!

Этого было достаточно. Горячие щекочущие мурашки забегали в пальцах рук и ног.

Он понял. При взлете от последнего толчка лыжа на исправной стойке встала вертикально. Это было гробовым происшествием. Садиться невозможно. Спасти от катастрофы может только выправление лыжи. Если хорошенько помотать машину в воздухе, лыжа может стать на место.

Он нахмурился и стал набирать высоту. Застегнул ремни и жестом приказал сделать то же Митчеллу. Митчелл с безнадежным видом застегивал пряжки.

На полутора тысячах Мочалов перевернулся через крыло. Еще раз.

Снова набрал высоту и перешел в штопор.

Один, другой, третий виток. Выход из штопора. Бешено взвыли заработавшие моторы.

Опять вверх. Второй штопор. Крутой вираж. Скольжение на крыло. Еще и еще раз.

Карандашом чиркнул на планшете: «Посмотрите лыжу».

Митчелл развязался и припал к окну. Повернулся и отчаянно махнул рукой.

Мочалов смахнул с носа холодную каплю, сползшую из-под шлема, но спокойно улыбнулся Митчеллу. А мысль билась стремительно, как мотор.

«Крышка! Не важно... Себя не жаль. Во что бы то ни стало сохранить самолет. Остается один выход — выйти на крыло и оттуда попытаться, повиснув на руках, осадить ногами чертову лыжу. Это сумасшедший риск... но советский летчик имеет право на риск, когда нет иного выхода...»

На мгновение он упрекнул себя, что не взял Саженко. Штурман мог повести самолет. А теперь?.. Но нужно попробовать.

Он написал на планшете:

«Сумеете вести самолет по прямой?»

От ответа механика зависело все. Мочалов напряженно следил за выползающими из-под карандаша буквами:

«Да... Что вы хотите делать?»

Мочалов выхватил карандаш.

«Берите управление. Лезу на крыло — осадить лыжу».

У Митчелла отвалился подбородок. Он потянулся к карандашу, но Мочалов оттолкнул его руку.

«Без разговоров. На место!»

Митчелл исполнил приказание. Он весь побелел, и на лице его ярко выступили незаметные прежде веснушки. Сев на место второго пилота, вобрав голову в плечи, он взялся за ручки. Мочалов отсунулся назад. Зажмурился и быстрым рывком сорвал кухлянку. Сдернул кожаные перчатки — в рукавицах легче держаться. Открыл люк. Замораживающий вихрь ворвался в кабину. Выбросив вперед руки, Мочалов ухватился за скобы и, подобрав тело, очутился на крыле.

Вихрь бил по телу тяжелой подушкой, отбрасывая назад. Глаза залило, и скулы закаменели от леденящего напора воздуха. Было почти невозможно вздохнуть. Он положил голову боком на плоскость крыла и несколько раз глубоко втянул воздух. Перехватился за нижние скобы и сразу сполз, повиснув ногами в пустоте. Ноги относило назад, словно кто-то вцепился и тянул их. Он выбросил мучительным усилием правую вперед, нащупывая конец лыжи. Несколько раз промахнулся, но наконец ощутил носком опору. Давнул раз-другой, но лыжа не поддавалась. Он подтянул левую ногу и, подобравшись на руках, всей тяжестью тела обрушился на упор. Ноги сорвались и повисли.

Сразу стало жарко и весело. Это была победа. Упрямство лыжи было сломлено. Он знал это, не видя, и увидеть не мог. Голова и верхняя часть груди были плотно прижаты к срезу крыла.

Нужно было выбираться обратно. Он напряг бицепсы, стараясь подтянуться на плоскость, и с ужасом почувствовал свинцовую тяжесть тела и судорогу пальцев. На секунду распустил мышцы и повис расслабленно, закрыв глаза, прижавшись щекой к крылу, стараясь дышать медленно и глубоко, как на зарядке. Но пальцы сводило все больше, и дрожь трепала тело.

«Смерть»,— подумал он.

Глухое, безжалостное и бессмысленное слово пронизало его, как удар электрического разряда. Встряхнуло

и наполнило каждый нерв бешеным протестом против гибели, победным желанием жить, налило жестокой силой мускулы.

Он рванулся, собравшись в пружинный комок, выбросил вперед правую руку. Достал до верхней скобы. Скорчившись, перебросил другую руку, ощущая режущее давление среза крыла уже не под ложечкой, а у колена. Опять жадно вдохнул воздух и, подогнув ноги, встал на четвереньки. Это было спасение.

Все остальное он проделал инстинктивно. Полная ясность вернулась к нему только в кабине. Он лежал на полу, задыхаясь от сердцебиения. Тело стало горячим и мокрым. Сквозь толстый шерстяной свитер шел пар. Суставы болели, словно его избили свинчатками в смертной драке. Он приподнялся и стиснул виски, приходя в себя. Ударила мысль: «Скорей на управление».

Забыв о кухлянке, он кинулся к месту. Митчелл отшатнулся, увидя его. Мочалов кивнул ему, усаживаясь, и дико засмеялся. Вероятно, лицо его было ужасно. Митчелл откинулся назад и обвис, закрыв глаза. Голова упала на грудь.

«Обморок! Ладно, отдышится».

Он развернулся и пошел к лагерю. Пролетел над посадочной площадкой, повернул против ветра и пошел на снижение. Митчелл зашевелился, открыл глаза, непонимающе озираясь. Заторопившись, схватил ремни и стал привязываться, не попадая ремнем в пряжку.

Потом посмотрел на Мочалова, с лихой отчаянностью отбросил концы ремней и впился руками в бока сиденья.

Мотор умолк. Под лыжами сухо и резко засвистел снег. Крича и кидая шапки в воздух, за самолетом бежали люди.

Мочалов рванул люк, выскочил и кинулся к стойке. Она выдержала и взлет и посадку без малейшего повреждения. Даже не лопнула ни одна прядь троса. Мочалов снял шлем и рукавом вытер лицо, мокрое, как в июльский жар.

Его окружили, подхватили и бросили в воздух.

Когда наконец ему удалось вырваться, он увидел, как из кабины, медленно и шатаясь, спустился Митчелл. Он добрел заплетающимися ногами до Мочалова и уставился на него бессмысленным и мутным телячьим взглядом. Разжал слипшиеся губы и хрипло спросил:

— Мы живы, пайлот?

Мочалов рассмеялся и встряхнул механика:

— Что с вами, Митчелл? Проснитесь! Все в порядке.

Митчелл провел рукой по глазам и посмотрел на Мочалова так, как будто впервые увидел пилота.

— Я думаю, кэмрад,— медленно отделяя слова, произнес он,— я думаю, что во всем мире нет второго пилота, способного выкинуть такую штуку.

— Чепуха,— ответил Мочалов,— благодарю за комплимент, но любой летчик у нас сделал бы то же самое... Кстати, вы заметили, что назвали меня кэмрадом?

Митчелл помолчал. Ответил с необыкновенной серьезностью:

— Да, заметил.

Опять сделал паузу и, вдруг засияв широкой улыбкой, крикнул, фамильярно трепля по плечу пилота:

— О'кей... Гуд!.. Вери гуд, кэмрад Мошалоу!

16

— Тише, черти! Разоржались в худой час.

Из угла, от приемника, гневно обернулся на смех радист, оседланный наушниками. Посреди палатки, на опрокинутом ящике, команда играла в козла, обучая Митчелла. Он быстро овладел несложным искусством и с удовольствием проводил время в игре. Он только что приставил последнюю косточку, подмигнул и, старательно выговаривая буквы, сказал партнерам:

— Митчелл, фсе ф парадке.

Эту фразу он перенял у Мочалова и выговаривал ее довольно чисто.

Хохот, покрывший его слова, вызвал раздраженный окрик радиста:

— Помолчите минутку. В ушах от вас трещит. Принимаю дневную сводку информации.

В палатке стихло. Было слышно, как поскрипывает карандаш радиста, нанося строчки на бумагу. Вскоре он снял наушники и встал. Перешел в другой угол палатки и присел на нарах рядом с худощавым человеком в пегой кухлянке.

— Товарищ парторг, получай сводку.

Парторг взял листок, расправил его на колене, нагнулся и стал разбирать написанное. Дочитал, прикрыл листок широкой ладонью и поднялся с нар.

Митчелл увидел, как повернулись на его голос все в палатке. Затем игравшие неожиданно смешали косточки и окружили человека в пегой кухлянке, стоявшего с листком в руках.

Митчелл с любопытством следил за происходящим, не понимая слов, но чувствуя, что происходит нечто не совсем обычное.

Человек в пегой кухлянке, видимо, читал вслух с листка, и люди напряженно-внимательно слушали. Потом читавший положил листок на ящик, засунул руки в карманы кухлянки и заговорил. Говорил он довольно долго, и слова его лишь изредка прерывались одобрительными возгласами.

Когда он кончил, люди в палатке гулко захлопали в ладоши и заулыбались, переговариваясь.

Питу очень хотелось понять, в чем дело, но происходящее было слишком сложно, он не мог разобраться.

Недалеко от него, скрестив руки на коленях, на нарах сидел старик профессор. Веселые живчики печного огня метались в расколотом звездой стекле его очков. Полный любопытства, Пит вытянул руку и осторожно коснулся костлявой кисти профессора.

— Прошу извинения, сэр,— сказал он,— мне очень интересно, о чем говорил тот человек. Что-нибудь случилось?

Профессор повернулся к Питу и рассеянно поглядел на него.

— Ничего особенного не произошло,— сказал он,— совершенно обычное дело. Состоялось общее собрание команды.

— Я это понимаю,— пояснил Пит,— но по какому поводу собрание и о чем здесь говорили?

Профессор раскурил трубку и пыхнул на Пита теплым дымком.

— Если вас это интересует — пожалуйста. В сегодняшней сводке радионовостей радист принял сообщение из нашей страны о подавлении революционного восстания в Боливии...

— Восстание в Боливии,— поразился Пит,— но какое отношение имеет восстание в Боливии к команде, находящейся на льдине?

Профессор усмехнулся.

— Как бы это вам разъяснить? — произнес он раздумчиво.— Дело в том, что для нас это совершенно естественная связь. Восстание в Боливии так же волнует нас, как

волнуют события, происходящие на нашей земле. Это интернациональная солидарность.

— Я это понимаю,— возразил Пит,— но мне хотелось бы знать, что именно говорили здесь о восстании в Боливии?

— Очень просто,— ответил профессор,— вот этот товарищ в пегой кухлянке, он партийный организатор нашей ячейки. И он сообщал товарищам подробности о восстании. Весь месяц в Боливии шли жестокие бои между правительством генерала Охеда и восставшими крестьянами и рабочими. Сначала восставшие имели успех и захватили несколько городов, но затем генерал Охеда обратился за помощью к правительствам Перу и Аргентины. Началась интервенция, и с помощью чужих войск восстание было жесточайше раздавлено. Тысячи повстанцев расстреляны пулеметами. Их семьи выброшены на улицу, жилища разрушены. Международная организация помощи революционерам предприняла кампанию защиты и помощи. Во всей нашей стране идут широкие сборы в пользу семей замученных повстанцев в Боливии. Вот, собственно, и все.

Митчелл помолчал, смотря в пол, словно отыскивая там ответ на свои мысли.

— Да,— сказал он,— и это понятно, но я не могу уяснить одного. Чему же тогда аплодировали ваши люди? Эти известия, насколько я понимаю, должны опечалить их, а не обрадовать.

Профессор засмеялся.

— Что вы, что вы? — сказал он.— Вы совершенно неправильно поняли. Аплодисменты относились совсем к другому. Товарищ, делавший доклад, предложил всей команде принять участие в кампании помощи. В нашей стране, на фабриках и заводах и в деревнях, принимаются решения отчислить в пользу боливийских повстанцев двухдневный заработок. Мы считаем возможным отдать больше. Мы плаваем вдали от жилых берегов уже около года, и нам некуда было тратить наш заработок. По предложению одного из товарищей, команда вынесла постановление отчислить семьям погибших революционеров недельный оклад содержания.

Пит отодвинулся от профессора и посмотрел на старика, думая, что ослышался.

— Простите, я не расслышал, вы сказали отчислить сколько?

— Недельный заработок,— спокойно подтвердил про-

фессор.— Эти деньги команда отдает детям убитых, расстрелянных и сидящих в тюрьмах.

Пит нервно повертел головой, как будто он был в крахмальном воротничке и этот воротничок невыносимо резал ему шею.

— Но почему их так волнует судьба чужих детей, когда их собственные дети, вероятно, испытывают сейчас бóльшую нужду? Почему они раньше не подумают о своих детях? Никто еще не знает, что случится с нами завтра и увидит ли кто-нибудь твердую землю и родные дома? Не логичнее ли было бы позаботиться о сбережениях для своих семей? Кто поможет им, если жены останутся вдовами, а дети сиротами?

Пит взволновался и, как всегда, покраснел до волос, и белые брови резко выделялись на малиновой коже. Он перебегал глазами с одного лица на другое, он всматривался в эти странные русские черты, такие простые и в то же время необъяснимо сложные.

Люди только что, не моргнув глазом, вынули из своего, вероятно тощего, кошелька значительную часть тяжелого заработка и, как будто ничего не произошло, занялись обычными делами. Игроки в козла снова вернулись к ящику, разбирали косточки и смеялись. Понимали ли они, что делали? Не помутило ли сидение на льдине, постоянное ожидание гибели их здравый смысл?

Пит с нетерпением ждал ответа профессора.

— Видите, Митчелл,— мягко сказал старик,— вам это, конечно, странно. Моим товарищам нет особенной нужды думать о своих детях в смысле материальной поддержки. О них позаботятся правительство и вся страна. Страна усыновит наших сирот и поможет нашим вдовам, если мы не вернемся. Это твердо известно каждому из находящихся здесь, как известно и то, что никто в мире не пошевелит пальцем для помощи детям погибших повстанцев. Если бы наша родина была богаче, она приютила бы у себя сирот трудящихся всего мира и оказывала бы им помощь, потому что мы думаем о счастье подрастающего поколения во всем мире. Попробуйте понять это. Вся команда единогласно отдала свой заработок детям людей, которые на другом конце планеты поплатились жизнью в борьбе за дело, за которое боролись и победили мы. Ясно это вам?

— Вы говорите, вся команда? — переспросил Пит.— Следовательно, ни один человек не задумался и не отказался?

Профессор пожал плечами.

— Товарищ, который вел собрание, ставил этот вопрос на голосование и спрашивал, кто против такого решения. Вы видели — не поднялась ни одна рука.

— Так, теперь мне почти ясно... Благодарю вас,— сказал Пит.

— Митчелл! — позвали его играющие в козла.— Ком ю, плиз. Без тебя, друг, что-то скучно.

Пит вежливо улыбнулся и подсел к ящику. Но на этот раз игра не клеилась. Он был рассеян и думал совсем о другом. Руки его невпопад ставили косточки, он зевал, ошибался, а в его мозгу незримо для других происходили странные вещи. Тяжкие нагромождения привычных понятий и мыслей рушились и рассыпались в пыль. Он шесть раз подряд остался козлом.

— Эге, у Митчелла, ребята, не все в порядке,— смеясь, сказал один из играющих.

Пит посмотрел на него без улыбки, задумчиво и серьезно.

— Йес,— подтвердил он, качнув головой,— Митчелл, не фсе ф парадке.

Не обращая внимания на смех и шутки, он поднялся и вышел из палатки. Зеленоватая звездная ночь истаивала над его головой. Он посмотрел на мохнатые колючки звезд и вдруг с пронзительной ясностью впервые ощутил, что над чуждыми и разбросанными по земле странами каждую ночь горят одни и те же звезды, тает зеленоватое, морозное, примиряющее и объединяющее небо. Это несложное открытие ошеломило его и усилило крушение, разыгравшееся в его смятенном сознании. Он долго простоял на снегу, подняв голову кверху и следя пути звезд.

Глухой отзвук пушечного выстрела докатился до него,— вероятно, где-нибудь лопнуло ледяное поле.

Он вздрогнул, повернулся и вошел в палатку.

Там уже укладывались спать. Семеро должны были завтра покинуть льдину навсегда. Пилот Мошалоу сидел у печки и исписывал страницы своей маленькой книжечки.

Пит направился к нему.

— Пайлот!

Пилот обернулся.

— Слушаю, Митчелл.

Пит замялся. То, что пришло ему в голову и что он ре-

шил сказать, стоя под звездами, было очень трудно выразить словами.

— Я хотел спросить у вас, пайлот, кто здесь главный начальник? Вы или профессор?

Пилот положил книжечку в карман. Он был удивлен. Едва заметная улыбка раздвинула его губы.

— Зачем это вам понадобилось знать, Митчелл?

— Мне это очень важно,— упрямо обронил Пит.

— Собственно говоря, формально тут нет никакого главного начальника. Все вопросы мы решаем сообща. Но если принять во внимание, что мы с вами прилетели в гости, то правила вежливости предписывают, чтобы гость подчинялся хозяину. С этой точки зрения, профессор, конечно, главнокомандующий нашей льдины.

— Тогда, значит, вы входите в команду профессора?

— Ну, предположим, что так,— еще больше удивляясь, согласился Мочалов.

— Тогда и я вхожу в состав команды?

— Да что с вами? — засмеялся пилот.— Ну, допустим, входите. Поскольку вы сейчас находитесь на советской службе, конечно, входите.

Пит смотрел на тусклый огонь фонаря и беззвучно шевелил губами, словно заранее складывая мысли, как дети складывают дома из кубиков.

— Очень хорошо,— произнес он серьезно,— это меня устраивает. Сегодня у команды было общее собрание. Я не мог принимать в нем участия, потому что не знал, имею ли я на это право, и потому, что я не понимал, о чем идет речь. Но сейчас я знаю...— Он опять замолчал.

— Так... Что же дальше? — спросил пилот.

— Команда обсуждала один вопрос и приняла по нему решение. Я знаю, что все были за это решение. Я не голосовал, но раз я в команде, я не хочу оставаться за бортом. Я тоже голосую за! Пусть президент собрания добавит к деньгам, которые внесла команда для сирот, мои семьдесят пять долларов.

Мочалов рывком встал. Они стояли друг против друга — Пит, сосредоточенный, хмурый, с упрямой складкой, легшей между белесыми бровями, и Мочалов, недоумевающий и обрадованный.

— Вы что это, в самом деле, Митчелл? — У пилота дрогнул голос.

— В самом деле, кэмрад Мошалоу.

Пилот повернулся, пошел в угол и дернул за ногу спящего человека в пегой кухлянке.

— А? Что? Что? Что случилось? — переполошенно поднялся тот.

— Экстренное происшествие, товарищ парторг. Кризис мелкобуржуазного сознания,— сказал Мочалов.— В срочном порядке прими в свою кассу недельный оклад товарища Митчелла. Он тоже за. Ну, ну, не хлопай глазами, доставай свой список и заноси в актив денежки!

И, обернувшись к Питу, тепло сказал:

— Вы замечательный парень, Митчелл. Я это предчувствовал. Недаром мы с вами с детства любим одну песню.

— Это глупая песня,— упрямо сдвинув губы, ответил Пит.

17

Мочалов вскочил, разбуженный неистовым криком.

В полутьме, у входа в палатку, стоял человек, возбужденно размахивая руками, и кричал:

— Самолет! Товарищи, самолет идет! Все наружу!

Палатка заполнилась гомоном вскакивающих людей. Мочалов сорвался с нар и без шапки выскочил наружу. Издавна знакомое и привычное тонкое пчелиное гудение коснулось его слуха. Он вскинул голову и, прищурившись, увидел слева над горизонтом крошечную, распластавшую крылья стрекозу. Она летела прямо на палатку. Один за другим выкарабкивались наружу палаточные жители.

Стрекоза увеличивалась, вырастала на лимонно-желтоватом небе. Тонкое гудение ее переходило в высокий визг. Мочалов, взглянув еще раз, впился пальцами в полость своей кухлянки. Он не поверил глазам.

«Что такое?.. Не может быть!» Но это «савэдж». Несомненно, «савэдж». Близнец его голубой птицы.

«Нет, нет!.. Не может быть! Блиц разбит так, что раньше месяца на самолет сесть не сможет. Доброславин не настолько владеет управлением, чтобы решиться на полет в одиночку. Нет! Вероятно, чужая машина. Мало ли этих самолетов в Америке. Но что могло его занести сюда, в эту гиблую пустыню?»

Голубая птица с тяжелым ревом вырастала у него над головой, и Мочалов вскрикнул.

На плоскостях он увидел отчетливый шифр «Т-142».

Это был номер самолета Блица. Возбужденно сорвавшись с места, Мочалов закричал:

— Все на посадочную площадку! Нужно оттаскивать мой самолет... Ему негде сесть.

Он побежал через ледовое поле, спотыкаясь и не разбирая дороги. За ним цепочкой бежали остальные. Он уже не хотел думать, как попал сюда самолет и кто его ведет. Нужно было скорее очистить место для посадки.

Только когда самолет был отведен вбок, в зализину между торосами, он снова поднял голову. «Т-142» шел теперь на посадку. Он приземлился с такой легкостью и так точно, словно не в первый раз бывал здесь, и у бежавшего к нему Мочалова шевельнулась хорошая зависть к пилоту. Он не успел еще добежать, как открылся люк кабины, летчик спрыгнул в снег, споткнулся, поднялся, и набежавший на него Мочалов остолбенело остановился, узнав тепло блеснувшие из-под шлема цыганские глаза Маркова. За ним из кабины выглядывал улыбающийся Доброславин.

— Что! Не узнаешь? — весело спросил Марков, подмигивая.

Тогда Мочалова сорвала с места неудержимая буйная радость. Он бросился к Маркову, схватил его, стиснул и закричал:

— Марков! Черт! Ты? Неужели ты? Инвалид? Вылетавшийся? Старый дуб? Вылечился? Ха-ха-ха... С ума сойти! Ты или не ты?

— Я,— ответил Марков, также тиская Мочалова,— я, собственной персоной.

— Как же ты так, в самом деле?

— Вот так просто. Посидел в одиночестве... Все больше у Блица в лазарете сиделкой. И вдруг все как рукой сняло. И сразу так меня защемило, что сорвался, как пес с цепи, и давай сюда. Есть еще порох в пороховнице! Жив Тарас!

— А я сейчас только собрался вывозить первую партию.

— Ну, за чем же дело стало? Часок отдохну, просмотрим моторы и двинем обратно без проволочек.

Мочалов повернулся к сбежавшимся лагерникам.

— Товарищи! Приготовиться к посадке. Вылет через час. Лагеря «Беринга» сегодня не станет. А пока пойдем в палатку,— он потянул за собой Маркова,— хлебнешь горячего чайку в нашем отеле.

На полдороге к палатке Марков остановился.

— Да, совсем забыл в горячке,— сказал он, роясь в карманах,— я тебе тут специально одну весточку привез.

«Неужели от Кати?» — подумал Мочалов, с нетерпением ожидая, пока Марков выволакивал из кармана разный хлам.

Но Марков подал ему сложенную газету.

— Что это? — спросил Мочалов.

— Погоди... Я сейчас разыщу... Я еще тут карандашом отчеркнул... Это о твоем японском собеседнике на банкете... О Сендзото... Помнишь? Ага, вот она.— Марков ткнул в подчеркнутую красным карандашом заметку.

Аляскинская газета сообщала в отделе международной хроники, что при попытке побить мировой рекорд высотного полета на истребителе в Хакодате погиб японский морской летчик принц Сендзото, рухнувший с высоты семи тысяч метров. Гибель приписывалась обмороку, происшедшему с пилотом от закупорки кислородного баллона.

Мочалов задумчиво опустил газету.

«Для японца опасна высота,— вспомнил он,— потолок выше тысячи метров уже большой риск для нас».

— Жалко парня! — искренне сказал Марков.

Он, как наяву, вспомнил хрупкое кукольное лицо с косой прорезью печальных глаз, похожие на стебельки пальцы, игрушечное изящество японца.

— Не мог найти настоящего дела. Он мне жаловался в тот вечер. Говорил, что хотел бы летать так, как мы, чтобы спасать людей, а не убивать. От тоски, видно, и полез на рекорды. В самом деле, жаль. Он меня тогда за душу тронул. Не придется, значит, больше с ним встретиться. Может быть, и к лучшему. Боялся он, что плохая встреча у нас может выйти.

Мочалов сунул газету в карман. Спросил будто равнодушно и вскользь:

— Из дому никаких вестей не было?

— Телеграмма от Экка была всем нам. Сообщает старик, что все благополучно. Ждет нас домой с победой.

— Ну, теперь будем. Я вот тут чуть не сел навеки.

— Знаю,— сказал Марков,— радио о твоей аварии приняли. Вот это,— добавил он, тепло взглянув на Мочалова,— меня и вылечило. Неловко за себя стало.

— А я за тебя как рад! Словно сам выздоровел... Ну, а механик твой что?

Марков махнул рукой.

— Что так? — спросил Мочалов.

— Бледная спирохета,— поморщился Марков.— Когда узнал о твоей аварии, на попятную хотел полезть. Стал проситься отпустить. Тетка, видишь ли, у него заболела. Я его к стенке припер. Говорю: «Ты мне раньше, голубчик, денежки выложи обратно, а потом поезжай тетке клизмы ставить». Ну, повертелся, повертелся и все-таки остался. Только ходит с кислой рожей, будто целую неделю одни лимоны жевал. Паскуда!

— Так,— сказал Мочалов, притворно нахмурясь,— ставлю вам на вид, товарищ командир самолета, неумение воспитывать вверенный вам личный состав.

— Это ты про что? — удивился Марков.

— Про твоего механика. Я вот своего воспитал. Еще недельку с нами побудет, он у меня вовсе человеком станет.

Когда летчики пошли к палатке, Пит приблизился к «Т-142» и заглянул в кабину.

— Девиль! Алло, старик! Как поживаете!

Возившийся внутри Девиль оторвался от мотора и кивнул Питу:

— А, Митчелл! Как живу?.. Не могу сказать, чтобы хорошо. Впрочем, вы, наверное, еще хуже.

— Я? Наоборот. Я превосходно себя чувствую. Почему вы впадаете в меланхолию?

Девиль высунулся из люка:

— Не знаю, как вы, а с меня хватит. К черту этих русских психопатов. Они у меня в горле сидят. Я хотел уйти на берегу, но с меня потребовали возврата денег. У меня их уже не было, но если бы я мог, я с удовольствием швырнул бы им в рожу эти доллары.

Пит подозрительно покосился на него.

— Почему вы так перессорились с русскими?

Девиль пожал плечами и зло усмехнулся.

— Мне они надоели.

— Но чем именно? — спросил Пит.

— Всем,— ответил Девиль,— не успев вылететь, они разбили один самолет, не успев долететь до места, разбили второй. Начали чинить первый, и я подумал, что этот, вероятно, расшибется окончательно. Такое изобилие приключений не по мне. Я предпочитаю тихую работу.

Пит помолчал, ковыряя ногой снег. Вскинул глаза на Девиля.

— А мне стали нравиться приключения. Вероятно, в моей жизни их было слишком мало, и оттого она была скучной. Русские — это сплошное приключение. И это самое поучительное и интересное приключение в моей жизни.

— Значит, вы довольны? — спросил Девиль.

— Да,— ответил Пит,— я хотел бы, чтобы мои приключения продолжались дальше. Они меня многому научили.

Девиль засмеялся:

— Поздравляю вас. Очевидно, от сидения на льдине вы простудили мозги. Что касается меня, я с радостью думаю, что через несколько часов, если мы благополучно сядем на берегу, для меня эти приключения кончатся навсегда.

— Мне жаль вас,— сказал Пит с иронической гримасой.— Вы могли извлечь из нашей работы с русскими много полезного и просветить ваш ограниченный кругозор. Но вы ничего не вынесли.

— Что вы читаете мне нравоучения, Митчелл? — огрызнулся Девиль.— Я доволен тем кругозором, который у меня есть. По крайней мере, это кругозор нормального человека.

— Я же говорил, что вы стандартный и тупой американец,— сказал Пит.

— Вы, кажется, начинаете ругаться? — возмутился Девиль.— Я вижу, русские уроки действительно идут вам впрок.

Не ответив, Пит повернулся и пошел к палатке. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и бросил Девилю:

— Вот вам, Девиль, никакие уроки не пойдут впрок. Мне скучно с вами разговаривать, и я буду очень рад, когда мы окончательно расстанемся.

18

Просидев около часа в палате у Блица, Марков и Мочалов простились с ним и вышли на улицу. Мокрый зернистый снег, начинающий уже поддаваться солнцу, влажно поблескивал. Лыжник в красном свитере, далеко выбрасывая вперед палки, легко бежал вдоль домов по отшлифованной, зеркально сияющей лыжне.

— Чуешь, весна идет,— Мочалов глубоко втянул влажный, пахнущий огуречной свежестью воздух,— дома, пожалуй, и фиалки скоро зацветут. Даже Блиц от весны разговорчивей стал. Если так дальше пойдет, придется, пожалуй, ему поручить доклад сделать о нашем полете.

Марков засмеялся.

— А что ты думаешь. И сделает.

— Чудеса в решете.

Они проходили мимо бревенчатого чистенького коттеджа почты. Позади них хлопнула дверь. Звонкий женский голос позвал:

— Мистер Мошалоу, вам телеграмма из России... Из Москвы. Мы только что хотели отправить вам в отель, но начальник увидел вас в окно.

Мочалов быстро взбежал на крыльцо. Он тяжело задышал, принимая из окошечка заклеенный оранжевый бланк телеграммы. Он знал, что это должен был быть ответ на его донесение в Москву, посланное вчера тем трем людям, которых никогда близко не видел Мочалов, но черты которых были знакомы ему по портретам больше, чем смутно сохранившееся в памяти лицо отца. Он написал в своей телеграмме: «Москва. Кремль. Доношу, что двадцать третьего апреля команда «Коммодора Беринга» в полном составе вывезена с ледового поля на Аляску двумя самолетами. Все здоровы. Раненный при аварии самолета в Теллоре летчик Блиц поправляется. Личный состав звена: военлет Марков, штурманы Саженко и Доброславин и бортмеханик американский гражданин Митчелл проявили максимум доблести и энергии в выполнении задания правительства. Жду указаний. Командир звена военлет Мочалов».

Указания пришли. Они были здесь, в сложенном оранжевом клочке бумаги. Мочалов разорвал ленточку и развернул бланк. И от первых же букв кровь тяжелым толчком ударила ему в сердце, а текст задрожал и стал расплываться.

«Поздравляем блестящим делом, поднявшим на новые высоты имя советских летчиков. Входим в ЦИК с ходатайством о награждении вас и всего названного вами состава звена орденом Ленина и премией в размере годового оклада. Слава советским воздушным орлам. Команде «Беринга» выехать сухим путем в Сан-Франциско для отправки пароходом на родину. Вам с самолетами срочно вылететь к месту службы».

И те же три подписи. Мочалов сдвинул шлем на затылок и вытер рукой лоб.

— Что? Здорово покрыли? — спросил Марков, участливо смотря на изменившееся лицо Мочалова.

— Читай! — дрожащим голосом пробормотал Мочалов и передал бланк.

Марков читал, складывая губы трубочкой.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день,— произнес он, отдавая телеграмму,— ей-ей, не ждал. Честное слово, думал, под суд отдадут за битые самолеты и аварии, а оказывается, мы с тобой воздушные орлы. А ну, повернись-ка, погляжу, где у тебя орлиные перья растут?

— А ну тебя,— сказал Мочалов.— Я серьезно. Что мы, собственно, сделали?

— А думаешь, я знаю? Давай, брат, поверим этим товарищам. Они лучше нас знают. Раз они так думают,— значит, нам нужно слушаться.

Марков иронически кривил губы, но, заглянув в глаза товарищу, Мочалов поймал в янтарной теплоте его зрачков искры не могущей спрятаться гордости. Они шли до отеля молча, занятые каждый своими мыслями, не обращая впимапия на встречных, видя только далекие берега родины.

В холле их встретил капитан Смит. Старая трубка из того же корня, из которого было вырезано его угловатое пиратское лицо, по-прежнему торчала в углу губ. Он протянул руку Мочалову.

— Поздравляю вас, сэр. Вы заслужили награду.

— Откуда вы знаете, кептен? — удивился Мочалов.

Смит лукаво скосил глаза.

— Я старый шакал Аляски, сэр. Я топчу ее сорок пять лет. У шакалов хороший нюх. Я ждал вас здесь, чтобы поздравить. А теперь простите старика. Мне нужно идти. У меня нет жены, но метеорология ревнива, как баба.

Он сунул трубку в карман и ушел, помахав рукой.

Мочалов и Марков поднялись во второй этаж. Едва они вступили на площадку, до них донеслось из коридора невнятное пение. Мочалов остановился.

— Ты слышишь? В чем дело?

Марков прислушался.

— Странно,— сказал он, пожав плечами,— похоже, будто поют нашу летную. Только голоса уж очень козлиные.

Они замолчали, вслушиваясь. Пение доносилось из номера, который занимал механик Митчелл. Пели три голоса. Можно было разобрать хрипловатый тенорок и низкий баритон, тянувшие песню.

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ...

К двум голосам примешивался третий, совсем не понятного тембра. Он вел мелодию без слов, глухо, словно кто-нибудь подыгрывал на гребенке.

— Что за чудеса? — сказал Мочалов.— А ну, давай поглядим.

Он подошел к двери номера и дернул за ручку. В номере плавала сизая муть табачного дыма, и в ее пелене Мочалов смутно разглядел двух штурманов и Митчелла. Они в обнимку сидели на диване. Штурманы без кителей, Митчелл в оранжевом клетчатом джемпере. Митчелл помещался в середине, Саженко и Доброславин нежно обнимали его с обеих сторон. Растрепавшиеся волосы Саженко сползли на лоб. В левой руке он держал бутылку и наливал в стакан Митчелла. На столе стояли еще две бутылки рома. Пряные — ромовый и табачный — запахи наполняли комнату.

— Крути, комсомол! Голос у тебя соловьиный,— лихо вскрикнул Саженко, ставя бутылку на стол, вскинул глаза и застыл, увидя на пороге Мочалова.

— Что здесь происходит, товарищи командиры? — окаменевшим голосом спросил Мочалов. На скулах у него кожа стянулась от сдерживаемого бешенства.

Саженко высвободил руку из-за шеи Митчелла и, качнувшись, встал.

— М-митя,— сказал он нетвердо,— прошу пожаловать! К нашему шалашу. П-просвещаем ам-мериканский комсомол. Садись, М-митя. Ты меня на льдине обидел, без м-меня летал, но я не сержусь. Крути, Митчелл!

Он потянул Мочалова за рукав. Мочалов резко вырвал руку.

— Встать как следует, товарищ командир! Привести себя в приличный вид! Где ваш китель? — жестко рубил он.

Саженко протрезвел и вытянулся. Поднялся Доброславин, за ним встал растерянный Митчелл.

— Я вас предупреждал, товарищ Саженко,— резал Мочалов, и на щеках у него вздулись желваки,— пеняйте теперь на себя. Немедленно по возвращении в Союз пойдете под суд.

— Есть под суд,— хмуро повторил Саженко, надевая китель.

Мочалов, не слушая, взял со стола обе бутылки и сунул в карман.

— Отправиться сейчас же по своим номерам, и будете оба считаться под домашним арестом. Из номеров носа не показывать. Это преступление, товарищи командиры. В чужой стране, при иностранце, в тот день, когда правительство наградило нас величайшей наградой, напиться как свиньи и напоить подчиненного.

— Какая награда, товарищ командир? — тихо спросил Доброславин. Он не был пьян, а сейчас был взволнован и растерян.

— Прочтите. Может быть, после этого вам станет совершенно ясным безобразие вашего поведения,— презрительно кинул Мочалов, передавая штурману телеграмму.

Доброславин расправил ее на столе. Протрезвевший и унылый Саженко тоже нагнулся над бланком. Спустя минуту он поднял голову, и Мочалов увидел, что по щекам штурмана сбегают слезы.

— Митя,— сказал Саженко жалобно и беспомощно,— Митя, ты не сердись. Если б я знал, что мы герои, я бы капли в рот не взял, честное слово. Я считал, что с нас головы снимут за аварии. С горя и хватил. Думал: семь бед, один ответ.

— Прекратить разговоры,— оборвал Мочалов,— и марш по номерам! Не принимаю никаких оправданий, товарищи командиры.

Саженко опустил голову. Мочалов почувствовал сзади осторожное прикосновение к локтю. Он оглянулся и увидел, что Марков показывает ему глазами на дверь. Раздраженно повернувшись, он вышел.

Марков взял его под руку.

— Послушай-ка, Митя... конечно, ты прав. Надо было дать им хорошую встряску. Но... знаешь... не давай хода этому делу. Свинство и распущенность — двух мнений быть не может, но в конце концов никто из посторонних не видел. Разойдутся, выспятся и придут в себя.

— Да что ты заступаешься? — вспылил Мочалов.— Драить их надо, прохвостов, чтоб шерсть летела.

— Согласен. Но нагнал страху, и хватит. Не стоит губить ребят. Вспомни, что были тяжелые дни, а у Саженко выдержки не хватает. Да если б мы были не в Америке, а дома, я и сам на радостях дернул бы втихомолку.

Мочалов остановился у своей двери. Несколько секунд раздумывал.

Наконец пожал плечами и засмеялся:

— Ты знаешь, что мне пришло в голову? Что дома и я бы выпил. Вот сейчас понял... Ну, ладно! Черт с ними! Пусть проспятся, я их еще раз отчитаю, и на этом кончим. Будь здоров.

Он дописал страницу и, откинувшись на спинку стула, перечел написанное:

«Мне не стыдно сознаться, что я сейчас до краев переполнен гордостью. Гордостью за мою родину, за ее имя, ее славу, за то, что я сын этой родины. Я думаю, что это совсем новое чувство, и оно не имеет ничего общего с прежним патриотизмом. Мы любим нашу родину иначе. Мы видим ее недостатки, мы болеем ими и живем одной мыслью отдать нашу жизнь, все наше умение и знание, чтобы как можно скорей эти недостатки уничтожить, чтобы действительно по праву гордиться родиной перед всеми. Чтобы заставить любить нашу родину даже чужих. И это уже приходит. Пример этому — мой бортмеханик Митчелл. Он на моих глазах переломился, ибо его мышление среднего европейского мещанина, мелкого буржуа, раздавленного беспощадным прессом капитализма, обезличенного, обессиленного и смятенного, придя в столкновение с нашими людьми и нашими чувствами, проснулось и ожило от прилива свежей крови».

Мочалов подвинтил штифт карандаша и вывел заглавную букву новой фразы, но за спиной раздался осторожный стук в дверь.

— Кто там? — недовольно спросил Мочалов, не оборачиваясь.

— Это я, пайлот. Разрешите войти?

— Плиз! — Мочалов встал, закрывая дневник.

Вошел Митчелл, умытый, гладко причесанный. Белокурые пряди его волос блестели от воды.

— Садитесь, Митчелл.— Мочалов указал на диван.

Митчелл сел со смущенным и подавленным видом.

— Вы меня извините, товарищ Митчелл,— сказал Мочалов,— вероятно, на вас произвело неприятное впечатление мое появление в вашем номере и мой тон. Но это

к вам не относится. Вы совершенно свободны в своих поступках и находитесь в своей стране. Мои замечания относились только к моим товарищам.

Пит вздохнул.

— Я не знал, пайлот, что это у вас запрещено. Я больше всего виноват в этом, потому что я пригласил к себе штурманов и угощал их.

— Вы имели полное право сделать это, но штурманы должны были понимать...

— Простите, пайлот,— перебил Митчелл,— я прошу вас не сердиться на ваших товарищей, иначе я буду очень огорчен.

Мочалов улыбнулся.

— Очень уважительная причина! Я уже задал им жару и еще задам. По военному уставу, Митчелл, я обязан отдать их под суд. Но я этого не сделаю. Об этом меня просил пилот Марков, и я нашел смягчающие обстоятельства. Но они запомнят эту штуку на всю жизнь.

Мочалов прошелся по комнате из угла в угол и остановился перед механиком.

— Ну что же, Митчелл? Скоро расстаемся. Из Владивостока вы вернетесь обратно в Америку. Не знаю, как вам, а мне жаль с вами расставаться. Вспоминайте меня, когда вам придет в голову посвистать «Типперери» во время работы.

Митчелл не ответил. Он задумчиво смотрел в окно, за которым сверкал закат. Потом пошевелился и сел прямо.

— Я очень много думал за последнее время, кэмрад Мошалоу. У меня даже стала болеть голова. Помните, в первые дни нашей работы, когда вы рассердились на меня и Девиля за то, что мы удивились вашему приказанию работать ночью, в тот вечер мы вместе разгребали снег у самолета, и я засвистал «Типперери». Вы спросили меня, как я представляю себе, что такое «Типперери»? Я сказал вам, что это, вероятно, счастливая большая земля, где всем хорошо живется, но что такой земли вообще нет. Вы ответили, что она существует. Что это Россия, Советский Союз. Я тогда засмеялся и не поверил вам. Я читал и слышал о вашей стране слишком много нехорошего и странного, чтобы сразу поверить. А потом я встретился с людьми из вашей страны там, на льдине. Они были в отчаянном положении. Мне приходилось видать людей на краю гибели от разных причин. Они всегда были раздавлены

ожиданием смерти, ожесточены и думали каждый только о себе. Даже товарищей по несчастью они считали за врагов и готовы были ценой чужой смерти купить себе жизнь. Их поедал звериный эгоизм. Все, что я увидел на льдине, встало наперекор моим понятиям о жизни и человеке. Когда я узнал, что люди, смотрящие в лицо смерти, заботятся о чужих детях, меня точно сломало пополам, и из меня посыпалась разная труха. Это было очень больно, пайлот.

— Естественно,— сказал Мочалов,— вы очутились в положение ковра, из которого выбивают пыль.

— Очень правильно, кэмрад Мошалоу. Но ковер не чувствует, а мне было очень чувствительно. Я тогда продумал всю ночь. Не переставая думаю до сих пор. И мне начинает казаться, что ваша земля — настоящая большая земля. Я еще не совсем верю, что в ней все счастливы и нет никакого горя.

— Я и не говорил вам этого, Митчелл.

— Совершенно верно. Мне теперь хочется посмотреть вашу землю, пайлот. Я даже хотел бы пожить в ней. Я очень привязался к вам, кэмрад Мошалоу, и к вашим друзьям. Мне нравится ваша молодость. Вы все молоды. Вам двадцать четыре года, а профессору шестьдесят шесть, но у вас обоих одинаково молодая кровь. Она не застывает с годами. Кроме того, после вашего фокуса с лыжей я думаю, что вы лучший летчик из всех, которых я знаю. Очевидно, у вас все таковы. Почему это — я еще не могу понять. Я хотел просить вас, кэмрад Мошалоу, не могли ли бы вы взять меня к себе бортмехаником?

— Я был бы рад сделать это,— дружески сказал Мочалов, садясь рядом с Митчеллом,— но это очень затруднительно. Я военный летчик. Вы не можете быть бортмехаником в армии. Вы иностранец. Но, если хотите,— у меня много друзей в гражданской авиации, прекрасных и опытных летчиков и хороших людей. Они с удовольствием возьмут вас. Если по прошествии некоторого времени вы убедитесь, что наша земля похожа на ту счастливую большую землю, которая снилась вам, вы сможете принять подданство Союза, и тогда мы будем опять вместе и, если придется, драться с людьми, которые не верят в большую землю и хотят ее уничтожить. Согласны?

— Согласен, пайлот,— кивнул Митчелл,— я только возьму с вас слово, что вы постараетесь найти мне работу поблизости от себя и будете отвечать мне на письма.

— Непременно, Митчелл. Беру с вас также обещание писать мне часто и рассказывать о всех своих сомнениях.

— Хорошо, пайлот. И мне можно будет съездить на две недельки в Америку попрощаться с моей ма?

— Без сомнения. Вы можете перевезти и вашу мать на большую землю.

— Нет, кэмрад Мошалоу. Старый человек всегда предпочитает умирать на своей старой земле. Но у меня есть сестра и зять. Если я найду счастье у вас, я перевезу Фэй и Джемса. Джемс хороший электрик. Может быть, он тоже найдет работу.

— Мы электрифицируем нашу страну в таких размерах, Митчелл, что в ней найдется место и работа для многих Джемсов.

— Да? Это не похоже на Америку, кэмрад Мошалоу.— Митчелл встал.— Спокойной ночи. Извините, что отнял у вас время.

— Спокойной ночи, кэмрад Митчелл... Постойте,— остановил Мочалов, когда Митчелл взялся уже за ручку двери,— черт возьми, я же забыл сказать вам самое главное. Поздравляю вас, Митчелл!

— С чем, пайлот? — спросил Пит.

— Я сегодня получил телеграмму от правительства. Правительство представило все мое звено, и вас в том числе, к награждению орденом Ленина. Это высший орден нашей родины, Митчелл.

— Меня? — спросил Митчелл недоумевая.

— Да, вас.

Митчелл раздумывал.

— Я не знаю, пайлот, что это за орден. Но я немного знаю Ленина. Я однажды читал его биографию и получил большое уважение к вашему первому президенту. Он был очень хороший человек, и потому это, наверное, хороший орден.

— Это лучший в мире орден,— сказал Мочалов,— я горжусь тем, что буду иметь его, хотя думаю, что не сделал ничего особенного, чтобы его заслужить.

— Это не так, пайлот. Если бы я был вашим правительством, я бы дал вам за фокус с лыжей не один, а два ордена.

— Спасибо за щедрость, Митчелл,— усмехнулся Мочалов.

— Это не щедрость, пайлот, а справедливость. Вы заслужили орден. А я постараюсь его заслужить.

— Эх! Хорошо жить, Митчелл, черт возьми! — сказал Мочалов.— Что бы такое сделать повеселей?

— Не знаю, пайлот.

Мочалов задумался, потом слегка покосился на Митчелла и, засунув руку в карман, вытащил бутылку.

— Странно,— сказал он, подбрасывая бутылку на ладони,— одну я выбросил, а эту забыл.

Он повертел бутылку за горлышко и снова искоса взглянул на Митчелла.

— Она, кажется, откупорена, Митчелл?

— Да, пайлот.

— Что же с ней делать? Может быть, выпьем полстаканчика в вашу честь, Митчелл?

— Это не разрешается уставом, пайлот,— сурово ответил Пит, отведя глаза в сторону.

Мочалов вынул пробку и налил по четверти стакана себе и Митчеллу.

— Нет правил без исключения,— он пододвинул Митчеллу стакан,— это одно из положений диалектики, товарищ Митчелл.

— Я не знаю, что такое диалектика,— невозмутимо ответил Митчелл, принимая стакан,— но знаю, что это хороший ром, пайлот.

— За ваше будущее на большой земле, Митчелл! — Мочалов звякнул своим стаканом о стакан Митчелла.

— Тэнк ю, пайлот, за ваше также.

19

Самолеты низко пронеслись над Эгершельдом, держа курс на морскую обсерваторию. На бледно-голубом серпе Золотого Рога утюжками стояли военные и торговые корабли. Их было много, и они были по-парадному расцвечены флагами.

— Посмотри,— услыхал Мочалов в наушниках голос Саженко,— везде и повсюду флаги. Праздник, что ли?

— Какой? Первое мая три дня назад было.

Мочалов с недоумением разглядывал бухту, корабли, набережные, дома. И на домах, как на кораблях, красными бабочками отдыхали флаги.

«Непонятно,— подумал он,— может быть, новый какой-нибудь праздник объявили».

Корабли на рейде, щхуны, катера, баржи быстро отле-

тали назад. Из глубины бухты надвигались железо-стеклянные купола ангаров гидроавиации.

Площадка на берегу у ангаров казалась сверху огромным пестрым цветником, цветы которого передвигаются с места на место. Сделав два круга над ангарами, Мочалов повел самолет на снижение. По мере уменьшения высоты он разобрал, что возле ангаров скопилось огромное количество людей. Казалось, все население города собралось здесь. Проносясь над набережной, он сквозь грохот мотора услышал глухой гул выстрелов. Это было уже совсем непонятно.

— Ты погляди, какая толпища собралась,— снова услыхал он изумленный голос штурмана.— Показательные полеты какие-нибудь, что ли?

— Должно быть,— рассеянно ответил Мочалов, ведя самолет на посадку.

На узком каменном язычке волнолома стояла огромная группа людей, и там плавленым серебром блестели трубы оркестра. Теперь Мочалов уже ясно различал отдельные человеческие фигуры. Он выключил мотор. Встречным ветерком донесло обрывок марша. И вдруг, сажая машину, в минуту, когда поплавки, шипя, вспенили воду и навстречу мягко поплыла стенка набережной, Мочалов внезапно понял.

Это не праздник! Это встречают их! Его! Мочалова! Его звено! Самолет, подрагивая, приближался к стенке. Мочалов, обессилев, снял руки с руля, прислушиваясь к горячечному биению сердца. Оно металось все сильней и громче, казалось, сейчас разорвется, и Мочалов не сразу мог понять, что это не сердце грохочет так гулко и стремительно, а тарахтит мотором подходящий к самолету катер.

— Митя! — кричал уже откуда-то снаружи Саженко.— Ты что, прилип там, что ли? Наши здесь на катере. Иди же!

Мочалов с трудом встал. Жаркая слабость разливалась по телу. Он собрался с силой и направился к люку. В его овальном пролете качалась блестящая серебристая вода. Саженко стоял на плоскости и махал шлемом. В кресле у люка, жадно вытянув шею, сидел бледный как мел Блиц. Он посмотрел на Мочалова сумасшедшими от радости глазами.

— Мочалов! Что же это? Ведь это нас встречают... Я не могу... У меня сердце... лопнет.

— У меня тоже,— ответил Мочалов, крепко стискивая

его руку,— что поделаешь. Крепись, Блиц! Наделали дел — отвечать надо.

— Да вылезай же, черт,— неистово орал Саженко с крыла,— товарищ Экк тебя спрашивает!

Мочалов высунулся. Под трапом колыхался катер, полный синими кителями с серебряными крылышками на рукавах. Среди многих знакомых смеющихся лиц Мочалов сразу увидел зоркие ястребиные зрачки Экка. Только сегодня в них совсем отсутствовал холодноватый стальной отблеск, так часто заставлявший опускать глаза проштрафившихся командиров.

— А ну, слезай сюда, сынок,— проворчал Экк, усмехаясь в стриженую сединку усов,— покажись, какой ты у меня вырос.

Мочалов спрыгнул на носовой настил катера. Десятки рук подхватили его и почти по воздуху перебросили Экку.

— Ну, здравствуй,— седая щетинка пощекотала губы Мочалова,— вот и вернулся в родное гнездо. Хвалить не стану. Старшие уже похвалили. Теперь в гору пойдешь, небось нас забудешь.

— Никогда, Роберт Федорович! — негодующе вскрикнул Мочалов.

— Ну, ну! Шучу! Саженко, слезай-ка с крыла. Плоскость продавишь, дьявол! — ласково прикрикнул Экк.— На берег пора. Там ждут не дождутся. Кто еще внутри, пусть выбираются. Самолет на буксир взять!

— Там Блиц, товарищ начальник школы,— доложил Мочалов,— ему помочь надо.

— А ну, командиры! Вынимай инвалида.

Но Блиц уже спускался по трапу, поддерживаемый за плечи Митчеллом. Его также передали с рук на руки на корму, и Экк осторожно обнял его. Последним совершил воздушное путешествие Митчелл.

— Бортмеханик Митчелл,— представил Мочалов, когда Пит опустился на ноги.

— Ну что ж, сынок. Рад и тебя видеть,— сказал Экк, стискивая механика.

Растерявшийся Митчелл вопросительно смотрел на Мочалова.

— Не унывайте, Митчелл! Думаю, что ваши кости сегодня порядком пострадают от дружеских объятий.— Мочалов ласково потрепал механика по плечу.

Катер дал ход. Мочалов вертелся во все стороны, пытаясь отвечать на вопросы. Они сыпались со всех сторон,

и Мочалов мгновенно взмок. Из-под шлема ручейками пополз по лицу пот.

— Кожанку сбрось,— подсказал Экк.— Это тебе не полюс.

Мочалов сбросил пальто и шлем. Над катером нависла каменная стенка тяжелым гулом человеческой толпы. Мочалов поднял голову и в живой розовой изгороди лиц увидел смеющееся родное лицо, которое ждал увидеть. Катер прилип к стенке. Мочалов рванулся, выпрыгнул на стенку и схватил Катю за руку.

Улыбаясь потемневшими глазами, она смотрела на него как будто с удивлением.

Высвободила руку, провела ладонью по его щеке, и он услышал милый, воркующий Катин голос:

— Здравствуй, Митя! Я знала, что ты вернешься. И очень ждала тебя. Весело ждала. Ни разу не плакала, честное слово!

Он притянул к себе Катю, жадно ощущая ее родное тепло. Катина голова легла ему на плечо, щекоча ухо мягким пушком волос. И скорей не слухом, а чутьем уловил он ласковый Катин шепот, назначенный только ему:

— Знаешь, Мочалка, я думаю, что у нас будет сын.

Он еще крепче обнял ее.

— Да что ты, жена Мочалова! Вот это здорово! Это подарок!

— Ну, довольно, довольно,— Экк оттаскивал его за плечо, ворчливо приговаривая: — Успеешь нацеловаться. Там исполком ждет, командование.

Мочалов оторвался от Кати, подтянулся.

С подошедшего второго катера вылезли на стенку Марков и Доброславин.

— Становись, ребята, как следует,— командовал Экк.

Они построились. Мочалов впереди, за ним Марков и Блиц, штурманы и механики.

Сбитую человеческую массу перед ними раздвинули изнемогающие милиционеры. Оркестр грохнул маршем, и они двинулись, печатая шаг, узким проходом к трибуне.

Но дойти не удалось. На середине пути толпа прорвала цепь, подхватила их на руки, как драгоценный груз, и понесла.

Сперва испугавшийся натиска толпы и неожиданного взлета, Митчелл покорно плыл на плечах, смятенно улыбаясь многоголосому, непонятному гаму.

Но постепенно этот нестройный гомон стал складываться в правильную, незнакомую ему мелодию. Ее широкие звуки гремели бодро, звонко и мощно. Пела вся огромная толпа, и Пит, уловив мотив, попробовал подпевать. Но без слов выходило плохо. А желание петь было повелительно и непреодолимо, как желание жить. Тогда, поймав ускользающий ритм песни, Пит попытался уложить в него знакомые слова «Типперери». Это почти удалось. Он засмеялся. Он пьянел от солнца, от восторга толпы, от молодости, от никогда не испытанного счастья, размахивал руками и пел во все горло, изменив одно лишь слово старой и глупой песни:

It is short way to Tipperary.
It is short way to go!..[1]

Ленинград,
Декабрь 1934 — март 1935 г.

---

[1] Краток путь до Типперери,
Краток путь!..

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том Собрания сочинений Б. А. Лавренева вошли повести и рассказы, написанные в 1927—1935 годах.

Седьмой спутник.— Повесть написана в декабре 1926 — апреле 1927 г. Впервые напечатана в журнале «Звезда», 1927, № 6. Отрывок из повести под названием «Базарная карусель» опубликован в журнале «Литературная неделя». Л., 1928, № 44.

По общему признанию критики 20-х годов и более поздней «Седьмой спутник» ознаменовал начало нового периода в творчестве Б. Лавренева, который отличался не только повышением внимания писателя к проблемам интеллигенции, культуры, духовных процессов, вызванных революцией, но и обращением к новой манере письма — более сдержанной, реалистически достоверной, психологически углубленной. Автор вступительной статьи к Собранию сочинений писателя, изданном в 1931 г., писал: «В плане литературном эта новая фаза выражается... в обращении его (Лавренева.— *Е. С.*) к социально-бытовой и идеологической повести». Позднейшие исследователи более подробно и точно раскрыли содержание этого внутреннего процесса в творчестве Б. Лавренева (И. Эвентов).

Образ генерала Адамова — большая удача Б. Лавренева. При всей необычности ситуаций, в которых находился герой повести — не только профессор Военно-юридической академии, но и генерал, то есть высший царский чин,— в нем реалистически точно воплощены типичные черты лучшей части старой русской интеллигенции: готовность поступиться личным благополучием ради торжества общей справедливости, органическая скромность, глубокое уважение к простым людям, отвращение ко всяческому снобизму и пошлости.

Внешняя экстравагантность подробностей сближения Адамова с самыми, казалось бы, далекими от него и пугающими людей его среды представителями широких масс, однако, убедительно подчеркивает правду ведущей идеи повести: любой полезный труд, полный отказ от несправедливых привилегий прошлого, высокое чувство ответственности за историю родины — единственно верный путь, объединяющий судьбу старой интеллигенции с судьбой народной.

Острие повести «Седьмой спутник» писатель направил против вульгаризаторского упрощения духовной жизни и культуры, продолженную затем в «Гравюре на дереве».

Повесть печатается по тексту: Б. Лавренев. Избранные произведения в двух томах, т. 1. Гослитиздат, 1958 (ниже для краткости это издание называется Двухтомник 1958 г.).

Сапоги.— Рассказ впервые напечатан в «Красной газете», Л., 1927, 6 ноября (вечерний выпуск).

Печатается по тексту «Красной газеты».

Погубитель.— Рассказ впервые напечатан в журнале «Прожектор», 1928, № 10.

По теме и манере письма это произведение характерно для творчества Лавренева середины 20-х годов. Явная антимещанская настроенность, ироническое внимание к мелочам нэповского быта сочетается здесь с забавным сюжетом анекдотического склада.

Печатается по тексту журнала «Прожектор».

Гравюра на дереве.— Повесть написана в феврале — сентябре 1928 г. в Ленинграде. Впервые напечатана в журнале «Звезда», 1928, № 8, 9, 10. В 1932 г. вышло последнее прижизненное издание.

«Гравюра на дереве» — одно из наиболее значительных произведений Б. Лавренева. С большим интересом встреченная читателем, повесть в течение 1929—1932 гг. выдержала четыре книжных издания. Критика в свое время справедливо увидела в повести симптомы нового этапа в творчестве Лавренева. Отказавшись от приключенческого сюжета и романтических героев, писатель создал несколько неожиданное для своего творчества произведение, где психология и публицистика были призваны для решения серьезных и злободневных вопросов искусства. На примере судеб двух художников повесть отразила постоянный интерес к изобразительному искусству писателя, который в молодости не мог решить, «вступать ли на тернистый путь поэзии или просто поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества («Автобиография», т. 1,

с. 42 наст. изд.). Живописью Лавренев занимался всю жизнь, написал много статей о художниках.

В конце 20-х — начале 30-х годов в литературной жизни страны шли бурные дискуссии о роли и месте интеллигенции в революции, о назначении и истинном лице художника, о смысле искусства и его общественной функции. Повесть Б. Лавренева откликалась на эти волнующие и животрепещущие вопросы времени. По своей идейной направленности «Гравюра на дереве» находилась в одном ряду с такими произведениями прозы 20-х годов, как «Вор» Л. Леонова, «Братья» К. Федина, «Зависть» Ю. Олеши.

Признавая острую необходимость нового содержания и новой формы для революционного искусства, Лавренев, как и многие другие художники того времени, защищал искусство от вульгаризаторских требований левых теоретиков, от нигилистического отношения к культурному наследию, от попыток выдавать беззастенчивое приспособленчество и поверхностную иллюстративность за высокую идейность и новаторство.

Надо отметить, что современники весьма сочувственно отнеслись именно к протесту Лавренева против холодного ремесленничества и эстетической безграмотности. Опасность приспособленчества ощущалась как реальная угроза новому искусству, как одна из разновидностей мещанского влияния на духовную жизнь народа. Полемической заостренностью объясняются как многие крайности, так и противоречия, воплотившиеся в образах повести, которую нельзя понять вне бурной идейной атмосферы тех лет.

К числу таких крайностей относится тревожащее главного героя повести Кудрина ощущение полного отсутствия подлинного искусства, отражающего революционную современность. Хотя именно к 1928 г. (моменту создания повести.— *Е. С.*) в самых разных видах и жанрах советского искусства было создано уже много значительных произведений, новых и по содержанию и по форме.

Рецензент повести писал в 1930 г.: «Нужно, чтобы пролетариат и его авангард — партия завладели искусством, тогда они дадут образцы подлинно художественного пролетарского творчества («Книга и революция», 1930, № 3, с. 44). Однако именно мысль Кудрина о том, что революционное мировоззрение может воплотить только «художник, рожденный классом, созидающим новую эру в человеческой истории», то есть рабочим классом,— «только плоть от плоти» его, сегодня представляется наиболее устаревшей и даже противоречащей основному настроению повести. Эти слова героя — дань предрассудкам своего времени, отголосок тех вульгарно-социологических идей, согласно которым художник-интеллигент механически и неизбежно был обречен на мелкобуржуазную ограниченность и где вопрос о мировоззрении художника тем са-

мым, по сути дела, подменялся вопросом просто о его социальном происхождении. Ведь исходя именно из этих вульгарно-социологических представлений, критики начала 30-х годов находили в повести Лавренева свидетельство того, как «довлеет еще на нем его мелкобуржуазная природа» (т а м ж е, с. 46).

Современный читатель охотно разделит и горячее сочувствие автора к своему герою, в словах и позиции которого угадывается то страстная исповедь писателя, то нерешенный спор с самим собой по эстетическим вопросам. И хотя нельзя не согласиться с критикой 20-х — начала 30-х годов, которая вся без исключения отмечала, что «Лавренев подчеркивает в Кудрине черты не столько партийца, сколько интеллигента», сегодня это обстоятельство не может задевать так, как задевало некогда, ибо противопоставление «партийца» и «интеллигента» исторически утратило свою и психологическую и идейную остроту. В повести, где лирическое начало вообще сильнее объективно-изобразительного, преимущественная занятость коммуниста Кудрина проблемами искусства за счет чисто политических и его внезапный уход от большой хозяйственной работы к творчеству, за который критика осуждала и героя и автора,— все эти особенности образа воспринимаются сегодня как результат полемически заостренного выражения некоторых программных идей писателя, волновавших его в атмосфере острой литературной борьбы: защитить общественную значимость искусства и роль художественной интеллигенции в новой действительности от вульгаризаторов, тупиц и невежд, заклейменных им в сатирической фигуре Тита Шкурина и в образе жены Кудрина Елены.

В фигуре поэта Шкурина легко угадывается откровенная обобщенная карикатура на деятелей из группы Леф («Левый фронт искусств») с их нигилистическим отношением к культурному наследству, и на литераторов-конструктивистов с их отрицанием художественного обобщения, с их проповедью документального факта как главного поэтического приема.

Насколько важное место занимала «Гравюра на дереве» в творческом самоощущении Лавренева, свидетельствует то обстоятельство, что ни к одному своему произведению писатель не возвращался столько раз, как к этой повести. Уже по сравнению с журнальной редакцией первое книжное издание отличалось существенными изменениями, которые коснулись трех основных эпизодов, где речь идет о смысле и значении искусства в новой действительности. Это — разговор Кудрина с Половцевым в вагоне, доклад в Политехническом музее и размышления Кудрина перед новым уходом в живопись.

В 1958 г., подготавливая новое собрание сочинений, Лавренев писал редактору Двухтомника: «Гравюру на дереве» я вообще

пишу заново для собрания, ибо за это время выяснились корни некоторых событий, происходивших в мире художников в 1926—1930 гг., и на многое приходится смотреть другими глазами». Результатом этой большой работы явилась новая редакция повести, публикуемая в настоящем издании. Произведение не претерпело никаких сюжетных изменений, однако различия между прежними вариантами и последним значительны. Прежде всего, писатель убрал из повести многие злободневные в конце 20-х годов подробности, а также выражения и термины, не имеющие существенного значения и малопонятные читателю. Затем снова подверглись большим изменениям те главы повести, в которых наиболее остро обсуждаются эстетические вопросы. Так, усилена линия разоблачения левого формалистического искусства и его псевдоноваторства. Если в редакции 1932 г. о посещении героем художественной выставки было сказано: «Больше всего раздражали Кудрина «рабочие сюжеты», «...лакейское желание наскоро услужить новому хозяину» (Б. Лавренев. Избранное. Изд-во писателей в Ленинграде, 1932, с. 255), то в новом варианте на первом месте стоит протест героя против «загадочных формалистических изысков», «устрашающих полотен кубофутуристов» (с. 110—111 наст. изд.). В связи с этим идейным акцентом в повести появилась новая фигура — ректора Академии художеств, больного «шарлатанофобией», с которым у Кудрина происходит большой разговор об искусстве. В числе существенных изменений, которым подверглась повесть, нужно отметить те места, где автор стремится проанализировать то, что в прежних редакциях было лишь упомянуто и перечислено. Так, писатель объясняет, почему неинтересны и бездушны многочисленные картины на «производственные» сюжеты»: «...в бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее творец... Забвение личности человека... было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых, приспособленческих работ» (с. 111 наст. изд.). Стремление глубже понять прошлое видно и в тех фразах, которые вводит Лавренев в новой редакции для объяснения отношения Кудрина к критике Половцева. «А рост мещанских настроений, расцвет обывательщины, вызванный новой экономической политикой, внушал опасения. И, казалось, надо было прислушаться к стихотворному предупреждению Маяковского, как бы коммунизм не был побит канарейками» (с. 147 наст. изд.). Здесь Б. Лавренев перефразирует известное стихотворение В. Маяковского «О дряни» (см. В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. 2, с. 75).

Кроме существенных идейных изменений, внесенных автором в редакцию 1958 г., нужно иметь в виду и большую стилистическую правку, которой подверглась повесть. Первые семь глав были переписаны заново. Если попытаться проследить общее направле-

ние этой стилистической работы, то в основном оно сводится к появлению в повести множества мелких подробностей, более конкретно и ярко передающих атмосферу и быт тех лет, к которым относится действие повести. «Он просидел у нее допоздна, принес ей два ведра воды из колодца и наколол дров»,— рассказывал Лавренев (изд. 1932 г., с. 252). «Он просидел у нее весь вечер, наносил ей в бадейку воды из колодца и наколол из старой двери груду щепок для времянки»,— находим мы в 1958 г. (с. 105 наст. изд.). «А у нас называют интеллигентом каждого сотрудника, сидящего на исходящем журнале и по вечерам посещающего вместе со своей дамой кино» (изд. 1932 г., с. 284). «А мы стали называть интеллигентом любого Акакия Акакиевича, который сидит на входящих и исходящих и вечерами ходит в кино смотреть «Атлантиду» и «Тайны Нью-Йорка» (с. 143 наст. изд.). Вместо одной фразы, рассказывающей о работе Кудрина «в мастерской знаменитого мастера в Париже», в редакции 1958 г. появляются три страницы нового текста с колоритной фигурой парижского «мэтра», разговорами с ним Кудрина, описанием обстоятельств, при которых он возглавил трест Росстеклофарфор. Подробности, казавшиеся несущественными современнику, восстановленные памятью художника через тридцать лет, приобрели значение ярких исторических свидетельств.

Печатается по рукописи.

Стр. 102. *А вспомните письмо Ленина Инессе Арманд насчет людишек, проповедующих теорию «стакана воды»...*— Слова В. И. Ленина о теории «стакана воды» приводит Клара Цеткин в своих воспоминаниях «Из записной книжки», опубликованных в 1925 г. (см.: «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 5, 1969, с. 47). В письмах же В. И. Ленина к Инессе Арманд (1915) речь идет о плане брошюры, затрагивающей вопросы брака, семьи, любви, которую намеревалась написать И. Арманд для работниц (см. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 51—52).

Стр. 114. *Анатолий Васильевич не подмога.*— Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933) — один из виднейших деятелей советской культуры, публицист, критик, драматург и искусствовед. После Великой Октябрьской социалистической революции (до 1929 г.) Народный комиссар просвещения РСФСР. Относясь резко отрицательно к формализму как критик и теоретик, он как государственный деятель в первые годы революции был иногда снисходителен к «левому» искусству, полагая, что в вопросах искусства необходимо действовать очень осторожно. В. И. Ленин критиковал Луначарского за объективистскую позицию по отношению к футуризму.

АХРР — Ассоциация художников революционной России, существовавшая с 1922 по 1932 г.

Стр. 221. *Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого.*— Известный русский художник Константин Яковлевич Крыжицкий (1858—1911) в 1911 г. был несправедливо обвинен в плагиате. И хотя третейский суд установил ложность обвинения, вся эта история так потрясла Крыжицкого, что он покончил с собой.

Радио-заяц.— Рассказ впервые напечатан отдельным изданием: Б. Лавренев. Радио-заяц. М.— Л., Государственное издательство, 1928 (Для детей среднего и старшего возраста).

Печатается по тексту этого издания.

Белая гибель.— Повесть написана в Ленинграде в октябре — ноябре 1928 г. Впервые напечатана в журнале «Новый мир», 1929, № 1.

В 1928 г. весь мир был потрясен известием о гибели норвежского полярного путешественника и исследователя Руаля Амундсена, отправившегося на гидроплане «Латам» на поиски экипажа дирижабля «Италия».

23 мая 1928 г. дирижабль «Италия» под руководством итальянского дирижаблестроителя и полярного исследователя Умберто Нобиле стартовал из Конгс-фьорда (западный берег Шпицбергена) к Северному полюсу. Погода не позволила Нобиле сделать высадку на полюсе, а на обратном пути дирижабль разбился о ледяные торосы. На поиски погибавших путешественников различные страны мира послали спасательные экспедиции. Советское правительство на помощь Нобиле направило судно «Персей», ледокольные пароходы «Малыгин» и «Г. Седов» и ледокол «Красин». На «Малыгине» и «Красине», снявшем с льдины оставшихся в живых членов экспедиции Нобиле, находились самолеты лучших полярных летчиков того времени Б. Г. Чухновского и М. С. Бабушкина.

«Красин» был последним судном, упорно продолжавшим поиски пропавших во льдах остальных членов экспедиции Нобиле и экипажа Амундсена. Поиски осложнялись тем, что Амундсен не только не договорился с экипажами других самолетов о совместных действиях, но и вообще не поделился ни с кем своими планами. Эти поиски были прекращены только в конце сентября 1928 г., после того как в волнах океана был найден поплавок гидроплана «Латам», свидетельствующий о гибели его экипажа.

Расследование обстоятельств аварии дирижабля «Италия» и спасения Нобиле сделало многие героические, трагические и жестокие подробности этой экспедиции достоянием прессы всего мира.

Отражение некоторых из них легко узнается в повести Лавренева. Таким образом, не будучи точным изложением истории гибели Амундсена (никаких подробностей о гибели гидроплана «Латам» и его экипажа, естественно, не сохранилось), повесть Лавренева является художественным обобщением событий, взволновавших в 1928 г. весь мир.

Критика отнеслась к повести неодобрительно. «Белая гибель...— писал П. Медведев,— не удалась, главным образом, именно благодаря тому, что большую человеческую трагедию автор превратил в романтическую мелодраму» (Б. Лавренев. Собр. соч., т. 1. ГИХЛ, 1931, с. 30).

Позднее писателя упрекали и за далекость от реальности, и за вычурный язык, и особенно за выбор сюжета, в котором не нашлось места подвигу советских моряков и летчиков.

Можно согласиться с критиками в том, что в «Белой гибели» есть черты мелодраматические и искусственно романтические, можно признать, что в повести недостает идеи коллективного героизма, что в ней есть косвенное отражение настроений, порожденных нэпом и еще не изжитых писателем к этому времени, но упрекать писателя за найденный им в жизни сюжет и навязывать ему другой — по меньшей мере бесперспективно. Борьба человека один на один со смертельной опасностью, индивидуальный подвиг — это всегда привлекало Лавренева-художника; гибель Амундсена была для него близким и волнующим сюжетом.

В повести явственно слышится протест против трагичности человеческой разъединенности, бессмысленности подвига, опирающегося только на желание победить скуку мещанского благополучия, уйти от пустоты существования и не воодушевленного высокой гуманной целью. Сравнение повести с некоторыми подробностями экспедиции Нобиле показывает, что эти мотивы не были выдуманы Б. Лавреневым, что они были взяты из газет, из реальной действительности и поразили писателя как взволнованного современника. Изображение героизма советских полярников стало для Б. Лавренева задачей будущих лет (см. повесть «Большая земля»).

«Белая гибель» уже при первой публикации в журнале была подвергнута существенной редактуре, снимающей некоторые излишние натуралистические и мелодраматические подробности. В феврале 1929 г. Б. Лавренев писал редактору «Нового мира» В. Полонскому:

«Только что увидел первый номер «Нового мира» с «Белой гибелью». Сперва немного освирепел от резекции последней главы, но потом убедился, что, пожалуй, это неплохо, ибо в самой сцене покушения на пожрание Мадлен (в последней редакции повести —

Жаклин.— *Е. С.*) есть избыток резкого натурализма, почти анатомического, который, конечно, может действовать отвратно.

Жаль только, что Вы не сообщили мне о намерении сделать эту вымарку, иначе я отстоял бы одно — это сохранение попытки Гильоме ударить ножом в грудь Мадлен и намерение воспользоваться ее телом, как пищей, ибо это, с одной стороны, характеризует галльское джентльменство «до поры до времени», а с другой — подчеркивает психологию полярного психоза. На заносе ножа перед ударом можно было бы остановиться и вымарать остальное.

Но особо существенной разницы это не делает» (ЦГАЛИ, ф. 1928, оп. № 1, ед. хр. 198).

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Лотерея мыса Адлер.— Рассказ написан в Ленинграде в ноябре 1929 — январе 1930 г. Впервые напечатан в журнале «Звезда», 1930, № 2.

Сюжетной канвой произведения послужила драматическая судьба и гибель декабриста Александра Александровича Бестужева (1797—1837); литературный псевдоним — Марлинский).

А. Бестужев — кавалерийский офицер, член Северного общества, издававший вместе с К. Рылеевым «Полярную звезду» и написавший в соавторстве с ним агитационные песни-прокламации для солдатских масс («Ах, тошно мне и в родной стороне...», «Царь наш немец русский...» и др.), был осужден за участие в восстании декабристов. Из крепости, где он пробыл в заключении полтора года, его сослали вначале в Якутск, а затем рядовым на Кавказ. После семи лет солдатской службы он был произведен в офицеры, но вскоре погиб при перестрелке с горцами. Кавказские повести, военные рассказы и песни Марлинского в 30-е годы прошлого века пользовались большой популярностью.

Трагическая жизнь, воинская храбрость, необычайные обстоятельства смерти, наконец — романтический стиль и мастерство рассказчика в произведениях Бестужева-Марлинского сделали его фигуру интересной и близкой Б. Лавреневу.

Рассказ не является первым обращением Б. Лавренева к эпохе декабристов. События русской истории, связанные с революционным выступлением против царизма в 1825 г., интересовали писателя и в связи с его работой над пьесой «Кинжал» (1925).

По выходе рассказа в свет критика называет его «типичной романтической новеллой» и по характеру стиля и по настроению относит его к числу произведений, в которых Б. Лавренев в большей или меньшей степени отдает дань романтизму первой половины 20-х годов.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Адрес судьбы.— Рассказ впервые напечатан в журнале «Стройка». М., 1930, № 5.

Печатается по тексту журнала «Стройка».

Жизнь продолжается.— Рассказ впервые напечатан в журнале «Ленинград», 1932, № 5—6.

Рассказы «Адрес судьбы» и «Жизнь продолжается» объединены общими фамилиями героев (Левченко, Курков), что дает основание предполагать существование замысла большого произведения, не осуществленного писателем. Рассказы имеют самостоятельное значение.

Печатается по тексту журнала «Ленинград».

Воображаемая линия.— Рассказ впервые напечатан в журнале «Залп», 1933, № 2—3.

Печатается по тексту журнала «Залп».

Стратегическая ошибка.— Повесть написана в Севастополе в 1934 г. Впервые напечатана в журнале «Знамя», 1934, № 8.

В этой повести автор воссоздает один из эпизодов первой мировой войны и на его примере раскрывает общие закономерности империалистической политики.

В августе 1914 г. немецкие линейные крейсеры «Гебен» и «Бреслау», блокированные англичанами в Средиземном море, были беспрепятственно пропущены ими в Черное море к берегам Турции. Позднее историки Британской империи Ю. Корбетт, Х. Вильсон и др. писали, что в Средиземном море была совершена «тяжелая стратегическая ошибка», что германские крейсеры не удалось захватить «вследствие промахов британского Адмиралтейства».

Тщательно изучив исторические материалы, Б. Лавренев пришел к выводу, что так называемая «ошибка» была в действительности сознательным вероломным актом британского правительства, направленным против России. Лавренев считал, что правящие классы Англии, верные империалистической традиции воевать чужими руками, стремились не только разбить Германию, но заодно ослабить и своих союзников — Россию и Францию, чтобы, выступив в решающий момент со свежими силами, урвать себе львиную долю добычи.

В предисловии к книге Х. Вильсона «Морские операции в мировой войне 1914—1918 гг.», выпущенной в 1935 г., в переводе с английского, Государственным военным издательством, Н. Трайнин писал об инциденте в Средиземном море: «Ошибки Адмиралтейства так «странны», действия британских крейсеров так нелепы и, нако-

нец, заявления Крэдока (британский контр-адмирал.— *Е. С.*) в парламенте о том, что адмиралы Мильн и Трубридж выполняли приказы Адмиралтейства,— все это заставляет думать, что Адмиралтейство не было особенно против прорыва германских кораблей в турецкие воды».

Постоянный интерес Лавренева к военно-морской теме, выразившийся и в этой повести, ее антиимпериалистическая направленность, строгий документализм ее стиля характерны для произведений того отряда советской литературы, который группировался в те годы сначала вокруг журнала «ЛОКАФ» (Литературное объединение Красной Армии и Флота), а затем вокруг журнала «Знамя».

Повесть печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Обыкновенное дело.— Рассказ написан в Севастополе в 1934 г. Впервые напечатан в журнале «Звезда», 1934, № 10, под названием «Бранденбур». В сборники Б. Лавренева «Ветер с моря», «Советский писатель», 1941, и «Выстрел с Невы», Военмориздат, 1941,— включен под названием «По закону».

Гуманность, реалистическая точность письма, глубокий демократизм рассказа ставят его в один ряд с теми произведениями, которые продолжали лучшие традиции русской маринистской литературы, в частности Станюковича.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Большая земля.— Повесть написана в Ленинграде в декабре 1934 — марте 1935 г. Впервые напечатана в журнале «Литературный современник», 1935, № 3, 4, 5.

В основу сюжета повести положены подлинные события в Арктике, за которыми в 1934 г. взволнованно следили не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В августе 1933 г. советский пароход «Челюскин» вышел из Мурманска с заданием пройти за одну навигацию во Владивосток. Экспедицию возглавил академик О. Ю. Шмидт. В октябре того же года «Челюскин» был скован в Беринговом проливе дрейфующими льдами, вынесен обратно в Чукотское море и в феврале 1934 г. раздавлен льдами.

Сто четыре человека — экипаж и пассажиры «Челюскина» (при высадке на лед погиб один человек), в том числе женщины и дети, в течение двух месяцев жили на льдине, проявляя необыкновенную выдержку и стойкость. Советским правительством была организована комиссия, во главе с В. В. Куйбышевым, по спасению потерпевших катастрофу. На помощь челюскинцам были посланы самолеты, ледоходы, отряды на оленьих и собачьих упряжках.

Благодаря отваге, мастерству и упорству советских летчиков весь лагерь О. Ю. Шмидта был вывезен на Большую землю. Семь летчиков, особенно отличившихся при спасении челюскинцев (М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев), первыми в СССР были удостоены звания Героя Советского Союза.

Челюскинская эпопея приковала к себе внимание всего мира и стала демонстрацией товарищеской солидарности, отличных человеческих качеств и высокого гуманизма советских людей.

«Вполне естественно и закономерно,— писал рецензент повести «Большая земля» Л. Радищев,— что именно Лавренев один из первых откликнулся на эту тему. Здесь наличествует тема, излюбленная писателем на протяжении всей его литературной работы,— тема героизма» («Литературный Ленинград», 26 августа 1935 г.).

В письмах к редактору Двухтомника 1958 г. Б. Лавренев отмечал, что «повесть писалась по горячим следам полетов Слепнева». Действительно, в сюжете повести есть подробности, взятые, в частности, из истории полетов М. Слепнева. В то время как остальные пилоты летали в лагерь О. Ю. Шмидта с территории Советского Союза (Водопьянов сделал колоссальный перелет из Хабаровска по побережью Тихого океана через Чукотский полуостров; Ляпидевский, первый из летчиков приземлившийся в лагере и вывезший оттуда женщин и детей,— с Чукотского полуострова; группа Каманина — с Камчатки), Леваневский, Слепнев и Ушаков, стремительно перерезав на самолетах, поездах и пароходах земной шар с востока на запад, на американских самолетах «Консолидэйтед Флейстер» совершили перелет из Северной Аляски на Чукотский полуостров, а затем в Ванкарем — базу, с которой держалась летная связь с лагерем Шмидта. Действительно, машина Слепнева после посадки на льдину подверглась серьезному ремонту в лагере. Больной О. Ю. Шмидт был вывезен со льдины в Ванкарем В. Молоковым, а из Ванкарема в госпиталь на Аляске — М. Слепневым. Американский механик Клайд Армстидт находился на борту самолета С. Леваневского.

Таким образом, в сюжете «Большой земли» использованы подробности, заимствованные из полетов различных участников летной эпопеи. Безусловно также, что многие детали сюжета и черты характера главного героя повести Мочалова взяты Лавреневым из биографии и дневника Н. Каманина, молодого командира звена самолетов «Р-5», под началом у которого был во время полетов один из лучших полярных летчиков В. Молоков.

Не ставя себе задачи точно воспроизвести исторические события, Б. Лавренев пытается воссоздать общую оптимистическую и героическую атмосферу времени, нарисовать героя современности,

человека, воспитанного в духе самоотверженного, большого мужества и веры в свои силы.

Через всю повесть проходит мотив интернациональной солидарности трудящихся, а также противопоставление высоких и бескорыстных идеалов социалистического общества буржуазному эгоизму, своекорыстию и мещанской приниженности. Эти внутренние темы, столь свойственные Б. Лавреневу, делают его повесть во многом характерным явлением советской литературы 30-х годов.

В то же время нельзя не увидеть в этом произведении следов упрощенного подхода к изображению духовного мира людей. Стремясь показать обычность и обязательность подвига для советского человека, писатель облегчил своему герою многие трудности, лишил его индивидуального своеобразия. «В повести пробивается кое-где струя того самого «бодрячества»,— писал критик Л. Радищев,— которое у нас подвергается справедливому и злому осмеянию. Слишком много разговоров, пафосных монологов, бравых реплик...» («Литературный Ленинград», 26 августа 1935 г.).

Сам писатель также не был вполне удовлетворен произведением. В письме к редактору Двухтомника 1958 г. он писал: «Посылаю Вам три вещи, которые можно, в срочном порядке доработав, ввести в книгу. Это «Мир в стеклышке», «Белая гибель» и «Большая земля». С первыми двумя справиться нетрудно. «Большая» же требует очень существенной перевспашки». Болезнь помешала автору осуществить эту «перевспашку», о чем с сожалением он пишет в другом письме: «Повесть явно требовала доработки... в ней много лобовых публицистических рацей, которые надо было превратить в литературу. Но теперь уже нечего делать...»

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Е. Старикова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лавренев Б. А.
Л 13 Собрание сочинений: В 6-ти т.— М.: Худож. лит., 1982
Т. 2. Повести и рассказы. Сост. и подгот. текста А. Ю. Лавренева; Примеч. Е. В. Стариковой. 1982, 622 с.
В том включены повести и рассказы, созданные Б. Лавреневым в 1927—1935 гг.
Б $\frac{4702010200-325}{028(01)-82}$ подписное **Р2**

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЛАВРЕНЕВ

Собрание сочинений
том 2

Редактор
В. Буланова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры
Е. Колчина, Л. Овчинникова

ИБ 2161

Сдано в набор 12.02.81. Подписано в печать А12306 28.10.81. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Печать высокая. Гарнитура «Обыкновенная новая». 32,76 усл. печ. л. 32,76 усл. кр. отт. 34,8 уч.-изд. л. Изд. №III—424 Заказ № 433. Тираж 100 000 экз.
Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28, отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Киев, ул. Воровского, 24.

2 р. 50 к.